

И. А. ВИНЮГРДОВ

ГОГОЛЬ
ХУДОЖНИК
И МЫСЛИТЕЛЬ

ХРИСТИАНСКИЕ ОСНОВЫ
МИРОСЗЕРЦАНИЯ

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Институт мировой литературы им. А.М.Горького

И. А. ВИНОГРАДОВ

ГОГОЛЬ —
ХУДОЖНИК И МЫСЛИТЕЛЬ:
ХРИСТИАНСКИЕ ОСНОВЫ
МИРОСОЗЕРЦАНИЯ

К 150-летию со дня смерти Н.В.Гоголя

Москва
ИМЛИ РАН, «НАСЛЕДИЕ»
2000

ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО
ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ
РОССИЙСКОГО ГУМАНИТАРНОГО НАУЧНОГО ФОНДА (РГНФ)
проект № 99-04-16176

Виноградов И. А.

ГОГОЛЬ — ХУДОЖНИК И МЫСЛИТЕЛЬ: Христианские основы мирозерцания.— М.: «Наследие», 2000.— 448 с.

В монографии раскрываются христианские основы мирозерцания Гоголя на всем протяжении его творческого пути. Подробно, с привлечением подготовительных материалов, мемуарных свидетельств, историко-литературных источников и бытовых реалий, анализируются главные гоголевские произведения: художественные циклы «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Миргород», так называемые «петербургские повести», комедия «Ревизор», поэма «Мертвые души», книга «Размышления о Божественной Литургии». В качестве особого предмета анализа прослеживается история творческого «диалога» Гоголя с критиком В. Г. Белинским. Устанавливается тесная связь между художественной и публицистической мыслью Гоголя, выявляются «сквозные» и «узловые» темы, неизменно возникавшие в гоголевских произведениях на каждой новой ступени его духовного развития. Ширина охвата материала позволяет показать, как гоголевское мирозерцание преломляется в осмыслении писателем самых разнообразных проблем изображаемой действительности, и обозначить в нем центральное «ядро» — любовь к патриархальному русскому быту и критику европейского секуляризованного материального прогресса.

В 2002 году исполняется 150 лет со дня смерти Николая Васильевича Гоголя. Ближится еще один юбилей писателя — в 2009 году будет праздноваться 200 лет со дня его рождения. Между тем творчество Гоголя продолжает во многом оставаться загадкой для читателя. Весьма знаменательным является совершающееся на рубеже двухтысячелетия христианства открытие Гоголя как глубокого христианского писателя. Всё чаще именно обращение к христианским основам художественного мирозерцания Гоголя дает ключ к разрешению проблем, встающих при изучении его биографии и творчества.

«Старайтесь лучше видеть во мне христианина и человека, чем литератора», — писал Гоголь. Впервые в настоящем издании сделана попытка применить этот завет писателя к самым ранним его произведениям — книге повестей из малороссийского быта «Вечера на хуторе близ Диканьки». Именно эти повести помогают, в частности, понять, почему Гоголь так и не связал себя в жизни семейными узами, но оставался до конца дней «монахом в миру». В этих веселых, лирических рассказах уже виден будущий создатель «Мертвых душ», автор «Выбранных мест из переписки с друзьями», «Размышлений о Божественной Литургии», молитв и духовно-нравственных правил. С этого, самого первого своего художественного цикла Гоголь вступает в литературу не только как веселый и оригинальный рассказчик, но и как глубокий, связанный с православной отечественной традицией мыслитель.

Изучение никогда ранее не затрагивавшегося вопроса о влиянии на Гоголя знаменитой «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина помогает по-новому осветить содержание ряда произведений Гоголя исторической тематики, прежде всего главного произведения сборника «Миргород» — повести «Тарас Бульба». Эта героическая эпопея, представляющая собой уникальное произведение не только в русской, но и в мировой литературе, — в один ряд с ней исследователи ставят лишь «Илиаду» Гомера, — рассматривается в монографии с точки зрения традиционного православного понимания воинского христианского долга. Особое внимание уделено тем идеям повести, которые до последнего времени почти не изучались, — и прежде всего ее главной идее — вопро-

су об основах национальной жизни: на чем «стоит» и «что значит» в Русской земле товарищество.

В замысле «Тараса Бульбы» удается найти ключ и к разгадке одного из сложнейших вопросов биографии Гоголя — вопроса об отношении писателя к католицизму. Известно, что Гоголь долгие годы (в общей сложности более четырех лет) провел в Италии — средоточии западного католического мира. Пребывание Гоголя в Риме, рассмотренное в широком контексте — и, в частности, поставленное в связь с гоголевской «казацкой» эпопеей, помогает существенно прояснить этот вопрос. Первая редакция «Тараса Бульбы», созданная еще до отъезда Гоголя в Рим, и вторая, расширенная, появившаяся после нескольких лет пребывания за границей, проникнуты единой мыслью, — выраженной восклицанием Тараса о «вере Христовой»: «чтобы по всему свету разошлась она и все бусурмены поделались бы наконец христианами».

Проблемный характер, связанный с размышлениями Гоголя над мировой историей, носит следующая глава книги, посвященная изучению так называемых «петербургских повестей» Гоголя. «Петербургский цикл» в гоголевском творчестве рассматривается порой в исследовательской литературе как свидетельство если не восхищения, то во всяком случае некоего любования Гоголя «северной столицей». Между тем в «петербургских повестях» Гоголь предстает едва ли не самым глубоким критиком «цивилизованного» Петербурга — этого прорубленного Петром I «окна в Европу», откуда хлынул в Россию поток всевозможных развращающих соблазнов. Именно проблемам порабощающей и растлевающей человека западной «цивилизации» Гоголь посвятил свои петербургские и «непетербургские» повести, объединенные в 1842 году в третьем томе прижизненного собрания сочинений. Тем самым объясняется непростая композиция этого тома и его поистине «вселенский масштаб» — от «Невского проспекта» до «Рима».

Таким же всемирным замыслом проникнуто и главное драматическое произведение Гоголя — комедия «Ревизор». В этом создании, как и в «Тарасе Бульбе», слышна скорбь писателя-христианина за своего современника — боль за собрата, презревшего спасительный долг служения Богу и Отечеству. Основное внимание в изучении этой пьесы отводится раскрытию ее главной идеи, сформулированной автором в «Развязке Ревизора»: «Всмотритесь-ка пристально в этот город, который выведен в пьесе: все до единого согласны, что этакое города нет во всей России <...> Ну, а что, если это наш же душевный город, и сидит он у всякого из нас? <...> Ревизор этот — наша проснувшаяся совесть...».

Последовательное рассмотрение гоголевского творчества — от «Вечеров...» к «Ревизору» — позволяет подойти к изучению замысла главного, обобщающего произведения Гоголя — поэмы «Мертвые души». Сам Го-

голь не раз говорил, что только «Мертвые души» разрешат загадку его жизни. «Я решил твердо не открывать ничего из душевной своей истории,— писал он в «Авторской исповеди»,— в уверенности, что, когда выйдет второй и третий том «Мертвых душ», все будет объяснено ими...». В настоящей книге предложено по-новому взглянуть на созданные писателем художественные типы, обозначен характер замысла предполагаемого продолжения поэмы.

Отдельная глава посвящена малоизученному вопросу о происхождении теории о «двух Гоголях» — Гоголя как непримиримого обличителя самодержавия в раннем периоде творчества, и Гоголя как монархически и «реакционно» настроенного мистика в конце жизни. Несмотря на ставшие традиционными ссылки на исключительно высокую роль Белинского в оценке гоголевского художественного творчества, действительные факты идейных взаимоотношений критика и писателя,— оставшиеся до последнего времени вне поля зрения читателей и исследователей,— свидетельствуют о несколько ином содержании этого общения. Его действительный характер представляет собой картину долгой идейной борьбы западника Белинского против религиозного и патриотического содержания гоголевского творчества,— борьбы, которую Белинский открыл с самой первой своей статьи о Гоголе 1835 года.

Завершающая глава монографии посвящена изучению центральной (по хронологии и по самому содержанию) книги Гоголя — «Размышлений о Божественной Литургии». В этой книге писатель выступает в жанре собственно духовной прозы. Изучение мотивов, побудивших Гоголя приняться за работу над книгой о Литургии, позволяют прояснить ее связь с предшествующим гоголевским творчеством и тем самым еще раз обозначить единство и последовательность духовного развития писателя.

СКАЗКИ НИКОЛАЯ ГОГОЛЯ

«Вечера на хуторе близ Диканьки», традиционно открывающие собрания сочинений Гоголя, являются первой книгой писателя, утвердившей его имя в русской литературе. Когда в 1831 году вышла из печати первая часть «Вечеров...», Гоголь, посылая матери экземпляр книги, писал: «Она понравилась здесь всем, начиная от Государыни...». А. С. Пушкин, только что завершивший работу над своими «Повестями Белкина», в конце августа 1831 года сообщал А. Ф. Воейкову: «Сейчас прочел «Вечера близ Диканьки». Они изумили меня. Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия, какая чувствительность! Все это так необыкновенно в нашей литературе, что я доселе не образумился. Мне сказывали, что когда издатель зашел в типографию, где печатались «Вечера», то наборщики стали прыскать и фыркать, зажимая рот рукою. Фактор¹ объяснил их веселость, признавшись ему, что наборщики помирали со смеху, набирая его книгу». (Пушкин передает здесь эпизод, рассказанный ему самим Гоголем в письме от 21 августа 1831 года.) Книга получила похвальные отзывы критики и скоро разошлась. В 1836 году «Вечера...» вышли вторым изданием, в 1842-м — переизданы в составе собрания сочинений писателя.

В то же время известно, что «Вечера...» не были первым шагом в писательской биографии Гоголя. Его первым произведением, вышедшим отдельной книгой, стала написанная в духе немецкой романтической школы стихотворная поэма «Ганц Кюхельгартен», изданная в 1829 году. Трудно узнать в этой ученической, подражательной поэме Гоголя — которая и при его жизни не привлекла, да и теперь мало чем может привлечь внимание читателя — автора будущих «Вечеров...». Ко времени опубликования поэма (созданная за два года перед тем) явилась во многом пройденным этапом в творческом развитии писателя. Несудивительно, что как только поэма получила в печати отрицательные отзывы, Гоголь тут же постарался сжечь все имевшиеся у книгопродавцев экземпляры этого, по его словам, «произведения восемнадцатилетней юности».

Как заметил полвека спустя один из гоголевских биографов, В. И. Шенрок, еще до издания «Ганца...» Гоголь наметил себе иной путь и задачи для творчества². Приехав в конце 1828 года в Петербург, он был

поражен, как, по его словам, здесь «занимало» тогда «всех все малороссийское». Едва отправив в цензуру «Ганца Кюхельгартена» (цензурное разрешение — 7 мая; выход в свет — после 5 июня 1829 года), Гоголь 30 апреля 1829 года обратился в письме к матери с просьбой о присылке ему этнографических и фольклорных материалов: «...Множество носится между простым народом поверий, страшных сказаний, преданий, разных анекдотов, и проч. и проч. и проч. Все это будет для меня чрезвычайно занимательно». В письме к ней от 22 мая Гоголь повторял: «У нас есть поверья в некоторых наших хуторах, разные повести, рассказываемые простолюдинами, в которых участвуют духи и нечистые. Сделайте милость, удружите меня которою-нибудь». С подобными просьбами Гоголь обращался к родным и позднее. 19 сентября 1831 года он писал сестре, Марии Васильевне: «...Ты так хорошо было начала собирать малороссийские сказки и песни и, к сожалению, прекратила. Нельзя ли возобновить это? Мне оно необходимо нужно». О. М. Сомов 9 ноября 1831 года извещал М. А. Максимовича: «У Гоголя есть много малороссийских песен, побасенок, сказок и пр., и пр., коих я еще ни от кого не слыхивал...»³.

Первыми читателями «Вечеров...» повести, составившие этот цикл, были восприняты прежде всего как переложение украинских народных сказок. Критик Н. И. Надеждин в 1832 году извещал читателей «Молвы»: «Рудый Пасочник, которые прекрасные малороссийские сказки приняты были с особенным удовольствием, недавно проехал чрез Москву на свою родину. Мы надеемся, что он соберет там нового меду для услаждения публики»⁴. Князь В. Ф. Одоевский 23 сентября 1831 года писал А. И. Кочелеву: «...На сих днях вышли Вечера на хуторе — малороссийские народные сказки. Они, говорят, написаны молодым человеком <...> Гоголем <...>»⁵ Ты не можешь себе представить, как его повести выше по вымыслу и по рассказу и по слогу всего того, что доныне издавали под названием русских романов»⁶. «Благодарим вас за то, что вы разрыли клад малороссийских преданий и присказок...» — обращался к автору «Вечеров...» Н. А. Полевой в «Московском Телеграфе»⁷. П. А. Плетнев, имея в виду «Вечера на хуторе близ Диканьки», 8 декабря 1832 года в свою очередь писал В. А. Жуковскому: «В его сказках меня всегда поражали драматические места»⁸. Сам Гоголь в то время, когда его занимали уже другие замыслы, в письме М. П. Погодину от 1 февраля 1833 года говорил о возможном продолжении «Вечеров на хуторе близ Диканьки»: «...Прибавлять сказки не могу». Характерно, что и сами рассказчики «Вечеров...» называют у Гоголя свои истории «сказками»⁹.

(Обращение Гоголя к жанру сказки стало первым этапом в его становлении как самобытного русского писателя.) В 1831 году — спустя непродолжительное время после выхода в свет его юношеской романтической поэмы, незадолго до окончания второй части «Вечеров...» — Гоголь

в письме к школьному другу А. С. Данилевскому замечал по поводу выхода в свет стихотворных переложений народных сказок В. А. Жуковского: «Жуковского узнать нельзя. Кажется появился новый обширный поэт и уже чисто русской. Ничего германского и прежнего». Если принять во внимание, что в создании «Ганца Кюхельгартена» существенную роль сыграло именно увлечение Гоголя переводами европейских поэтов Жуковского, а также если иметь в виду, что позднее, в «Выбранных местах из переписки с друзьями» (1847), увлечение немецким романтизмом в русской поэзии, сказавшееся по преимуществу в «Ганце...», Гоголь обозначил именно именем Жуковского, то станет очевидным, что не столько о творчестве Жуковского, сколько о своей собственной эволюции говорил писатель, отмечая в письме к школьному товарищу появление, взамен «германского и прежнего», «нового», «уже чисто русского» поэта. Строки эти вполне отражают тогдашнее развитие самого Гоголя — от «Ганца Кюхельгартена» к «Вечерам...».

Обращение к народному творчеству позволило писателю сделать первый шаг к реалистическому изображению действительности. Но не только в обретении новых художественно-образительных средств заключалась положительная сторона этого обращения. Возможность окунуться в мир, знакомый с детства, способствовала и становлению собственной оригинального художественного мышления Гоголя. Ибо гоголевские повести, — конечно же, отнюдь не простое переложение народных сказок.) По позднейшему определению самого писателя в «Учебной книге словесности для русского юношества» (1845), сказка как литературный жанр «может быть просто пересказ почти слово в слово народной сказки — создание менее всего значительное, которое выигрывает только от того, когда поэт сумеет привести ее в лучший порядок...» (Но, — замечал здесь же писатель, — «сказка может быть созданием высоким, когда служит аллегорическою одеждою, облакающею высокую духовную истину, когда обнаруживает ощутительно и видимо даже простолюдному делу, доступное только мудрецу».

(Это определение вполне применимо к «сказкам» «Вечеров...») В отличие, скажем, от арабских «волшебных сказок», источником которых явилось, по определению Гоголя, «воображение <...> горячее, чудесное, облекшееся в иперболу <гиперболу> и аллегория, пролетевшее мимо жизни и прозаических нужд ее» (статья Гоголя «Об архитектуре нынешнего времени», 1835), (собственные гоголевские «сказки» обнаруживают самую тесную связь с окружающим миром) «Жизнь я преследовал в ее действительности, а не в мечтах воображения, — замечал позднее Гоголь в «Авторской исповеди» (1847), — и пришел к Тому, Кто есть источник жизни». Если, по словам писателя в статье «Взгляд на составление Малороссии» (1832—1835), в самом народе «языческие поверья, детские пред-

рассудки, песни, сказки, славянская мифология» порой бессознательно, «простоудушно», смешивались с христианством, то для писателя сказка — отнюдь не средство реставрации обветшалых «языческих поверий» и «детских предрассудков» (исследователи употребили уже немало усилий, пытаясь здесь найти ключ к пониманию ранних гоголевских произведений). Для Гоголя сказка — возможность заговорить с читателем на языке художественных образов о самой истине, в незамысловатом повествовании преподать серьезный нравственный урок.)

10 сентября 1831 года Гоголь, посылая Жуковскому экземпляры только что вышедшей первой книжки «Вечеров...» (для передачи их общим знакомым, в том числе Пушкину), писал: «Сказка ваша уже окончена и начата другая, которой одно <...> начало чуть не свело меня с ума (имеются в виду «Сказка о царе Берендее» и «Сказка о спящей царевне». — *И. В.*). И Пушкин окончил свою сказку! («Сказку о царе Салтане». — *И. В.*) <...> Мне кажется, что теперь воздвигается огромное здание чисто русской поэзии, страшные граниты положены в фундамент, и те же самые зодчие выведут и стены, и купол, на славу векам, да поклоняются потомки и да имеют место, где возносить умиленные молитвы свои». Строки эти несут в себе вполне определенные новозаветные реминисценции. Св. апостол Павел в Послании к Ефессянам пишет: «Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе...» (гл. 2, ст. 19—21)¹⁰.

Насколько удалось Гоголю выполнить поставленную перед собой в его «сказках» задачу, насколько он был понят своими современниками, можно судить из позднейшей его переписки. Спустя почти полтора десятка лет после выхода в свет «Вечеров...», в 1844 году, графиня А. М. Вильгорская писала ему: «Я успела прочесть первый том «Вечеров на хуторе», который меня очень забавлял, но я все вас никак не узнаю в ваших сочинениях. Вы, кажется, очень далеко ушли с этого времени»¹¹. На это Гоголь отвечал: «Вы напрасно ищите в моих сочинениях меня и притом еще в прежних: там просто идет дело о тех людях, о которых идет дело в рассказе. Вы думаете, что у меня до такой степени длинен нос, что может высунуться даже в повестях, писанных еще в такие времена, когда был я еще мальчишка, чуть вышедший из-за школьной скамейки. Но об этом покамест до будущего времени». Спустя месяц он писал другой своей корреспондентке, А. О. Смирновой: «На сочинениях <...> моих не основывайтесь и не выводите отсюда никаких заключений о мне самом <...> В них точно есть кое-где хвостики душевного состояния моего тогдашнего, но без моего собственного признания их никто и не заметит и не увидит». Позднее, в 1848 году, Гоголь, сообщая о своей работе над вторым томом «Мертвых душ», писал той же Вильгорской: «Хотелось бы также

заговорить о том, о чем еще со дня младенчества любила задумываться моя душа, о чем неясные звуки и намеки были уже рассеяны в самых первоначальных моих сочинениях. Их не всякий заметил...». «О, если бы то, о чем любила задумываться душа моя еще со дня младенчества, — восклицал он также в одной из своих черновых заметок, — передать звуку и живому, определенному образу, доступным всякому, и в них была одна чистая истина!» Ранее, весной 1845 года Гоголь не без горечи писал С. С. Уварову, что все доселе им написанное потому «не стóит большого внимания», что «хоть в основание его легла и добрая мысль, но выражено все <...> незрело, дурно, «ничтожно», «не так, как бы следовало».

Очевидно, неудовлетворенность Гоголя своим первым циклом (где как художник он выступает во всей силе своего дарования) проистекала именно из этого сознания, что «добрая мысль», положенная им в основу его «сказок», не была замечена читателями. Подчеркнем, однако, что вина в этом была не одного автора. Были у Гоголя и внимательные читатели. Так, его мать, Мария Ивановна, получив книгу, писала 20 октября 1831 года своей родственнице О. Д. Трощинской: «Николай мой все стремится быть полезным для родного края, и я несколько понимаю его цель; в сей книге он коснулся ее...»¹². Как показала история дальнейших взаимоотношений Гоголя с читателями, в частности, восприятие в светском образованном обществе его книги «Выбранные места из переписки с друзьями» — в которой писатель обратился к современникам с открытой публицистической проповедью, непонимание художественных произведений Гоголя объяснялось подчас и прямым нежеланием прислушаться к авторскому голосу.

Однако в пору создания «Вечеров...» до этого открытого противостояния «поэта и толпы» было, конечно же, еще далеко. В ту пору Гоголь еще откровенно надеялся на понимание. Вместе с одним из рассказчиков «Вечеров...» он, например, мог прямо воззвать к сочувствию своих читателей по поводу «окаменения» сердец его героев: «Ну, да тогдашние времена были пожестче наших. Тетка моего деда говорила, что, несмотря на все усилия отца Афанасия растрогать своих прихожан проповедью, он только мог видеть широкие их пасти, которые они со всем усердием показывали в продолжение его речей».

К сожалению, надо признать, что нечто подобное произошло и с восприятием самих «Вечеров...» — с таким, казалось бы, неподдельным восторгом и искренним воодушевлением принятых читателями.

* * *

(Характер ранней гоголевской прозы не может быть вполне понят, если не иметь в виду последующего духовного и творческого развития

Гоголя. Как указывал в 1902 году один из исследователей гоголевского стиля, И. Е. Мандельштам, «весьма часто известный вопрос, тревожащий поэта, уясняется для него не одним актом творчества, не одним произведением, а последовательным рядом произведений, и, таким образом, этот ряд, как ряд ответов, становится все определеннее, по мере приближения к концу»¹³.)

Основание для такого подхода в осмыслении своего раннего творчества положил сам Гоголь. На одну из наиболее важных сторон замысла «Вечеров...» он, в частности, указал в 1847 году в «Авторской исповеди». Объясняя здесь происхождение своих первых произведений, Гоголь писал: «Причина той веселости, которую заметили в первых сочинениях моих, показавшихся в печати, заключалась в некоторой душевной потребности. На меня находили припадки тоски, мне самому необъяснимой, которая происходила, может быть, от моего болезненного состояния. Чтобы развлекать себя самого, я придумывал себе все смешное, что только мог выдумать. <...> Вот происхождение тех первых моих произведений, которые одних заставили смеяться так же беззаботно и безотчетно, а других приводили в недоумение решить, как могли человеку умному приходить в голову такие глупости». «Вот, говорят, одурел старый дед,— замечает, как бы предваряя эти гоголевские признания, рассказчик в предисловии ко второй части «Вечеров...»,— <...> тешится ребяческими игрушками». «...Болезнь и хандра были причиной той веселости, которая явилась в моих первых произведениях,— повторял Гоголь в письме к В. А. Жуковскому от 10 января н. ст. 1848 года,— чтобы развлекать самого себя, я выдумывал без дальнейшей цели и плана героев, ставил их в смешные положения <...> Страсть наблюдать за человеком, питаемая мною еще с детства, придала им некоторую естественность; их даже стали называть верными снимками с натуры».

Согласно этим объяснением Гоголя — что создание его первых произведений было связано с «меланхолическим от природы» его характером, «припадками тоски», развеять которую ему удавалось с помощью шуток,— сам писатель видел назначение «Вечеров...» именно в том, что бы отвращать отчаявшегося человека от пагубного уныния. На тему борьбы с унынием он написал в 1836 году целую пьесу — «Театральный разъезд после представления новой комедии» (переработана и опубликована в 1842-м). Одно из главных мест в этой пьесе занимает вопрос о значении «чистого смеха».

(Следует при этом подчеркнуть, что с самого начала творчества никакой идеализации смеха в произведениях Гоголя не было. Скорее наоборот. В тех же «Вечерах...» смех порой прямо связывается с демонической силой.) Например, в повести «Пропавшая грамота» рассказывается о запорожце, от «диковинных» историй которого можно было «надсадить

<...> живот со смеху», и потому «дед и еще другой <...> гуляка подумали уже, не бес ли засел в него». В той же повести «чудища» в «пекле» поднимают, по словам рассказчика, «такой смех, что у деда на душе захолоуло». В заключительных строках журнальной редакции «Вечера накануне Ивана Купала» опять-таки говорится о каком-то нечистом «чудище», которое, обосновавшись в развалившемся шинке, «смехом обдавало всю окрестность».

Так и в упомянутой гоголевской «апологии смеха» — «Театральном разезде...» — смеху отнюдь не приписывается несвойственное ему абсолютное значение; он предстает здесь лишь в качестве средства, могущего спасти человека (не знающего еще истинного Спасителя и Утешителя) от уныния и самоубийства: «Вы почти готовы находить безнравственным смех. О, еще далеко не понято высокое значение чистого смеха <...> вот среди сей же собравшейся толпы пришел один с растерзанной душой <...> пришел уже безнадежный, он готов был вознести руку на самого себя (и «на своего врага», — прибавлено тут же. — *И. В.*) и прекратить свои мученья (как это, кстати, сделал — убив своего врага и застрелившись сам — герой дошедшей до нас в отрывках неизвестной драмы Гоголя начала 1830-х годов. — *И. В.*) — но вдруг божественно потряслась душа, — рыдания, смех и слезы хлынули вдруг из его очей <...> и выходит он примиренный с жизнью».

Некоторое основание для этих размышлений Гоголь нашел в духовной литературе. «Будьте светлы и старайтесь насильно быть светлу и веселу душой, — писал он 7 апреля н. ст. 1844 года А. О. Смирновой. — Недавно прочел я, что, стараясь засмеяться смехом души, мы уже призываем ангела на уста наши, который помогает нам потом действительно засмеяться таким смехом». «Итак, веселитесь, потому что уныние — грех, и кто не весел, тот грешит, но веселитесь душою»* (письмо к матери от 12 июня н. ст. того же года).

В то же время очевидно, что замысел «Вечеров...» не ограничивался одним лишь этим желанием развеять тоску — «развеселить» читателя. В

* О «душевном веселье» — при непрестанном плаче о грехах — писал, в частности, в своей знаменитой «Лествице», в главе «О радостотворном плаче», преподобный Иоанн Синайский: «Бог не требует, братие, ниже хочет того, чтоб человек сердце свое стенанием изнурял и плакал, но чтобы распаяясь к Нему любовию душевно смеялся, и веселился <...> Аще кто во блаженное и благодатное сияе рыдание, яко в брачную ризу облекся, тот ощущает истинное внутри себя духовное веселие» (цит. по переводу, каким пользовался Гоголь: Лествица, возводящая на небо. М., 1785. Л. 57, 56; в выписках Гоголя 1820-х годов из этого издания был раздел «О плаче»; см.: *Срофійв І.* Новий рукопис Гоголя. (3 рукописного відділу Музею Слободської України // Червоний Шлях. (Харків), 1926. № 2. С. 175—176; *Гоголь Н. В.* Собр. соч.: В 9 т. М., 1994. Т. 8. С. 828—829).

своих «сказках», в которых, по признанию Гоголя, отразилась и питаемая им сизмала «страсть наблюдать за человеком»; писатель стремился и многому научить читателя. Сама фантастика гоголевской «сказки», при всей кажущейся произвольности, подчинена глубокому внутреннему смыслу. По воспоминаниям И. А. Бунина, его гувернер, которому однажды довелось видеть Гоголя в одном из московских литературных домов, рассказывал ему о фразе, слышанной им от писателя. Это было «очень закругленное изречение о законах фантастического в искусстве». Смысл фразы, которая в точности не запомнилась бунинскому наставнику, заключался, по его словам, в том, «что, мол, можно писать о яблоне с золотыми яблоками, но не о грушах на вербе»¹⁴. (Возможно, Гоголь употребил в разговоре украинскую поговорку: «На верби груши, а на осии кыслыци <на осине яблоки> не растут»¹⁵.) «Отсутствие всякой истины, естественности и вероятности еще нельзя считать фантастическим», — писал, в частности, Гоголь в статье «О движении журнальной литературы, в 1834 и 1835 году» по поводу произведений О. И. Сенковского — лишенных, по его словам, хоть какого-то «устремления к доказательству какой-нибудь мысли». По словам о. Василия Зеньковского в одной из его ранних статей, «Гоголь гораздо более, чем Достоевский, ощущал своеобразную *полуреальность* фантастики, близость чистой фантастики к скрытой сущности вещей. Уже в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» это чувствуется очень сильно...»¹⁶. (Фантастическую образность сам Гоголь использовал для воссоздания вполне реальных жизненных ситуаций, — тех, которые позднее он стал изображать уже непосредственно в реалистических образах, — при этом подчас прямо «расшифровывая» смысл, заложенный в его ранней фантастике.)

* * *

Одна из наиболее характерных, обращающих на себя особенное внимание черт большей части повестей «Вечеров...» — пристальный интерес рассказчика к тому участию, какое принимает в судьбах его героев нечистая сила — «обстояние бесовское», или, говоря словами Гоголя *позднейшей эпохи его жизни*, — «твердое признание незримых сил», окружающих повсюду человека. Первая по времени создания повесть цикла — «Вечер накануне Ивана Купала». Можно, кажется, вполне определенно судить, почему именно этот день народного и церковного календаря (24 июня ст. ст. — Рождество Иоанна Предтечи) Гоголь избрал для своего рассказа. Позднее, в записную книжку 1846—1851 годов он внес заметку о народном праздновании Ивана Купала, позволяющую догадываться о характере интереса Гоголя к изображенному им миру: «Ко времени Купала приходят в зрелость все лекарственные травы и коренья, а

потому и собираются. <...> Гаданья, собиранья трав в сии дни, когда природа совокупляет все свои силы и тайны, вдыхает предчувствие мира духовного...».

Именно это «предчувствие мира духовного» пронизывает так или иначе замыслы всех повестей «Вечеров...». — Как увидим далее, помимо «Вечера накануне Ивана Купала», купальские народные предания — или просто темы, затронутые в этой повести, — отразились на содержании и других повестей цикла. Укажем здесь, в частности, на раннюю выписку Гоголя об Иване Купале из «Энеиды» И. П. Котляревского, внесенную им в конце 1820-х — начале 1830-х годов в «Книгу всякой всячины, или подручную Энциклопедию» и прямо использованную при создании «Страшной мести»:

І зараз в горщикок наклали
Відьомських всяких різних трав,
Які на Йванів вечір рвали...
Васильки, папороть, шевлюю...
І все се налили водою
Погожою, непочатою,
Сказавши скількось і словець.

Этой выпиской Гоголь непосредственно воспользовался при описании волхвований колдуна в «Страшной мести»: «...Колдун <...> поставил на стол <...> горшок и стал бросать длинными руками своими какие-то неведомые травы <...> почерпнул <...> воды и стал лить, шевеля губами и творя какие-то заклинания».

(В пристальном внимании Гоголя к явлениям невидимого мира, сказавшемся в «Вечерах...») следует обозначить, по крайней мере, две взаимосвязанные стороны. Незадолго до создания «Вечера накануне Ивана Купала» писатель поместил в свою «Книгу всякой всячины...» выписку из книги М. А. Максимовича «Малороссийские песни» (М., 1827), посвященную распространенной народной легенде, связанной с Ивановым днем: «Папороть (по-русски папоротник, или кочедыжник, filix) цветет огненным цветом только в полночь под Иванов день, и кто успеваеет сорвать его, и будет так смел, что устоит противу всех призраков, кои будут ему представляться, тот отыщет клад». М. А. Максимович об этой легенде замечал: «Подумаешь, что это предание имело своим основанием ботаническую истину; ибо папоротники не цветут особыми, видимыми цветами: образование плодов их есть следствие цветения тайного, невидимого (cryptogamia)»¹⁷. Подобное отношение к народным преданиям в целом характерно и для Гоголя. Выделяя скрытую в них истину — веру в существование потусторонних невидимых сил, писатель в то же время далек от того, чтобы разделять все связанные с этой верой народные мифологические представления. В своих повестях он подчас прямо показы-

вает, как эти легенды завязываются и «разрешаются» вполне обыденным, «земным» образом — имея мало общего с невидимым миром.

Так, например, в «Сорочинской ярмарке» автор вполне определенно дает понять, что внешняя сторона участия в жизни ярмарки нечистой силы — распускаемые здесь слухи о нечистом, само явление его «в костюме ужасной свиньи» — лишь проделки веселящихся парубков и пройдохи-цыгана, ловко пользующегося народными суевериями для осуществления своих торговых и других выгодных сделок (судя по «великим достоинствам» этого цыгана — которым, по замечанию рассказчика, «одна только награда есть на земле — виселица», некоторые из его сделок, вероятно, далеко не так безобидны, как лишь «заинтересованное» участие в сватовстве Гришка. Напомним рассказ Пидорки в «Вечере накануне Ивана Купала» о том, «как проходившие мимо цыгане украли Ивася»). Весьма правдоподобно и объяснение казака Данила в повести «Страшная месть», что встающие из могил мертвецы на кладбище у замка «старого колдуна» — лишь пугало, которым стремится оградить этот предатель свой тайный притон: «Это колдун хочет утратить людей, чтобы никто не добрался до нечистого гнезда его». Точно так же утрашают у Гоголя своими «размалеванными» масками суеверных десятских «бесящиеся» парубки в «Майской ночи».

Однако, разоблачая «земное» подчас происхождение народных легенд и преданий — обязанных своим появлением пытающейся искусно замаскировать себя вражде людей между собою — Гоголь в то же время не забывает, что видимая, внешняя брань нечистой силы с людьми прикрывает порой и вполне реальные — уже не «сказочные» и не фантастические — искушения лукавого, подверженность которым героев гоголевские рассказчики в «простоте» своей считают подчас делом «обыкновенным» и даже безгрешным — не имеющим ничего общего со злыми духами. Эти-то воздействия темных сил и представляют собой, по Гоголю, действительную брань добра и зла за души людей — брань куда более серьезную и опасную, чем благополучные путешествия героев в «пекло» и обратно народных легенд и анекдотов.)

И эту брань в самых «сказочных» своих повестях Гоголь изображает уже вполне реалистически; легенды и вымыслы лишь оттеняют беспечность героев, им предающихся. Этим отношением к народной мифологии — используемой писателем как средство для реалистического изображения ее носителей, очевидно, и объясняется та кажущаяся неожиданность, с какой Гоголь переходит вдруг в «Вечерах...» от фантастических, сказочных сюжетов к изображению самого прозаического, обыденного быта) — например, к лишенному всякой фантастики «Ивану Федоровичу Шпоньке...» (герой которого, однако же, не лишены своих суеверий и предрассудков), — а затем опять возвращается к «сказке».

«Трезвитесь, бодрствуйте,— говорит св. апостол Петр,— потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить...»¹⁸. Герои Гоголя, постоянно толкующие о кознях лукавого, рассказывающие друг другу истории о его проделках (в которых бес предстает чаще всего существом весьма недалеким и ограниченным), подменяют это заповеданное Апостолом трезвение мечтательными баснями и сказками и, преданные им, почти всегда недооценивают своего противника, ожидая встретить его вовсе не там, где он им реально угрожает. Эту мысль о неподготовленности человека к духовной брани — и самое развитие ее на ином, скрытом от поверхностного наблюдения уровне — Гоголь и воплощает в своих «сказках».

СОРОЧИНСКАЯ ЯРМАРКА

Первый биограф Гоголя, П. А. Кулиш, в 1852 году писал: «Надобно быть жителем Малороссии, или, лучше сказать, малороссийских захолустьев, лет тридцать назад, чтобы постигнуть, до какой степени общий тон этих картин верен действительности. <...> Вообще в первых своих произведениях Гоголь нарисовал многое, что окружало его в детстве, почти в том виде, как оно представлялось глазам его»¹⁹.

«Сорочинская ярмарка» — первая в композиции повесть цикла, в которой вполне раскрылся талант Гоголя не только как занимательного рассказчика, но и как верного бытописателя. Материал для создания повести Гоголь черпал из своих детских и юношеских воспоминаний. Четыре раза в год ярмарки проводились в Васильевке — родовом имении Гоголей, при этом скотная, по словам самого писателя, была крупнейшей в губернии (Гоголь упоминал об этом в письме к А. С. Данилевскому от 29 декабря 1839 года). В. А. Гиляровский, посетивший спустя более чем полвека родные гоголевские места — Миргород, Великие Сорочинцы, Диканьку, Васильевку (или Яновщину), — писал о родовом гнезде Гоголя: «Подле церкви, между церковью и плотиной, которая разделяла два пруда и которая когда-то была усажена старыми-престарыми иербами, четыре раза в год собиралась ярмарка. Ее-то, говорят, Гоголь и описал и назвал «Сорочинской» потому, что Сорочинцы были известны по всей округе, а Яновщину в те времена и не знал никто. Какая, мол, такая ярмарка в какой-то Яновщине! Вот в Сорочинцах так ярмарка! Назови Гоголь ярмарку не Сорочинской, которая знаменита, а Яновщицкой — и тоже б подняли на смех. Вот по тому же самому Гоголь и назвал свои

рассказы «Вечера на хуторе близ Диканьки». Диканьку все знают. После Полтавы там это самое крупное имя»²⁰. Неудивительно, что за шуточным повествованием встают в «Сорочинской ярмарке» темы весьма серьезные — почерпнутые из самой жизни. Подчеркнем чрезвычайно существенный для всей повести «морально-экономический» подтекст, осмысление которого мы находим и в зрелом творчестве писателя. Так, весь итог ярмарки в отношении к главному герою, Солопию Черевика, заключается, как изображает Гоголь, в том, что на деньги, вырученные им от продажи пшеницы, его «сожительница» Хивря бежит закупать себе всяких «плахт и дерюг». Соответственно этому строится и самый зачин «Сорочинской ярмарки», где вслед за ремесленником-гончаром, везущим на ярмарку ярко расписанные миски и горшки, привлекающие, как сказано в черновой редакции повести, «завистливые взгляды поклонников роскоши», появляется тут же воз Солопия Черевика с мешками пшеницы и с сидящей на возу той самой щеголихой Хиврей.

Надо сказать, ничего «национального», собственно украинского, вызывающего особенную любовь к родному краю, Гоголь в этих картинах не видел. Посетив в период создания «Вечеров...» один из центров европейской торговли старинный немецкий город Любек — «известный торговыми своими сношениями всему миру», «из числа первых, составлявших знаменитый Ганзейский союз», — Гоголь в письме к матери описал его почти теми же красками, какие использовал тогда в «Сорочинской ярмарке»: «...Вы увидите огромные фуры, которые здесь в большом употреблении, посреди которых укреплены на ремнях ящики (в роде висячего стула); в этих-то фурах вы увидите семейство, достойное фламандской школы, везущее в город продукты. В ящике обыкновенно сидит мать с дочерью; на лошади <...> сын <...>, а сзади уже пешком какой-нибудь по нашему наймыт»²¹. Зато уж и езда: ничего хуже я не знаю. Лошади здоровы и жирны, как волы, а между тем не скорее их идут» (письмо от 13 августа н. ст. 1829 года). Сходное описание находим в «Сорочинской ярмарке»: «Одинок в стороне ташился на истомленных волах воз, наваленный мешками, пенькою, полотном и разную домашнюю поклажею, за которым брел <...> его хозяин <...> на возу сидела хорошенькая дочка <...>. Неугомонная супруга <...> тут же сидела на высоте воза...». (Позднее Гоголь писал С. П. Шевыреву о своем пребывании за границей: «...Из каждого угла Европы взор мой видит новые стороны России»; письмо от 28 февраля н. ст. 1843 года.)

Вполне понятно и разочарование, охватившее в 1829 году Гоголя при виде реальной (не «романтической») Германии: «Сначала, за год перед сим, думал я: каковы-то будут первые впечатления при взгляде на совершенно новое, совершенно бывшее чуждым доселе для меня, на другие нравы, других людей; как любопытство мое будет разгораться посте-

пенно; ничего не бывало. Я въехал так, как бы в давно знакомую деревню, которую привык видеть часто» (Гоголь написал эти строки в первый день по приезде в Любек; всего его тогдашнее путешествие продолжалось около двух месяцев, с 26 июля по 22 сентября).

В опубликованном до поездки «Ганце Кюхельгартене» Гоголь писал:

Веду с невольным умилением
Я песню тихую мою
И с неразгаданным волнением
Свою Германию пою.
Страна высоких помышлений!
Воздушных призраков страна!
О, как тобой душа полна!..

Позднее, 7 ноября н. ст. 1838 года, вспоминая о своих первых впечатлениях от Германии, Гоголь отвечал одной из его бывших воспитанниц, М. П. Балабиной, что представляемая по произведениям немецких романтиков Германия не имеет ничего общего с реальной и что «та мысль», которую он «носил в уме об этой чудной фантастической Германии, исчезла», когда он «увидел Германию в самом деле».

Добавим, что сразу по возвращении Гоголя из Германии — и возобновления работы над повестями «Вечеров...» (начатыми еще до поездки), он сменил в Петербурге квартиру и поселился в доме купца Зверькова на углу Столярного переуллка и набережной Екатерининского канала. Один только небольшой мост отделял этот дом от рыночной Сенной площади, так что в воспоминаниях Гоголя о «вихре сельской ярмарки», отразившихся в «Вечерах...», вполне вероятно, сказались и впечатления от этого многочленного торгового стечения — столь же «по-малороссийски» шумного петербургского простонародья (названного Гоголем после поездки в Любек «полунемецким»).

Отмечая эти параллели, следует, впрочем, иметь в виду, что в сравнении с немецкими и петербургскими «ярмарками», настоящий «размах» деятельности гоголевских малороссийских «негоциантов» (так иронически называет Гоголь своих мелких торговцев во второй главе «Сорочинской ярмарки»*) отличается, согласно эпиграфу к той же главе повести, весьма скромными масштабами: «...Боже Ти мій <...> чого нема на тій ярмарці! <...> хоч би в кишені було рублів і з тридцять, то й тоді б не закупив усієї ярмарки». Этот «размах» торговых оборотов провинциальных «негоциантов» призван подчеркнуть как бы изначальную «девственность» малороссийской жизни — сравнительно с «развитым» европей-

* Негоциант — иностранный торговец или торговец, ведущий крупную оптовую торговлю с другими странами, — или внутри страны, но значимую для ее экономики в целом.

ским бытом,— хотя и здесь едва воображимые для деревенского покупателя «тридцать рублей» наводят на мысль о евангельских тридцати серебряниках.

К характеристике еще одной из сторон «морально-экономического» подтекста «Сорочинской ярмарки», следует добавить, что вполне созвучен с происходящей в финале повести тратой «ведьмой» Хиврей денег на шегольские наряды и другой «итог» ярмарки — женитьба казака Грицька на Параске — брак, как показывает писатель, чреватый воцарением новой шеголихи.

Заключительные строки повести ясно свидетельствуют, что изображаемое Гоголем всеобщее веселье по поводу состоявшейся свадьбы вызывает у него самого скорее грустные, чем веселые чувства: «Не так ли резвые други бурной и вольной юности, поодиночке, один за другим, теряются по свету и оставляют, наконец, одного старинного брата их? Скучно оставленному! И тяжело и грустно становится сердцу, и нечем помочь ему!»

«Громкое хлопанье по рукам и распиванье могорыча <...> дадут знать вам, что сделка или покупка совершены»,— как бы подсказывает рассказчик в черновой редакции повести мысль о том, что заключение брака между его героями отнюдь не принадлежит к сфере «возвышенной» жизни, но, напротив, относится к весьма обыденной и «низменной» ее области — столь же «низменной», как и заключение прозаической торговой сделки: «Что? по рукам? А ну-ка, новобранный зять, давай магарычу!» (С этой мыслью перекликаются у Гоголя и сравнение ярмарки со свадьбой в «Пропавшей грамоте», и, напротив, сравнение свадьбы с ярмаркой в «Вечере накануне Ивана Купала»,— где брак, по сути, тоже является выгодной для отца невесты торговой сделкой.)

«Мачеха,— рассуждает далее в повести хорошенькая Параска,— делает все, что ей ни вздумается; [разве и я не женщина] разве и я не могу делать того, что мне вздумается? Упрямства-то и у меня достанет». «...Дай примерить очипок, хоть мачехин, как-то он мне придется!» — спешит она — еще до замужества — освоиться на «царстве». Нетерпение Параски Гоголь подчеркивает, имея в виду противоположное поведение невесты в традиционном украинском свадебном обряде, описание которого он внес в 1829 году в «Книгу всякой всячины...» из письма к нему матери от 4 июня: «...Женщины <...> с пенъем расплетают ей косу и подают очипок, который она бросает, и за третьим уже разом надевают ей на голову и выпроваживают ее к мужу».

Роднит юную Параску с мачехой и страсть к нарядам и украшениям. «Так и дергала» ее,— замечает рассказчик в черновой редакции повести,— «непонятная сила под ятки к крамаркам, где развешены были самые яркие ленты, перстни, серьги, монисты». Очевидно, вполне приме-

ним поэтому к юной Параске — столь же капризной и упрямой, как ее мачеха-«ведьма», — по сокрытым, но уже начинающим проявляться в ней задаткам — и эпиграф из «Энеиды» Котляревского к четвертой главе «Сорочинской ярмарки» (относящийся здесь к Хивре), в котором объясняется, за что женщины терпят муки в аду:

...За то, что были верховодки,
Мудрили, ладили свое.
Хоть муженьку и неохота,
Да жёнке, вишь, приспичит что-то...
Ну как не ублажить ее? ²²

Объединяющим оба женских образа щеголих «Сорочинской ярмарки» — «ведьмы» Хиври и юной Параски — является в повести изображение роскошной — и «своейравной» — «реки-красавицы» (над которой задумывается, проезжая мост, «славная дивчина» Параска) — что «с презрением кидает одни украшения, чтобы заменить их другими, и капризам ее конца нет...». Последний образ — образ речной «серебряной» глади из «цельного стекла», «голубой прекрасной бездны» — позволяет более ясно обозначить и сам характер отношения Гоголя к красоте — выступающей порой, согласно размышлениям писателя, в качестве прямого эстетического соблазна.

«Глазам наших путешественников начал уже открываться Псёл...» — приступает в повести к описанию реки-«красавицы» рассказчик. Река Псёл — тоже примета родных, любимых мест Гоголя. 13 июня 1824 года он писал матери из Нежина: «...Вижу все милое сердцу, — вижу вас, вижу милую Родину, вижу тихий Псёл, мерцающий сквозь легкое покрывало, которое я сброшу, наслаждаясь истинным счастьем, забыв протекшие быстро горести». В письме к матери из Германии он также замечал: «Места, окружающие Любек, недурны, но не годятся против наших пельских». Позднее, 27 июня 1834 года, Гоголь в шутку писал М. А. Максиминовичу: «Лето ты непременно должен в Киеве полениться. Жаль, что я не с тобою теперь, я бы не дал тебе и заглянуть в печатную бумагу. Я бы тебя повез по Пслу, где бы мы лежали в натуре, купались, а вдобавок бы еще женил тебя на одной хорошенькой, если не распрехорошенькой».

Покровы прочь! Перед челом
Протянем руки удалые
И — бух!
Блистательным дождем
Взлетают брызги водяные.
Какая сильная волна!
Какая свежесть и прохлада!
Как сладострастна, как нежна
Меня обнявшая наядя!

Эти строки из стихотворения Н. М. Языкова «Тригорское» (1826) Гоголь цитировал позднее в статье о русской поэзии «Выбранных мест из переписки с друзьями». Едва ли при этом Гоголь не вспоминал об одной из своих ранних повестей — «Майской ночи», в которой изобразил прелестных «погубивших свои души дев» — русалок. По записанному им периоду создания «Вечеров...» в «Книгу всякой всячины...» народному преданию, попавшегося в руки русалке человека она «защекочет насмерть». «Беги, крещеный человек, — замечает рассказчик «Страшной мести», — уста ее — лед, постель — холодная вода; она защекочет тебя и утащит в реку».

Отметив у Гоголя эти двойственные, настораживающие черты образа красавицы, надо, с другой стороны, подчеркнуть, что, как дает понять рассказчик «Сорочинской ярмарки», и Параске не очень-то повезло с ее женихом — таким же, как она, щеголем («Одна свитка больше стоит, чем твоя зеленая кофта и красные сапоги», — сообщает о наряде Грицка Черевик своей «сожительнице»), да к тому же изрядным любителем «пенной». «Достоинства» в этом отношении будущего супруга Параски хорошо поясняет эпиграф к третьей главе «Сорочинской ярмарки» — тоже взятый Гоголем из «Энеиды» Котляревского: «Сивуху так, мов* брагу, хлище», — «на світі трохи** есть таких». Обращаясь к Параске, ее отец простодушно восклицает: «Какого я жениха тебе достал! Смотри, смотри, как он молодецки тянет пенную!...». Я не видал «на веку своем, — хвалится он и Хивре, — чтобы парубок вытянул полкварти не поморщившись». Очевидно, Параске предстоит испытать с таким «суженым» много горя. «Не знаю, люблю ли я тебя, — говорит своему жениху героиня незавершенной повести Гоголя «Страшный кабан» (1831), — знаю только, что ни за что бы на свете не вышла за пьяницу. Кому любо жить с ним? Несчастливая доля семье той, где выберется такой человек; в хату и не заглядывай: нищенство да голь; голодные дети плачут... Нет, нет, нет! Пусть Бог милует! Дрожь обдает меня при одной мысли об этом...». В «Ночи перед Рождеством» Гоголь прямо изображает подобную семью пьяницы кума Панаса, крыша дома которого «в некоторых местах была без соломы. Плетня видны были одни остатки <...> Печь не топилась дня по три».

Одним из основополагающих мотивов «Вечеров на хуторе близ Диканьки» является тема опадения человека от данного ему Божественного откровения — тема преступления христианских заповедей ради пустых, продиктованных тщеславием и гордостью светских приличий, или же нарушение заповедей ради плотских, греховных удовольствий. Непосредственным проявлением этой темы можно назвать часто изображае-

* как

** мало

мое Гоголем в его «сказках» несоблюдение героями церковных постов. На эту черту героев Гоголь указывает почти во всех повестях цикла — в «Вечере накануне Ивана Купала», «Пропавшей грамоте», «Ночи перед Рождеством», «Иване Федоровиче Шпоньке...». Особым образом этот мотив преломляется в «Майской ночи», в «Страшной мести».

Соответствующее упоминание о посте есть и в «Сорочинской ярмарке». Слова автора о том, что действие его рассказа начинается в «одни из дней жаркого августа», и диалог героев о только что прошедшем посте, указывают здесь на Успенский пост (продолжающийся с 1 по 14 августа ст. ст.). Как и в других повестях, главной здесь является мысль о его преступном нарушении. «...Батюшка всего получил за весь пост мешков пятнадцать ярвого, проса мешка четыре... — сообщает «любезнейшей» Хавронье Никифоровне пришедший к ней в гости попович. — <...> Но единственно сладостные приношения <...> единственно от вас предстоит получить, Хавронья Никифоровна!» Замечателен сам этот весьма легкий — как бы вполне «естественный» для героя — переход от разговора о приношениях прихожан священнику во время поста — к предвкушению «сладостных приношений» щеголихи Хиври²². Сама возможность сравнения добродетельных пожертвований мирян на поддержание в селе атмосферы набожности и благочестия (средоточие которых и являет в миру духовное лицо) — с греховными удовольствиями показывает, что смысл поста, заключающийся в сугубом воздержании от греха, совершенно утрачен для «поповича» Афанасия Ивановича (пост для которого — всего лишь время «приношений»). В библейской истории, которую, вероятно, имел в виду Гоголь, создавая образ своего «поповича» (сына священника), находится прямое соответствие этому эпизоду повести. Это рассказ о «погибельных сыновьях» священника Илия в Первой Книге Царств, которые, презирая «долг священников в отношении к народу», развращали народ, отнимая приносимое в жертву Богу, — «что вынет вилка, то брал себе <...> и говорил приносившему жертву: дай мяса на жаркое священнику», — и спали с «женщинами, собиравшимися у входа в скинию собрания» (гл. 2, ст. 12—17, 22).

Важен для понимания замысла повести эпиграф к ее кульминационной, восьмой главе, как бы прообразующий настаивающее героев за грехи возмездие:

...Піджав хвіст, мов собака,
Мов Каїн, затрусивсь увесь;
Із носа потекла табака.

Котляревский. Энеида.

(Поджав хвост, как собака, как Каин, затрясся весь, из носа потек табак; укр.)

Так в «Энеиде» Котляревского описывается состояние главного героя, Энея, когда тот, забыв о своем назначении и погрузившись в разгульное пьянство, получает от Зевеса — через Меркурия — порядочный нагоняй. По своему содержанию («Ужас оковал всех находившихся в хате») эта глава «Сорочинской ярмарки» представляет собой как бы будущую немую сцену «Ревизора», в которой, по замыслу Гоголя, Сам Бог наказывает обремененных грехами чиновников, попуская им испытать при известии о грядущей ревизии разные «степени боязни и страха» — «вследствие великости наделанных каждым грехов».

Еще в «Ганце Кюхельгартене» Гоголь писал:

Выходят звезды плавным хором,
Обозревают кротким взором
Опочивающий весь мир;
Блюдут сон тихий человека,
Ниспосылают добрым мир,
А злым — яд губительный упрека.

С этим же мотивом связаны образы загробных мстителей в гоголевских набросках, создававшихся одновременно с «Вечерами...», — главах из романа «Гетьман»: «Глава из исторического романа» (1830), «Кровавый бандурист» (1830—1832).

В замысле «немой сцены» «Сорочинской ярмарки» — как «сцене» возмездия — прямо сказалось, таким образом, с одной стороны, отмеченное отрицательное отношение Гоголя к «детским предрассудкам» и суевериям, с другой — особый взгляд на народные верования Гоголя-историка. Богатство народной мифологии, — в частности, славянской, — как бы свидетельствует, на взгляд писателя, о богатстве породившей ее веры, веры в невидимый мир.

В 1902 году В. Н. Мочульский, размышляя о непонимании Гоголя современной критикой, так объяснял своеобразие творческого пути писателя: «Тогдашняя критика никак не могла отрешиться от своего взгляда на народные сказания как не нечто пустое-фантастическое. Но для народа эти предания и сказания не были продуктом фантазии: они были для него верованием, наполнявшим его душу <...> Другой вопрос, все ли эти верования имели одинаковую цену для народа. Несомненно, что многие верования из языческой поры еще тлеют в душе народа <...> Но <...> вера в бесов, в бесовские наваждения, которым уделено значительное место в повестях Гоголя, носит, несомненно, характер позднейших культурных наслоений. <...> Жизнь Украины всегда тесно была связана с матерью русских городов — Киевом, его Печерской Лаврой <...> Неудивительно, что многие сказания о Киевских святых, где говорится о кознях дьявольских, о борьбе с ними святых и о победе их над бесовской

силой, перешли в верования народные и вошли, так сказать, в их плоть и кровь. Вот почему Гоголь и захватил так глубоко народную жизнь, что сумел проникнуть в самые недра народного духа. Вместе с этими преданиями и народными верованиями Гоголь уже на первых порах своей художественно-творческой деятельности <...> становился на путь народной психики и <...> в сравнительно короткий период времени, достиг высшего искусства в психологическом анализе человеческой души, каким ознаменована его дальнейшая творческо-художественная деятельность»²⁴.

«...Жажда бессмертия уже кипит и в неразвившемся человеке», — замечал Гоголь в статье «О движении народов в конце V века» (1835). «Религия славян, — размышлял он в заметке «Собственные результаты о славянах», — становилась менее сложной, где терялось первое познание жизни». В набросках лекций по истории средних веков, читанных Гоголем в 1834—1835 годах в Петербургском университете, он писал: «Вера и глубокое почитание варварскими народами жрецов дают в самом начале силу христианским священникам и духовенству» (заметка «История духовной власти в средние века»). Согласно размышлениям Гоголя, даже исполненные языческих суеверий старинные народные сказки обладают — в сравнении с человеком, утратившим всякую веру, — живительной силой, ибо несут в себе и породившую их веру в загробный мир — следовательно, и ждущее каждого человека воздаяние. «О, как чудесно вы свой мир / Мечтою, греки населили! — восклицал герой юношеской поэмы Гоголя Ганц Кюхельгартен. — <...> А наш — и беден он и сир, / И расквадрачен он на мили». Это восклицание следует в поэме прямо за картиной жизни древних Афин, где упоминается, в числе прочего, и о «жажде» бессмертия, «кипящей и в неразвившемся человеке»:

Под портиком божественный мудрец
Ведет высокое о дальнем мире слово;
Кому за доблести бессмертие готово,
Кому позор, кому венец.

Напротив, «расквадраченность» на мили современного героя мира прямо отзывается в строках письма Гоголя к матери от 25 августа 1829 года из Германии с описанием своеобразных «немецких Сорочинцев» — старинного торгового города Любека: «Поля здешние разделены на небольшие участки, которые все обсажены в два ряда кустарничками».

Смешанный с суевериями страх перед потусторонними силами играет, таким образом, в жизни героев «Сорочинской ярмарки» — сластолюбивого поповича, Хиври, Черевика — весьма немаловажную роль — хотя бы в «таинственные часы сумерек».

ВЕЧЕР НАКАНУНЕ ИВАНА КУПАЛА

В «Вечере накануне Ивана Купала» Гоголь также, несмотря на сказочный сюжет, ставит проблемы весьма серьезные. Повесть исполнена как верных черт быта, так и проницательных наблюдений в обрисовке характеров героев. Характерно, что мать Гоголя, получив от сына журнал, где была опубликован без имени автора «Бисаврюк, или Вечер накануне Ивана Купала», легко догадалась, кто был создателем повести. По ее словам в письме к Павлу П. Косяровскому от 11 июля 1830 года, в «Вечере накануне Ивана Купала» «помещены мужиков наших имена и фамилии, которые он находил странными»²⁵.

Глубокой психологической правдой отличается, в частности, описание состояния главного героя повести после совершенного преступления: «...Будто сквозь сон, вспомнил он, что искал какого-то клада <...> Но за какую цену, как достался он, этого никаким образом не мог понять <...> и все думает об одном, все силится припомнить <...> и <...> не может вспомнить <...> и после снова принимается припоминать, и снова бешенство, и снова мука...». Впоследствии Ф. М. Достоевский в «Преступлении и наказании» почти буквально повторил это описание психологического состояния преступника после совершенного убийства²⁶. Характеризуя мучительное забытие, в которое погрузился Раскольников после убийства старухи процентщицы, Достоевский писал: «Иной раз казалось ему, что он уже с месяц лежит; в другой раз — что все тот же день идет. Но об том,— об том он совершенно забыл; зато ежеминутно помнил, что об чем-то забыл, чего нельзя забывать,— терзался, мучился, припоминая, стонал, впадал в бешенство или в ужасный, невыносимый страх».

В первоначальной, журнальной редакции повести Гоголь объяснял «забывчивость» своего героя прельщением доставшимся богатством: «...Каким образом достал он клад <...> никак не мог понять.— Да и до того ли, когда перед глазами такая несметная куча денег?» Эта черта героя была еще более подчеркнута рассказчиком в эпизоде встречи Петруся с Бисаврюком в шинке (Бисаврюком, а не Басаврюком, назывался герой в первоначальной, журнальной редакции), когда тот пообещал «выручить» его из беды: «Часто видел он Бисаврюка, но тщательно избегал с ним всякой встречи <...> а теперь был готов обнять дьявола, как родного брата. Ведь иной раз нахождение бесовское так ошеломит тебя, что сам пресловутый сатана <...> покажется ангелом». «...Деньги в карманах, так и лукавый станет ангелом»,— пояснял рассказчик в черновой редакции «Сорочинской ярмарки».

Такого же рода психологической верностью отличается в повести рассказ о попытках героя овладеть кладом: «Уже хотел он было достать его рукою, но сундук стал уходить в землю, и все, чем далее, глубже, глубже...». В 1832 году Гоголь, собирая материалы для задуманной им тогда комедии, записал следующее «старое правило», содержание которого поясняет упомянутый эпизод «Вечера накануне Ивана Купала»: «...Уже хочет достигнуть, схватить рукою, как вдруг помешательство и отдаление желанного предмета на огромное расстояние. Как игра в наикиду и вообще азартная игра». Это «правило» было положено тогда же Гоголем в основу незавершенной комедии «Владимир 3-й степени», или «Владимирский крест». По воспоминаниям А. Н. Афанасьева о ее содержании, «герой комедии добивается получить Владимирский крест, и судьба несколько раз безжалостно обманывает его чиновничье честолюбие: уже, кажется, все сделано, вот-вот повесят Владимирский крест, а тут как нарочно что-нибудь да помешает. Последняя неудача сводит героя комедии с ума»²⁷. Преступление героя «Вечера накануне Ивана Купала» Гоголь тоже изображает как прямое сумасшествие («Как безумный, ухватился он за нож...»). Герой «Записок сумасшедшего», замысел которых прямо восходит к «Владимиру 3-й степени», рассуждает также в полном согласии с «старым правилом»: «Найдешь себе бедное богатство, думаешь достать его рукою, — срывает у тебя камер-юнкер или генерал». (Очевидно, что и судьба Чичикова в «Мертвых душах», все предприятия которого, направленные к обогащению, срываются одно за другим, строятся Гоголем в соответствии с этим «правилом» — и в прямом созвучии с его ранней повестью: «...Как только начинаешь <...> уже касаться рукою... вдруг буря, подводный камень, сокрушенье в шепки всего корабля».)

Заметим теперь, что свое преступление стремящийся к обогащению герой «Вечера накануне Ивана Купала» совершает в пост. День Ивана Купала — Рождества Иоанна Предтечи — всегда приходится на Петров пост (начинающийся в период между 17 мая и 20 июня ст. ст., с понедельника после недели Всех святых, и оканчивающийся 28 июня ст. ст.) Это отпадение героя, Петра Безродного, от церковных обычаев подчеркивается в повести и самой неблагоприятностью его отчаянного прихода в сельский шинок. Петрусь появляется здесь, по замечанию рассказчика, «в такую пору, когда добрый человек идет к заутрене».

Объединяет «Вечер накануне Ивана Купала» с другими повестями цикла и то, что этот рассказ тоже посвящен изображению «невидимой брани» темных сил за душу человека. Так, грехопадение главного героя начинается, согласно замыслу Гоголя, вовсе не с упомянутого момента его появления в шинке (и встречи здесь Петруся с «дьяволом в человеческом образе» Басаврюком). Падение его готовится исподволь задолго до

этого события. Яркие обольстительные наряды красавицы Пидорки — шитый золотом кунтуш, красные сафьяновые сапоги «на высоких железных подковах», разноцветные, парчовые ленты, — все это прямо служит к тому, что прельщенный обаянием своей возлюбленной Петрусь решает ради нее сначала «идти в Крым и Туречину, навоевать золота», а затем прямо поднимает руку на жизнь другого человека, брата Пидорки.

«...Желаю, — говорит св. апостол Павел, — чтобы <...> жёны, в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием, украшали себя не плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоценною одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию»²⁸. Иное желание у стороны противоположной, представителем которой в гоголевской повести является «бесовский человек» Басаврюк. С его пребыванием в селе и связывает Гоголь происхождение женских обольстительных украшений: «Пристанет, бывало, к красным девушкам: надарит лент, серег, монист — девать некуда!» Этому смысловому зачину повести соответствует и ее финал — покаяние Пидорки, как бы прямо указывающее на должное употребление земной красоты: «Куда ушла она, никто не мог сказать <...> но приехавший из Киева козак рассказал, что видел в лавре монахиню, всю высохшую, как скелет, и беспрестанно молящуюся, в которой земляки по всем приметам узнали Пидорку <...> что пришла она пешком и принесла оклад к иконе Божьей Матери, исцвеченный такими яркими камнями, что все замуривались, на него глядя»*. Поступок Пидорки, принесшей в монастырь драгоценный дар, прямо соответствует одному из событий Священной истории, когда на построение богослужбной скинии каждый из народа принес Моисею потребные материалы и украшения: «И принесоша мужие от жен своих <...> печати, и усерязи, и перстни, и пленицы, и мониста <...> в дар Господу»²⁹ **.

Гоголь как художник высоко ценил красоту и дорожил ею. Греховное и недостойное ее употребление он считал «святотатственным». Позднее, в повести «Рим» он, в частности, замечал о герое, увлеченном изучением древних памятников: «Ему неприятно бы было выйти после всего этого в модную улицу с блестящими магазинами, шеголеватостью людей и экипажей: это было бы чем-то развлекающим, святотатственным». В «Вечерах на хуторе близ Диканьки» тема греховного употребле-

* О собственной вине в гибели Петруся Пидорка в первоначальной редакции повести замечала: «...Он для меня погубил, может быть, свою душу...» — «...и целый день простаивала перед иконою, да молилась о спасении души Петра».

** Печать — здесь: перстень с изображением, употреблявшийся вместо печати. «Усерязь, серьги» (гоголевский «объяснительный словарь» русского языка). «Пленица, ожерелье» (там же).

Красота
ния красоты является одной из важнейших. Наиболее явственно на демоническое начало в женском украшателстве Гоголь указывает в «Пропавшей грамоте», упоминая о «разряженных, размазанных» — «словно панночки на ярмарке» — пляшущих ведьмах в «пекле». Этой же теме посвящён целый ряд записей, внесенных Гоголем в период создания «Вечеров...» в его «Книгу всякой всячины...», в частности, одна из выписок из «Энеиды» Котляревского, содержание которой непосредственно отзывается в упоминании о «размазанных, разряженных» ведьмах «Пропавшей грамоты». Это строки о беспечных «молодицах» и о том, за что они терпят муки в аду:

Бо шоки терли манією,
І блейвасом і ніс, і лоб...
Ялзили все смальцем губи,
Щоб подвести людей на гріх* ...

В другой выписке Гоголя, «Одежда и обычаи русских. (Из Олеария³⁰)», читаем: «Женщины в России обыкновенно росту среднего, стройны и хороши лицом, но в городах все до одной белятся и румянятся :ак грубо, как будто бы они были вымазаны мукою и натерли себе шски краскою. Они также чернят брови и ресницы. Жена боярина Ивана Борисовича Черкасского, необыкновенно прекрасная лицом, не соглашалась в начале замужества своего белиться и румяниться; другие боярские жены обвиняли ее гласно в пренебрежении обычаев и она принуждена была согласиться. Так как обычай сей сделался повсеместным, то каждый жених вмняет себе в обязанность перед свадьбой, между прочими подарками, доставить невесте своей ящичек с белилами и румянами».

Последняя выписка чрезвычайно характерна для Гоголя и много дает для понимания его ранних произведений. Она показательна тем, что отражает постоянный интерес писателя — не оставивший его на протяжении всей жизни — к незаметному, «обыкновенному» греху — такому, совершение которого в обществе порой не только не порицается, но и поощряется, превращается в «нестыдный обычай», даже в обязанность — в «закон». Борьбу с этими общепринятыми «законами света» Гоголь начал с самых ранних произведений, и позднее, в статье «Чем может быть жена для мужа в простом домашнем быту, при нынешнем порядке вещей в России» (1846), писал: «...Настоящее *comme il faut*** есть то, которое требует от человека Тот Самый, Который создал его, а не тот, который при-

* Манья — сурик, красная краска. Блейвас — свинцовые белила (нем. Bleiweiß). Смалец — стопленный жир, сало.

** *Comme il faut* (комильфо; фр.) — *буквально*: как надо, как следует; прилично, в соответствии с правилами светского приличия.

водит в систему обеды, <...> и не тот, который сочиняет всякий день меняющиеся этикетки, даже и не сама мадам Сихлер»*.

В этой атмосфере господства мирских «законов» и обычаев человек начинает оцениваться не с нравственной или духовной стороны, а почти исключительно с точки зрения исполнения им «тонких обычаев света». «Законы света» и питающая их гордость, царят, как показывает Гоголь, не только в «высоком» аристократическом кругу, но и в душах самых простых людей. Более того. С точки зрения этих «общепринятых» пустых или прямо греховных обычаев оценивается гоголевскими героями не только качества людей, живущих в миру (собственно «мирян»), но даже лица духовного звания. Так, например, в предисловии к первой части «Вечеров...» «издатель» этой книги сельский пасичник Рудый Панько хвалит рассказчика нескольких своих повестей — в том числе «Вечера накануне Ивана Купала» — местного дьячка Фому Григорьевича: «И то сказать, что люди были вовсе не простого десятка, не какие-нибудь мужики хуторянские. Да, может, иному, и повыше пасичника, сделали бы честь посещением. Вот, например, знаете ли вы дьяка диканьской церкви, Фому Григорьевича?» — Далее выясняется, что в пример Рудый Панько ставит Фому Григорьевича вовсе не потому, что он дьяк, то есть духовное лицо, но, напротив, как раз за то, что тот отличается от «людей его звания» блестящими светскими «достоинствами» — тем, что он «никогда не носил пестрядевого халата, какой встретите вы на многих деревенских дьячках» (халата из пестряди — грубой домашней ткани из разноцветных ниток), а ходил «в балахоне» из тонкого дорогого сукна — «цвету застуженного картофельного киселя», — «за которое платил <...> в Полтаве чуть не по шести рублей аршин»**;

* Имеются в виду сестры Сихлер, или Циклер (Sichler), портнихи, владельцы модных магазинов в Петербурге и Москве. В первой редакции повести «Портрет» (1835) Гоголь, имея в виду этих законодательниц петербургской моды, упоминал, в частности, о нетерпеливом желании молодой дочери светской дамы встретиться с приятельницей, чтобы рассказать, «какую мадам Сихлер сделала уборку к платью княгини Б.». Имя Сихлер часто встречается в письмах и бумагах А. С. Пушкина. 8 декабря 1831 года он писал жене из Москвы: «Москва полна еще пребыванием Двора <...> и еще не отдохнула от балов. Цыхлер сделала в один месяц 80 тысяч чистого барыша». У Сихлер постоянно заказывала свои наряды сама Н. Н. Пушкина. «...Воображаю первое число, — писал ей поэт 2 сентября 1833 года. — Тебя терзает за долги, Параша, повар, извозчик, аптекарь, M^{de} Sichler etc., у тебя не хватает денег...». Вплоть до самой смерти Пушкина долги Сихлер неизменно обновлялись.

** Цвет «балахона» Фомы Григорьевича — «застуженного картофельного киселя» — несомненная пародия на тогдашние причудливые названия модных мате-

дегтем, а «самым лучшим смальцем» — «какого <...> с радостью иной мужик положил бы себе в кашу»*; тем также, что, вытирая нос, пользо-

рий: цвета поджаренного хлеба, лесных каштанов, нильской воды, влюбленной жабы, «наваринского пламени с дымом» и т. д. Такого рода названия часто встречались в журналах первой половины XIX века в описаниях европейских (парижских) мод (см.: *Опришко А. Я., Котенко Н. В.* Наваринского дыма с пламенем... // *Русская речь.* 1988. № 5, сентябрь-октябрь. С. 140—145; *Кирсанова Р. М.* Превращения фрака «наваринского дыму с пламенем» // *Н. В. Гоголь. Материалы и исследования.* М., 1995. С. 230—238).

* Существовал строжайший именной указ нововводителя европейских порядков на Руси Петра I (от 17 января 1718 года) о недопустимости ношения россиянами кожаной обуви, изготовленной на дегте, а не на сале, — «под страхом конфискации и галер, как обыкновенно кончаются хозяйственные указы Петра», по замечанию А. С. Пушкина (*Пушкин. История Петра* // *Полн. собр. соч.*: В 16 т. М.; Л., Изд-во АН СССР. 1950. Т. 10. С. 237). См. в указе Петра: «...чтоб с будущего 1719 года, ни в домах, ни в рядах кож и обуви не осталось старого дела с дегтем; а кто сей указ преступит, тот будет лишен всего своего имения, и сослан будет с наказанием на вечную работу на галеры...» (О неделании промышленниками юфти с дегтем, о приготовлении оной с ворванным салом и о неимении никому с 1719 года кож и обуви старого дела с дегтем // *Полн. собр. законов Российской империи, с 1649 года.* СПб., 1830. Т. 5. С. 531). Возможно, гоголевский дьячок Фома Григорьевич в данном случае представляет собой — в отличие от простых «мужиков хуторянских» — прямого сторонника петровских преобразований, являясь таким образом на селе носителем вполне «европейской» светскости. Не случайно, сельский голова в «Ночи перед Рождеством» на вопрос о том, чем он смазывает сапоги, «смальцем или дегтем», утверждает: «Дегтем лучше!». На некую «оппозиционность» героев «Ночи перед Рождеством» петербургской светскости (с противопоставлением ей собственного, «национального» щегольства) призвано, вероятно, указывать и упоминание о запорожцах, коротающих время в ожидании приема у Екатерины II, сидя на роскошных диванах в «намазанных дегтем сапогах». Ср. у В. Т. Нарезного: «В Украине у простолюдинов почитается за щегольство, чтоб обувь сколь можно чаще вымазана была дегтем, а особливо в праздничные дни» (*Нарежный В. Т.* Гаркуша, малороссийский разбойник // *Нарежный В. Т.* Славенские вечера. М., 1990. С. 458). «Кажется, пустая вещь сапоги, — рассуждает в свою очередь у Гоголя «просвещенный» петербургский чиновник Подколесин в «Женитьбе», — а ведь, однако же, если дурно шиты да рыжая вакса, уж в хорошем обществе и не будет такого уважения». О ваксе как примете европейской «цивилизованной» роскоши — сменившей и сало и деготь — говорится, в частности, в одной из малороссийских комедий (опубликованной почти одновременно с гоголевскими «Вечерами...»), в которой провинциальный помещик, «просвещенный» в Москве европейской роскошью, обращается к жене: «...Нехай вин зараз обуе чоботы — тильки мини щоб ни олия <ни масло>, ни сало ни воняла вид них <...> Чоботы треба мазать <...> ваксою <...> я купыв ни на

вался платком, который, «по обыкновению», аккуратно складывал «в двенадцатую долю и прятал в пазуху». Еще об одном светском «достоинстве» Фомы Григорьевича сообщает Рудый Панько в предисловии ко второй части «Вечеров...»: «...Кажется, и не знатный человек, а посмотреть на него: в лице какая-то важность сияет, даже когда станет нюхать обыкновенный табак, и тогда чувствуешь невольное почтение».

Но можно заметить, что именно дьяку Фоме Григорьевичу принадлежат в «Вечерах...» реплики, обличающие в нем, по воле автора, изрядного суевера — что, конечно же, несовместимо с его духовным званием, но вполне объяснимо в нем как ревностном исполнителе мирских «законов», заключающих в себе, помимо «законов света», такую же «законодательную» власть суеверных преданий. На эту «способность» суеверий занимать в душе человека, по степени его духовной неразвитости, место веры и «выполнять» для него роль самого откровения указывает рассказчик «Сорочинской ярмарки», когда, передавая досужие толки ярмарочного люда о нечистом, замечает, что «все считали преступлением не верить» им. Суеверные реплики дьяка Фомы Григорьевича призваны, вероятно, по замыслу автора, явить читателю истинную цену светских «достоинств» героя.

Эту черту сельского дьячка Гоголь и подчеркивает в «Вечере накануне Ивана Купала», рассказывая о суеверии Пидорки — над которой, как «простодушно» замечает тут Фома Григорьевич, «раз кто-то уже сжалился» и для исцеления мужа — «посоветовал идти к колдунье». (Такой же, например, авторской иронией проникнуто в «Вечерах...» и замечание в повести «Иван Федорович Шпонька и его тетушка» о «добродетельном книгопродавце», выпустившем, к соблазну читателей, гадательную книгу — и, «по своей редкой доброте и бескорыстию», поместившем в ее конце «сокращенный снотолкователь».) По церковным правилам, обращающиеся к колдунам лишаются, по степени вины, участия в таинствах на несколько лет и отлучаются от Церкви. Обращения Пидорки в «Вечере накануне Ивана Купала» к знахарям и колдунье подчеркнута противопоставлено автором упоминание в начале повести о бывшей в селе церкви Святого Великомученика и целителя Пантелеимона, к которому, очевидно, и следовало прибегнуть за настоящей помощью.

десять рублив, и миркую, шо може стане на два мисяци» (Т. М. Быт Малороссии в первую половину XVIII столетия // Новый Живописец Общества и Литературы. 1831. Декабрь, № 23 (ценз. разр. 22 февр. 1832). С. 384—385).

МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ УТОПЛЕННИЦА

Реальные черты быта родной Васильевки отразились у Гоголя и в повести «Майская ночь». Наиболее явственно эти бытовые реалии сказались здесь в размышлениях героев об одном из новейших изобретений цивилизации — применении паровой силы. «Ну, сват, вспомнил время! — говорит в повести один из героев, винокур. — Тогда от Кременчука до самых Ромен не было ни одной винницы. А теперь... Слышал ли ты, что проклятые немцы повыводывали? Говорят, станут курить не так, как все христиане добрые, а как-то паром».

Хотя «критика» здесь винокуром «прогрессивного» немецкого винокурения, конечно же, лукава (сам он говорит о пьянице Каленике: «Это полезный человек; побольше такого народу — и винница наша славно бы пошла...»), однако в ней отношение самого Гоголя к использованию этого изобретения — «курению паром» — проглядывает достаточно очевидно. В 1824 или в начале 1825 года отцу Гоголя, Василию Афанасьевичу, было сделано предложение об устройстве паровой винокурни — подобная имелась уже по соседству в имении его богатого родственника Д. П. Трошинского. (Винокурня Трошинского представляла собой один из первых в Малороссии винокуренных заводов.) В 1819 году Василий Афанасьевич писал Трошинскому, что на «производство винокурения парами» он и другие («мы с простыми умами») смотрят «как на некое чудо»³¹. Вероятно, отношение Василия Афанасьевича к этому проекту было отрицательным. Ибо по сравнению с соседскими имениями васильевская винокурня всегда была чрезвычайно мало производительна, так что горелку даже покупали у соседей. (Винокурение на Украине составляло одну из существенных статей дохода.) Уже после смерти мужа мать Гоголя, стесненная в материальных средствах, приобретает оборудование для парового винокурения*, — как позднее, в 1833 году, она пытается завести в своем имении — под началом какого-то «шарлатана, австрийского подданного» — кожевенную и сапожную фабрики — не довольствуясь той кустарной выделкой кожи, которая была при Василии Афанасьевиче³². Примечателен стихотворный «девиз» отца Гоголя:

Одной природой наслаждаюсь,
Ничьим богатством не прельшаюсь,
Доволен я моей судьбой,
И вот девиз любимый мой³³.

* В 1829 году, однако, часть оборудования — «медный куб из винокурни» — пришлось продать, чтобы рассчитаться с долгами (*Сажин В.* На пороге. Из архивных разысканий о Н. В. Гоголе // *Звезда.* 1984. № 4. С. 178).

Вероятно, Мария Ивановна имела основания незадолго до смерти мужа жаловаться ему в письме на недостаток средств: «...Все говорят и думают, что мы богаты, а от скупости не хотим ничего иметь, и не знают нашей, иногда крайней нужды...»³⁴.

Воспоминанием родных мест отзывается в повести и описание майского «гулянья» парубков и их ряженья. Вообще говоря, тема ряженья — одна из «сквозных» для повестей «Вечеров...». Помимо «Майской ночи», эта тема затрагивается в «Сорочинской ярмарке» («сатана в костюме ужасной свиньи»), в «Вечере накануне Ивана Купала» (свадебное ряжение). Необходимо поэтому хотя бы отчасти коснуться вопроса об отношении Гоголя к «карнавальному» народному веселью в целом.

В гоголевской «Книге всякой всячины...» обращает на себя внимание выписка «Нечто о русской старинной масленице», почерпнутая из немецкого издания книги иностранного путешественника по России XVI века, П. Одерборна, «Жизнь царя Иоанна Васильевича Грозного» (Гоголь пользовался публикацией «Московского Вестника» за 1827 год³⁵). Гоголь выписал отсюда следующие строки: «Масленица начинается за 8 дней до Великого Поста; в продолжение ее обжорство, пьянство, игра и убийство только и слышны. <...> Страсть к игре невероятна. Русский проигрывает все, даже жену, детей и наконец становится рабом и с отчаяния убивает своего счастливого соперника».

В этом критическом описании немецкого автора «русской старинной масленицы», Гоголь не без оснований усматривал выражение не столько собственно «русских», сколько общечеловеческих пороков. Характеризуя в 1834 году в статье «О движении народов в конце V века» быт древних германцев, он, в частности, замечал: «Азартность их более всего оказывалась в игре, в которую заигрывался древний германец до того, что проигрывал свой дом, оружие, жену, детей, наконец, самого себя и становился рабом,— состояние нестерпимее для него самой смерти!».

В самой публикации «Московского Вестника», откуда Гоголь сделал свою выписку, кроме того говорится: «Масленица напоминает мне итальянский карнавал, который в то же время и таким же образом отправляется. <...> Карнавал тем только отличается от масленицы, что в Италии день и ночь в это время ходит дозором конная и пешая городская стража и не позволяет излишнего буйства»³⁶.

Позднее в своих письмах из Италии Гоголь не раз сравнивал римский карнавал с русской масленицей. 2 февраля н. ст. 1838 года вслед за рассказом А. С. Данилевскому о римском карнавале он замечал: «Маминька пишет, что и у нас есть маски». Три месяца спустя, 28 апреля н. ст., о карнавале — «то, что называется у нас масленицею» — Гоголь рассказывал сестрам. Известно, что сам Гоголь в молодости принимал участие в святочном ряжении. По позднейшим рассказам сестер писателя

о времени пребывания Гоголя на родине и учебы его в Нежинском лицее, зимой, на святках — после Рождественского поста — «вся семья была в сборе; приезжал и Никоша, «Нежинский гость», как его называли; он-то бывал главным распорядителем во всех <...> святочных забавах. Сестры рядились во фраки или узкий лицейский мундир, выворачивали наизнанку шубы, а мужчины, в том числе и Николай Васильевич, в женское платье <...> И вся эта наряженная компания с визгом, смехом, песнями неслась по улицам села к соседям...»³⁷.

Есть переключки у изображаемого Гоголем в «Вечерах...» ярмарочного и свадебного ряженья (о котором, кстати, рассказчик прямо замечает: «А как начнут дуреть да строить штуки... ну, тогда хоть *святых выноси*»; курсив наш.— *И. В.*) и с его ранними петербургскими впечатлениями. «Тут, брат, не так, как у нас на хуторах, правда, не так? Когда хочешь, мы тебя поведем на новый год. Будет машкерад большой», — говорят запорожцы прибывшему в Петербург кузнецу Вакуле в черновой редакции «Ночи перед Рождеством». 8 февраля 1833 года сам Гоголь писал матери из Петербурга: «Каково вы провели масленицу? Уж верно не так, как здесь ее проводят. Теперь только Матрена с супругом <Яким Нимченко с его жена Матрена — слуги Гоголя> возвратилась из балаганов и, крестясь от страха, рассказывает, как при ее глазах разрезали человека на несколько частей, даже кровь лилась, и он, как ни в чем не бывало, ожил и начал ходить, кривляться и паясничать, как прежде...». Немного позднее эти впечатления были использованы Гоголем в «Тарасе Бульбе» в описании казни запорожцев в Варшаве — в частности, в упоминании здесь о любопытствующей праздной толпе: «Множество старух, самых набожных, множество молодых девушек и женщин, самых трусливых <...> не пропускали, однако же, случая полюбопытствовать». В статье «Петербургская сцена в 1835—36 г.» Гоголь в свою очередь замечал о европейском репертуаре петербургских театров: «Что сильнее бросается в глаза: каторга, убийство. Чем можно испугать и произвести судороги, что движет эшафот кровавою тенью. <...> Эффекты — те, которые действуют на грубую черствую и притом притупленную площадную развратностью природу <...> Какое странное явление! в наш век, когда во всяком обществе существует число людей, исполненных тонко-возвышенного вкуса, и вдруг такие зрелища <...> на которые собиралась смотреть вся римская чернь, стало быть, властительная масса государства...». В «Петербургских записках 1836 года» мелькает у Гоголя — после описания театрального «зимнего карнавала» — и упоминание о вывеске ярмарочного масленичного балагана, с нарисованным на ней «пребольшим рыжим» нечистым «с топором в руке». — Надо сказать, что в то время, когда Гоголь писал эти строки, по всей России еще была свежа память о страшном пожаре петербургского балагана И.-А. Лемана, случившемся на масленицу 2 фев-

раля 1836 года — в огне которого погибло 127 человек и тяжело пострадало 32. Гоголь упоминал об этом «страшном леманском пожаре» в письме к Н. Д. Белозерскому от 21 февраля 1836 года и, чуть ранее, в письме к матери от 10 февраля: «Я к вам пишу, выпроводивши масленицу, которая была здесь не так шумна, потому что смущена была несчастным приключением. Во время представления сторел балаган со всеми зрителями, из которых едва половину могли спасти. Это много помешало всеобщей веселости, которая всегда бывает в это время».

Как отмечал в 1836 году в своем дневнике А. В. Никитенко, увеселительный масленичный балаган Лемана к тому времени «уже несколько лет» (с конца 1820-х годов) занимал среди петербургских балаганов «первое место». «У нас идея о масленице неразрывно соединена с идеею о Лемане,— передавал в 1834 году в «Северной Пчеле» Ф. В. Булгарин слова некоего «любителя карнавальная драматургии» (вероятно, В. М. Строева).— Спросить у кого-нибудь: *скоро ли будет масленица?* — значит то же, что сказать: *скоро ли Леман начнет представления?*»³⁸. «У дверей его храма удовольствий,— добавлял А. В. Никитенко,— так тесно, как в церкви в большой праздник до проповеди»³⁹. Именно в балагане Лемана и устраивались те французские пантомимы-арлекинады (с участием Коломбины, Пьеро и Арлекино) — с «разрезанием» человека на несколько частей,— которое видели на масленицу 1833 года гоголевские Яким и Матрена Нимченко⁴⁰. В 1831 году Ф. В. Булгарин писал о лемановском балагане: «Пред глазами зрителя производятся такие чудеса, что едва верится! <...> Арлекин, убитый из ружья, распадается на части, и вдруг начинается операция. Ему приклеивают ноги, руки, голову к туловищу, и он воскресает <...> и все производится в действо так ловко, что глаз <...> не примечает обмана»⁴¹. Сродни представлениям Лемана был, по отзывам современников, и петербургский «карнавал» в «серьезных» театрах: «Мы были бы слишком несправедливы, если бы не признались, что Леман имеет чудесный дар предупреждать наших драматургов. Все, что теперь влечет нас в театр, все это мы давно уже видели у Лемана <...> Только Леман не так злопамятен, как Виктор Гюго, не так разрушителен, как Дюканж, не так закоренел в злодействе, как Дюмас. Леман добр по природе, и потому, если убьет кого-нибудь, то через минуту опять воскресит; если оторвет у Пьеро голову, то, из жалости, опять скоро возвратит ее туловищу; если разрежет Арлекина на части, то немедленно склеит их...»⁴².

Несомненно, Гоголь трезво оценивал ту «всеобщую веселость», которая царил в Петербурге во время масленицы — недели, являющейся, согласно установлениям Церкви, преддверием Великого Поста, началом подвигов воздержания. Любопытно, что похожее (как на вывеске сгоревшего на масленицу балагана Лемана) соседство «топора» и нечистого встречается позднее у Гоголя в повести «Рим», в образе одного из участ-

ников римского карнавала итальянца Пеппе — у которого «нос» был «как большой топор» и которому однажды приснилось, «что сатана потащил его» за этот «нос». Страсть же к игре этого Пеппе — избавившая его от опасной (но весьма любопытной для зрителей) — «кровавой сцены» с толстым Рафаэлем Томачели, прямо перекликается с упомянутой выше выпиской Гоголя из «старинной немецкой компиляции» (в лейпцигском издании книги П. Одерборна), повествующей о языческих обычаях римского карнавала и старинной русской масленицы (азартные игры, убийства). Все эти многочисленные параллели, несомненно, свидетельствуют о том, что ни римскую карнавальную жизнь, ни русское масленичное или святочное гулянье Гоголь ни в ранних, ни в поздних своих произведениях отнюдь не идеализировал.

Такое именно отношение и характеризует изображение святочной «гульбы» парубков в «Майской ночи». — Действие этой повести происходит, судя по времени года (май), в так называемые Троицкие святки — на «зеленой», или «русальной» неделе, начинающейся с праздника Святой Троицы. Описанию народных поверий, связанных с этой неделей, посвящена выписка Гоголя из упоминавшейся уже книги М. А. Максимовича «Малороссийские песни», содержащаяся в гоголевской «Книге всякой всячины...»: «Зеленая неделя называется еще клéчанью, от деревьев, ставимых в домах, церквах и на дворах (клéчанье или май*). <...> По народному поверью русалки, живущие обыкновенно в Днепре, в сие время расходятся и бегают по лесам и бурьянам до Петрова дня, посему и неделя называется русальной...» (изображение в «Майской ночи» хоровода русалок тоже связано с этой выпиской).

Создавая сюжет повести, Гоголь, вероятно, имел в виду и записанный им позднее народный обычай, заключающийся в том, что на русальную неделю «взрослые девушки тайком ходят в лес, бросают завитые венки русалкам, чтобы они добыли им суженых и ряженных...» (записная книжка 1846—1851 годов). (Этому народному обычаю соответствует в «Майской ночи» то, что свою «суженую» герой «добывает» себе с помощью русалки.)

Хотя на Троицкой неделе обычных постов по уставу Церкви не положено, тем не менее все события «Майской ночи» — прежде всего гульба веселящихся парубков — разворачиваются, как указывает автор, определенно в «недозволенное», с точки зрения традиционных обычаев, время, а именно, ночью — «когда благочестивые люди уже спят» (так сообщает об этом рассказчик). «Нет, хлопцы, не хочу! — увещевает разгулявшихся парубков Левко. — Что за разгулье такое! Как вам не надоест по-

* Клéчанье — деревья, ветки, цветы, которыми украшают на Троицу церкви и дома; май — здесь: то же, зелень, троицкие березки.

весничать? И без того уже прослыли мы, Бог знает какими буянами. Ложитесь лучше спать!»

Еще несколькими репликами героев Гоголь подсказывает, и какого рода «вдохновение» охватывает гуляющих ночью «вволю» парубков. «Плечистый и дородный парубок, считавшийся первым гулякой и повесой на селе», восклицает: «Что за роскошь! Что за воля! Как начнешь беситься — чудится, будто поминаешь давние годы». <...> Толпа шумно понеслась по улицам. И благочестивые старушки, пробужденные криком, подымали окошки и крестились сонными руками...». «Бесник, ночной повеса», — отметил позднее Гоголь в своем «объяснительном словаре» русского языка. «Хлопцы бесятся! бесчинствуют целыми кучами по улицам», — сообщают в «Майской ночи» голове Евтуху Макогоненку сельские десятские.

Обратившись к другим повестям «Вечеров...», можно обозначить и, так сказать, «крайние точки» в гоголевской оценке «гулянья» — от невольного увлечения юношеским весельем (при сохранении, однако же, трезвой дистанции) до очевидного осуждения гульбы-беснования. Трудно рассказать, — замечает рассказчик «Ночи перед Рождеством», — как хорошо потолкаться в такую ночь между кучею хохочущих и поющих девушек и между парубками, готовыми на все шутки и выдумки <...> Под плотным кожухом тепло; от мороза еще живее горят щеки; а на шалости сам лукавый подталкивает сзади. <...> Парубки шалили и бесились вволю». И стал бес «такой гуляка, — как бы «продолжает» рассказчик в черновой редакции «Сорочинской ярмарки», — какого теперь не сыщешь между всеми парубками нашими. С утра до вечера то и дела, что сидит в шинке». «В самом деле, на что я похож? — сетует герой незавершенной повести Гоголя «Страшный кабан», кухмистер Онисько, — <...> Все гулял, да гулял <...> Напьемся, как собака, да и протрезвишься тоже, как собака, если не протрезвят тебя еще хуже». Отсюда недалеко уже и до гульбы «дьявола в человеческом образе» Бисаврюка в «Вечере накануне Ивана Купала»: «...Днем он был почти невидимка <...> Ночью же только и дела, что пьяная шайка Бисаврюка <...> с адским визгом и криком рыскала по оврагам или по улицам соседнего села...»

Гулянье парубков «Майской ночи» занимает как бы срединное положение в этой широкой градации. Но, согласно размышлениям Гоголя, даже и самое «невинное» карнавальное веселье представляет собой в конечном счете если не прямо греховное, то во всяком случае пустое, бездумное времяпрепровождение. В 1840 году, в черновой редакции восьмой главы первого тома «Мертвых душ» Гоголь замечал по поводу такого праздничного гулянья, что «молодежь», скрывшаяся под масками, «раз в год хочет безотчетно завеселиться, закружиться и потеряться в беспричинном веселье, избегая и страшась всякого вопроса, а <...> маски на их

лица <...> как будто смотрят каким-то восклицательным знаком и вопрошают: к чему это, на что это?»

Другая важная тема, поднимаемая в «Майской ночи», — тщеславие «обыкновенного», «маленького» человека. Сюжет повести во многом строится на борьбе неудовлетворенных честолюбив героев — с одной стороны, тщеславного сельского головы, с другой — не менее честолюбивых парубков. «Кто бы из парубков не захотел быть головою!» — восклицает рассказчик.

«...Они, дурни, забрали себе в голову, что я им ровня, — рассуждает в повести голова Евтух Макогоненко, удостоенный однажды «высокой чести» сидеть во время проезда Екатерины II в Крым на козлах с царичиным кучером. — Они думают, что я какой-нибудь их брат, простой козак!» — Судя по этому образу, здесь опять-таки отозвались у Гоголя черты быта родной Васильевки. Материалом для создания образа послужил, вероятно, писателю реальный случай с крестьянином его матери. 2 февраля 1830 года Гоголь писал ей из Петербурга: «Турецкие посланники прибыли сюда благополучно и не нахвалятся учтивостью и ловкостью нашего садовника — форрейтора Павла»*.

В свою очередь, сын сельского головы Левко, решившийся вместе с парубками «побесить хорошенько» голову («голова» этот приходится ему родным отцом), восклицает: «Что ж мы, ребята, за холопы? Разве мы не такого рода, как и он? Мы, слава Богу, вольные козаки!» «Что мне голова! — вторит парубкам шатающийся по улицам села пьяный гуляка Каленик. — Я сам себе голова».

Честолюбие парубка Левко еще более обнаруживается в его рассказе о панночке-утопленнице — в частности, в том, как он объясняет причины ее самоубийства: «...Задумал сотник жениться на другой. “Будешь ли ты меня нежить по-старому, батьку, когда возьмешь другую жену?” — “<...> Буду, моя дочка; еще ярче стану дарить серьги и монисты!” <...> На четвертый день приказал сотник своей дочке носить воду, мести хату, как простой мужичке, и не показываться в панские покои». «Парубок, найди мне мою мачеху! — жалуется Левко сама утопленница-панночка. — <...> Мне не было от нее покою на белом свете. Она мучала меня, заставляла работать, как простую мужичку». Это как бы «само собой разумеющееся» для гордой панночки признание себя недостойной пре-

* Речь идет о турецком посольстве, посланном султаном к Николаю I после заключения Адрианопольского мира (1829). В начале января 1830 года турецкие послы проезжали Кременчуг и Полтаву, и крепостному Гоголей «выпала честь» исполнять роль форейтора при лошадях из Васильевки, потребовавшихся для карет посольства. Слова Гоголя о «похвалах» турецких посланников «форрейтору Павлу», конечно, ироничны.

зренной участи «простой мужички» отражается в повести и в тех дорогих украшениях, которыми тешат себя девы-утопленницы: «...Золотые ожерелья, монисты, дукаты блистали на их шеях...». «У меня есть зарукавья, шитые шелком, кораллы, ожерелья. Я подарю тебе пояс, унизанный жемчугом. У меня золото есть...», — говорит Левко панночка.

Изобразив в повести «догубивших свои души дев» — русалок, Гоголь не просто воспроизвел в ней поэтические народные предания, но отразил и народный взгляд на этот мир как мир демонический, несущий прямую угрозу для жизни человека. Об опасности общения с русалками упоминает сам Левко, говоря об угадывании утопленницей ведьмы-мачехи: «И если попадется из людей кто, тотчас заставляет его угадывать, не то грозит утопить в воде».

Позднее в записной книжке Гоголь отметил, что, по поверьям славян, русалки заманивают людей в уединенные места «чтобы зашекотать», а согласно преданиям греков, — «чтобы наделить их сокровищами». Последний мотив играет в замысле «Майской ночи» более важную роль. Однако, согласно Гоголю, «благополучный», и даже «счастливый» исход от общения с «подводным» миром несет в себе для человека результат не менее пагубный, чем прямая смерть от русалки.

Названия перечисляемых в повести украшений утопленниц откровенно характеризуют их как хранительниц «подводных» сокровищ. Помимо прямого упоминания панночки о золоте, эта черта сказывается в ношении ими «монист» — ожерелий из монет, жемчуга, кораллов и др. Это же можно сказать и о блистающих на их шеях «дукатах» (дукат — червонец, золотая монета; ит. ducato).

Но обыкновенному женскому украшательству Гоголь придает в повести еще и особый смысл. «Утешая» себя дорогими ожерельями, русалки, по Гоголю, являются не только хранительницами, но еще и прямыми «исповедницами» земного богатства. В словарики малороссийских слов, приложенном Гоголем к «Вечерам...», читаем: «Дукат — род медали, носимый на шее женщинами». Последнее толкование было взято Гоголем из «Энеиды» Котляревского, где мысль о том, что женские украшения представляют собой своего рода знак отличия, «орден» — призванный указывать и на богатство обладательницы, проявляется с еще большей определенностью: «Дукат — большая медаль, которую носят на шеях малороссянки»⁴³.

Напомним, что в «Майской ночи» «гарантией» сохранения «панского», «господского» положения дочери при новой жене было именно обещание сотника продолжать дарить дочери яркие «серьги и монисты» — как бы знаки и свидетельства этого достоинства. Весьма примечательно и упоминание рассказчика при описании невесты парубка Левко, «гордой дивчины» Ганны (испытывающей какие-то особые чувства

при рассказе о судьбе панночки-утопленницы), о ее украшениях — на шее ее «блистало красное коралловое монисто». — Кстати сказать, и общение Левко с панночкой-утопленницей является в повести почти «зеркальным» подобием ухаживания его за Ганной: герой вначале так же исполняет под окнами красавицы украинскую «серенаду»; такую же роль играет здесь «белая ручка» красавицы; почти тождественны ласковые имена, которыми наделяет Левко Ганну («моя ясноокая», «рыбка моя») и утопленницу («моя ясная панночка»).

Это же «тождество» двух миров — подводного и земного — наблюдается и в самих «календарных» обрядах, приуроченных к «зеленым святкам», которые, как неоднократно отмечал Гоголь, хотя и приходится на Троицын день и Семик, но берут свое начало в язычестве: «С венками на голове водят хороводы и круги по всем рощам <...> тихо движутся <...> а вокруг стоят женихи, высматривая невест». «Подводный» мир, словно пользуясь отсутствием поста на «зеленых святках», как бы выходит на землю и обольстительными «хороводами» вторгается — для испытания человека — в его праздничную жизнь. Соблазнительные русалки — живущие до того «обыкновенно в Днепре» — «в сие время расходятся» и пребывают среди людей «до Петрова дня» (тем самым «захватывая» не только Троицкие святки, но и Петров пост).

К «подобию» земного и подводного миров в «Майской ночи» имеет отношение и присущее Гоголю ощущение «духоты» земного, падшего мира — «потопившего» человеческие души в мирских стяжаниях и утехах. 26 июня 1827 года в письме к школьному приятелю Г. И. Высоцкому он замечал: «Ты знаешь всех наших существователей, всех, населивших Нежин. Они задавили корой своей земности, ничтожного самодоволия высокое назначение человека». В создававшейся тогда же поэме «Ганц Кюхельгарген» Гоголь писал:

Ему казалось душно, пыльно,
В сей позаброшенной стране;
И сердце билось сильно, сильно
По дальней, дальней стороне.

Так же «задышался» Гоголь и позднее в атмосфере меркантильного Петербурга, где создавались «Вечера...». Характерная примета Петербурга — непрекращающийся дождь, «как бы желающий вдавить еще ниже этот болотный город», стала основным содержанием одного из ранних набросков Гоголя, в котором слышны уже мотивы многих будущих «петербургских» повестей — петербургские обыватели прямо сравниваются здесь с обитателями подводного царства: «амфибиями», «моллюсками», «мокрыми крысами». Примечательно и упоминание в повести «Портрет» о «неприятной мокроте, сеявшейся в воздухе», после посещения художника Чарткова демоническим ростовщиком, который наделяет

художника (подобно русалке) «жаркими, как огонь», червонцами. Знаменательна и прямая переключка между образом русалки-утопленницы в «Майской ночи» и образом падшей красавицы в «Невском проспекте» — вверженной «какою-то ужасною волею адского духа <...> в его пучину». То, что кажется унижительным для одной — исполнять работу «простой мужички», то же вызывает презрение и у другой: «Я не прачка и не швея, чтобы стала заниматься работою».

Описание «божественной», «очаровательной ночи» — высокого «теплого украинского неба», вызывающего у героев отрадные чувства, является, по сути, разоблачением «идеалов» земного, падшего мира. Однако демонический мир стремится прельстить человека своими собственными «утешениями» — своей мнимой «духовностью». Многое в характере Левко проясняет и его фамильное прозвище — Макогоненко. По объяснению Гоголя в словарице малороссийских слов, приложенном к «Вечерам...», «макогон — пест для растирания мака». Фамилия героя имеет прямое отношение к его сердечной слабости. Сравнение красавицы с «маком» — традиционное для народной поэзии. Встречается оно и у Гоголя: «Тетка покойного деда рассказывала... что полненькие щеки козачки были свежи и ярки, как мак самого тонкого розового цвета...» («Вечер накануне Ивана Купала»). В «Майской ночи», после упоминания о «красном коралловом монисте» Ганны, в свою очередь в черновой редакции отмечалось, что лицо красавицы «рделось и пылало, как мак». Согласно этому сравнению, влюбленному до опьянения в Ганну Левко *Макогоненко* вполне подходит украинская поговорка «маку найвся» — одурел.

Примечательно, что и самую связь с Небом герои «Майской ночи» переживают по-разному. Полному земных чувств Левко, важнее, кажется, чтобы именно «на земле» не было «ни одного злого духа». Напротив, Ганна мечтает скорее «улететь» от этой грешной земли: с приездом в село она уже успела почувствовать окружающую ее атмосферу зависти — отразившуюся также в рассказе Левко о молодой «ведьме»-мачехе. «Недобрыё у вас люди, — говорит она Левко, — девушки все глядят так завистливо, а парубки...».

Вполне понятно желание «ясноокой» Ганны «полететь высоко, высоко... до неба» — где «ангелы Божии поотворяли окошечки своих светлых домиков... и глядят на нас», — в этом стремлении выражается упование на участь прямо противоположную участи панночки-утопленницы, которой благодарный Левко тоже не случайно желает быть на небесах «между ангелами святыми».

Наряду с мирскими «утешениями», есть у падшего мира и соответствующие мнимым «священным» заповеди. «Да, гоняк не так танцюється!.. — божится в отстаивании этих «святых правил» разгульной, «карнаваль-

ной» жизни завязтый недоимщик и пьяница Каленик.— Ей-Богу, не так танцуётся гопак! Что мне лгать! ей-Богу, не так!».

Правильное «танцеванье гопака» (без которого, по словам Каленика, «не клеится все») — и в самом деле не такое маловажное в мире «русалочьих» хороводов дело, как это может представляться стороннему наблюдателю. Только этими «свято соблюдаемыми» обрядами — да еще, пожалуй, богатством — можно заслужить их снисходительное внимание. «...Какой учтивый Каленик! — смеются над пьяным гулякой возвращающиеся с веселых «вечерниц» — от любезных «песельников» — «замысловатые девушки». — За это ему нужно показать хату... но нет, наперед потанцуй!». В насмешках девушек над пьяным Калеником заключается, по сути, тот же «обряд», которому подвергается и Левко, ухаживающий за Ганной. Ведь и «ясноокая» Ганна вынуждает своего жениха «наперед потанцевать» перед ее окнами. «Я тебя <...> за то люблю... — признается она чуть позднее, — что ты идешь по улице, поешь и играешь на бандуре...» (герой, идя по улице, кстати, не только «поет и играет», но еще и, подобно Каленику, «подплясывает».) После «серенады» Левко на бандуре и умоляющих просьб к красавице «просунуть сквозь окошечко хоть белую ручку» герой, однако, не выдерживает — и этим вполне доказывает характер своего недавнего поведения: изливает негодование таким голосом, «каким выражает себя устыдившийся мгновенного унижения» («каким выражает свою речь доведенный до унижения», — замечал Гоголь ранее, в черновой редакции).

От обиды и отчаяния герой готов и на полный отказ от обладания и даже от самой жизни. «Тебе любо издеваться надо мною, прощай!», — говорит он Ганне. Напомним, что таким же решительным «отказом» отзывается на капризы красавицы и Вакула в «Ночи перед Рождеством»: «Она издевается надо мною <...> “Прощай, Оксана! Ищи себе какого хочешь жениха <...> а меня не увидишь уже больше на этом свете”».

Так вслед за проникновением демонического мира в мир человеческий начинается и как бы обратный переход — из мира земного в мир «подводный». Стремление к земным утехам настолько овладевает душами героев, что становится настоящим «исповедничеством» — вплоть до бунта и отказа от жизни. Парубок Левко, например, ведет себя в целом более благочестиво, чем другие «хлопцы», — и даже призывает разгулявшихся парубков разойтись по домам. Но вот, стоило задеть его страстную любовь к красавице, как от благочестия Левко не остается и следа. «Я увещевал вас идти спать, — обращается он к парубкам, — но теперь раздумал и готов хоть целую ночь сам гулять с вами <...> Согласны ли вы побесить хорошенько сегодня голову?» В сочиненной им песне Левко, желая отомстить «сопернику»-отцу, выражает даже желание отправить его «в домовину» — то есть в гроб.

Сходным отношением к миру — «все или ничего» — объясняется и переход в мир утопленниц несчастной панночки. «На пятый день выгнал сотник свою дочку босую из дома и куска хлеба не дал на дорогу. Тогда зарыдала панночка: «<...> Прости тебя Бог; а мне, несчастной, видно, не велит Он жить на белом свете!» <...> Кинулась панночка в воду, и с той поры не стало ее на свете...». Очевидно, однако, что, как и поступки других героев «Вечеров...» — огорченного насмешками красавицы кузнеца Вакулы в «Ночи перед Рождеством», отчаявшегося Петра Безродного в «Вечере накануне Ивана Купала» — причины гибели лишившейся земных благ — выгнанной из «панских покоев» — красавицы вполне, например, поясняются репликой корыстолюбивого торговца Янкеля в «Тарасе Бульбе» о его ограбленном единовеце, который, лишившись своих «славных червонцев», «пошел тот же час в реку, да и утонул там».

Вполне понятно, что если Левко, получившему «благодаря» записке панночки в обладание свою Ганну — да к тому же и самому не чуждому крайностей отчаяния, оказывается вполне по характеру некая «апология» гордой утопленницы («добрая и прекрасная панночка», — восклицает он в заключение повести), то самому автору гораздо ближе смирение праведного Иова Многострадального при выпавших на его долю испытаниях: «Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял...»⁴⁴.

Поклонению земным благам — и приносимым им «жертвам» — есть в «Майской ночи», еще одна — наряду с образами обольстительных красавиц — соответствующая «икона». Такую «вместо-икону» представляет здесь винокур, сидящий в гостях у головы в красном углу — под образами — с «люлькой» во рту, окутанный густыми облаками табачного дыма. В соответствии с этим «священным» значением винокура, подобно «царствующим» на селе красавицам, тоже утверждает здесь свои новые «заповеди» и новую «веру» (не говоря уже о главном «утешении», которое он готовит для села, — горилке).

По твердому убеждению винокура, именно огнем «из люльки» — этим как бы «священным» огнем из табачного «кадила» — можно даже бороться с нечистью — «зажечь» ведьму-оборотня. Вот как поясняет рассказчик снисходительность винокура к пьяному Каленику, когда он убеждает Евтуха Макогоненко позволить Каленику «отдохнуть» в его хате: «Однако ж не добродушие вынудило эти слова. Винокур верил всем приметам, и тотчас прогнать человека, уже севшего на лавку, значило у него накликасть беду». «Что вы, братцы!.. — вполне «резонно» и бестрепетно восклицает герой позднее при виде бедной свояченицы, которая показалась испуганному голове «сатаной», — от простого огня ведьма не загорится! Только огонь из люльки может зажечь оборотня. Пойдите, я сейчас все улажу!» Так, «с помощью» суеверия, герой остается вроде бы и

«верующим», и в то же время пребывает в полном окамененном нечувствии. Вместо христианской нравственности и упования на Небесную Отчизну лишь земной, суеверный страх, «бесобоязнь», заставляет винокура то и дело вспоминать о существовании иного мира — и исполнять соответствующие, порожденные этим страхом «заповеди»: «Стои, стой! Боже тебя сохрани, сват! <...> Боже сохрани тебя, и на том и на этом свете, поблагословить кого-нибудь такую побранкою! <...> Ты не знаешь, верно, что случилось с покойною тещею моею? <...> покою не было <...> Чуть <...> ночь, мертвец и ташится <...> проклятый...».

Новой «вере» соответствует в повести и идея о новом «храме». Живой прообраз этого «храма», будущей винокурни, — сам винокур. «... Будто широкая труба с какой-нибудь винокурни <...> чинно уселась за столом в хате головы», — замечает о нем рассказчик. И подобно винокуру, пытаящему «как пароход»*, табачным дымом под образами в хате головы, его винокурня также «намерена расположиться» в наиболее важном для жизни человека месте, в его «святая святых». По Гоголю, такой благословенный, «красный угол» — или «почетное», избранное место в природе, являет собой сама изображенная в «Вечерах...» диканьская земля — и в частности, село, описанное в «Майской ночи». Здесь «земля вся в серебряном свете, и чудный воздух <...> движет океан благоуханий», а «вверху все дышит, все дивно, все торжественно». Здесь-то, на «месте святе», где «необъятный небесный свод раздался, раздвинулся еще необъятнее» — под этим небесным Божественным покровом, и шатается пьяный Каленик, водят хороводы панночки-«утопленницы», и здесь помещичий винокур намеревается поставить на *Покров* свою винницу.

«Подводный» и земной мир смыкаются, полностью «совпадают» в том, что и винница, и демоническая власть «русалок» — и все присущие этим мирам пороки, душевные и телесные (и, кстати, почти одновременный приезд в село помещичьего винокура и цветущей, «как мак», красавицы Ганны), одинаково препятствуют человеку в его восхождении к Небу. Именно там, где небеса открываются во всем их величии, где рождается у человека самая мысль о Боге — о Его ангелах и сходящей с неба «длинной лестнице», вьется обольстительная вереница русалок — и тут же «пан хочет строить <...> винницу и прислал нарочно для того сюда винокура». Этой мыслью и завершается повесть: «Так же торжественно дышало в вышине, и ночь, божественная ночь <...> догорала. Так же прекрасна была земля в дивном серебряном блеске, но уже никто не упивался ими <...> Только <...> пьяный Каленик шатался по уснувшим

* Первый пароход в России, курсировавший между Петербургом и Кронштадтом, был построен в 1815 году. В 1829 году Гоголь совершил на пароходе путешествие в Любек.

улицам, отыскивая свою хату». — Всё идет своим чередом, — как бы говорит Гоголь, — так же прекрасна земля, так же простирается над миром небесный Божественный Покров, но строится и винокурня, и недалеко уже то время, когда сам сельский голова, большой поклонник «хорошеньких поселянок», будет, подобно пьяному и «учтивому» Каленику, выделявать на Покров ногами «немецкие крендели по дороге».

ПРОПАВШАЯ ГРАМОТА

Мотив бесшабашной гульбы, воплощенный в «Майской ночи», Гоголь развивает далее в «Пропавшей грамоте». Действие этой повести начинается с описания уже знакомого нам разгульного веселья сельской ярмарки. «...Так как было рано, то все еще дремало, протянувшись на земле. Возле коровы лежал гуляка парубок с покрасневшим, [как свекла] как снегирь, носом...».

Объяснение, почему нос парубка напоминал свеклу или снегиря, можно, в частности, найти у Гоголя в черновом наброске к повести «Нос»: «...Нос был полноват, с едва заметными тонкими и самыми нежными жилками, потому что коллежский ассессор любил после обеда выпить рюмку хорошего вина». И в реплике Плюшкина из шестой главы первого тома «Мертвых душ»: «Вот возле меня живет капитан <...>. С лица весь красный: пеннику, чай, насмерть придерживается». Есть такая подсказка и в самих «Вечерах...» — в упоминании о пьянице-бабе с «фиолетовом носом» в «Ночи перед Рождеством».

Не успел дед пройти далее «двадцати шагов», — продолжает рассказчик «Пропавшей грамоты», — навстречу запорожец. Гуляка, и по лицу видно! «Слово за слово и завелась меж ними дружба, гульня и попойка [с утра до вечера]...» (черновая редакция). «Попойка завелась, как на свадьбе перед Постом Великим» (окончательная редакция). — Несмотря на это недвусмысленное замечание, не оставляющее будто бы сомнения в том, что действие повести происходит не во время поста, — разгульная «попойка» героев все-таки совершается в пост — как это явствует из самого содержания «Пропавшей грамоты». По словам рассказчика, герой отправляется в «пекло» (именно сюда приводит «деда» его пьяная «гульня») в ту ночь, «в какую одни ведьмы ездят на кочергах своих», — то есть, согласно еще одной из выписок Гоголя в «Книге всякой всячины...», опять-таки в ночь на Ивана Купала, приходящуюся, как уже отмечалось, на Петров пост: «Ивановская ночь есть та, в которую сеймы ведьм соби-

раются на *Лысой горе* в Киеве; туда улетают они через *комін* <...> либо на *помеле*, либо на *вилках* (ухвате)...» (выписка «Малороссия. Отдельные замечания»). «...Видно, дьявольская сволочь не держит постов», — замечает позднее в «Пропавшей грамоте» сам герой, оказавшись в эту ночь за адским застольем и — в которой раз во время поста — легко разрешая себе скоромное. Здесь автор показывает и то, кому на пользу (или кого «питает») это легкомысленное пренебрежение постом. «Ну, это еще не совсем худо, — подумал дед, заведя на столе свинину, колбасы <...> Придвинул к себе миску с нарезанным салом и окорок ветчины, взял вилку <...> захватил ею самый увесистый кусок <...> и — глядь, и отправил в чужой рот <...> слышно даже, как чья-то морда жует и щелкает зубами на весь стол». Нечто подобное совершает и Петрусь в «Вечере накануне Ивана Купала», выполняя волю Басаврюка и как бы своими руками выкармливая (во время поста) окружающую его нечисть: «Как безумный, ухватился он за нож, и безвинная кровь брызнула ему в очи... <...> Ведьма, вцепившись руками в обезглавленный труп, как волк, пила из него кровь...».— «...А как клады не даются нечистым рукам, — просто душно поясняет «кладоискательские» намерения нечистого рассказчик, — так вот он и приманивает к себе молодцов».

НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ

Праздничная атмосфера «Ночи перед Рождеством» тоже имеет под собой вполне реальную жизненную основу; она в свою очередь воссоздана Гоголем по воспоминаниям родных мест. Именно здесь, под кровом родительского дома будущего писателя, праздник Рождества Христова встречался с такой теплотой, что навсегда оставил в его душе светлое чувство. Одна из сестер Гоголя, Елисавета Васильевна, вспоминала: «Вообще нас не баловали, и одним из самых больших удовольствий бывала очень скромная елка накануне Рождества, но мы бывали в восторге от всего...»⁴⁵. Несомненно, Гоголь принимал в детстве участие не только в святочном ряженье. Вероятно, на святки — в святые дни от Рождества до Крещенья — ходил Гоголь в детстве и с колядовщиками, во всяком случае хорошо знал рождественские колядки и в конце жизни записал по памяти несколько таких стихов, опубликованных впоследствии известным собирателем народной поэзии Петром Бессоновым. Приведем одну из этих колядок:

Достойно есть удивления
 Духовное веселие!
 Ныне на небеси пресветла звезда явися,
 Паче всех просветися.
 Чтò убо нам возвещала?
 Христа нам проповедала.
 В пещерах темных Бог вселяется
 И в ясли скотския Царь полагается.
 Перски цари о Нем познавают,
 В вертепе Его постижают:
 Узрев, чудятся и ужасаются,
 И, сняв короны, поклоняются:
 Драгия сокровища Ему отверзают,
 Злато, ливан и смирну подают.
 С ними и я, малый юначик*,
 Христа усердный воспевачик,
 Я Христа витаю** тонким гласом воспеваю,
 И вас, государь мой, поздравляю:
 Будите здравы на многая лета!¹⁴⁶

Как и в других повестях «Вечеров...», в «Ночи перед Рождеством» Гоголь изображает «невидимую брань» дьявола за душу человека — наряду с почти анекдотической видимой. Напомнить о незримом присутствии рядом с беспечными героями невидимого мира призвана самая первая «фантастическая» сцена повести — описание полетов ведьмы Солохи и «проворного франта с хвостом» в ясном ночном небе Диканьки. «...Наша брань не против крови и плоти, — говорит св. апостол Павел, — но <...> против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных», — против «князя, господствующего в воздухе»⁴⁷. Целые сонмища этих духов и видит в прозрачном воздухе кузнец Вакула во время своего полета на бесе в Петербург.

В этой связи интересно отметить довольно явственно проступающий в повести апокалиптический подтекст. День, в преддверии которого разворачивается действие «Ночи перед Рождеством», — это и празднование Рождества Христова, и напоминание о рождении Христа в сердцах верующих, о чем в двенадцатой главе Апокалипсиса повествуется как о рождении «женой» — Церковью — «сына мужеска» (ст. 5). Слова гоголевской повести о том, что «одна только ночь оставалась» бесу «шататься по белому свету и выучивать грехам бедных людей» — и что «и в эту ночь он выискивал чем-нибудь выместить на кузнеце свою злобу», прямо соответствуют следующим строкам той же, двенадцатой главы Апока-

* Юначик — молодчик.

** Витаю — приветствую.

липисиса: «Горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел диавол в сильной ярости, зная, что не много остается ему времени» (ст. 12). Брань беса с Вакулой — «набожнейшим из всего села человеком» — прямо соответствует 17-му стиху этой главы: «И расвирипел дракон на жону, и пошел, чтобы вступить с брань с прочими от семени ея, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Добавим к этому, что записанное в гоголевской «Книге всякой всячины...» народное поверье о том, что «ведьмы снимают и повертывают звезды», использованное в повести, может быть прямо соотнесено с повествованием св. Иоанна Богослова из той же главы Апокалипсиса о ниспадении с неба третьей части звезд, которые сатана увлек и поверг на землю (ст. 3—4).

Брань беса с главным героем «Ночи перед Рождеством» отнюдь не заключается в тех мелких «пакостях», на которых сосредоточивает внимание рассказчик, когда заводит об этом речь. В свою очередь содержанием повести также не является одно лишь праздничное веселье, как это может показаться на первый взгляд.

Подобно тому, как в «Вечере накануне Ивана Купала», где герой, охваченный любовной страстью, готов на убийство и совершает его, — герой «Ночи перед Рождеством», кузнец Вакула, доведенный до отчаяния капризами красавицы Оксаны, тоже недалеко от совершения смертного греха — он решает на самоубийство и бежит топиться «в пролубе»: «...Пропадай, душа!...». По дороге ему, однако, приходит мысль: «ведь душе все же придется пропадать», пойду к Пузатому Пацюку, он, говорят, связан с нечистой силой, «все сделает, что захочет».

Герой, таким образом, дважды проявляет пагубное малодушие: сначала помышляет о самоубийстве, затем сознательно обращается к «помощи» нечистого. При этом Гоголь прямо указывает на «автора» тех мыслей, которые приходят отчаявшемуся Вакуле. Бес у Солохи тоже заявляет ей, что если она отвергнет его страсть, «то он готов на все: кинется в воду, а душу отправит прямо в пекло». Он-то, очевидно (сидящий у Вакулы «в мешке» за плечами), и доводит героя до отчаянного состояния. «Нет, полно, — говорит себе Вакула, — пора перестать дурачиться». «Но в самое то время, — прибавляет рассказчик, — когда кузнец готовился быть решительным, какой-то злой дух пронесил пред ним смеющийся образ Оксаны, говорившей насмешливо: “Достань, кузнец, царицыны черевички, выйду за тебя замуж!”» — Сходный образ встречается у Гоголя и в одной из глав незавершенной «малороссийской повести» «Страшный кабан», в рассказе о кухмистере Ониське, внезапно получившем «сердечную рану» при виде «мывшейся на берегу пруда Катерины»: «Бес как будто нарочно дразнил его (сам он после признавался в этом), поминутно рисуя пред ним стройные ножки соседки». Вообще же, упоминания о нечистых помыслах, всеваемых бесом, встречаются во многих гоголев-

ских произведениях — от самых ранних до позднейших. Такое упоминание есть уже в «Ганце Кюхельгартене»:

Иль потревожил дух нечистый
Во сне покой девицы чистой,
Навеял черную печаль?

Проникновение беса в мысли человека посторонним помыслом изображается в «Ночи перед Рождеством» еще раз в сцене встречи кузнеца с запорожцами в Петербурге, с которыми он решается отправиться во дворец к царице: «“Проси!” — шепнул он тихо» бесу, «ударив кулаком по карману. Не успел он это сказать, как другой запорожец проговорил: “Возьмем сго, в самом деле, братцы!” “Пожалуй, возьмем!” — произнесли другие».

Соответственно невидимому участию беса в судьбе влюбленного кузнеца изображается в повести и другая, так сказать, бытовая, житейская сторона грехопадения Вакулы. Однажды в разговоре Гоголь, имея в виду поведение прихожан в церкви во время богослужения, заметил: «Женщинам запрещено становится вперед, и дело; поневоле развлечешься»⁴⁸. Это замечание можно назвать одним из ключевых для понимания замысла «Ночи перед Рождеством». Действительно, в традиционном украинском деревянном трехчастном храме, который изображается в повести, женщины становились в дальней от алтаря части, которая называлась поэтому «бабинец». («*Бабинец* — притвор в церкви; место для женщин. От слова: *баба*»⁴⁹.) (Основание этого благочестивого обычая коренится, очевидно, в монастырском уставе. На это указывал, в частности, в 1889 году автор исторического описания древних храмов Курского края: «Вероятно, у древних старцев Божиих существовало и строго соблюдалось правило общежительного устава, по которому женщины не только в келлии, а даже в самую церковь не были допускаемы, равно как и малые дети, — чтобы криком и плачем последних не нарушалось благочиние за Богослужением; и потому — помещались в *детинце*, ближе к северо-западному углу церкви, тогда как бездетные женщины и девицы знали свое место — в *бабинце*»⁵⁰.) Слово это есть в гоголевском «Лексиконе малороссийском» «Книги всякой всячины...»: «*Бабинец*, паперть». Вот как показывает Гоголь в «Ночи перед Рождеством» расположение поселян в церкви: «впереди всех стояли дворяне и простые мужики», за ними «дворянки», а «пожилые женщины <...> крестились у самого входа». Девчата же — «у которых на головах намотана была целая лавка лент, а на шее монист, крестов и дукатов», — старались, как подчеркивает Гоголь, вопреки этому порядку, «пробраться <...> ближе к иконостасу». Очевидно, что это стремление наряженных девчат объясняется их желанием покрасоваться перед парубками, и тут — «поневоле развлечешься». Согласно замечанию Гоголя в «Размышлениях о Божественной Литургии» (1843—

1852), дух предстоящего в церкви человека первоначально «принадлежит не ему, завися от всех посторонних впечатлений, и только по возвышении его самого к Богу <...> приходит в нем в силу...».

То, что в «Ночи перед Рождеством» происходит в храме между молодежью, Гоголь показывает и среди взрослых. Вот, например, пожилая Солоха, которой следовало бы, исходя из сказанного, стоять в храме «у самого входа», «надевши яркую плахту» и «синюю юбку, на которой сзади нашиты были золотые усы», становится впереди всех — «прямо близ правого крылоса», так что дьяк «закашливался и прищуривал невольно в ту сторону глаза...» («из читаемой им книги», — добавлял Гоголь в черновой редакции...»). В самый раз прельщенному дьяку было бы прочесть в это время в богослужебной книге такие строки: «Рассеянный мой ум собери, Господи...»⁵¹.

Тема эта также долгое время занимала Гоголя. Подобно тому, как красавица Оксана вытесняет из сознания набожного кузнеца и художника Вакулы самый «иконостас», его веру, и доводит до мысли о самоубийстве, так же позднее покончит с собой у Гоголя прельщенный женской красотой художник Пискарев в «Невском проспекте». Точно так же образ красавицы, «потопивший» и вытеснивший все другое, толкнет на путь предательства и отречения от веры Андрия Бульбу. Добавим, что и в повести «Вий», где прекрасная мертвая ведьма-панночка владеет в заброшенном, оставленном без служения храме, также угадывается этот мотив «Ночи перед Рождеством».

Кстати сказать, прямое соответствие образу прельщенного дьяка в «Ночи перед Рождеством» можно найти в поэме А. С. Пушкина «Домик в Коломне» (1830), с которой Гоголь познакомился в рукописи летом 1831 года и о которой в том же году, в письме к А. С. Данилевскому от 2 ноября, с восторгом отзывался: «У Пушкина повесть, октавами писанная <...> в которой вся Коломна и петербургская природа живая». (Исходя из этого, можно предположить, что именно летом 1831 года и была написана «Ночь перед Рождеством».) В пушкинской поэме «в роли» гоголевских Солох и Оксан оказывается гордая петербургская дама:

...Люблю летать, заснувши наяву,
В Коломну, к Покрову — и в воскресенье
Там слушать русское богослуженье.

Туда, я помню ездила всегда
Графиня... (звали как, не помню, право)
Она была богата, молода;
Входила в церковь с шумом, величаво;
Молилась гордо (где была горда!).
Бывало, грешен! все гляжу направо,
Все на нее⁵².

В «Ночи перед Рождеством» уже намечены характерные для зрелого Гоголя образ художника и тема Петербурга. Соблазнам «местным», диканьским здесь прямо соответствуют соблазны петербургские. В частности, в получении Вакулой роскошных «черевинок» с «сахарных» ножек Екатерины II под непритязательным юмором кроется мысль о начавшемся в XVIII веке «соблазнении» русского народа его вышшими, или более «просвещенными» сословиями. Так, восхищение героя неизвестно в каком «государстве на свете» сделанными «царицыными черевичками» стоит в одном ряду с его восторженной оценкой изготовленной «немецкими кузнецами» — «за самые дорогие цены» — медной ручкой дверей во дворце, а также вызывающей у Вакулы почти «поэтический» восторг роскошной дворцовой лестницей. «Что за лестница! — шептал про себя кузнец, — жаль ногами топтать. Экие украшения! Вот, говорят, лгут сказки! <...> Боже Ты мой, что за перила! какая работа! тут одного железа рублей на пятьдесят пошло!».— Все это приметы разорительной и развращающей Россию, начиная с ее столичного общества, европейской промышленной роскоши.

К замыслу повести, где указанная тема играет немаловажную роль, вероятно, имеет отношение одна из заметок Гоголя в «Книге всякой всячины...» — выписка «Об одежде и обычаях русских XVII века», взятая из путевых заметок приезжавшего в 1661—1663 годах в Россию императорского посла, австрийского барона Августина фон Мейерберга (Гоголь пользовался изданием: «Барон Мейерберг и путешествие его по России». СПб., 1827). Можно предположить, что одним из толчков к созданию сюжета о «самых дорогих, с золотом», «царицыных черевичках», изготовленных неведомым «швецом» (швец — сапожник, башмачник; укр.), послужило Гоголю, с одной стороны, замечание барона Мейерберга о европейской роскоши царских палат («Кабинет Алексея Михайловича (отца Петра I.— И. В.) убран богатыми обоями. Скамьи и пол коврами. Стены между окнами и против оных, где видна изразцовая печь <...> обиты нидерландскими обоями из тисненой кожи с золотыми украшениями»), с другой — упоминание в той же выписке о женской обуви на «высоких железных каблуках».

В другой выписке Гоголя на эту же тему, содержащейся в «Книге всякой всячины...», — «Одежда и обычаи русских. (Из Олеария)» — также читаем: «Сапоги у русских, так, как у поляков, кожаные или сафьяновые с острыми носками. Женский пол, в особенности девицы, носят башмаки с каблуками в $\frac{1}{4}$ вышиною, обитыми мелкими гвоздиками. Такового рода каблук крайне затрудняют их в ходьбе, ибо носки едва касаются земли».

(В этом отношении «сюжет» с «царицыными черевичками», развитый в «Ночи перед Рождеством» (черевики — женские башмаки, именно на высоких каблуках) словно уже «содержится» в зачаточном виде в «Вечере

накануне Ивана Купала»: «...Дивчата <...> в сафьянных сапогах на высоких железных подковах <...> что вихорь, скакали в горлице»^{*}.)

Стремление диканьских красавиц пробраться в церкви ближе к иконостасу как бы воплощается среди петербургских соблазнов в окончательно заслоняющем и подменяющем собой «иконостас» живоподобном — совершенно неприемлемым с духовной точки зрения — образе Мадонны, которым любитесь кузнец Вакула в царском дворце: «Что за картина! что за чудная живопись! <...> [Чем больше гляжу, то в больший обман прихожу.] Вот, кажется, говорит! кажется, живая!..».

В. Г. Белинский, например, в 1836 году свидетельствовал, что русский народ «не признает за образá всего», что несет на себе отпечаток ренессансного натурализма, а не создано в строгом «византийском вкусе»⁵³. На это же указывал другой современник Гоголя, святитель Игнатий (Брянчанинов): «Все русские поняли, что итальянские картины не могут быть святыми иконами. Между тем итальянская живопись взшла почти во все православные русские храмы со времен преобразования России на европейский лад»⁵⁴. Сам Гоголь в 1843 году, сравнивая западную живопись с православной иконой, говорил Г. П. Галагану: «Икона только тогда может назваться иконой, когда она удержала в себе весь свой первобытный тип <...> Пусть картины украшают стены наших гостиных, но им не место в церкви»⁵⁵. «Не в гостиную понесу я мои картины, их поставят в церковь», — говорит гоголевский художник-иконописец (веровавший «простой, благочестивою верою предков») во второй редакции повести «Портрет» (1842).

С восхищением Вакулы «чудной» картиной прямо перекликается у Гоголя восклицание художника Пискарева о падшей красавице в повести «Невский проспект»: «...чудная, совершенно Перуджинова Бианка»⁵⁶. Между тем, по воспоминаниям А. О. Смирновой о встречах с писателем в Париже в начале 1837 года, Гоголь «не любил Перуджино из Ранционгли», уже тогда предпочитая даже и Рафаэлю «наших византийцев, у которых краска ничего, а все в выражении и чувстве»⁵⁷. По замечанию художника гоголевского «Портрета» (первой редакции, 1835 года), «чересчур близкое подражание природе так же приторно, как блюдо, имеющее чересчур сладкий вкус». Во¹ второй редакции «Портрета» вместо этих

* Как указала Н. П. Морозова, Словарь Академии Российской дает следующее объяснение слова «черевик»: «Женский башмак на высоких каблуках с небольшими ключами на запятках. Кожаные, шелковые черевики» (СПб., 1794. Ч. 6. Стб. 696) (Морозова Н. П. Гоголь и Екатерина II. (К вопросу о сюжете повести «Ночь перед Рождеством») // Традиции в контексте русской культуры. Сборник статей и материалов. Череповец, <1994>. Часть 1. С. 125). См. также: Словарь Академии Российской. СПб., 1822. Ч. 6. Стб. 1260—1261.

строк появляется авторская характеристика модного «английского рода» живописи: «бойкость кисти и яркость красок», погоня «за тем, что бьет на первые глаза»... Не случайно и в «Ночи перед Рождеством» Вакула, восхищаясь яркой красочностью ренессансного образа Мадонны, говорит о нем как об одном из предметов дорогостоящей роскоши: «...А краски! Боже Ты мой, какие краски! тут вохры, я думаю, и на копейку не пошло, все ярь да бакан: а голубая так и горит! важная работа! должно быть, грунт наведен был [самым дорогим] блейвасом». (Напомним строки гоголевской выписки из «Энеиды» Котляревского: «Бо шоки терли манією, / І блейвасом і ніс, і лоб...».) Стоит сравнить с этим описанием упоминание об иконах, которыми благословляет есаул Горобець молодых в «Страшной мести»: «Те иконы достались ему от честного схимника, старца Варфоломея. Не богата на них утварь, не горит ни серебро, ни золото, но никакая нечистая сила не посмеет прикоснуться к тому, у кого они в доме».

Подчеркивая невысокий духовный уровень оценки Вакулой «чудной живописи» (герой воспринимает картину исключительно с эстетической, а не вероучебной точки зрения), Гоголь вкладывает далее в уста героя реплику, еще более обнаруживающую крайнее простодушие и наивность кузнеца — практически сводящую на нет его похвалу картине. «Сколь, однако ж, ни удивительны сии малевания, но эта медная ручка,— продолжал он, подходя к двери и шупая замок,— еще большего достойна удивления. Эх какая чистая выделка! это все, я думаю, немецкие кузнецы, за самые дорогие цены делали...». Нетрудно заметить, что все эти восклицания почти тождественны столь же непосредственному восхищению Вакулы в хате Пузатого Пацюка, где он наблюдает за «чудесно» отправляющимися тому в рот варениками. «“Вишь, какое диво!” — подумал кузнец, разинув от удивления рот, и <...> начал размышлять о том, какие чудеса бывают на свете и до каких мудростей доводит человека нечистая сила...».

Само прельщение Вакулы в Петербурге новейшей «просвещенной» роскошью вполне соответствует его обращению ранее за помощью к связанному с нечистью Пузатому Пацюку. Образ последнего героя в свою очередь создавался Гоголем не только по воспоминаниям «домашних» народных суеверий, но и во многом под впечатлениями от «цивилизованной» петербургской жизни.

Смысл образа Пацюка в «Ночи перед Рождеством» в целом можно было бы определить как воплощение размышлений Гоголя о стремлении нечистого духа создать себе в глазах обращающихся к нему суеверных людей славу действительного спасителя и целителя. Как говорится в повести об этом герое, «не прошло нескольких дней после прибытия его в село, как все уже узнали, что он [величайший] знахарь». Суеверием по-

селян, очевидно, и объясняется секрет чудесного питания Пузатого Пацюка «варениками в сметане» — которые *сами* лезли ему в рот: «В последнее время его редко видали где-нибудь <...> Миряне (!) должны были отправляться к нему *сами*...» (курсив наш.— *И. В.*). Так Вакула, придя к Пацюку, предлагает: «...Свинины ли, колбас, муки гречневой, ну, полотно, пшени или иного прочего, в случае потребности... <...> не поскупимся». Характерно и прозвище «величайшего знахаря»: Пацюк — поросянок, большая крыса (*укр.*).

Очевидно, в «Ночи перед Рождеством» Гоголь снова ставит вопрос о соотношении веры и суеверия. Решение этой проблемы, а также сам материал для создания соответствующих образов, здесь были тоже не «сказочные». В основе их лежала реальная действительность, «примеры», почерпнутые из самой жизни. В частности, размышления об отличии истинного врачебного искусства от доходного ремесла можно найти в самых ранних гоголевских письмах из Петербурга. Так, представлением о враче как одном из «правлящих миром» ремесленников проникнуты строки письма Гоголя к матери от 2 февраля 1830 года, что «издержки на лекарства и врачей» для бедняка «совершенно невозможны». В письме к матери от 30 апреля 1830 года Гоголь опять сообщал: «...Проклятая болезнь, посетившая было меня при вскрытии Невы, помогла еще более истреблению денег...».

Можно предположить, что критика ремесла «медиков и аптекарей» была связана у Гоголя и с памятью об отце. Незадолго до смерти тяжело страдающий Василий Афанасьевич, отправившийся лечиться в Лубны к доктору Ф. П. Голованеву, писал жене в Васильевку: «...Голованев оставил меня лечиться у себя — сие для нас будет весьма разорительно, но что делать <...> Бога ради старайтесь собирать деньги; ибо мне здесь много надобно»⁵⁸.

В то же время в письме к матери из Петербурга Гоголь замечал: «...Здесь есть Арендт, которого искусство и благородная душа чужды всякого интереса». 30 мая н. ст. 1839 года Гоголь, в частности, писал М. П. Балабиной об одном из основателей гидротерапии, австрийском враче из Греффенберга В. Приснице: «Слышали ли вы о чудесах, производимых <...> медиком, воспитанным одною натурою, без помощи медицинских академий, и проч. и проч.? Я один из числа самых неверующих <...> Но <...> я <...> своими глазами видел такие чудеса...». 18 июня н. ст. 1843 года в письме к Н. М. Языкову Гоголь повторял: «...Не столько самая вода изумила меня своими действиями <...> сколько гений исцеляющего сю, пред которым мы должны все поклониться <...> грех на душах наших, если мы этого не сделаем. Это значит — не благоговеть перед величеством Божиим, вселившим в человека такое откровение...». А. О. Смирнова в свою очередь рассказывала, со слов Гоголя, о его семье: «Их домаш-

ним доктором был Трохимовский. Он по-своему лечил давно, до Греффенберга, холодной водой, вся процедура происходила у реки на солнце, не было ни завертывания в мокрые простыни, ни душа, раздражающих спинной мозг. «Бог, — говорил доктор, — так щедр и милосерден, что дает человеку на его потребу и в свое время, что ему нужно на пищу и на его здоровье»⁵⁹.

Убеждение в том, что истинным Врачом и Целителем и в самых «обыкновенных», человеческих искусствах является не человек, а Бог (ибо «Господь созда от земли врачевания...»⁶⁰), Гоголь высказывал неоднократно. П. В. Анненков следующим образом комментировал письмо Гоголя к Языкову о В. Приснице: «Он обращает внимание друга на поучительную историю воды, как всеобщего медицинского средства, от начала веков предложенного человеку самим Промыслом. Отвергнутое замучившимся человеком, оно вновь открыто, но не академиями, не профессорами и современной наукой, а простым и бедным крестьянином австрийской деревушки!»⁶¹ (Пред ним — «обязанным самому себе своим образованием» — «мало знают лучшие из книжников докторов», — замечал Гоголь о Приснице в письмах к Д. Е. Бенардаки от июля 1842 года и к А. С. Данилевскому от 20 июня н. ст. 1843-го. Примерно так же характеризовал Гоголь в 1842 году во второй редакции повести «Портрет» и одаренного — и набожного — художника-иконописца: «...художник-самоучка, отыскавший сам в душе своей, без учителей и школы, правила и законы...».)

Это представление об истинном врачебном искусстве — а также о присвоении себе корыстолюбивым «врачом»-ремесленником имени истинного Спасителя и Врача (для тех, кто «в болезни своей зыскал не Господа, а врачей»⁶²) — прямо отзывается в позднейших гоголевских письмах: «Я не хлопочу из-за совершенного здоровья, и чуть только мне немного делается лучше — я подальше от докторов и леченья» (письмо к А. О. Россету от 1 мая н. ст. 1845 года); «Излишне заботиться о здоровье грех. Нужно ввериться одному Богу: Он вылечит» (матери от 23 апреля 1846 года); «...Один Бог наш доктор <...> Его одного должно молить о излечении» (сестрам от 1 мая н. ст. того же года).

«Совпадение» петербургских и диканьских соблазнов в «Ночи перед Рождеством» проявляется, в частности, и в том, что «свои» запорожцы демонстрируют перед не вполне еще «просвещенным» кузнецом Вакулой как бы «высшие степени» овладения ими щегольства и роскоши. «...Вакула <...> подался немного назад от блеска, увидевши убранную комнату; но немного ободрился, узнавши <...> запорожцев <...> сидевших на шелковых диванах, поджав под себя намазанные дегтем сапоги...». В черновой редакции далее говорилось: «“Здорово, земляк, садись!”. “Спасибо вам, добрые люди, я и постою: нашему ли брату садиться на такое укра-

шение”. “Садись!” — сказал повелительно запорожец...». Эта сцена прямо напоминает описание гуляки-запорожца в «Тарасе Бульбе»: «...Запорожец, как лев, растянулся на дороге <...> шаровары алого дорогого сукна были запачканы дегтем для показания полного к ним презрения».

Эта же «домашняя освоенность» европейского быта «земляками»-запорожцами проявляется, по замыслу Гоголя, и в пристрастии их к «самому крепкому табаку» (который они курят, сидя на роскошных диванах) — черта, как бы ставшая уже неотъемлемым «достоянием» «истинного» казака. На эту черту Гоголь указывает едва ли не во всех повестях «Вечеров...»: «...Наш парубок отправился по рядам с красными товарами <...> выглядывать лучшую деревянную люльку в медной шегольской оправе...» («Сорочинская ярмарка»); «Чернобровым дивчатам и молодыцам мало было нужды до родни его. Они говорили только, что если бы одеть его в новый жупан <...> дать в <...> руку <...> люльку в красивой оправе, то заткнул бы он за пояс всех парубков тогдашних» («Вечер накануне Ивана Купала»); «Вот это дело! — сказал плечистый и дородный парубок, считавшийся первым гулякой и повесой на селе. — Мне все кажется тошно, когда не удастся погулять и настроить штук. Все как будто недостает чего-то. Как будто потерял шапку или люльку; словом, не козак, да и только» («Майская ночь»); «...Люлька с медною цепочкою по самыя пяты — запорожец, да и только!» («Пропавшая грамота»); «По отцу пойдет, — сказал старый есаул <...>, — еще от колыбели не отстал, а уже думает курить люльку» («Страшная месьть»).

Любопытно сравнить эти многочисленные упоминания о пристрастии казаков к табаку с гоголевскими размышлениями о происхождении этого «заморского зелья», которые встречаются в одном из отрывков незавершенного романа «Гетьман» (1830—1833). Здесь, в частности, говорится о казаке, рассматривающем и переминающем на своей ладони «с какою-то недоверчивостью грубый крошенный табак — это странное растение, которое с такою изумительною быстротою разнесла во все концы мира новооткрытая часть света». Некоторое объяснение этой «изумительной быстроты» в распространении табака содержится в статье Гоголя «О преподавании всеобщей истории» (1833), где, в частности, упоминается о том, как «купцы-голландцы <...> овладевают островами Восточного океана» и «берут миллионы за разводимые на них плантации драгоценных растений юга».

С этими заморскими «плантациями» непосредственно перекликается в «Ночи перед Рождеством» описание огорода казака Чуба, где, по словам рассказчика, «кроме маку, капусты, подсолнечников, засевалось еще каждый год две нивы табаку». «Все это, — продолжает рассказчик, — Солоха находила не лишним присоединить к своему хозяйству <...> Может быть, эти самые хитрости и сметливость ее были виною, что кое-где на-

чали поговаривать старухи <...> что Солоха точно ведьма <...> что к попадье раз прибежала свинья <...> [и севши на скамейку начала уже набивать трубку, желая осквернить хату каким скверным зельем, но попадья перекрестилась, и ее уже не было].

Напомним, что в «Тарасе Бульбе» герой гибнет именно от пристрастия к «люльке» (своего рода «игрушке», как подсказывал ранее Гоголь в «Страшной мести»: «...Дитя, увидевши висевшую на ремне <...> в серебряной оправе красную люльку <...> протянуло <...> ручонки и засмеялось»). «Да вот же не заведу у себя <...> никаких этих внушающих высшие потребности производств, ни табака, ни сахара, хоть бы потерял миллион,— говорит у Гоголя один из героев второго тома «Мертвых душ». — Пусть же, если входит разврат в мир, так не через мои руки!» Сам Гоголь, беседуя 25 января 1851 года в Одессе с князем В. Н. Репниным, который собирался «делать сигары», чтобы получить требуемую ему сумму денег, сказал: «...Ведь это безнравственно. Нельзя: совестно!» Князь: «Что до того — ведь не остановить». — Гоголь: «Все так, да как-то совестно!»⁶³

Еще одна важная сторона замысла «Ночи перед Рождеством» заключается в том, что действие повести, в том числе и посещение Солохи ее ухажерами — греховное само по себе — происходит в пост, причем в самый строгий пост, в Рождественский сочельник, когда православные, по обычаю, «до звезды» не едят. (В Великий Пост разворачивается у Гоголя — как непозволительное — и сватовство в комедии «Женитьба», действующие лица которой — четверо женихов Агафьи Тихоновны — весьма напоминают четырех именитых «женихов» Солохи.) О посте и вспоминает в «Ночи перед Рождеством» Вакула в хате Пузатого Пацюка: «...Ведь сегодня голодная кутья, а он ест вареники, вареники скоромные! Что я, в самом деле, <...> стою тут и греха набираюсь!»*.

Можно, однако, заметить, что таких же благочестивых размышлений следовало бы придерживаться герою и ранее — перед самым отправлением его самого в гости, в отсутствие дома отца, на «мед» к красавице Оксане. На этот счет можно найти у Гоголя вполне определенное указание. Герой его незавершенной повести «Страшный кабан», юный кухмистер Онисько — также являющийся на дом к красавице в отсутствие отца — на ее слова, что «батька нет дома», «иносказательно» отвечает: «Что бы я был за олух Царя небесного, когда бы стал убирать постную кашу, когда перед самым носом вареники в сметане». («Кашу без масла все-таки можно как-нибудь есть... — шутил позднее Гоголь в письме к Александре Осиповне Смирновой из Баден-Бадена, — но Баден без вас просто нейдет в горло».)

* В черновике у Гоголя к этому месту было примечание: «Вы, может быть, не знаете, что последний день перед Рождеством у нас называют голодной кутьей».

Изображая похождения своих героев в день строгого поста — «бесящихся» парубков, веселящихся девчат, попадающих в мешки ухажеров Солохи, «подъезжающего» к красавице кузнеца Вакулы, пьяниц кума Панаса и ткача Шапуваленка — рассказчик «Ночи перед Рождеством», конечно, не без намерения замечает, что «все» другие «дворяне оставались дома и, как честные христиане, ели кутью посреди своих домашних» («имели столько благочестия, что решились остаться дома», — замечал рассказчик в черновой редакции). (Правда, — добавлял в то же время Гоголь в другом месте, — одни только старухи с «степенными отцами оставались в избах»*)

Определенно греховным в этом свете является и намерение ухажеров Солохи отправиться ранее в гости к дьяку «на кутью» — «где, кроме кутьи», была и водка двух сортов, «и много всякого съестного». «Там теперь будет добрая попойка!» — замечает казак Чуб, выходя из своей хаты. Добавим, что мотив неблагочестивого ночного гулянья получает в «Ночи перед Рождеством», сравнительно с «Майской ночью», еще одно уточнение. «Я проспал заутреню и обедню!» — сокрушается кузнец Вакула после ночного путешествия на бесе в Петербург. В непосредственной связи с этим находится народная поговорка, внесенная Гоголем в «Книгу всячины...»: «Хто рано встає, тому і Біг дає».

Останавливаясь еще раз на роли эстетического начала в судьбе Вакулы, следует заметить, что, подобно тому, как образы «славных дивчин» в других повестях Гоголя — Параски в «Сорочинской ярмарке», Пидорки в «Вечере накануне Ивана Купала» — несут в себе у Гоголя, наряду с положительными, и отрицательные черты, образ «хорошенькой кокетки» Оксаны в «Ночи перед Рождеством» в свою очередь далек от безусловной «положительности». Само желание героини иметь «те самые черевички, которые носит царица», обличает, по замыслу автора, ее изрядное тщеславие. (Так, например, упоминавшийся сельский голова из «Майской ночи», сидевший на козлах с царицыным кучером, хранит в сундуке наряд, в котором он тогда был — свидетельство своей «причастности» к царскому роду.)

Вполне определенно указывает Гоголь в одной из реплик Оксаны и на мотивы, по которым она высказывает желание иметь «царицыны черевички»: «Да, парубки, вам ли чета я? <...> как я плавно выступаю; у меня сорочка шита красным шелком. А какие ленты на голове! Вам век не увидеть богаче галуна! Все это накупил мне отец мой для того, чтобы на мне женился самый лучший молодец на свете!»⁶⁴. Этими мотивами и

* Позднее, в записной книжке 1846—1851 годов, Гоголь еще раз отметил: «Ночь перед Рождеством особенно богата всякими поверьями. Все должны непременно быть по домам».

объясняется пренебрежительное отношение Оксаны к сельскому кузнецу Вакуле. «Ты? — сказала, скоро и надменно поглядев на него, Оксана. — Посмотрю я, где ты достанешь черевички, которые могла бы я надеть на свою ногу». «Если бы она ходила не в плахте и запаске, а в каком-нибудь капоте, — замечает чуть ранее о ней рассказчик, — то разогнала бы всех своих девок». В черновой редакции эта мысль была выражена Гоголем с еще большей определенностью: «Если бы она ходила не в плахте и запаске, а в атласном с длинным хвостом платье, то <...> переколотила бы и выгнала десятка три горнишных».

Следствием «аристократических» замашек Оксаны и становится поездка Вакулы на бесе в Петербург. («Оборотная» же сторона честолюбия Оксаны, очевидно, связывается Гоголем с судьбой гордой дочери сотника из «Майской ночи» — после женитьбы ее отца на «ведьме». На эту возможную для Оксаны участь панночки-утопленницы прямо указывает в «Ночи перед Рождеством» предполагаемая женитьба ее отца на «ведьме».) Петербург (где, кстати, Вакула видит «множество <...> дам в атласных платьях с длинными хвостами») — подспудно чаемая (хотя, вероятно, не последняя) «инстанция» честолюбивых вождлений героини.

Честолюбие юной Оксаны — черта, которую разделяют с ней и многие другие гоголевские герои. Этот широкий «фон» — от далекой провинциальной Диканьки до столичного Петербурга — был впервые обозначен Гоголем именно в «Ночи перед Рождеством». «Чудно устроено на нашем свете! — замечает рассказчик в начале повести. — Все, что ни живет в нем, все силится перенимать и передразнивать один другого. Прежде, бывало, в Миргороде один судья да городничий хаживали зимую в крытых сукном тулупах, а все мелкое чиновничество носило просто нагольные; теперь же и заседатель и подкоморий отсмалили себе новые шубы из решетилловских смушек с суконною покрывкою. Канцелярист и волостной писарь третьего году взяли синей китайки по шести гривен аршин. <...> Словом, все лезет в люди». Далее в повести встречается и упоминание о «дьячихе, в тулупе из заячьего меха, крытом синею китайкою». С этими диканьскими реалиями снова перекликаются первые впечатления Вакулы в Петербурге: «Господ в крытых сукном шубах он увидел так много, что не знал, кому шапку снимать. “Боже Ты мой, сколько тут панства! — подумал кузнец. — Я думаю, каждый, кто ни пойдет по улице в шубе, то и заседатель, то и заседатель!..”».

СТРАШНАЯ МЕСТЬ

О повести «Страшная месьть» В. Г. Белинский, откликаясь на выход в свет «Миргорода» (1835), писал: «“Страшная месьть” составляет теперь *rendant*⁶⁵ к “Тарасу Бульбе”, и обе эти картины показывают, до чего может возвышаться талант г. Гоголя»⁶⁶. Теме религиозной и национально-освободительной войны Гоголь посвятил также, задолго до создания «Страшной мести», недошедшую до нас юношескую поэму «Россия под игом татар» (1825). Эта же тема затрагивалась Гоголем в «Ганце Кюхельгартене» (борьба православных греков против турецкого владычества). Но в «Страшной мести», как и в других повестях «Вечеров...», помимо внешней брани с врагами веры и отчизны, Гоголь изобразил и другую, «невидимую брань» — тоже против веры и отечества, — разворачивающуюся в душах людей.

В черновой редакции повести имелось предисловие, которое само по себе весьма замечательно.

«Вы слышали ли историю про синего колдуна? Это случилось у нас за Днепром. Страшное дело! На тринадцатом году слышал я это от матери, и я не умею сказать вам, но мне все чудится, что с того времени спало с сердца моего немного веселья. Вы знаете то место, что повыше Киева верст на пятнадцать? Там и сосна уже есть. Днепр и в той стороне также широк. Эх, река! Море, не река! Шумит и гремит и как будто знать никого не хочет. Как будто сквозь сон, как будто нехотя шелестит раздольную водяную равнину и обсыпается рябью. А прогуляется ли по нем в час утра или вечера ветер, как все в нем задрожит, засуетится: кажется, будто то народ толпою собирается к заутрене или вечерне. И весь дрожит и сверкает в искрах, как волчья шерсть среди ночи. Что ж, господа, когда мы съездим в Киев? Грешу я, право, пред Богом: нужно, давно б нужно съездить поклониться святым местам. Когда-нибудь уже под старость совсем пора туда: мы с вами, Фома Григорьевич, затворимся в келью, и вы также, Тарас Иванович! Будем молиться и ходить по святым печерам. Какие прекрасные места там!»

Завершающий это предисловие мотив покаяния (с уходом в «святые пещеры») является одним из ключевых для «Страшной мести». Он своеобразно связывается здесь Гоголем с одним из видов монашеской аскезы — спания на голой земле. Так, покаянные обеты колдуна — «Покаюсь, пойду в пещеры, надену на тело жесткую власяницу <...> Не постелю одежды, когда стану спать!..» — определенно перекликаются здесь со словами о святом схимнике, которого убивает колдун: «Уже много лет, как он затворился в своей пещере. Уже сделал себе и дощатый гроб, в котором ложился спать вместо постели». Этому соответствует еще одно

место «Страшной мести»: «На лавках спит с женою пан Данило <...> Но козаку лучше спать на гладкой земле при вольном небе; ему не пуховик и не перина нужна; он мостит себе под голову свежее сено и вольно протягивается на земле». («...Ушла Катерина в свою <...> светлицу и кинулась на перину...» — замечает рассказчик в черновой редакции повести.) Очевидно, что спание на мягком (на «пуховиках» и «перинах» — с женою) и покаянные монашеские обеты колдуна («не постелю одежды, когда стану спать») соотнесены Гоголем с преступной любовной страстью этого «нечестивого грешника». Показательно, например, что центральный в повести эпизод подсматривания пана Данила за волхвованиями колдуна — где он видит, как «что-то белое, как будто облако, веяло посреди хаты <...> чудится <...> что <...> женщина...» — неожиданно переключается с комической репликой подглядывающего в замочную скважину «свата» Кочкарева в гоголевской «Женитьбе»: «И распознать нельзя, что такое белеет: женщина или подушка». (Мотив «спания на голой земле» и сближения «перины» и женщины встречается во многих произведениях Гоголя: «Майской ночи», «Иване Федоровиче Шпоньке...», в повести «Страшный кабан», в «Тарасе Бульбе», «Коляске», «Женитьбе», «Ревизоре», «Мертвых душах» — например, в черновых набросках к восьмой главе поэмы: «...танцевал с своей дамой, точно с подушкой...».)

Некоторые переключки со «Страшной местью» — связанные уже с осмыслением Гоголем проблем европейской цивилизации — обнаруживаются в повести «Рим». Они встречаются здесь в описании «великолепного» парижского кафе — средоточия «цивилизованной» жизни римского князя: «Там пил он с сибаритским наслаждением свой жирный кофий из громадной чашки, нежась на эластическом, упругом диване...». Кофе — загадочная «черная вода» во фляжке колдуна «Страшной мести». Эта подробность приоткрывает нам и связь «Страшной мести» с ранней поэмой «Ганц Кюхельгартен». «Старик любил на воздухе пить кофий», — замечает в ней Гоголь о своем герое, сельском «пасторе», в котором явно угадываются будущие черты покаявшегося «колдуна» («святого схимника»). Сам «пастор» говорит о себе:

Мне лютые дела не новость;
 Но дьявола отрекся я,
 И остальная жизнь моя —
 Заплата малая моя
 За прежней жизни злую повесть...

На эту возможность покаяния для грешника и указывают обращенные к Катерине слова колдуна в «Страшной мести»: «Слышала ли ты про апостола Павла, какой был он грешный человек, но после покаялся и стал святым».

Переключки «Страшной мести» с «Ганцом Кюхельгартеном» обнаруживаются и в том, что покаянные подвиги «пастора» прямо соответствуют неисполненным обетам «колдуна» — они касаются именно сна и бдения:

Пастор всю ночь не спал, да пред рассветом
Уж вышел спать на чистый воздух;
И дремлет он под липой в старых креслах...

По свидетельству П. В. Анненкова, сам Гоголь в начале 1840-х годов «добрую часть ночи» проводил, «дремля на диване и не ложась в постель», а «со светом взбивал и разметывал свою постель», чтобы служанка, прибиравшая комнаты, не узнала об этом обычае своего жильца⁶⁷. (Обычай проводить ночь в молитве, заменив сон недолгим дреманием в кресле, Гоголь сохранил до конца жизни.)

Нет ничего удивительного в том, что уже в ранних произведениях Гоголь обнаруживает знакомство с аскетическими подвигами христианских подвижников. Аскетически настроенный быт окружал Гоголя с детства. В его семье умели не только веселиться. Помимо хождений по монастырям и святым местам, вплоть до Киева, которые традиционно в ней совершались, помимо непосредственного знакомства будущего писателя с аскетическими писаниями святых отцов — в частности, чтения им уже в 1820-х годах знаменитой «Лествицы» преподобного Иоанна Синайского⁶⁸ — примеры аскетического делания Гоголь мог видеть непосредственно среди родных и близких. На всей семье лежала печать монастырского смирения и послушания. Атмосфера веры и христианского благочестия была присуща как старшим, так и младшим ее членам. В Васильевке долгое время находился большой, обитый железом сундук, с проделанным в крышке отверстием, через которое бабушка, Татьяна Семеновна, опускала деньги, предназначенные на устройство храма. На столе всегда лежало Евангелие, и любимым чтением бабушки, матери и сестер были Четьи-Минеи, в старинных кожаных переплетах*. О характере же постоянного влияния на Гоголя его матери можно судить, в частности, из ее письма к близкому родственнику А. А. Трощинскому от 23 ноября 1830 года: «Я вас покорнейше прошу <...> если вы удостоите иногда ответами Николая <...> продолжать строгие ваши ему поучения <...> а я, с своей стороны, буду продолжать ему свои морали; и тогда, с помощью Божьей, можно ожидать, что он будет истинный христианин и добрый гражданин»⁶⁹. Как вспоминал позднее один из школьных приятелей Го-

* Позднее П. А. Плетнев в письме к Я. К. Гроту от 22 сентября 1848 года, в частности, свидетельствовал, что Гоголь был «большой знаток церковной литературы» — и именно, литературы житийной (Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 3. С. 325).

голя, В. И. Любич-Романович, религиозность и склонность к монашеской жизни были заметны в Гоголе «еще с детского возраста, когда он воспитывался у себя на родном хуторе в Миргородском уезде и был окружен людьми богобоязливими и вполне религиозными...». Когда впоследствии писатель «готов был заменить свою светскую жизнь монастырем», он лишь вернулся к этому «первоначальному» своему настроению. «Все это так было понятно для нас, знавших Гоголя со школьной скамейки, но непонятно для тех, кто его знает только по отзывам историков», — добавлял Любич-Романович⁷⁰.

«Человек со временем будет тем, чем смолоду был», — замечал также в конце жизни в разговоре с друзьями сам Гоголь⁷¹. По словам одного из исследователей гоголевского творчества, В. А. Чаговца, побывавшего в преддверии пятидесятилетия со дня смерти писателя в семье Гоголей, «религиозно-мистическое настроение часто даже склонялось в сторону аскетизма, выражавшегося в изнурительном посте <...> в продолжительном стоянии на молитве...». Одна из сестер Гоголя, Ольга Васильевна, говорила о себе, что она «часто молилась до потери сознания, до полного изнурения, и даже от продолжительного стояния на холодном полу у нее стала замечаться опухоль ног»⁷². Гоголь, умея быть строгим к себе, с заботой и любовью относился к окружающим и старался смягчить порой, как ему казалось, неумеренную ревность. Мать Гоголя в 1856 году вспоминала: «...Лишась моего мужа (весной 1825 года. — *И. В.*), я носила траур из самого грубого, шерстяного изделия платье, что очень огорчало моего сына: ему казалось, что оно было очень жестко и беспокоило меня, хотя я уверяла его, что совершенно не чувствовала его жесткости. Когда он приехал пред рождественскими праздниками домой из Нежина совсем неожиданный, это было рано поутру, и увидя, что в передней чистили мое одеяние, сказал подать ему ножницы, чтоб изрезать его, прибавя, “тогда маменька наденет и будет носить покойнее платье”»⁷³. Заметим, что это ношение матерью Гоголя одежды из грубой ткани — по образу монашеских власяниц — весьма близко к аскетическим подвигам «святого схимника» в «Страшной мести».

С мотивом покаяния тесно связаны в «Страшной мести» размышления о прощении Богом кающегося грешника. «Угрюм колдун, — замечает рассказчик в шестой главе. — <...> Может быть, он уже и кается перед смертным часом...». Но тут же рассказчик добавляет: «...только не такие грехи его, чтобы Бог простил ему». Однако сам колдун все-таки надеется на прощение. «Ты не знаешь еще, — говорит он Катерине, — как добр и милосерд Бог». В последнюю минуту колдун летит в Киев «к святым местам»: «Дико закричал он и заплакал, как иступленный, и погнал коня прямо к Киеву». Но здесь его опять встречает «голос рассказчика» — и своеобразное представление рассказчика о святости: «святой схимник» —

затворившийся уже много лет в своей пещере — отвечает на отчаянную мольбу колдуна: «Нет, неслышанный грешник! нет тебе помилования! беги отсюда! не могу молиться о тебе».

Вопреки этому суровому «голосу рассказчика» (но не автора), сам Гоголь всем содержанием повести говорит, напротив, о необходимости прощения кающегося грешника. И эпизод с отказом «святого схимника» молиться о погибшей душе колдуна никак не может быть поставлен в ряд с действительным отношением христианских подвижников к падшему собрату. Скорее он напоминает фразу в пушкинском «Борисе Годунове», которую «рассказчик» трагедии (в данном случае сам А. С. Пушкин) вложил в уста юродивого Николки, отвечающего на просьбу Бориса Годунова молиться за него: «Нет, нет! нельзя молиться за царя Ирода — Богородица не велит». Сам Пушкин по поводу этой «сочиненной» (не заимствованной им из источников) сцены в частном письме признавался: «...Никак не мог упрятать всех моих ушей под колпак юродивого. Торчат!» (письмо к князю П. А. Вяземскому около 7 ноября 1825 года). Судя по статье Гоголя «Борис Годунов», написанной на выход в свет трагедии Пушкина, симпатии Гоголя были как раз на стороне обличаемого пушкинским юродивым царя: «Сколько блага? сколько пользы, сколько счастья миру — и никто не понимал его...». Вероятно, в скрытую полемику с Пушкиным и вступил Гоголь в «Страшной мести», изобразив страшные, продолжающиеся из рода в род последствия однажды не прощенного грешнику греха — тяжесть которого обрекла несколько поколений потомков этого грешника на пребывание в гибельном, греховном состоянии. А потому и суд Бога в гоголевской повести за «страшную месть» непощения греха ближнему («...нет большей муки, как хотеть отомстить и не мочь отомстить», — замечает в повести претерпевший «великую обиду» герой, открывая этим свою мстительность) весьма суров: «Пусть будет все так, как ты сказал, но и ты сиди вечно там на коне своем, и не будет тебе Царствия Небесного, покамест ты будешь сидеть там на коне своем!»

Эта идея гоголевской повести была глубоко прочувствована позднее писателем М. М. Пришвиным, который, по воспоминаниям его жены, В. Д. Пришвиной, «всю жизнь <...> возил с собой “Страшную месть”, влюбленный в нее и в то же время испуганный ею. Под конец снова взял в руки, но на этот раз он освобождается из-под власти ее обаяния и тайны: он видит главное, что Всадник-мститель — с мертвыми глазами. Мститель мертв, потому что он служитель не начал жизни, а ее концов»⁷⁴. Сын пана Данила, растимый матерью на месть врагам («Думала, буду хоть в тишине растить на месть сына...»), неизбежно должен (как это и происходит в повести) рано или поздно погибнуть в этой атмосфере вражды и мести.

Другой важной проблемой, рассматриваемой Гоголем в «Страшной мести», является тема «утонченной», эстетической «развитости» колдуна. Вообще говоря, из разнообразных мирских соблазнов — богатства, власти, красоты — последнему гоголевские герои часто оказываются подвержены в наибольшей степени — по слову Писания: «...и вси оныя желают паче злата и сребра...»⁷⁵. «Не хочу,— сказал бы я царю,— восклицает Вакула в «Ночи перед Рождеством»,— ни каменьев дорогих, ни золотой кузницы, ни всего твоего царства: дай мне лучше мою Оксану!». «Я знаю тебе не золото нужно: ты любишь Ганну...»,— говорит панночка-утопленница казаку Левко в «Майской ночи». «Захотел ли бы ты взять все драгоценные камни царей персидских, все золото Ливии за те небесные мгновения? И что против них и первая почесть в Афинах, и верховная власть в народе?» — «вторит» им гоголевский Платон в статье «Женщина».

Изображение эстетических переживаний очень часто начинается у Гоголя с описания картин природы и почти всегда переходит к любованию красотой женщины. В этом смысле весьма характерна выписка Гоголя из идиллии Н. И. Гнедича «Рыбаки», которую он сделал, вероятно, еще учась в Нежинской гимназии. Гоголь послал ее тогда в письме к одному из своих школьных товарищей (предположительно, А. С. Данилевскому — в письме, датируемом, условно, 1822—1823 годами). Главным здесь является описание «пылающих», «огненных» — с лазурью — неба и моря петербургской белой ночи, в которой «пурпур заката сливается с золотом востока» и которую поэт сравнивает с такими же пленительными «прелестями северной девы» — петербургской красавицы:

«С пылающим небом слиясь, загорелось море,
И пурпур и золото залили роши и дома.
Шпиз башни Петровой, возвышенный, вспыхнул над градом,
Как огненный столп, на лазури небесной играя.
Угас он; но пурпур не гаснет на западном небе;
Вот ночь, но не меркнут златистые полосы облак.
Без звезд и без месяца вся озаряется дальность;
На взморье далеком серебристые видны ветрила
Чуть видных судов, <как> по синему небу плывущих.
Сияньем бессумрачным небо ночное сияет.
И пурпур заката сливается с золотом востока;
Как будто денница за вечером следом выводит
Румяное утро.

А это какво тебе кажется?

Та ясность, подобна<я> прелестям северной девы,
Которой глаза голубые и алые щеки
Едва оттеняются русыми локонов волнами.

Чем далее, тем лучше — писал бы еще, но, право, не могу: сон смыкает мой глаза...».

Как был прямо «по канве» этой ранней выписки Гоголь в своих повестях создал впоследствии целый ряд «сияющих», словно пронизанных светом, живописных картин, завершающихся изображением красоты женщины (или хотя бы упоминанием о ней).

«Усталое солнце уходило от мира, спокойно проплыв свой полдень и утро; и угасающий день пленительно и ярко румянился [как щеки прекрасной жертвы неумолимого недуга в торжественную минуту ее отлета на небо]. Ослепительно блистали верхи белых шатров и яток, осененные каким-то едва приметным огненно-розовым светом. Стекла наваленных кучами оконниц горели; зеленые фляжки и чарки на столах у шинкарок превратились в огненные; горы дынь, арбузов и тыкв казались вылитыми из золота и темной меди. <...> Кое-где начинал сверкать огонек, и благовонный пар от варившихся галушек разносился по утихавшим улицам. <...> “О чем загорюнился, Грицько? — вскричал высокий загорелый цыган, ударив по плечу нашего парубка. <...> — А спустишь волов за двадцать, если мы заставим Черевика отдать нам Параску?”» («Сорочинская ярмарка»).

Ослепительную власть красоты по силе ее впечатляющего воздействия Гоголь сравнивает порой с сияющим транспарантом. (Известно, что в Нежине он занимался изготовлением таких транспарантов⁷⁶.)

Вот, например, образ блестящего Петербурга в повести Гоголя «Невский проспект»: «О, не верьте этому Невскому проспекту! Всё обман, всё мечта, всё не то, чем кажется! <...> Боже вас сохрани заглядывать дамам под шляпки! <...> [Он опасен необыкновенно, этот Невский проспект <...> но более всего тогда, когда <...> огни сделают его почти транспарантом <...> И <...> сам демон зажигает обольстительные лампы для того, чтобы все показать не в настоящем виде]».

(Несомненно, таким же «транспарантом» является у Гоголя и упоминавшаяся католическая картина, разглядываемая кузнецом Вакулой в царском дворце. На это, в частности, указывает цитированное уже замечание героя, что «грунт» ее «наведен был блейвасом». Известно, что свечение — как в транспаранте — белой основы из-под слоя красок создает иллюзию наполненности изображения светом. В этом, столь «сведущем», замечании «художника»-кузнеца Вакулы сказываются, очевидно, занятия Гоголя живописью в Нежинской гимназии высших наук и петербургской Академии художеств.)

А так изображает Гоголь визит юного кухмистра Ониська к красавице Катерине в одной из глав своей незавершенной «малороссийской» повести «Страшный кабан»: «Перед ним торчали ворота, сквозь которые, как сквозь транспарант, светилось все недвижимое имущество козака.

Мелькнула синяя запаска, огненная лента... Сердце в нем вспрыгнуло... и белокурая красавица <...> встретила его, отворяя ворота».

Стати сказать, именно в последней повести Гоголь предпринял попытку изобразить благотворную — в отличие от губительной — «законодательную» власть красоты. «Прекрасная Катерина», побуждает здесь пьяницу Ониська оставить ради нее разгульную жизнь, на что тот восклицает: «Все для тебя готов сделать».

В статье «Скульптура, живопись и музыка» (датированной писателем 1831 годом и опубликованной в 1835-м) Гоголь писал: «Великий Зиддитель мира <...> древнему, ясному, чувственному миру послал <...> прекрасную скульптуру, принесшую чистую, стыдливую красоту, — и весь древний мир обратился в фимиам красоты. Эстетическое чувство красоты слило его в одну гармонию и удержало от грубых наслаждений». Как вспоминал позднее один из гоголевских слушателей, Е. А. Матисен, из числа лекций по древней истории, читанных Гоголем в начале 1835 года в Петербургском университете, «те, которые посвящены были идеальному быту и чистоте воззрений афинян, имели на всех, а в особенности на молодых его слушателей, какое-то воодушевляющее к добру и нравственной чистоте влияние»⁷⁷. П. В. Анненков, проживавший с Гоголем в Риме в 1841 году, также вспоминал, что на Гоголя производили сильное впечатление «скульптурные произведения древних» и что он говорил о них: «То была религия, иначе нельзя бы и проникнуться таким чувством красоты»⁷⁸. Позднее Гоголь посвятил теме облагораживающего влияния женской красоты на человека одну из начальных глав «Выбранных мест из переписки с друзьями» — «Женщина в свете».

Однако положительная оценка значения чувственной красоты для воспитания человека была лишь одной из сторон взглядов Гоголя. В той же статье «Скульптура, живопись и музыка» он замечал по поводу скульптуры: «Она родилась вместе с языческим, ясно образовавшимся миром, выразила его — и умерла вместе с ним. Напрасно хотели изобразить ею высокие явления христианства: она так же отделялась от него, как самая языческая вера. Никогда возвышенные, стремительные мысли не могли улечься на ее мраморной сладострастной наружности. Они поглощались в ней чувственностью». О себе Гоголь в 1847 году писал, что «венцом всех эстетических наслаждений» в нем «осталось свойство восхищаться красотой души человека», где бы он ее ни встретил («Авторская исповедь»). Так и в «Вечерах...» главной явилась тема не благотворной, но главным образом губительной власти чувственной, «скульптурной» красоты.

Одно из объяснений преступной страсти колдуна в «Страшной мести» связано именно с его «эстетическими», «утонченными» переживаниями. («Утонченными» эти переживания можно назвать, конечно, лишь условно. Гоголь хорошо понимал чувственный — подчас прямо низмен-

ный — характер эстетической сферы (от греч. αἰσθητικός — чувственный). 8 июля 1832 года он, например, писал в шутку Н. Я. Прокоповичу, приглашая приятеля к себе в гости в Васильевку: «Жизнь мы проведем самым эстетическим образом: спать будем вволю, есть тоже будем очень много...».)

Можно заметить, что изображение в «Страшной мести» волхвованной колдуня, вызывающего «душу» Катерины, прямо переключается с описанием «греческой» красавицы Алкиной в статье Гоголя «Женщина», написанной в январе 1831 года на смерть барона А. А. Дельвига и развивающей (как дань памяти поэту) мотивы дельвиговской поэзии. — К сожалению, весьма важная для понимания взглядов раннего Гоголя история создания статьи «Женщина» осталась практически неизученной в исследовательских работах и поэтому требует пояснения. Впервые эта статья была напечатана в № 4 «Литературной Газеты», помеченной 16 января 1831 года. Однако поставленная здесь же дата цензурного разрешения — 24 января — сообщает о более позднем выходе газеты. Газета запоздала на семь дней по причине смерти ее издателя, барона А. А. Дельвига — последовавшей 14 января. Вышедший спустя десять дней после смерти Дельвига номер газеты был полностью посвящен памяти поэта. Гоголевская статья, открывавшая этот номер — и, в частности, содержащая прямые переключки с идиллией Дельвига «Изобретение ваяния», — стала здесь своеобразным литературным памятником поэту.

Изображение в «Страшной мести» «души» Катерины — являющейся своему колдуну-«отцу» в виде светящегося «эфирно»-«мраморного» облака, в «море» розово-голубых цветов и «небесных» звуков, — прямо повторяет описание «скульптурной» красавицы Алкиной в «дельвиговской» статье Гоголя «Женщина»: «Мраморная рука, сквозь которую светились голубые жилы, полные небесной амброзии, свободно удерживалась в воздухе <...> Казалось, тонкий, светлый эфир <...> по которому стремились розовое и голубое пламя <...> переливаясь в бесчисленных лучах <...> в коих дрожит благовонное море неизъяснимой музыки <...> облекся в видимость и стоял перед ними...». В этих «утонченных» чувственных созерцаниях и заключаются, по Гоголю, причины предательства и сговора с «врагами православной Русской земли» «эстета»-колдуна. Мысль о внеморализме эстетических переживаний, приводящих к предательству веры и отчизны, Гоголь воплотил в те же годы и в незавершенном романе «Гетьман», где — как позднее в «Тарасе Бульбе» — связал измену героя делу товарищества с эстетическими переживаниями. Здесь снова Гоголь изобразил — на фоне «серебρο-розового» и «пурпурного» заката — чарующие прелести восемнадцатилетней красавицы («стройная роскошь» ног, «обнаженное плечо» и пр.). Пленившись красавицей, юный казак

Острица, готовый ранее выступить на защиту отчизны, «все забыл» и готов ехать с ней хоть «в Польшу к королю» или «хоть к султану».

Очевидно, в образе охваченного преступной страстью колдуна «Страшной мести» содержится несомненная «поправка» к дельвиговскому безотчетному восхищению «прекрасным», — и вместе с тем обнаруживаются переключки содержания повести со строками пушкинской «Полтавы», повествующими о пагубной связи юной диканьской красавицы Матрены Кочубей с клятвopреступным гетманом Мазепой:

Своими чудными очами
Тебя старик заворожил...
Он, должный быть отцом и другом
Невинной крестницы своей...
Безумец! на закате дней
Он вздумал быть ее супругом.

Независимо от характера отношения к красоте — эгоистического или «бескорыстного», Гоголь в своих произведениях одинаково указывает на опасность эстетического прельщения. В его повестях встречается немало героев — как прямо отрицательных, так и внешне «положительных» — представляющих собой пример «низменного», своекорыстного отношения к красоте.

Эгоистическим, себялюбивым чувством проникнуто, например, отношение героев к женщине в «Ночи перед Рождеством»: «...Чуб засмеялся, внутренне торжествуя, что он один только пользуется благосклонностью Солохи». Такая же эгоистическая ревность свойственна кузнецу Вакуле по отношению к Оксане: «Ей я столько же дорог, как перержавевшая подкова. Но если ж так, не достанется, по крайней мере, другому [парубку] посмеяться надо мною. Пусть только я наверное замечу, кто ей нравится более моего; я отучу...». Как бы прямо «комментируя» это место, гоголевский Платон в статье «Женщина» говорит юному Текелесу: «Знаю, ты хочешь говорить мне об измене Алкиной. Твои глаза были сами свидетелями... но были ли они свидетелями твоих собственных мятежных движений, совершавшихся в то время во глубине души твоей? Высмотрел ли ты наперед себя? Не весь ли бунт страстей кипел в глазах твоих?..» Здесь же — словно имея в виду себялюбивые притязания ухажеров Солохи — гоголевский Платон замечает: «Посмотри на роскошных персов: они переродили своих женщин в рабынь, и что же? им недоступно чувство изящного — бесконечное море духовных наслаждений». Этому замечанию прямо соответствует в «Ночи перед Рождеством» и реплика рассказчика об ухажерах Солохи: «...Она так умела причаровать к себе самых степенных козаков (которым, не мешая, между прочим, заметить, мало было нужды до красоты), что к ней хаживал и голова, и дык <...> и козак Корний Чуб, и козак Касьян Свербыгуз».

Однако, обличая эгоистическое отношение человека к женщине, Гоголь отнюдь не безусловно положительно оценивает и тех своих героев, которых, напротив, отличает по-видимому «бескорыстное» подчинение себя эстетического «законодательству». Одним из таких героев является у Гоголя молодой итальянский князь в «отрывке» «Рим», который при виде красавицы Аннунциаты — «предводящей всем» вокруг себя, «подобно как царица предводит за собою придворный чин свой», — размышляет: «Не целовать ее, хотел бы только глядеть на нее. <...> Красота полная должна быть видима всем. <...> Разве для того зажжен светильник, сказал Божественный Учитель, чтобы скрывать его и ставить под стол?».

Очевидно однако, что и здесь, вопреки «возвышенным» романтическим размышлениям героя — сравнивающего, ни много ни мало, женскую красоту с светом Божественного откровения (ср. Евангелие от Луки, гл. 11, ст. 33), — сам Гоголь намеревался подчеркнуть в «Риме» прежде всего внеморализм исповедуемого римским князем эстетического «законодательства». Как явствует из содержания этой незавершенной повести, предполагаемая женитьба князя на красавице-альбанке должна была стать его прямым «грехопадением» — преступлением обычая римлян заключать браки только между представителями своего рода⁷⁹.

Как и в других повестях «Вечеров...», «невидимая брань» в «Страшной мести» тоже разворачивается не только в душе явного «злодея» — страшного колдуна, но и в душах вроде бы вполне «положительных» героев повести. Их «незаметные» негативные черты в свою очередь многое определяют в развитии ее сюжета. Здесь прежде всего Гоголь обращает внимание на причины, приводящие к саморазрушению казацкого единства. (По замечанию исследовательницы А. Я. Ефименко, размышления над обычаями духовного братства, побратимства, упоминаемыми в «Страшной мести», позднее легли в основу изображенного Гоголем запорожского братского союза в «Тарасе Бульбе»⁸⁰.) Главной причиной разъединения Гоголь считает постепенно проникающую в ряды казачества страсть корыстолюбия.

«Эй, хлопцев! — восклицает в повести пан Данило. — Беги, малый, в погреб да принеси жидовского меду! <...> Что, Стецько, много хлебнул меду в подвале? <...> Эх, козаки! что за лихой народ! все готов товарищу, а хмельное высушит сам».

В черновой редакции «верному хлопцу» Стецько принадлежала со своей стороны реплика, которую он произносил после гибели пана Данила: «Я пойду, seberу наших. Ляхи уже услышали про наше горе и ворочаются назад. Сердце так <и> чует, что уже шумят они в подвале. Меды поотпечатаны, и вино хлещет из воронок».

Обе эти реплики прямо перекликаются с содержанием нескольких заметок Гоголя, сделанных в конце 1820-х — начале 1830-х годов (незадолго до создания «Страшной мести») при чтении «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина: «У князей бывало не мало богатства в подвалах, кладовых и погребах: железо, медь, вино, мед, на гунгах множества хлеба. У Святослава Черниговского, брата Игоря, нашли 900 000 скирд. <...> Меду в подвалах 500 берковцев и 80 корчаг вина*. <...> В междоусобных бранях обыкновенно дружина и вожди прежде всего старались овладеть кладовыми и погребами...» (заметка «Обычай»). Настоящая заметка в свою очередь связана с размышлениями Гоголя о причинах замедления и «остановки» тогдашнего «хода развития» Руси, которую писатель усматривал именно в корыстолюбии князей: «Уделами менялись и торговались, как воины своими оружиями. <...> Часто иные князья, когда нравился им чужой удел, изгоняли с сильною дружиною князя <...> Здесь — то нужно искать причины остановки хода развития в России» (заметка «Внутреннее устройство»). Эти же размышления отразились позднее и в строках первой главы «Тараса Бульбы» о «враждующих и торгующих городами мелких князьях», а также в знаменитой речи Тараса Бульбы о товариществе: «Знаю, подло завелось теперь в земле нашей: думают только, чтобы при них были хлебные стоги, скирды, да конные табуны их, да были бы целы в погребах запечатанные меды их <...> Паскудная милость польского магната <...> дороже для них всякого братства...».

Эти представления и лежат в основе образа пана Данила в «Страшной мести» — который, с одной стороны, сетует, подобно Тарасу, на отсутствие «порядка» в Украине («...Полковники и есаулы грызутся, как собаки, между собою. <...> Шляхетство наше все переменяло на польский обычай <...> продало душу, принявши унию»), с другой, — как неоднократно подчеркивает автор, — сам не лишен корыстолюбия (главной причины внутренних раздоров). В последнем же случае Данило Бурульбаш, преступая ради мирских стяжаний узы духовного родства, прямо уподобляется у Гоголя Петру *Безродному* из «Вечера накануне Ивана Купала».

Как ненароком, словно проговариваясь, подсказывает рассказчик, атмосфера странного недоверия царит в хуторе пана Данила. «...Козакам что-то не верится», — замечает Катерина о самых приближенных к пану Данилу «отборных», «наивернейших молодцах». В черновой редакции эта мысль была повторена автором еще раз. «А вы, — сказал Данило, выходя на двор и отделяя из кучи собравшихся козаков *надежнейших*, — оставайтеся дома сторожить, чтоб не досталось нечистому племени опоганить наши хаты!» (курсив наш. — *И. В.*).

* Берковец — русская мера веса в десять пудов. Корчага — «большой сосуд», «глиняный горшок» (гоголевский «объяснительный словарь» русского языка).

«Ох, помню, помню я годы,— восклицает в повести пан Данила о «золотом» времени казачества.— <...> Как резались мы тогда с турками! <...> Сколько мы тогда набрали золота! Дорогие камня шапками черпали козак. Каких коней, Катерина, если б ты знала, каких коней мы тогда угнали! <...> Ступай, малый, в подвал, принеси мне кухоль меду!»*. Не случайно и само обращение здесь героя к жене Катерине, на дорогие наряды которой — как и на постоянное стремление пана Данила «добыть» золота (пожалуй, хоть и у «нечистого» колдуна: «...думаю, он не без золота и всякого добра»), то и дело по ходу повести обращает внимание рассказчик. В этом пан Данило опять-таки напоминает «безродного» Петруся из «Вечера накануне Ивана Купала», который ради возлюбленной задумал «пристать к какой-нибудь ватаге удалой — воевать туретчину или крымцев»: «...То и дела, что видит он кучи золота; драгоценные камня ограбленных иноверцев беспрестанно чудились ему перед глазами» — и во сне размахивал он руками, «как будто поражая нечестивые толпы крымцев и ляхов». «...Тут, вдобавку,— замечает рассказчик о мотивах преступления героя,— представилось ему отчаяние Пидорки, принужденной идти за нечестивого католика... Ум его помутился; как сумасшедший бросился он за нож — и кровь невинного младенца брызнула ему в лицо»⁸¹.

Пристрастие жены пана Данила к дорогим нарядам тоже находит себе соответствие в упомянутой гоголевской заметке «Обычай», составленной по материалам «Истории...» Карамзина: «Жены ходили в золотых украшениях. См<отри> Соф<ийский> врем<енник> <...>: “Последуем, братцы, примеру нашего князя <...> Не кладягу на своя жены златых обручев, но хожаду жены их в серебряных”».

Очевидно, намекая на пристрастие героини к украшениям — а самого героя к хмельному («Я, пани Катерина, что-то давно уже был пьян. А? <...> Не бойся, не бойся, больше кружки не выпью!»), Гоголь снова повторяет в «Страшной мести» темы, намеченные ранее в «Вечере накануне Ивана Купала», «Сорочинской ярмарке», «Майской ночи» (образы Пидорки и Петруся; Грицька и Параски; Левко и Ганны).

* Тому же Стецько Данило Бурульбаш говорит, обещая подарить утерянную шапку: «Тебе, Стецько, дам выложенную бархатом с золотом. Я ее снял вместе с головою у татарина. Весь его снаряд достался мне; одну только его душу я выпустил на волю».

ИВАН ФЕДОРОВИЧ ШПОНЬКА И ЕГО ТЕТУШКА

О характере главного героя, изображенного Гоголем в повести «Иван Федорович Шпонька и его тетушка», можно сказать, воспользовавшись словами самого писателя из второй главы первого тома «Мертвых душ»: «Гораздо легче изображать характеры большого размера; там просто бросай краски со всей руки на полотно <...> но вот эти все господа, которых много на свете, которые с вида очень похожи между собою <...> — эти господа страшно трудны для портретов. Тут придется сильно напрягать внимание, пока заставишь перед собою выступить все тонкие, почти невидимые черты...».

Определенное основание видеть в гоголевском герое именно такой, «незначительного размера» характер дает само фамильное прозвище Ивана Федоровича. Согласно «Лексикону малороссийскому» гоголевской «Книги всякой всячины...», «шпонька, запонка». Очевидно, в фамилии Ивана Федоровича Шпоньки, одно из любимых занятий которого было «чистить пуговицы» форменного мундира и который получил очередной чин спустя одиннадцать лет, — подчеркивается явная незначительность, «пошлость» фигуры героя. (Об этом, в частности, можно судить из соответствующих упоминаний в «Ревизоре»: «У нас есть один такой, что пятнадцать лет служит и получил только одну пряжку»; и в «Шинели»: «... Выслужил он <...> пряжку в петлицу, да нажил геморой в поясницу»*.)

С другой стороны, пуговица, запонка в одежде гоголевских героев представляет собой (также как женские украшения — мониста, серьги, перстни и ожерелья) весьма немаловажную деталь, своего рода знак отличия, или «орден». В выписке Гоголя «Одежда и обычаи русских. (Из Олеария)», эта мысль выражена вполне определенно: «Богатые вышивают ворот около шеи и на переду <...> на вершок в ширину, разноцветными шелками <...> выставляют <...> из-под кафтана и к обеим сторонам ворота пришивают большие жемчужные, золотые или серебряные запонки». В другой гоголевской выписке «Об одежде и обычаях русских XVII века. (Из Мейерберга)», тоже сообщается: «Жены боярские ходили в широком опашне <...> Спереди донизу застегнуто золотыми или серебряными пуговицами, иногда величиной с гречкий орех...».

Очевидно, что и «незначительному» во многих отношениях Ивану Федоровичу, заботливо чистящему на досуге свои форменные пуговицы, вовсе не безразлично его скромное звание. Отметим, например, что в чистке пуговиц он весьма напоминает «самого» вельможного Потемкина из

* Пряжка — здесь: почетный знак, дававшийся за выслугу лет на гражданской службе.

«Ночи перед Рождеством»: «Потемкин молчал и небрежно чистил небольшую щеточкою свои бриллианты, которыми были унизаны его руки». Во всяком случае тщеславие Ивана Федоровича его невысоким званием вполне удовлетворено, так как для его среды является, судя из дальнейшего, вполне достаточным.

(В качестве примера можно указать, что для удовлетворения честолюбия сельского головы в «Майской ночи» — в его ближайшем, деревенском окружении — довольно и того, что однажды он сидел на козлах с царицыным кучером. Для понимания «социальной иерархии» гоголевских героев уместно отметить, что отставному поручику Шпоньке прямо соответствует в «Майской ночи» «отставной поручик» комиссар Козьма Деркач-Дришпановский — возможный приезд которого в село прямо приводит голове Евтуху Макогоненку на память проезд царицы в Крым. Словом, — замечал позднее Гоголь в «Шинели» при характеристике одного «незначительного» «значительного лица», — «всегда найдется такой круг людей, для которых незначительное в глазах прочих есть уже значительное».)

«Так как ты уже имеешь чин немаловажный, что, думаю, тебе известно, — пишет Ивану Федоровичу Шпоньке его тетушка, — <...> то в воинской службе тебе незачем уж более служить». «Чин ты уже имеешь хороший, — повторяет она ему при личном свидании. — Пора подумать и об детях!». «Насчет вашего мнения о моей службе, — отвечает ей Иван Федорович, — я совершенно согласен с вами и третьего дня подал в отставку».

Итак, после двух — за несколько лет — классов гадячского поветового училища*, после получения — тоже спустя несколько лет — поручичьего чина, образование свое герой считает вполне законченным. Подобно герою неоконченной повести Гоголя «Страшный кабан», «заштатному» семинаристу Ивану Осиповичу — отправляющемуся «на вакансии» (в домашние учителя, или «в отставку»**) после многолетнего пребывания в начальных классах семинарии, — Иван Федорович, тоже взяв отставку, едет в имение в некотором роде на «заслуженный» отдых.

Кстати сказать, в образе упомянутого гоголевского «семинариста» (в основу которого легли, вероятно, детские впечатления Гоголя; как известно, первоначальное образование он получил дома, «от наемного се-

* «Было уже ему без малого пятнадцать лет, когда перешел он во второй класс...». Отметим, что сам Гоголь поступил во второе отделение Полтавского поветового училища в 1819 году в девятилетнем возрасте, но среди его соучеников были и великовозрастные — четырнадцатилетние и пятнадцатилетние (см.: *Иофанов Д. Н. В. Гоголь: Детские и юношеские годы.* Киев, 1951. С. 116).

** От лат. *vacatio* — освобождение. *Ваканцьовий* — заштатный, отставной (укр.).

минариста»⁸²) есть еще несколько черт, роднящих его со Шлонькой. Сравнение этих двух образов помогает многое понять в замысле гоголевской повести.

«...Не мешает припомнить любезному читателю, что на Иване Осиповиче был <...> сюртук с черными, величиною с большой грош, косяными пуговицами...», — замечает о своем великовозрастном герое-семинаристе рассказчик повести «Страшный кабан». Схожими являются и изображаемое в обеих повестях «стоические» добродетели и — затем — «нечаянное» сватовство героев («...Иван Осипович был настоящий стоик, — говорит автор «Страшного кабана», — и <...> не ставил ни во что причудливую половину человеческого рода». — «Я не знаю, тетушка, как вы можете это говорить, — восклицает Иван Федорович в ответ на намеки тетушки о женитьбе. — Это доказывает, что вы совершенно не знаете меня...»).

Схожи и прежняя незначительность Ивана Федоровича и Ивана Осиповича (до приезда их в село — в кругу полковых товарищей и в кругу бурсаков, соответственно) — и, напротив, «немаловажность», явившаяся с переменой окружения: «Перемещение это сделало важную эпоху и перелом» в жизни Ивана Осиповича — «судьба <...> указала» ему «высоту, чуть-чуть не над головами всех мирян»; «По приезде домой жизнь Ивана Федоровича решительно изменилась и пошла совершенно другою дорогою».

Подобно тому, как бывший семинарист (а с приездом в село «грозный педагог») Иван Осипович отличается от его нового деревенского окружения главным образом светло-синим сюртуком с косяными пуговицами (с прибавлением сюда еще нескольких мелких «дарований» — таких, как уменье «мотать мотки» и «прясть»), такого же рода «духовный», образовательный «капитал» везет в свое имение и Иван Федорович Шлонька. Именно на это обращает внимание рассказчик, описывая путешествие героя на родину.

Тогда как на протяжении двух недель дороги его извозчик — «набожный жид» — «шабашовал по субботам и, накрывшись своею попоной, молился весь день», Иван Федорович «в то время развязывал <...> чемодан, вынимал белье, рассматривал его хорошенько <...> снимал осторожно пушок с нового мундира <...> и снова все это укладывал наилучшим образом». «Книг он, — добавляет рассказчик, — вообще сказать не любил читать; а если заглядывал иногда в гадательную книгу, так это потому, что любил встречать там знакомое, читанное уже несколько раз».

В черновой редакции повести Гоголь, подчеркивая суеверие героя, отмечал, что Шлонька «заглядывал иногда» — наравне — «в Библию и гадательную книгу» («...то читал пуговицы, то читал Библию или гадательную книгу...»). В окончательной редакции Гоголь снял и эти упоминания

нения о Библии (ибо, как следует из содержания повести, не в Библию, но исключительно в гадательную книгу заглядывает Иван Федорович в затруднительной ситуации — это «чернокнижничество» героя прямо роднит с колдуном «Страшной мести»). При этом в окончательной редакции Гоголь добавил замечание о том, что о Святых Местах — Иерусалиме Иван Федорович «наслышался» от своего денщика.

Полное безразличие Ивана Федоровича к своей вере и подчеркивает Гоголь, сравнивая его с ревностным в самом заблуждении жидом-извозчиком — как бы служащим здесь «живым напоминанием» о бывшем гонителе христиан св. апостоле Павле. (Об апостоле Павле в этой связи упоминает, как уже говорилось, герой «Страшной мести».)

(Добавим, что в «Сорочинской ярмарке» Гоголь показывает одновременно и то, чего стоит молитва новейших ревнителей «ветхого закона» — легко преступающих любые заповеди ради наживы. Эту мысль Гоголь подчеркивает в рассказе о взятой в залог евреем-шинкарем «свитке»: «Жид <...> прикинулся, будто в глаза не видал: “Какую свитку? у меня нет никакой свитки!..”. <...> К вечеру <...> пересчитавши по сундукам деньги, накинул на себя простыню и начал по-жидовски молиться Богу...». Поведение героя в этом эпизоде является прямым нарушением ветхозаветной заповеди: «Если возьмешь в залог одежду ближнего твоего, до захождения солнца возврати ее...»⁸³.)

Духовную «мертвенность» героя по отношению к своей вере Гоголь показывает и в равнодушии Шпоньки к соблюдению церковных постов: «Это было в пятницу. <...> Иван Федорович <...> заблаговременно запасся двумя вязками бубликов и колбасою и, спросивши рюмку водки <...> начал свой ужин...». Подъехавший в свою очередь на постоянный двор сосед Шпоньки, помещик Григорий Григорьевич Сторченко, с подобным же нечувствием к смыслу христианской пятницы начинает своей ужин курицей. Последнему герою так же, заметим, как Ивану Федоровичу, очень хорошо известно, в какой день он это делает. «Ваш жид будет шабашовать, потому что завтра суббота...», — говорит он Шпоньке. Но и у Григория Григорьевича «набожность» еврея-извозчика отнюдь не вызывает размышлений о том, как он сам исповедует свою веру.

Как указывает далее Гоголь, место веры — и простого здравого смысла — занимает в душе обоих героев (как это чаще всего и бывает) суеверие. Вот как, например, Григорий Григорьевич рассказывает Шпоньке об исцелении его от внезапной «болезни»: «Мне помогла уже в наших местах простая старуха. И чем бы вы думали? просто зашептыванием. Что вы скажете, милостивый государь, о лекарях? Я думаю, что они просто морочат и дурачат нас. Иная старуха в двадцать раз лучше знает всех этих лекарей». На это Иван Федорович согласно отвечает: «...Извольте говорить совершеннейшую-с правду. Иная точно бывает...».

Эти размышления о соотношении веры и суеверия — об обращении человека в болезни или несчастье либо к исполненному Божьего откровения врачу (вроде В. Присница — как оценивал его Гоголь), либо к «старухе» (или Пузатому Пацюку — прямо связанному с нечистой силой) непосредственно отразились позднее у Гоголя в десятой главе первого тома «Мертвых душ»: «Поди ты сладь с человеком! не верит в Бога, а верит, что если почешется переносье, то непременно умрет <...> Всю жизнь не ставит в грош докторов, а кончится тем, что обратится наконец к бабе, которая лечит зашептываньями и заплевками...». — Гоголь объяснял здесь суеверие человека именно его духовной неразвитостью, неподготовленностью к искушению, заставляющей попавшего в критическую ситуацию обращаться к первому попавшемуся средству: «Утопающий, говорят, хватается и за маленькую щепку, и у него нет в это время подумать, что на щепке может разве прокатиться верхом муха...» — «В несчастье кто не суеверен?» — замечал писатель еще в «Ганце Кюхельгартене».

В «Иване Федоровиче Шпоньке...» Гоголь указывает и на то, что происхождение суеверий чаще связано с поверхностным — ориентированным лишь на внешнее «благонаравие» — светским воспитанием, оставляющим человека внутренне непросвещенным и неразвитым — таким, как оставляли его в прежние времена «детские предрассудки» и суеверия.

Эту зависимость Шпоньки не только от древних суеверий, но и от новейших, не менее пустых и бесплодных в нравственном отношении, «тонких обычаев света» рассказчик подчеркивает в повести неоднократно. Судить о ней он предоставляет читателю, во-первых, по той заботливости, с которой Иван Федорович разглядывает — в невыгодном для него сравнении с занятием жида-извозчика — сложенное в чемодане белье: «так ли вымыто, так ли сложено». Второй раз, — когда Иван Федорович отправляется в гости к своему богатому соседу: «...Иван Федорович <...> немного оробел, когда стал приближаться к господскому дому. <...> Иван Федорович похож был на того франта, который, заехав на бал, видит всех, куда ни оглянется, одетых щеголеватее его». Третий раз, это боязнь героя выглядеть «не хуже других» изображается как его кошмарный сон: «“Какой прикажете материи? — говорит купец. — Вы возьмите жены, это самая модная материя! очень добротная! из нее все теперь шьют себе сюртуки”. <...> Иван Федорович <...> идет к жиду, портному. “Нет, — говорит жид, — это дурная материя! Из нее никто не шьет себе сюртука...”. В страхе и беспомощности просыпался Иван Федорович». Кроме того, замечает рассказчик, Иван Федорович «не был щедр на слова. Может быть, это происходило от робости, а может, и от желания выразиться красивее». Это по сути прямо напоминает тщеславную робость «франта», заехавшего на роскошный бал. Мелкое, задавленное робостью

тщеславие и делает из «преблагонаванного и престарательного мальчика» Ивана Федоровича образцового в полку офицера: «... Не было никого исправнее Ивана Федоровича в полку. И взводом своим он так командовал, что ротный командир всегда ставил его в образец».

Гоголь подробно останавливается на сути воспитания, полученного Иваном Федоровичем. Он, в частности, подчеркивает, что поверхностное светское воспитание было заложено в герое в детстве его суровыми «педагогами», обращавшими главное внимание именно на «хорошее поведение» — то есть умение «сидеть смиренно на лавке». Думается, не случайно Гоголь упоминает в этой связи неоднократно переиздававшееся в конце XVIII — начале XIX века учебное пособие «О должностях человека и гражданина, книга к чтению определенная в народных городских училищах Российской Империи» (СПб., 1-е изд. — 1783; 11-е — 1817). По этой книге обучался в первой половине 1819 года в Полтавском уездном училище сам Гоголь. В основу пособия «О должностях человека и гражданина...», составленного сербским педагогом Ф. И. Янковичем де Мириево (приглашенным в Россию из Австрии Екатериной II), была положена книга австрийского аббата И. И. Фельдбигера «Руководство к честности и правости...», употреблявшаяся в то время в сербских школах*. Примечательно, что большое место в изучаемом Иваном Федоровичем Шпонькой учебном пособии отводится правилам светского этикета; одна из ее глав так и называется — «О благопристойности», и посвящена изложению «правил благопристойности» в походке, стоянии, сидении, поклонах, в молитве, лице, одежде «и прочих вещах».

Очевидно, Иван Федорович — так же, как впоследствии Павел Иванович Чичиков в «Мертвых душах» (будучи в свою очередь в классах городского училища) — «вдруг постигнул дух» своих начальников «и в чем должно состоять поведение». Он был «преблагонаванный и престарательный мальчик»; «тетрадка у него всегда была чистенькая, кругом облинённая, нигде ни пятнышка. Сидел он всегда смиренно, сложив руки и уставив глаза на учителя»; «Когда кому нужда была в ножике очинить перо, то он немедленно обращался к Ивану Федоровичу, зная, что у него всегда водился ножик; и Иван Федорович <...> вынимал его из небольшого кожаного чехольчика, привязанного к петле своего серенького сюртука, и просил только не скоблить пера острием ножика, уверяя, что для этого есть тупая сторона» (ибо, поскольку должно, в соответствии с приличия-

* Во второй половине 1819 года книга «О должностях человека и гражданина...» была изъята из употребления в российских учебных заведениях по предложению святителя Филарета (Дроздова), бывшего в ту пору членом Главного правления училищ; вместо нее была введена книга «Чтения из четырех Евангелистов и из книги Деяний Апостольских, для употребления в училищах» (СПб., 1819).

ми, наблюдать во всем порядок — в частности, иметь ножичек в исправности, то во избежание «непорядка» лучше не использовать его «острой стороны» по назначению).

Однако первое же искушение, выпавшее на долю Ивана Федоровича,— школьную «взятку» масляным блином — герой, «тогда еще просто Ванюша», несмотря на все свое «благонаравие», не выдерживает. В этом, думается, заключается прямая подсказка о возможном продолжении повести — Иван Федорович, очевидно, не устоит и перед эстетическим «искушением» — вступлением в незаконный брак, ибо из рассказов тетушки (подстрекающей племянника к этой женитьбе) с большой вероятностью следует, что избранница героя приходится ему двоюродной сестрой (церковные уставы воспрещают и расторгают такие браки). Теоретический «стоицизм» героя, не подкрепленный внутренним воспитанием (и конкретным аскетическим деланием), неизбежно должен потерпеть, как и в случае с «стойком»-семинаристом Иваном Осиповичем, свое крушение.

Судить о таком именно «продолжении» повести позволяет, помимо сказанного, еще одна перекличка между «Иваном Федоровичем Шпонькой...» и ранней повестью Гоголя «Страшный кабан». За масляный блин — данную ему взятку — Шпонька, не ожидавший расплаты, был «пребольно» наказан. Как бы прямо на этот счет в рассказе об учителе-семинаристе Иване Осиповиче сообщается: «*“Homo prorit, Deus disponit”*»,— говаривал часто лектор *** семинарии, отсчитывая удары линейкою ленивым своим слушателям...».— Это латинское изречение («Человек предполагает, Бог располагает») относится в повести «Страшный кабан» уже не собственно к школьному «воспитанию», но именно к внезапному «наказанию» ленивого — в духовном отношении — героя вспыхнувшей в нем любовной страстью. Как бы прямой диалог на тему о том, что «человек предполагает, а Бог располагает», и разворачивается далее между Иваном Федоровичем и его разнообразящей свою деревенскую жизнь «новыми замыслами» тетушкой по поводу женитьбы: «То есть как?.. я-с, тетушка? Вы, может быть, уже думаете...» — «А что ж? что тут диковинного? так Богу угодно! Может быть, тебе с нею на роду написано жить парочкою».

Еще до знакомства с «барышнями» «стоический» герой Иван Федорович погружен в сферу эстетических переживаний, которые, очевидно, и приведут его к грехопадению. Эту мысль Гоголь подсказывает читателю, изображая картину пленительного заката, которую созерцает герой: «Единодушный взмах десятка и более блестящих кос; шум падающей стройными рядами травы; изредка заливающиеся песни жниц (по замечанию рассказчика «Майской ночи», «свояченице» сельского головы «всегда не нравилось, если голова заходил в поле, усеянное жница-

ми...». — И. В.) <...> степь краснеет, синее и горит цветами <...> Трудно рассказать, что делалось тогда с Иваном Федоровичем. Он <...> стоял недвижимо на одном месте, следя глазами пропадавшую в небе чайку или считая копы нажатого хлеба, унизывавшие поле». В черновой редакции окончание этой фразы выглядело несколько иначе: «...стоял как вкопанный на одном месте, пока, подкравшись, ночь не обнимет всего неба и звезды то там, то там начнут светиться». Это описание прямо напоминает воплощенную позднее Гоголем в «Тарасе Бульбе» картину звездного неба, которую созерцает Андрий перед тем, как отправиться в осажденный город к прекрасной панночке — где он отречется от веры и отчизны. Эстетическое, «художническое» начало и проявляется при посещении Иваном Федоровичем имения своего соседа. В ответ на расспросы тетушки о «кушаньях», которыми его там угошали, он неожиданно замечает: «Весьма красивые барышни, сестрицы Григория Григорьевича, особенно белокурая!»

Очевидно, что хотя случай с масляным блином — «сделавший влияние на всю <...> жизнь» героя, — не прошел бесследно для Ивана Федоровича («с этих пор робость, и без того неразлучная с ним, увеличилась еще более»), страх наказания вовсе не сделал из него по-настоящему добродетельного человека; он лишь на время парализовал его волю — герой «не имел никогда желания вступить в штатскую службу» потому только, что увидел «на опыте», как «не всегда удается хоронить концы». «Законы света», диктат «красивости», с одной стороны, и прямая угроза наказания, с другой, стали единственными «регуляторами» нравственной жизни героя — так сказать, «светской совестью» Ивана Федоровича. Однако перед любовной страстью такого рода «совесть» оказывается бессильна: «...Душа горячая, как пылающий огонь, не угаснет, пока не истощится <...> Человек, который согрешает против своего ложа, говорит в душе своей: “кто видит меня?..” <...> не знает он того, что очи Господа <...> взирают на все пути человеческие...»⁸⁴.

Под стать Ивану Федоровичу и другие герои повести — как из армейского «света», так и из «домашнего» окружения. Равнодушная «терпимость» героя к заблуждению жида-извозчика вполне соответствует отношению его полковых товарищей к евреям-шинкарям, в заведениях которых они с полной «терпимостью» «пьют выморозки» (алкогольные напитки особой крепости) — хоть и таскают при этом «жидов за пейсики не хуже гусаров».

Кстати, подобной же «широтой взглядов» отличается и сам рассказчик повести об Иване Федоровиче — некто Степан Иванович Курочка. По словам пасичника, Степана Ивановича каждое утро можно встретить на базаре, где он «разговаривает с отцом Антипом или с жидом-откупщиком» (с 1827 года в России широкое распространение получил вин-

ный откуп). Эта «равноправность» отца Антипа и жида-откупщика в ежедневных беседах на гадячском базаре Степана Ивановича Курочки находит себе в «Иване Федоровиче Шпоньке...» соответствие и в застольных разговорах помещика-приживальщика Ивана Ивановича: «Если разговор касался важных и благочестивых предметов, то Иван Иванович вздыхал после каждого слова, кивая слегка головою; ежели до хозяйственных, то высовывал голову из своей брички и делал такие мины, глядя на которые, кажется, можно было прочитать <...> как велики те дыни, о которых он говорил, и как жирны те гуси, которые бегают у него по двору». Тот же «разносторонний» кругозор изображается в собственных репликах героя, только в обратной последовательности: сначала Иван Иванович говорит о дынях и индейках, потом — о путешествии к Святым Местам. При этом, рассуждая с собеседником о весьма далеких и даже противоположных друг другу вещах, герой испытывает одинаковое «удовольствие», что, безусловно, обличает в нем обычного лицемера — человека, не имеющего на самом деле настоящих духовных интересов. Точно таким же «широким кругозором» и «благородными» светскими привычками будет наделен у Гоголя впоследствии Павел Иванович Чичиков в «Мертвых душах»: «О чем бы разговор ни был, он всегда умел поддержать его: шла ли речь о лошадином заводе, он умел говорить и о лошадином заводе; <...> говорили ли о добродетели, и о добродетели рассуждал он очень хорошо, даже со слезами на глазах; об выделке горячего вина, и в горячем вине знал он прок <...> Но замечательно, что он все это умел облекать какою-то степенностью, умел хорошо держать себя».

Многозначительна еще одна упоминаемая пасичником примета рассказчика повести Степана Ивановича Курочки: «когда ходит он, то всегда размахивает руками». (Так же, напомним, «размахивал руками» во сне и Петро Безродный в «Вечере накануне Ивана Купала», — поражая, в чайники богатой добычи, «нечестивые толпы крымцев и ляхов») «Мáшистый, невоздержанный, сладострастный», — пометил Гоголь в своем «объяснительном словаре» русского языка*. «Мáшистость» рассказчика Степана Ивановича Курочки в свою очередь присуща герою повести помещику Григорию Григорьевичу Сторченко («...говорил он, размахивая руками, как будто бы кто-нибудь его не допускал или он продирался сквозь толпу...»). Этот герой-сибарит даже возит с собой в дороге перину. Своим сибаритством Григорий Григорьевич прямо напоминает, с одной стороны, Пузатого Пашока в «Ночи перед Рождеством» (который, согласно замечанию рассказчика, «спал три четверти дня» и «ел за шестерых косарей»), с другой — помещика Петра Петровича Петуха во втором

* Маховитый — жадный, падкий на чужое, хапастый. Мáшисто — мотовато, роскошно.

томе «Мертвых душ», столь же «деспотически», как Григорий Григорьевич Сторченко, обращающегося со своими гостями: «Куда? куда? — воскликнул хозяин <...>. — Нет, государи, и колеса приказано снять с вашей коляски, а ваш жеребец, Платон Михайлович, отсюда теперь за пятнадцать верст» («Мертвые души»); «Скажи Касьяну, чтобы ворота сейчас запер, слышишь, запер крепче! А коней вот этого пана распряг бы сию минуту!» («Иван Федорович Шпонька...»). «Тираническому» поведению Петра Петровича Петуха за обедом, во время которого тот почти насильно заставляет гостей поглощать одно за другим сытные блюда, соответствуют и обильные угощения Шпоньки его хлебосольным соседом.

Отметим, что к образу помещика-«хлебосола» Григория Григорьевича в свою очередь имеют отношение как домашние, так и европейские впечатления Гоголя — в частности, его поездка в Германию в 1829 году. «Здесьние жители, — писал Гоголь матери из Любека, — <...> живут почти в трактирах. Эти трактиры мне очень нравятся: вообразите себе какого-нибудь богатого помещика хлебосола, как прежде например бывало в Кибенцах, у которого множество гостей тут и живут и сходят вместе только обедать или ужинать (имеется в виду упоминавшийся уже богатый сосед и дальний родственник Гоголей Д. П. Трошинский. — *И. В.*). Хозяин трактира занимает здесь точно такую же роль и первое место за столом...» (письмо от 25 августа 1829 года). (Отметим при этом негативную оценку роскошных обедов «хлебосола» Трошинского в письме Гоголя к Петру П. Косяровскому от 13 сентября 1827 года из Нежина: «В часы тоски и радости буду вспоминать то время, когда мы вместе составляли дружное семейство, как работали в саду <...> и наконец собирались к домашнему незатейливому обеду гораздо веселее и с большим аппетитом, нежели в Кибинцах к тамошнему — разнблюдному и огромному.»)

Позднее, в письме к Н. Я. Прокоповичу от 27 сентября 1836 года, Гоголь сообщал о своих первых зарубежных впечатлениях: «Из всех воспоминаний моих остались только воспоминания о бесконечных обедах, которыми [безжалостно] преследует меня обжорливая Европа...». В письме к М. П. Балабиной от 7 ноября н. ст. 1838 года он говорил о Германии: «Я по крайней мере в ней ничего не видел, кроме скучных табльдотов* <...> кельнеров и бесконечных толков о том, из каких блюд был обед и в каком городе лучше едят...».

Не лишена своих светских «добродетелей» — и в языке, и в некотором блюдении интересов «моды» (вместо действительного благочестия) — сама исполненная «новых замыслов» тетушка Шпоньки, Василиса Кашпоровна: «Тетушка подошла величественным шагом, с большою ловкостью отставила одну ногу вперед и сказала громко: “Очень рада,

* Общий обеденный стол.

государыня моя, что имею честь лично доложить вам мое почтение. А вместе с респектом* позвольте поблагодарить за хлебосольство ваше...»»; «...Василиса Кашпоровна <...> всегда изъясляла сожаление, что вывелись из моды старинные экипажи». «...Теперь трудно найти таких плотных материй, какая вот хоть бы, например, у меня на этом капоте», — говорит она Ивану Федоровичу. — В связи с последней репликой героини можно указать на выписку Гоголя из книги М. А. Максимовича «Малороссийские песни» (М., 1827), где говорится: «Из материй, в старину употреблявшихся в Малороссии, мне известны: едамашка, материя весьма плотная с узорами того же цвета. Полутабенок, волнистая, лоснящаяся, род граденапля, но плотнее» («Книга всякой всячины...», раздел «Одеяния малороссиян»). Очевидно, что речь в «Иване Федоровиче Шпоньке...» идет о тех самых «материях», в которых «мерно выбивали гопака» молодилы на свадьбе Петруся и Пидорки в «Вечере накануне Ивана Купала».

Можно было бы еще и еще продолжать перечисление этих мелких, почти незаметных (но отнюдь не маловажных!) «пошлых» черт гоголевских героев. Однако уже очевидно, что перед нами та самая «потрясающая тина мелочей», опутавших человеческую жизнь, те самые «холодные, раздробленные, повседневные характеры», которыми «кишит» наша «земная дорога», — то есть та самая тема «мертвой души» обыкновенного, «пошлого» человека, которой Гоголь посвятит позднее главное произведение своей жизни — поэму «Мертвые души».

ЗАКОЛДОВАННОЕ МЕСТО

Последней повестью сборника — «Заколдованное место» — Гоголь как бы подводит некий итог цикла и вносит в содержание других повестей «Вечеров...», изображающих участие в жизни человека нечистой силы («Пропавшая грамота», «Ночь перед Рождеством» и др.), существенную «поправку». Отметим, что большинство героев ранних повестей Гоголя обнаруживают, с одной стороны, вроде бы похвально бесстрашие перед нечистой, с другой — крайнюю беспечность к своей участи; их бесстрашие оборачивается порой прямым безрассудством. По неведению или духовной лености эти «бесстрашные» герои являют часто отсутствие страха именно тогда, когда бы следовало со страхом вспомнить о наказании, грозящем им за легкомысленную беззаботность и неосмотритель-

* Почтение (лат.).

тельность в «невидимой брани». Создавая образы этих героев, Гоголь во многом следовал простонародному отношению к нечистой силе, нашедшему отражение в фольклоре (как в русском, так и мировом). Так, в характере кузнеца Вакулы, легко одерживающего победу над бесом — в отличие, скажем, от святителя Иоанна Новгородского, совершившего, как и гоголевский герой, поездку на бесе (святому эта победа далась в результате непрестанной молитвы, поста и бдения), — в характере гоголевского героя вполне угадываются черты, роднящие его с солдатом-«москалем» из распространенного народного анекдота, запись которого сохранилась в бумагах Гоголя. Здесь повествуется о том, как бесы хитростью сами вынуждены были изгнать грешника-«москаля» из «пекла» за то, что тот писал «по стинам хрести <то есть кресты> та монастыри».

В «Заколдованном месте» Гоголь как раз и выразил свое сомнение в возможности столь легкой победы над нечистым. Всем содержанием повести писатель предупреждает о недопустимости самонадеянного, легкомысленного отношения к самой возможности соприкосновения с темными силами. «Да, вот вы говорили насчет того, что человек может совладать, как говорят, с нечистым духом,— начинает рассказчик.— Оно конечно, то есть, если хорошенько подумать, бывают на свете всякие случаи... Однако ж не говорите этого. Захочет обморочить дьявольская сила, то обморочит; ей-Богу обморочит».

Сюжет повести снова возвращает нас к поискам «заколдованного» клада. Здесь окончательно складывается реалистический образ одного из главных героев «Вечеров...» — «деда» дьячка Фомы Григорьевича, «истории» которого рассказчик передавал ранее в «Вечере накануне Ивана Купала» и «Пропавшей грамоте». В этом образе Гоголь продолжает свои размышления над темой «маленького человека» — который хотел бы быть «большим» — хотя бы и с помощью нечистого*.

* Своеобразие гоголевского взгляда заключается в том, что отрицательную оценку в его произведениях получают не только люди «большого света», но и те, кому этот вожделенный для них «свет» недоступен — и потому лишь вызывает негативную реакцию. Пасичник Рудый Панько в предисловии к первой части «Вечеров...», например, замечает: «То есть, я говорю, что нашему брату, хutorянину, высунуть нос из своего захолюстья в большой свет — батюшки мои! Это все равно как, случается, иногда зайдешь в покои великого пана: все обступят тебя и пойдут дурачить. Еще бы ничего, пусть уже высшее лакейство, нет, какой-нибудь оборванный мальчишка, посмотреть — дрян, который копается на заднем дворе, и тот пристанет...». Об этом же идет речь и в черновой редакции «Пропавшей грамоты»: «...досаднее всего показалось деду, что смотреть дрян какой кустик и тот, смотри, вытягивался ухватить его за чуб». В словах пасичника заключена, таким образом, с одной стороны, нравственная оценка «великого света» (согласно со словами Писания: «А ныне смеются надо мною младшие меня летами, те, ко-

Подобно Вакуле, отвечающему «пренизкие» поклоны Пузатому Пацюку*, дед «Заколдованного места» (и «Пропавшей грамоты») тоже не прочь поподличать перед нечистью, показать ей свою «просвещенную» светскость: «Вот дед и отвесил им поклон мало не в пояс: “Помогай Бог вам, добрые люди”». Об этой «образованности» героя рассказчик Фома Григорьевич (сам, как замечено, немалый знаток «света») не без некоторой гордости сообщал в «Пропавшей грамоте»: «...Дед жывал в свете немало, знал уже, как подпускать турусы, и при случае, пожалуй, и пред царем не ударил бы лицом в грязь...». (Подпускать турусы — льстить. «Человекоугодник, вроде подлеца», — пояснял Гоголь в своем «объяснительном словаре» русского языка.)

На эту «основу» светскости — потакание низменным страстям чело­века, его гордости и тщеславию, Гоголь указывал опять-таки в незавер­шенной повести «Страшный кабан» при характеристике «отставного се­минариста» Ивана Осиповича: «От наблюдательного взгляда нашего пе­дагога не могло ускользнуть, что и Анна Ивановна не чужда была тщеславия, и потому положил он за правило рассыпаться, — разумеется, сколько позволяла природная его застенчивость, — в похвалах необыкно­венному ее искусству и знанию хозяйничать, и это, как после увидел он, послужило ему в пользу: почтенная старушка до тех пор не закупоривала сладких наливок и варенья, покамест Иван Осипович, отведав, не объяв­лял превосходной доброты того и другого». «Пересчитать нельзя, — заме­чал позднее Гоголь в третьей главе первого тома «Мертвых душ», — всех оттенков и тонкостей нашего обращения <...> у нас есть такие мудрецы, которые с помещиком, имеющим двести душ, будут говорить совсем иначе, нежели с тем, у которого их триста...».

В «Заколдованном месте» появляются новые похвалы Фомы Гри­горьевича светским достоинствам его деда: «“...Разве так танцуют? Вот как танцуют!” — сказал он, приподнявшись на ноги <...>. Ну, нечего ска­зать, танцевать-то он танцевал так, хоть бы и с гетьманшею». Едва ли не намеренно Гоголь словно сравнивает здесь это умение героя танцевать — «хоть с *гетьманшею*» — с его настоящим «призванием» в «Пропавшей грамоте» — быть *гетманским* гонцом, — которое герой, надо сказать, ис-

торых отцов я не согласился бы поместить со псами стад моих»; Иов. 30, 1), с другой — сказывается и уязвленное тщеславие самого пасичника.

* Вакула не забывает при этом засвидетельствовать Пацюку и свою «просвещенность», ввернув в разговор «модное слово»: «...дай Боже тебе всего, добра всякого в довольствии, хлеба в пропорции!». Знаменательно в связи с этим упоминание рассказчика в предисловии к первой части «Вечеров...» о школяре-«латын­шике», что в погоне за модной «ученостью» «позабыл даже язык наш православ­ный».

полняет в повести весьма нерадиво. От этого действительного призвания — как от молитвы или другого религиозного, патриотического служения — его отвлекает собственное рассеяние и мелочные страсти — гульба и та самая «искусная» пляска на конотопской ярмарке, которые он начинает с поисков табака и огнива к своей трубке: «Деду вспало на ум, что у него нет ни огнива, ни табаку наготове: вот и пошел таскаться по ярмарке». — В несомненной связи с этими светскими «достоинствами» «гетьманского гонца» находится и похвальба «просвещенного» полковника П*** пехотного полка «достоинствами» большей части его офицеров в «Иване Федоровиче Шпоньке...»: «У меня-с, — говорил он обыкновенно, трепля себя по брюху после каждого слова, — многие пляшут-с мазурку; весьма многие-с; очень многие-с». (Кстати добавить, что искусством «протанцевать на славу козачка» обладает у Гоголя и колдун «Страшной мести».)

Простые чумаки — старые приятели деда в «Заколдованном месте» — тоже весьма пресерьезно соблюдают законы «большого света»: «Вот каждый, взявши по дыне, обчистил ее чистенько ножиком (калачи все были тертые, мыкали немало, знали уже, как едят в свете; пожалуй, и за панский стол хоть сейчас готовы сесть), обчистивши хорошенько, проткнул каждый пальцем дырочку, выпил из нее кисель, стал резать по кусочкам и класть в рот».

Чем, естественно, «прихвастнуть» деду перед такими «просвещенными» чумаками, как не одной из необходимейших в свете «добродетелей» — умением танцевать «хоть бы и с гетьманшею». Неудача в этом «важном» — с точки зрения светских знатоков — деле вполне «естественно» воспринимается героем (и рассказчиком) как прямой «стыд» и «страм»: «Только что дошел <...> до половины <...> — не подымаются ноги, да и только! <...> Ну, как наделать страму перед чумаками? Пустился снова <...> не вытанцовывается, да и полно! <...> вот на старость наделал стыда какого!...». Это же стремление блеснуть «в свете» перед товарищами заставляет деда забыть и все опасности, подстерегающие его в поисках клада. «Ну, хлопцы, будет вам теперь на бублики! Будете, собачьи дети, ходить в золотых жупанах!» — восклицает герой в предвкушении богатства.

Не останавливает, в частности, героя и то, что для овладения кладом ему надобно разрыть ту «могилку», в которой он якобы находится, — также как, например, Петра Безродного не останавливает убийство Ивася. Этот явный знак запрета к открытию клада «не прочитывается» дедом «Заколдованного места» вовсе не по неразумию. Подчеркивая и наблюдательность героя, и его способность понимать приметы, рассказчик непосредственно перед обнаружением дедом запретного клада замечает: «Месяца не было; белое пятно мелькало вместо него сквозь тучу. «Быть

завтра большому ветру!» — подумал дед. Глядь, в стороне от дорожки на могилке вспыхнула свечка». Эти строки и само поведение героя в указанном эпизоде прямо накладывают слова Спасителя, обращенные к фарисеям и народу: «...вечером вы говорите: будет ведро, потому что небо красно; и поутру: сегодня ненастье, потому что небо багрово. Лицемеры! различать лице неба вы умеете, а знамений времен не можете»⁸⁵.

Именно в кладонискательском предприятии и ждет «просвещенного» светскими «добродетелями» деда настоящее посрамление — суд автора над героем, доверившимся нечисти ради обогащения. Суд этот совершается через многократное физическое и нравственное унижение героя перед нечистой силой — унижение, затрагивающее самое чувствительное для героя место — сознание его «высокого» светского достоинства.

Это посрамление деда как бы «начинается» Гоголем еще в «Пропавшей грамоте» и достигает своего апогея в «Заколдованном месте». Сначала деду приходится с трудом продираться через колючие кусты в «Пропавшей грамоте» — так что, несмотря на всё его мужество и отвагу, «почти на каждом шагу забирало его вскрикнуть» (именно здесь рассказчик в черновой редакции добавлял: «...досаднее всего показалось деду, что смотреть дрянь какой кустик и тот, смотри, вытягивался ухватить его за чуб»). Весьма унижительно для честолюбивого героя и питание его — мимо рта — в той же повести: «Взбеленился дед <...>: “Что вы, Иродово племя, задумали смеяться, что ли, надо мною?”». Потом деду приходится «смиряться» и до того, чтобы играть «с бабами в дурня» и терпеть в «пекле» насмешки всей нечисти: «Козаку сесть с бабами в дурня! <...> Только что дед успел остаться дурнем, как со всех сторон заржали, залаляли, захрюкали морды: “Дурень, дурень, дурень!”». Унижительно для героя — в его наказание — и как бы растянувшаяся на несколько лет «развязка» «Пропавшей грамоты» — повторяющееся из года в год скаканье-плясанье жены на лавке — досаждающее ему и за самым благочестивым занятием, чтением Библии: «...Видно, уже в наказание, что не спохватился тотчас после того освятить хату, бабе ровно через каждый год, и именно в то самое время [как только начнешь из Библии], делалось такое диво, что танцуется, бывало, да и только».

В «Заколдованном месте» всевозможные унижения перед нечистой силой искусного в «плясанье» деда становятся еще более чувствительными. Сначала «заплевал» ему «очи сатана». «Отворотился хоть бы в сторону, когда хочешь чихнуть!» — поучает дед чихающую ему в лицо нечисть правилам «хорошего тона». То пришлось ему, «скинувши новые сапоги и обернувши в хустку, чтобы не покоробились от дождя», задать «такого бегуна, как будто панский иноходец» (сапоги для «деда» — так же как перочинный ножик для Ивана Федоровича Шпоньки — нужны, очевидно, не столько для дела — на случай непогоды, сколько для соответствия

приличиям «порядочного общества» — например, для искусной пляски). Сугубое посрамление героя совершается в финале повести: «Признаюсь, хоть оно и грешно немного, а, право, смешно показалось, когда седая голова деда вся была окутана в помой и обвешена корками с арбузов и дыней. «Вишь, <...> баба! — сказал дед, утирая голову полою, — как опарил! как будто свинью перед Рождеством!» <...> Что ж бы, вы думали, такое там было? <...> золото? Вот то-то, что не золото: сор, дряжь... стыдно сказать, что такое. Плюнул дед <...> и руки после того вымыл».

Как бы подытоживая замысел «Вечеров...» — с их «детскими» суевериями и идущей им на смену недетской гордостью «законов» «большого света», — еще более, чем древние суеверия, подменяющих и вытесняющих собой христианские заповеди, законы Христа, — ибо «непокорность, — по словам Писания, — есть такой же грех, что волшебство, и противление то же, что идолопоклонство...»⁸⁶, — Гоголь в заключительной статье «Светлое Воскресенье» «Выбранных мест из переписки с друзьями» писал: «... Не воспрядновать нынешнему веку Светлого праздника так, как ему следует воспрядноваться. Есть страшное <...> препятствие, имя ему — *гордость*. Она была известна и в прежние веки, но то была гордость более ребяческая, гордость своими силами физическими <...> богатствами <...> родом и званием, но не доходила она до того страшного духовного развития, в каком предстала теперь. <...> Дьявол выступил уже без маски в мир. Дух гордости перестал уже являться в разных образах и пугать суеверных людей, он явился в собственном своем виде. Почуя, что признают его господство, он перестал уже и чиниться с людьми <...> глупейшие законы дает миру <...> и мир <...> не смеет послушаться. Что значит эта мода, ничтожная, незначащая, которую допустил вначале человек как мелочь <...> и которая теперь <...> стала распоряжаться в домах наших <...> Никто не боится преступать несколько раз в день первейшие и священнейшие законы Христа и между тем боится не исполнить ее малейшего приказанья <...> Что значат эти так называемые бесчисленные приличия, которые стали сильнее всяких коренных постановлений? <...> Что значат все незаконные эти законы, которые видимо, в виду всех, чертит исходящая снизу нечистая сила, — и мир это видит весь и, как очарованный, не смеет шевельнуться?»

В этом, очевидно, движении от обличения старинных суеверных преданий и предрассудков к изображению современной губительной «обрядливости» «законов света»* и заключается смысл последующей эволюции Гоголя — от «Вечеров...» к «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», «Ревизору» и «Мертвым душам».

* «Обрядливый, церемонный» (гоголевский «объяснительный словарь» русского языка).

Н. В. ГОГОЛЬ — ЧИТАТЕЛЬ «ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО» Н. М. КАРАМЗИНА

Что ссылаешься ты на историю? История
для тебя мертва... Без Бога не выведешь из
нее великих выводов....

Н. В. Гоголь. Близорукому приятелю.

Знакомство Гоголя с «Историей государства Российского» Н. М. Карамзина предполагается обычно как нечто само собой разумеющееся и не нуждающееся в особенных доказательствах. Вопрос же об изучении Гоголем карамзинской «Истории...» конкретно до сих пор не ставился. Ссылки на Н. М. Карамзина среди гоголевских материалов по русской истории служили лишь основанием общих выводов о том, что «для заметок по истории Руси Гоголь использовал «Историю» Карамзина»⁸⁷. Между тем почти половина дошедших до нас гоголевских набросков по славянской, русской и украинской истории состоит, как показывает анализ, из выписок и заметок при чтении «Истории государства Российского»⁸⁸.

Едва ли не первая по времени явная реминисценция из «Истории...» Карамзина встречается в классном выпускном сочинении Гоголя «В какое время делаются славяне известны по истории, где, когда и каким деяниями они себя прославили до расселения своего и какое их было расселение», написанном в Нежине в 1828 году. «Встретившегося путника, — замечает здесь Гоголь о гостеприимстве славян, — <...> принимали с радушием. Открывали даже дома свои во весь день, когда уходили, и ставили на столе хлеб для проходящих странников». Карамзин писал в третьей главе первого тома «Истории...» «О физическом и нравственном характере славян древних»: «Славянин, выходя из дому, оставлял дверь отвернутую и пищу готовую для странника»*. Очевидно, Гоголь придал-

* Карамзин Н. М. История государства Российского. (Репринтное воспроизведение издания 1842—1844 гг.). В 12 т. (В 3 кн.). М., 1988. Т. 1. С. 36. В дальнейшем «История...» Карамзина цитируется по этому изданию. Ссылки на него даются в тексте с указанием тома (в отдельных случаях, книги) и страницы (или примечания).

вал этой народной черте («редкой», по словам Карамзина, «в других землях и донные обыкновенной во всех славянских») особенное значение. Сведения, почерпнутые в «Истории государства Российского», он использовал позднее при описании жилища миргородского полковника Глечика в «Главе из исторического романа» («Гетьман»), опубликованной в «Северных Цветах на 1831 год»: «...Против дверей несколько окон, перед ними стол, на котором заметил он ржаной хлеб и соль, не снимавшиеся с него никогда, в знак того, что гость во всякое время может найти радушный прием себе».

Выписка из Карамзина, сделанная не ранее 1827 года⁸⁹, встречается в гоголевской «Книге всякой всячины...»: «Впервые <...> часы в Москве явились при великом князе Василье Дмитриевиче <...> поставлены на башне дворца за церковь Благовещенья». (Сведения об этом находим во второй главе пятого тома «Истории государства Российского»; т. 5, с. 138.) Очевидно, в Нежине состоялось первое знакомство Гоголя с «Историей...» Карамзина. (В упомянутом классном сочинении Гоголя можно найти еще целый ряд менее явных реминисценций из «Истории государства Российского». Добавим, что в примечании 302 к пятой главе первого тома «Истории...» Карамзин ссылается на сочинение директора Нежинской гимназии в 1821—1826 годах карпаторосса И. С. Орлая «История о Карпато-Россах, или о переселении Россиян в Карпатские годы и о приключениях с ними случившихся», опубликованное в 1804 году в журнале «Северный Вестник». 26 сентября 1808 года Карамзин писал А. И. Тургеневу: «Скажите от меня приветливое слово г. Орлаю. Желаю узнать его лично, как достойного человека»⁹⁰. Как показывают исследования, устные беседы и сочинения Орлая, в которых проводилась мысль о единстве славянских земель и о губительности междоусобных раздоров, отразились в содержании повести Гоголя «Страшная месть»⁹¹, а также в замысле «Тараса Бульбы»⁹². Впоследствии Орлай явился для Гоголя главным прототипом «необыкновенного наставника» Александра Петровича во втором томе «Мертвых душ»⁹³. Возможно, первым знакомством с «Историей...» Карамзина Гоголь был обязан именно Орлаю.)

Новое обращение к Карамзину как историку последовало, судя по всему, у Гоголя в Петербурге, где с марта 1831 года по апрель 1835-го он преподавал всеобщую историю в Патриотическом институте благородных девиц, а с сентября 1834-го по декабрь 1835-го — среднюю и древнюю историю в Петербургском университете*.

* Отметим также, что в 1833 году Гоголь принял участие в сборе пожертвований на сооружение памятника Н. М. Карамзину, установленному в 1845 году на родине писателя в Симбирске. Гоголь, а также А. С. Пушкин и П. А. Плетнев пожертвовали по 25 рублей (см.: Лит. наследство. Т. 58. М., 1952. С. 247).

Несколько выписок из «Истории государства Российского» находятся среди набросков незавершенного гоголевского очерка о славянах. О важности этого очерка для Гоголя свидетельствует тот факт, что впоследствии он был положен им в основу одной из университетских лекций по истории средних веков «Состояние Европы неримской и народов, основавшихся на землях, не принадлежавших Римской империи», написанной в июле — августе 1834 года. Принципиальное значение имеет здесь вопрос о времени, с которого славяне появляются в восточной Европе. Если в своем классном сочинении «В какое время делаются славяне известны по истории...» Гоголь, по сути, уклонился от ответа на этот вопрос («Трудно и почти невозможно отдернуть темный непроницаемый занавес истории первоначального происхождения славян»), то теперь, следуя первой и второй главам первого тома «Истории государства Российского» (и предвосхищая в своих размышлениях выводы позднейших исследователей), он замечает: «Расселение славян с берегов Дуная невозможно положить <...> Славяне жили уже очень давно на местах своих. Их расселение по восточной Европе случилось в те темные времена, когда восточная Европа была облечена киммерийскими баснями». (Под «киммерийскими баснями» Гоголь подразумевает восходящие к XII веку до Р.Х. баснословные сведения греческих поэтов Ономакрита, Гомера и др. о древних обитателях Южной России киммерянах. Об этих сведениях упоминает Карамзин в первой главе первого тома «Истории...»; т. 1, с. 1.) «Подобно как германцы аборигены Европы западной, — подчеркивает Гоголь в другом наброске, — так славяне аборигены восточной. Они, может быть, древни в такой степени, как древни народы древнего мира» (заметка «Уже самым положением земли...»). «Славяне были самые древние обитатели восточной Европы», — замечает он и в лекции «Состояние Европы неримской...». «Мнение о древности славян в Европе, — писал позднее, в 1845 году, М. П. Погодин в «Историческом похвальном слове Карамзину...», — принадлежит новейшей критике, но перечтите, что говорит о них Карамзин, и вы увидите, что начиная их Историю с 6 века, вслед за прочими исследователями, он был уверен в Европейском их пребывании гораздо прежде: он все предчувствовал, все указал, обо всем догадывался!»⁹⁴.

Еще для нескольких набросков очерка о славянах Гоголь воспользовался содержанием уже упомянутой третьей главы первого тома «Истории...» («О физическом и нравственном характере славян древних»). Так, в заметке «Происхождение славян» Гоголь, следуя Карамзину, замечает о сходстве славянских языков с «языком санскритским» (ср. т. 1, примеч. 245), в заметке «Характер славян вообще» отмечает, согласно приводимым Карамзиным источникам, чрезвычайную музыкальность славян (ср. т. 1, с. 41). Из Карамзина он выписывает также о погребальных обрядах

славян («Обряды религиозные»; ср. т. 1, с. 61; т. 1, примеч. 236), об их ремеслах и искусствах («Сочинитель *Vita Ottonis* говорит...»; ср. т. 1, с. 57—58; т. 1, примеч. 222, 223; «Давность существования славян»; ср. т. 1, с. 40). Все эти заметки служат ему главным образом основанием того же вывода: «Давность существования славян доказывается их религиею, довольно многосложною, уже показывающею разностороннюю жизнь их, памятниками искусств, для того чтобы достигнуть которых нужна долгая жизнь и переход к совершенствованию» (набросок «Давность существования славян...»).

В конце жизни Гоголь, очевидно, вновь обратился к главам «Истории государства Российского», посвященным славянам. С содержанием этих глав связан обнаруженный в то время Гоголем интерес к этнографии и флоре Сибири. «Мне нужно побольше прочесть о Сибири и о северо-восточной России», — писал он в конце 1851 года С. П. Шевыреву, возвращая ему книгу И. Г. Гмелина «Путешествие по Сибири в 1733—1743 гг.» и испрашивая у него пять томов «Путешествия по разным провинциям Российского государства в 1768—1773 гг.» П. С. Палласа. Составленный Гоголем обширный конспект книги П. С. Палласа находится в связи с примечанием Карамзина к первой главе первого тома «Истории...». Затрагивая в связи с вопросом о происхождении славян гипотезу о давнем азиатском происхождении всех народов, Карамзин приводил в подтверждение этого мнения отрывок из труда шведского ботаника К. Линнея, считавшего Сибирь колыбелью слепопотопного человечества: «Потоп истребил людей, и ковчег Ноев, как сказано в Св. Писании, остановился на горе Араратской, откуда цепь гор идет к Сибири и Татарию, странам высочайшим <...> Сии места должны казаться Ноеву семейству лучшими и безопаснейшими для обитания, и Бог произвел там хлеб, которым более всего питается человек вне тропиков и который (что известно ботаникам) растет *дикий* в одной России восточной. Гейнцельман нашел в степях башкирских пшеницу и ячмень. Жители сибирские пекут хлебы из дикой ржи. Следственно можно заключить, что Сибирь была первым отечеством Ноевых потомков» (т. 1, примеч. 33).

В конспекте Гоголя книги П. С. Палласа, путешествовавшего по Сибири, внимание привлекают, во-первых, не раз встречающиеся упоминания о следах «давнишнего всемирного наводнения», а во-вторых, многочисленные сведения о различных полезных растениях, среди которых «дикая сибирская пшеница», «дикая рожь» («...урожается <...> как будто посеянная»), «дикий овес», «греча дикая» и др. Подчеркнута и удивительная пригодность края к земледелию. (Как вспоминала А. О. Смирнова, Гоголь летом 1849 года в Калуге «читал с восторгом Палласа, восхищался его познаниями в геологии и ботанике»⁹⁵.)

Мысль о происхождении древнейших народов из Азии была близка Гоголю еще в 1830-х годах. В статьях «Жизнь», «Мысли о географии», «О преподавании всеобщей истории», «О движении народов в конце V века» он писал о «великой Азии» с первобытными «народами-пастырями» как «народовержущем вулкане», «колыбели» человечества, и об Арарате как «древнем прапращуре земли». «Так как горы сообщили форму всей земле,— замечал он,— то познание их должно составить <...> начало всей географии» («Мысли о географии»); «География должна разгадать многое, без нее неизъяснимое в истории» («О преподавании всеобщей истории»); «Многое в истории разрешает география» («Взгляд на составление Малороссии»). В те же годы книга Палласа «Путешествие по разным провинциям Российского государства...» появляется (среди других «путешествий по России» — Гмелина, Лепехина, Рычкова, Крашенинникова, Севергина и др.) в списке книг, составленном Гоголем по «Росписи российским книгам для чтения, из библиотеки А. Смирдина» (СПб, 1828). Несоднократно имя Палласа встречается и в гоголевских подготовительных материалах начала 1840-х годов: «Читать путешествия Лепехина, Палласа, Гмелина» (записная книжка 1841—1844 годов); «Лепехин, Паллас, Краше<ни>нников»⁹⁶. Все эти книги были нужны Гоголю для написания «живой географии России»⁹⁷ и продолжения работы над поэмой «Мертвые души», действие которой он, предположительно, намеревался перенести в Сибирь⁹⁸. Можно догадываться, что творческие планы Гоголя тесным образом переплетались с его интересом к тому периоду прошлого, который он называл в 1830-х годах «совершенно потерянным для истории»: «Более семи тысяч лет прошло от создания первых двух человек и около половины этих лет совершенно потеряно для истории. Только с появлением первых обществ (слишком за 2000 до Р. Х.) получают начальные сведения о человечестве» (отрывок «Введение в древнюю историю»).

* * *

Наибольшее место среди дошедших до нас материалов Гоголя 1830-х годов, непосредственно касающихся русской истории, занимают заметки и выписки при чтении второго тома «Истории государства Российского». В девятом томе академического Полного собрания сочинений Н. В. Гоголя 1952 года издания они помещены под № 33—35, 37—59, 62 (ср. т. 2, с. 39—160). Еще одна обширная выписка из второго тома «Истории...» (озаглавленная Гоголем «Выписки из Киевской летописи»⁹⁹), не включенная в это издание, опубликована в 1909 году Г. П. Георгиевским в третьем выпуске сборника «Памяти В. А. Жуковского и Н. В. Гоголя»¹⁰⁰.

(Текстологический анализ этой выписки свидетельствует, что Гоголь пользовался первым изданием «Истории государства Российского» 1816 года.) Из содержания настоящих заметок явствует, что интерес Гоголя сосредоточивался главным образом на процессе объединения русских земель и на роли в этом процессе городов и удельных князей, создававших города. Тогда же Гоголем был задуман очерк о единовластии, от которого до нас дошло только несколько черновых набросков: «О городах», «Внутреннее устройство», «Обычаи», «Великий князь», «Влияние упадка Киевского княжения», «Период второй». Можно предположить, что замысел этот органически вытекал из размышлений Гоголя над славянской историей. В лекции «Состояние Европы неримской и народов, основавшихся на землях, не принадлежавших Римской империи» (основу которой, как указано, составил незавершенный очерк Гоголя о славянах) он замечал о «древних обитателях восточной Европы» славянах: «Рассеянная жизнь, открытые пространства России, неимение никаких союзов и взаимной связи между племенами были причиною их непрерывных покорений многочисленными нациями, умевшими повиноваться одному вождю». Карамзин в заключении первой главы первого тома «Истории...» писал: «Представив читателю расселение народов славянских <...> скажем, что они, сильные числом и мужеством, могли бы тогда, соединясь, овладеть Европою; но, слабые от развращения сил и несогласия, почти везде утратили независимость, и только один из них, искушенный бедствиями, удивляет ныне мир величием (говорим о российских славянах)» (т. 1, с. 18).

Позднее Гоголь еще несколько раз возвращался к своему незавершенному замыслу. Начиная с июня 1837 года, будучи за границей, он неоднократно просил Н. Я. Прокоповича выслать ему из Петербурга оставленные там материалы по истории¹⁰¹. Вероятно, еще до получения этих материалов (что произошло в конце 1838 — начале 1839 года), он возобновил работу над очерком о единовластии. 25 мая н. ст. 1838 года П. Семеновко сообщал Б. Яньскому из Рима: «Занят теперь Гоголь русской историей...»¹⁰². Об этом же свидетельствует запись в дневнике А. И. Тургенева от 23 октября 1838 года: «...Поутру был у Гоголя — пишет русскую историю в политическом отношении, объяснял происхождение русских городов и пр.»¹⁰³. В «Выбранных местах из переписки с друзьями» — книге, написанной не только глубоким религиозным мыслителем и художником, но и оригинальным историком (на это еще не обращалось должного внимания), — Гоголь также замечал: «Все события в нашем отечестве, начиная от порабощенья татарского, видимо клонятся к тому, чтобы собрать могущество в руки одного...». В статье «О сословиях в государстве» (1845), предварявшей создание «Выбранных мест...», Гоголь, следуя переложению слов летописи Карамзиным в «Истории государства

Российского», писал: «История государства России начинается добровольным приглашением верховной власти. “Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет: придите княжить и владеть нами”...». С этими же размышлениями связано и пророческое восклицание Тараса Бульбы в заключении знаменитой гоголевской повести-эпопеи: «...Подымется из Русской земли свой царь!..». (Еще ранее Гоголь воплотил эти размышления в «Страшной мести», в сетованиях пана Данила.)

Размышления о власти князя и ее пределах являются определяющими и для составленного Гоголем в начале 1830-х годов по «Истории...» Карамзина очерка «Новгород». (В его основу положены главы третья и седьмая четвертого тома и девятая — десятая второго; ср. т. 4, примеч. 114, 116; т. 4, с. 59—61; т. 4, примеч. 207; т. 2, с. 107—110; т. 2, примеч. 278; т. 2, с. 165—166, 119). В целом сделанные наблюдения были использованы Гоголем в конце 1832 — начале 1833 года при написании статьи «Взгляд на составление Малороссии». В соответствии с главным выводом заметки «О городах», что «дружины князей были причиною и зиждителями городов» и что «множество воинов <...> людей, не прилагавших труда, должны были собрать вокруг себя трудящийся класс, доставлявший бы им все нужное», Гоголь замечает в заключении своей статьи об украинском казачестве: «Наконец целые деревни и села начала поселяться с домами и семействами около этого грозного оплота, чтобы пользоваться его защитою, с условием за то некоторых повинностей». В своих выписках из «Истории Русов»¹⁰⁴ (считавшейся в то время принадлежавшей перу святителя Георгия (Конисского), архиепископа Могилевского и Белорусского) он также замечал: «Гетьманам и другим важнейшим урядникам даются на содержание старосты (правильно: староства.— *И. В.*) и ранговые деревни (вспомнить об уделах)».

Анализ содержания «Взгляда на составление Малороссии» и хронологических записей Гоголя, сделанных при чтении «Истории...» Карамзина и «Истории Малой России» Д. Н. Бантыш-Каменского («XIII век. 1224. Битва при Калке <...> 1416. Григор<ий> Цамблак») ¹⁰⁵, показывает, что Гоголь воспользовался трудом Карамзина и при написании пятого раздела этой статьи, в котором идет речь о завоевании южнорусских земель литовцами в XIV веке. В восьмой главе четвертого тома Карамзин приводит фрагмент хроники польского историка М. Стрыйковского (Стриковского), которому и следует Гоголь (т. 4, с. 128—129)¹⁰⁶. При этом Гоголь вступает в полемику с Карамзиным, ибо тот (а вслед за ним Д. Н. Бантыш-Каменский) ставит под сомнение достоверность сведений, сообщаемых М. Стрыйковским (и повторяемых неизвестным автором «Истории Русов»): «Сие повествование историка не весьма основательного едва ли утверждено на каких-нибудь современных или достоверных свидетельствах» (т. 4, с. 129). (Следует отметить, что в 1829 году точку

зрения автора «Истории Русов», описывавшего приход литовского князя Гедимина в пределы малороссийские в 1320 году, разделял А. С. Пушкин¹⁰⁷.)

Любопытно, что, когда в 1839 году Гоголь, как явствует из дошедших материалов, задумал переделку статьи «Взгляд на составление Малороссии», он вновь обратился к хронике М. Стрыйковского, цитируемой Карамзиным. В написанном тогда по материалам второго — четвертого томов «Истории...» отрывке «Вражды, войны, битвы и замировки <...> между Россией и Литвой» (ср. т. 2, с. 104—105; т. 3, примеч. 114; т. 3, с. 40, 148; т. 4, примеч. 103) центральное место занимает пересказ содержания хроники М. Стрыйковского, приводимой Карамзиным в примечании 103 ко второй главе четвертого тома. Здесь повествуется о водворении в Южной России литовских князей еще в XIII веке. Вероятно, при переделке статьи Гоголь намеревался подчеркнуть, что под «могущественное покровительство литовских князей» (согласно строкам «Взгляда на составление Малороссии») Южная Россия попала едва ли не сразу после Батыева нашествия («Им было легко устремляться на еще дымившиеся от татарских пожаров села...» — заметка «Вражды, войны, битвы и замировки...»), — так что пребывание южнорусских земель под монгольским игом было весьма непродолжительным. Тем самым к более раннему периоду отодвигалось и возникновение украинского казачества. Замечание об этом появилось у Гоголя во второй редакции «Тараса Бульбы» (1842): «...Когда вся южная первобытная Россия <...> была <...> выжжена <...> неукротимыми набегами монгольских хищников <...> бранным пламенем обьялся древле-мирный славянский дух, и завелось казачество...». В черновой редакции «Взгляда на составление Малороссии» (конец 1832 — начало 1833) Гоголь относил появление казачества к концу XIV — началу XV века; в редакции этой статьи 1834 года он определял его уже концом XIII — началом XIV-го. В то время он соглашался с разделением малороссийской истории М. А. Максимовичем, отводившим эпохе владычества татар на Украине сто лет — с 1240 по 1340 год¹⁰⁸. «В сей-то литовский период Украины (с 1340), — писал М. А. Максимович, — <...> начиналось козачество...»¹⁰⁹. Следует, однако, отметить, что сведения М. Стрыйковского о появлении литовских князей в Южной России в XIII веке, положенные Гоголем в основу его позднейших выводов, Карамзин считал еще менее достоверными: «Стрыйковский смешал предания и времена» (т. 4, примеч. 103).

Полемика Гоголя с историческими взглядами Карамзина касается и более общих, методологических вопросов, связанных в то же время опять с размышлениями Гоголя над украинской историей. Скрыто полемичен одному из положений Карамзина главный вывод статьи Гоголя «Шлецер, Миллер и Гердер» (1834) об идеальном историке, что тот вме-

сте с «глубокостью результатов» Гердера, «огненным взглядом» Шлецера и «мудростью» Миллера должен обладать «увлекательностью» и «занимательностью» Шиллера и Вальтера Скотта, добавив к этому «шекспировское искусство развивать крупные черты характеров». Карамзин в предисловии к своей «Истории...», напротив, утверждал, что историк обязан представлять читателю «единственно то, что сохранилось от веков в летописях, в архивах» и что «здравый вкус <...> навсегда отлучил деписание от поэмы» (кн. 1, с. XII). (Эти же принципы сухого, протокольного описания событий в исторической прозе — в противовес романтическому субъективизму М. Н. Загоскина и А. А. Бестужева — отстаивали во времена Гоголя Ф. В. Булгарин и О. И. Сенковский.) Создателю героической эпопеи «Тарас Бульба» подобный подход к историческому материалу должен был показаться явно стеснительным. История, замечал он в своей программной статье «О преподавании всеобщей истории» (конец 1833 года), должна «составить одну величественную полную поэму <...> Каждая лекция профессора непременно должна <...> казаться <...> стройною поэмою...». Общее впечатление, вынесенное от чтения «Истории государства Российского», Гоголь распространял в то время и на саму русскую историю. «Русская история,— писал он в статье «Несколько слов о Пушкине» (1834),— только со времени последнего ее направления при императорах приобретает яркую живость (титул императора был принят в 1721 году Петром I; «История государства Российского» доведена Карамзиным до 1611 года.— *И. В.*); до того характер народа большею частию был бесцветен; разнообразие страстей ему мало было известно». В письмах к своему земляку М. А. Максимовичу от 28 мая и 10 июня 1834 года, написанных в связи с представлявшейся возможностью преподавательской деятельности в Киевском университете, Гоголь даже восклицал: «Я с ума сойду, если мне дадут русскую историю»; «Если бы это было в Петербурге, я бы, может быть, взял ее, потому что здесь я готов, пожалуй, два раза в неделю отдать себя скуке». Это же отношение проглядывает и в ироническом замечании рассказчика в черновой редакции повести «Портрет» (1834) о затруднительности для него «перечесть по именам удельных князей, наполняющих Русскую историю». В одном из отрывков «Истории Малороссии» (1834) Гоголь писал: «Народ <...> принадлежавший Петру <...> имел не только необходимость, но даже нужду <...> покориться. Их необыкновенный повелитель стремился к тому, чтобы возвысить его, хотя лекарства его были слишком сильные». Гоголь объяснял причины петровских преобразований необходимостью «пробуждения» русского народа, а также тем, что «слишком вызрело европейское просвещение, слишком велик был наплыв его, чтобы не ворваться рано или поздно со всех сторон в Россию и не произвести без такого вождя, каков был Петр, гораздо большего раз-

ладу во всем, нежели какой действительно потом наступил...». Это объединяющее «пробуждение» народа под воздействием враждебного «просвещения», какое в полной мере совершилось, по Гоголю, в северной России — Великороссии — лишь в эпоху Петра I, гораздо ранее уже произошло, по его мнению, при тех же обстоятельствах в южнорусских землях. Во второй редакции «Тараса Бульбы» Гоголь, опираясь на содержание использованной им ранее в «Страшной мести» заметки при чтении «Истории государства Российского» о «причинах остановки хода развития России» (князя «менялись и торговались» уделами, «как воины своими оружьями», — заметка «Внутреннее устройство»), а также исходя из содержания подобной заметки «Обычай» («В каждом уделе лучшая для князя прибыль были места для охоты, за них иногда переменяли они уделы»), к написанному ранее в первой редакции «Тараса Бульбы» об образовании казачества добавил: «Вместо прежних уделов, мелких городков, наполненных псарями и ловчими, вместо враждующих и торгующих городами мелких князей, возникли грозные селения, курени и околицы, связанные общей опасностью и ненавистью против нехристианских хищников <...> гетманы, избранные из среды самих же казаков, преобразовали околицы и курени в полки и правильные округа».

Несмотря, однако, на проводимое Гоголем отличие во времени «пробуждения» народного духа (и внутреннего объединяющего начала) в северной и южной России, в свою очередь не удовлетворяли писателя — явно с точки зрения «увлекательности» и «занимательности» (то есть, в соответствии с его взглядами, по проявлению в истории народного единодушия) и малороссийские летописи. В письме к И. И. Срезневскому от 6 мая 1834 года Гоголь замечал: «Я к нашим летописям охладел, напрасно силясь в них отыскать то, что хотел отыскать. Нигде ничего о том времени, которое должно бы быть богаче всех событиями. Народ, которого вся жизнь состояла из движений, которого невольны (если бы он даже был совершенно недейтелен от природы) соседи, положение земли, опасность бытия выводили на дела и подвиги, этот народ... (не дописано. — *И. В.*) <...> Наши вялые и короткие летописи <...> так пусты, так бесцветны!...».

Необходимый материал для создания художественной картины героического малороссийского прошлого Гоголь почерпнул, как явствует из его писем, в полученной им в начале ноября 1833 года от сестры Марии Васильевны «старинной тетради с песнями» — «между ними <...> многие очень замечательны» (письмо Гоголя к матери от 22 ноября 1833 года). 9 ноября 1833 года Гоголь в письме к М. А. Максимовичу восклицает: «Моя радость! жизнь моя! песни! как я вас люблю! Что все черствые летописи, в которых я теперь роюсь, пред этими звонкими, живыми летописями!» В перечне материалов, которые Гоголь в январе 1834 года просит прислать ему в «Объявлении об издании Истории Ма-

лороссии», он в один ряд ставит «записки, летописи, повести бандуристов, песни, деловые акты». В упомянутом письме к И. И. Срезневскому он признается: «Если бы наш край не имел такого богатства песней — я бы никогда не писал Истории его...» (сам И. И. Срезневский в предисловии к первой части изданной им «Запорожской Старины» также подчеркивал глубокий историзм запорожских песен и дум при «бедности истории запорожцев в источниках письменных»¹⁰). «...Песни для Малороссии — всё: и поэзия, и история...» — замечал Гоголь в статье «О малороссийских песнях» (1834). Глубокий историзм народных песен — славянских, испанских, шотландских, норманнских — Гоголь подчеркивал также в «Библиографии средних веков», составленной им в 1834 году для студентов Петербургского университета, и позднее, в незавершенной «Учебной книге словесности для русского юношества» (1845) при характеристике жанра думы. Для сравнения следует заметить, что в отличие от Гоголя Карамзин, относя песню к десятому из 14-ти выделяемых им разрядов исторических источников, характеризует ее, наряду со сказками, пословицами, древними монетами, медалями и надписями, как источник «скудный» (хотя «не совсем бесполезный») (глава «Об источниках Российской истории до XVII века»; кн. I, с. XVII). Гоголь, вероятно, прямо отталкиваясь от этого деления, в статье о малороссийских песнях восклицает: «...Камень с красноречивым рельефом, с историческою надписью — ничто против этой живой, говорящей, звучащей о прошлом летописи». Именно обращение к народным песням-думам как полноценным поэтическим «летописям» минувшего, вероятно, и помогло Гоголю преодолеть длившийся на протяжении почти полутора лет — с лета 1832 по конец 1833 года — творческий кризис¹¹ и разрешить связывавшее его карамзинское «отлучение деесписания от поэмы» (которое преодолевал постепенно, от тома к тому, и сам знаменитый историограф). 11 января 1834 года Гоголь сообщает М. П. Погодину о своей «Истории Малороссии»: «Мне попрекают, что слог в ней слишком уже горит, не исторически жгуч и жив; но что за история, если она скучна!» Во второй редакции «Тараса Бульбы» автор также замечал, что изобразил в своей повести то время, «о котором живые намеки остались только в песнях да в народных думах». Своим «огромным» рукописным собранием малороссийских и русских песен¹² Гоголь пользовался и при создании драмы из украинской истории в 1839—1841 годах¹³. В специальной работе, посвященной теме фольклорных источников «Тараса Бульбы», показана зависимость многих мотивов и образов гоголевской эпопеи от народных песен и дум¹⁴. Очевидно, использование в этой повести созданий народно-поэтического творчества привело Гоголя к овладению новым методом, итог осмысления которого и подводит статья «Шлецер, Миллер и Гердер» с утверждением здесь единства научного и художественного подходов к изучению истории.

Расхождения Гоголя с Карамзиным касались, таким образом, лишь отношения к украинской истории и общих художественных принципов. Историческую «охранительную» концепцию Карамзина Гоголь в период создания «Тараса Бульбы» (и позднее) разделял вполне. На это, в частности, указывает и упоминание в статье «Шлецер, Миллер и Гердер» о Вальтере Скотте, принципы исторического романа которого, несомненно, сказались в гоголевской эпопее (напомним хотя бы известный пушкинский отзыв о «Тарасе Бульбе» — «коего начало достойно Вальтер Скотта»¹¹⁵). Сам Гоголь в статье «Петербургская сцена в 1835—36 г.» называл шотландского романиста «великим творцом» и противопоставлял его писателям «отчаянно дерзким, какими производятся мятежи в обществах». П. В. Анненков в воспоминаниях о Гоголе ставил «художническое» увлечение писателя В. Скоттом в один ряд с его любовью к народной песне и при этом добавлял: «...Страстная любовь к песням, думам, умершему прошлому Малороссии <...> составляло в нем истинно охранительное начало...»¹¹⁶. В связи с этим следует подчеркнуть, что наряду с «охранительным» и историко-бытовым содержанием народной песни Гоголь ценил в ней и духовное начало, столь же близкое Карамзину. В статье «О малороссийских песнях» Гоголь замечал: «Где же мысли в них коснулись религиозного, там они необыкновенно поэтически». По замечанию, высказанному в 1909 году на торжествах, посвященных открытию в Москве памятника Гоголю, малорусские народные думы, оказавшие влияние на творчество писателя, в свою очередь носят «несомненные следы» влияния духовной школы¹¹⁷. К. Г. Андрусишен позднее указывал, что «думы настолько исполнены религиозными и моральными мотивами, что невозможно не воспринимать их как своеобразные исторические «псалмы». Их молитвенный настрой часто достигает такого воодушевления, какой можно встретить лишь в требниках <...> Они <...> могут спорить с плачем Иеремии, вдохновлены строгою моральною ревностью и возвышены героическими подвигами, про которые рассказывают»¹¹⁸. Как отмечалось, любил Гоголь и духовные стихи и собирал их¹¹⁹. Позднее, в «Выбранных местах из переписки с друзьями», Гоголь прямо сравнивал народную песню — по заключенному в ней стремлению к «лучшей отчизне» — с «церковными песнями и канонами», которые называл в числе главных источников самобытной русской поэзии.

Что же касается различного отношения Гоголя и Карамзина к украинской истории, то показательно, например, упоминание Гоголя о южной России в статье «Взгляд на составление Малороссии» как о «земле <...> чистых славянских племен, которые в Великой России начинали уже смешиваться с народами финскими, но здесь сохранялись в прежней цельности...». Строки эти представляют собой скрытую полемику с Карамзиным, замечавшем в своей записке «О древней и новой России в ее

политическом и гражданском отношениях» (1811): «Владимир, Суздаль, Тверь назывались Улусами Ханскими; Киев, Чернигов, Мценск, Смоленск — городами Литовскими. Первые хранили, по крайней мере, свои нравы, вторые заимствовали и самые обычаи чуждые»¹²⁰. Примечательны на этот счет размышления А. С. Хомякова в статье «О старом и новом» (1839). Согласно его точке зрения, вследствие вызванного нашествием кочевых орд Азии оттока русского населения в глубь страны «Север и Юг смешались, проникнули друг друга, и началась в пустопорожных землях, в диких полях Москвы новая жизнь, но уже не племенная и не окружная, но общерусская»¹²¹. 24 октября н. ст. 1844 года Гоголь на вопрос А. О. Смирновой — «Спуститесь в глубину души вашей и спросите, точно ли вы русский или хохлик» — ответил: «...Я, как вам известно, соединил в себе две природы: хохлика и русского». Через два месяца, 24 декабря, он опять вернулся к этому вопросу: «...Какая у меня душа, хохладская или русская <...> сам не знаю <...>. Знаю только то, что никак бы не дал преимущества ни малороссиянину перед русским, ни русскому пред малороссиянином. Обе природы слишком щедро одарены Богом, и как нарочно каждая из них порознь заключает в себе то, чего нет в другой — явный знак, что они должны пополнить одна другую. Для этого самые истории их прошедшего быта даны им непохожие одна на другую, дабы порознь воспитались различные силы их характеров, чтобы потом, слившись воедино, составить собою нечто совершеннейшее в человечестве». В своей записной книжке 1846—1851 годов Гоголь замечал: «Обнять обе половины русского народа, северную и южную, сокровище их духа и характера». В 1851 году Гоголь говорил: «Я знаю и люблю Шевченко, как земляка и даровитого художника <...>. Но его погубили наши умники, натолкнув его на произведения, чуждые истинному таланту. <...> Русский и малоросс — это души близнецов, пополняющие одна другую, родные и одинаково сильные. Отдавать предпочтение, одной в ущерб другой, невозможно»¹²². По убеждению, вынесенному И. Ф. Золотаревым из совместной жизни с Гоголем в Риме в 1837—1838 годах, «Гоголь был чисто-русский человек, а не малоросс, каким его желают представить <...> писатель горячо любил именно Россию, а не Малороссию только. Любимую литературу его была литература русская <...> наиболее излюбленными <...> писателями были Жуковский и Пушкин»¹²³.

Восприятие пушкинского гения также проходило у Гоголя во многом под увлечением народной песней и было связано с изучением русской истории по Карамзину. Важное место здесь в свою очередь занимали размышления о своеобразии малороссийской поэзии, отражающей жизнь «деятельную, разнообразную, своевольную» («О малороссийских песнях»), перед великорусской, рисующей быт «более спокойный и гораздо менее исполненный страстей» («Несколько слов о Пушкине»). В статье о

Пушкине Гоголь писал: «Сочинения Пушкина, где дышит у него русская природа, так же тихи и беспорывны, как русская природа. Их <...> может совершенно понимать тот <...> чья душа <...> способна понять неблестящие с виду русские песни...». Позднее, в статье о русской поэзии «Выбранных мест...» Гоголь добавлял к этой характеристике Пушкина: «...Самую прозу упростил он до того, что даже не нашли никакого достоинства в первых повестях его <...> Сравнительно с «Капитанской дочкой» все наши романы и повести кажутся приторной размазней». Классическая «простота» и безыскусственность созданий Пушкина тем более, по Гоголю, удивительны, что даже в стихах поэта их оказалось больше, чем в прозе Карамзина: «Не сделал того Карамзин в прозе, что он в стихах. Подражатели Карамзина послужили жалкой карикатурой на него самого и довели как слог, так и мысли до сахарной приторности». Именно от соблазна «натянуть сколько можно выше свой слог, дать силу бессильному, говорить с жаром о том, что само по себе не сохраняет сильного жара» при изображении «дел наших предков» предупреждал Гоголь всякого, кто берется исполнить это, уступая требованиям лубрики — этого «средства», по его словам, «не избрал» Пушкин. Потому, оценивая допетровский период русской истории, описанный Карамзиным, как доставляющий мало красок художнику, Гоголь с тем большим восторгом отзывается о созданном по материалам карамзинской «Истории...» «Борисе Годунове» Пушкина: «...Чем предмет обыкновеннее, тем выше нужно быть поэту, чтобы извлечь из него необыкновенное <...> Определил ли, понял ли кто «Бориса Годунова», то высокое, глубокое произведение, заключенное во внутренней неприступной поэзии, отвергнувшее всякое <...> пестрое убранство?..» (Сходные мысли можно найти у Гоголя и в статье «Об архитектуре нынешнего времени» (1834): «...Где положение земли гладко совершенно, где природа спит, там должно работать искусство во всей силе».)

Размышления о недостаточном «разнообразии» событий древней русской истории, возникшее при чтении «Истории государства Российского», прямо отзываются в строках позднейшей статьи Гоголя «В чем же наконец существо русской поэзии и в чем ее особенность» (1846). «Крутой поворот был нужен русскому народу... — замечает здесь Гоголь об эпохе Петра I.— <...> Огонь излетел вдруг из народа. Огонь этот был <...> восторг от пробужденья...». В письме к князю П. А. Вяземскому от июля — сентября 1842 года, использованном позднее в той же статье о русской поэзии, он пишет о веке Екатерины II, продолжившей петровские начинания: «Есть царствования, заключающие в себе почти волшебный ряд чрезвычайностей, которых образы уже стоят пред нами колоссальные, как у Гомера <...> Нет труда <...> который бы так сильно требовал глубокомыслия <...> Из него может быть двенадцать томов чудной истории...» (столько же, сколько у Карамзина). Однако в статье о

русской поэзии Гоголь, следуя опять-таки Карамзину, называет и три самородных источника русской поэзии — песню, поговорку и «слово церковных пастырей», постепенное освоение которых «пророчило для нашей поэзии (и «гражданского порядка» России.— *И. В.*) какое-то другим народам неведомое, своеобразное и самобытное развитие». Карамзин в заключении четвертой главы пятого тома «Истории государства Российского», посвященной описанию состояния России в XIII — XV веках, в качестве главных источников русской образованности того времени называет последовательно «церковные и душеспасительные книги» (включая сюда летописи, исторические произведения и «слова»), а также «народные поговорки» и «народные песни русские» (т. 5, с. 235—240). Мыслью о необходимости обратиться к этим источникам, оставленным со времен Петра I светским образованным обществом, Гоголь и завершает свою статью: «Еще никто не черпал из самой глубины тех трех источников, о которых упомянуто в начале <...> Все это еще орудия, еще материалы <...> еще в руде дорогие металлы <...> Скорбью ангела загорится наша поэзия и <...> вызовет нам <...> нашу русскую Россию <...> которую извлечет она из нас же...». В таком осмыслении русской истории и русской словесности Гоголь, кстати сказать, был вполне согласен с Н. М. Языковым, которой, откликаясь на выход в свет в 1846 году университетского курса лекций С. П. Шевырева «История русской словесности, преимущественно древней», в письме к Гоголю от 30 апреля восклицал: «...Эти лекции — подвиг важный и бессмертный: теперь перестанут думать, что наша словесность началась с Кантемира. Также придет время, когда увидят, что и история наша началась не с Лефорта!»¹²⁴ *.

«Я не знаю,— замечала в свою очередь в письме к П. А. Плетневу от 17 апреля 1846 года А. О. Смирнова,— что выше, Москва или Рим. И что была бы Москва <...> если бы история наша, собственно русская, не остановилась бы на Петре»¹²⁵.

Важно заметить, что программу дальнейшего развития русской литературы из «самородных» начал Гоголь поместил в книге своих избранных писем, которыми, по его признанию, хотел «искупить бесполезность всего, доселе» им «напечатанного». «...В письмах моих,— писал он в пре-

* Позднее, когда К. С. Аксаков, написавший историческую драму «Освобождение Москвы в 1612» (1848), говорил Гоголю о «безэффективности» русской истории до Петра I (Переписка Н. В. Гоголя. М., 1988. Т. 2. С. 104), Гоголь отвечал: «...Зачем, не бывши драматургом, писать драму? <...> Странное дело: когда я разворачиваю историю нашу, мне в ней видится такая живая драма на каждой странице <...> Когда же я читаю извлеченную из нее нашу так называемую историческую драму <...> полнота жизни от меня уходит...» (письмо к С. Т. Аксакову от 12 июля 1848 года).

дисловии к книге, — <...> находится более нужного для человека, нежели в моих сочинениях». Примечательно, что в таком смиренном сознании незначительности своих писательских заслуг перед высшими, духовными потребностями человека Гоголь имел своим предшественником Карамзина, подобным же образом отзывавшегося о своей «Истории государства Российского». Вполне понимая непреходящее значение своего труда и любя свое творение, он писал, однако же, А. И. Тургеневу: «Жить есть не писать Историю, не писать трагедии и комедии, а <...> любить добро, возвышаться душою к его источнику; все другое есть шелуха, не исключая и моих осьми или девяти томов». М. П. Погодин, приводя эти строки в своем «Историческом похвальном слове Карамзину...», восклицал: «Может ли быть что-нибудь выше, назидательнее, умильнее этих слов <...> Золотыми буквами должны они быть написаны, не только в кабинете ученого, но даже и всякого действующего на каком бы то ни было поприще человека, — да читая их, смиряемся»¹²⁶.

Гоголь в статье «Карамзин» (1846), называя погодинское похвальное слово Карамзину «лучшим из сочинений Погодина», отмечал: «Все места из Карамзина прибраны так умно, что Карамзин как бы весь очерчивается самим собою и, своими же словами взвесив и оценив самого себя, становится как живой перед глазами...». Несомненно разделяя восхищение Погодина жизненным подвигом историографа, и еще более его смирением, Гоголь добавлял: «Вот о ком из наших писателей можно сказать, что он весь исполнил долг, ничего не зарыл в землю и на данные ему пять талантов истинно принес другие пять».

НЕИЗВЕСТНЫЙ «МИРГОРОД»

Свежи, прелестны, благоуханны, художественны были рассказы в «Диканьке», но в «Старосветских помещиках», в «Тарасе Бульбе» уже являлся великий художник с глубоким и важным значением.

С. Т. Аксаков. История моего знакомства с Гоголем.

16/29 июля <1916>. Свящ. муч. Афиногена <...> После завтрака П. В. П<етров> читал и кончил (Т<араса> Бульбу). Чудная вещь!

Дневник Наследника Цесаревича Алексея Николаевича¹²⁷.

Однажды давний друг Гоголя, его школьный приятель А. С. Данилевский написал ему: «Недавно был, но весьма на короткое время, в Миргородском уезде, в благословенных местах, орошаемых Пселом. <...> Не знаю, но теперь более, чем когда-нибудь, я люблю наше захолустье. Я возвратился почти к тем временам, когда самое сладостное чувство рождали одни слова: «Пойдем домой!» Совестно сознаться, но, право, боюсь целую жизнь остаться дитей»¹²⁸. Гоголь откликнулся на признание друга: «...Ты чувствуешь почти юношескую живость при одной мысли ехать на каникулы домой <...> и боишься, чтобы не остаться всю жизнь дитятей. Но это и есть самое лучшее состояние души, какого только можно желать! Из-за этого мы все бьемся! <...> За такое состояние должно благодарить человеку, как за лучшее, что есть в жизни» (письмо от 15 августа н. ст. 1844 года).

Заглавием вышедшего в 1835 году сборника «Миргород», состоящего из четырех повестей — «Старосветские помещики», «Тарас Бульба», «Вий», «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», Гоголь избрал название уездного города Полтавской губернии. Чтобы не оставлять у читателя сомнений на этот счет, он сопроводил сборник двумя эпиграфами, которые убеждали, что автор действительно имеет в виду конкретный — «при реке Хороле» — город Миргород. Вопрос о названии вышедшей книги возник уже в первых рецензиях на нее. Критик П. И. Юркевич писал в газете «Северная Пчела» от

25 мая 1835 года: «Назвав свою книгу, не знаем почему, именем уездного городка Полтавской губернии, автор придал ей два самые странные эпитафия. <...> Нынче в моде щеголять странностию эпитафий, которые не имеют ни малейшего отношения к книге».

Загадка названия и эпитафий гоголевского цикла кроется в том, что Миргород — это город родных мест Гоголя, тех мест, где родился писатель, где прошло его детство и куда он потом не раз возвращался после жизни в столице и долгих скитаний за границей. Именно о родном крае, о жизни своих земляков, об их прошлом и настоящем повествует Гоголь в своей книге.

В самом деле, хотя собственно в Миргороде происходит действие лишь одной из повестей — повести о соре, однако «Миргородчина» — родные гоголевские места угадываются так или иначе в каждом из рассказов. Особенно много черт родного гнезда Гоголя в первой повести — «Старосветских помещиках». По наблюдениям биографов и исследователей творчества писателя, именно родовое имение Гоголей село Васильевка Миргородского уезда Полтавской губернии легло в основу изображенного в этой повести быта уединенной деревни старосветских помещиков, а ближайшими прототипами героев стали лица, знакомые Гоголю с детства. Младший современник писателя Г. П. Данилевский, посетивший Васильевку сразу после смерти Гоголя в 1852 году, вспоминая о «Старосветских помещиках», писал П. А. Плетневу: «Меня увлекал каждый кустик старинного сада Гоголей <...> я слушал, как, отворяясь и затворяясь, поют воспетые им двери; я видел на стенах воспетые и осмеянные им картины...»¹²⁹ *. Первый биограф Гоголя П. А. Кулиш тоже отмечал: «Это не кто другой, как он сам вбегал, прозябнув, в сени, хлопал в ладоши и слышал в скрипении двери: «батюшки, я зябну». Это он вперял глаза в сад, из которого глядела сквозь растворенное окно майская темная ночь...»¹³⁰. «Если бы мы захотели вообразить обстановку детских лет Гоголя, — писал биограф, — то никак не должны подыматься выше простого деревенского быта, который он <...> изобразил в «Старосветских помещиках»»¹³¹. Примечательно, что когда родные Гоголя, его мать и сестра, прочитали статью Кулиша — и высказали на нее ряд своих критических замечаний¹³², упоминание о «Старосветских помещиках» никаких возражений у них не вызвало. Позднее, в письме к Н. А. Белозерской 1886 года, Кулиш указывал: «Изображая свою незабвенную Пульхерию Ивановну, Гоголь маскировал дорогую личность матери <...> Сквозь

* Позднее Г. П. Данилевский указывал, что видел в доме Гоголей «старинные портреты Екатерины Великой, Потемкина и Зубова и английские гравюры, изображающие рыбацкие сцены в Англии» (Гоголь в воспоминаниях современников. Без м. изд., 1952. С. 455).

милые черты его Бавкиды¹³³ проглядывает пленительный образ великой в своей неизвестности женщины...»¹³⁴. О том, что прообразом героини «Старосветских помещиков» послужила Гоголю его мать, дважды сообщается и в известных «Записках А. О. Смирновой». При чтении «Миргорода», писала А. О. Смирнова, Гоголь сказал П. А. Плетневу, что «думал о своей матери, когда описывал Пульхерию Ивановну»¹³⁵. «Он мне также сказал, — добавляла мемуаристка, — что, работая над «Старосветскими помещиками», он думал о своей матери»¹³⁶. Некоторые «старосветские» черты исследователи усматривали и в отце Гоголя, Василии Афанасьевиче¹³⁷. Среди других возможных прототипов указывали деда и бабушку писателя Афанасия Демьяновича и Татьяну Семеновну Гоголь-Яновских, семейство соседей по имени старичков Зарудных¹³⁸, миргородских «старичка и старушку» Бровковых¹³⁹! Однако очевидно, что именно семья Гоголей была прежде всего, сравнительно с другими, самой «старосветской» в родных местах писателя. Об этом свидетельствуют строки его письма к матери от 17 ноября 1837 года: «Жаль, что у нас нет соседей каких-нибудь старосветских людей <...> Нас, как нарочно, сколько мне помнится, окружают модники и люди нынешнего света <...> и нам, старым людям, т. е. мне и вам, маминька, не с кем и слово завести о старине».

Следующая повесть цикла — «Тарас Бульба» — также имеет непосредственное отношение к «старине» и посвящена изображению героического прошлого земляков Гоголя (не случайно «миргородским полковником» Гоголь назвал одного из прямых прообразов Тараса Бульбы — героя написанной им ранее «Главы из исторического романа»; в местечке Камишна Миргородского уезда Полтавской губернии происходит действие другого наброска этого романа Гоголя («Гетьман»), предшествовавшего созданию «Тараса Бульбы»). Согласно цитируемой Гоголем в одном из эпиграфов к циклу «Географии Зябловского», казаки в начале XIX века составляли «почти половинную часть» жителей Миргорода¹⁴⁰. Сама семья Гоголя, как по отцу, так и по матери, принадлежала к старым казацким родам. В ней не могли не упоминать о подольском полковнике, а потом гетмане Евстафии (Остапе) Гоголе (по другим сведениям, его звали Андрей) (погребен в Межигорском Спасо-Преображенском монастыре, который упоминается в «Тарасе Бульбе», — отсюда герои повести Остап и Андрий получили вместе с благословением матери «по кипарисному образу»), о Лизогубах, Трощинских, Танских, князе Безбородко и других¹⁴¹. Все та же бабушка Гоголя Татьяна Семеновна (урожденная Лизогуб) помнила еще времена Запорожской Сечи. Да и само Запорожье, упраздненное в 1775 году повелением Екатерины II после окончания войны с Турцией, продолжало в то время существовать со всем своим старым общественным строем в устье Дуная в числе более тысячи запорожцев, бежавших в турецкие владения. Дальнейшая судьба их также не могла

не волновать гоголевских земляков. Вынужденное в 1820—1822 годах принять участие на стороне Турции в подавлении религиозного и национально-освободительного движения православных греков, запорожско-задунайское казачество возвратилось в 1828 году (в год окончания Гоголем Нежинской гимназии высших наук) в подданство России, получило прощение Императора Николая I и было переименовано в Азовское войско. (Другая часть запорожцев составила ранее, после упразднения Сечи, Черноморское войско.) Особое внимание к этим событиям проявляли в Нежине, где учился Гоголь и где еще с XVII века существовала обширная греческая колония. С новым потоком беженцев, вырвавшихся из рук турок и нашедших приют в России, в Нежинскую гимназию поступило в 1822 году шесть воспитанников-греков, из которых один, Константин Базили, впоследствии известный историк и дипломат, стал близким другом Гоголя. Свидетель ужасов константинопольской резни греков в 1821 году, К. М. Базили самой своей судьбой, приведшей его в Нежинскую гимназию, оказал влияние на будущего творца «Тараса Бульбы»¹⁴². От К. М. Базили Гоголю мог, в частности, быть известен подвиг Константинопольского патриарха Григория V (причисленного впоследствии к лику святых), поддержавшего освободительное движение греков и пострадавшего от турок-мусульман в 1821 году (память священномученика Григория, патриарха Константинопольского, совершается дважды — 10 апреля и 19 июня по ст. ст.). Отец Базили, Михаил Васильевич Базили, был весьма близок к патриарху — он был старостой патриаршей церкви; и сам малолетний Базили был свидетелем казни патриарха Григория. По словам соученика Гоголя и Константина Базили И. Д. Халчинского, обо всем этом и о своем бегстве из Константинополя «молодой Базили рассказывал во время своего пребывания в Гимназии товарищам много примечательных подробностей»¹⁴³. (Впоследствии события константинопольской резни, в том числе казнь патриарха и надругательства над телом священномученика константинопольских евреев, К. М. Базили описал в своих «Очерках Константинополя», опубликованных в 1835 году — в год выхода в свет «Тараса Бульбы»¹⁴⁴.)

Прошлое тесно переплеталось с современностью. Живы в памяти гоголевских современников были и события Отечественной войны 1812 года, вызвавшие глубокое религиозное и патриотическое одушевление русского народа, а также события нескольких войн России с Турцией — что вместе составляет одну из «сквозных» тем «Миргорода». Память о 1812 году сохранялась в самой семье Гоголей: Отец писателя, Василий Афанасьевич, принимал в 1812 году «участие в заботах о всеобщем земском ополчении и <...> как дворянин, известный честностью, заведовал собранными для ополчения суммами»¹⁴⁵, а мать, Мария Ивановна, за оказан-

ную русской армии большую материальную помощь была даже награждена медалью¹⁴⁶. (Такую же награду получил и Василий Афанасьевич. В сформированных в 1812 году казачьих полках было немало крепостных крестьян В. А. Гоголя-Яновского¹⁴⁷.) Вероятно, еще с детства Гоголь запомнил, что день его рождения совпадал с днем взятия русскими войсками Парижа (в тот год ему исполнилось пять лет), и потому впоследствии праздновал оба этих события вместе¹⁴⁸. На изображении же в «Тарасе Бульбе» взаимоотношений казаков с «лялами» не могло не отразиться участие Польши в войне 1812 года на стороне Наполеона (Польша стала тогда плацдармом для наполеоновского нашествия на Россию), а также польское восстание 1830—1831 годов. Как и в 1812 году, весной 1831 года на Украине было организовано ополчение. Восемь кавалерийских полков были готовы принять участие в сражениях с повстанцами. К этому можно добавить и то, что образ «польского патриота», уповающего на «помощь от французского короля», мечтающего о «возвращении Украины, изгнании из нее козаков» и грезящего о «поместях в киевской, глуховской области», был создан еще в XVII—XVIII веках в интермедиях старинного малорусского театра, традиции которого наследовал Гоголь¹⁴⁹. Один из предков писателя по женской линии — Танский был известен в 40-х годах XVIII века именно как создатель подобного рода интермедий и интерлюдий в простонародном украинском духе¹⁵⁰.

Если «Старосветские помещики» и «Тарас Бульба» обнаруживают, при внимательном рассмотрении, «миргородские» черты, то «Вий» из всех повестей цикла имеет, как кажется, менее всего отношения к уездному Миргороду. Намеком на родные места Гоголя может служить здесь разве лишь упоминание о том, что герой повести принадлежал к тем бурсакам, которые имели от Киева «родительские гнезда далее других». Однако, как уже замечалось, первоначальное воспитание Гоголь получил дома, «от наемного семинариста»¹⁵¹. Возможно, этот семинарист и послужил ему впоследствии прообразом «философа»-бурсака Хомя Брута. Догадка эта представляется тем более вероятной, что действие другой «малороссийской повести» Гоголя — «Страшный кабан», одним из главных героев которой является домашний учитель-семинарист Иван Осипович, разворачивается непосредственно в родных гоголевских местах.

Зато в следующей, заключительной повести «Миргорода» — «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» — Миргород оказался не только назван, но и стал столь узнаваемым, что Гоголь решил было даже сопроводить эту повесть в сборнике следующим примечанием: «Долгом почитаю предуведомить, что происшествие, описанное в этой повести, относится к очень давнему времени. Притом оно совершенная выдумка. Теперь Миргород совсем не то. Строения другие; лужа среди города давно уже высохла, и все сановники: су-

дья, подсудок и городничий люди почтенные и благонамеренные». Однако ранее повесть уже была напечатана Гоголем в альманахе А. Ф. Смирдина «Новоселье» (СПб., 1834) без всякого предисловия, и когда мать Гоголя приехала после этого в Миргород в уездный суд (где, кстати, исполнял в свое время должность писаря ее дед Матвей Косяровский)¹⁵² — впоследствии коллежский ассессор¹⁵³), то «миргородские чиновники были так злы на Гоголя, что Марье Ивановне не предложили сесть, и она простояла часа два, пока не получила нужную справку»¹⁵⁴. (По свидетельству земляков Гоголя, не любили Гоголя миргородские чиновники и за «Ревизора», который «весь» был «с них списан»¹⁵⁵. В ноябре 1842 года А. С. Данилевский, откликаясь на выход в свет первого тома «Мертвых душ», писал Гоголю из Миргорода: «Патриоты нашего уезда, питая к тебе непримиримую вражду, теперь благодарны уже за то, что ты пощадил Миргород. Я слышал между прочим мнение одного <В. Я. Ламиковского>, который может служить оракулом этого класса господ, осыпавшего такими похвалами твои “Мертвые души”, что я сначала усомнился было в его искренности; но жестокая хула и негодование на твой “Миргород” помирили меня с нею. “Как! — говорил он, — миргородский уезд произвел до тридцати генералов, адмиралов, министров, путешественников вокруг света (<...> где он их взял!), проповедников (не шутка!), водевилиста, который начал писать водевили, когда их не писали и в Париже”¹⁵⁶ <...> и проч. и проч.»¹⁵⁷. Причиной негодования гоголевских земляков явилось, очевидно, непонимание целостного замысла «Миргорода» в его утверждающей (идиллической и героической: «Старосветские помещики» и «Тарас Бульба») и «отрицающей» частях («Вий» и повесть о ссоре как воплощение царящей на месте героического и идиллического начал «мерзости запустения»). Сам Гоголь, как бы обобщая замысел своего цикла, в ноябре 1850 года писал А. М. Трахимовскому, побуждая его принять участие в выдвижении на какую-нибудь выборную должность своего молодого родственника Д. А. Трошинского: «Придает еще шпоры моей просьбе и неприятный отзыв о Миргородском уезде, который случилось мне услышать дорогою от дворянства других уездов, будто бы они (миргородские дворяне. — *И. В.*) глуше и невежественней всех прочих в Полтавской губернии. Что уездный наш город Миргород плох, мы это знаем сами и над ним смеемся. Но пустыньность уездного города и не процветание его скорее показывает то, что дворяне сидят по местам и заняты делом, а не баклушничают по городам. Дворяне других уездов уже и позабыли, что лучшие губернские предводители, и притом более других пребывавшие в этом звании, были все из Миргородского уезда. Легко заметить, что строки этого письма вполне могут служить характеристикой главных героев «Миргорода»: «сидят по местам» старосветские помещики, «баклушничают по городам» Иван Иванович с Иваном Ни-

кифоровичем, «предводительствует» Тарас Бульба... А упоминаемый в гоголевском письме потомок старого казацкого рода, екатерининский вельможа, министр юстиции Д. П. Трошинский — сосед Гоголей по имени и дальний родственник, который своей незаурядной личностью и головокружительной карьерой — от армейского писаря до министра — поразил еще в раннем детстве воображение Гоголя (некоторые его черты Гоголь использовал и в «Вечерах на хуторе близ Диканьки»), вполне может быть поставлен в число отдаленных прототипов Тараса Бульбы. Говоря о его — выказавшем желание служить — внучатом племяннике, Гоголь замечает: «...Мне кажется, всем нам, дворянам, следует уважить это доброе желание юноши, который, как бы то ни было, внук того знаменитого мужа, которому много обязана полтавская губерния; по крайней мере в трудное время 12-го года, когда дворянству нужно было сильное предстательство, он не отказался принять на себя звание губернского предводителя, несмотря на то, что, находясь в должности министра, обременен был кучей дел и обязанностей». (Добавим, что именно по предписанию Д. П. Трошинского отец Гоголя, будучи в Отечественную войну его секретарем, принимал участие в заботах о всеобщем земском ополчении. Когда же в 1814 году Трошинский вновь отправлялся в Петербург (где был назначен министром юстиции), он при отъезде звал с собой Василия Афанасьевича, но Мария Ивановна «не пустила» мужа¹⁵⁸, — после чего Василий Афанасьевич некоторое время замещал Трошинского на посту губернского маршала.)

Словом, «местные», «миргородские» краски, в полном соответствии с заглавием гоголевского цикла, являются для него определяющими.

Напомним теперь, что «Миргород» — это уже второй в гоголевском творчестве цикл повестей, посвященных изображению родного края. На это указывает подзаголовок сборника — «Повести, служащие продолжением “Вечеров на хуторе близ Диканьки”»*. Несмотря, однако, на это указание, есть нечто, что принципиально отделяет «Миргород» от предшествующего сборника. Сам Гоголь по-разному относился к двум своим циклам, проникнутым любовью к родному краю. О первом, вышедшем в 1831—1832 годах, он писал в предисловии к собранию сочинений 1842 года как о «первоначальных ученических опытах, недостойных строгого внимания читателя». «Снисходительный читатель, — замечал Гоголь, — может пропустить весь первый том и начать чтение со второго» (вторым

* Диканька — знаменитое имение Кочубеев в Миргородском уезде Полтавской губернии — расположена неподалеку от гоголевской Васильевки. Добавим, что и уездный Миргород в свою очередь неоднократно упоминается в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» (в предисловиях к первой и второй частям сборника, в повести «Ночь перед Рождеством» и дважды в «Сорочинской ярмарке»).

томом был «Миргород»). Позднее, в 1851 году, писатель намеревался даже вовсе исключить «Вечера...» из собрания сочинений, находя в них «много незрелого». «Мне бы хотелось,— говорил он,— дать публике такое собрание своих сочинений, которым я был бы в теперешнюю минуту больше всего доволен»¹⁵⁹. Напротив, «Миргород» Гоголь, готовя этот цикл к переизданию в собрании сочинений 1842 года, подверг значительной переработке (расширен был почти вдвое «Тарас Бульба» и сокращен в некоторых эпизодах «Вий»). В апреле 1837 года Гоголь писал В. А. Жуковскому: «Найдите случай и средство указать как-нибудь Государю на мои повести: *Старосветские помещики* и *Тарас Бульба*. Это те две счастливые повести, которые нравились совершенно всем вкусам и всем различным темпераментам». При этом в письме к школьному другу Н. Я. Прокоповичу от 25 января н. ст. того же года Гоголь восклицал о других своих произведениях: «...Если бы появилась такая моль, которая бы съела внезапно все экземпляры “Ревизора”, а с ними “Арабески”, “Вечера” и всю прочую дребедень <...> я бы благодарил судьбу».

В творческой биографии Гоголя «Вечера...» и «Миргород» разделяет продолжительный творческий кризис. Он наступил вскоре после издания второй части «Вечеров на хуторе близ Диканьки» в 1832 году и продолжился до конца 1833 года. На время этого кризиса приходится одна из поездок писателя на родину, которую он совершил летом 1832 года. Именно тогда, в Васильевке, в письме к поэту И. И. Дмитриеву от 23 сентября 1832 года она впервые дает критическую оценку своим ранним повестям из украинской жизни, называя их «несовершенными начатками». Немного позднее, в письме к М. П. Погодину из Петербурга от 1 февраля 1833 года Гоголь замечает о «Вечерах...»: «Да обречутся они неизвестности! покамест что-нибудь увесистое, великое, художническое не изыдет из меня».

Поездка на родину определила многое в содержании и интонации нового цикла. Приехав домой после почти трех с половиной лет пребывания в Петербурге, Гоголь поневоле был поражен представшим ему контрастом между столичной и провинциальной жизнью. В письме к И. И. Дмитриеву из Васильевки от июля 1832 года он писал: «Теперь я живу в деревне, совершенно такой, какая описана незабвенным Карамзиным. Мне кажется, что он копировал малороссийскую деревню: так краски его ярки и сходны с здешней природой. Чего бы, казалось, недоставало этому краю? Полное, роскошное лето! Хлеба, фруктов, всего растительного гибель! А народ беден, имения разорены и недоимки неоплатные <...> Признаюсь, мне очень грустно было смотреть на расстроенное имение моей матери...».

Подобные размышления посещали Гоголя и ранее, но никогда они не были столь острыми, как в это лето его пребывания на родине. Еще в 1831 году он писал матери: «Я чрезвычайно любопытен знать состояние

земляков наших, которых беспрестанные разорения имений чрезвычайно трогают меня. Часто на досуге раздумываю о средствах, какие могут найтись для того, чтобы вывести их на прямую дорогу, и если со временем удастся что-нибудь сделать для нашей общей пользы, то почту себя наискраснейшим человеком...». Позднее же, в 1843 году в Риме Гоголь говорил о родном крае: «Я бы, кажется, не мог там жить, мне бы было жалко, и я бы слишком страдал»¹⁶⁰.

В одном из эпизодов повести Гоголя «Рим», имеющем, по замечанию В. И. Шенрока, «несомненно автобиографическое значение»¹⁶¹, встречаются строки, посвященные изображению состояния героя по возвращении на родину: «Грустное чувство овладело им,— чувство, понятное всякому приезжающему после нескольких лет отсутствия домой, когда все что ни было кажется еще старее, еще пустее и когда тягостно говорит всякий предмет, знаемый в детстве,— и чем веселее были с ним сопряженные случаи, тем сокрушительней грусть, насылаемая им на сердце». Почти то же чувство овладевает и рассказчиком «Старосветских помещиков» при воспоминании о героях повести: «Я до сих пор не могу позабыть двух старичков прошедшего века, которых, увы! теперь уже нет, но душа моя полна еще до сих пор жалости, и чувства мои странно сжимаются, когда вообразу себе, что приеду со временем опять на их прежнее, ныне опустелое жилище и увижу кучу развалившихся хат, заглохший пруд, заросший ров на том месте, где стоял низенький домик,— и ничего более. Грустно! мне заранее грустно!»

Что же стояло за глубоким, доходящим до шемящей грусти переживанием Гоголем зрелища родных мест? Что, в частности, дало позднее основание одному из исследователей, Д. И. Чижевскому, назвать повесть «Старосветские помещики» «идеологической идиллией» и положить ее в основу характеристики эволюции гоголевских взглядов в целом? Отмечая проводимое в повести противопоставление «тихой и незаметной», но «верной и в смерти» любви старосветских помещиков любви романтической — страстной и непрочной, Д. И. Чижевский писал: «То противопоставление, которое в рассказе дано в плоскости личного переживания, очень часто, если не в продолжение всей жизни Гоголя, занимает его интерес и в плоскости философии, истории и культуры». Незадолго до своего второго отъезда за границу в 1836 году Гоголь, по словам исследователя, «набросал замечательное и знаменательное сравнение Петербурга и Москвы. Сквозь легкую иронию здесь просвечивает глубокая антитеза делового, официального, подвижного и правящего Петербурга старой, полузабытой, неподвижной, тяжеловесной и идиллической Москве... В ранних письмах Гоголь не раз противопоставляет украинскую провинцию Великороссии, из которой он знал только Петербург: оба элемента этой антитезы носят ту же окраску, что и Москва и Петербург в упомя-

нудой статье. Попав за границу, Гоголь «на ином материале» еще раз пережил ту противоположность, по видимости умершего или уснувшего, но культурно ценного Рима и динамически-неспокойного, но, по его мнению, поверхностного и духовно-пустого Парижа. Он пишет из Рима: «Мне кажется, как будто я заехал к старинным малороссийским помещикам», — конечно, он думает о своих старосветских помещиках»¹⁶².

Создание «идеологической идилии» проходило для Гоголя далеко не безболезненно. «Какой ужасный для меня этот 1833-й год! — восклицал он в письме к М. П. Погодину от 28 сентября. — Боже, сколько кризисов! <...> Сколько я поначинал, сколько пережег, сколько бросил!» «Если б вы знали, — признавался он 9 ноября того же года М. А. Максимовичу, — какие со мною происходили страшные перевороты, как сильно растерзано все внутри меня. Боже, сколько я пережег, сколько перестрадал!» Начало кризиса приходится именно на время пребывания писателя в родной Васильевке. Тягостная картина разорения родного края существенно поколебала тогда достаточно традиционные воззрения Гоголя на значение патриархального, «идиллического» быта русской жизни. Неожиданно, вопреки всему тому, что сам он говорил и думал ранее о причинах, вызывающих разорение этого быта, Гоголь в письме к И. И. Дмитриеву от июля 1832 года вдруг замечает: «Виною всему недостаток сообщения. Он усыпил и обленивил жителей. Помещики видят теперь сами, что с одним хлебом и винокурением нельзя значительно высить свои доходы. Начинают понимать, что пора приниматься за мануфактуры и фабрики...». Достаточно сравнить это высказывание с тем, что писал Гоголь матери незадолго перед тем, а также упомянуть о многочисленных его позднейших высказываниях на эту тему, чтобы увидеть, что указанная фраза является отчаянным, вызванным глубоким страданием «провалом» в мирозерцании писателя. Стоило и в самом деле Марии Ивановне, поддавшись на уговоры своего зятя П. О. Трушковского, приступить к заведению в Васильевке кожевенной фабрики, как Гоголь пишет ей: «Сколько раз я проклинал мысленно эту сапожную фабрику <...> Зачем нам деньги, когда они ценою вашего спокойствия? На эти деньги <...> мне все кажется, что мы будем глядеть такими глазами, как Иуда на сребреники...» (письмо от 8 июня 1833 года). 12 августа 1835 года он еще раз замечал: «...Вспомните, как я вам отсоветывал завести фабрику...» (результатом предприимчивости матери стало то, что имение Гоголей было заложено на 26 лет для уплаты огромных долгов).

Одной из главных причин обеднения родного края Гоголь называл — еще в 1820-х годах — абсентеизм помещиков, то есть постоянное отсутствие владельцев в своих имениях. В письме к матери от 24 июля 1829 года он прямо указывал ей на «глупость» таких владельцев, издерживающих деньги на пустые прихоти «цивилизованной» жизни. «...Русские не

должны быть абсентеистами <...>, — замечал он в 1838 году А. О. Смирновой. — В этом отношении англичане подают хороший пример — абсентеизм помещиков погубил Ирландию»¹⁶³. Подобна этой и другая усматриваемая Гоголем еще в начале 1830-х годов причина разорения. Ибо порой и среди «присутствующих» в своих имениях помещиков преобладал, по его наблюдениям, тот же «просвещенный» образ жизни, какой вели «отсутствующие». Гоголь имел здесь в виду «несчастную невоздержность» хозяев-помещиков к всевозможным городским соблазнам. На это он прямо указывал в письме к матери от 16 апреля 1831 года: «Наши помещики большею частью заражены все каким-то восточным великолепием <...> покупают продукты, которые весьма можно заменить домашними...». Заметим, что в этом отношении постоянной нерасчетливостью отличалась сама Мария Ивановна. По воспоминаниям сестры писателя, Анны Васильевны, «офени ходячки с их коробками были частыми и весьма приятными гостями» в их имении. Мать Гоголя, не в силах устоять перед искушением, «весьма часто не останавливалась перед покупками, отнюдь не представлявшимися необходимыми, несмотря на недостаток наличных денег <...> Одно из оснований их торговли был широкий кредит, который они открывали своим покупателям, вознаграждая себя за терпеливое ожидание уплаты высокою продажною ценою <...> Мария Ивановна покупала у них и нужные, и ненужные вещи, покупала почти всегда в долг, конечно переплачивая зато страшно в ущерб своим материальным средствам»¹⁶⁴. В дневнике другой сестры Гоголя, Елисаветы Васильевны, сохранилась запись от 20 мая 1848 года: «Сегодня приезжал разносчик за долгом (200 р.), и брат, не говоря ни слова, заплатил ему с тем, чтобы он никогда нам не продавал в долг. И маменьку просил никогда этого не делать»¹⁶⁵. «Этому не радуйтесь, что уменьшены пошлины на заграничные, бакалейные и всякие товары, — писал Гоголь родным в Васильевку 4 марта 1851 года. — По мне, лучше бы все запечатать эти бакалейные и всякие лавки; туды спровадили помещики все деньги...». Одним словом, Гоголь имел основания написать о своих земляках: «...Расстроенные состояния их имений происходят не от каких-либо внешних или посторонних влияний или обстоятельств, а от их собственной вины» (письмо к матери от марта — апреля 1843 года).

Созревание «идеологической идиллии» «Старосветских помещиков» было связано именно с утверждением мысли о самодостаточности патриархального земледельческого быта. (Эта мысль присутствовала уже в письме к И. И. Дмитриеву лета 1832 года: «Хлеба, фруктов, всего растительного гибель!») Свою повесть Гоголь прямо начинает с замечания о том, что «ни одно желание» не перелетало за пределы уединенного имения старосветских помещиков. «...Благословенная земля, — продолжает он далее, — производила всего в таком множестве, Афанасию Ивановичу

и Пульхерии Ивановне так мало было нужно», что даже «страшные хищения» были «вовсе незаметными в их хозяйстве». Эти размышления были отчетливо сформулированы Гоголем в конце 1832 — начале 1833 года после возвращения из Васильевки в Петербург в черновых набросках статьи «Взгляд на составление Малороссии». Гоголь писал здесь об истории родного края: «Сообщения никакого нет, произведения не могли взаимно разминяться — и потому здесь не мог и возникнуть торговый народ». Но от «кипевшей плодородием» земли «все, что до наслаждения относилось, все это имел народ. Он в этом не отказывал себе никогда. Разнообразие разных блюд, совершенно отличных в разные времена года, в разных случаях». Явное отрицание в этом отрывке и в самой повести необходимости торговли и «путей сообщения» (этому «идеологическим» обоснованием и служит в повести обильный малороссийский стол «старичков» Товстогубов*), а также саркастическое описание цивилизаторских усилий наследника имения — «страшного реформатора», приведшего имение к разорению, свидетельствуют, что связь «Старосветских помещиков» со строками письма Гоголя к И. И. Дмитриеву о «мануфактурах и фабриках», безусловно, полемическая — вопреки, например, заявлению Б. М. Эйхенбаума об их идейном единстве¹⁶⁶.

Судя по всему, летом 1832 года тревога о судьбе Малороссии и патриархальной России в целом перед торгово-промышленным вторжением в нее истошающих и развращающих соблазнов новейшей цивилизации вплотную поставила перед Гоголем вопрос о средствах, которые при невоздержности и абсентеизме помещиков остановили бы тем не менее начавшееся истощение. Несмотря на «истинно охранительное начало» (выражение П. В. Анненкова) в отношении к родной земле, которое всегда было ему присуще, Гоголь начинает испытывать в то время в своем мирозерцании те «разрушительные» колебания, которые немного спустя, в начале 1833 года разразятся в нем «страшными переворотами» и творческим кризисом. Все более проникаясь представлением о «необходимом зле» в истории¹⁶⁷, он начинает размышлять о невольной надобности заведения помещиками в своих имениях «мануфактур и фабрик», о «недостатке сообщения» — обо всем том, что, по его мнению, могло бы «вызвать доходы» (так же, как размышляет он в это время о применении «физической железной силы» в эпоху крестовых походов перед угрозой арабо-мусульманского нашествия — мысль эту он повторяет в статье «Взгляд на составление Малороссии», говоря об украинском казачестве:

* Характерно также, что в 1832 году беседы Гоголя с М. С. Щепкиным в Москве тоже «нередко <...> склонялись на исчисление и разбор различных малороссийских кушаньев» (Михаил Семенович Щепкин: Жизнь и творчество. В 2 т. М., 1984. Т. 2. С. 316).

«Они поворотили против татар их же образ войны...»). Однако нравственная оценка этих средств — «мануфактур и фабрик» и «путей сообщения» — остается прежней. В письме к М. А. Максимовичу от 6 марта 1834 года Гоголь, в частности, замечает о собирании народных песен: «...Я бьюсь об чем угодно, что теперь же еще можно сыскать в каждом хуторе, подальше от большой дороги и разврата, десятка два неизвестных другому хутору». Спустя полторы недели, 17 марта, он пишет матери: «...Нанятые мастеровые всегда приносят с собою разврат, часто разные заразительные болезни в деревню». В позднейшем письме к Марии Ивановне, сообщившей сыну, что через их имение будут пролагать дорогу, Гоголь решительно возражает против этого и также предостерегает от того только разврат крестьян и новые заботы: «Опечалило меня <...> известие, что через нашу деревню хотят пролагать дорогу. <...> Доселе деревенька наша, если заманивала меня, так это только тем, что она в стороне от большой дороги. <...> Не предавайтесь <...> мечтам, будто вы от этого выиграете относительно доходов. Выиграют только <...> содержатели кабаков да постоянных дворов, которые настроятся вокруг вас во множестве...» (письмо от 24 мая 1850 года). Утверждением патриархальной идиллии «Старосветских помещиков» звучит, в частности, и восклицание автора в первой главе второго тома «Мертвых душ»: «Творец! как еще прекрасен Твой мир <...> вдали от подлых больших дорог и городов».

Очевидно, что изображая в своей повести превосходство традиционной жизни — «долгой, почти бесчувственной привычки» (во всем: в «старинной вкусной кухне», в образе жизни, в любви...) — перед разнообразием и недолговечностью «вихря наших желаний и кипящих страстей», Гоголь недвусмысленно высказывается в пользу традиции в целом перед всевозможными сомнительными новшествами. «...Что в детстве только хорошая привычка и склонность, — писал он матери 2 октября 1833 года о воспитании младших сестер, — превратится в зрелые лета в добродетель». В этом смысле концепция «Старосветских помещиков» непосредственно отражается в характеристике Гоголем в статье «Шлецер, Миллер и Гердер» (1834) воззрений одного из европейских историков, И. Миллера (Мюллера): «Заметно <...> что он охотнее занимается временами первобытными [европейских народов] и вообще теми эпохами, когда народ еще не был подвержен [цивилизации] образованности и порокам, сохранял [свою простую цивилизацию] свои простые нравы и независимость <...> Главный результат, царствующий в его истории есть тот, что народ тогда только достигает своего счастья, когда сохраняет свято обычаи своей старины, свои простые нравы и независимость». Этими размышлениями, очевидно, и определяются детальное изображение в повести «простой цивилизации» старосветской помещицы Пульхерии Ивановны и характеристика «нарочито невеликого» города Миргорода в го-

голевских эпиграфах к циклу*. Последние призваны как бы документально засвидетельствовать «простоту» и при этом полную самодостаточность миргородского быта: «Имеет 1 канатную фабрику, 1 кирпичный завод, 4 водяных и 45 ветряных мельниц»; «...Пекутся бублики из черного теста, но довольно вкусны». Действительно, весьма «невеликими» и были размеры тогдашнего Миргорода. По словам современника той эпохи, он был «наподобие деревни»¹⁶⁸.

Размышляя о ценности патриархальных традиций, Гоголь, однако, был далек от того, чтобы за всем, ведущим свое начало от старины, признавать безусловное значение. В статье «Русской помещик» (1846) он, например, писал: «А относительно всяких нововведений ты умен и смекнул сам, что не только следует придерживаться всего старого, но всмотреться в него насквозь, чтобы из него же извлечь для него улучшение». Об искажении традиции, проистекающем из забвения ее внутреннего содержания, Гоголь размышлял и в статье «Занимающему важное место» (1846), имея в виду ту или иную государственную должность (в ряду которых он неизменно рассматривал и звание помещика): «Получая ее по наследству от предшественника в том виде, какой дал ей последний, они все соображаются более или менее с этим видом, а не с первообразом ее, который уже почти вышел у всех из головы».

Поиски истинного «первообраза» патриархального быта приводили Гоголя к мысли о необходимости постепенного уподобления и даже прямого превращения помещичьего имения в монастырское, весь быт которого призван служить спасению души и подчинен этому. В предсмертном завещании сестрам Гоголь, имея в виду правило Константинопольского Св. Собора 861 года о создании монастырей из частных имений и о поставлении в них игуменов, писал: «...Дом свой да превратят сестры в обитель, выстроив Церковь посреди двора <...> одна из них может быть Игуменья»¹⁶⁹. Своеобразный «устав», завещанный Гоголем для этой «обители», гласил: «Воспитанье самое простое: Закон Божий да беспрерывное упражненье в труде на воздухе около сада или огорода. <...> Жизнь должна быть самая простая, довольствоваться тем, что производит деревня, и ничего не покупать». Ничего нового и неожиданного, чего бы не высказывал ранее Гоголь в своих письмах на родину, в этом «уставе» не было. 25 января н. ст. 1847 года он писал в Васильевку: «...Если бы хозяйки распорядились, чтобы на столе у них не было ничего

* Нарочито — здесь: очень, весьма. Как указал И. А. Есаулов, слова «нарочито невеликий» отсутствуют в указываемом Гоголем источнике — «Географии Зябловского» — и принадлежат самому Гоголю (*Есаулов И. А.* Спектр адекватности в истолковании литературного произведения. («Миргород» Н. В. Гоголя). М., 1995. С. 78).

покупного, и говорили бы гостю своему: «<...> Утошаем мы вас нашими национальными малороссийскими блюдами, которых вы, верно, в городах не найдете»; то, поверьте мне, гостю будут в несколько раз приятнее эти простые вкусные блюда, чем те, которые хотят быть на манер немецкий...». «Другую, другую жизнь нужно повести,— обращался он к родным в письме от 4 марта 1851 года,— простую, простую <...> Для жизни евангельской, какую любит Христос, немного издержек <...> по-настоящему, не следовало бы и покупать того, чего не производит собственная земля: и этого достаточно для того, чтобы не только наестся, но даже и *обвесься*» (курсив Гоголя).

Последнее замечание весьма знаменательно и хорошо поясняет отношение Гоголя к патриархальным — почти «монастырским» — старосветским обычаям. По его словам в письме к протоиерею Матфею Константиновскому от 24 сентября н. ст. 1847 года, «и в монастыре тот же мир окружает нас, те же искушения вокруг нас, так же воевать и бороться нужно со врагом нашим». По свидетельству родных Гоголя, «в постные дни, когда в деревнях готовились разнообразные постные блюда, различные винегреты и т. п., он даже иногда бывал недоволен. «Какой же это пост, когда все объедаются еще хуже, чем в обыкновенные дни?» — говорил он, отодвигая подальше блюдо, с какою-нибудь заманчивой постной пищей...»¹⁷⁰. 3 апреля 1849 года Гоголь писал родным в Васильевку: «Довольство во всем нам вредит. <...> Заплывет телом душа — и Бог будет позабыт. Человек так способен оскотиниться, что даже страшно желать ему быть в безнуждии и довольствии. Лучше желать ему спасти свою душу». Эти строки прямо перекликаются со словами Священного Писания: «...Когда будешь есть и насыщаться <...> и всего у тебя будет много,— то смотри, чтобы <...> не забыл ты Господа, Бога твоего...»¹⁷¹.

Сам Гоголь в письмах 1830-х годов часто признавался, что «главный дьявол» у него «в желудке». Жалобы рассказчика «Старосветских помещиков» на то, что, приезжая к своим «старичкам», он «объедался страшным образом» и что это для него было «очень вредно», а также беспрепятственное «отправление» Афанасием Ивановичем и Пульхерией Ивановной «процесса житейского насыщения», призваны, очевидно, подчеркнуть искажение изначального «первообраза» патриархальной жизни — почти полное забвение идилическими героями духовных ценностей: состояние, в котором о Боге вспоминают лишь в приближении смерти или же при мысли о возможных несчастьях: «Пусть Бог милует от разбойников!»

«Дремлющая», почти растительная жизнь старосветских помещиков нуждается, по Гоголю, в пробуждении. Близкое к духовной смерти состояние животного покоя никак не может являться идеалом человеческого существования. Одухотворение и пробуждение «низменной буко-

лической жизни» и изображает Гоголь в следующей повести цикла — в «Тарасе Бульбе»: «Эй вы, пивники, броварники*, полно вам пиво варить, да валяться по запечьям, да кормить своим жирным телом мух!» («...Афанасий Иванович <...> чтобы было теплее, спал на лежанке...») Разбудить сонную жизнь способен именно несчастьем. «Это было, точно, необыкновенное явление русской силы» — пишет Гоголь о возникновении запорожского казачества, — его вышибло из народной груди огниво бед». Эту же мысль повторял позднее Гоголь в «Выбранных местах из переписки с друзьями» (1847), размышляя о судьбе всей патриархальной России в эпоху петровских преобразований: «...Европейское просвещение было огниво («огниво бед». — *И. В.*), которым следовало ударить по всей начинавшей дремать нашей массе». Заметим, что этот переход от «Старосветских помещиков» к «Тарасу Бульбе» тоже совершается как бы прямо «по канве» Священной истории: «...И ядоша, и насытишася, и утолстеша, и расширишася в благости Твоей велицей. И изменишася, и отступиша от Тебе, и повергоша закон Твой созати плоти своя <...> И Ты отдал их в руки врагов их <...> в руки иноземных народов...»¹⁷².

«Что же касается до страхов и ужасов в России, — писал позднее Гоголь в статье «Страхи и ужасы России», — то они не без пользы: посреди их многие воспитались таким воспитаньем, которого не дадут никакие школы. Самая затруднительность обстоятельств, предоставивши новые извороты уму, разбудила дремавшие способности многих, и в то время, когда на одних концах России еще доплясывают польку и доигрывают преферанс, уже незримо образуются на разных поприщах истинные мудрецы жизненного дела». 1 февраля 1833 года Гоголь писал М. П. Погодину по поводу его драмы «Петр I», посвященной эпохе, «когда Русь превратилась на время в цирюльню» — когда, по словам Гоголя, бояре, браня «антихристову новизну», сами стремились «сделать новомодный поклон и бились из сил сковеркать ужимку французокафтанника»: «Ради Бога, прибавьте боярам несколько глупой физиономии. Это необходимо так даже, чтобы они непременно были смешны. Чем знатнее, чем выше класс, тем он глупее. Это вечная истина! А доказательство в наше время».

Однако, рано еще расставаться с героями первой повести «Миргород». Ибо пробуждение дремлющей жизни происходит не только в «Тарасе Бульбе». Оно совершается в самой старосветской идиллии. Смерть Пульхерии Ивановны становится здесь тем «небесным звонком», который будит героя и, внося в повествование трагическое звучание, заставляет читателя сопереживать «пошлой», обыкновенной жизни старосветского обывателя. 20 декабря н. ст. 1844 года Гоголь писал М. П. Погоди-

* Броварник (от нем. Brauer) — пивовар, винокур. «Броварня (нем.) — пивоварня» («Лексикон малороссийский» гоголевской «Книги всякой всячины...»).

ну по поводу смерти его жены: «Я уже слышал, что Бог посетил тебя несчастьем и что ты как христианин его встретил и принял. Друг, несчастья суть великие знаки Божией любви. Они ниспосылаются для перелома жизни в человеке, который без них был бы невозможен...». Слышит ли Афанасий Иванович этот «небесный звонок»? Об этом можно судить из того, как воспринимает он незадолго перед своей собственной смертью ниспосланную ему весть из загробного мира. Это — проверка всей жизни человека и предвосхищение участи, его ожидающей. Очищенная долговременным страданием душа героя, сохранившая до конца дней любовь-«привычку» к отшедшей подруге, оказывается в итоге способна без того обычного для пребывающего в «безнуждии и довольстве» и самого рассказчика страха внять «таинственному зову» иной жизни и покориться ему «с волею послушного ребенка». Именно «таинственный зов», а не «ужасный, черный», «подземный голос», который посылается героям-грешникам гоголевских «Кровавого бандуриста», «Вия», «Ревизора», встречает эту душу на пороге новой жизни. (Для гоголевского городничего, например, неожиданное известие о ревизоре — и в начале, и в конце пьесы — весьма «пренеприятное известие»; оно «как громом» поражает «всех».) Последние дни Афанасия Ивановича, так же как последние дни Пульхерии Ивановны, — постепенный исход души от привычного «житейского насыщения» к алканию той встречи, которую обещала ему перед кончиной Пульхерия Ивановна: он «сохнул, кашлял, таял, как свечка, и наконец угас так, как она, когда уже ничего не осталось, что бы могло поддержать ее бедное пламя. «Положите меня возле Пульхерии Ивановны», — вот все, что произнес он перед кончиною». «Все здесь тленно, все пройдет, — писал Гоголь в 1850 году одной из своих бывших учениц П. Ф. Минстер, — одни только милые узы, связывавшие нас с людьми, унесутся с нами в вечность». Это просветленное звучание торжествует в итоге над тем минорным тоном, с каким ведет свое незамысловатое повествование автор «Старосветских помещиков», нечувствительно подготавливая читателя к следующей, искусно составленной им словесной снеди — подобному уже не «молоку», но «твердой пище» рассказу о запорожцах.

* * *

Продолжая в «Тарасе Бульбе» тему пробуждения дремлющей жизни, Гоголь кладет в основу этой повести иное средство, с помощью которого осуществляется, согласно его размышлениям, возвращение человеку утраченного «первообраза». Отчасти об этом «средстве» говорится уже в первой повести цикла: «Я сам думаю пойти на войну; почему же я не

могу идти на войну?» — подшучивает над Пульхерией Ивановной Афанасий Иванович, слушая рассказы гостя о Наполеоне или «просто <...> о предстоящей войне». «Вечная необходимость лограничной защиты против трех разнохарактерных наций, — пишет Гоголь о Малороссии в первой редакции «Тараса Бульбы», — все это придавало какой-то вольный широкий размер подвигам сынов ее...». «Русский характер получил здесь могучий, широкий размах...» — добавляет он во второй редакции. Гоголю, в частности, была известна речь представителя Вольнской земли на Варшавском сейме 1620 года, Л. Древинского, по поводу притеснений православных со стороны униатов: «...Если бы, говорю, от нас ишедшие на нас не восстали, то таковые науки, таковые училища, толико достойные и ученые люди в народе Российском никогда бы не открылись. Учение в церквах наших было бы по-прежнему прахом нерадения покровенно»¹⁷³. В соответствии со словами св. апостола Павла — «Подобает бо и ересем в вас быти, да искуснии явлени бывають в вас»¹⁷⁴, — оценивает «хищно ворвавшуюся» в Малороссию унию и Гоголь, осмысляя подобным же образом значение в русской истории преобразований Петра I. Сравнивая эти преобразования с «огнивом бед», Гоголь замечает, что в эпоху продолжательницы Петра Екатерины II «на всех поприщах стали выказываться русские таланты <...> полководцы <...> государственные дельцы <...> ученые...» (в число которых, очевидно, и следует поставить одного из вероятных прототипов Тараса Бульбы гоголевского земляка, екатерининского вельможу Д. П. Трошинского. Примечательно, что любимой песней этого искреннего почитателя малороссийской старины, была «Чайка», которая «аллегорически представляла Малороссию как птицу, свившую гнездо свое близ дорог, окружавших ее со всех сторон». Слушая эту песню, Трошинский «часто закрывал лицо свое рукою и проливал слезы»¹⁷⁵. Нужно заметить, что отец Д. П. Трошинского, Прокофий Иванович, готовил своего сына — как и трех других своих сыновей — на Запорожье, но к тому времени Сечь доживала свои последние дни — перед ее упразднением Екатериной II в 1775 году, — и поэтому побывать на Сечи Дмитрий Прокофьевич не успел¹⁷⁶).

На другой источник размышлений Гоголя о роли «огнива бед» в русской истории указывает «сам» Тарас Бульба в первой редакции повести, когда говорит, что «Бог и Священное Писание велит бить бусурменов», и замечает, что его сыновьям «нужно приучиться и узнать, что такое война». Это начало третьей главы Книги Судей Израилевых: «Вот <...> народы, которых оставил Господь, чтобы искушать ими Израильтян, всех, которые не знали о всех войнах Ханаанских, — для того только, чтобы знали и учились войне последующие роды сынов Израилевых...».

Однако, решая таким образом вопрос о пробуждении дремлющей жизни, Гоголь не мог не остановиться на еще одной тесно связанной с

этим проблеме. Выпадающие на долю человека испытания могут не только пробудить его, но порой ввергнуть в глубокое отчаяние, «...Несчастье,— пишет Гоголь в статье «О помощи бедным» (1844),— <...> в каких бы ни являлось образах <...> есть тот же крик небесный, вопиющий человеку о перемене всей его прежней жизни». «...Несчастья <...> суть крылья наши»,— замечал он в письме к матери весной 1843 года. Но «русский человек способен на все крайности <...> иногда с горя, отчаяния, со стыда впадает он еще в большие преступления...» (статья «Что такое губернаторша», 1846).

Тема уныния и связанная с ней проблема утешения страждущего человека является одной из определяющих для целого ряда статей Гоголя в «Выбранных местах из переписки с друзьями». Неудивительно, что и в «Тарасе Бульбе» — произведении, посвященном изображению одного из тяжелых постигающих человека бедствий, войне,— эта тема оказывается главенствующей | «...Я не знаю выше подвига,— замечал Гоголь в «Авторской исповеди» (1847),— как подать руку изнемогшему духом». Содержание гоголевских статей в «Переписке с друзьями» о русской поэзии — «Предметы для лирического поэта в нынешнее время», «Об Одиссее, переводимой Жуковским», «О лиризме наших поэтов» — обнаруживают прямые переключки с речами казацких атаманов, воздвигающих упавший дух воинов в седьмой, восьмой и девятой главах «Тараса Бульбы»¹⁷⁷. В письме к Н. М. Языкову от 2 апреля н. ст. 1844 года Гоголь еще раз замечал, что «привести человека в то светлое состояние, о котором заранее предсказывают поэты», есть «вещь слишком важная, ибо из-за нее работает весь мир и совершаются все события». В творческой биографии Гоголя борьба с унынием занимает, как это ощутимо сказывается уже в «Старосветских помещиках» (переживание тяжелого зрелища разорения родного края), весьма важное место.

Как уже отмечалось, согласно признаниям писателя о своих первых произведениях в «Авторской исповеди», причиной явившейся в них «веселости» были «болезнь и хандра», «припадки тоски», развеять которые ему удавалось с помощью шутки. 22 марта 1835 года, сразу по выходе в свет «Тараса Бульбы», Гоголь писал М. А. Максимовичу: «Посылаю тебе “Миргород” <...> я бы желал, чтобы он прогнал хандрическое твое расположение духа <...> Мы никак не привыкнем <...> глядеть на жизнь, как на трын-траву, как всегда глядел козак. Пробовал ли ты когда-нибудь, вставши поутру с постели, дернуть в одной рубашке по всей комнате тропака? <...> Чем сильнее подходит к сердцу старая печаль, тем шумнее должна быть новая веселость. Есть чудная вещь на свете: это бутылка доброго вина». Как образно подметил П. А. Кулиш, «уже одно начало» этого письма «показывает, что автор только что воротился с Запорожской Сечи»¹⁷⁸. Нетрудно увидеть, что все перечисленные в письме

«казацкие» утешения (тропак, вино и даже само чтение исполненного «глубокого юмора» «Миргорода») прямо соответствуют изображенным в «Тарасе Бульбе» мирским утехам запорожцев (шумные пляски — «гопаки и тропакки», бражничество и «дышавшие» юмором «рассказы, балагуры, которые можно было слышать среди собравшейся толпы»).

Обращаясь к истории возникновения этих сцен в «Тарасе Бульбе», можно предположить, что одним из первых толчков к размышлениям об унынии, составившим позднее идейную основу для художественного изображения разгульного быта Запорожской Сечи, послужил Гоголю читавшийся в доме его родителей и увезенный им впоследствии в Петербург роман М. М. Хераскова «Кадм и Гармония», где, в частности, встречается рассуждение о том, что «народные забавы и увеселения <...> необходимы в общежитии <...> ибо в противном разуме может народ <...> власть в уныние, толико же силы душевные истощающее, как и неумолкаемое напряжение душевных сил к забавам и роскошствам»¹⁷⁹. (Несомненно, круг источников в данном случае может быть расширен; из них на первом месте должна быть поставлена святоотеческая литература. Ср., в частности: «...Как отсутствие всякого отдыха в работе нудит душу, так и постоянная смена впечатлений и ежедневные развлечения наводят на нее скуку и уныние»¹⁸⁰.) Уже в 1829 году Гоголь завел в «Книге всякой всячины...» раздел «Игры, увеселения малороссиян», материалы которого непосредственно использовал в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» и «Миргороде». Для «Тараса Бульбы» из этого раздела Гоголь почерпнул описание «игры в мячик» («игры в свиньи», производившейся с мячом). Сравнивая прежнюю, «школярскую» жизнь обитателей Сечи с их настоящим бытом, Гоголь замечал: «Вся разница была только в том, что <...> вместо луга, на котором производилась игра в мячик, у них были неохраняемые, беспечные границы, в виду которых татарин выказывал быструю свою голову...».

Мотив воинской или «бурсацкой» игры как одного из «утешений» запорожцев чрезвычайно характерен для «Тараса Бульбы». Близкое к настоящему опьянению упоение «игрой» битвы является в ряду их мирских утех едва ли не главным. «Андрий также погрузился весь в очаровательную музыку мечей и пудъ,— пишет Гоголь о бранной жизни сыновей Тараса в четвертой главе первой редакции повести,— потому что нигде воля, забвение, смерть, наслаждение не соединяются в такой обольстительной страшной прелести, как в битве». Во второй редакции Гоголь добавлял: «Потешна была наука <...> Бешеную негу и упоение он видел в битве; что-то пиршественное зрелось ему в те минуты, когда <...> летят головы <...> падают кони <...> а он несется, как пьяный...». (Представление о битве как игре Гоголь почерпнул, в частности, из статьи своего школьного товарища П. А. Лукашевича «О примечательных обычаях и

увеселениях Малороссиян на праздник Рождества Христова и в Новый год», опубликованной в 1826 году в журнале «Северный Архив»: «Кулачный бой есть самое древнее и любимое увеселение Малороссиян...»¹⁸¹. Описанием кулачного боя в этой статье Гоголя прямо воспользовался при изображении школьных «битв» бурсаков в «Вии»¹⁸². Другим источником явилась, вероятно, ветхозаветная история: «И сказал Авенир Иоаву: пусть встанут юноши и поиграют пред нами. <...> И встали и <...> схватили друг друга за голову, вонзили меч один другому в бок и пали вместе. <...> И произошло в тот день жесточайшее сражение...»¹⁸³.)

Как следует из дальнейшего развития действия повести, лишение казаков этой «потехи», «пост», наложенный на них долгой осадой Дубно, заставляет их искать других, сходных «утешений». Они как бы возвращаются на время к прежним, бурсацким играм и развлечениям: «Войско <...> от нечего делать занялось опустошением окрестностей <...> запорожцы <...> курили свои люльки, менялись добытым оружием, играли в чехарду, в чет и нечет <...> Но скоро запорожцы начали понемногу скучать бездействием и продолжительною трезвостью, не сопряженную ни с каким делом. Кошевой велел удвоить даже порцию вина...». В это время истомившийся от осадного безделья Андрий (который, по словам автора, «заметно скучал») поддается первому же искушению, несмотря на трезвые увещания Тараса: «Неразумная голова <...> Не тот еще добрый воин, кто не потерял духа в важном деле, а тот добрый воин, кто и на безделье не соскучит, все вытерпит...». В это же время напиваются и казаки Переяславского куреня, попадающие в результате в плен. «...Как же может статься, — не без наивности замечает о них атаман Кукубенко, — чтобы на безделье не напился человек». Пагубные последствия невоздержания и погружения в мирские «утехи» Гоголь изображает также в гибели польстившегося корыстью атамана Бородатого, в пленении соскучившегося «бездейственным положением» Остапа (в первой редакции), в разорении от пьянства округа города Умани. Как подчеркивает писатель, поэтическая вольница, разгул и бражничество Сечи, само стремление казаков разжиться в походах деньгами для шинков (ибо «не мало всякий пропищал добра, которого бы стало человеку на всю жизнь...»), являясь принадлежностью запорожского общества, не составляют, однако, его главного, «формообразующего принципа», но, напротив, при их возрастании действуют разрушительно. Это же следует сказать и о страшной, языческой мести Тараса, справляющего «поминки» по казненном Остапе в каждом захваченном казаками польском селении — предающего огню и мечу всех, попадающих ему в руки, не разбирая пола и возраста, и испытывающего от этого «какое-то ужасное чувство наслаждения». В повести «Страшная месть» месть есаула Горобца за убитого пана Данила Гоголь прямо называет тризной — языческим поминовением усопших, оканчи-

вавшимися воинскими играми,— и также упоминает о ней как утешительной для героев: «Разве не пышна была тризна по нем? выпустили хоть одного ляха живого? Успокойся же, мое дитя!...». (В заметке Гоголя 1830-х годов «Обряды религиозные» читаем: «Над умершими тризна у радимичей, вятичей, северян, по словам Нестора, причём доказательство их язычества».) В итоге «страшная месть» Тараса Бульбы и приводит его к гибели.

Созидающей и укрепляющей основой рыцарского братства запорожцев является, по Гоголю, другое утешение — духовное. Это в свою очередь следует как из содержания самой повести, так и из авторских комментариев к ней.

Духовное утешение доставляет обитателям Сечи прежде всего радость от сознания осмысленности своего бытия. В обретении смысла существования — отличного от прежней, безрадостной и бессмысленно-тягостной жизни — находит себе «нежду» и трезвенное «упоение» большая часть запорожских казаков. В статье «Взгляд на составление Малороссии» Гоголь писал: «Дикий горец, ограбленный россиянин, убежавший от деспотизма панов польский холоп, даже беглец исламизма татарин <...> положили начало этому странному обществу <...> уже вначале имевшему одну главную цель — воевать с неверными и сохранять чистоту религии своей». Само по себе показательно, что, помимо указываемого здесь Гоголем прообраза запорожского общества — средневекового рыцарского ордена, слова о возникновении казачьего братства несут в себе еще и несомненные ветхозаветные реминисценции — от истории царя Давида: «И собрались к нему все притесненные и все должники и все огорченные душою, и сделался он начальником над ними; и было с ним около четырехсот человек»¹⁸⁴, до истории Маккавеев: «Тогда снидоша мнози ищуще суда и правды в пустыню...»¹⁸⁵. Мысль же о духовном утешении как формирующем принципе общества запорожцев (в дополнение к ветхозаветному принципу ополчения по родам¹⁸⁶) была подчеркнута в Новом Завете: «Церкви же по всей Иудее и Галилее и Самарии <...> утешением Святаго Духа умножахуся»¹⁸⁷.

Очевидно, вероисповедная проверка всякого новичка кошевым — «Здравствуй! во Христа веруешь?» — вовсе не формальный обряд, дань установившейся традиции, но касается самой основы существования Сечи.

Ощущение причастности к общему плану мироздания и исполнение своего предназначения в мире и составляет главное утешение запорожцев. «Долг — Святыня,— замечал позднее Гоголь в отдельном наброске. — Человек счастлив, когда исполняет долг». Среди выписок своего сборника «Выбранные места из творений св. отцов и учителей Церкви» он также замечал: «...Законы общества человеческого уже написаны в сердце человека и <...> исполнение их вносит блаженство и Самого Бога в об-

шество». Пиршественная, праздничная атмосфера Сечи призвана подчеркнуть в этом отношении внутреннюю свободу спаянных в единое братство запорожцев, на основе которой и становится возможным подвиг их героического самопожертвования. Утешение от мысли об обретенном призвании, глубокая «радость спасения»¹⁸⁸ — «высокая радость служить Ему»¹⁸⁹ — проистекают у запорожцев непосредственно из принятого ими на себя подвига по исполнению заповеди Спасителя: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих»¹⁹⁰. Этим литургическим аспектом гоголевская повесть напрямую связана с позднейшей духовной прозой писателя — прежде всего с его «Размышлениями о Божественной Литургии».

О гибели казаков, оставшихся ради спасения товарищей под стенами Дубно, К. С. Хоцянов писал как о «священнодействии», «жертвоприношении», «при котором каждый думает занять место первосвященника, войти во святое святых своей души и самого себя принести на заклание». «Конечно,— замечал исследователь,— страшная бездна, неизмеримая пропасть между любовью запорожцев и любовью Того, Кто отдал Себя на страдания и смерть за все человечество <...> Но Сам Спаситель сказал: “Больши сея любви никтоже имать, да кто душу свою положит за други своя”. Много ли самоотверженных людей, которые <...> осуществляют эти <...> слова? Такие люди редкими <...> единицами стоят в истории человечества. <...> А между тем запорожцы целыми тысячами осуществляли слова Божественного Учителя»¹⁹¹. В знаменитой речи Тараса Бульбы о товариществе, где он говорит о родстве «по душе, а не по крови» и обличает то, что «свой своего продает, как продают бездушную тварь на торговом рынке», герой, напоминая казакам об их долге, прямо призывает их положить за друзей свои души: «Пусть же знают <...> что такое значит в Русской земле товарищество («и как стоят в ней брат за брата»,— добавлял Гоголь в черновой редакции). Уж если на то пошло, чтобы умирать,— так никому ж <...> не доведется так умирать!..». Строки эти, кстати, прямо перекликаются с речами другого «полковника», обращенными в решающий час сражения к русским воинам,— из лермонтовского «Бородино», которое было опубликовано в 1837 году в изданном в пользу семейства покойного А. С. Пушкина журнале «Современник», где Гоголь поместил свои «Петербургские записки 1836 года»:

«Ребята! не Москва ль за нами?
Умремте ж под Москвой,
Как наши братья умирали!»
И умереть мы обещали,
И клятву верности сдержали
Мы в Бородинский бой.

Потому-то Тарас, «несмотря на свою печаль и сокрушение о случившихся на Украине несчастьях <...> был несколько доволен представлявшими широким раздольем для подвигов» — эти подвиги представляли ему «мученический венец по смерти». Если Тарас, замечал К. С. Хощанов, в тот самый момент, когда желает «оживить» казаков, напоминает им о смерти, значит, он думает, «что приношение себя в жертву за товарищей и должно наилучшим образом <...> одушевлять казаков. А думает он так, конечно, потому, что все это в высшей степени его самого ободряет...»¹⁹².

«Все наслаждения наши заключены в пожертвованиях,— писал Гоголь А. С. Данилевскому 13 апреля н. ст. 1844 года.— Счастье на земли начинается только тогда для человека, когда он позабыв о себе, начинает жить для других, хотя мы вначале думаем совершенно тому противоположно <...> Только тоска да душевная пустота заставляет нас, наконец, ухватиться за ум и догадаться, что мы были в дураках».

Все главные движения запорожского войска в повести определяются исполнением заповеди Спасителя о любви к братьям. Исполняют ее казаки, отправившиеся в поход в защиту гонимых православных христиан; казаки, оставшиеся под стенами Дубно с целью выручить друзей из польского плена; казаки, отправившиеся на Сечи на выручку товарищей, плененных татарами. Заповеди Спасителя отвечает у Гоголя и историческое предназначение казачества, связавшегося «общей опасностью и ненавистью против нехристианских хищников» и сдержавшего «разлитие двух магометанских народов, грозивших поглотить Европу». Строки об этом из статьи «Взгляд на составление Малороссии» Гоголь внес в повесть в 1841 году: «Уже известно всем из истории, как их вечная борьба и беспокойная жизнь спасли Европу от неукротимых набегов, грозивших ее опрокинуть».

Размышления о смысле жизни, вызывающие радость или уныние, определяют характеры гоголевских героев уже в ранних произведениях. Главный герой «Страшной мести» Данило Бурульбаш восклицает, вспоминая о прежних временах казачества: «...Как резались мы тогда с турками! <...> живу без дела <...> сам не знаю, для чего живу». «На то и живет человек, чтобы защищать веру и обычай», — замечают запорожцы в «Тарасе Бульбе». Тарас, возражая кошевому, отказавшемуся объявить поход «на турешину или на татарву», также восклицает: «Так, стало быть, следует <...> чтобы человек сгинул, как собака, без доброго дела, чтобы ни отчизне, ни всему христианству не было от него никакой пользы? Так на что же мы живем <...> растолкуй ты мне это». «Вот пропадает даром казацкая сила...» — ропщут уже все запорожцы в начале следующей главы. (Характерно, что в 1842 году сам Гоголь связывал «загадку» своего «существования» именно с «подвигом во имя любви к братьям»; имелось

в виду завершение «Мертвых душ».) В шестой главе первой редакции запорожцы к словам о защите «веры и обычая» прибавляли: «Притом жизнь такое дело, что если о ней сожалеть, то уже не знаем, о чем не жалеть. Скоро будем жалеть, что бросили жен своих». Сама семейная жизнь Тараса имеет значение для него только через его главное призвание — и потому доставляет утешение: «...Он тешил себя заранее мыслию, как он явится с двумя сыновьями своими в Сечь и скажет: “Вот посмотрите, каких я молодцов привел к вам!”». Жена для Тараса Бульбы — прежде всего мать будущих защитников веры и видимое равнодушие героя к ее горю при расставании с сыновьями объясняется именно этим подчинением второстепенного главному: чувства родственной кровной любви религиозному, «рыцарскому» служению, благословение на которое и спрашивает у нее для сыновей Тарас перед отправлением в Сечь. И любовь матери должна отступить перед призванием сыновей. Точно так же и сам Тарас, как по отношению к мученику за веру Остапу, так и по отношению к изменнику Андрию, преодолевает узы естественного родства, предпочитая им иные, нетленные узы «небесного братства».

Приобщение к этому духовному братству одно только, по убеждению Гоголя, способно по-настоящему насытить душу, ибо оно доставляет ей главную и единственную ее «пищу» — исполнение предуготованного ей Промыслом назначения в мире, по слову Спасителя: «Моя пища есть творить волю Пославшего Меня и совершить дело Его»¹⁹³. «...Как полюбить Того, Которого никто не видел? — писал Гоголь в статье «Нужно любить Россию». — <...> В любви к братьям получаем любовь к Богу»¹⁹⁴. Мысль о запорожском духовном братстве как прообразе самой Церкви («Где вас двое <или трое собраны во имя Мое>, там и Церковь моя», — перефразировал Гоголь слова Спасителя¹⁹⁵ в письме к С. Т. Аксакову от 18 августа н. ст. 1842 года) неоднократно подчеркивается в повести. «Благодарю Бога, что довелось мне умереть при глазах ваших, товарищи!» — восклицает атаман Кукубенко в девятой главе. «Садись, Кукубенко, одесную Меня! — скажет ему Христос. — Ты не изменил товариществу <...> хранил и сберегал Мою Церковь». Как указал Ф. Б. Якубовский, настоящий образ находит себе прямое соответствие на старинных украинских иконах, где часто рядом с тем или иным библейским или евангельским образом изображалась фигура совершенно бытовая, казацкая, в кунтуше, с усами, даже при казацком оружии¹⁹⁶. Эту же мысль о духовном братстве запорожцев призвано передать и упоминание рассказчика о том, что «бандурист <...> скажет <...> про них свое густое, могучее слово. И пойдет <...> по всему свету о них слава <...> подобно гудящей колокольной меди». Строки эти представляют собой реминисценцию слов 148 псалма: «Песнь <т. е. слава> всем преподобным Его, сыновом Израилевым, людям, приближающимся Ему» (ст. 14).

В то же время необходимо отметить, что духовные воинские братства являются лишь одной из частей единого соборного тела Церкви. Мысль об особом положении воина-защитника, «поборника чистоты и благочестия», в церковном единстве Гоголь подчеркнул в самом начале повести, в эпизоде встречи Тарасом своих сыновей. По замечанию К. С. Хоцянова, насмешки героя над их длинной одеждой («поповские подрясники») объясняются контрастом между «господствующей мыслью» Тараса — видеть своих сыновей достойными защитниками Православия — и их одеждой, которая «должна мешать ловкости и быстроте движений, необходимых в ратном деле казака-рыцаря»¹⁹⁷. Но и этой приметой казаки обнаруживают, по Гоголю, причастность своего братства церковному единству (хотя человек, избравший ратный подвиг, не может, согласно обычаям Церкви, принимать священство). Показательно, что сходный мотив устранения мешающих деталей одежды — стягиванием ее и препоясанием — при подготовке к «вечному ратоборству» — развивается Гоголем в «Размышлениях о Божественной Литургии» при описании облачения священника (Гоголь обращает здесь внимание на ряд как бы «рыцарских» деталей священнического облачения, таких, как поручи и набедренник¹⁹⁸). «Что ж другое все способности и дары, которые розные у всякого,— писал Гоголь во втором томе «Мертвых душ». — Ведь это орудия моления нашего».

Сами обращения Тараса к запорожцам — «паны братья» — отчетливо напоминают соответствующие обращения «мужи братия» в Книге Деяний Апостольских. Потому-то духовное родство превосходит у запорожских рыцарей не только любовь к женщине, но побеждает и самую смерть, давая утешение в предсмертные минуты. «Узы этого братства,— писал Гоголь о казаке в статье «О малороссийских песнях»,— для него выше всего, сильнее любви <...> умирающий казак лежит среди <...> девственной природы и собирает все силы, чтобы не умереть, не взглянув еще раз на своих товарищей <...> Увидевши их, он насыщается и умирает». Таким же утешением — от лицемерия близкого человека, а еще более от сознания исполненного долга — «насыщается» и Остап в свои предсмертные минуты. Отцовское «Слышу!» становится здесь слышанием Самого Небесного Отца. (Очевидно, такой же подтекст, указывающий на проявление в действиях Тараса Бульбы воли Самого Бога, содержится и в отношении героя к сыну-изменнику. Ср.: «Да не будет между вами <...> такого человека, который <...> похвалялся бы в сердце своем: “я буду счастлив, не смотря на то, что буду ходить по произволу сердца моего”; <...> не простит Господь такому, но тотчас возгорится гнев Господа и ярость Его на такого человека <...> и отделит его Господь на погибель от всех колен Израилевых...»¹⁹⁹.)

«Ему первому приходилось выпить эту тяжелую чашу,— говорит автор о муках, предстоящих Остапу. Упоминание о «тяжелой чаше» прямо

обращает к словам Спасителя: «Чашу Мою будете пить, и крещением, которым Я крещусь, будете креститься»²⁰⁰. Следующее далее описание казни Остапа прямо переключается с гефсиманским молением Сына к Своему Небесному Отцу перед Его крестными страданиями. Так же, как взывающий с колен Спаситель «услышан был за Свое благоговение»²⁰¹, и «явился Ему Ангел с небес и укреплял Его»²⁰², так Остап, подобно многим другим христианским мученикам и исповедникам, получает утешение, слышит «таинственный» — «ужасный» для других — «зов» в свои предсмертные минуты: «...Когда подвели его к последним смертным мукам, казалось, будто стала подаваться его сила <...> Он не хотел бы слышать рыданий <...> матери или <...> супруги <...> хотел бы он теперь увидеть твердого мужа, который бы разумным словом освежил бы его и утешил при кончине. И упал он силою и выкликнул в душевной немощи: «Батько! где ты? слышишь ли ты все это?».— «Слышу!» — раздалось среди всеобщей тишины, и весь миллион народа в одно время вздрогнул».

Размышляя о соотношении мирского и духовного утешений, Гоголь был убежден о конечном торжестве в человеке духовного начала и считал, подобно своему герою, что и «у последнего падлюки, каков он ни есть, хоть весь извалялся он в саже <...> есть и у того <...> крупичка русского чувства; и проснется он когда-нибудь, и <...> схватит себя за голову <...> готовый муками искупить позорное дело». «В ком хотя одна крупичка этого лиризма,— писал он в статье «О лиризме наших поэтов»,— тот, несмотря на все несовершенства свои и пороки, заключает в себе суровое, высшее благородство душевное...». «У русского человека, даже и у того, кто похуже других, все-таки чувство справедливо»,— говорит Муразов генерал-губернатору в заключительной главе второго тома «Мертвых душ».

Интересно в связи с этим привести суждение о русском народе одного из гоголевских современников, Д. С. Протопопова, которое Гоголь в письме к Я. К. Гроту от декабря 1849 года назвал «совершенно верным, отзывающимся большой опытностью, а с тем вместе и ясностию головы». «Станным, может быть, покажется,— замечал Д. С. Протопопов,— если я скажу, что русский любит труд и нужду, и любит труд не как средство и нужду не как нужду, а так самих по себе. <...> Ну что это, он говорит, мне все хорошо да хорошо: так не должно быть, это вражеское наваждение; это или дьявол насылает, или Бог во гневе хочет излить на меня все сладкое, чтобы дать мне на том свете горькое. <...> Он чувствует в себе обилие сил на то, чтобы, когда наступит нужда, поработать из всей мочи, потерпеть донельзя и все это сделать для того только, чтобы выйти из трудного положения, а не для того, чтоб оградить себя на будущее время от беды. <...> Поговорите с ними о прошлом: они не станут говорить вам, как прежде жили хорошо, а станут говорить с увлечением о том, как

они металися в нужде, как они боролися с нуждою. Вспомните рассказы их о 12-м годе; что в их рассказах? Повесть о том, как они жили в лесах, как по неделям сидели без хлеба, как били их французы и особенно поляки; и чем потчевали они своих гостей незваных»²⁰³. Нечто подобное этим размышлениям Гоголь мог прочесть ранее в известном ему с начала 1830-х годов очерке В. Д. Сухорукова «Рыцарская жизнь казаков»: «...Казалось, они произвольно подвергали себя очевидным опасностям, как бы страшась упасть духом в бездействии»²⁰⁴.

Отступление же от созидającego рыцарский орден духовного утешения к мирским утехам совершается, как показывает Гоголь в «Тарасе Бульбе», не без участия сторонней силы. Помимо внешней войны с ляхами, в повести изображается одновременно и другая, «невидимая брань».

Замечено, что поляки в отношении Малороссии применяют не только силу. Они обольщают также своими нравами и обычаями, перенятыми из Западной Европы, подражанием которой издавна была заражена Польша. «Причины и побуждения отчаянной борьбы казаков с поляками,— писал в 1882 году профессор Н. Я. Аристов,— Гоголь объясняет <...> точными историческими данными, выставляя на вид <...> введение чуждого европейского влияния на Украину»²⁰⁵. Витриной дорогого модного магазина выглядит, например, польская сторона в описании ее в седьмой главе повести: «Все высыпали на вал, и предстала пред казаков живая картина <...> Кафтаны с откидными рукавами, шитые золотом и просто выложенные шнурками. У тех сабли и ружья в дорогих оправах, за которые дорого приплачивались паны [на убранство которых не один жертвовал лучшим достоянием своим], и много было всяких других убранств»,— «хоть за стекло», добавлял Гоголь в черновой редакции. Перед нами как бы реклама соответствующего образа жизни. Не удивительно, что, как замечает Гоголь в отрывке, дополненным в 1841 году первую главу повести, многие из русского дворянства «перенимали уже польские обычаи, заводили роскошь, великолепные прислуги, соколов, ловчих, обеды, дворы»,— все то, что составляло для того времени «последнюю моду» (и что было «не по сердцу» Тарасу, любившему «простую жизнь казаков»).

Далее Гоголь вскрывает и экономическую подоплеку жизни по «последней моде» — разорение родовых имений (вопрос этот, как отмечалось, волновал писателя и при создании «Старосветских помещиков»). Гоголь пишет: «И много было видно <...> всякой шляхты, вооружившейся кто на свои червонцы, кто на королевскую казну, кто на жидовские деньги, заложив все, что ни нашлось в дедовских замках». Торговец Янкель говорит, например, о хорунжем, который задолжал ему «сто червонных»: «...У пана хорунжего <...> нет ни одного червонного в кармане, хоть у него есть и хутора, и усадьбы, и четыре замка, и степовой земли до самого Шклова, а грошей у него так, как у казака, ничего нет. И теперь,

если бы не вооружили его бреславские жида, не в чем было бы ему на войну выехать».

Польским роскошно убранным воинам противопоставляет Гоголь простоту снаряжения казаков: «Казацкие ряды стояли тихо перед стенами. Не было из них ни на ком золота; только разве кое-где блесло оно на сабельных рукоятках...». Сравним, однако, слова Андрия, обращенные к полячке: «...за одну рукоять моей сабли дают мне лучший табун и три тысячи овец». Согласно замечанию Гоголя о предводителе гуннов Аттиле в статье «О движении народов в конце V века», этот «могущественный» вождь, который «сам себя называл бичом Божиим, посланным для того, чтобы исправить мир» (ибо, как уже упоминалось, «жажда бессмертия» «кипит», по словам Гоголя, «и в неразвившемся человеке»), до того дня, как погиб внезапно, предавшись на брачном пиру «неистовому» сладострастию, не позволял «золотым украшениям и камням убирать даже рукояти сабли». Роскошь, таким образом, проникает уже в казацкие ряды. Как ржа, она разъедает слабых, становясь знаком самого предательства. (Примечательно, что слово «израда» — измена, Гоголь истолковывает в своем «Лексиконе малороссийском» именно как «обольщение».) Таким мы видим Андрия после его измены: «И наплечники в золоте, и на поясе золото, и везде золото <...> весь сияет в золоте...». «Сто восемьдесят червонных стоят одни латы...» — восклицал Янкель еще в первой редакции повести.

Теме обольщения Андрия посвящено и изображение во второй редакции «Тараса Бульбы» величественной картины католического богослужения, которой «дивится» герой «с полуоткрытым ртом». Как показывает исследование, изображение всего пути Андрия через подземный ход с попаданием в храм осажденного города последовательно соотносено Гоголем с описанием монастырского подземелья в отрывке «Пленник» (куда начальник отряда польских войск заключает казацкого пленника), а также с образом подземного «гнома» веельзевула в повести «Вий». Вся красота и величие польского костела осмысляются автором как губительный соблазн, «прелесть», против которой не смог устоять Андрий²⁰⁶.

О том, что Андрий, изменив вере и товариществу, движется навстречу смерти, говорит и образ польской красавицы-панночки в шестой главе, что встречает героя «застывшая и окаменевшая в каком-то быстром движении» — «как будто хотела броситься к нему». Этот обладающий «скульптурной законченностью» образ прямо напоминает сравнение Гоголем в повести «Рим» красавицы Аннунциаты с «гибкой пантерой», основанием для которого послужила находящаяся в одной из зал Ватикана изумительно сделанная мраморная пантера, готовая броситься на посе-

тителя с витрины²⁰⁷ *. Соответствует этому образу и изображение красавицы-полячки во второй главе «Тараса Бульбы» — снимающей с себя обольстительные украшения, когда в ее комнате оказывается Андрия: «...он пробрался прямо в спальню красавицы, которая в это время сидела перед свечою и скидала с <1 нрзб.> б<ашмак>» (в печатном тексте: «вынимала из ушей дорогие серьги»). (Обольстительный образ красавицы, скидывающей (надевающей) башмак или «чулок», повторяется у Гоголя в «Записках сумасшедшего», в «Носе», в «Шинели».)

Эпизод пребывания Андрия в спальне ветреной полячки задолго предуготовляет, по замыслу Гоголя, его будущее предательство. Примечательно, что уже следующая встреча Андрия в Киеве с «обольстительной брюнеткой» происходит, по замечанию рассказчика, «в костеле». Впечатления, вынесенные Андрием от первых встреч с красавицей, позднее, под стенами Дубно, «всплывают разом на поверхность» при появлении в казацком стане горничной панночки — и именно это определяет дальнейшие поступки героя.

Отсутствием веры прежде всего объясняет Гоголь предательство Андрия. «Кто сказал, что моя отчизна Украйна? кто дал мне ее в отчизны?» — восклицает герой, объясняясь в любви к панночке. Следует подчеркнуть прямо богоборческий характер этого вопроса. Ибо подразумеваемый ответ на него очевиден: «...Каждый христианин, любя весь мир человеческий, который находится под управление одного Царя небесного, в то же время должен иметь особенную любовь к своему отечеству; потому что отечество не им лично выбрано, а Самим Богом указано ему, когда он родился»²⁰⁸.

Идея служения Богу и ближнему не властвует в сердце Андрия, не наполняет всей его жизни, и потому душа его становится жертвой других «утешений» и «очарований». Этим он отличается от своего брата Остапа. Однако, очевидно, неправы исследователи, утверждавшие, что противопоставление характеров обоих братьев, намеченное Гоголем в самом начале повести, дается «в несколько романтических тонах, как роковая заданность личных черт, присущих обоим им изначально, от рождения»²⁰⁹. Своей пылкой натурой Андрий проявляет себя, по замечанию К. С. Хозянова, «как сын своей матери»²¹⁰. Встречей Тараса с сыновьями

* Необычность гоголевского сравнения была сразу по выходе повести замечена — но не понята — недоброжелательно настроенной критикой. Н. А. Полевой писал об изображении Аннунциаты: «“Никакой гибкой пантере (т. е. леопарду) не сравниться с ней в быстроте, силе и гордости движений”. Если красавицу можно сравнивать с леопардом, почему же не сравнить ее после сего с слоном, тигром, львом?» (Полевой Н. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма Н. Гоголя // Русский Вестник. 1842. № 5—6. Отд. 3. С. 37—38).

Гоголь и подчеркивает роль семейного воспитания (материнского, по преимуществу, в отношении к Андрию и отцовского — к Остапу) в формировании характеров братьев. На эту мысль, очевидно, и обращал внимание в 1916 году на своих уроках наставник царских княжон и одиннадцатилетнего Наследника Цесаревича Алексея Николаевича П. В. Петров. Один из составленных П. В. Петровым вопросов по содержанию гоголевской повести, на которые должны были отвечать его воспитанники, гласит: «Который из братьев походил по характеру на отца и который был любимцем матери?»²¹¹ (Добавим, что эту же мысль можно встретить и в известном учебнике по русской словесности для дореволюционных гимназий А. Д. Галахова, — издававшемся в конце XIX — начале XX века более двадцати раз*.) Если Остап заслуживает при встрече с отцом своими «рыцарскими», бойцовскими качествами полное одобрение, то Андрий получает от отца наименование «мазунчика» — то есть неженки, маменькина сына, баловня (от укр. «мазать» — баловать, ласкать). «...Ему бы теперь нужно опочить и поесть чего-нибудь», — говорит тут об Андрии мать. «Не слушай, сынку, матери <...> Какая вам нежба?» — возражает Тарас. На большую, в сравнении с Остапом, любовь матери к Андрию указывает и сцена прощания ее с сыновьями в первой главе («она кинулась к меньшому»), и слова Андрия к панночке в главе шестой: «...Все, что принесла отцу мать моя, что даже от него скрывает она, — все мое!». Безрассудная любовь матери к сыну и определяет, по Гоголю, многое в характере Андрия. «...Плотская чувственная любовь, — писал Гоголь в «Правиле жития в мире», — <...> не может поступать разумно, потому что очи ее слепы».

Особое место в характеристике духовного образования героев, занимает в «Тарасе Бульбе» проблема школьного воспитания. Как сообщает автор, Тарас отдавал своих детей учиться в Киевскую академию и при этом настаивал, чтобы дети его «выучились <...> всем наукам» (например, в случае с Остапом, не раз зарывавшим «свой букварь в землю»). Но примечательно, что тот же Тарас, по окончании детьми академии, «бранил всю ученость» и советовал им «вовсе не заниматься ею». Это противоречие (которое намеренно подчеркивает автор) можно было бы прояснить, сославшись на слова самого Гоголя в статье «Взгляд на составление Малороссии», что в украинском народе «стремление к развитию и усовершенствованию» сочеталось «с желанием казаться пренебрегающим всякое совершенствование». Но по-настоящему указанное противоречие

* «Образы Остапа и Андрея являются живыми отражениями родительских свойств. Остап весь в отца <...> Андрей — подобие матери...» (История русской словесности (учебник для средне-учебных заведений). Составил А. Галахов. СПб., 1879. С. 234; То же. 21-е изд. М.; Пг., 1915. С. 225).

разрешается только в свете общего противокатолического замысла повести. В осуждении Тарасом современной ему «науки» заключен Гоголем определенный исторический подтекст. По замыслу писателя, герой отрицательно относится не к науке вообще, но лишь к «тогдашнему роду ученья». При известном господствующем влиянии в духовных училищах Южной России в XVI и XVII веках католической «школьной» схоластики (которую Тарас называет презрительно «философией», а рассказчик — оторванными «от опыта» и современности «схоластическими, грамматическими, риторическими и логическими тонкостями») пренебрежение Бульбы к школьной выучке его сыновей указывает на понимание относительной ценности подобных «тонкостей» (а не на недостаток «образованности», как это порой предполагается). В 1836 году в рецензии на книгу Е. И. Ольдекопа «Картины мира», Гоголь, продолжая начатые в «Тарасе Бульбе» размышления о «раздоре теории с практикою» — свойственном, по наблюдениям писателя, и для других порождений западной схоластики (всевозможных «психологических», «нравственных» и «философских» трактатов XVIII — начала XIX веков), писал, что, несмотря на интерес к таким сочинениям, «нравственность» читателей их была «не очень чиста». Очевидно, что образ Андрия, который, слушая схоластические «философские диспуты», предавался в то же время мечтам о женщине, создавался в прямом соответствии с такими размышлениями.

Обращаясь еще раз к анализу взаимоотношений Андрия и панночки, следует сказать, что одним из источников для создания образа героя, гибнущего от обольщения красотой, послужила, вероятно, Гоголю библейская история об Иудифи, прельстившей и погубившей вражеского военачальника Олоферна. Действие этой истории тоже происходит под стенами осажденного города, готового от голода и жажды сдать врагу. Так «вооружается» Иудифь, когда отправляется в стан к Олоферну: «...обула ноги свои в сандалии и возложила на себя <...> мониста <...> цепочки <...> и перстни <...> и все свои наряды, и разукрасила себя, чтобы прельстить глаза мужчин, которые увидят ее»²¹². И конец истории: «Не от юношей пал сильный их, не сыны титанов поразили его <...> но Иудифь, дочь Мерарии, красотой лица своего погубила его <...> надела для прельщения его льняную одежду. Ее сандалии восхитили взор его, и красота ее пленила душу его; меч прошел по шее его» (гл. 16, ст. 6—9).

В создании образа «ветреной» полячки использовал Гоголь и современные реалии. В частности, по предположению Р. М. Кирсановой, в описании «кисейной прозрачной шемизетки» панночки с «фестонами» (шемизетка — кофта, блузка; фестоны; — зубчатая кайма отделки; *фр.*) Гоголь воспользовался сообщением газеты «Молва» за 1833 год о модной французской новинке — прозрачной шемизетке из черных кружев — «блонд» (*фр.* blonde — шелковые кружева) — с двусмысленным названи-

ем *demi-vierge* (девица легкого поведения; *фр.*)²¹³. Несомненно, имело значение для Гоголя при создании образа «ветреной красавицы» и упоминание в этом сообщении «Молвы» о знаменитых, поочередно сменявших одна другую, фаворитках французского короля Людовика XIV (об одной из них, герцогине Лавальер, Гоголь неоднократно упоминал в других своих произведениях — в «Старосветских помещиках» и в «Мертвых душах»). Кроме того существенным явилось, очевидно, и указание газеты, что мода эта является «старинной» и «готической»: «Вторжение старинных мод во всей своей силе; готический вкус господствует. Уже прошедшую зиму <...> провидели ту роскошно-странную моду, которая придавала столько прелестей *Лавальер*, *Монтеспан* и *Фонтанж* <...> Показались также из черных блонд шемизетки *demi-vierges*, доходящие только до половины груди, и их не обшивают оборочкой; вышивают края фестонами; на плечах они очень открыты. Шемизетки хорошо носить с шелковыми или шерстяными платьями, у которых корсаж драпирован; они в роде *modestie* <скромность; *фр.*>»²¹⁴. Позднее об этих модных «скромностях», а также о самих «фестонах» Гоголь упоминал в первом томе «Мертвых душ» при описании бальных дамских нарядов в восьмой главе и в разговоре «дамы приятной во всех отношениях» с дамой «просто приятной» в главе девятой: «...выпущены были из-за плеч, из-под платья, маленькие зубчатые стенки из тонкого батиста, известные под именем “скромностей”. Эти “скромности” скрывали наперед и сзади то, что уже не могло нанести гибели человеку, а между тем заставляли подозревать, что там-то именно и была самая погибель»; «Да, поздравляю вас: оборок более не носят <...> На место их фестончики <...> вообразите, лифчики пошли еще длиннее <...> и передняя косточка совсем выходит из границ...».

Объясняет Гоголь в «Тарасе Бульбе» и происхождение обольстительных нарядов у дочери польского воеводы (так же, как ранее он пояснял в «Вечерах...» появление у сельских красавиц нарядных украшений от «бесовского человека» Бисаврюка). Таким объяснением служит в седьмой главе повести реплика Янкеля, пробравшегося в осажденный Дубно: «...Я схватил на всякий случай с собой нитку жемчугу, потому что в городе есть красавицы и дворянки <...> им хоть и есть нечего, а жемчуг все-таки купят <...> я побежал на воеводин двор продавать жемчуг».

Давая понять читателю смертельную опасность, которую представляет красота панночки для Андрия, Гоголь, однако, не лишает свою красавицу человеческих черт. Исполняя роль соблазнительницы, она сама способна увлечься и отозваться на речи героя с той, по словам Гоголя, «чудною женскою стремительностию, на какую бывает только способна одна безрасчетно великодушная женщина, созданная на прекрасное сердечное движение...». В 1843 году, при посещении Сикстинской капеллы

в Ватикане, Гоголь, глядя на фреску Микеланджело «Страшный Суд» с изображением грешника, которого тянуло то к небу, то в ад, говорил А. О. Смирновой: «Тут история тайн души. Всякий из нас сто раз на дню то подлец, то ангел»²¹⁵.

Христианским чувством сострадания к губящему свою душу человеку проникнуто и описание сцены отречения Андрия. «А что мне отец, товарищи, отчина? — сказал Андрий, встряхнув быстро головою и выпрямив весь прямой, как надречная осока, стан свой. — Так если ж так, так вот что: нет у меня никого! Никого, никого! — повторил он тем же голосом и сем движеньем руки, с каким упругий, несокрушимый казак выражает решимость на дело, неслыханное и невозможное для другого». Незаурядные физические и душевные качества героя вспоминает Гоголь в этой сцене, конечно же, не для того, чтобы придать предательству «доблестный» вид. Гоголь показывает, что гибнет в тенетах соблазна незаурядный, наделенный от Бога всеми дарами и благами человек: «И погиб казак! Пропал для всего казацкого рыцарства <...> Украине не видать <...> храбрейшего из своих детей...».

Столь же беспристрастен Гоголь и в изображении врагов запорожцев, поляков, в целом, — наделяя их незаурядной воинской доблестью. В конечном счете автор — будучи верен исторической правде в описании сражений казаков и ляхов — расценивает в то же время войну между ними как братоубийственную. К такому взгляду отчасти подводили Гоголя и изучавшиеся им в процессе работы над повестью исторические памятники. Так, например, согласно одному из них, «Истории Русов», Богдан Хмельницкий после очередной победы над польскими войсками писал королю Владиславу: «Свидетельствуюсь небом и землею и Самим Богом Всемогущим <...> что нимало неповинен есмь в крови сей Христианской и единоплеменничей!». Убитый тогда в сражении гетман Калиновский вместе с другими польскими офицерами был погребен казаками «при польском костеле с подобающею воинскою почестью»²¹⁶. Вероятно, этими сведениями и предполагал воспользоваться Гоголь в седьмой главе второй редакции повести, где описывал погребение казаками павших в битве товарищей. Первоначальная редакция этого места изображала именно погребение казаками и своих и «чужих»: «...сложили честно вместе всех христиан». Затем Гоголь зачеркнул «всех христиан» и продолжил: «...сложили честно вместе козацкие тела и засыпали землею, чтобы не досталось воронам и орлам выдирать и выклевывать козацких очей». На этом фраза заканчивалась, полстроки в автографе остались незаполненными. Однако, учитывая реальные отношения запорожцев с ляхами, Гоголь, перевернув страницу, заканчивает фразу следующим образом: «...а нечистые и безбожные ляшские тела цепляли веревками и привязывали по десяткам к хвостам диких коней и пустили их далеко в поле...».

Очевидно, создавая реалистическую картину, автор сохраняет между собой и своими героями определенную дистанцию. Это же следует сказать и по отношению к другой, «невидимой» брани, изображаемой в «Тарасе Бульбе».

По замечанию В. В. Ерофеева, соблазненная Европой и в свою очередь соблазняющая Малороссию Польша была для Гоголя примером того, что представляет собой погубленная, утратившая свое достоинство страна, и призвана была послужить предостережением для всей России перед вооруженной и экономической экспансией Запада²¹⁷. Тема эта была также связана в творчестве Гоголя с памятью о 1812 году. Неудача наполеоновского нашествия на Россию обратила Европу к «мирной» тактике порабощения — через соблазнение европейскими модами, обычаями, вкусами. Разоблачение этой «мирной кампании» и составляет одну из главных задач Гоголя в «Тарасе Бульбе». Упомянув в «Размышлениях о Божественной Литургии» о молитве священника за Государя, Гоголь не случайно называл «внутреннего», невидимого врага — «татя и хищника души», «еще опаснейшим», чем враг внешний.

Важным местом для понимания этой стороны замысла повести является сцена разговора Тараса Бульбы с Янкелем в седьмой главе. «...Видел наших?» — спрашивает Бульба у побывавшего в осажденном городе Янкеля о пленных запорожцах. «Как же! — отвечает тот, — наших там много: Ицка, Рахум, Самуйло...». За внешним комизмом скрывается у Гоголя «синонимия» более глубокая и существенная. Согласно гоголевскому словарю «Малороссийских слов, встречающихся в 1 и 2 томах» собрания сочинений 1842 года, первоначальное значение слова «курень — соломенный шалаш». Куренем называлась также на Украине «торговая палатка»²¹⁸, или «ятка» («известная ярмарочная ресторация» — «род палатки или шатра»). Подобную торговую палатку раскидывает Янкель на Сечи. «Курень» во втором значении — «отделение военного стана запорожцев». В этом значении он также находит себе соответствующий синоним: «Курень, общество съестных продавцов» (гоголевский «объяснительный словарь» русского языка). Экономическая борьба торговых «куреней»-союзов с «куренями»-орденами рыцарскими и составляет содержание иной, скрытой войны, разворачивающейся в «Тарасе Бульбе». (Здесь, несомненно, отразились и размышления Гоголя о судьбе родной Васильевки, описанной в «Старосветских помещиках», постоянными гостями которой были, по свидетельству сестер Гоголя, услужливые офицерно-ходобещики. Указание на торговый «курень» содержится и в «Вии» в упоминании об «исполинской брике», в которой «жиды полсотнею управляют с товарами во все города».)

Эту иную, «невидимую брань» Гоголь изображает как одно из проявлений наблюдаемого им во всей мировой истории противостояния двух

типов миропонимания и вытекающих отсюда образов жизни. Различие этих типов обуславливается именно характером избираемого «утешения». Если главное назначение «казацкой нации» заключается, по Гоголю, при всех ее недостатках, в религиозном служении, то в основе «общества съестных продавцов» лежит «утешение» исключительно мирское — страсть любостыжания, составляющая для членов этого «братства» самый смысл, «поэзию» жизни. С таким, например, вполне «поэтическим» вдохновением Янкель описывает богатое убранство предателя Андрия: «...так, как солнце взглянет весною, когда в огороде всякая пташка пишит и поет и всякая травка пахнет, так и он весь сияет в золоте...». Ради этого «утешения» находящийся в плену мирских оболщений человек — утративший связь с источником истинного, трезвенного лиризма — Богом, способен принести в жертву и самую жизнь. На это Гоголь указывает в «Тарасе Бульбе», подчеркивая «самоотверженную» решимость Янкеля и его единомышленников на прибыльную — но весьма опасную («газардную», по определению Гоголя) — торговлю на Сечи: «Только побуждаемые сильною корыстию жида, армяне и татары осмеливались жить и торговать в предместье...» (газардный — рискованный, азартный, подобный игре в кости*; толкование этого слова содержится в «Коммерческом словаре» гоголевской «Книги всякой всячины...»: «*Торговля газардная*, наудачу ссужать деньгами отправляющихся за море с условием, что если отправляющийся благополучно возвратится, то сумму должен отдать обратно с большими процентами, а если корабль потонет, то и самый долг уничтожен. Так же называется и всякое предприятие, сопровождаемое опасностью»). «Утешительное» для страстной души упоение «игрой» наживы неизбежно оборачивается для нее в случае неудачи крайним унынием и отчаянием. Именно Янкелю, собирательному образу «съестных продавцов» в повести — этому поэту мамоны, так понятно и близко то отчаяние, которое может постигнуть сребролюбца, лишившегося своих сокровищ. «Я думаю, тот человек, у которого пан обобрал такие хорошие червонцы, — говорит он Тарасу, — и часу не прожил на свете, пошел тот же час в реку, да и утонул там после таких славных червонцев».

Торговые союзы, располагавшиеся в Сечи и Дубно, в Варшаве и Киеве (см. выписки Гоголя из «Истории...» Н. М. Карамзина «Святополк, возведенный Мономахом...» и «Город Киев»), писатель в своих исторических штудиях сопоставляет с действовавшими в глубокой древности «отдельными бандами» торговцев-финикиян («...действовали отдельными бандами и потому не имеют истории» — очерк «Финикияне»), с образовавшимися в средние века торговыми союзами Венеции и Ганзы («О

* Газард (пол., фр. hazard; через исп., порт. azar «игра в кости» — из араб.) — риск, рискованное предприятие, азарт.

средних веках»), с возникшими в новое время купечеством Голландии, Франции, Британии («О преподавании всеобщей истории»). «Этого явления,— замечал Гоголь,— я не считаю единственным и необыкновенным. Оно повторяется в истории мира часто, хотя и в других формах и с разными изменениями». В гоголевском конспекте 1830-х годов книги английского историка Г. Галлама «Европа в средние века», о торговой Венеции в частности, читаем: «Ни одно из государств не имело таких пространных отношений с магометанами <...> Следствие этих союзов было ослабление религиозной нетерпимости, и несколько раз упрекали венециан в препятствии, деланном к сооружению крестовых походов». В качестве результата этого духовного падения Венеции явилось разрушение по ее интригам Константинополя во время Четвертого крестового похода: «...со времени взятия Константинополя латинцами в 1204 <году> начинается ее эпоха величия».

На примере Венеции и Ганзы Гоголь указал и на самую суть «невидимой» борьбы торговых союзов с членами религиозных братств. Она состояла в том, чтобы «подносить» им «улучшения для жизни» и тем самым «отдалять рыцарей от их обетов и строгой жизни, подогревать желание наслаждений и уменьшать энтузиазм религиозный». Размышляя о современности, Гоголь в статье «Скульптура, живопись и музыка» в свою очередь восклицал: «Никогда не жаждали мы так порывов, воздвигающих дух <...> когда наступает на нас [меркантильность] и давит вся дробь прихотей и наслаждений, над выдумками которых ломает голову наш XIX век. Все составляет заговор против нас; вся эта соблазнительная цепь утонченных изобретений роскоши сильнее и сильнее порывается заглушить и усыпить наши чувства». Беззащитность в этом отношении запорожских казаков Гоголь подчеркивал в повести тем, что, хотя «вся Сечь молилась в одной церкви и готова была защищать ее до последней капли крови», она, однако, «и слышать не хотела о посте и воздержании». (Справедливости ради отметим, что, перечитывая в 1839 году «Описание Украйны» Г. де Боллана, Гоголь обратил особенное внимание на «строгое соблюдение постов» казаками,— однако во второй редакции повести несколько не изменил прежней характеристики; вероятно, это противоречило его художественному замыслу; выписка предназначалась им для нового произведения — «драмы за выбритый ус».) «Это <...> не были строгие рыцари католические,— добавлял Гоголь ранее в статье «Взгляд на составление Малороссии»,— они не налагали на себя никаких обетов, никаких постов...». Невоздержанием и объясняются в повести все неудачи и потери гоголевских героев: от предательства Андрия до опустошения округа города Умани, где Янкель «очутился <...> арендатором и корчмарем», отчего всё вокруг «пораспивалось». Определенным предвестием этих событий в повести является у Гоголя образ гуляки-запорожца в

конец третьей главы, который, перепившись по поводу избрания нового кошевого, валится «прямо на деревянную колоду» — словно оказываясь на самой плахе. Открывается же эта «невидимая брань» в повести с первых ее страниц — с картины, которая предстает глазам Тараса и его сыновей при въезде в Сечь: «...Жид, выставив вперед свою бороду, точил из бочки горелку. Но первый успевший попробовать этого нектара запорожец лежал на самой середине улицы, раскинув руки и ноги» (черновой автограф первой редакции повести 1834 года). По замечанию современного исследователя, Гоголь обращался здесь к традиционному для украинских интермедий и вертепных представлений образу еврея-шинкаря, который наживается на проклятой «оковитой» (водка; укр.), превращающей казака из рыцаря в жалкого «гультия», «забудлыгу»²¹⁹. Как пишет св. Иоанн Златоуст в Толкованиях на Святого Матфея Евангелиста, «обыкновенные воины, хотя бы одержали тысячу побед, бывают <...> без всяких уз связаны сном и пьянством, без всяких смертоносных ударов и ран, лежат, как израненные...» (беседа LXX). Беззащитность в этом отношении запорожцев усугубляется, по Гоголю, еще и тем, что само бражничество они не только не осознают как недостаток, но еще и почитают «одним из главных достоинств рыцаря». Это заблуждение вполне разделяет с другими казаками и Тарас Бульба, в личности которого Гоголь сосредоточил главные черты запорожского воина-рыцаря — как положительные, так и отрицательные. Примечательно, что самую «горелку» Тарас представляет себе как явление национальное, собственно русское или украинское. «А как по-латини горелка? — спрашивает он сыновей. — То-то <...> дурни были латинцы: они и не знали, есть ли на свете горелка». Очевидно, заблуждение героя должно быть, по замыслу Гоголя, замечено читателем, тем более что другое упомянутое название «горелки» в украинском языке — «оковитая» (от польск. *okowita*) — прямо восходит к латинскому *aqua vitae* — водка (буквально: вода жизни) (как было известно Гоголю, это название было дано водке в XIV веке ее изобретателями немецкими химиками²²⁰). В гоголевском «Лексиконе малороссийском» со ссылкой на «Опыт собрания старинных малороссийских песней» князя Н. А. Цертелева (СПб, 1819) отмечено: «Оковита, хлебное вино первого сорту (кн<язь> Церт<елев>)». В «Украинских народных песнях, изданных Михаилом Максимовичем» (М., 1834), которые М. А. Максимович высылал Гоголю в отдельных листах по мере печатания, указано и происхождение этого слова — и как бы заключен ответ на вопрос Тараса («А как по-латини горелка?»): «Оковитая — *aqua vitae!* — хлебное вино». Оба издателя украинских песен поясняли слово, встречающееся в малороссийской думе XVII века о казаке Иване (Ивасе) Коновченко, которую они приводили в своих сборниках. Думается, именно эта дума, описывающая гибель казака от «оковитой», и оказала непосредственное

влияние на осмысление Гоголем бражничества своих запорожцев. В думе Ивась Коновченко обращается к казашкому полковнику:

«Благослови мене, батьку, оковитой напиться,
Я зарекаюсь с бусурманами ше лучче побиться».
— Не велю я тебе, сыну, оковитой напивати
Да ийти с бусурманами на долину гуляти;
Колиж вже ты хочешь ей напивати,
То велю в моем намете (палатке) лягати спочивати.—
«Сей мне хмель не буде заважати (препятствовать),
А буде моему сердцю смелости додавати».

.....
То безбожни бусурманы тее зачували (почуяли),
Напилого (пьяного) козака зараз познавали,
Больше ему поля гуляти попускали,
Од табура (от стана) козашького зараз отбивали,
Гневом Божиим саранчою на козака налетали,
Шаблями, пистоллями смертныи раны даровали...²¹

Наивно, по Гоголю, оправдывать напившихся на посту — в осаде города Дубно — казаков тем, что, дескать, «ни поста, ни другого христианского воздержанья» в то время не было — как об этом говорит атаман Кукубенко. Пост и бдение — неперменное оружие для выступивших на брань — «взявшихся защищать» Православие — «хранить святыню» Украйны — согласно заповеди: «Когда пойдешь в поход против врагов твоих, берегись всего худого»²² *. Особым образом Гоголь подчеркивал это уже в первой редакции повести. Здесь предательство Андрия становится возможным во многом потому, что запорожские стражи оставляют свой «пост» (от фр. poste): «...даже зоркий сторож, стоявший на самом опасном poste, спал, склонившись на ружье...». Эгими же размышлениями проникнуты строки о пагубном невоздержании Тараса: «Желание подать помощь и освободить любимого сына заставило его позабыть важность своего поста» (это и было в первой редакции причиной окончательной гибели всех казаков). В конце концов и гибнет Тарас от своего невоздержания — от пристрастия к «люльке», взявшись подымать которую, он и попадает в руки врагов. Обратим внимание, что пишет Гоголь матери 10 февраля 1831 года: «Весь этот год будет более ничего, как только утверждение мое, укрепление на месте, обеспечение от всех нужд; и пото-

* Именно эту заповедь напоминал в 1829 году воинам святитель Филарет, митрополит Московский и Коломенский, в составленном им катехизисе (см.: Пространный христианский катихизис Православных Кафолических Восточных Греко-Российских Церквей, рассматриваемый и одобренный Святейшим Правительствующим Синодом и изданный для преподавания в училищах по Высочайшему Его Императорского Величества Повелению. М., 1829. С. 132).

му весь этот год я не могу и не должен даже на время оставлять поста своего, следовательно, должен даже отложить надежду на радостное свидание с вами...». «Мы призваны в мир на битву, а не на праздник: праздновать победу мы будем на том свете», — напишет позднее Гоголь в «Правиле жития в мире».

Какого же рода оружие для «битвы», какие средства борьбы считает Гоголь допустимыми и приемлемыми для христианина? В первоначальной редакции «Тараса Бульбы» об отправляющихся в поход казаках («бить бусурманов») говорилось: «Таким образом все были уверены, что совершенно по справедливости («совершенно за правое дело» — строки черного автографа. — *И. В.*) предпринимают свое предприятие. Такое понятие о праве было весьма извинительно народу, занимавшему опасные границы среди буйных соседей. И странно, если бы они поступили иначе. Татары раз десять прерывали свое шаткое перемирие и служили обольстительным примером. Притом как можно было таким гульливим рыцарям и в такой гульливый век пробыть несколько недель без войны».

Мысль об определенном несоответствии применения физической силы духу христианства, извиняемом временными обстоятельствами, встречается у Гоголя и в статье «О средних веках»: «...Напрасно крестовые походы называются безрассудным предприятием. Не странно ли было бы, если бы отрок заговорил словами рассудительного мужа? Они были порождение тогдашнего духа и времени. Предприятие это — дело юности...».

Таким образом, христианство у Гоголя в «Тарасе Бульбе» оказывается в некотором роде «само по себе», а стремление казаков «погулять» и даже разжиться деньгами для шинков — «само по себе». Очевидно, что здесь мы имеем дело с совершенно особым представлением Гоголя об участии Промысла в истории — о том, что и зло, представляющееся таковым с человеческой точки зрения, может служить добру. Эта идея наиболее отчетливо проступает у Гоголя в заключительной главе первого тома «Мертвых душ», где автор размышляет о значении «прирожденных страстей»: «...все равно, в мрачном ли образе («в образе ли злодейства» — по словам черновой редакции; курсив наш. — *И. В.*) или пронестись <им> светлым явлением, возрадующим мир, — одинаково вызваны они для неведомого человеком блага». В черновике создававшейся тогда же второй редакции «Тараса Бульбы» Гоголь писал: «Запорожцы оставили везде свирепые, ужасающие знаки своих злодейств...» (курсив наш. — *И. В.*).

Как известно, в 1850 году, после прочтения в Оптиной Пустыни книги св. Исаака Сирина, Гоголь резко осудил свое представление о якобы благодетельных, промыслительно заложенных в человеке от самого его рождения «страстях». «...Прирожденные страсти — зло, — написал он тогда на полях экземпляра «Мертвых душ» первого издания против самого

этого места,— и все усилия разумной воли человека должны быть устремлены для искоренения их»²²³.

Не следует, однако, думать, что, безусловно осудив в 1850 году всякое выражение зла в человеке, Гоголь также отказался и от своего понимания Промысла — непостижимого в своих проявлениях, которые оттого воспринимаются даже подчас как действие злых сил — так, «что не видишь добра в добре» (записная книжка 1841—1846 годов). Возможно, тогда же, в Оптиной Пустыни, на отдельном лоскутке бумаги он написал: «Одно только здесь ясно, что крест дан Тем, Кто дает благо, благо в разных видах, или в виде ясного понятного нам счастья, или в виде тяжкого непостижимого для нас страдания. В таком убеждении великая сила; но и эту силу мы получаем от Бога».

Таким образом, очевидно, что в 1842 году — в год выхода в свет первого тома «Мертвых душ» и второй, переработанной редакции «Тараса Бульбы» — Гоголь еще не разрешил для себя проблемы возможного участия «физической железной силы» в распространении и защите христианства и не пришел еще к идее о несовместимости «природенных страстей» и Промысла. Во второй редакции повести по-прежнему отнюдь не идеальные казаки защищают Православие, причем, как отмечено, «мрачные» черты их даже подчеркнуты, как подчеркнуто и несоответствующее взглядам автора представление Тараса Бульбы о «праве» защищать силою Православие: «...он считал себя законным защитником Православия. Самоуправно входил в села, где только жаловались на притеснения арендаторов и на прибавку новых пошлин с дыма. Сам с своими казаками производил над ними расправу...» (курсив наш.— И. В.). Тарас Бульба первой редакции вообще своим обликом — «А я свой наберу полк и кто меня обидит, тому я буду знать, как утереть губу» — напоминает опустошителя «казенного кармана» обиженного капитана Копейкина с шайкой беглых солдат — из написанной Гоголем в годы создания второй редакции повести вставной новеллы к десятой главе «Мертвых душ». От запорожских казаков, «которым нечего было терять, которым жизнь — копейка» (по словам статья «Взгляд на составление Малороссии»), и фамильное прозвище нового атамана²²⁴. Черты несоответствия запорожцев их высокому призванию словно получают в новом образе дальнейшее развитие и доводятся (как ранее в образе Андрия) до логического завершения — окончательного отпадения «атамана» Копейкина от России и бегства в Америку (согласно первоначальной редакции «Повести о капитане Копейкине»).

О том, что вопрос о значении «физической железной силы» для христианства остался тогда для Гоголя так до конца и не разрешенным, свидетельствует и содержание сделанных им позднее, зимой 1843/44 года, в Ницце, выписок из Кормчей книги и составленного им тогда же сборни-

ка «Выбранные места из творений св. отцов и учителей Церкви». Тема должного отношения христианина к своим гонителям, а также к возможным средствам защиты и распространения христианства поистине является для этих выписок сквозной. В содержании их можно выделить два подхода.

С одной стороны, выписки о «непротивлении». «...Внемлите себе, предадут бо вы на сонмы и на соборишах их бият вас...»²²⁵; «Какой у Него арсенал? какое вооружение? <...> броня правды, шлем нелицеприятного суда, щит непроборимой святости...»²²⁶; «Когда я нахожусь среди врагов моих с любовью в сердце моем, тогда мне все друзья и нет врага ни единого...»²²⁷; «Ты должен погашать ненависть, прекращать войну, истреблять зависть...»²²⁸; «Христианам сказано, что они будут гонимы; но не сказано, что будут гнать»²²⁹.

С другой стороны, две выписки Гоголя прямо связаны с темой вооруженной защиты: «...Не позволительно убивать, но убивать врагов на брани и законно, и похвалы достойно»²³⁰. (К этим словам св. Афанасия Великого, архиепископа Александрийского, к Аммуну монаху примыкает в Кормчей книге — с соответствующей отсылкой — одно из правил св. Василия Великого, которое, думается, также не могло не привлечь к себе внимания Гоголя: «Убиение на брани Отцы наши не вменяли за убийство, извиняя, как мнится мне, поборников целомудрия и благочестия. Но, может быть, добро было бы советовать, чтобы они, как имеющие нечистые руки, три года удержались от приобщения токмо Святых Таин.— См. послание св. Афанасия к Аммуну монаху. Валсамон и Зонар согласно замечают, что предполагаемый св. Василием совет вообще не был употреблен в действие, как по неудобству, так и по уважениям, в начале сего правила изложенным»²³¹.)

Вторая выписка — из поучений преосвященного Гедеона (Вишневского), епископа Полтавского: «Облекается ли кто в воинственное мужество: оно возвышенно, когда дышит Верою; ибо тогда не отчаяние, не страх, не боязнь, не ожесточение живет в груди воина, но великодушие, поражающее врага без презрения к нему; тогда не лицемерие, не злоба, но благодушное сознание своих достоинств наполняет его сердце»²³².

Кроме того, надо заметить, что почти в одно время с составлением выписок Гоголь работает над созданием «Учебной книги словесности для русского юношества» (1845), в список примеров которой включает стихотворение Н. М. Языкова «Кудесник» (1827), где поэт воспел подвиг правоверного новгородского князя Глеба Святославича (ум. в 1078 г.), который, приложившись к кресту, идет затем и поражает обольстившего народ чародея.

Не мог, вероятно, не быть известен Гоголю и ответ святого равноапостольного Кирилла мусульманам о применении оружия христианами,

о котором сообщается в житии этого просветителя славян (как указывалось, Гоголь с детских лет был знаком с житийной литературой). Однажды сарацины спросили святого: «Если Христос есть ваш Бог, то почему же вы не делаете того, что Он велит вам? Ведь написано в Евангелии: молитесь за врагов, делайте добро ненавидящим и притесняющим вас и бьющим вас подставляйте щеку. Вы же поступаете не так: против противников ваших вы отгачиваете оружие». На это святой Кирилл отвечал: «Если в каком законе будет написаны две заповеди и даны людям для исполнения, то кто из людей будет истинный исполнитель закона: тот ли, кто исполнит одну заповедь, или тот, кто — две?» «Конечно, лучшим исполнителем будет тот, — отвечали сарацины, — кто исполнит две заповеди». «Христос Бог наш, — сказал на это святой, — повелел нам молиться за обидящих нас и благотворить им, но Он также сказал и это: *больше сего любее никтоже имать, да кто душу свою положит за други своя*. Мы переносим обиды, если они направлены только против кого-либо в отдельности, но мы заступаемся и даже полагаем души свои, если они направлены на общество, чтобы наши братья не попали в плен, где могли бы быть совращены к богопротивным и злым делам»²³¹.

В конечном счете размышления Гоголя выливаются в чеканную формулу одной из статей «Выбранных мест из переписки с друзьями», адресованной графу А. П. Толстому: «Чернецы Ослябя и Пересвет, с *благословенья* самого настоятеля (Преподобного Сергия Радонежского. — *И. В.*), взяли в руки меч, *противный христианину*, и легли на кровавом поле битвы, а вы не хотите взять поприща мирного гражданина, и где же? — в самом сердце России» («Нужно проездиться по России», 1845; курсив наш. — *И. В.*).

В 1851 году Гоголь вновь держит корректуру «Тараса Бульбы», готовя повесть к переизданию в собрании своих сочинений.

В то же время надо заметить, что уже во второй редакции «Тараса Бульбы» значительное место занимают у Гоголя размышления об ином оружии, «мече» христианина — молитве. Так, в частности, Андрий, обращаясь к панночке, восклицает: «Если же будет уже так и ничем, ни силой, ни молитвой, ни мужеством, нельзя будет отклонить горькой судьбы, то мы умрем вместе...». Этой же мыслью проникнуто и упоминание о «с ног до головы вооруженном воине, держащем в руке молитвенник», на лестнице дома панночки в Дубно. В самой комнате панночки «лампада теплилась перед образом». Вероятно, по замыслу Гоголя (во второй редакции повести), молитвы жителей осажденного города и преодолевают силу беспечных запорожцев. Изображение их общей коленапреклоненной молитвы в монастырской церкви «о спасении города, о подкреплении падающего духа, о ниспослании терпения, об удалении искусителя, нашептывающего ропот и малодушный, робкий плач на земные не-

счастия», прямо предвещает приход к ним помощи и первое поражение запорожцев — гибель заспавшегося Переяславского куреня*.

Позднее Гоголь все более и более подходит к мысли о всеобъемлющей и всеразрешающей силе молитвы. В 1847 году он отвечает В. Г. Белинскому: «Нет, Россия молилась не напрасно. Когда она молилась, то она спасалась. Она помолилась в 1612, и спаслась от поляков; она помолилась в 1812, и спаслась от французов». В связи с революционными событиями 1848 года в Париже он также пишет А. С. Данилевскому: «Никто не в силах вынести страшной тоски этого рокового переходного времени. И почти у всякого ночь и тьма вокруг. А между тем слово *молитва* до сих пор еще не раздалось ни на чьих устах» (подчеркнуто Гоголем. Ср. его выражение «веровать в молитву» в предисловии к «Выбранным местам из переписки с друзьями»). 23 декабря 1850 года Гоголь, отвечая на сетования А. О. Смирновой, писавшей ему из Калуги, что повсюду в России «пропаганда протестантизма идет рука об руку с пропагандою политической» и «подтачивает все начала исподтишка, грызет, как мышь»²³⁴, замечал: «Много развеивается холодного, безнравственного по белу свету. Много порывается отовсюду всяких пропаганд, грызущих, по-видимому,

* В черновике Гоголь, судя по зачеркнутым строкам, после слов «о подкреплении падающего духа» едва не написал: «об изо<билии плодов земных и временех мирных>», — то есть католическую молитву едва не пересказал словами прощеньной православной великой ектении. Добавим, что в Дубно (древнерусский город Дубен, известный в летописях с 1100 года) в православном Спасо-Преображенском монастыре с XVI века находилась чудотворная икона Пресвятой Богородицы, именуемая Дубёнскою, — фамильный образ дома князей Острожских, пожертвованный в монастырь князем Василием-Константином Константиновичем. В 1631 году, после введения унии, Спасо-Преображенский монастырь был превращен в базилианский (тогда же в Дубно был выстроен костел монастыря кармелиток, а чуть ранее, в 1620 году, началось строительство бернардинского монастыря). Значимо в этом отношении и сравнение в «Тарасе Бульбе» подземного хода в Дубно с монастырскими пещерами Киево-Печерской Лавры: «Так же как и в пещерах Киевских, тут видны были углубления в стенах...». В 1839 году Гоголь сравнивал с Киевскими пещерами одну из православных святынь в Риме — катакомбы св. мученика Севастиана (III в). М. П. Погодин, осматривавший тогда вместе с Гоголем и С. П. Шевыревым римские достопримечательности, 14 марта записал в своем дневнике: «Не имели уже силы заехать в катакомбы под церковью Св. Севастиана — Г<оголь> сказал, что они вроде наших Киевских» (*Погодин М. Месяц в Риме // Москвитянин. 1842. № 2. С. 386; Год в чужих краях. 1839. Дорожный дневник М. Погодина. М., 1844. Ч. 2. С. 43*). Ср. также: «Севастьяновские катакомбы, у дороги Аппианской, показались мне похожими на Киевские пещеры...» (*Порфирий (Успенский), епископ. Книга бытия моего. Дневники и автобиографические записки. СПб., 1900. Т. 6, часть 1854 г. С. 95*).

как мыши, все твердые основы. Но как вспомнишь, что над нами всеми Бог, без воли Коего не падет волос с главы, что Он превосходит все неизмеримостью Своего милосердия, что одна молитва праведника может отвратить и спасти многое, что, наконец, Он — высший разум, превыше всех наших ежеминутно ошибающихся умозаключений,— так станет вдруг ничтожно и низко все, чем мы смущаемся!»

С темой молитвы в повести непосредственно связана тема выкупа, или искупления души (в чем опять-таки обнаруживается соотносительность «Тараса Бульбы» с замыслом «Мертвых душ»). «Освободите мне моего Остана! — обращается Тарас к товарищам Янкеля, — дайте случай убежать ему от дьявольских рук. Вот я этому человеку обещал двенадцать тысяч червонных, — я прибавляю еще двенадцать...». Следующий далее ответ Мардохая — «Когда мы захочем сделать, то уже будет так, как нужно», — и, однако же, последовавшая неудача позволяют предполагать, что попытку искупления Тарасом своего сына Гоголь осмысляет непосредственно в свете христианской веры: «Надеющиеся на силы свои и хвалящиеся множеством богатства своего! Человек никак не искупит брата своего и не даст Богу выкупа за него. Дорога цена искупления души их, и не будет того вовек, чтобы остался кто жить навсегда и не увидел могилы»²³⁵. «Ибо никакой человек, — пишет в толкованиях на эти строки псалма св. Василий Великий, — не в силах убедить дьявола, чтобы освободил от своей власти однажды ему попавшего <...> никто не может выкупить сам себя, пока не придет Возвращающий пленение людей (Пс. 13, 8), не *сребром*, не дарами, как написано в Исаии (52, 3), но Своею Кровию»²³⁶.

Теме мнимого искупления, переходящего на деле в прямую и небезвыгодную торговлю душами, посвящено также у Гоголя (еще в первой редакции повести) упоминание о выкупе брата Тараса Бульбы, Дороша, из турецкого плена, которому Янкель «дал» на это «восемьсот цехинов», получив затем дополнительные «проценты» — свое спасение. Так и сам Тарас вступает в торг, «перебивая» цену, данную за его голову: «...за мою голову дают две тысячи червонных. Знают же они, дурни, цену ей! Я тебе пять тысяч дам».

Именно во второй редакции «Тараса Бульбы» размышления Гоголя об искуплении становятся определяющими. Тема «деньги — души — кровь» становится здесь одной из ключевых. Впервые эта тема возникает в третьей главе. Здесь упоминается о необходимости «выкупить» товарища-должника.

«Что ж за козак... — говорит затем Тарас Бульба в восьмой главе, — который не зашил в беде своего кровного товарища и не выкупил, кинул его, как собаку, пропасть на чужбине...» (строки черновой редакции). «А разве ты позабыл... — возражает ему кошевой, — что у татар в руках

тоже наши товарищи, что если мы теперь их не выручим, то жизнь их будет продана на вечное невольничество язычникам <...> позабыл разве, что у них теперь вся казна наша, добытая христианскою кровью?» Вторит им и старый казак Касьян Бовдюг: «Сколько ни живу я на веку, не слышал я, ланы братья, чтобы казак покинул где или продал как-нибудь своего товарища». Когда же часть запорожцев, отделившись, отправилась в погоню за татарами, Бульба говорит оставшимся: «Ну, дети <...> теперь нас меньше, теперь на нас одних лежит долг выкупить товарищей...» (строки черного автографа). Судя по всему, в следующей далее речи к запорожцам,— где, повторим, Тарас обличает нарушивших законы братства запорожцев в том, что «свой своего продает, как продают бездушную тварь на торговом рынке», Гоголь исходил из соответствующих строк библейской Книги Неемии: «...Мы искупимох братию нашу <...> по силе нашей: вы же продасте братию вашу...» (гл. 5, ст. 8). Исполнением заповеди Спасителя о любви к братьям и совершают запорожцы подвиг искупления товарищей.

Таким образом, в целом можно сделать вывод, что, помимо изображения героического подвига запорожцев, Гоголь указывает в повести одновременно и на то, в чем заключается главная причина их неудач. Все это обнаруживает далеко не простой замысел гоголевской «эпопеи»: («Быть поэтом», замечал, в частности, Гоголь 5 апреля н. ст. 1845 года в письме к Н. М. Языкову, значит, в отличие от полемиста, бросать «целые беспредельные пространства мыслей».)

Тот же, например, Тарас, когда решает «положить душу свою» за своего сына Остапа, на деле продает ее (заключая с товарищами Янкеля «контракт на всю жизнь»),— забывает об истинном Искупителе «от дьявольских рук» — что «не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною Кровию Христа...»²³⁷. В качестве комментария к состоянию души Тараса, решившегося любыми средствами спасти Остапа, может служить следующее место уже не раз упоминавшегося «Правил жития в мире»: «Любить Бога значит любить Его в несколько раз более, чем отца, мать, детей, жену, мужа, брата и друга <...> Кто любит Бога, тот уже гораздо более любит и отца, и мать, и детей, и брата, чем тот, кто привязывается к ним более, чем к Самому Богу <...> любовь не от Бога шатка и мятежна и самих нас делает шаткими, боязливими и нетвердыми». О Тарасе, в то время как он ожидает Мардохая с товарищами, в повести говорится: «Душа его была в лихорадочном состоянии. Он не был тот прежний, непреклонный, непоколебимый, крепкий как дуб; он был малодушен; он был теперь слаб. Он вздрагивал при каждом шорохе...».

Теме Искупления и противоположного ему служения мамоне (богатству) прямо посвящена у Гоголя появляющаяся во второй редакции по-

вести развернутая характеристика деятельности Янкеля в городе Умани (глава десятая): «...Не оставалось ни одной избы в порядке: все валилось и дряхлело <...> и осталась бедность до лохмотья; как после пожара или чумы, выветрился весь край». Этому описанию соответствует у Гоголя изображение имени Плюшкина в создававшемся в те же годы первом томе «Мертвых душ»: «Какую-то особую ветхость заметил он на всех деревянных строениях: бревно на избах было темно и старо; многие крыши сквозили, как решето...». Родственно и корыстолюбие героев: «...мысль о золоте <...> как червь, обвивает душу жида»; «“А сколько бы вы дали?” — спросил Плюшкин и сам ожидал: руки его задрожали...». Можно утверждать, что Янкель для Гоголя — такая же «мертвая душа», как и Плюшкин. Зная же о конечном замысле гоголевской поэмы — воскрешении «мертвых душ», — следует, очевидно, и о Янкеле сказать так же, как говорит о неверовавших иудеях св. апостол Павел в Послании к Римлянам: «...если отвержение их примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых» (гл. 11, ст. 15)²³⁸. Создавая образы Плюшкина и Янкеля в едином смысловом контексте, Гоголь, вероятно, имел в виду и другое место этого Послания: «Итак что же? имеем ли мы преимущество? Нисколько; ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и еллины, все под грехом <...> потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, Которого Бог предложил в жертву умилостивления в Крови Его чрез веру...» (гл. 3). В этом смысле и следует понимать слова Тараса о «вере Христовой», бывшие уже в первой редакции повести: «Чтобы пришло, наконец, такое время, чтобы по всему свету разошлась она и все бусурмены поделались бы наконец христианами». По словам К. С. Хоцянова, «Тарас любит всех людей. Только Православная вера ему дороже всего, потому что она одна дает спасение человеку <...> И вот — когда приходится выбирать между гибелью Православия и казачества и гибелью врагов их, Тарас, понятно, заботится о спасении первых, жертвуя последними...». Эту верность Православию и товариществу герой и уносит с собой в вечность.

* * *

Исполнению заповеди Спасителя, составляющему главное содержание и смысл жизни гоголевских запорожцев, противопоставляется в следующих двух повестях «Миргорода» забвение человеком христианских заповедей, неисполнение им своего долга.

Теме духовной брани, намеченной в «Тарасе Бульбе», непосредственно посвящена повесть «Вий». Об этом, в частности, свидетельствует

один из источников, использованных Гоголем при создании повести. Так, в описании путешествия трех бурсаков — «богослова», «философа» и «ритора» — по «большой дороге» отчетливо угадываются строки выпитой Гоголем в свою «Книгу всякой всячины, или подручную Энциклопедию» «Вирши, говоренной гетьману Потемкину запорожцами на Светлый праздник Воскресения»:

...Князь пекельный з смертью поглизався (согласился)
Всѣх зажерти (поест), в ад заперти, так вин измовлялся
(сговаривался).

Воны тое в кучу двое, знюхавшись, ланцюют (ловят),
Хоть старого, хоть малого так и глабцюют (хватают).

.....
Архиреи и ереи ишли по тому шляху (проезжей дороге),
Филозопи (философы, семинаристы), крутополи (протопопы)
набралыся жажу (страху)....

Из «Вирши...» заимствован и не то собачий, не то волчий вой, часто упоминаемый в повести, о котором один из героев замечает: «...Что-то другое воет: это не волк...».

...То вельзевул
Завив (завыл) <...> як вовк <...> голосом собачим...

Созвучно запорожской «Вирше...» и окончание гоголевского «Вия»:

Зарьс (зарос) весь шлях кулям (кочками) та болотом,
Гдѣ той злий дух ковтав (глотал), как мух, ненаситним ротом...

Таким образом, гоголевскому герою предстоит вступить в прямую брань с нечистой силой. О том, с какой целью попускаются человеку такие испытания, Гоголь, как бы сравнивая покой «Старосветских помещиков» с беспокойными бранями «Вия» и «Тараса Бульбы», писал: «Душевный сон никак нельзя назвать прекрасным состоянием. Правда, мы не чувствовали тогда тревог; но зато <...> нам не было поприща показать красоту, величие души, терпение, твердость, жар истинной молитвы, веру истинную в Бога, любовь истинную <...> Словом, нам не представилось бы подвигов, за которые награды небесные готовятся человеку...» («Правило жития в мире»). Однако искушение злого духа, преодоление которого должно было бы послужить к большей славе героя «Вия» (ибо «сильнейшим посылаются испытания сильнейшие»), приводит его, так же как прежде Андрия, к гибели. Следует сказать, что в основу своей повести Гоголь кладет тему, традиционно являющуюся одной из главных в житийной литературе. Эта житийная основа отчетливо просматривается и в судьбе Тараса Бульбы и — еще более — Остапа, в образах которых решение темы развивается тоже достаточно традиционно — в конечном

счете вера торжествует над любыми испытаниями. Своеобразие «Вия» — в том, что, обнаруживающая такую же, если не бóльшую, чем «Тарас Бульба», ориентацию на агиографическую литературу, эта повесть, в отличие от житий святых и в сравнении с ними, может быть названа житием грешника. В своем «житии» семинарист-«философ» Хома Брут может быть соотнесен со святыми подвижниками только отрицательно — он изображает собой именно неисполнение положенных заповедей, чем в повести и объясняется его поражение. Падение Хома Брута происходит не от внешних обстоятельств (ибо «верен Бог, Который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил»²³⁹), но, как изображает Гоголь, от его душевной и физической лености.

Очевидно, что в этом отношении гоголевский герой представляет собой некоего духовного «недоросля», тем более, что упомянутый уже образ Хома Брута — домашний учитель Иван Осипович из незавершенной повести Гоголя «Страшный кабан» — принадлежал, по словам рассказчика, как раз «к числу <...> семинаристов, *убоявшихся бездны премудрости...*». Выделенные Гоголем строки взяты из «Недоросля» Д. И. Фонвизина и принадлежат там одному из наставников Митрофана — вышедшему «из ученых» семинаристу Кутейкину, который, по словам этого героя, «подавал в консисторию» следующее «челобитье»: «Такой-то де семинарист, из церковничьих детей, убояся бездны премудрости, просит от нея об увольнении». (О судьбе подобных «недорослей»-«недоверков», сменивших свое духовное возрастание и призвание к духовной брани на мирскую карьеру, упоминал, в частности, Гоголь в черновом наброске к седьмой главе первого тома «Мертвых душ» при характеристике губернских чиновников,— употребляя при этом, кстати, имя, данное ранее миргородскому бурсаку: «Все были большею частью из семинарии, народ дюжий, точно Бруты римских времен»*.) Очевидно, что в отличие от Д. И. Фонвизина, Гоголь поднимает в теме «недоросля» прежде всего проблему духовной неразвитости своего современника, и в этом отношении фонвизинскому Митрофану в чем-то, на взгляд писателя, можно, оказывается, даже отдать предпочтение. Действительно, если «недоросль» Фонвизина «доучивает Часослов» («а там, думать надобно, примутся и за Псалтирь»), то новейшим Митрофаном, по наблюдениям Гоголя, эта книга уже недоступна. «Знаю,— замечает он устами дьячка-рассказчика в «Вечере накануне Ивана Купала»,— что много наберется таких умников, пописывающих по судам и читающих даже гражданскую

* Киевский митрополит Антоний (Храповицкий) пустил позднее в оборот для таких бывших семинаристов кличку «Ракитины» (по Достоевскому) (Проф. архимандрит *Кириан <Керн>*. Православное пастырское служение. Париж, 1957. С. 34).

грамоту, которые, если дать им в руки простой Часослов, не разобрали бы ни аза в нем...»*. Отчасти об этом невежестве и проговаривается Хома Брут в разговоре с сотником, когда тот поручает ему читать Псалтирь над панночкой: «...Оно, конечно, всякий человек, вразумленный Святому Писанию, может по соразмерности... только сюда приличнее бы требовалось дьякона или, по крайней мере, дьяка. Они народ толковой и знают, как все это уже делается, а я...». Хотя в этих словах бурсака заключена известная доля лукавства (Хоме очень хочется избежать страшшего его поручения; на деле он способен хоть как-то — «по соразмерности» — читать по усопшей и даже знает наизусть некоторые молитвы), однако не в формальном «знании» заключается, по Гоголю, духовное образование человека — по своей лености и следующей отсюда духовной неразвитости герой все-таки остается «недорослем».

Подсказка о том, как бы следовало на самом деле вести себя Хоме Бруту, чтобы возрасти «в мужа совершенного, в мсру полного возраста Христова»²⁴⁰, — так, чтобы судьба его стала действительным «житием», содержится в самом начале повести. Здесь упоминаются известные из Священной истории женщины, чья злая воля стала причиной страдания и прославления святых и которые представляют собой как бы прямые прообразы панночки-ведьмы, встреча с которой привела к гибели бурсака Брута. Это Иродиада — незаконная жена иудейского царя Ирода Антипы, по проискам которой был казнен св. Иоанн Предтеча, обличивший ее преступный брак; и Пентефрия — жена египетского царедворца, пытавшаяся соблазнить св. Иосифа Прекрасного и затем его оклеветавшая. Однако до исповедания целомудрия св. Иоанна Крестителя или св. Иосифа Прекрасного семинарист Хома Брут подниматься не расположен. Напротив, он, в сравнении с целым сонмом святых подвижников, до крови стоявших за сохранение чистоты и целомудрия — преподобными Мартинианом (V в.), Моисеем Угриным (XI в.), Иоанном Многострадальным (XII в.), мученицей Фомандой Египетской (V в.), — способен сходить «к булочнице против самого страстного четверга».

Подвигом святых прямо противопоставляет Гоголь и стремление Хома Брута к сытости и покою, проявляющиеся в том, что, вопреки обычаю бурсаков ночевать среди дороги в поле, он восклицает: «Как же, не подкрепив себя ничем, растянуться и лечь так, как собаке?» Известно, и

* Подобные высказывания можно найти и в трудах церковных пастырей. «Ах, какие настали времена, — писал много позднее, в 1920-х гг., епископ Варнава (Беляев). — Наши предки, не учившиеся в университетах, хорошо разбирались в службах и церковных книгах, а мы, у которых голова пухнет от знаний, не знаем даже славянских цифр, да и читать-то правильно по-славянски не умеем» (Варнава (Беляев), епископ. Основы искусства святости. Т. 4. С. 203).

Хоме Бруту как воспитаннику Духовной академии более других, что именно спание на голой земле, заслужившее столь неодобрительный его отзыв, является одним из видов монашеской аскезы, помогающей подвижнику преодолевать находящиеся искушения. (Об этом виде монашеской аскезы Гоголь, как указывалось, размышлял ранее, создавая повесть «Страшная месть».) Замечено, что именно с «преступления» бурсацкого обычая «ночевать в поле» и начинается история грехопления героя²⁴¹. Стремление же семинариста-«философа» «во что бы то ни стало, а добыть ночлега» Гоголь изображает как одно из проявлений господствующей в нем склонности к сытой идиллии. Призванный к духовной брани — и попавший уже в имение сотника, герой размышляет: «Вот тут бы жить, ловить рыбу в Днепре <...> охотиться <...> Фруктов <...> засушить <...> или, еще лучше, выкурить из них водку...». Уютом «Староветских помещиков» отзывается и пребывание Хома Брута в Киеве у «какой-то молодой вдовы», где «и <...> перечеть нельзя, что у него было за столом, накрытым в маленьком глиняном домике среди вишневого сада».

Черты «жития» снова ярко проступают в главных эпизодах повести — сценах устрашающего явления Хому Бруту нечистой силы. Примеры таких явлений многочисленны в житийной литературе. Так, в житии преподобного Петра Афонского (VIII в.) рассказывается, как диавол, желая устроить подвижника, явился к нему в пещеру со множеством бесов, обратившихся в зверей и гадов: «Тогда открылось нечто страшное и ужасное: одни из зверей ползали у ног святого, другие свистели ужасным голосом, а некоторые, раскрывши пасти, устремлялись на святого, как бы хотели поглотить его живым»²⁴², — «и бе страшное и грозное отвсюду зрение»²⁴³. Поведение же при этом гоголевского героя прямо противоположно тому, как ведет себя святой: «Преподобный, оградив себя крестным знаменем и призвав имя Христа Бога и Пречистой Богоматери, уничтожил их силу и далеко отогнал их от себя, торжествуя и веселясь о Боге, своем Спасителе»²⁴⁴. Хома же, лишенный дерзновения неисполнением едва ли не всех заповедей, лишенный покрова Божия, обличаемый совестью, не может поэтому ощутить «радости спасения» и, терзаемый страхом, приходит в уныние и отчаяние. С этим унынием он пытается бороться уже знакомыми нам по «Тарасу Бульбе» средствами, прибегая к различным мирским утехам и развлечениям — стремясь забыться в вине, в пляске, в играх... Гибель его, как объясняет в эпилоге повести «богослов» Халаява, — «оттого, что побоялся». А страх — прямое возмездие за проведенную вне путей Господних жизнь. В 1846 году в статье «Страхи и ужасы России» Гоголь писал: «Вспомните *Египетские тьмы*, которые с такой силой передал царь Соломон, когда Господь, желая наказать одних, наслал на них неведомые, непонятные страхи»²⁴⁵ <...> со всех сторон уставились на них ужасающие образы; дряхлые страшилища с печальными лицами стали

неотразимо в глазах их; без железных цепей сковала их всех боязнь <...> И произошло это только в тех, которых наказал Господь».

* * *

Опираясь в своем повествовании на житийную традицию и изображая различие в поведении Хомя Брута с жизнью святых, Гоголь избирает в свои герои отнюдь не «злодея» и не «разбойника», но человека обыкновенного, среднего, «пошлого». И говорит он в своем «житии грешника» не столько о наличии в его герое зла, сколько об отсутствии добродетели — принцип, который писатель разовьет позднее в своей знаменитой галерее «мертвых душ». Этот же принцип изображения отсутствия в человеке должного содержания — «мерзости запустения на месте святе» — Гоголь использует и в заключительной повести «Миргорода» — «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».

Главный герой повести, Иван Иванович, по его «деликатности в поступках» и «благопристойности» представляет собой как бы будущего помещика Манилова в первом томе «Мертвых душ». Однако «бездною тонкости» в «познании света» все благочестие героя и ограничивается. Свое замечание об образцовом исполнении Иваном Ивановичем «долга христианского» рассказчик сопровождает тут же — не без глубокой иронии — упоминанием о детях ключницы Гапки — здоровой девки, «с свежими икрами и щеками». «А какой богомольный человек Иван Иванович!» — восклицает далее рассказчик. Эта «богомольность» героя тот же и «доказывается» разговором его с нищей: «Чего же ты стоишь? ведь я тебя не бью!» Речь, очевидно, опять идет о неисполнении героем, бывшим семинаристом и «поповичем», заповедей, которые ему, «человеку ученому», должны бы быть хорошо известны: «Если брат и сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им: “идите с миром, грейтесь и питайтесь”, но не даст им потребного для тела: что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе»²⁴⁶. Этой чертой Ивана Ивановича Гоголь как бы сравнивает его с другими своими героями. Так, например, на любовь к нищим старосветской помещицы Пульхерии Ивановны указывает, очевидно, то «множество народа всякого звания», что, по замечанию рассказчика, собралось на ее похоронах. Об упомянутых вероятных прототипах гоголевских героев — миргородских старичках Бровковых — С. В. Скалон, в частности, вспоминала: «Они жили положительно только для добра. <...> Никто в городе не запомнит таких трогательных похорон, какие были устроены старушке-покойнице <...> Дом и двор их до того были наполнены плачущими и благодетельствованными ею людьми, что стороннему человеку трудно было добраться до ее гроба»²⁴⁷. В «Размышлениях о Божественной Ли-

тургии» Гоголь писал: «...Задолжали мы Самому Творцу в лице братьев наших, Который ежедневно и ежеминутно в образе их протягивает нам руку Свою, надрывающим всю душу воплем умоляя о милости и милосердии». Сам Гоголь с детства был воспитан так, что, по свидетельству его дядьки Симона, жившего при нем в Нежине, готов был даже отказаться от лакомств (до которых был «большой охотник»), чтобы помочь бедному. Как писала мать Гоголя Мария Ивановна 23 ноября 1830 года к своему родственнику А. А. Трошинскому, старик Симон «по секрету» рассказывал ей, как деньги, присылаемые ею сыну по праздникам на конфеты, юный Гоголь часто, «когда не успеет еще купить и встретится ему бедный», раздавал нищим. «...Так и старается, — сообщал наблюдательный дядька, — как бы увильнуть от меня и отдать ему свои деньги, думая, что я не видал <...> Не давайте ему денег; пропадут ни за что»²⁴⁸.

Несомненно, как бы говорит Гоголь в своей повести, и в покойной идиллии Миргорода есть место для подвигов, есть где, подобно Тарасу Бульбе или Остапу, «положить душу свою за друзей своих». «Любовь познали мы в том, — говорит св. апостол Иоанн Богослов, — что Он положил за нас душу Свою: и мы должны полагать души свои за братьев. А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, — как пребывает в том любовь Божия? Дети мои! станем любить не словом или языком, но делом и истиною»²⁴⁹.

Прямое сравнение с аскетическими подвигами святых представляет заключительная характеристика героев повести о соре в первой главе. После рассказа о сибаритском времяпровождении Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича здесь сообщается, что как тот, так и другой «очень не любят блох; и оттого <...> никак не пропустят жида с товарами, чтобы не купить у него элексира в разных баночках против этих насекомых...». В этом Иван Иванович и Иван Никифорович весьма напоминают Хому Брута, столь же неприязненно относящегося к спанию на голой земле. Вполне вероятно, что самой этой общностью в отношении к двум видам монашеской аскезы герои как творческие создания Гоголя «обязаны» одному источнику. В «Лестнице» преподобного Иоанна Синайского (VI в.), с которой, как уже отмечалось, Гоголь был знаком с юношеских лет, оба подвига, которых избегают его герои, упоминаются в непосредственной связи друг с другом. Рассказывая о подвигах подвижников в обители кающихся, преподобный Иоанн Лествичник восклицает: «Где там было приготовление постели? Где одежды чистые и крепкие? У всех одеяние было разорванное, смердящее и скнипами покровенное» (слово 5-е, гл. 19)²⁵⁰. («Скнипы, мошки, блохи» — гоголевский «объяснительный словарь» русского языка.) 6 декабря 1849 года, в письме к А. О. Смирновой, Гоголь, говоря о различных мелких искушениях, выпадающих на долю человека, — в частности, о слетнях, от которых «и бесстрашный лев»

может «взречь», — замечал: «Лев ревет оттого, что он животное, а если бы он мог соображать, как человек, что от комаров, блох и прочего не умирают, что с наступленьем холодов все это сгинет, что кусанья эти, может быть, и нужны, как отнимающие лишнюю кровь, то, может, и у него достало бы великодушия все это перенести терпеливо». Избегая подвига терпения с помощью «элексира», — но не забывая при этом демонстрировать на словах свое «православие»: браня еврея-торговца «за то, что он исповедует еврейскую веру», Иван Иванович с Иваном Никифоровичем обнаруживают столько же «благочестия», сколько запорожцы в «Тарасе Бульбе», что одновременно и пьянствуют в шинях торговцев-евреев («...не жалеи, Фома, горелки православным христианам!») и бросают этих торговцев в Днепр; или, как отмечалось, столько же «доблести», сколько офицеры П*** пехотного полка в «Иване Федоровиче Шпоньке...», «большая часть» которых «пила выморозки и умела таскать жидов за пейсики не хуже гусаров». Отвергая на словах самую возможность объединения торгового и рыцарского союзов («Как? чтобы запорожцы были с вами братья?» — восклицают с негодованием казаки, отвечая на реплику Янкеля в четвертой главе), запорожцы по сути пребывают со своими идейными противниками в реальном греховном общении и единстве. Так все эти герои исповедуют на деле именно ту «веру» и образ жизни, от которых они внешним образом вроде бы отрекаются.

Имеет отношение к житиям подвижников и главное «происшествие» гоголевской повести — ссора Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем. По замечанию В. М. Гуминского, сюжет «Повести...» перекликается с рассказом Киево-Печерского патерика «О двух, враждовавших между собой братьях, Тите-священнике и Евагрии-диаконе»²⁵¹. Тит и Евагрий, подобно гоголевским героям, тоже имели ранее между собой дружбу, которая вызывала у других удивление, а затем рассорились, так что «не хотел один другого в лицо видеть». Попытки братии их примирить ни к чему не привели. В конце концов за возникшее у преподобного Тита перед смертью желание примирения он был исцелен от болезни, тогда как оставшийся нераскаянным Евагрий внезапно был поражен смертью.

Очевидно, что повествование о ссоре, о брани, разрушающей тихую идиллию миргородской жизни, представляет собой новый рассказ о недолжном поведении человека, о нарушении христианских заповедей: «И то уже весьма унижительно для вас, — говорит св. апостол Павел, — что вы имеете тяжбы между собою. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? для чего бы вам лучше не терпеть лишения?»²⁵². «Итак облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благодать, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу: как Христос простил вас, так и вы»²⁵³. Мысль эта подчеркнута Гоголем тем, что герои

продолжают враждовать и в самой церкви. Из жалобы Ивана Ивановича на своего соседа явствует к тому же, что это церковь Трех Святителей — Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста, устранивших распрю о них среди православных христиан в Константинополе в XI веке. Здесь-то автор и напоминает читателю о погребенном преступлении заповедей, тиранством мелких страстей, «должном» облике человека — о заключенном в нем образе и подобии Божиим: «В это время лампада вспыхнула живее перед иконою*, и свет прямо ударил в лицо моего соседа. <...> Это был сам Иван Никифорович! Но как он изменился!». «Высвеченный» иконой искаженный «образ» Ивана Никифоровича — свидетельство искажения всей его жизни, указание на пропасть, отделяющую его от «тех истинно верных, которые,— по замечанию Гоголя,— присутствовали при Литургии в первые веки христиан,— которых лики глядят теперь на него с иконостаса» («Размышления о Божественной Литургии»). И желание рассказчика окунуться на миг в тихую идиллию старосветской жизни — «Боже, сколько воспоминаний! я двенадцать лет не видал Миргорода. Здесь жили тогда в трогательной дружбе два единственные человека, два единственные друга»,— обрывается томительным: «Скучно на этом свете, господа!».

* * *

«У меня болит сердце, когда я вижу, как заблуждаются люди,— писал Гоголь матери 2 октября 1833 года.— Толкуют о добродетели, о Боге, и между тем не делают ничего». Слова эти можно было бы поставить эпиграфом к гоголевскому циклу, и даже ко всему гоголевскому творчеству, если бы среди повестей «Миргорода» не было «Тараса Бульбы». В одном из «Четырех писем к разным лицам по поводу “Мертвых душ”» в «Переписке с друзьями» Гоголь замечал: «Обо мне много толковали <...> но главного существа моего не определили. Его слышал один только Пушкин. Он мне говорил всегда, что еще ни у одного писателя не было этого дара выставлять так ярко пошлость жизни, уметь очертить в такой силе пошлость пошлого человека <...> Вот мое главное свойство...». Однако С. П. Шевырев в рецензии на гоголевскую книгу не без оснований замечал: «...Мы взвесим слово: *главное свойство* и остережемся от того, чтобы признать это свойство в Гоголе исключительным. <...> Малороссийский период его произведений доказал, что он способен к изображению высокой и прекрасной стороны жизни...»²⁵⁴. Несомненно, С. П. Шевырев

* «Посредством же зажигаемых светильников <изображается> присущее святым непрестанное озарение от Духа» (Труды Блаженного Симеона, Архиепископа Фессалоникийского. М., 1916. С. 329).

имел в виду «Тараса Бульбу». Еще в 1842 году он писал о первом томе «Мертвых душ»: «Талант Гоголя был бы весьма односторонен, если бы ограничивался одним комическим юмором, если бы обнимал только одну низкую сферу действительной жизни <...> Вспомним, что одно и то же перо изобразило нам ссору Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем, старосветских помещиков и Тараса Бульбу*. Художественный талант Гоголя совершил такие замечательные переходы, когда жил и действовал в сфере своей родной Малороссии. По всем данным и по всем вероятностям должно предполагать, что те же самые переходы совершит он и в новой огромной сфере своей деятельности, в жизни русской <...> Если «Ревизор» и первая часть «Мертвых душ» соответствуют Шпоньке и знаменитой ссоре двух малороссов, то мы вправе ожидать еще высоких созданий в роде «Тараса Бульбы», взятых уже из русского мира»²⁵⁵. Эти строки Шевырева вызвали два непосредственных отклика Гоголя. В письме к Шевыреву от 12 ноября н. ст. 1842 года он писал: «Замечание твое о неполноте комического взгляда, берущего только в пол-обхвата предмет, могло быть сделано только глубоким критиком-созерцателем <...> Я много освежился душой по прочтении твоих статей и ощутил в себе прибавившуюся силу». В другом письме к критику, от 2 марта н. ст. 1843 года, Гоголь отзывался еще более восторженно: «...Какую глубокую радость слышала душа моя, когда мимо слов моих, мимо меня самого, узнавали меня глубиною чувств своих... <...> Следы этого везде слышны во 2-й статье твоего разбора Мертвых душ, который я уже прочел несколько раз». Из этих признаний явствует, что пафос последующих томов «Мертвых душ» во многом должен был сходствовать с пафосом «Тараса Бульбы». Примечательно, что одной из главных идей свособразного публицистического эквивалента второго тома «Мертвых душ» книги «Выбранные места из переписки с друзьями» является именно мысль о построении России на началах «небесного братства», о которых размышлял ранее писатель в «Тарасе Бульбе». Дошедший же до нас отрывок заключительной главы второго тома поэмы завершается прямым призывом к современникам о спасении Русской земли: «Дело в том, что пришло нам спасать нашу землю; что гибнет уже земля наша не от нашествия двадцати иноплеменных языков, а от нас самих...». Эту мысль Гоголь пояснял в статье о русской поэзии «Переписки с друзьями»: «Другие дела наступают для поэзии. Как во времена младенчества народов служила

* Примечательно, что Шевырев перечисляет здесь повести «Миргорода» не по их расположению в сборнике, а по времени создания, что и оказывается соответствующим замыслу первого и второго томов «Мертвых душ». Вероятно, совершившийся в период работы над «Миргородом» переход от «отрицания» к «утверждению» и давал Гоголю уверенность в возможности подобного же завершения своей поэмы.

она к тому, чтобы вызывать на битву народы, возбуждая в них бранно-любивый дух, так придется ей теперь вызвать на другую, высшую битву чело века — на битву уже не за временную нашу свободу, права и привилегии наши, но за нашу душу...».

Можно сказать, что этот завет сам Гоголь осуществил в своем творчестве. Но если для всех четырех повестей «Миргорода» идея спасения души является основополагающей, то наиболее глубокое воплощение она получила именно в «Тарасе Бульбе». Следует иметь в виду особый характер гоголевского историзма, на что неоднократно указывал сам писатель. «У меня не было влечения к прошедшему,— признавался он в «Авторской исповеди». — Предмет мой была современность в ее нынешнем быту...». «Прошедшее же и отдаленное возлюбляется по мере его надобности в настоящем», — пояснял Гоголь свою мысль в письме к Н. М. Языкову от 2 января н. ст. 1845 года. О внимательном читателе — «наблюдательном современнике, ищущем в былом, прошедшем живых уроков для настоящего», упоминал он и в «Учебной книге словесности для русского юношества». Стремлением писателя подчеркнуть прообразовательный, актуальный для современников замысел «Тараса Бульбы», заключающего в себе размышления о судьбах всей России в ее настоящем и будущем, во многом и было обусловлено создание второй редакции повести*. Учитывая, таким образом, художнические устремления писателя последних лет его жизни и имея в виду неудачу со вторым томом «Мертвых душ», можно с уверенностью заключить, что казачья эпопея Гоголя по ее глубокому религиозному замыслу, по решению проблемы положительного героя является подлинной вершиной его художественного творчества.

* * *

Тесная связь исторической прозы Гоголя с современностью, наличие двух редакций повести и «вершинность» «Тараса Бульбы» в гоголевском наследии заставляют обратить особенное внимание на историю восприятия этого произведения в критике и читательской среде. Поскольку именно «Тарас Бульба» проливает свет на последующие творческие ис-

* В частности, замечено, что называемое во второй редакции «Тараса Бульбы» число казачьих куреней на Сечи — «шестьдесят с лишком», или 64, вместо реального (и хорошо известного писателю по источникам) 38 — призвано указывать на число российских губерний во времена Гоголя; петровское же разделение России на губернии прямо соотносится с образованием казачьих куреней (см. коммент. в изд.: *Гоголь Н. В. Собр. соч.*: В 9 т. Т. 2. С. 453—454).

кания Гоголя и дает возможность проникнуть в самую суть его сокровенных чаяний, то закономерно, что и восприятие этой повести позволяет основательно судить о способности читателя или исследователя верно оценивать наследие Гоголя в целом.

Отношение к «Тарасу Бульбе» — этому уникальному созданию не только в русской, но и в мировой литературе — всегда определялось не только собственно художественными достоинствами повести, но и религиозными, национальными и другими общественно-политическими взглядами самих критиков.

С самого начала читателями был почувствован особый, исключительный характер «Тараса Бульбы». Критики С. П. Шевырев, М. П. Погодин, О. И. Сенковский, В. Г. Белинский, П. И. Юркевич и др. были единодушны в оценке «Тараса Бульбы» как лучшей из повестей «Миргорода». Но наряду с восторженными похвалами почти одновременно началась скрытая борьба с религиозным содержанием гоголевской повести. Первым открыл эту борьбу тот же Белинский, назвавший в 1835 году «Тараса Бульбу» (вслед за отзывами предшествующей критики) «высочайшим образцом» современной «гомерической эпопеи»²⁵⁶. Надо сказать, ничего неожиданного в этих метаморфозах Белинского не было. Полупротестантское, полуатеистическое миросозерцание критика не позволяло ему осмыслить основы гоголевского художественного мира. В 1840 году Белинский, вопреки замыслу Гоголя показать в «Тарасе Бульбе» общину людей, нашедших свое призвание в исполнении заповеди Спасителя о любви к братьям (представив также и то, что мешает исполнению этой заповеди), заявлял, что «основная идея поэмы Гоголя» заключается в изображении «почти полудикарей», занятых «кровавой сечей» и «бешеной гульбой»²⁵⁷. (Впоследствии эту мысль на разные лады будут повторять все те, кому содержание гоголевской повести пришлось так или иначе не по вкусу.)

В 1846 году у гоголевской повести появляется еще один недоброжелатель, малороссийский писатель П. А. Кулиш — тесно связанный с польскими националистическими кругами украинский сепаратист и сторонник унитарства. Публикация в том же, 1846 году «Повести об украинском народе» Кулиша привлекла даже внимание Императора Николая I и вызвала расследование. Добавим, что Кулиш явился и первым биографом Гоголя — причем таким, что о доверенных ему родными писателя обширных материалах — сборниках выписок Гоголя религиозного содержания — не счел нужным даже упомянуть в составленной им биографии писателя, — и хотя издал в 1857 году в своей типографии гоголевские «Размышления о Божественной Литургии», однако участия в подготовке текста книги не принимал, а воспользовался для этого списком С. П. Шевырева²⁵⁸.

Вслед за польским критиком М. А. Грабовским, Кулиш заявлял о якобы исторической недостоверности «Тараса Бульбы»*. Гем самым был выдвинут еще один «аргумент», который неизменно будут использовать недоброжелатели Гоголя, — старающиеся попросту «не замечать» той аргументированной критики, которой были подвергнуты в свое время взгляды Кулиша — и как историка, и как критика «Тараса Бульбы» — в трудах многочисленных авторитетных исследователей: М. А. Максимовича, А. С. Хомякова, Ю. Ф. Самарина, Н. И. Костомарова, Н. И. Петрова, Н. П. Дашкевича, Г. Ф. Карпова, А. Н. Пыпина, В. Н. Перетца, И. Я. Франко и др.²⁵⁹

Наибольшую известность у широкого круга читателей повесть Гоголя получила в эпоху царствования Александра III. В эти годы повесть стала одним из главных произведений в репертуаре постоянных народных чтений, утвержденном Императором. В 1883 году Постоянной комиссией этих чтений была издана специальная брошюра «Тарас Бульба», неоднократно переиздававшаяся (4-е изд. 1901). В Москве народные чтения, устроенные в читальне Политехнического музея, включали в себя духовную беседу архимандрита Заиконоспасского монастыря Иосифа (Петровых) (впоследствии митрополита Ленинградского; расстрелян в 1937-м) и чтение артистом Малого театра Ф. П. Горевым брошюры «Тарас Бульба». Желавших присутствовать на чтениях (более тысячи человек) было вдвое больше, чем могла вместить аудитория²⁶⁰. Публичные чтения «Тараса Бульбы» регулярно устраивались в 1880-х — 1890-х годах в Петербурге, Орле, Брянске, Кишиневе и других городах. В это время появились и первые издания «Тараса Бульбы» для школьного изучения, были

* Вражда Кулиша против гоголевской повести растянулась на целые полвека. О «недостоверности» «Тараса Бульбы» Кулиш писал и в 1857 году в эпилоге своего романа «Черная рада» (а также в примечаниях к изданному им тогда собранию сочинений Гоголя), и в 1877 году в «Материалах для истории воссоединения Руси» (т. I, с. VII—VIII). В 1887-м, Кулиш, повторяя — в который раз — положения статьи М. А. Грабовского о «Тарасе Бульбе», заявлял, что Гоголь, «предшествуя нам на безлюдном поприще исторической критики, принимал на веру все, что терпела бумага в темных монашеских кельях <...> Козацкий потомок был преисполнен веры в то, что существовало только в воображении фанатиков, да в сердце беспощадных обманщиков массы». К «фанатикам» и «обманщикам массы» Кулиш — предвосхищая соответствующие «положения» марксистской критики — относил вслед за Грабовским «невежественных архиереев малорусских», ревнителей Православия «в Печерском монастыре», а об украинском народе в целом замечал, что по своему культурному развитию он якобы стоял «ниже „поганых“ татар» (Кулиш П. А. — Шенроку В. И. 16 января 1887 г. Хутор Мотроновка // ЦНБ. Ф. Гоголиана. № 336. Л. 3—7, 16; опубл.: Крутикова Н. Е. Н. В. Гоголь. Киев, 1992. С. 278—279, 282).

изданы соответствующие учебные пособия, поставлено несколько театральных инсценировок «Тараса Бульбы», опубликован ряд литературных подражаний гоголевской повести и целая серия ее лубочных переделок.

Характерный эпизод по поводу публичных чтений «Тараса Бульбы» произошел 4 декабря 1894 года на заседании Брянского отделения Орловского комитета народных чтений. Здесь, несмотря на представление председателя отделения П. Н. Тиханова о недопустимости обсуждения Высочайше утвержденной программы чтений, на одном из заседаний несколькими членами-евреями был поставлен вопрос об исключении «Тараса Бульбы» из чтений. Инцидент закончился тем, что большинством голосов брошюра была оставлена в программе, а несколько членов вышли из состава комитета²⁶¹.

В следующем, 1895 году достоверность содержания «Тараса Бульбы» с позиций «исторической критики» была еще раз подвергнута сомнению П. А. Кулишом. Не упоминая прямо о «Тарасе Бульбе», Кулиш поставил под сомнение сообщаемый в четвертой главе повести факт аренды евреями церквей на Украине («церкви святые... у жидов... на аренде»)²⁶². Изучение истории этого вопроса, вызвавшего продолжительную полемику (отзвуки ее можно встретить и в современной литературе), показывает, что сведения об аренде церквей евреями на Украине Гоголь почерпнул из источников, имевших в его время хождение в рукописях: «Истории Русов», казацких летописей, а также из украинских дум. В старейшей казацкой летописи Г. Грабянки, занимающей первое место после документальных источников по истории Украины по близости к описываемым событиями (она написана около 1710 года), об угнетении панами украинского народа и унижения православной веры говорится: «Таже церкви Божия жидом запродаяху, и за дозволением жидовским крещаху младенцы, и всякие обряды церковные благочестивых поддаяху жидом в аренду»²⁶³. В 1845 году был опубликован и современный изображаемой Гоголем эпохе документ — арендный лист пана Якова Лысаковского пану Миклашевскому и еврею Песаху на имение Слуш Черборский, «с церквами и подаваньем их», с крестьянами и правом казнить крестьян смертью, 1596 года²⁶⁴. В 1856 году Н. И. Костомаров указал также на три польских источника современных эпохе Богдана Хмельницкого, свидетельствующих об аренде евреями церквей на Украине²⁶⁵. Многочисленные документы свидетельствуют также об аренде евреями целых имений — городов, сел, местечек — в конце XVI—XVII веках, с правом суда над крестьянами вплоть до смертной казни²⁶⁶. (Как указывал И. М. Каманин, при отдаче в аренду имущества владельцем и церковь переходила в арендное владение, так как по польскому праву церкви считались собственностью владельца²⁶⁷.) О том, что православный народ на Украине «обратился в крепостных слуг поляков и даже — особо скажем — у евре-

ев», которые «стали там повсеместно управляющими и хозяевами», арендуя у панов целые города (что и явилось впоследствии «причиною страшного бедствия» — массового избиения евреев в эпоху Богдана Хмельницкого), свидетельствует и еврейский хронист XVII века Н. Ганновер, сочинение которого «Пучина бездонная», было издано впервые в Венеции в 1653 году²⁶⁸. Таким образом, вновь обнаружилась предвзятость и некомпетентность П. А. Кулиша в отношении к историческому содержанию «Тараса Бульбы». Характерно при этом, что в рассматриваемом вопросе к Кулишу не замедлили присоединиться еврейские публицисты М. И. Кулишер и И. В. Галант²⁶⁹, тогда как противоположное мнение Н. И. Костомарова на этот счет разделяли во второй половине XIX — начале XX века такие крупные историки, как В. Б. Антонович, М. П. Драгоманов, А. Я. Ефименко, Д. И. Эварницкий, С. М. Соловьев, Д. И. Иловайский и др.²⁷⁰

Вообще надо сказать, что за исключением, пожалуй, брошюры К. С. Хощянова, а также некоторых учебных пособий, религиозно-патриотический замысел «Тараса Бульбы» был оставлен в работах исследователей творчества Гоголя конца XIX — начала XX века либо совсем без внимания, либо истолкован превратно.

В прямо «неоязыческом» духе — и в духе ненависти к христианству — интерпретировал гоголевскую повесть в 1880—1890-х годах создатель известной картины «Запорожцы» художник И. Е. Репин. В письмах к В. В. Стасову он заявлял: «...Вы не чета Ге и даже Л. Толстому в их проповедях — ведь они рабство проповедают. Это *не сопротивление злу*. Да вообще все христианство — это рабство, это смиренное самоубийство всего, что есть лучшего <...> И вот выделились из этой забитой, серой, рутинной, покорной, темной среды христиан смелые головы, герои...»; «Недаром про них Гоголь писал <...> никто на всем свете не чувствовал так глубоко *свободы, равенства и братства*»²⁷¹.

С другой стороны, Л. Н. Толстой, вступая в 1888 году в полемику с последователями Белинского о значении «Выбранных мест из переписки с друзьями» (но соглашаясь в то же время с делением Гоголя на «раннего» и «позднего»), заявлял: «Всех учат тому, что Гоголь был велик, когда он писал свои повести, как «Тарас Бульба», в которой восхваляются военные подвиги — убийство, и когда писал «Ревизора», в котором осмеиваются все без исключения люди целого города <...> Гоголь же тот, который отрекается от своих ошибок и кается в них, того Гоголя мы не хотим знать и называем его сумасшедшим»²⁷².

Очевидно, однако, что усмотреть в изображении героического, жертвенного подвига запорожцев «воспевание» убийства можно лишь при полном расхождении с православным пониманием воинского долга. Несомненно и обращение создателя «Войны и мира» к словам Гоголя в

предисловии к «Выбранным местам...» о «бесполезности всего», доселе им напечатанного. В этих словах отнюдь не заключалось «отречение» Гоголя от своих произведений — в том смысле, как это подразумевал Толстой. Гоголь был огорчен малым воздействием его творений на современников в нравственном отношении, и потому считал написанное им не вполне удавшимся. «Намеренье мое было доброе,— замечал он в том же предисловии к «Переписке с друзьями»,— <...> одна моя поспешность и торопливость были причиной тому, что сочинения мои предстали в таком несовершенном виде и почти всех привели в заблуждение насчет их настоящего смысла». С. П. Шевырев в этой связи прямо указывал на готовившиеся Гоголем одновременно с «Перепиской с друзьями» переиздания «Ревизора» и первого тома «Мертвых душ»²⁷³. Сам Гоголь в 1847 году писал С. Т. Аксакову: «К чему вы также повторяете нелепости, которые вывели из моей книги недальнзоркие, что я отказываюсь в ней от званья писателя, переменяю призванье свое, направление и тому подобные пустяки?».

Во многом подобным отзыву о «Тарасе Бульбе» Л. Н. Толстого — по заведомой предвзятости — было суждение о гоголевской повести, высказанное в начале XX века одним из известных идеологов сионистского движения В. Е. Жаботинским. В. Е. Жаботинский — инициатор создания в годы Первой мировой войны в Британской армии еврейского легиона, в 1909 году обвинял едва ли не всех русских писателей в «антисемитизме» (в этой связи были упомянуты Гоголь, Пушкин, Некрасов, Тургенев, Достоевский, Чехов, Лесков и др.). Жаботинский утверждал, что Гоголь, «единственный из первоклассных художников мира», «воспел» «в полном смысле этого слова, всеми красками своей палитры, всеми звуками своей гаммы и со всем подъемом увлеченной своей души <...> еврейский погром»²⁷⁴. — Достаточно перечитать гоголевскую повесть, чтобы убедиться, что никакого «воспевания» погрома в ней нет.

В 1910 году новую попытку уличить писателя во «лжи» — или хотя бы в непреднамеренной «неправде» — предприняли издатели «Еврейской Энциклопедии». Эту задачу взял на себя А. Г. Горнфельд — один из ведущих литературоведов последующей, советской эпохи. В шестом томе «Еврейской Энциклопедии» Горнфельд писал о Гоголе: «Упоминания о евреях и еврейские образы, встречающиеся в его произведениях — главным образом, в «Тарасе Бульбе» и так называемых «Отрывках из неоконченной повести», — запечатлены заурядным юдофобством эпохи <...> Антисемитизм Гоголя не имеет ничего индивидуального, конкретного, не исходит из знакомства с современной действительностью: это — естественный отголосок традиционного теологического представления о неведомом мире еврейства...»²⁷⁵.

Как заметил украинский исследователь В. Я. Звизняцкий, такой же упрек в незнании «мира еврейства» издатели «Еврейской Энциклопедии» адресовали К. Марксу, для которого «иудейство было <...> синонимом быстро растущего капиталистического духа», но которого, однако, по мнению авторов энциклопедии, «было бы неправильно причислить <...> к антисемитам-изуверам...»²⁷⁶. Основанием для защиты Маркса от обвинений в «антисемитизме» служила авторам «Еврейской Энциклопедии» приверженность «вождя мирового пролетариата» к так называемым «общечеловеческим идеалам»; «юдофобство» же Гоголя не вызывало сомнений как следствие его религиозности («религиозного фанатизма»).

Конечно, следовало бы, согласно такой логике, назвать соответствующими «фобиями» и религиозную критику Гоголем в его произведениях поляков, немцев, французов, русских, украинцев... Но,— замечал в 1940-х годах Г. А. Гуковский,— «было бы грубой ошибкой полагать, что Гоголь прославляет украинцев за то, что они украинцы, и порицает поляков за то, что они — поляки»²⁷⁷. «Сатира Гоголя,— писал позднее по поводу образа Янкеля швейцарский исследователь Л. Амберг,— обращена принципиально не против определенного народа; объект насмешки — не представители чужих национальностей как таковые, но исключительно человеческие пороки и страсти»²⁷⁸.

В то же время несомненно, что в решении «национального вопроса» Гоголь исходил из святоотеческого представления о существовании на земле народов «низших в делании добродетели»²⁷⁹. «Состояние нравственности и дух» отдельной нации (или сословия) Гоголь рассматривал как «результат всего быта», свойственного им в целом (записная книжка Гоголя 1846—1851 годов). «Можно с уверенностью сказать,— указывал в прошлом веке И. Экземплярский,— что народы христианские снисходительнее и мирнее язычников и магометан; и между христианскими народами те отличаются большим душевным спокойствием, уступчивым и миролюбивым характером, которые более преданы вере и Церкви»²⁸⁰.

Вполне несостоятельны и обвинения А. Г. Горнфельда в адрес Гоголя в «незнании» им «мира еврейства». Типы евреев-торговцев Гоголь наблюдал на родине в Малороссии (упоминания о «жидах»-торговцах, собиравшихся на ярмарку в Васильевку, встречаются в письмах матери Гоголя²⁸¹). В создании этих образов отразились также впечатления Гоголя от общения с банкирами в Петербурге и за границей («...деньги <...> еще со времен Иуды знают своего господина...»,— лодытожил Гоголь опыт этого общения в письме к В. А. Жуковскому от 8 января н. ст. 1844 года). Определенный материал к созданию образа Янкеля Гоголь почерпнул и из рассказов своего петербургского приятеля С. Д. Шаржинского, который служил до знакомства с Гоголем в таможне и любил впоследствии представлять слушателям комические сценки из жизни евреев²⁸². Как

вспоминал школьный приятель Гоголя художник А. Н. Мокрицкий, «их шахер-махеры, пронырливый характер, костюм, походка и движения доставляли неистощимую пищу юмору Шаржинского»²⁸³. — Напомним при этом строки восьмой главы первой редакции «Тараса Бульбы», повествующие о «таможенных чиновниках и объездчиках, этой страшной грозы [евр<еев>] [жидов] предприимчивых людей».

В конце 1830-х — начале 1840-х годов Гоголь вместе с художником А. А. Ивановым наблюдал жизнь евреев в римском гетто — эти впечатления в свою очередь нашли отражение в одном из произведений Гоголя — в повести «Рим»: «...Джякомо заложил в Гету жидам все свое платье, а мастер Петруччо тоже заложил свое платье в Гету жидам...». Использовал Гоголь и литературные источники. В частности, образ Янкеля — в то время, как тот развернул свою деятельность в Умани, — непосредственно восходит к «народной повести» Ф. Н. Глинки «Лука да Марья» (1818): «...Не гадали добрые люди и не думали, вдруг приехал из Польши некрещеный жид Янкель <...> Напрасно приходской поп, отец Поликарп, говорил поселянам и наказывал: “Эй, миряне, миряне! Не ходите к жиду некрещеному, не губите в вине православных душ”. Крестьяне липли к кабаку, как мухи к сметане <...> Год прошел, кажись, немного, а село Хлебородово уж обесхлебело, а ухлебился один целовальник жид!»²⁸⁴

Богатый материал к познанию «мира еврейства» дали и занятия историей. В этом отношении примечательна одна из заметок Гоголя, сделанная в первой половине 1830-х годов при чтении «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина, содержание которой прямо отразилось в комедии «Ревизор». Выписка Гоголя о киевском князе Святополке Изяславиче — «...в управлении внутреннем корыстолюбив, завел жидов» — вполне поясняет в комедии образ уездного городничего в его отношениях с кулцами, — которых он называет за корыстолюбие и плутовство «иудейским народом».

На реализм в изображении Гоголем еврейских типов в «Тарасе Бульбе» указывали и некоторые дореволюционные исследователи. Б. А. Майков, например, в 1909 году, отмечая реалистический характер описания в «Тарасе Бульбе» еврейского квартала в Варшаве, писал: «Все это изображено Гоголем с такою правдивостью, что читателю кажется, будто он перенесся сам в жидовский квартал Варшавы, который в настоящее время мало чем отличается от того, каким был несколько столетий раньше <...> те же костюмы и нравы царят в нем теперь, что и раньше»²⁸⁵. — Интересно, что в Варшаве Гоголь впервые побывал, осмотрев «все» ее «примечательные окрестности», только в 1840 году²⁸⁶ — однако описание Жидовской улицы Варшавы осталось во второй редакции «Тараса Бульбы» без изменений.

Примечательны в этой связи и воспоминания польского критика П. П. Дубровского о задуманной в 1848 году русским композитором М. И. Глинкой программной симфонии «Тарас Бульба». «...Украинской симфонии,— писал П. П. Дубровский,— покойный Михаил Иванович хотел дать название “Тарас Бульба”, основываясь на повести Гоголя. Он давно задумал ее и еще в Варшаве импровизировал мне некоторые ее части, мечтая то об украинской степи, где вьется ковыль, то о Запорожской Сечи; и тут же представлял себе жида из повести Гоголя, передавая смелыми и оригинальными звуками характер жидовской музыки, которую он всегда преследовал беспощадным юмором; он не мог равнодушно слышать некоторых новейших произведений, напомилавших ему, как он сам выражается, *синагогу*»²⁸⁷.

Но, пожалуй, красноречивее всего о глубокой художественной правде изображения в «Тарасе Бульбе» «мира еврейства» свидетельствует рассказ однокашника Гоголя К. М. Базили о подвиге Константинопольского патриарха Григория V, пострадавшего от турок-мусульман в день Святой Пасхи 1821 года. Обращение к очеркам школьного товарища Гоголя еще раз убеждает, что все то, о чем рассказывал Гоголю Базили в Нежине, вспоминая о событиях константинопольской резни, оказало самое глубокое впечатление на будущего творца «Тараса Бульбы».

Вот как, в частности, описывал Базили в «Очерках Константинополя» казнь греческого патриарха: «Через архитрав ворот патриаршего двора была перекинута веревка; несколько константинопольских евреев, искавших случая выказать свою ненависть к христианам, содействовали палачу в его приготвлениях; как будто для того, чтобы эта картина могла разительные напомнить первого небесного мученика небесной Веры; христиане стояли поодаль, и на их лицах вы бы увидели оцепенение страха и печаль, которая не смела выразиться ни вздохом, ни слезою <...> Через минуту палач, проворно как зверь, соскочил с подмосток, сбил их, и мученик висел на воздухе. Христиане, проходя мимо, вполголоса шептали молитвы, и боялись поднять взоры, а евреи ругались над ними <...> Когда палач пришел спустить тело патриарха с виселицы <...> к палачу явилась депутация от стамбульских жидов и за восемьсот пиастров купила тело патриарха. Нельзя себе вообразить ничего ужаснее и отвратительнее зрелища, представленного во весь этот день, во всех улицах, где жили христиане. Грязные, зловонные, изорванные жида налетели как саранча из своего квартала в Фанари к патриаршей церкви, в их лицах изображалось все свирепство, природное малодушному их племени, вся злоба ничтожного врага, торжествующего вашим бедствием, могущего безнаказанно вылить всю ненависть, напитанную долговременным унижением. Они связали труп мученика за ноги и с восклицаниями дикой радости, с ругательствами, с проклятиями на весь род христиан влачили его по улицам и кругом христианских церквей. Я никогда не видал такого

неистовства, такой игры самых гнусных страстей, такой шумной оргии зверской радости и фанатической мести, как в этой толпе многих тысяч израильтян, которые ругались над всем народом омерзительною своею прощесиею. За то их единоверцы дорого расплатились во всех местах, где встречались потом с греками. В Одессе, куда большею частию спасались константинопольские греки, нужна была вся бдительность полиции, чтобы унять беспорядки и предупредить кровопролитие; даже в следующие годы в Светлое Христово Воскресение полиция нашлась в необходимости предписать жидам, чтобы они во все продолжение праздника, живее напоминавшего простому народу ужасы Константинополя, не смели выходить из своих домов, ни открывать свои лавки, ни даже показываться у окон. В Греции, во все продолжение народной войны, с большим ожесточением преследовали евреев, нежели турок»²⁸⁸.

Вот так «неведомый», по определению автора «Еврейской энциклопедии» А. Г. Горнфельда, «мир еврейства» явил себя всему миру — и, в частности, юному Гоголю, в годы его обучения в Нежинской гимназии высших наук.

Атмосфера, сложившаяся в России после 1917 года, еще менее способствовала плодотворному осмыслению религиозно-патриотического содержания повести. В эпоху, когда Православие, православный монархизм и традиционная духовная культура русского народа подвергалась прямому уничтожению, соответствующему идеологическому «разоблачению» подверглась и принадлежащая к этой культуре — наиболее явственно из всех других художественных произведений Гоголя — повесть «Тарас Бульба». Итогом усилий по «развенчанию» гоголевской повести стало то, что с захватом власти большевиками «Тарас Бульба» был надолго выброшен из школьной программы и, соответственно, из школьных учебников.

Наиболее отчетливо отрицательное отношение марксистской критики к «Тарасу Бульбе» сформулировал еще в 1909 году А. М. Горький в лекциях по истории русской литературы, прочитанных им на Капри. Причисляя гоголевскую повесть к произведениям, написанным «приподнятым и крикливым языком», Горький противопоставлял ее «Ревизору» и «Мертвым душам»: «...Они наши, ибо они здоровы, правдивы, революционны, а все, что сделано Гоголем, кроме “Мертвых душ” и “Ревизора” <...> выдуманное, болезненное, гнилое»²⁸⁹. Позднее, в полемике с С. М. Буденным по поводу «Конармии» И. Э. Бабеля, Горький заявлял: «Товарищ Буденный охаял “Конармию” Бабеля, — мне кажется, что это сделано напрасно <...> Бабель украсил бойцов <...> лучше, правдивее, чем Гоголь запорожцев»²⁹⁰.

Однако «разоблаченный» за якобы историческую «недоверность» «Тарас Бульба» после победы «мирового пролетариата» все-таки понадобился «строителям коммунизма» — и в обезображенном — не только ли-

шенном христианского содержания, но и антиправославном «переложении» — взят был на время гражданской войны на вооружение для революционной пропаганды и агитации — пока не подоспели творения И. Э. Бабеля, А. Веселого, В. В. Вишневского, Вс. В. Иванова, А. Г. Малышкина, А. С. Серафимовича, Ю. И. Яновского и др. — посвященные гражданской войне, которые призваны были явить «свою», революционную героиню и обнаруживают, по наблюдениям современной критики и позднейших исследователей, прямую ориентацию на «Тараса Бульбу»²⁹¹.

Начало этому идеологическому «освоению», восходящему к интерпретациям «Тараса Бульбы» В. Г. Белинским и П. А. Кулишом, положил в 1890-х годах тот же А. М. Горький²⁹². Однако, если в дореволюционных истолкованиях повести главное внимание при таком подходе уделялось отождествлению Тараса Бульбы со Степаном Разиным или Емельяном Пугачевым — «отрицателями» существующего строя, то после революции актуальной, напротив, стала пропаганда защиты новой государственности. Одна из первых попыток такого «переосмысления» гоголевской повести относится к 1920 году, времени вторжения в Советскую Россию Польши. В этом году в специальном выпуске официального театрального органа А. В. Луначарского еженедельника «Вестник театра», посвященном Западному фронту, среди лозунгов «Польские помещики протянули руки к земле смоленских, витебских и других крестьян...», «Франция и Англия спустили на нас польских панов...», была помещена статья Н. Львова «Инсценировка “Тараса Бульбы”»²⁹³.

Схема инсценировки «Тараса Бульбы», предложенная Н. Львовым, предусматривала агитационный характер пьесы и преследовала цель вывести за рамки спектакля религиозное содержание повести. Вполне пролеткультовски автор заявлял: «Никаких стремлений точно следовать за гоголевским текстом у нас нет и быть не должно. Не Гоголя хотим мы демонстрировать на сцене, а сценическое произведение, в котором выражена в художественных образах борьба казаков с поляками». Предложены были три направления переработки повести «в идейной области»: «1) Придать пьесе резко агитационный, волнующий характер. 2) Устранить религиозно-нетерпимые (узко-православные) мотивы казачьего восстания и борьбы. 3) Изъять все антисемитские моменты и настроения, которыми страдает гоголевская повесть». Помимо означенных, предлагалось также ввести мотивы антиправославного характера: рекомендовалось, в частности, показать, как русские священники предают казаков, будучи «подкуплены польскими червонцами».

Новые предложения к «идейной» переработке «Тараса Бульбы» были высказаны в коллективной рецензии «рабкоров» на одноименную оперу Н. В. Лысенко, шедшую в 1929 году в Киевском театре. «Гоголь дал в “Тарасе Бульбе” реакционную романтику, — заявляли «рабкоры». — В своей

композиции оперы «Тарас Бульба» Лысенко сюжетно отошел от Гоголя, но все-таки не дошел до удовлетворения потребностей современности <...> В работе режиссера тов. Манзия прежде всего нужно отметить недостаточное акцентирование социальных моментов. Мы видим вольную запорожскую Сечь, а не движение казашкой бедноты <...> Слишком много также в опере церковных мотивов <...> Роль Янкеля, эпизодичную и не связанную органично со всей композицией оперы, можно было бы с успехом заменить на польского перебежчика, показав его с социальной стороны (дав тип селянина-бедняка)»²⁹⁴.

Сформулированные в 1920-х годах требования «социального» заказа надолго определили лицо «Тараса Бульбы» в советском театре, а также в исследовательских работах о Гоголе. Сложилась, в частности, даже традиция играть Янкеля «более благородным и отзывчивым человеком, чем у Гоголя»²⁹⁵. К числу подобных новшеств советского театра, наиболее чутко отражавшего идеологические запросы, относится и превращение противокатолических мотивов «Тараса Бульбы» в противоцерковную, антихристианскую пропаганду вообще, что, в частности, достигалось введением в сценарий интригана-иезуита, в образе которого «раскрывалась вся подлость человека в сутане», «разоблачалась фальшь и жестокость церкви»²⁹⁶. Особого рода эффект получался при этом с удалением из инсценировки православных «церковных мотивов», например, замена в спектаклях икон, которые, согласно повести, посылала мать Остапа и Андрия своим сыновьям, «мешочками с горстью родной земли»²⁹⁷. Такой, например, выглядела сцена встречи Андрия с панночкой в балете В. П. Соловьева-Седого «Тарас Бульба» в постановке Ленинградского театра оперы и балета 1955 года. «Подлинного драматизма,— отмечал театральный критик,— достигает актер, когда иезуит, отстраняя панночку, хочет насильно вырвать у Андрия отречение от родины. Прижатый наступающими на него монахами к подножию Мадонны, прижимая руками к груди ладонку с родной землей, ища в ней опоры, он силится отстраниться от зловещей фигуры иезуита <...> и в то же время не может противостоять его гипнотическому взгляду...»²⁹⁸.

Показательны и эстрадные чтения «Тараса Бульбы», устраивавшиеся, в частности, во второй половине 1920-х — 1930-х годах известным мастером художественного чтения артистом А. Я. Закушняком, представлявшим повесть Гоголя во многом так же, как интерпретировал ее ранее И. Е. Репин,— как «романтическую и героическую поэму сильных страстей», «гимн молодости, здоровью, силе, цветущей природе» и пр.²⁹⁹ Критика отмечала «общественный подход» А. Я. Закушняка к содержанию «Тараса Бульбы», «где тактичным и уместным красным карандашом проведена незаметная, но существенная подчистка текста <...> гоголевский под-

черкнутый национализм затушеван, а религиозные моменты поданы с естественной иронией»³⁰⁰.

Несколько изменилось отношение к «Тарасу Бульбе» советской критики после осуждения в партийной печати осенью 1936 года либретто Д. Бедного к опере А. П. Бородина «Богатыри», в котором русские богатыри были изображены сатирически («пьяницы, трусы и кутиль») и в таком же издевательском освещении представлено Крещение Руси — «являвшееся,— по словам просветительственного постановления,— в действительности положительным этапом в истории русского народа, так как оно способствовало сближению славянских народов с народами более высокой культуры»³⁰¹. Вслед за этим постановлением появились работы, в которых подчеркивалось воплощенное в гоголевской повести «органическое единство личного сознания с общенародным»³⁰², а главный герой сравнивался с «Владимиром Киевским, Дмитрием Донским, Александром Невским», с «князем Пожарским»³⁰³. Однако принципиального перелома в отношении к «Тарасу Бульбе» в то время не произошло. Случился он еще пятью годами позже.

Была в истекшем веке эпоха, когда сама жизнь поставила перед нашими отцами гоголевского Тараса Бульбу во весь его исполинский рост,— эпоха Великой Отечественной войны 1941—1945 годов. Именно в годы Великой Отечественной войны повесть Гоголя была снова внесена в учебники и школьные хрестоматии (чуть позднее, в 1947-м, появились и первые методические рекомендации по изучению повести Гоголя в советской школе³⁰⁴). Именно в 1942—1943 годах была замечена не осознанная даже дореволюционной школой связь гоголевской эпопеи с породившей ее, наряду с отдаленным прошлым, ближайшей исторической эпохой — Отечественной войной 1812 года³⁰⁵.

В первый день Великой Отечественной войны, 9/22 июня 1941 года, Местоблюстителю Патриаршего Престола митрополит Сергей (Страгородский; с 1943 года Патриарх) обратился с посланием к «Пастырям и пасомым Христовой Православной Церкви», в котором призвал русский народ на защиту Отечества. «Повторяются времена Батыя, немецких рыцарей, Карла шведского, Наполеона,— писал митрополит Сергей.— <...> Вспомним святых вождей русского народа <...> Александра Невского, Димитрия Донского, полагавших свои души за народ и родину <...> Вспомним неисчислимые тысячи простых православных воинов <...> Если кому, то именно нам нужно помнить заповедь Христову: “Большие любве никтоже имать, да кто душу свою положит за други своя”»³⁰⁶.

Во всех православных храмах за богослужением с незначительными изменениями стала читаться молитва, которая была составлена в Отечественную войну 1812 года. Спустя год, в годовщину Великой Отечественной войны, 22 июня 1942 года, митрополит Сергей вновь обратился к

верующим с посланием, в котором, в частности, сказал о жителях оккупированной Украины: «Им еще предстоит изгнать врага из своей страны. Но и у них нет недостатка в священных воспоминаниях, которые бы питали мужество и готовность отстаивать свою православную веру и родную национальность. В их памяти, несомненно, жива вековая борьба православного казачества и его заслуги перед Церковью и родиной»³⁰⁷.

Примечательно, что в самый день начала войны, 22 июня 1941 года, по всесоюзному радио была передана двухчасовая литературно-музыкальная композиция по повести «Тарас Бульба», подготовленная артистами МХАТ³⁰⁸. Совпадение это тем удивительнее, что сообщение о подготовке радиокomпозиции появилось в печати ровно за месяц до начала войны, 22 мая³⁰⁹, а генеральная репетиция состоялась 21 июня³¹⁰ (согласно сообщению газеты в мае 1941-го, первоначально передача была намечена на 1—2 июня — но, однако, по каким-то причинам была отложена — и тем самым как бы прямо перенесена на день начала войны).

С 1942 года отрывки из «Тараса Бульбы» стали печататься в военных сборниках; в 1944 году вышло несколько отдельных изданий повести. Фрагменты из нее были включены в репертуар армейских и фронтовых ансамблей художественной самодеятельности и читались перед солдатской массой. Образ Гоголя-писателя становится неотделим от героико-патриотического пафоса его творчества; традиции «Тараса Бульбы» сказались на творчестве советских поэтов и писателей.

Однако в 1943 году, когда повесть была наконец включена в школьную программу, не обошлось и без компромисса. Из текста «Тараса Бульбы» были исключены все эпизоды с участием корыстолюбивого торговца Янкеля. В таком виде повесть издавалась в хрестоматиях для шестого класса школы вплоть до конца 1980-х годов*.

Примечательно при этом, что такое решение советских «идеологов» — озабоченных в годы войны воспитанием «марксистско-ленинского» мировоззрения — оказалось вполне созвучным с мнением одного из деятелей русской эмиграции — известного социал-демократа (и противника православной монархии) Г. П. Федотова. Мнение это было высказано бывшим марксистом Г. П. Федотовым в самом начале 1942 года — сразу после того как по ходатайству одной из еврейских социалистических организаций он переехал в США. Статья Федотова была посвящена так называемому «еврейскому вопросу» и непосредственно касалась го-

* То же самое следует сказать и об издании «Тараса Бульбы» в библиотеке журнала «Советский воин». Эта «традиция» была продолжена и в новейших школьных хрестоматиях — 1990-х годов, хотя именно в эти годы мораль «приобретателя» стала все агрессивнее навязывать себя обществу в качестве некоей этической «нормы».

голевской повести. «Гоголь дал в “Тарасе Бульбе” ликующее описание еврейского погрома,— писал Федотов.— Это свидетельствует, конечно, об известных провалах нравственного чувства, но также о силе национальной или шовинистической традиции, которая за ним стояла».

Не надо предпринимать слишком больших усилий, чтобы увидеть, что рассуждение Федотова о «ликующем описании» Гоголем «еврейского погрома» (а также о «провалах» его «нравственного чувства») прямо повторяет высказывания на этот счет сиониста Жаботинского.

Первые переводы «Тараса Бульбы» на иностранные языки появились еще при жизни Гоголя. Восприятие гоголевской повести за рубежом во многом определялось победоносным завершением русским народом Отечественной войны 1812 года — и тем благоприятным впечатлением, которое оставили после своего пребывания в Западной Европе русские войска. Так обстояло дело в Чехии, Германии, Франции, Англии³¹¹.

«Эта война возвеличила славянский мир, и немало будет содействовать совершенствованию русских», — писал 4 мая 1814 года чешский поэт и ученый Й. Юнгман своему соотечественнику А. Мареку³¹². Популярности повести в Чехии способствовало созвучие ее пафоса национально-освободительному движению чехов. Критик «*Národní Listy*» (1896), восторженно отзываясь о «Тарасе Бульбе» и желая видеть в чешской литературе историческую повесть подобную повести Гоголя, замечал: «Приблизительно такую картину военного лагеря мы желали бы видеть у наших гуситов под Вышеградом или под Пльзенью»³¹³.

Примечателен отзыв о «Тарасе Бульбе» современника Гоголя, французского историка и государственного деятеля Ф. Гизо, считавшего, что гоголевская повесть является «единственной эпопеей, достойной этого имени в наше время»³¹⁴. В начале XX столетия ни одна из награжденных книг, выдававшихся детям во французских школах, как «Айвенго», «Робинзон Крузо», «Дон-Кихот», не читалась с таким увлечением, как «Тарас Бульба»³¹⁵.

Традиционным стало неприятие повести Гоголя в польской критике. Характерно, что первый перевод «Тараса Бульбы» на польский язык, появившийся в 1850 году, был выполнен не поляком, а галичанином П. Ф. Головацким — братом известного общественного деятеля Галицкой Руси Я. Ф. Головацкого. В следующем году вышел перевод П. Ф. Головацкого «Тараса Бульбы» и на «галицко-русский» язык. В переводе были сделаны некоторые изменения, обусловленные местными условиями (львовским губернатором в то время был польский католик граф А. Голуховский). Слова «католические неверки» были заменены на «ляцкие неверки», вместо оригинального «к католикам в гости» напечатано

«до безверов в гости», вместо «еретики» в словах Остапа перед казнью — «недоверки».

Гоголь стал первым русским писателем, произведения которого (читавшиеся и без перевода) получили широкое распространение в Галиции. По свидетельству современника, Б. А. Дедицкого, повесть «Тарас Бульба» читали его отец, сельский священник, его мать, другие знакомые мужчины и женщины, и Тарас Бульба стал в Галиции «известного своего рода типом»³¹⁶. В 1914 году, накануне первой мировой войны, австрийскими властями в целях нейтрализации русофильства среди карпатоссов был открыт судебный процесс против галицких «москвофилов», обвиненных в нелояльном отношении к Австрии и в подрывной деятельности в пользу России. На суде «москвофилам», в частности, было предъявлено обвинение в пропаганде против польской шляхты и католичества, средством которой служила повесть «Тарас Бульба» (подсудимые были оправданы)³¹⁷. Однако позднее поводом для ареста служило уже одно только наличие в доме русской книги, и в частности, сочинений Гоголя³¹⁸. Галицким профессором В. Р. Вавриком, одним из узников лагеря Талергоф, в котором погибли в годы первой мировой войны многие карпатоссы, позднее была написана работа «Народная песня в повестях Н. В. Гоголя» (Львов, 1928).

Свидетельством острой неприязни польской критики к «Тарасу Бульбе» может служить также то, что следующий, после издания 1850 года, перевод повести на польский язык вышел только спустя столетие, в 1956 году. В 1936-м в Польше «Тарас Бульба» был даже запрещен цензурой; подготовленное тогда издание повести было конфисковано³¹⁹. Критик А. Лисицкая в 1886 году в журнале «Польское Обозрение» писала: «...“Тарас Бульба” предметом содержания <...> издательством автора над душой поляка, слишком тяжел для спокойной оценки его польским пером <...> Описание *нашей* Украины художественным пером русского вызывает в польском сердце чувства мучительной боли и возмущения <...> И может ли не болеть сердце, когда русский говорит про нашу Украину, как о своем милом детище»³²⁰.

Напротив, самым популярным гоголевским произведением стал «Тарас Бульба» в православной Сербии (вплоть до конца 1830-х годов русские книги тоже читались в Сербии без перевода). «...Гоголь имел громадное значение для Сербии,— говорил в 1902 году в беседе с русским писателем В. А. Гиляровским чрезвычайный сербский посланник в Петербурге, профессор Новакович,— “Тарас Бульба”, с описанием жизни запорожцев, близок сербскому сердцу, так как таким же образом жили в старину наши гайдуки, так же бились за свободу защитники Сербии». «Наши читатели увивались им,— замечал в том же году о восприятии

«Тараса Бульбы» в Сербии С. Маленкович,— так как в запорожцах признали своих старых гайдуков, создателей нынешней Сербии». Повесть читали с тем подъемом, какой вызывали обычно у сербов народные эпические песни, и образ Тараса Бульбы ассоциировался с образом юнака Кралевица Марко³²¹. Одно из последних отдельных изданий гоголевской повести на сербском языке вышло в Белграде в 1990 году.

Огромную популярность завоевал также Тарас Бульба в Венгрии, став здесь как бы «венгерским национальным героем»³²²; в Болгарии — в эпоху освобождения болгар от турецкого ига. Первый перевод «Тараса Бульбы» на эстонский язык, принадлежащий священнику Я. Линденбергу, был напечатан в издававшемся в Риге «Православном эстонском календаре на 1874 год»³²³. Большое значение имели также переводы повести на датский (1847), румынский (1876), латышский (1877), финский (1878), словацкий (1883), шведский (1883) и другие языки.

Восприятие «Тараса Бульбы» за рубежом не обходилось, конечно, без курьезов. Показателен, например, спектакль по гоголевской повести, поставленный в 1897 году Брюсселе в «Nouveau Théâtre». Здесь казаки являлись голыми (в трико), с звериными шкурами на плечах и стреляли из луков³²⁴. В том же году в Христиании с большим успехом шла опера норвежского композитора К. Эллинга — также на сюжет гоголевской повести, в которой, в частности, в сцену «скучания» казаков под стенами Дубно были добавлены новые черты, отсутствовавшие у Гоголя: «От нечего делать они веселятся с появившимися откуда-то легкомысленными женщинами; в лагере — пение, пляска и широкий разгул <...> Приходит Тарас и <...> дает казакам сильный нагоняй...»³²⁵. Соответствующее «национально-историческое» подобие нашел «Тарас Бульба» в США: запорожцы показались поначалу американцам техасскими ковбоями³²⁶.

Куда серьезнее отнеслись к повести Гоголя в Японии, где читатели увидели в «Тарасе Бульбе» образец «литературы мужчин», утверждающей принципы самурайской чести (оценивая повесть без учета ее христианского содержания, японский писатель Уно Кодзи в 1938 году сравнивал, в частности, главного героя казацкой эпопеи с прославленным в Японии генералом Нози, командовавшим сухопутными войсками под Порт-Артуром и совершившим ритуальное самоубийство харакири вслед за смертью императора Мэйдзи³²⁷).

Гоголевская повесть стала одной из самых популярных в Испании; с 1880 года здесь вышло более сорока ее изданий. В ранних испанских переводах обычно опускалась последняя глава повести, где изображаются картины расправы казаков над поляками и, что особенно важно, *католиками*³²⁸. Испанская писательница Пардо Басан сопоставляла «Тараса Бульбу» с испанским средневековым эпосом «Песнь о моем Сиде»³²⁹. По со-

общению в 1985 году И. Висенте корреспонденту газеты «Советская культура» А. Кучерову, «Тарас Бульба» вошел в список семидесяти книг, рекомендованных Министерством просвещения Испании для изучения в школах³³⁰.

Можно было бы привести еще много фактов об огромной популярности гоголевской повести во всем мире. Глубокий «след Тарасов», который оставила гоголевская эпопея, говорит о ее исключительном значении в мировой культуре.

«ТАРАС БУЛЬБА» И ОТНОШЕНИЕ ГОГОЛЯ К КАТОЛИЦИЗМУ

Речь пойдет о проблеме так называемых «католических симпатий» Гоголя. Вполне правомерен возникающий тут же вопрос: «“Тарас Бульба” — и католические симпатии!»³³¹. Однако проблема все-таки существует, и то, что заключено в ней, с первого взгляда может показаться даже парадоксальным. Гоголь — создатель знаменитой героической эпопеи о трехвековой борьбе запорожского казачества с польско-католическим гнетом на Украине, пламенный патриот, ревнитель Православия, издав в 1835 году первую редакцию повести, уже в следующем году отправляется в Рим, по прибытии в который посещает католические храмы, молится в них; общается с польскими католическими ксендзами, называет в своих письмах Рим «родиной души своей», «второю родиною»; заявляет, что «как религия наша, так и католическая совершенно одно и то же...». Было, как кажется, отчего возмутиться в 1909 году В. В. Розанову: «...Кто не помнит, как в “Тарасе Бульбе” казаки умирают за веру <...> И вот... он уехал к ксендзам, в вековую, извечную, начальную родину ксендзовства <...> И в письмах называет Рим “настоящею *родиною своей души*”, — он до того, казалось, русский! До того, казалось, преисполненный стихиями Православия и народности!»³³². Неприязненное отношение Розанова к творчеству Гоголя в целом во многом проясняется этими строками. К сожалению, разобраться в поставленном вопросе Розанов не попытался и разрешение «загадки» предложил искать попросту в присущей якобы Гоголю двойственности. Эта двойственность гоголевской души наиболее явственно, по мнению Розанова, выразилась в образах «Страшной мести» — колдуна и святого схимника, которого убивает колдун: «Вот два его лица, совмещенные в одном человеке, в одной жизни, в одной совести...». Еще дальше, вслед за Розановым, пошел А. Белый, поставивший любовь Тараса Бульбы к товариществу — якобы отличающую героя от общей массы казачества («колония кишечнополостных») — в один ряд с предательством Андрия (его любовью к «новой отчизне» — панночке) (поступок Андрия при этом «реабилитировался») — и, далее, с «оторванностью от рода» колдуна «Страшной мести»³³³.

После этих «исследовательских» выводов (подвергнутых в свое время справедливой критике³³⁴) полезно вспомнить хотя бы о том, что Гоголь не остановился на первой редакции «Тараса Бульбы». Вслед за периодом якобы овладевших писателем в 1837—1838 годах «католических симпатий» он написал вторую, вдвое большую по объему, редакцию повести, опубликованную в 1842 году (эта редакция и стала окончательной). Вероятно, ключ к решению проблемы следует искать прежде всего в замысле самого «Тараса Бульбы» и, в частности, в истории создания его второй редакции.

* * *

В соответствии с общим универсальным подходом Гоголя к изучению малороссийского прошлого (рассматривавшегося им на фоне мировой истории и в неразрывной связи с современностью) одним из главных в идейно-художественном замысле «Тараса Бульбы» является вопрос о противостоянии католицизма и Православия, России и Запада и, в частности, вопрос об унии, имевшей важное значение уже для первой редакции повести. «...Время это,— писал Гоголь в «Тарасе Бульбе» об изображаемой им эпохе,— казалось XVI века, когда еще только что начинала рождаться мысль об унии» (первая редакция) — «...когда начались разыгрываться схватки и битвы на Украине за унию» (вторая редакция).

Для произведения, посвященного истории польско-казацких войн, вопрос об унии теснейшим образом соприкасался еще и с вопросом славянским, что имело для Гоголя не только исторический, но и, как отмечалось, актуальный смысл, связанный, с одной стороны, с участием единоплеменного народа в войне 1812 года на стороне Наполеона, с другой — с польским восстанием 1830—1831 годов. Примечательно, что со времени начала польского восстания Гоголь перестал употреблять вторую, «польскую» часть своей фамилии — Яновский (семья его, как уже говорилось, и по отцу, и по матери, принадлежала к старым казацким родам). В одной из лекций по истории, читанных Гоголем с марта 1831 по апрель 1835 года в Патриотическом институте благородных девиц, он говорил своим слушательницам: «Украинские козаки <...находившиеся? под покровительством Польши, страшные туркам и <шляхте?> и составлявшие самое храброе войско, ожесточенные <...жестоко>стью, коварством и злодействами поляков, восстали против них под предводительством знаменитого Богдана Хмельницкого. И вся Малороссия, все древние русские города отложились от них и отделились России» (набросок «Происшествия на Севере»).

Для характеристики взглядов Гоголя в эту пору, важно заметить, что, по предположению Ф. А. Витберга, сочинением, которое Гоголь намере-

вался, согласно строкам его письма к матери от 24 июля 1829 года, подготовить и издать «на иностранном языке», была именно история Малороссии³³⁵. Не исключено, что одним из толчков к работе над историей Малороссии послужило Гоголю его знакомство весной 1829 года с польским поэтом А. Мицкевичем. Как указал М. Э. Гаско, Мицкевич и Гоголь в течение месяца (вторую половину апреля — первую половину мая 1829 года) проживали в Петербурге в одном доме, на одном этаже (дом каретника И.-А. Иоахима на Большой Мещанской, четвертый этаж). Познакомил их, вероятно, школьный приятель Гоголя В. И. Любич-Романович, тоже проживавший в Петербурге и переводивший тогда стихотворения Мицкевича, которые были изданы им в 1829 году³³⁶ (Мицкевич подарил Любичу-Романовичу — вероятно, перед самым отъездом из России — собственный бюст работы скульптора Соколова³³⁷). Характерны «хохлацкие шутки и издевки Гоголя в отношении к Романовичу», которого он, по воспоминаниям В. П. Бурнашева (не весьма достоверным в иных отношениях) называл в 1829 году «польской мордой» и «Лойоловским тайным удом»³³⁸ (Любич-Романович происходил из старинной дворянской литовской семьи и до поступления в Нежинскую гимназию окончил курс Полоцкого иезуитского коллегияума).

А. С. Пушкин, отрицательно относившийся к польскому восстанию (а также критически оценивавший позднее, в 1834 году, личность Мицкевича³³⁹), в 1831 году в стихотворении «Клеветникам России» (включенном впоследствии Гоголем в список примеров «Учебной книги словесности для русского юношества») определял взаимоотношения России и Польши как «домашний, старый спор <...> славян между собою». По замечанию И. Н. Жданова, «Тарас Бульба» «представляет как бы иллюстрацию» к строкам этого стихотворения, в которых поэт напоминает читателям историю былых отношений Руси и Польши: «...Вы не читали сии кровавые скрижали...»³⁴⁰. С намерениями Пушкина в 1831 году дать ответ «клеветникам России» — возразив на поддержанные тогдашней французской прессой требования польской шляхты о присоединении к Польше украинских земель — связана и публикация поэтом в 1836 году в «Современнике» выписок из «Истории Русов» (известной Пушкину в рукописи еще с осени 1829 года)³⁴¹. Пушкин выписал тогда именно те фрагменты из «Истории Русов», которые были непосредственно использованы ранее Гоголем в «Тарасе Бульбе»³⁴² *.

* Можно привести еще целый ряд фактов, свидетельствующих о критическом отношении Пушкина и Гоголя к «польскому вопросу», — указать на наброски неосуществленного замысла Пушкина истории Украины; отметить полное совпадение взглядов Пушкина и Гоголя в 1830-х годах на значение России в защите Европы от монгольского нашествия (мысль, нашедшая отражение в «Тарасе

В первой половине 1830-х годов Гоголь в статье «Взгляд на составление Малороссии» затрагивал и вопрос о взаимоотношениях Руси с Литвой, являющих, согласно пушкинскому взгляду, предысторию русско- и украинско-польских отношений. Как явствует из черновых набросков указанной статьи, наибольшее внимание Гоголя привлекала в этой истории фигура литовского князя Ягайла, получившего руку венценосной польской красавицы Ядвиги (взявшего «перевес» над прочими ее женихами) «с условием» крестить литовский народ по западному обряду и присоединить к духовным владениям папы свои литовские, а также южнорусские земли, и потому начавшего «угнетать греческую веру». «Взгляд на составление Малороссии» представляет собой в этом отношении своеобразный «пролог» к первой редакции «Тараса Бульбы», а черновые наброски статьи — о князе Ягайло — составляют как бы основу сюжетной линии Андрия и панночки.

В конце 1830-х годов Гоголь вновь обратился к теме русско-литовских отношений, написав для своей ранней статьи новый набросок, начинающийся словами «Вражды, войны, битвы и замировки были семейственными между Россией и Литвой». В одном из набросков создававшейся тогда же драмы из эпохи Богдана Хмельницкого он, в соответствии с пушкинской мыслью о «домашнем» споре «славян между собою», замечал: «Помнить, что между русскими и козацкими фамилиями были и польские и что было две партии, русская и польская». В самом «Тарасе Бульбе» (в новой редакции) Гоголь продолжил размышления о причинах, приведших к разьединению и братоубийственной вражде родствен-

Бульбе»; ср. набросок Пушкина с условным названием <О ничтожестве литературы русской> 1833 года и его письмо к П. Я. Чаадаеву от 19 октября 1836-го) (см. также: *Беляев Д. М.* Польское восстание по письмам Пушкина к Е. М. Хитрову // Письма Пушкина к Е. М. Хитрову. 1827—1832. (Труды Пушкинского дома. Вып. 48.) Л., 1927. С. 257—300). Очевидно, что «Тараса Бульбу» можно даже прямо назвать осуществлением одного из пушкинских замыслов, — подразумевая под этим то, что пушкинскими сюжетами Гоголь воспользовался при создании «Ревизора» и «Мертвых душ», что Пушкин принимал в 1834 году в создании «Тараса Бульбы» определенное участие (рекомендовал Гоголю во время работы над повестью своего приятеля С. Д. Шаржинского как занимательного рассказчика и «охотника» до украинских степей, а впоследствии «особенно» хвалил «Тараса Бульбу»; см.: Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей *П. И. Бартеневым* в 1851—1860-х годах. С. 44—45). Примечательны и строки письма Гоголя к М. П. Погодину 1837 года, где, откликаясь на смерть Пушкина, писатель признавался: «Ничего не предпринимал, ничего не писал я без его совета. Всё, что есть у меня хорошего, всем этим я обязан ему» (см. также: *Виноградов И.* Наследие Богдана. А. С. Пушкин и «Тарас Бульба» Н. В. Гоголя // Десятина. 1999. № 9—10. С. 6).

ных народов. Как отмечают исследователи, конфликт Польши и Украины Гоголь не сводит к военным событиям. «Борьба раскрывается в аспекте различий и столкновения <...> двух культурно-бытовых укладов»³⁴³ — «двух морально-этических норм, воплощенных в двух исповеданиях христианского культа: православного и католического»³⁴⁴. Католическая Польша изображается в «Тарасе Бульбе» как страна, совращенная Западом и в свою очередь обольщающая Малороссию³⁴⁵.

Если в первой редакции «Тараса Бульбы» образ соблазненной и соблазняющей Польши был лишь намечен (встреча Андрия с панночкой в костеле во второй главе и упоминание в восьмой главе об «иностраннных графах и баронах», наезжавших в Польшу), то последовательное развитие эта тема получила именно во второй редакции (в первой, второй, шестой, седьмой, девятой и одиннадцатой главах). Наиболее значимым в этом ряду является изображение «прелестного» католического храма осажденного Дубно в начале шестой главы, куда попадает Андрий, отправившись на свидание с панночкой. С этим образом вплотную связана проблема «католических симпатий» Гоголя.

* * *

«Прелестный» образ польского костела стал складываться у Гоголя с самого отъезда за границу в 1836 году. Как показывает исследование, он сориентирован не только на описание «могильного» подземелья в отрывке «Пленник» и образ «гнома» вельзевула в повести «Вий», но и на обольщающий — столь же негативный — образ северной европеизированной столицы, воплощенный ранее Гоголем в повести «Невский проспект»³⁴⁶.

В то же время, как явствует из гоголевских писем, по приезде в Рим в 1837—1838 годах он посещал католические храмы и молился в них. Тогда же он познакомился с княгиней З. А. Волконской, жившей с 1829 года в Италии (общим для них на первых порах явилось, вероятно, то, что Волконская была хорошо знакома с Мицкевичем, с которым Гоголь, после петербургского общения в 1829 году, встречался зимой 1836/37 года в Париже). Волконская, тайно оставившая Православие еще будучи в России, была ревностной католичкой, всегда старавшейся о совращении в католичество своих соотечественников. 22 декабря н. ст. 1837 года Гоголь, отвечая матери по поводу распространившихся слухов, будто он намерен переменить веру (сама мать не верила этим слухам и возражала сообщавшим ей об этом), писал, что насчет его «религиозных чувств» она «никогда не должна сомневаться» и что «как религия наша, так и католическая совершенно одно и то же, и потому совершенно нет надобности переменять одну на другую». Высказано предположение, что в осно-

ве этого утверждения лежало (вероятно, почерпнутое из бесед с Волконской) особенное понимание слов св. апостола Павла в Послании к Филиппийцам: «Как бы ни проповедали Христа, притворно или искренно, я и тому радуюсь, и буду радоваться» (гл. I, ст. 18). Во избежание возможных недоразумений укажем, что, по толкованию св. отцов — в частности, блаженного Феофилакта Болгарского, слова эти отнюдь не означают, чтобы «Павел дал начало ересям»: «Те, о которых он говорит, не ввели ложного учения, но проповедали истинное, хотя не право и не с истинным намерением»³⁴⁷. Именно через княгиню Волконскую Гоголь познакомился весной 1838 года с польскими эмигрантами, католическими ксендзами П. Семененко и И. Кайсевичем (в свою очередь принадлежавшими к кругу Мицкевича), которые питали определенные надежды на его «обращение»³⁴⁸.

В 1933 году В. В. Вересаев выразил сомнение в серьезности «католических симпатий» Гоголя. Он полагал, что Гоголь просто «водил за нос охотившихся за ним польских монахов» и что «единственная его цель была — угодить богатой и знатной княгине Волконской...»³⁴⁹. Действительно, весьма вероятно, что своим сближением с Гоголем Кайсевич и Семененко были обязаны главным образом Волконской, которая, по словам В. А. Лугаковского, использовала их как «орудие ее внушений»³⁵⁰. Однако, согласно свидетельству Семененко в письме к Б. Яньскому от 17 марта н. ст. 1838 года, инициатива знакомства исходила и от самого Гоголя («...Гоголь, слышавши об нас, очень хотел этого...»), а потому можно предположить, что на сближение писатель шел главным образом для изучения новых знакомых, — тем более, что проповедуемые ими идеи польского мессианизма, возрождения «рыцарской» Польши, внешним образом напоминали собственные устремления Гоголя к духовному преобразению России, его веру в то, что всякий русский человек способен «вдруг» «поступить в рыцарство» (по словам из письма Гоголя к С. Т. Аксакову от 16 мая н. ст. 1844 года). Эти устремления и определили, с одной стороны, пафос «Мертвых душ» (в его критическом и утверждающем началах), с другой — обусловили создание самого «Тараса Бульбы» — как произведения о запорожских «рыцарях»³⁵¹. В 1844 году, после прочтения первых двух курсов парижских лекций Мицкевича, А. И. Герцен, в частности, записал в своем дневнике: «Мицкевич — славянофил, вроде Хомякова и С^{ни}с <кампания>, со всею той разницей, которую ему дает то, что он поляк, а не москаль...»³⁵². Укажем на действительно принципиальную — тесно связанную с основным, вероисповедным отличием — разницу между Мицкевичем и московскими «славянофилами», которая, конечно же, не прошла мимо внимания Гоголя; она заключалась в прямо противоположной оценке наполеоновских кампаний и фигуры Наполеона в целом. Ф. В. Чижов 29 июня 1844 года писал Н. М. Языкову о

Мицкевиче из Парижа: «...Это славянин душою и телом, но все-таки славянин западный <...> Когда я приехал, лекции его уже кончались, я присутствовал только на одной последней, где он и показался чрезвычайно странным и которую он кончил раздачею Наполеона в апотеозе <...> Это не слово славянина, это влияние западной крови...»³⁵³. Важно заметить при этом, что идея общности славян являлась в XIX веке одной из главных составляющих польской (и французской) пропаганды среди малороссов³⁵⁴.

Для характеристики польского славянофильства в отношении к «Тарасу Бульбе» весьма показательным сближение Гоголя в Париже зимой 1836/37 года с еще одним польским поэтом — Б. Залесским (который был знаком не только с Мицкевичем, но и с Кайсевичем и Семененко³⁵⁵). В шуточном письме к Б. Залесскому на украинском языке, написанном перед отъездом в Рим во второй половине февраля н. ст. 1837 года, Гоголь называет его «очень близким земляком» («а по сердцю ше бльжчий, чим по земли») и желает ему здоровья «на славу усій козацкій земли». Б. Залесский — уроженец Украины, участник польского восстания 1830—1831 годов и один из основателей «украинской школы» в польской литературе — своеобразной «третьей унии» (по определению позднейших исследователей) — унии поэтической, после политической и религиозной, — действительно, имел отношение к упрочению «славы казачьей земли». В своих «думах» и поэмах, написанных как на Украине и в Варшаве, так и в эмиграции (например, в поэмах «Януш Бенявский», 1823; «Золотая дума», 1836; «Збаражский поход», 1839), он воспевал Украину, казачество, Запорожскую Сечь, которая виделась ему «словно огромный военный монастырь необычайно сурового устава». Однако, воскрешая в своих произведениях XV и XVI века, воспевая первых казачьих гетманов, олицетворявших собою союз Польши и Украины в борьбе с татарами и турками, «казакофил» Залесский в общем предпочитал не касаться той эпохи, которая по преимуществу была изображена в «Тарасе Бульбе», — XVII века — века Богдана Хмельницкого (Залесский отчасти признавал справедливость казачьих выступлений против притеснений поляков)³⁵⁶. Подчеркнем при этом, что именно в период общения с Мицкевичем и Залесским Гоголь продолжал считать «Тараса Бульбу» одной из лучших своих повестей и просил В. А. Жуковского «указать» на нее Государю: «Он же так расположен ко всему, где есть [верные] теплота чувств и что пишется прямо из души...» (письмо от 18 апреля н. ст. 1837 года). Ко времени пребывания Гоголя в Париже зимой 1836/37 года относится и появившееся в его статье «Петербургские записки 1836 года» противопоставление «раздольного мотива русской песни» «прометчивому мотиву польской мазурки» (эти строки их характеристики Гоголем оперы М. И. Глинки «Жизнь за Царя» имеют прямую связь с изучением писателем народной песни при создании «Тараса Бульбы»).

Очевидно, основой высказанного Гоголем в конце 1837 года в письме к матери заявления, что «религия наша <...> и католическая совершенно одно и то же», послужила Гоголю именно мысль о духовном возрождении нации при стремлении к славянскому единству (а также к единству всеобщему) — с образованием религиозно-политического центра в России (а не в Италии или Франции). Еще в «Страшной мести», также посвященной эпохе польско-казацких войн, Гоголь, наряду с проблемой противостояния католицизма и Православия, поднимал вопрос о единстве славянских земель³⁵⁷. К началу 1830-х годов относятся и наброски упомянутого очерка Гоголя о славянах, где в свою очередь проводится мысль об исконном славянском единстве. Примечательно, что профессор протопресвитер В. В. Зеньковский, почти полвека занимавшийся изучением гоголевского творчества, в своих работах относил даже Гоголя — не без оснований — к «зачинателям» славянофильского течения русской мысли³⁵⁸. Судя по характеру общения Гоголя с польской стороной в 1836—1838 годах, за формальным признанием равенства вероисповеданий — с отрицанием при этом для себя возможности перехода в якобы «равноправную» конфессию — стояло скрытое утверждение противоположной возможности — присоединения католицизма к Православной Церкви — с отказом его от «нововведений, сделанных <...> порочными несвятыми епископами» (статья «Просвещение», 1846). Гоголю, называвшему свою жизнь в Риме «художнически-монастырской», было глубоко присуще не только восхищение итальянской природой и древними римскими памятниками, но и отношение к отпадшей части христианского мира как законному наследству Православия — вытекающее из самой истории христианства. Вместе это и давало ему право называть Рим своею «второю родиною». «Потому и я люблю Рим,— говорит св. Иоанн Златоуст,— <...> что Павел при жизни своей писал к римлянам, весьма любил их, беседовал с ними лично и жизнь свою кончил в Риме. И город Рим этим знаменит более, чем всем прочим» (Беседы на Послание к Римлянам; беседа XXXII).

О том, каково должно быть отношение всякого христианина к собрату, отпавшему от единства, Гоголь писал: «...Не бросайте никакого человека, не отрезывайте возврата никому, следуйте за отрешенным...» (статья «Что такое губернаторша», 1846). В самом названии повести «Страшная месть» заключена мысль о необходимости снисхождения к падшему человеку, о прощении врагов; в ее финале прямо изображен Божий суд над «праведником», желающим мести грешнику³⁵⁹. В этом свете весьма важное значение приобретает тот факт, что новые знакомые Гоголя, польские эмигранты, изначально не были католиками: И. Кайсевич был выходцем из униатов, а украинец П. Семененко был обращен в католичество в детстве. Памятуя слова Спасителя, что «не здоровые имеют нужду во

враче, но больные»³⁶⁰, Гоголь в статье «О лиризме наших поэтов» (1846) называл умение Государя прощать своим подданным их заблуждения и проступки «истинно Божеской чертой».

В 1846 году, сообщая графу А. П. Толстому о приезде в Рим для встречи с папой Григорием XVI Императора Николая I, Гоголь замечал: «О Государе вам скажу мало <...> Его повсюду в народе называли просто *Imperatore*, без прибавления: *di Russia*, так что иностранец мог подумать, что это был законный государь здешней земли. О чем был разговор с папой, это, разумеется, неизвестно <...> если медлит когда исходить от царя всем очевидное благо, то, верно, так нужно; верно, мы <...> далеко недостойны еще» (письмо от 2 января н. ст.). (Гоголю, вероятно, было хорошо известно, что российский герб — двуглавый орел — есть, по словам А. С. Пушкина, «герб Римской Империи и знаменует разделение ее на Западную и Восточную». Пушкин писал об этом в примечании к «Песни о вещем Олеге»³⁶¹ и в письме к брату Л. С. Пушкину от начала января 1823 года.)

Подобное отношение к визиту Императора Николая Павловича в Рим разделяли многие современники Гоголя. Ф. И. Тютчев в статье «Папство и Римский вопрос», напечатанной в 1850 году на французском языке в парижском журнале «Revue des Deux Mondes», писал: «Я позволю себе <...> припомнить одну подробность посещения Русским Императором Рима в 1846 году*. Там, вероятно, еще памятно то всеобщее душевное волнение, с каким было встречено его появление во храме Св. Петра — появление Православного Императора, возвратившегося в Рим после стольких веков отсутствия...»³⁶². Позднее, в 1870 году, другой современник этих событий А. Н. Попов, также замечал, что в лице русского царя «как будто бы являлся вновь давно забытый Римом его властелин, восточный император, и Рим невольно преклонялся перед законною властью»³⁶³.

Еще в 1839 году при участии Императора Николая I состоялось возвращение в лоно Православной Церкви полуторамиллионной униатской паствы западных областей России. Визит Императора Николая I в Рим преследовал цель, с одной стороны, ослабить возникшее вследствие этого воссоединения напряжение между Ватиканом и Россией, с другой — подойти к решению «польского вопроса», а именно, отклонить — через гласное свидетельство о взаимности и доверии между Римом и Россией — латинское духовенство в Польше от участия в заговорах и даже привлечь его на свою сторону³⁶⁴. Мысль о всемирном предназначении русского монарха — «всемогущий голос любви» которого «один только может быть доступен разболевшемуся человечеству» — прямо слышна в

* Точнее: в декабре 1845 года.

статье Гоголя «О лиризме наших поэтов» и в его «Размышлениях о Божественной Литургии»: «...Иерей <...> молится, в виду Тела и Крови Господней о государе <...> да все изнесущееся из уст его изравниется во благо его подданным и всего мира».

Эти гоголевские представления непосредственно отразились во второй редакции «Тараса Бульбы». «Постойте же,— восклицает Тарас Бульба в финале повести,— <...> узнаете вы, что такое православная русская вера! Уже и теперь чуют дальние и близкие народы: подымется из Русской земли свой царь, и не будет в мире силы, которая бы не покорилась ему!..». Из приведенных выше высказываний Гоголя следует, что речь, безусловно, шла о добровольном «покорении». Весьма показателен в этом отношении совет, данный Гоголем в конце 1845 — первой половине 1846 года поэтессе графине Е. П. Ростопчиной, «когда ему первому», по ее словам, «прочла она своего *Барона*» (имеется в виду аллегорическая баллада Е. П. Ростопчиной «Насильный брак», в которой в образах старого властного барона и насильно взятой им «коварной» и неблагодарной жены изображались отношения России с Польшей). Гоголь выслушал стихотворение «очень внимательно и просил повторить». После того сказал: «Пошлите без имени в Петербург: не поймут и напечатают»³⁶⁵.

Очевидно, именно о славянах (хотя и не только о них) думал Гоголь, размышляя о добровольном присоединении к России «дальних и близких народов». Как указал М. С. Гус, предсмертные слова Тараса Бульбы о русском царе прямо перекликаются с рядом положений, сформулированных в конце 1839 года М. П. Погодиным в отчете о его поездке по Западной Европе, откуда он вернулся в сентябре 1839 года вместе с Гоголем³⁶⁶. В донесении, представленном тогда Погодиным министру народного просвещения С. С. Уварову, а через него — самому Императору Николаю I, говорилось о возможности создания «славянского федеративного государства» — с «Россией во главе»³⁶⁷. «В Австрийских владениях,— писал Погодин,— живет славян около 20 миллионов, почти вдвое больше, чем немцев, венгерцев, итальянцев вместе. <...> Австрия <...> боится более всего России, которой, без ее ведома, симпатизируют все славяне вплоть до Адриатического моря. Славяне смотрят на Россию, как волхвы смотрели на звезду с востока. Туда лежат их сердца»*.

* Примечательно, что когда позднее, в 1866 году, М. П. Погодин обратился с воззванием «К Галицким братьям», опубликованным в газете «Московские Ведомости», он начал его с обширной цитаты из «Тараса Бульбы». Погодин приводил здесь описание казни Остапа и сравнивал подвиг героя с судьбой галичан: «Пятьсот лет страдали, мучились <...> наши родные братья под игом враждебных племен, враждебных религий, враждебных языков! Они должны были скрывать свое происхождение <...> искажать свое имя — все страха ради Иудейска. <...>

Сам Гоголь в то время писал матери: «Триест — кипящий торговый город, где половина италианцев, половина славян, которые говорят почти по-русски — языком очень близким к нашему малороссийскому. Прекрасное Адриатическое море предо мною» (письмо от 26 сентября 1839 года). (Исследователи отмечают также прямое отражение славянских интересов Гоголя в «Тарасе Бульбе» и заключительной главе первого тома «Мертвых душ»: «Подымутся русские движения... и увидят, как глубоко заронилось в славянскую природу то, что скользнуло только по природе других народов...»³⁶⁸.)

«Все образованные люди,— продолжал в своем отчете Погодин,— негодуют на поляков, которые не понимают, говорят они, счастья и славы быть в соединении с Россией. <...> Император Николай имеет ныне гораздо более почитателей по всем странам европейским, и самые неприязненные ему люди, напр<имер>, во Франции, говорят с почтением о его характере, твердой политике, и отдают преимущество пред всеми европейскими государями. <...> Бывают счастливые минуты для государств, когда все обстоятельства стекаются в их пользу, и когда им стоит только пожелать, чтобы распространить свою власть как угодно»³⁶⁹.

Многочисленные сравнения в гоголевских письмах Италии с Малороссией — при упоминании в повести «Рим» о «ненавистном» для итальянцев «мундире австрийского солдата», а также сообщение в письме к графу А. П. Толстому о благожелательном отношении итальянского народа к русскому Императору — тоже выглядят в этом свете весьма многозначительными.

Однако залогом и условием для осуществления политических проектов объединения европейских народов под эгидой русского монарха Гоголь считал духовное возрождение самой России, воскрешение ее «мертвых душ», формальная принадлежность которых к Православию является лишь возможностью их будущего спасения. «Жизнью нашей мы

Но исполнилась наконец мера их долготерпения! Под ножами, под кинжалами, среди всех сатанинских козней <...> они восклицают в лицо своим врагам: «Мы — Русские», и прибавляют, кажется, обращаясь к нам, подобно замученному Остапу: «братья! слышите ли вы?» <...> Пусть этот отклик, из глубины сердца извлеченный, освежит ваши слабейшие силы, утешит вас в ваших бедствиях, несчастные братья!» (Погодин М. К Галицким братьям // Московские Ведомости. 1866. № 200, 24 сент. С. 3). Обращение Погодина было перепечатано А. И. Герценом в «Колоколе» (от 1 ноября 1866 г.) с его критическими замечаниями (без подписи) (см.: Герцен А. И. Революционное воззвание М. П. Погодина // Собр. соч.: В 30 т. М., 1960. Т. 19. С. 157—159). Герцен упрекал «Московские Ведомости» в том, что газета поступает якобы непоследовательно: «...одним столбцом душит побежденного поляка, а на другом печатает революционные воззвания к грекам и галичанам» (Герцен А. И. Жаль // Там же. С. 237).

должны защищать нашу Церковь <...> возвестить ее истину...» — замечал Гоголь в статье «Несколько слов о нашей Церкви и духовенстве» (1846). «Православие» «мертвых душ», по Гоголю, — еще не Православие. Сравнивая с таким состоянием «высоко-христианский подвиг» протестанта Г. В. Рейтерна, Гоголь в письме к В. А. Жуковскому от 17 апреля н. ст. 1847 года мог, в частности, воскликнуть: «О, дай Бог многим тем (если не всем), которые тшеславятся православием своим и истинною Церкви своей и тем, что одни они только спасутся, такую высокую добродетель!» Вероятно, Гоголь имел здесь в виду слова св. апостола Павла в Послании к Римлянам, что «не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут...» (гл. 2, ст. 13). В «Размышлениях о Божественной Литургии» он замечал: «...Всякий <...> помышляя, как далеко он отстоит и верой, и делами от верных <...>, видя <...> что крещенный водой во имя Христа, он не достигнул того возрождения в духе, без которого ничтожно его христианство <...> — соображая <...> сие, всякий <...> сокрушенно поставляет себя в число оглашенных...». С другой стороны, на отсутствие истинной ревности в «исполнении закона» — которая отличала св. апостола Павла до обращения его в христианство и которая стала затем основой его избрания Богом («...закон был для нас детоводителем ко Христу...»³⁷⁰) — указывал Гоголь в повести «Вий» в образе лицемерно набожного еврея-торговца, престаупающего иудейские предписания ради наживы: «Жид принес под полою несколько колбас из свинины и, положивши на стол, тотчас отворотился от этого запрещенного талмудом плода». Мотив этот в свою очередь является частью размышлений писателя о равнодушном, «теплом»³⁷¹ состоянии современного общества в целом («ни то, ни се»), определивших замысел и основное содержание «Мертвых душ».

* * *

Очевидно, таким образом, что в 1837 году главным предметом размышлений Гоголя была не столько проблема отличий западной и восточной христианских конфессий, сколько определение той основы, на которой могло бы произойти присоединение католицизма к Православию, — признание «Одного и Того же Спасителя нашего, Одной и Той же Божественной Мудрости» (письмо к матери от 22 декабря н. ст.). «Религия, — писал он еще в статье «Взгляд на составление Малороссии» (1832—1834), — <...> более всего связывает и образует народы...». Примечателен указываемый Гоголем в этой статье «состав» народностей, входивших, наряду с основной массой «коренных обитателей южной России», в православное запорожское братство: «Дикий горец, ограбленный россиянин, убежавший от деспотизма панов польский холоп, даже бег-

лец исламизма татарин...». Гоголь хорошо понимал, что христианская вера может служить не только к сплочению отдельной нации, но и к объединению — и даже «слитию» — разных народов. Излагая, в частности, в 1834—1835 годах в одной из своих университетских лекций историю средневековой Италии³⁷², он замечал, что принятие в конце VII века ломбардами христианства послужило «к теснейшему слитию наций римской и ломбардской...».

Это «объединительное» начало веры Гоголь подчеркивал и позднее в отдельном наброске, содержащемся в его в записной книжке 1846—1851 годов. Этот набросок Гоголь построил в форме вопросов и ответов:

— А чем же, скажи, хороша религия?

— А тем именно, что подчиняет всех одному закону, что всех соединяет хотя в одном.

Без нее общество не может существовать, потому что всякий человек имеет свои идеи <...> и хочет строить по своему плану все общество.

— Почему христианская религия именно лучше всех других собственно для общества?

— Она дает свои внутренние законы всякому человеку, с которыми он может ужиться во всяком обществе.

— Как так? Какие же законы?

— Любить всех, прощать обиды.

Итак, обозначив в 1837 году для себя эту общую основу, Гоголь в следующем году в беседах с И. Кайсевичем и П. Семеновым о «славянстве» (эта тема была главной в их разговорах) занялся обсуждением тех именно проблем, которые ранее были поставлены им в «Тарасе Бульбе» (опуская при этом, по слову Апостола, до времени то, что не было общим между ним и его собеседниками: «Бых <...> беззаконным яко беззаконен <...> да приобретаю беззаконныя...»³⁷³). «Не снизойдя к другим, нельзя возвести их к себе», — полагал Гоголь (письмо к С. П. Шевыреву от 28 августа н. ст. 1847 года). Противоположный этой сострадательной любви к «другим», к «беззаконным», принцип — подобный фарисейскому: «народ сей, невежда в законе прокляти суть»³⁷⁴, — он изобразил ранее, уже в первой редакции «Тараса Бульбы», в образе Янкеля, в эпизоде, когда в его доме появляется Тарас: «...Янкель молился, накрывшись своим довольно запачканным саваном, и оборотился, чтобы в последний раз плюнуть, по обычаю своей веры...».

Общей темой для польских эмигрантов-католиков и Гоголя как создателя «Тараса Бульбы» стала именно тема духовного возрождения нации. В беседе с новыми знакомыми Гоголь, сожалея об отсутствии «цемента», «духа», который скреплял бы, помимо внешней принудительной силы, «грамадину» России, сообщая о либералах, обвиняющих Царя «в невероятнейших вещах», восклицал: «У вас, у вас что за жизнь! После

потери стольких сил! Удар, который должен был вас уничтожить, вознес вас и оживил» (письмо П. Семеновича к Б. Яньскому от 25 мая н. ст. 1838 года³⁷⁵). Вероятнее всего, Гоголь вспоминал здесь строки пушкинской «Полтавы» (1829):

Перетерпев судеб удары,
Окрепла Русь. Так тяжкий млат,
Дробя стекло, кует булат.

Об этих строках Гоголь вспоминал позднее в статье «Близорукому приятелю» (1844): «Россия не Франция <...> Тот же самый молот, когда упадет на стекло, раздробляет его вдребезги, а когда упадет на железо, кует его». «Диалог» Гоголя с польской стороной, очевидно, вовсе не означал забвения им того, что религиозно и политически отделяло Польшу от России и изображению чего он посвятил в 1835 году «Тараса Бульбу». Перекликающиеся с пушкинской «Полтавой» размышления Гоголя об «ударе», который «вознес» и «оживил» дух польской нации, восходят, с одной стороны, к наблюдениям самого писателя над историей средневековой Испании (до разделения Церквей): «Христианство, окруженное язычниками и жидами, отличалось стремительною ревностью»³⁷⁶, а с другой — непосредственно к «Тарасу Бульбе», где образование казачества поставлено в тесную связь с испытаниями, выпавшими на долю народа — вторжением татар, турок и поляков. «...Являясь для южной России более бесчеловечным врагом, чем монгол,— писал К. С. Хоцянов,— Польша вместе с тем больше последнего и будит и воспаляет спящие исполинские силы народа»³⁷⁷. «Казачество не могло бы сложиться в определенную общественную силу,— замечала А. Я. Ефименко,— если б не было вблизи могучего и вечно настороженного врага»³⁷⁸. В основе этих размышлений Гоголя, возможно, лежали и раздумья о религиозном национально-освободительном движении греков,— и в частности, о значении мученической кончины Константинопольского патриарха Григория V, о которой рассказывал Гоголю его однокашник К. М. Базили. Известно, что казнь патриарха оказала огромное влияние на весь ход дальнейшей борьбы греков за свое освобождение: она освятила и вдохновила эту борьбу: «Сами турки впоследствии были крайне изумлены, когда увидели, что кончина мученика, вместо того, чтобы прекратить и подавить восстание, расширила и утвердила его»³⁷⁹. Примечательно также обращение Гоголя в 1835 году, сразу вслед за изданием первой редакции «Тараса Бульбы», к созданию драмы из английской истории, главным героем которой должен был стать английский король Альфред Великий (849—899), причисленный в Западной Церкви к лику святых за свои исключительные заслуги в религиозно-политическом объединении Англии перед угрозой норманнского завоевания.

Размышления, с которыми связаны были слова Гоголя об «ударе», «оживившем» Польшу, были, конечно же, мало понятны его собеседникам. Прежде всего в них слышались созвучные собственным настроениям «антимоскальские», антирусские ноты. П. Семенов писал Б. Яньскому 25 мая 1838 года о Гоголе: «Он подробнейшим образом рассказывал нам о перемене, которая произошла в мыслях русских за последние два года. Находящиеся здесь офицеры лейб-гвардии, два года назад русские энтузиасты, теперь обвиняют Царя в невероятнейших вещах, и это те, которые осыпаны почестями, привилегиями, благодеяниями. И удивительна та откровенность, которая господствует между русскими: демагоги в Париже осторожнее, чем эти недовольные. Занимается Гоголь русской историей. В этой области у него очень светлые мысли. Он хорошо видит, что нет цемента, который бы связывал эту безобразную громадину. Сверху давит сила, но нет внутри духа. И каждый раз восклицает: “У вас, у вас что за жизнь! После потери стольких сил!”»³⁹⁰.

Между тем сказанные Гоголем в беседе с П. Семеновом и И. Кайсевичем слова содержали в себе определенный укор самим эмигрантско-полякам. Весьма примечательно передаваемое П. Семеновом высказывание Гоголя о недовольных Государем офицерах русской лейб-гвардии — то есть офицерах привилегированных, отборных войск, находившихся при особе Императора, — офицерах, «осыпанных, — как писал Семенов, — почестями, привилегиями, благодеяниями», — но при этом обвиняющих царя «в невероятнейших вещах». — Едва ли не в том же самом грехе следовало упрекнуть и других, столь же неблагодарных подданных русского Государя — мятежных поляков*. Несомненно, говоря с польскими «революционерами»-эмигрантами — бывшими подданными Российской державы — о «революционно» настроенных офицерах русской лейб-гвардии, Гоголь хорошо сознавал, с кем и зачем он это говорит.

Еще в 1834 году, спустя три года после польского восстания, в отрывке из «Истории Малороссии» Гоголь замечал о мятежной Польше: «Безрассудные магнаты <...> были избалованные деспоты в отношении к народу и непокорные демократы к государю». С размышлениями о современности — отмеченной польским восстанием 1830—1831 годов — связана и характеристика Гоголем в одном из набросков его лекций по истории нового времени политики польских магнатов: «...<Поль>ша снова наполнилась интригами и раздорами <между шляхетством>, присвоившим себе всю власть и угнетавшими бедный народ» («Происшествия на Севере»). В прямом соответствии с этими размышлениями Гоголь в первой редакции «Тараса Бульбы», говоря о пытках, которым

* Собранный во время восстания, 13/25 января 1831 года, польский сейм объявил династию Романовых «лишенной престола».

был подвергнут в Варшаве поляками Остап, замечал: «...Король всегда почти являлся первым противником этих ужасных мер. <...> Но король не мог сделать ничего против дерзкой воли государственных магнатов, которые непостижимо недалёковидностью, детским самолюбием, гордостью и неосновательностью превратили сейм в сатиру на правление». (Понятна в этом свете и гоголевская оценка в «Переписке с друзьями» царя Иоанна Грозного, который, по словам Гоголя, «притеснял и казнил» только бояр, а «самый народ <...> почти ничего не потерпел от него»*.)

Примечательно, что суждение, подобное тому, какое Гоголь высказывал в 1838 году по отношению к недовольным русским Императором офицерам лейб-гвардии, он повторил позднее применительно к декабристам, — решившимся, как известно, на прямое цареубийство. Декабристы в свою очередь принадлежали не к бедным и захудалым родам, но были выходцами из наиболее известных и влиятельных фамилий. В статье «Занимающему важное место» Гоголь писал: «В последнее время <...> всякого рода недоброжелатели России писали статьи <...> чтобы <...> показать Государю России партию каких-то фантастических бояр, оспаривающих <...> власть <...> Но, слава Богу, уже прошли те времена, чтобы несколько сорванцов могли возмутить целое государство». Искусственность и прямую враждебность традиционной культуре России «боярско»-«демократического» начала, объясняющуюся западным влиянием, Гоголь отмечал и в 1851 году в сходном «республиканском» движении украинских сепаратистов: «Они все еще дожевывают европейские, давно выкинутые жваки»³⁸¹.

Эти многочисленные параллели и переклички в отношении Гоголя к различным политическим движениям объясняются не только единством взглядов писателя. Историческое объяснение этих соответствий заключается в том, что и декабризм, и тесно связанный с ним украинский сепаратизм своим происхождением одинаково были во многом обязаны деятельности польских националистических кругов. По замечанию Н. И. Ульянова, «декабристский заговор в значительной мере, и может быть в большей, чем мы предполагаем, был заговором украинско-польским». Именно в декабристской среде под влиянием польских националистов, издавна притязавших на южнорусские земли, был усвоен взгляд на Малороссию как на жертву царской тирании³⁸².

Нужно добавить, что размышлениям Гоголя о польских магнатах — угнетателях, «тиранах» народа и своевольных «непокорных демократах»

* Борьба монарха, английского короля Альфреда Великого, с своевольными «та-нами» — угнетающими народ «магнатами государства» («глядящими лесным зверем»), должна была развернуться, судя по сохранившимся наброскам, и в незавершенной трагедии Гоголя «Альфред».

по отношению к Государю — вполне соответствуют и исторические наблюдения писателя над своеобразным «демократизмом» католицизма — часто опиравшегося в борьбе за мировое господство на народные низы, подрывая этим власть европейских монархов. Так, в конспекте 1834 года книги английского историка Г. Галлама «Европа в средние века» Гоголь замечал: «Несмотря на дарственные свои земли от Константина, Пипина, Карломана и Людовика, папы боролись в самом Риме с префектами, офицерами, присягавшими императорам <...> Чтобы сохранить свои быстрые приобретения <...> нужно было унижить в Италии власть императора и поднять демократизм городов» (раздел «Италия»). «Главным» результатом этой папской политики явилось именно возникновение вельможного «магнатства» — «учреждение мелких тираний на развалинах прав республиканских», — так что «все города, так упорно отказывавшиеся от легких знаков покорности императору, потеряли даже память о независимости и были разделены как вотчины их новых повелителей». «При начале республик ломбардских, — писал Гоголь, — их споры <...> были ограничиваемы посредничеством императора, и потеря этого влияния, может, была одна из причин, доведших Италию до такого состояния...». Этим традиционным «демократизмом» католического духовенства и определяется, согласно размышлениям Гоголя, отношение польского «тираноборчества», с одной стороны, к Малороссии и, с другой — к русской государственности в целом.

Вполне очевидна вытекающая из этих высказываний Гоголя его основная мысль: подлинные свободы (свободы и «демократии», и «республики») достижимы лишь при полном, неограниченном православном самодержавии. — Уже в «Страшной мести» он высказал эту мысль устами пана Данила: «...Было золотое время!.. <...> Старый гетьман сидел на вороном коне, блестела в руке булава <...> Стал говорить гетьман — и все стало как вкопанное. <...> Порядку нет в Украине: полковники и есаулы грызутся, как собаки, между собою. Нет старшей головы над всеми. Шляхетство наше все переменяло на польский обычай, переняло лукавство... продало душу, принявши унию. Жидовство угнетает бедный народ». Эти размышления и стали основополагающими для замысла «Тараса Бульбы».

В этой связи весьма знаменателен тот факт, что уже во вторую или третью встречу с польскими эмигрантами Гоголь дал украинцу Семененко на прочтение «Миргород» (или, как назвал этот сборник сам Семененко в письме к Б. Яньскому от 7 апреля н. ст. 1838 года, книгу «повестей из малороссийского быта»), откуда тот прочел, по его словам, только «Старосветских помещиков»³⁸³. Думается, давая книгу, Гоголь рассчитывал, что будет прочитана и следующая повесть — «Тарас Бульба» (весьма близкая по теме к содержанию его разговоров с Кайсевичем

и Семеновко) — и этим обращением к истории Малороссии намеревался дать новое направление беседам с бывшим униатом и с своим земляком-украинцем. (Какую-то надежду найти с ними общий язык, возможно, давало Гоголю и то, что, например, их общий приятель поляк Б. Залесский, с которым он встречался ранее в Париже, способен был, как отмечалось, проявить некоторую объективность в оценке казачьих восстаний против польского гнета и даже воздать должное личности Богдана Хмельницкого (например, в «Думе Мазелы», 1825). Получить же одобрение польской стороны за «Тараса Бульбу» Гоголь, без предварительного личного общения — без «снисхождения к другим», едва ли мог надеяться: об этом свидетельствует история последующего восприятия повести в польской критике, и в частности, оценка ее еще одним представителем «польско-украинской школы», школьным товарищем и другом Б. Залесского М. А. Грабовским*.)

Спустя некоторое время после периода частых встреч и бесед Гоголя с И. Кайсевичем и П. Семеновко, вопрос о «переходе» из одной религии в другую вообще попадает у него, в письме к А. С. Данилевскому от 28 сентября н. ст. 1838 года, в контекст весьма иронический — этот «переход» рассматривается им как нечто свойственное исключительно плотским, низменным побуждениям при перемене «поклонниками» парижской жизни чувственных удовольствий (речь в письме шла о перемене «религии» кофе на «религию» чая или шоколада³⁸⁴). Содержание этого письма вполне может служить комментарием к образу Андрия в «Тарасе Бульбе» — переменяющего здесь одно упоение на другое — «бешеную негу» битв на поклонение «божеству» панночки (конфессиональные различия для него становятся делом второстепенным — в этом отношении

* «Письмо Грабовского о сочинениях Гоголя» с резко отрицательным отзывом о «Тарасе Бульбе» было опубликовано в 1846 году, при жизни Гоголя, П. А. Кулишом в т. 41 «Современника» (на рус. яз.) и перепечатано в 1847-м в вильненском журнале «Рубон» (т. 8) (на пол. яз.). Начиная с этого «Письма...», негативная оценка «Тараса Бульбы» в польской критике стала традиционной. Эта оценка сказалась впоследствии и в неоднократных запрещениях «Тараса Бульбы» к изданию в сборниках для солдатского чтения в самой России. Эти запрещения повести на протяжении многих лет выносились одним из петербургских знакомых М. А. Грабовского и П. А. Кулиша военным цензором (с 1858 г.) Л. Л. Штюрмером — польским писателем, католиком по вероисповеданию, участником польского восстания 1831 года, вступившим в 1832 году, вследствие поражения восстания, в русскую службу и дослужившимся до звания генерал-лейтенанта (помимо должности цензора, Штюрмер, будучи членом Генерального Штаба, исполнял в Петербурге обязанности управляющего канцелярией Военной академии) (РГИА. Ф. 777. Оп. 2. 1858. № 79. Л. 17—18; РГИА. Ф. 777. Оп. 2. 1872. № 78. Л. 78; РГИА. Ф. 777. Оп. 2. № 57. Л. 6—9).

герой вполне подходит под гоголевское определение «ни то, ни се»). По замечанию В. В. Зеньковского, в образе Андрия Гоголь изобразил жизнь, «движимую одним только влечением эстетического порядка»: «восторженное увлечение, эстетическое самозабвение» характеризуют героя не только после его предательства, но и во время погружения в «очаровательную музыку пульт и мечей», когда он сражается на стороне отца³⁸⁵. «Празднество мне — бой кровавый; / Мне музыка — стук мечей!» — говорит Петру I будущий изменник Мазепа в думе К. Ф. Рылеева «Петр Великий в Острогожске», которую Гоголь включил в 1845 году в список примеров «Учебной книги словесности для русского юношества». В то же время в статье «О средних веках» (1834) служение «божеству» женщины Гоголь отмечает как характерное именно для западноевропейского рыцарства, и завязанный на руке Андрия «дорогой шарф, шитый руками первой красавицы», прямо соотносится с упоминаемой в этой статье «розовой или голубой лентой» женщины, выходящей «на шлемах и латах» средневековых рыцарей³⁸⁶. В целом переход страстного в любви и битвах Андрия на польскую сторону Гоголь изображает в соответствии с внесенной им в ранее в «Книгу всякой всячины...» народной пословицей: «Перейшла як Уляна на ляшську віру» (пословица имеет значение: будучи несовершеннолетним в добре (в правой вере), измениться к худшему: стать ни тем, ни сем; стать ничем. Ср. ряд родственных пословиц: «Перевівсь ні на се, ні на те»; «Перевівся ні на шо!»; «Перейшла, як Уляна на лядську віру»; «Ли воші, а теперь и гниди стали»; «Бувши конем, та стать волон!»³⁸⁷).

Как заметила современная зарубежная исследовательница Ю. Дойч, Гоголь потому смог с такой силой описать разобщение и пошлость современного человека, что ясно представлял себе их противоположность — Божественное начало в человеке, образ Пресвятой Троицы, «единосущной и нераздельной», который и лежит в основе «святых уз товарищества»³⁸⁸. В свете такого понимания товарищества очевидно, что имя, которое дает Тарас во второй редакции повести своему сыну-предателю — Иуда, отражает и собственно авторское отношение к поступку героя.

* * *

Подлинный характер «католических симпатий» Гоголя и отношение их к творческой истории «Тараса Бульбы» во многом проясняет история дальнейших взаимоотношений Гоголя с княгиней З. А. Волконской. В ноябре 1838 года в Рим, незадолго до приезда Наследника, прибыл молодой граф И. М. Виельгорский, ставший в непродолжительное время близким другом Гоголя. Через полгода, 2 июня н. ст. 1839 года И. М. Ви-

ельгорский — в котором многие видели в будущем «правую руку Царя»³⁸⁹ и о котором сам Гоголь отзывался тогда как о «муже, который бы украсил один будущее царствование Александра Николаевича» (письмо к А. С. Данилевскому от 5 июня н. ст. 1839 года), скончался от чохотки на вилле княгини Волконской*. У одра умирающего разыгралась настоящая драма. Волконская до последних минут не оставляла надежды «обратить» графа в католичество («строкою и набожною» — но не ревностной католичкой была мать И. М. Виельгорского графиня Л. К. Виельгорская**; формальная принадлежность графини к католицизму, думается, и давала Волконской надежду на успех). Гоголь же за день до кончины Иосифа³⁹⁰ привел для исповеди и причащения умирающего православного священника, после чего Волконская его «возненавидела»³⁹¹. Княгиня З. А. Волконская, — вспоминала княжна В. Н. Репнина-Волконская, — «сначала очень полюбила Гоголя, но потом возненавидела. Это случилось <...> по следующей причине. Когда умирал Иосиф Виельгорский, то у него ежедневно бывали Елизавета Григорьевна Черткова, урожденная Чернышева, графиня Марья Артемьевна Воронцова и наконец Гоголь». (Графиня М. А. Воронцова, близкая подруга матери Иосифа приняла католичество еще в середине 1810-х годов. История ее «обращения» в католичество — по незнанию русского языка и православных таинств — также изложена в воспоминаниях княжны В. Н. Репниной-Волконской³⁹².) «Зинаида Александровна, — продолжала В. Н. Репнина, — была уже тогда ярая католичка, и мне рассказывали, что Гоголь пошел прогуляться и вместе поискать священника для исповеди умирающего. Гоголь же потом сам читал для него отходную. Молодой Виельгорский причащался в саду, и мой отец <князь Н. Г. Репнин-Волконский> поддерживал его и читал за него: «Верую, Господи, и исповедую...». Но когда он умирал (на следующий день; Гоголя в этот момент рядом с умирающим не было)³⁹³. — И. В.), то в его комнате уже был приглашенный княгиней Волконской аббат Жерве. Зинаида Александровна нагнулась над умирающим и тихонько шепнула

* И. М. Виельгорский воспитывался вместе с Наследником, великим князем Александром Николаевичем (будущим Императором Александром II). Имеются сведения, что В. А. Жуковскому, бывшему воспитателем Наследника, Гоголь помогал в начале 1830-х годов в составлении синхронистических таблиц по истории, которыми Жуковский пользовался на своих уроках (см.: *Лонгинов М. Н.* Воспоминания о Гоголе // Гоголь в воспоминаниях современников. С. 72; *Смирнова-Россет А. О.* Дневник. Воспоминания. М., 1989. С. 169; *Гоголь Н. В.* Собр. соч.: В 9 т. Т. 8. С. 773).

** «Одному патеру в Италии она объявила, что предпочитает быть со всем своим семейством вместе в аду, чем достигнуть рая без близких родных. Эти слова были ответом на совет или приказание обратить своих детей в католичество» (*Веневитинов М. А.* Семейство Виельгорских // *Русская Старина*. 1888. № 6. С. 693).

аббату: «вот теперь настала удобная минута обратить его в католичество». Но аббат оказался настолько благороден, что возразил ей: «Княгиня, в комнате умирающего должна быть безусловная тишина и молчание». Тем не менее моя тетка (т. е. княгиня З. А. Волконская) что-то еще пошептала над Виельгорским и потом проговорила: “Я видела, что душа вышла из него католическая”»³⁹⁴.

Этим событием и завершается «католический эпизод» в жизни Гоголя. С отъездом Гоголя из Рима в июне 1839 года всякая связь его с польскими ксендзами окончательно порывается. Спустя несколько месяцев, 2 апреля н. ст. 1840 года, И. Кайсевич сообщал А. Мицкевичу: «...Княгиня Волконская уже в Петербурге, здорова и не вернется до самой осени. Что с Гоголем, мы не знаем, наверно сидит в Чехии, как намеревался...»³⁹⁵.

Исходя из сказанного, естественно заключить, что в силу недостаточной — по-видимому — определенности воззрений Гоголя в вопросе вероисповедных различий в 1837—1838 годах (вернее было бы сказать, в силу очевидного «умолчания» тогда Гоголем об этих вопросах) работа писателя над упомянутой драмой из эпохи Богдана Хмельницкого, а также второй редакцией «Тараса Бульбы» едва ли могла быть начата ранее второй половины 1839 года, когда смерть графа И. М. Виельгорского вновь вплотную поставила перед Гоголем эти вопросы — и положила конец его эстетическим прельщениям. П. А. Кулиш, комментируя в 1857 году цитированное письмо Гоголя к матери от 22 декабря н. ст. 1837 года, замечал, что писатель имел в ту пору «еще довольно незрелые и смутные понятия о степени уклонений, отделяющих Римскую церковь от Восточной»³⁹⁶. Точнее, на наш взгляд, было бы говорить, что для Гоголя эти вопросы отходили тогда — по соображениям «тактическим» — на второй план; о степени же его тогдашнего понимания указанных проблем невозможно судить определенно, за недостатком прямых свидетельств (хотя первая редакция «Тараса Бульбы» — повесть, которую Кулиш начиная с конца 1843 года оценивал неизменно отрицательно, дает достаточные основания для выводов прямо противоположных суждению биографа Гоголя).

30 мая н. ст. 1839 года Гоголь, находясь у постели умирающего графа Виельгорского, писал М. П. Балабиной: «Я ни во что теперь не верю, и, если встречаю что прекрасное, тотчас же жмурю глаза и стараюсь не глядеть на него. От него несет мне запахом могилы». («...Католические церкви и богослужение пленяли его прежде всего эстетически», полагал К. В. Мочульский³⁹⁷.) Именно этим ощущением («запахом могилы») и проникнуто изображение католического храма в начале шестой главы второй редакции «Тараса Бульбы» — как уже указывалось, вся его красота и великолепие представлены здесь как гибельный соблазн, «прелесть», перед которой не смог устоять Андрий. (Ф. Б. Якубовским была, в част-

ности, отмечена и общность эстетического прельщения, в которое впадает Андрий при созерцании красоты костела и красоты панночки³⁹⁸.)

Можно, однако, предположить, что непосредственно к созданию развернутых сцен обольщения и перехода Андрия на польскую сторону в пятой — начале шестой глав второй редакции повести Гоголь приступил несколько позднее — а именно, после того, как во время посетившей его летом 1840 года в Вене тяжелой болезни он сам испытал то «ужасное беспокойство», в котором, по его словам, видел «бедного Виельгорского в последние минуты жизни» (письмо к М. П. Погодину от 17 октября н. ст. 1840 года). Собственная близкая смерть, думается, заставила Гоголя строже взглянуть на свое прежнее отношение к проблеме разделения Церквей и отразить пережитый опыт в новых сценах повести.

В пользу такого предположения говорит и история возникновения одного из образов повести Гоголя «Рим». Н. С. Тихонравов сравнивал, в частности, строки этой повести о восхищении римского князя итальянскими архитектурными древностями и храмовой живописью (в чем, несомненно, сказались римские впечатления самого Гоголя 1837—1838 годов) со все той же «увлекательной картиной *католического* богослужения», наблюдаемой Андрием в «Тарасе Бульбе» (на основании этого сравнения Тихонравов распространял период «католических симпатий» Гоголя вплоть до 1839 года, когда, по его мнению, «Рим» был закончен³⁹⁹). Признавая замеченное Тихонравовым сходство, можно тем не менее указать на еще более близкое — по истории возникновения и самой сути — соответствие между содержанием «Рима» и изображением католического храма в «Тарасе Бульбе», которое не могло появиться ранее 1841 года (и которое совсем иначе освещает значение этого образа в повести).

П. В. Анненков и Ф. И. Иордан, общавшиеся с Гоголем в Риме, в своих воспоминаниях одинаково указывали на то, что описание в повести «Рим» вечерней «сияющей» панорамы римских окрестностей, открывающихся с террасы виллы в Альбано, возникло у писателя непосредственно под впечатлением от смерти молодого архитектора М. А. Томаринского, приехавшего в Рим в начале 1838 года и скончавшегося здесь от скоротечной злокачественной лихорадки в мае-июне 1841-го (спустя ровно два года после смерти И. М. Виельгорского)⁴⁰⁰. Гоголь оказался в Альбано именно после того, как, пережив сильное потрясение от смерти Томаринского, был увезен туда Анненковым (на похоронах Гоголь не присутствовал). По свидетельству Анненкова, позднее в Альбано приехали Иордан и А. А. Иванов; по воспоминаниям Иордана, они отправились туда все вместе: «...Гости, бывшие у меня вечером в день <...> похорон, П. В. Анненков, Н. В. Гоголь, А. А. Иванов <...> предложили мне поехать с ними за город, чтобы развлечься. Н. В. Гоголь, любуясь на чуд-

ный закат солнца, описание которого, вероятно, понадобилось ему для какого-нибудь из его произведений, не имея с собою ни пера, ни бумаги, видимо, старался запечатлеть в своей памяти представившуюся нам чудную картину»; Анненков при этом прямо указывал на соответствующее место в повести «Рим».

Описание «изумительного вида на Рим и всю его Кампанию» в лучах «пурпурного» заката, созерцаемого с горы Альбано, завершается в гоголевском «Риме» тем же самым образом, который был воплощен во второй редакции «Тараса Бульбы» в великолепной «картине католического богослужения». Это снова образ «веельзевула» — «повелителя мух», дополненный здесь упоминанием о болезни, от которой умер Томаринский: «...Потухали вмиг померкнувшие поля <...> огнистыми фонтанами подымались <...> мухи, и неуклюжее крылатое насекомое <...> известное под именем дьявола, ударилось <...> ему в очи. Тогда только он чувствовал, что наступивший холод южной ночи уже прохватил его всего, и спешил в городские улицы, чтобы не схватить южной лихорадки». Значимо для понимания настоящего образа и само место, описываемое Гоголем, — поля римской Кампании: именно здесь был похоронен Томаринский. Более того. Разговор о месте погребения Томаринского, состоявшийся между Гоголем и Иорданом, должен был напомнить писателю и о католических прельщениях Виельгорского перед смертью. «За обедом Ф. И. Иордан, сообщая несколько семейных подробностей о покойнике, заметил: “Вот он вместо невесты обручился с римской Кампанией”. — “Отчего с Кампанией?” — сказал Гоголь. “Да неимущих иноверцев хоронят иногда здесь просто в поле”. — “Ну, — воскликнул Гоголь, — значит надо приезжать в Рим для таких похорон”»⁴⁰¹. Можно предположить, что после этого разговора Гоголь и наблюдал картину вечерней римской Кампании.

Соответствующее освещение получает в то время в «Риме» и увлечение итальянскими древностями самого римского князя. Говоря об этих древностях, что они были похожи на «скрытые золотые рудники, покровенные обыкновенной землей, знакомые одному только рудокопу», Гоголь заключает об увлечении князя: «Итог всего этого был тот, что он старался узнавать более и более свой народ». Эти строки о постепенном обращении героя от изучения древних памятников к изучению своего народа — народа, еще не отметившего себя в истории, для которого только еще «готовилось какое-то поприще впереди»*, нашли в то же время отражение в сравнении Гоголем в «Театральном разъезде...» русских характеров с «искрами золотой руды, рассыпанными среди грубых и темных

* «Отмечали на страницах истории имена свои папы да аристократические думы, но народ оставался незаметен» (повесть «Рим»).

<...> гранитов», — а также в сходном сравнении этих характеров, в письме к С. Т. Аксакову от 18 августа н. ст. 1842 года, с «самоцветными камнями <...> закрытыми вековыми накопленьями». Спустя три года строки об изучении героем «Рима» «непечатого» римского народа отозвались у Гоголя и в статье «Нужно проездиться по России»: «Таким же самым образом, как русский путешественник, приезжая в каждый значительный европейский город, спешит увидеть все его древности и примечательности, таким же точно образом и еще с большим любопытством, приехавши в первый уездный или губернский город, старайтесь узнать его достопримечательности. Они не в архитектурных строениях и древностях, но в людях. Клянусь, человек стоит того, чтоб его рассматривать с большим любопытством, нежели фабрику или развалину»*.

* * *

Показателен еще один художественный образ Гоголя, хорошо поясняющий, с одной стороны, отношения писателя к княгине Волконской, с другой — позволяющий увидеть прямую связь между размышлениями Гоголя о католицизме и изображением «мертвых душ» в его поэме. Имеется в виду образ роскошного петербургского здания — «дома на Дворцовой набережной» — из вставной «Повести о капитане Копейкине» в десятой главе первого тома «Мертвых душ»: «Избенка, понимаете, мужичья: стеклушки в окнах <...> полоторасаженные зеркала <...> драгоценные мраморы на стенах, металлические галантереи <...> словом: лаки на всем такие — в некотором роде, ума помрачение». Судя по выражению, употребленному в этом отрывке применительно к роскошному зданию, — «избенка», в создании настоящего образа Гоголь воспользовался стихотворением княгини З. А. Волконской «Песнь Невская», которое было написано на пожар Зимнего дворца, случившийся 17 декабря 1837 года (Гоголь переписал для себя это стихотворение в начале 1838 года⁴⁰²):

А причина всему изба ветхая;
Изба ветхая на Неве видна.
.....
Стены крыты все тканью шелковой;
Зеркала на стенах исполину в рост;
А под ними столы ведь сибирские

* Позднее Гоголь писал П. В. Анненкову: «...Если бы на место того, чтобы дагеротипировать Париж <...> начали вы писать записки о русских городах <...> и <...> осматривать всякого встречного человека, как осматриваете вы на мануфактурных и всяких выставках всякую вещь» (письмо от 12 августа н. ст. 1847 года).

Малахитные, изумрудные;
А в окнах цветы кашемирские,
Итальянские и голландские⁴⁰³.

Волконская видела в воспитанной ею петербургской роскоши отрадное свидетельство успехов католического — и в целом западного — влияния в России — и потому посчитала нужным прочесть и разослать это стихотворение своим друзьям-католикам, И. Кайсевичу, П. Семенову, А. Мицкевичу⁴⁰⁴. (Несомненно, в связи с этими устремлениями Волконской связан и ее «Проект эстетического Музея при Императорском Московском Университете», опубликованный в 1831 году в № 11 «Телескопа» Н. И. Надеждина.) В заключение своей «Песни...» Волконская писала:

Станет скоро дворец что Волшебный дом,
Живописный весь и весь мраморный.—
А ведь живопись к нам привозный цвет,
Хоть привозный цвет, да сроднился он
С почвой Русскою, с Русским разумом.
Грудь полна его семян собственных.
Ах, расти, южный цвет, ты на Севере!
Ты в теплице цвети, как на солнышке!
И туда ведь глядит Оно ясное:
Ветер ласковый, сила южная,
Благодатная роса райская⁴⁰⁵.

(Княгиня Волконская училась живописи в Петербургской Академии Художеств у профессора А. И. Иванова, отца А. А. Иванова. А. И. Иванов преподавал также живопись в петербургском иезуитском пансионе французского эмигранта аббата Николь. «Отечеством искусств» называл Италию в своих письмах к отцу А. А. Иванов⁴⁰⁶.)

Примечательно, что приведенные строки стихотворения Волконской о северной «теплице» и «благодатной росе райской» непосредственно перекликаются с содержанием посвященного Гоголю И. Кайсевичем в апреле 1838 года сонета, в котором поэт — «певец с Днепровской стороны» — сравнивается с выросшим в «прозрачной темнице» цветком, призванном утолить «долгую жажду» «небесной росой»:

Видел я цветок прекрасный, пересаженный с поля,
Водой ключевой заботливо поливаемый,
И солнцем освещенный, и за стеклом согретый,
Но все-таки теряющий красу и печально поникший.
.....
И ты, вестник, будешь избавлен мертвящей суши,
И песнь горняя сильнее затронет грудь братьев,
Только росе небесной не закрывай души⁴⁰⁷.

Начиналось же стихотворение Волконской «Песнь Невская» многозначительным напоминанием об эпохе царствования Александра I, отличавшейся, как известно, весьма далеко простиравшейся «веротерпимостью». В первых строках стихотворения Волконская говорила о воздвигнутой в 1834 году в Петербурге Александровской колонне:

Стоит Царской дворец на Неве реке,
Перед ним лежит площадь белая,
А на ней стоит Царь — гранитный столб.—
Петербургский Мужик приташил его...

Известно, что на загородной вилле Волконской в Риме существовал своего рода «культ» Александра I. Как сообщал, в частности, в 1845 году в письме из Рима один из гостей княгини, М. С. Волков, на ее вилле находился «бюст Александра с надписью: «Незабвенному». Пьедестал сделан из обломка Александровской колонны, что в Петербурге»⁴⁰⁸.

В отличие от Волконской, образ роскошной «избенки» в «Мертвых душах» Гоголь представил как средоточие губительных петербургских соблазнов, которым подвергается его герой. Речь в поэме идет именно об эпохе царствования Александра I — «после кампании двенадцатого года», когда, одержав блестящую победу над врагом видимым, Россия, как подчеркивает Гоголь, потерпела неожиданное поражение в другой, «невидимой брани». «Рукою победа, мы рабствуем умами», — писал современник этой победы — и этого поражения — С. Т. Аксаков в стихотворном послании «А. И. Казначееву» (1814). Наполеон, шедший в Россию обольстить ее какими-то мнимыми «благодейниями», с бесчестьем изгнан, а обольщение, которое он нес с собой, осталось, и «чужеземные враги вторгнулись в бесчисленном множестве, рассыпались по домам и наложили тяжелое ярмо на каждого человека...» (статья Гоголя «Нужно любить Россию», 1844). «Важная новость, — сообщал, в частности, А. С. Пушкин в письме к жене от 27 августа 1833 года из Москвы, — французские вывески, уничтоженные Разтопчиным <Ростопчиным> в год, когда ты родилась <в 1812-м>, появились опять на Кузнечком мосту»⁴⁰⁹.

Позднее, в 1847 году, в неотправленном письме к В. Г. Белинскому — одному, как известно, из ревностных поклонников западной цивилизации, Гоголь, как бы прямо подразумевая образ роскошной «избенки» в своей поэме — и в целом «цивилизованного» Петербурга в своих произведениях — писал: «С Государя у нас все берут пример. Стоит только ему, не коверкая ничего, <правиль> хорошо, так и все пойдет само собою. Почему знать, может быть придет ему мысль жить в остальное время от дел скромно, в уединении, <в>дали от развращающего двора, <от> всего этого накопленья. И все обернется само собою просто. Сумасшедш<ую> жизнь захотят <бросить>. Владельцы разъедутся по поместьям,

станут заниматься делом. Чиновники увидят, что не нужно жить богато, перестанут красть». Такое отношение к монарху, очевидно, вытекало у Гоголя из современного прочтения им ветхозаветных пророчеств: «И отдам их на озлобление всем царствам земным, за Манассию <...> царя Иудейского, за то, что он сделал в Иерусалиме» (Иер. 15, 4). В 1846 году в статье «О лиризме наших поэтов» он замечал: «Там только исцелится вполне народ, где достигнет монарх высшее значение свое — быть образом Того на земле, Который Сам есть любовь»; «Власть государя есть явление бессмысленное, если он не почувствует, что должен быть образом Божиим на земле».

Имея в виду отмеченные черты княгини Волконской как ревностной католички и поклонницы европейской роскоши, нетрудно догадаться, о ком прежде всего размышлял Гоголь, когда в 1841 году писал в третьей главе первого тома «Мертвых душ» о занятой «модным католицизмом» скучающей великосветской даме — сравнивая ее здесь с Коробочкой: «...Да полно, точно ли Коробочка стоит так низко на бесконечной лестнице человеческого совершенствования? Точно ли так велика пропасть, отделяющая ее от сестры ее, недосыгаемо огражденной стенами аристократического дома с благовонными чугунными лестницами, сияющей медью, красным деревом и коврами, зевающей за недочитанной книгой в ожидании остроумно-светского визита, где ей предстанет поле блеснуть умом и высказать вытверженные мысли <...> о том, какой политический переворот готовится во Франции, какое направление принял модный католицизм». Очевидно, старания Волконской по «обращению» Гоголя только послужили писателю материалом для создания еще одного образа в его галерее «мертвых душ».

Рассмотрев, таким образом, все наиболее важные составляющие легенды о «католических симпатиях» Гоголя, можно сделать вывод, что те внешние проявления, которые послужили к ее возникновению, имеют под собой совсем иные мотивы, чем предполагаемые на этот счет легендой. Поэтому и противоречие между пафосом «Тараса Бульбы» и поведением Гоголя в Италии в 1837—1838 годах оказывается в конечном счете столь же мнимым, как несостоятельна и лежащая в основе этого противопоставления легенда. Только предвзятый взгляд может, например, усмотреть противоречие в том, что Тарас Бульба в своей знаменитой речи к товарищам перед битвой выражает не одно желание о том, чтобы любимая им Сечь «долго, долго <...> стояла на погибель бусурманству», а поднимает вначале тост за то, чтобы «все бусурмены поделались бы наконец христианами». Эти пожелания Тараса — и содержанием, и самой последовательностью — прямо напоминают соответствующие прошения православного помянника, читаемого ежедневно христианами по окончании молитвенного правила: «...В первых помяни <Господи> Церковь

Твою Святую, Соборную и Апостольскую <...> шатания языческая угаси, и ересей востания скоро разори и искорени <...> помилуй благочестивейшего, самодержавнейшего, великого Государя нашего Императора <...> военачальники, градоначальники, и все христолюбивое воинство <...> и покори под нозе их всякого врага и супостата <...> Отступившия от православныя веры, и погибельными ересьми ослепленные, светом Твоего познания просвети и Святей Твоей Апостольстей Соборней Церкви причти. Мерзкое и богохульное агарянское царство вскоре испровержи, и правоверным царем предаждь...».

На ином поле битвы и иными средствами сражался за души людей Гоголь, отправившись, по словам В. В. Розанова, «в вековую, извечную, начальную родину ксендзовства и всего ксендзовского духа, всей ксендзовской сути». Пройдя здесь очистительный искус, он создал вторую редакцию «Тараса Бульбы» как плод зрелого размышления над проблемами вероисповедных отличий католицизма и Православия, как результат личного общения с Западом.

ОТ «НЕВСКОГО ПРОСПЕКТА» ДО «РИМА»: «ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТЕМА» В ТВОРЧЕСТВЕ ГОГОЛЯ

Возникновение в творчестве Гоголя «петербургской темы» связано с самыми первыми впечатлениями писателя от северной столицы, полученными по приезде в Петербург в конце 1828 года. Впервые образ Петербурга появляется в гоголевских произведениях в 1831 году. Блестящий, «весь в огне» город Петра I и Екатерины II — город, полный диковинных, «растущих из земли» многоэтажных домов, «чудных» роскошных «бричек со стеклами», Гоголь изобразил тогда в двух «малороссийских» повестях, опубликованных в сборнике «Вечера на хуторе близ Диканьки», — «Пропавшей грамоте» и «Ночи перед Рождеством».

Однако, хотя в ранних повестях Гоголем уже были намечены многие черты, которые нашли впоследствии развернутое воплощение в его так называемом «петербургском» цикле — цикле из пяти повестей, посвященных изображению петербургской жизни, — в самых первых «малороссийских» произведениях Гоголя взгляд его на Петербург — это еще во многом взгляд «со стороны». Понадобилось еще два года, чтобы пережитый опыт был основательно осмыслен и приобрел соответствующую художественную форму. Вплотную к освоению «петербургской темы» Гоголь приступает лишь в 1833 году.¹

Определенную роль в этом сыграло многолетнее общение Гоголя в Петербурге с А. С. Пушкиным и князем В. Ф. Одоевским, которые в свою очередь уделили в своих произведениях значительное внимание теме северной столицы. 30 ноября 1832 года, имея в виду один из художественных замыслов В. Ф. Одоевского, Гоголь писал И. И. Дмитриеву: «Князь Одоевский скоро порадует нас собранием своих повестей, в роде Квартета Бетговена, помещенного в Север<ных> Цветах на 1831». Об этом замысле Одоевского Гоголь рассказал в те же дни П. А. Плетневу. «Гоголь мне сказывал, — сообщал Плетнев В. А. Жуковскому в письме от 8 декабря 1832 года, — что князь Одоевский <...> готовит собрание своих повестей, под названием: Дом сумасшедших. Некоторые прочитывал он с Гоголем: они ему так нравятся, что он их предпочитает напечатанным, как например, Последний концерт Бетговена»⁴¹⁰.

Замысел В. Ф. Одоевского сборника повестей под названием «Дом сумасшедших» остался неосуществленным. Однако спустя несколько месяцев подобный этому замысел повествовательного сборника-«дома» (несомненно, дома «петербургского») — тоже посвященного критическому изображению жизни его обитателей — вновь появляется в творческих планах Одоевского. Только теперь это замысел уже совместный, и в качестве соавтора в нем принимает участие Гоголь. 28 сентября 1833 года Одоевский пишет А. С. Пушкину: «Что делает наш почтенный г. Белкин? Его сотрудники Гомозейко <псевдоним Одоевского> и Рудый Панек по странному стечению обстоятельств описали: первый — гостинную, второй — чердак; нельзя ли г. Белкину взять на свою ответственность — погреб? <...> Рудый Панек даже предлагал самый альманах назвать таким образом: *Тройчатка* *, или *Альманах в три этажа*, соч. и проч.»⁴¹¹. Предполагалось, таким образом сотрудничество автора «Повестей Белкина», рассказчика «Пестрых сказок» и «сказочника» «Вечеров на хуторе близ Диканьки» — то есть Пушкина, Одоевского и Гоголя — в «трехэтажном» альманахе городской — петербургской — тематики. После отказа Пушкина, Одоевский в конце 1833 года писал М. А. Максимовичу: «Я печатаю — ужас — что! — с Гоголем «Двойчатку», книгу составленную из наших двух новых повестей...»⁴¹² (замысел этот тоже не был осуществлен).

Сохранились три черновых наброска Гоголя 1833 года, имеющие, по видимому, непосредственное отношение к замыслу альманаха. Два наброска (из которых один имеет заглавие «Страшная рука. Повесть из книги под названием: «Лунный свет в разбитом окошке чердака на Васильевском острове в 16-й линии»»), очевидно, являются черновыми фрагментами той самой повести — описывающей «чердак»**, — которая предназначалась Гоголем для альманаха Одоевского⁴¹³.

Косвенным свидетельством тому может служить само намерение Гоголя и Одоевского привлечь к работе над альманахом Пушкина. Подзаголовок гоголевского произведения — «Повесть из книги под названием: «Лунный свет в разбитом окошке чердака на Васильевском острове в 16-й линии»», — весьма напоминает заглавие повести В. П. Титова «Уединенный домик на Васильевском» (1828), представляющей собой прямое переложение одного из пушкинских замыслов (повесть восходит к устному рассказу Пушкина). По замечанию Н. И. Ульянова, именно Пушкин в конце 1820-х — начале 1830-х годов явился первым создателем об-

* «Тройчатка — тройная плетъ» (словарик «не всякому понятных» слов, приложенный Гоголем к первой части «Вечеров на хуторе близ Диканьки»).

** Вероятно, в основу повести Гоголь предполагал положить автобиографический материал. «...Мы люди такого сорта, — писал он, в частности, М. П. Погодину 9 февраля 1835 года, — которых вся жизнь протекает на чердаке».

раза «демонического Петербурга» (а значит, предшественником Гоголя и Одоевского в разработке этой темы)* 414. Напомним в связи с этим, что содержанием «петербургской» поэмы Пушкина «Домик в Коломне» — во многих чертах переключившейся с «Уединенным домиком на Васильевском»⁴¹⁵ — Гоголь воспользовался еще в 1831 году при создании «Ночи перед Рождеством». Все это говорит и о том, что в основу петербургского цикла Гоголя легли не только его личные впечатления. Как в случае с «Ревизором» и «Мертвыми душами» («сюжеты» которых, как известно, дал Гоголю Пушкин), содержание гоголевской петербургской темы также оказывается в значительной мере предопределено Пушкиным.

Вероятно, уже в процессе работы над альманахами «Тройчатка» и «Двойчатка» Гоголь задумал собственный сборник художественных и публицистических произведений — получивший впоследствии название «Арабески». Этим, в частности, объясняется, почему в набросках повести Гоголя, готовившейся для совместного альманаха, слышны мотивы едва ли не всех будущих его «петербургских» повестей — как напечатанных впервые в «Арабесках» («Невский проспект», «Портрет», «Записки сумасшедшего»), так и написанных позднее («Нос», «Шинель»).

Первоначально сборник «Арабески» предполагался Гоголем просто как собрание всего наиболее важного, написанного им к тому времени и не вошедшего в «Вечера...» и «Миргород». Сборник должен был представить, по словам самого Гоголя, «смесь всего», «всякую всячину» — и показать художника как разностороннего публициста и ученого: критика, историка, мыслителя. Если же обратить внимание на те произведения, которые были написаны Гоголем специально для «Арабесок» — в самом процессе создания книги, то новый цикл, по преобладанию в нем произведений городской, «столичной» тематики, можно с полным правом назвать (в отличие от первых двух — «малороссийских» сборников) «петербургским».

Обращаясь к истории создания цикла «Арабески», следует иметь в виду, что восприятие гоголевских произведений в критике почти всегда так или иначе вызывало появление авторских комментариев к ним. Достаточно указать на известные гоголевские автокомментарии к «Ревизору» и «Мертвым душам». Гоголь, по обыкновению, сознательно избегал

* Известен и польский образ «демонического» Петербурга, созданный А. Мицкевичем. В отличие от критического отношения Пушкина и Гоголя к Петербургу как средоточию европейского пагубного влияния, у ориентированного на Запад польского поэта «северная Пальмира» вызывает критику прежде всего как средоточие русской государственности (см.: *Браиловский С.* К истории русско-польских литературных отношений. Мицкевич и Пушкин // Пушкин и его современники. СПб., 1908. Вып. 7. С. 96—108).

открытой полемики, считая, что «поэту более следует углублять самую истину, чем препираться об истине» (письмо к Н. М. Языкову от 5 апреля н. ст. 1845 года). «К спорам прислушивайся, но в них не вмешивайся», — замечал писатель в статье «Споры» (1844). Однако, это не означало полного отстранения Гоголя от литературных толков о его произведениях. «Прислушиваясь» к голосу критики, все «ответы» ей Гоголь давал не в открытых полемических выступлениях, но в самих своих художественных сочинениях — а также в пояснениях к ним.

Так и в 1830-х годах, печатая свои произведения в составе отдельных сборников («Вечера...», «Миргород», «Арабески»), Гоголь стремился представить их в более широком авторском контексте, чем тот, какой давали рамки отдельного цикла. Конкретно это выразилось в том, что все написанные к 1834-му году произведения Гоголь попытался издать как единое целое — своего рода «собрание сочинений». Вместе с «Миргородом», написанным в 1834 году и сопровождаемым подзаголовком «Повести, служащие продолжением “Вечеров на хуторе близ Диканьки”», предполагалось переиздание самих «Вечеров...». Тогда и получил окончательную композицию сборник «Арабески», призванный дополнить «Вечера...» и «Миргород» и вплотить достаточно освоенную к тому времени Гоголем тему Петербурга. Определенную попытку писателя заявить об этом «собрании» можно видеть в объявлении, напечатанном в 1835 году на обложке вышедшего «Миргорода»: «Продается во всех книжных лавках. Цена за обе части 12 руб.— Там же можно получать на днях вышедшую книгу: “Арабески. Повести и разные сочинения Н. Гоголя”. Цена за обе части 12 руб.— В непродолжительное время выйдет второе издание “Вечеров на хуторе близ Диканьки”, его же, Гоголя, in 8. Цена за оба тома 12 руб. Желающие могут адресоваться заблаговременно к книгопродавцам и получать билет»⁴¹⁶.

Задумано было, таким образом, как бы целое собрание в трех книгах (или в шести «томов») — по 12 рублей каждая, и объявлена подписка*. Когда же второе издание «Вечеров...» (цензурное разрешение на которое

* По-видимому, предполагалось даже сопроводить это «собрание» портретом автора — работы А. Г. Венецианова 1834 года. Друг Гоголя со школьной скамьи Н. Я. Прокопович называл этот портрет «портретом автора “Тараса Бульбы”» (<Кулиш П. А.> *Николай М. Записки о жизни Н. В. Гоголя*. СПб., 1856. Т. I. С. 101). Вероятно, портрет должен был быть приложен либо к «Арабескам», либо к «Миргороду». «Так как дата его совпадает с годом печатания гоголевских “Арабесок” и так как он исполнен литографией и притом в небольшом книжном формате, невольно возникает предположение, что Гоголь думал приложить этот портрет к своей книге» (*Машковцев Н. Г. Гоголь в кругу художников*. М., 1955. С. 30).

было получено 10 ноября 1834 года) со значительным опозданием вышло, А. С. Пушкин в своей коротенькой рецензии на это издание (от начала апреля 1836 года) дал, по сути, новый обзор всего «собрания» (возможно, это было сделано по просьбе Гоголя). Здесь Пушкин, помимо трех гоголевских циклов, упомянул и о законченном к тому времени «Ревизоре». Другое объявление о трех книгах Гоголя (в шести частях; по 12 руб.) было напечатано месяцем ранее, 5 марта 1836 года, в «Русском Инвалиде».

Впоследствии первыми томами вышедшего в 1842 году собрания сочинений Гоголя стали «Вечера...» и «Миргород». Исходя из истории создания гоголевских циклов, можно было бы предположить, что третьим томом собрания будут «Арабески». Однако этого не произошло. Только три произведения из «Арабесок» — именно «петербургские» повести «Портрет», «Невский проспект», «Записки сумасшедшего» — Гоголь включил в третий том своего «нового» (на этот раз в самом деле оформленного как единое многотомное издание) собрания сочинений (сам Гоголь называл это свое собрание не иначе как «книгой», «книгой в четырех томах», изданием «мелких сочинений <...> из четырех томов»⁴¹⁷).

Подчеркивая тесную связь между третьим томом собрания и предшествующим сборником «Арабески», Н. Я. Прокопович, издатель гоголевских «Сочинений», а вслед за ним П. А. Плетнев, давали этому тому название «Арабески с новыми повестями» (Плетнев при этом пояснял, что «Сочинения» печатаются с исключением «ученых статей» Гоголя, помещенных в «Арабесках»)⁴¹⁸. Но непосредственно «Арабески» в их первоначальном виде Гоголь как единый цикл больше не переиздавал. «Петербургская тема» в третьем томе прижизненного собрания тем самым как бы окончательно приобрела самостоятельное значение, — размежевавшись как с публицистическими и историческими трудами предшествующего сборника, так и с художественными произведениями иной, «непетербургской» тематики — которые на равных правах были представлены в «Арабесках». Таким образом, в составленном Гоголем в 1842 году собрании сочинений ясно обозначилась воля писателя к объединению его «петербургских» повестей в единую тематическую группу. Несомненно, это авторское стремление необходимо учитывать при изучении гоголевского творчества.

Но тут вновь возникает обстоятельство, которое в свою очередь существенно осложняет как идейно-художественное целое, так и, условно говоря, тематическую «чистоту» гоголевского «петербургского» цикла. Дело в том, что в третьем томе выпущенного в 1842 году четырехтомника (четвертый том составили драматические произведения) Гоголь среди повестей собственно «петербургских» поместил опять-таки две «непетербургские» (написанные уже после выхода в свет «Арабесок»). Тем самым

перед исследователями, изучающими загадку композиции гоголевского собрания, вновь встает серьезное затруднение.

Традиция обособлять среди повестей третьего тома прижизненного собрания сочинений Гоголя так называемый «петербургский» цикл существует давно. Сложилась даже практика (введенная в 1924 году Б. М. Эйхенбаумом и бытующая по сей день даже в академических изданиях), издавать этот «цикл» отдельной книгой. Несомненно, основания для такой издательской практики есть. Петербургский материал лег, как отмечалось, в основу пяти (из семи) повестей писателя, помещенных в третьем томе. Но напрашивается возражение. Как в таком случае рассматривать те две повести («Коляска» и «Рим»), которые остаются за рамками предлагаемого подхода? Нельзя не считаться с авторской волей и игнорировать то, что ни в «Арабесках», ни в последующем прижизненном собрании «петербургский цикл» самим писателем отдельно выделен не был.

Сложившаяся традиция вычленять и тематически подчеркивать в гоголевском творчестве городской «петербургский» цикл приводит на деле к сужению кругозора писателя, к искажению того всеобъемлющего масштаба «петербургской темы» у Гоголя, которой, казалось бы, при таком подходе уделяется особое внимание. Само по себе очевидно, что ни первый сборник, где впервые появились гоголевские «петербургские» повести («Арабески»), ни последующий третий том собрания (озаглавленный писателем просто «Повести») «петербургской темой» — как темой этнографической и бытописательной — не ограничиваются. Эту тему оба сборника представляют в более широком и глубоком осмыслении, чем, например, те нравоописательные «физиологии Петербурга», которыми снабжали в XIX веке русских читателей подражатели Гоголя — невольно навязывая тем самым определенное прочтение и гоголевских повестей. Обеднение гоголевской мысли, отрыв его «петербургских повестей» от того контекста, в который поместил их сам писатель, в итоге приводит исследователей к интерпретациям, весьма далеким от подлинного смысла гоголевских произведений. Это обстоятельство во многом связано именно с неразгаданностью композиции третьего тома гоголевских сочинений.

Прежде всего можно заметить, что уже в первом посвященном петербургской действительности сборнике — в «Арабесках» — тема Петербурга предстает как неотъемлемая часть размышлений Гоголя над мировой и отечественной историей: она дается на чрезвычайно широком историческом и культурном фоне. Главными составляющими этого «фона» являются, с одной стороны, западноевропейская действительность — в ее прошлом и настоящем, с другой — прошлое и настоящее самой России (и в частности, Малороссии). Этим темам посвящены самые разнообразные статьи сборника — «Скульптура, живопись и музыка», «О сред-

них веках», «О преподавании всеобщей истории», «Взгляд на составление Малороссии» и др.

То же самое следует сказать по поводу «петербургской темы» в третьем томе «Сочинений» 1842 года издания. Здесь образ Петербурга предстает в своем очерде в весьма широком, «общемировом» контексте. Своеобразным указанием на этот всеобъемлющий контекст и служат здесь те две повести, которые стоят здесь на первый взгляд особняком.

Сама история создания и публикации повестей, составивших этот том, свидетельствует о сходном характере в изображении «петербургской» действительности в «Арабесках» и третьем томе собрания. После издания в «Арабесках» первых трех «петербургских» повестей Гоголем, как уже отмечено, были написаны еще две повести, где тема Петербурга стала основной — «Нос» и «Шинель». Почти одновременно с этими повестями Гоголь написал две новые повести, в свою очередь придававшие «петербургской теме» тот «всемирно-исторический» культурный фон, на котором эта тема разворачивалась в «Арабесках». После «Носа», опубликованного в 1836 году в пушкинском «Современнике», вышла (в том же году и в том же журнале) повесть «Коляска» — действие ее разворачивается в российской провинции; в 1842-м, одновременно с «Шинелью», появился «Рим» — повесть, всецело посвященная истории и современности Западной Европы.

Эти-то четыре новые повести, вместе с тремя написанными ранее петербургскими повестями «Арабесок», и составили в 1842 году третий том гоголевских сочинений. Расположены здесь они были в особой — не хронологической и не объясняющей «географической» темой Петербурга — последовательности: «Невский проспект», «Нос», «Портрет», «Шинель», «Коляска», «Записки сумасшедшего», «Рим». Внутренняя логика этой последовательности связана прежде всего с масштабностью исторических и «географических» воззрений Гоголя. И в «Арабесках», и в новом томе изображение Петербурга органично входит в более широкую, объединяющую все повести, тему мировой цивилизации в отношении к традиционной культуре России. Объясняется и место повестей третьего тома в составе всего собрания. Если в первом и втором томах («Вечера...» и «Миргород») изображалась патриархальная Малороссия, то теперь объектом внимания автора становится «цивилизованное» общество — будь то Париж (повесть «Рим»), Петербург («Невский проспект», «Нос», «Портрет», «Шинель», «Записки сумасшедшего») или русский провинциальный городок («Коляска»).

* * *

Как единый цикл повести третьего тома «Сочинений» Гоголя требуют соответствующего — учитывающего их идейно-тематическое единст-

во — рассмотрения. Центральная идея завершающего, «итогового» произведения тома, повести «Рим», — противопоставление Парижа и Италии, европейской цивилизации и европейской культуры, ремесла и искусства. Это противопоставление находит себе соответствие сразу в двух петербургских повестях Гоголя, появившихся ранее в «Арабесках», — в «Невском проспекте» и «Портрете».

Согласно размышлениям Гоголя, воплощенным в «Риме», ремесленная цивилизация Парижа, потворствуя низменным инстинктам человека, несет миру нравственное раствление и одичание и тягостный беспросветный труд по производству предметов роскоши и «цивилизованного» комфорта. «Божественные искусства» Италии, напротив, способны, по мнению Гоголя, избавить человека от этого духовного и физического рабства. Герой «Портрета», молодой художник, стоит именно перед таким — изображенным в антитезе Италии и Парижа — выбором: он волен выбрать между искусством и ремеслом. То же самое можно сказать и о красавице «Невского проспекта», «искусство» которой — служить вдохновляющей, стремящей человека силой, его «небесным звонком» («...Бог недаром повелед иным из женщин быть красавицами...» — заметит позднее Гоголь в «Выбранных местах из переписки с друзьями»), а «ремесло» так же далеко от ее назначения, как ремесленник Шиллер из того же «Невского проспекта» от Шиллера-поэта...

Тут необходимо оговориться. Художник Пискарев в «Невском проспекте» сравнивает свою красавицу с Мадонной Перуджино, сам же Гоголь, как отмечалось, не любил этого итальянского художника⁴¹⁹. Точно также в описании альбанской красавицы Аннунциаты в «Риме», при всем восхищении ею, неожиданно появляется у Гоголя настораживающее сравнение с «гибкой пантерой». Увлечение же «возвышенным» Шиллером Гоголь сравнивает в «Мертвых душах» с нетрезвостью, почти опьянением: «Он окурил упоительным куревом людские очи; он чудно польстил им, показав им прекрасного человека...».

Это видимое противоречие прямо выводит нас к проблеме, чрезвычайно важной для понимания Гоголя и имеющей прямое отношение к его дальнейшему духовному развитию. Руководствуясь в оценке некоторых явлений действительности представлением о «необходимом зле» в истории — о промыслительно заложенных в человеке от самого его рождения «страстях» (с помощью которых якобы и осуществляется подчас его спасение⁴²⁰), Гоголь прилагал порой эти взгляды и к «эстетическому» соблазну, соблазну красоты, могущему, по его мнению, равно служить добру (в искусстве) и злу (в ремесленной роскоши). Чувственное восприятие красоты, эта «прирожденная страсть» падшего человека, может, по Гоголю, стать либо первой ступенькой к его спасению, либо прямым прологом к гибели.

В то же время, допуская в своих размышлениях представление о промыслительном назначении некоторых «природенных страстей», Гоголь никогда не заблуждался относительно сущности той или иной «страсти», не идеализировал их. В самом понятии «целомудренной страсти» он находил даже источник комического эффекта (последнее выражение взято из русского перевода комедии Мольера «Сганарель», обработанного Гоголем в конце 1839 года*).

В соответствии с этим отношением Гоголя к возможностям и недостаткам эстетического начала противопоставление в его повестях Парижа и Рима, художника петербургского художнику итальянскому оказывается достаточно условным. Образы монаха-аскета в «Портрете» или монаха-капуцина среди цветущей, художнической жизни Рима (на значение последнего образа указывал Гоголь в 1841 году В. А. Панову, «ссылаясь на эффект, производимый нищенствующим братом», когда он вдруг появляется среди веселящейся итальянской толпы⁴²¹) возвышаются равно и над «ремеслом», и над «искусством». (О том, что само ношение священником своей одежды является в известной мере исповедничеством, Гоголь писал, в частности, позднее в «Выбранных местах из переписки с друзьями» и в «Размышлениях о Божественной Литургии».) Монах-художник в «Портрете» предъявляет к самому себе те требования, которые со всей полнотой займут жизнь Гоголя в 1840-е годы — покаяние, очищение души, молитва.

К пониманию первой из петербургских повестей Гоголя (в композиции третьего тома собрания), ближе всех, кажется, подошел профессор протопресвитер В. В. Зеньковский, отметивший, что в «Невском проспекте» сильнее всего ошутим тот сокрушительный удар, который нанес Гоголь идеям эстетического гуманизма, наиболее глубоко выраженным в свое время Ф. Шиллером и чрезвычайно популярным в России в XIX веке⁴²². Эти идеи — о единстве красоты и добра, высказанные в повести устами автора: «...красота <...> только с одной непорочностью и чистотой сливается в наших мыслях», — рушатся «при виде красоты, тронутой творным дыханием разврата».

Этим, однако, шиллеровская тема в «Невском проспекте» не исчерпывается. Едва ли случайно назван в повести Шиллером один из немногочисленных ее героев — «жестяных дел мастер в Мещанской улице». Дело в том, что «певец прекрасного», поэт Ф. Шиллер (с сочинениями

* Имеется в виду реплика героини комедии о своем супруге: «Теперь все ясно: он изменяет мне. Теперь я не удивляюсь холодности, которой он отвечает на мою целомудренную страсть» (Сганарель, или Муж, думающий, что он обманут женою. Комедия в одном действии, Мольера // Гоголь Н. В. Соч. 10-е изд. М.: СПб., 1896. Т. 6. С. 382).

которого Гоголь познакомился еще в Нежинской гимназии), известен и как идеолог европейского торгово-промышленного прогресса и прямой защитник интересов среднего сословия (см. его «Историю отпадения Соединенных Нидерландов от испанского владычества» и трагедию «Дон Карлос»). Имя же еще одного из немецких мастеровых в «Невском проспекте», столяра Кунца, — уже без очевидных литературных ассоциаций, но с тем же намеком на «художества», указывает, вероятно, на самую идею внешне чисто комического именования гоголевских ремесленников «шиллерами» и «гофманами» — идею о низведении искусства к ремеслу. Die Kunst (нем.) — искусство; отсюда — кунсткамера (или, согласно орфографии XVIII века, «кунцкамера»); с кунсткамерой Гоголь в свою очередь сравнивает низкопробные, исполненные «диких страстей» и кровавых эффектов произведения французских романтиков А. Дюма и В. Дюканжа: «...можно подумать, что это кунсткамера, в которую нарочно собраны уродливости и ошибки природы...» («Петербургские записки 1836 года»).

В этом свете каждая из двух частей «Невского проспекта» пронизана гоголевской полемикой с идеями Шиллера. Становится явной и связь этих частей между собой. Ибо «шиллеровская красавица и торгующие предметами роскоши «шиллеры»-ремесленники оказываются связанными друг с другом еще и экономически. По Гоголю, красавица, сделавшая из своего дара «ремесло», становится в то же время и «поощрительницей роскоши («мануфактурности»). Вывеска с «золотыми словами» и нарисованными ножницами, доходный дом с вьющейся чугунной лестницей, которые предстают на пути преследующего красавицу художника Пискарева (дорогостоящие чугунные лестницы как характерная черта петербургского быта упоминаются Гоголем и в других произведениях, в «Ночи перед Рождеством», «Ревизоре», «Мертвых душах»), и указывают, видимо, на власть немец-ремесленников над одетой в роскошный плащ петербургской красавицей — обитательницей «четвертого этажа». Многозначительна и реплика ремесленника Шиллера о цене заказываемых ему поручиком Пироговым шпор: «Немецкая работа... Русский возьмется сделать за два рубля». Добавим, что в «Мертвых душах» Шиллер в свою очередь упоминается у Гоголя в окружении «работников и особенного рода существ, в виде дам», «кузнецов и всякого рода дорожных подлецов». И здесь Гоголь размышляет о «раздоре мечты с существенностью», об обольстительном упоении шиллеровскими грезами.

Продолжая наблюдения над композицией книги «Повестей» третьего тома гоголевских сочинений, следует отметить, что тема Петербурга неразрывно связана у Гоголя с размышлениями о петровских преобразованиях в России. («А Гоголь, — замечал в 1875 году Ф. М. Достоевский, — был прямой отрицатель всех последствий Петра...»⁴²³.) Последствия пет-

ровских преобразований, указываемые Гоголем, подчас неожиданны. Так, в частности, выбор художника в «Портрете» между ремеслом и искусством отчасти уже предопределен. И предопределен не чем иным, как основанием русской столицы «в земле снегов», «в стране финнов, где все мокро, гладко, ровно, бледно, серо, туманно». «Художник петербургский! — восклицает Гоголь в «Невском проспекте». — <...> Они часто питают в себе истинный талант, и если бы только дунул на них свежий воздух Италии, он бы, верно, развился...». Действительно, настоящее произведение искусства создает художник, отправившийся в Италию («Портрет»). Остающийся же в Петербурге обращается в конце концов — в борьбе за свое существование — к доходному модному ремеслу.

Последствия цивилизаторской деятельности Петра I, как бы решившегося перекроить и самую географию («Выкинет штуку русская столица, если присоединится к ледяному полюсу», — замечал Гоголь в «Петербургских записках 1836 года»), сказывается и на другом гоголевском герое — петербургском чиновнике Акакии Акакиевиче Башмачкине из повести «Шинель», судьба которого является в некотором смысле «универсальной» для петербургских героев Гоголя. Если художника вступить на путь ремесла понуждают «охлаждение» дарований и необходимость в «цивилизованном» (а значит, дорогостоящем) жилье, то тот же самый мороз вынуждает и Башмачкина позаботиться о новой шинели — в чем опять сказываются «замерзнувшие на дороге способности и дарования». Сам Гоголь в 1829 году писал матери из Петербурга, что проживание его в одном из петербургских доходных домов было «очень ошутительно» для его кармана: «За квартиру мы платим восемьдесят рублей в месяц, за одни стены, дрова и воду <...> здесь покупка фрака и панталон стоила мне двух сот <...> да на переделку шинели и на покупку к ней воротника до 80 рублей». «Есть в Петербурге, — добавлял Гоголь в «Шинели», — страшный враг всех, получающих четыреста рублей в год жалованья, или около того (сам Гоголь получал «до 500». — И. В.). Враг этот <...> мороз...». 11 марта 1833 года П. А. Плетнев сообщал В. А. Жуковскому о Гоголе: «...Он в такой холодной поселился квартире, что целую зиму принужден был бегать от дому, боясь там заморозить себя»⁴²⁴. Об этом же «страшном враге» небогатых петербургских обитателей Гоголь упоминает и в «Портрете»: «Чартков вступил в свою переднюю, нестерпимо холодную, как всегда бывает у художников...».

Автобиографическое начало в «петербургских» повестях Гоголя, вообще говоря, сказывается весьма часто. Именно это позволяет обозначить собственно авторское отношение к тем или иным сторонам изображаемого им петербургского быта. Еще будучи в Нежине, 26 июня 1827 года Гоголь писал своему школьному другу Г. И. Высоцкому в ответ на сообщенные им сведения о петербургской жизни: «Не знаю, может ли

что удержать меня ехать в Петербург, хотя ты порядком пугнул и при-страшал меня необыкновенною дороговизною, особливо съестных при-пасов. Более всего удивило меня, что самые пустяки так дороги, как-то: манишки, платки, косынки и другие безделушки. У нас, в доброй нашей Малороссии, ужаснулись таких цен, сравнив суровый климат ваш, который еще нужно покупать необыкновенною дороговизною, и благословенный малороссийский, который достается почти даром...».— Уже в этом гоголевском письме как бы намечена тема будущей «Шинели» — мороз, дающий «колющие шелчки без разбору по всем носам» и вынуждающей героя, бедного петербургского чиновника, положить все силы и средства на приобретение новой шинели. 2 апреля 1830 года Гоголь писал матери из Петербурга, что, будучи не в состоянии заказать себе теплую одежду, «привык к морозу и отхвatal всю зиму в летней шинели» («отрадный» контраст этому — изображение вольного южного быта в «Тарасе Бульбе»).

Отсюда почти неизбежное при суровом петербургском климате и «страшной» столичной дороговизне обращение обитателя Северной Пальмиры к «бесчувственному», безжалостному ростовщику. Эту приметку петербургской жизни Гоголь в свою очередь изобразил в повести «Портрет»...

Здесь кстати заметить, что, наряду с собственно «бытовым», житейским «материалом», легшим в основу гоголевского образа «цивилизованного» Петербурга — заставившим писателя обратить внимание на «географическую» сторону преобразований Петра I, к осмыслению этой проблемы мог подтолкнуть Гоголя и А. С. Пушкин. По замечанию В. Ф. Ходасевича, Пушкин, изображая в «Медном всаднике» (1833, опубл. в 1837) вторжение в мир обитателей Петербурга стихийных, демонических сил — сметающих «все на своем пути, как воды, разрушившие домик Параша и ее матери», — понимал, что «все-таки царь Петр есть гений, душа того бедствия, которое стряслось над Евгением»: «...Ужасен был миг, когда Евгений <...> понял <...> связь Петра с волнами, сгубившими несчастную Парашу»⁴²⁵. «Знал» Пушкин, добавлял В. Ф. Ходасевич, и то, что «олицетворяя ужас в Петре, он в известном смысле делает трагедию «бедного Евгения» трагедией всей России»⁴²⁶.

В этой связи весьма примечательны две детали первой редакции гоголевского «Портрета» (редакции «Арабесок» 1835 года), связанные с образом петербургского ростовщика (в 1842 году Гоголь исключил их при переработке повести). Это, во-первых, упоминание среди заложенных вещей в кладовых ростовщика о «бриллиантовом перстне бедного чиновника, получившего его в награду неутомимых своих трудов». Согласно послужному списку Гоголя, он сам 9 марта 1834 года (в год создания «Портрета»), будучи учителем истории в Патриотическом институте благородных девиц, был по случаю награждения преподавателей при вы-

пуске воспитанниц пожалован от Ея Императорского Величества Императрицы Александры Феодоровны — «в награду отличных трудов» — «бриллиантовым перстнем»⁴²⁷. Вероятно, именно этот перстень и пришлось тогда заложить Гоголю — и тогда же соответствующий образ появился в «Портрете»*. С другой стороны, многозначительно имя петербургского ростовщика в первой редакции «Портрета» — Петромихали. В этом имени Гоголь заключил прямой намек на Петра I — *Петра Михайлова* в его заграничной поездке⁴²⁸. Очевидно, вторжение «гения Петра» в судьбу петербургского обитателя, Гоголь испытал на личном опыте.

По воспоминаниям А. С. Данилевского, именно мороз и «необыкновенная дороговизна» были первыми впечатлениями Гоголя по приезде в Петербург в декабре 1828 года: «...особенно обидная неприятность была для него в том, что он, отморозив нос, вынужден был первые дни просидеть дома <...> От <...> этого восторг быстро сменился совершенно противоположным настроением, особенно когда их стали беспокоить страшные петербургские цены...»⁴²⁹. 24 июля 1829 года Гоголь прямо писал матери о глупости тех, «которые оставляют отдаленные провинции, где имеют поместья, где могли бы быть хорошими хозяевами и принести несравненно более пользы...». «Если уже дворянину непременно нужно послужить, — замечал он, — служили бы в своих провинциях; так нет, надо потаскаться в Петербург, где мало того что ничего не получают, но сколько еще перетаскают денег из дому, которые здесь истребляют неприметно в ужасном количестве». Об этом же Гоголь впоследствии открыто заговорит в «Переписке с друзьями»: «...Разорить полдеревни или полезда затем, чтобы доставить хлеб столяру Гамбсу, есть вывод, который мог образоваться только в пустой голове эконома XIX века...».

Мотив «цивилизованного» петербургского севера лег и в основу повести Гоголя «Нос», где комическое попадание носа майора Ковалева в

* «Особым» награждением Гоголя за преподавательскую работу в Патриотическом институте было также распоряжение Императрицы, объявленное ему в январе 1834 года, о том, чтобы его сестер, Анну и Елисавету, обучавшихся в институте по просьбе Гоголя с ноября 1832 года в счет его жалованья, принять в число сверхкомплектных воспитанниц и с 1 января 1834 года начать выплачивать ему жалованье. Повеление это получило ход только после обращения Гоголя к начальнице института Л. Ф. Вистенгаузен в июле 1834 года; распоряжение об этом статс-секретаря Императрицы Александры Феодоровны Н. М. Лонгинова относится к 26 июля (см.: *Белозерская Н. А. Н. В. Гоголь. Служба его в Патриотическом Институте. 1831—1835 // Русская Старина. 1887. № 12. С. 753*). Следовательно, заклад Гоголем наградного перстня должен был состояться между 9 марта и второй половиной июля 1834 года. Судя по гоголевским письмам той поры — к М. П. Погодину от 4 апреля, к матери от 10 июля 1834 года, Гоголь испытывал тогда серьезные материальные затруднения.

хлеб цирюльнику Ивану Яковлевичу выступает своеобразным аналогом той цены, в какую обходится герою повести его «просвещенная» жизнь в северной европеизированной столице.

Этим, в частности, и объясняется отправление ковалевского «хлеба-«носа» в Ригу — за границу — откуда получала Россия всевозможные предметы европейской роскоши — например, «хорошие сигарки» (согласно реплике Хлестакова в одной из сцен черновой редакции «Ревизора») — или почитаемый самим майором Ковалевым табак «рапé» — «по два рубля фунт» (ремесленник Шиллер в «Невском проспекте» из-за дороговизны этого табака готов даже отрезать себе *нос*). Из Риги, вероятно, привозилось в Петербург и то «хорошее вино», рюмку которого «любил выпить» (согласно черновому наброску к повести) майор Ковалев «после обеда» — отчего *нос* героя приобрел соответствующий красноватый оттенок — «тонкие и самые нежные жилки» (ср. также в «Коляске»: «Генералу был прислан из Риги какой-то необыкновенный ром и шнапс, который тут же подавался в больших стаканах»). «Что касается в особенности до Риги, смело можно сказать, что торговля была давнею и единственною благодетельницею ее...»⁴³⁰.

Таким образом, выстраивается ряд повестей Гоголя, являющий единый образ «цивилизованного» европеизированного Петербурга: «Невский проспект», «Нос», «Портрет», «Шинель»...

К содержанию этих «петербургских» повестей прямое отношение имеет еще одно из впечатлений Гоголя, полученных им в первые месяцы пребывания в Петербурге. К этим месяцам относится одно загадочное событие в жизни Гоголя, объяснение которого приводит в затруднение биографов писателя. Летом 1829 года только что начавший обживать в столице Гоголь вдруг все бросает и уезжает за границу. Перед отъездом он пишет матери отчаянное письмо о какой-то неведомой красавице, встреча с которой и вынуждает его «бежать от самого себя». Некоторый свет на эту загадку проливает дальнейшее творчество Гоголя. Изображенная пять лет спустя в «Невском проспекте» падшая женщина, вероятно, и встретила тогда Гоголю. Описание терзаний, приведших к самоубийству художника Пискарева, прямо повторяет рассказ Гоголя в письме к матери от 24 июля 1829 года о пережитых им страданиях от той встречи.

История эта имела и продолжение. Неделию спустя Гоголь отправил матери новое письмо, где объяснял свой внезапный отъезд на сей раз тем, что врачи предписали ему лечиться за границей («...у меня высыпала по всему лицу и рукам большая сыпь. Доктора сказали, что это следствие золотухи...»). Мать, сопоставив оба письма, сделала неожиданный вывод, что причиной болезни сына была встреча с женщиной. Гоголь же, получив письмо матери, пришел в ужас от одного этого предположения:

«...как! вы могли, маминька, подумать даже, что я <...> нахожусь на последней степени унижения человечества! <...> Но я готов дать ответ пред лицом Бога, если я учинил хоть один развратный подвиг...»*. (По замечанию современного исследователя, эти слова Гоголя, воспитанного в благочестивой религиозной семейной традиции, полностью исключают предположение о полученном им заболевании⁴³¹.) Позднее, в письме к А. С. Данилевскому от 20 декабря 1832 года Гоголь замечал по поводу сердечных увлечений друга: «Очень понимаю и чувствую состояние души твоей, хотя самому, благодаря судьбу, не удалось испытать. Я потому говорю: благодаря, что это пламя меня бы превратило в прах в одно мгновение».

При всем том, сама возможность представленного в «догадке» матери случая — и то потрясение, которое пережил тогда Гоголь от одного этого предположения, — обладавший недюжинным, «страшным» воображением, судя по всему, и дала писателю впоследствии материал для повести «Нос».

По поводу колоссального воображения Гоголя, в частности, заметим, что в 1849 году писатель признавался Ф. В. Чижову: «Я, например, вижу, что кто-нибудь спотыкнулся; тотчас же воображение за это ухватится, начнет развивать — и все в самых страшных призраках. Они до того меня мучат, что не дают мне спать и совершенно истошают мои силы»⁴³². Болезненными приступами в деятельности воображения отмечены время пребывания Гоголя в Вене летом 1840 года и проживания в Москве в начале 1842-го (см. письмо Гоголя к М. П. Балабиной от 17 февраля 1842 года). В этой способности «представлять предметы отсутствующие так живо, как бы они были пред нашими глазами» («Авторская исповедь») Гоголь видел своего рода печать избранничества. «...Это состояние, — писал он 24 июля н. ст. 1847 года художнику А. А. Иванову, — <...> оно не даром; оно посылается избранникам затем, чтобы умели они выше почувствовать многие вещи, чем они есть, — затем, чтобы быть в силах потом и других возвести на высоту, высшую той, на которой пребывают [обыкновенные] люди...». О подобном употреблении художнического воображения Гоголь и писал в «Театральном разезде...», где приводил пример

* Письмо матери Гоголя, как и большинство ее писем к сыну, до нас не дошло. Однако о его содержании можно судить из ее послания к двоюродному брату Петру П. Косяровскому 1829 года, в котором она сообщает, что «часто получает» от сына письма и сама пишет ему «по несколько листов морали» (*Сажин В.* На пороге. Из архивных разысканий о Н. В. Гоголе. С. 178). Эта самокритическая нотка в оценке содержания собственных писем, возможно, появилась у Марии Ивановны именно после ответа Гоголя на ее неосновательное — но как бы само собой напрашивающееся (по подсказке «морали»), предположение о полученном сыном заболевании.

«одного отца» — который, «желая исторгнуть своего сына из беспорядочной жизни, не тратил слов и наставлений, а привел его в лазарет, где предстали пред ним во всем ужасе страшные следы беспорядочной жизни». «Пример» этот, можно заметить, как бы прямо относится к нравоучительному замыслу «Носа».

С ранней петербургской поры 1829 года в переживании Гоголем прекрасного навсегда поселяется мысль о нетождественности в мире красоты и добра, о недостаточности только лишь эстетического критерия в оценке действительности. Мечтательному эстетическому гуманизму Шиллера было противопоставлено апостольское и святоотеческое свидетельство о том, что «сам сатана» может принимать — и «принимает» — «вид Ангела света»⁴³³ (с этими словами Апостола прямо перекликается в «Невском проспекте» описание падшей красавицы: «...Все выражение прекрасного лица ее было означено таким благородством, что никак бы нельзя было думать, чтобы разврат распустил над нею страшные свои когти»). Встреча с красавицей в 1829 году стала для Гоголя своеобразной вехой для осмысления собственной судьбы.

Гоголь приехал в Петербург с чрезвычайно широкими (и смутными) планами о благородном труде на благо Отечества. Однако ему предстояло начать свою деятельность с низших ступеней чиновничьей лестницы. Это очень болезненно отразилось на его юношеском честолюбии. Еще в 1827 году он писал из Нежина своему дяде П. П. Косяровскому: «Тревожные мысли, что я не буду мочь, что мне преградят дорогу <...> бросали меня в глубокое уныние <...> быть в мире и не означить своего существования — это было для меня ужасно». Этот страх был подхлестнут в Петербурге неудачей с первым литературным произведением Гоголя — поэмой «Ганц Кюхельгартен», решившись напечатать которую, он долго молился, стоя на коленях и кладя земные поклоны. Опубликованная летом 1829 года под псевдонимом «В. Алов» поэма получила в журналах уничижительные рецензии, и Гоголь, скупив имевшиеся у книгопродавцев экземпляры, сжег их. В те самые дни он и встречает свою загадочную красавицу.

Можно представить, как к честолюбивым желаниям юноши после случившейся с ним литературной неудачи с необходимостью присоединяется ужас от возможного превращения в обыкновенного и даже ничтожного чиновника — в Акакия Акакиевича Башмачкина из будущей «Шинели» (ранние письма Гоголя из Петербурга полны переключек с этой повестью). Аналогией же к столь унижительному употреблению талантов, каковой представилось Гоголю от самого его приезда в Петербург чиновничья деятельность, очевидно, и явилось для него унижение высокого дара красоты в постыдной торговле им. «...За цену ли, едва могущую выкупить годовой наем квартиры и стола, мне должно продать

свое здоровье и драгоценное время? и на совершенные пустяки, и на что это похоже?..» — писал Гоголь матери о предстоящей ему чиновничьей службе уже за два месяца до бегства.

«Бог указал мне путь в землю чуждую, — писал он матери, — чтобы там воспитал свои страсти в тишине, в уединении, в шуме вечного труда и деятельности, чтобы я сам по скользким ступеням поднялся на высшую, откуда бы был в состоянии рассеивать благо и работать на пользу мира».

Можно, кажется, прямо указать, куда держал путь Гоголь. Сосед Гоголей по имени В. Я. Ламиковский в январе 1830 года не без сарказма сообщал своему приятелю И. Р. Мартосу: «Никоша пишет к матушке: “я удивляюсь, почему хвалят Петербург, город сей более превозносится, чем заслуживает, и я, любезная маменька, намерен ехать в Соединенные Штаты”...»⁴³⁴. А. С. Данилевский, нежинский однокашник Гоголя, позднее вспоминал: «Его тянуло в какую-то фантастическую страну счастья и разумного производительного труда <...> такой страной представлялась ему Америка»⁴³⁵ (курсив наш. — И. В.).

Судя по всему, труд мелкого чиновника в Петербурге представлялся Гоголю и «неразумным», и «непроизводительным». 30 апреля 1830 года в письме к матери он замечал о занятиях петербургских чиновников: «...Все подавлено, все погрязло в бездельных, ничтожных трудах, в которых бесплодно издерживается жизнь их».

Очевидно, что предполагавшееся бегство в Америку в поисках достойного поприща во всем подобно у Гоголя его приезду в Петербург с той же целью. Еще в 1827 году Гоголь писал своему другу Г. И. Высоцкому о нежинских обывателях: «Они задавили корою своей земности <...> высокое назначение человека».

Можно догадываться и о причинах скорого — через два месяца — возвращения Гоголя из Германии. Разочарованный в Петербурге, Гоголь за границей неожиданно для себя встречается здесь... снова с «Петербургом!» — то есть с тем же «цивилизованным» европейским образом жизни, все «прелести» которого неизбежно должны были ожидать его и в Америке (в Любеке Гоголь знакомится с «гражданином Американских Штатов», из разговоров с которым мог составить себе соответствующее представление об этой стране; см. его письмо к матери от 25 августа н. ст. 1829 года). Взгляд на Петербург как на средоточие в России подавляющей человеческую личность европейской (и американской) цивилизации мы встречаем в одной из ранних статей Гоголя — «Петербургских записках 1836 года». Характеристика Петербурга в этих записках («что-то похожее на европейско-американскую колонию») совпадает со строками другой ранней статьи Гоголя, посвященными Америке, — «этой всемирной колонии, вавилонском смешении наций» («О преподавании всеобщей истории», 1834).

Несомненно, что Америка (как ранее Петербург) была утопией Гоголя — развевшейся при первом соприкосновении с действительностью. Много позднее архимандрит Феодор (Бухарев), беседовавший с Гоголем о его книге «Выбранные места из переписки с друзьями», в которой Соединенные Штаты тоже подвергались критике как государство-«автомат» — «колониальное» государство, «где неизвестны ни самоотвержение, ни благородство, а только корыстные личные выгоды», — возможно, со слов самого Гоголя замечал: «Америка в духовном отношении, — такой страждущий ребенок, который, может быть, более других зовет одну истинную мать человеческих душ Церковь Православную»⁴³⁶.

Материальные затруднения и проблема выбора пути, с которыми столкнулся Гоголь по приезде в Петербург, вплотную поставили перед ним вопрос о достойном употреблении дарованных ему Богом талантов. «Цивилизованный» Петербург, который первоначально представлялся юному Гоголю средоточием разнообразной человеческой деятельности, местом приложения самых разных сил и способностей, трудов на благо Отечества, на деле открылся ему как город «кипящей меркантильности», честолюбивых притязаний, развращающей роскоши — где каждый житель, от юноши до старика, тем или другим губительным для души «ремеслом» зарабатывает себе свою долю не менее пагубных и греховных «удовольствий»: «Здесь вы встретите почтенных стариков <...> бегущими так же, как молодые коллежские регистраторы, с тем, чтобы заглянуть под шляпку издали завиденной дамы, которой толстые губы и щеки, нащекатуренные румянами, так нравятся многим гуляющим...» («Невский проспект»). Такой предстала Гоголю по приезде в столицу истинная суть «просвещенного» европейскими новшествами «блестящего» Петербурга.

«Страшным оскорбительным упреком и праведным гневом поразит нас негодующее потомство, — писал позднее Гоголь во втором томе «Мертвых душ», — что <...> играя, как игрушкой, святым словом просвещения, правились швеями, парикмахерами, модами...». «Неприметно» и неотвратно растет «счет», предъявляемый в «Носе» майору Ковалеву «просвещенной» петербургской жизнью. Одним из многих такой счет предъявляет герою цирюльник Иван Яковлевич, образ которого прямо связан с размышлениями Гоголя о проникновении западноевропейской цивилизации в Россию, начавшемся «во время Петра, когда Русь превратилась на время в цирюльню, битком набитую народом; один сам подставлял свою бороду, другому насильно брили» (из письма Гоголя к М. П. Погодину от 1 февраля 1833 года). По словам рассказчика «Повести о капитане Копейкине» в «Мертвых душах», где тема петербургских соблазнов также является одной из ключевых, «платить цирюльнику — это составит, в некотором роде, счет» (ср. также упоминание о метели в «Ночи перед Рождеством», «намыливающей» героя снегом «проворнее

всякого цирюльника, тирански хватающего за нос свою жертву»). По такому же «счету» платит герой «Носа» актрисе («синяя ассигнация»), газете («дорого заплатить за объявление»), медику («благодарность за визит»), квартальному надзирателю («красная ассигнация»). Свой счет предъявляют «баба, продавая манишки», и прачка — «Воротничок его манишки был всегда чрезвычайно чист и накрахмален» («как можно реже отдавать прачке мыть белье» составляет, в частности, одну из статей экономии Акакия Акакиевича Башмачкина в «Шинели»). С дороговизной «съестных припасов» («Очень большая поднялась дороговизна на все припасы...» — замечает в «Носе» квартальный) связано упоминание о кондитерских, где майор Ковалев частый гость. — Замечание об этом можно, в частности, найти у Гоголя и в «Портрете»: «Одеться в модный фрак, раздеться после долгого поста <...> отправиться тот же час в театр, в кондитерскую, в... и прочее, — и он, схвативши деньги, был уже на улице». По особому «счету» — прямо связанному с пропажей носа — и оплачиваются в «Носе» «потребности», подсказанные в «Портрете» многозначительным отточием — именно исполнение «секретных приказаний» майора Ковалева «какой-нибудь смазливенькой» уличной торговкой — одной из будущих «нищих старух с завязанными лицами и двумя отверстиями для глаз, над которыми он прежде так смеялся». Прямой намек на эти «потребности» содержится в «Носе» в реплике частного пристава, потревоженного неурочным визитом к нему майора Ковалева и потому замечающего, что «у порядочного человека не оторвут носа и что много есть на свете всяких майоров, которые не имеют даже и исподнего в приличном состоянии и таскаются по всяким непристойным местам. — То есть не в бровь, а прямо в глаз».

Именно этому, связанному с «буквальной» утратой носа, мотиву гоголевской повести и соответствует ироническое рассуждение о носе в рассказе В. И. Карлгофа «Панегирик носу» (1832), на который в свое время было обращено внимание при изучении повести Гоголя⁴³⁷. В рассказе Карлгофа, в частности, говорится: «О нос! чистейший нравственностью, ты вопиешь о пороках того человека, который тебя носит <...> Твои улыки безмолвны, но *красноречивы*. Твой пунцовый цвет изобличает человека, предавшегося вполне Бахусу: ты как будто стыдишься слабости человека, носящего тебя, и вместе с тем, бросаясь в глаза каждому своим ярким цветом, для бедного грешника, как була отвержения от церкви. Но в этом ли одном пороке ты уличаешь смертных?»⁴³⁸. Уместно напомнить, что о «свидетельстве» носа в пристрастии человека к «Бахусу» (этот мотив, вообще говоря, нельзя назвать оригинальным⁴³⁹) Гоголь впервые упомянул в своих произведениях еще до публикации рассказа В. И. Карлгофа, в 1831 году. Эти упоминания появились тогда в повестях «Пропавшая грамота» и «Ночь перед Рождеством». Очевидно, Гоголь вполне са-

мостоятельно «нашел» объяснение тому, чему уделил позднее особое внимание в «Носе».

Примечателен в картине пагубных петербургских соблазнов, изображаемых Гоголем в этой повести, образ «спекулятора почтенной наружности», продающего «при входе в театр разные сухие кондитерские пирожки». «Спекулятор» по-церковнославянски — «палач» (лат. *spekulator*; см. Евангелие от Марка, гл. 6, ст. 27). К этому мотиву «Носа» примыкает, в частности, и образ цирюльника в «Иване Федоровиче Шпоньке...», где герой, «казнимый» опять-таки через пищу, гибнет от ее неумеренного употребления.

Так, «умерщвляемый» искусными «ремесленными» кулинарными приготовлениями своей матушки помещик Сторченко в «Иване Федоровиче Шпоньке...» сравнивается Гоголем — в тот момент, когда садится на свое обыкновенное, «лобное», место за столом и завешивается салфеткой — с теми «героями, которых рисуют цирюльники на своих вывесках». Соответственно изображается и матушка (играющая здесь как бы роль «тирана-цирюльника»): «...это была совершенная доброта. Казалось, она так и хотела спросить <...> сколько вы на зиму насаливаете огурцов? «Вы водку пили?» — спросила старушка». К этой же теме Гоголь обращался и во втором томе «Мертвых душ», в образе неистощимого в кулинарных выдумках помещика Петуха: «Закуске последовал обед. Здесь добродушный хозяин сделался совершенным разбойником»*.

Этот же мотив встречается в «Старосветских помещиках»: «Я любил бывать у них, и <...> обедался страшным образом <...> мне это было очень вредно <...> если бы <...> вздумал кто-нибудь таким образом накушаться, то <...> очутился бы лежащим на столе». — Всем этим провинциалам, однако же, чрезвычайно далеко, по Гоголю, до всевозможных петербургских «ресторанов-французов», представителей «обжорливой Европы», — «отворяющих кровь» своим клиентам как «десятерными ценами», так и распаением пагубного сластолюбия.

Теме идеологического «оправдания» порока, пагубных «ремесл» западной цивилизации, — и гибели художника, вставшего на путь доходного «ремесла», посвящена следующая, после «Носа», повесть Гоголя из петербургской жизни — «Портрет». Сюжет этой повести был намечен Гоголем еще в статье «Несколько слов о Пушкине» (датированной 1832 годом и опубликованной в 1835 году в «Арабесках»). Так, в судьбе художника Черткова, начавшего льстить в создаваемых им портретах самолю-

* Помимо прочего, в этих образах угадывается и содержание басни И. А. Крылова — одного из любимых Гоголем поэтов: «“Соседушка, мой сват! Пожалуйста, покушай”. — “Соседушка, я сыт по горло”. — “Нужды нет, еще тарелочку; послушай: ушица, ей-же-ей, на славу сварена!”» («Демьянова уха»).

бию своих заказчиков, прямо угадываются строки статьи Гоголя о Пушкине: «Масса публики, представляющая в лице своем нацию, очень странна в своих желаниях; она кричит: «Изобрази нас так, как мы есть, в совершенной истине <...>». Но попробуй поэт <...> изобразить все в совершенной истине <...> она тотчас заговорит: «<...> это нехорошо <...>». Масса народа похожа в этом случае на женщину, приказывающую художнику нарисовать с себя портрет совершенно похожий...». Эта мысль прямо повторена Гоголем в «Портрете»: «Дамы требовали <...> облегчить все изыянцы и даже, если можно, избежать их вовсе. <...> Мужчины тоже были ничем не лучше дам». Именно так — идя на поводу публики, и поступает в повести художник Чертков: «Он бесстыдно воспользовался слабостью людей, которые за лишнюю черту красоты, прибавленную художником к их изображениям, готовы простить ему все недостатки».

Позднее критик Д. И. Писарев, размышляя по поводу проблем, поставленных Гоголем в «Портрете» (и впоследствии в «Мертвых душах»), писал: «Ноздревы, Чичиковы, Собакевичи <...> ищут себе <...> таких художников, которые, сохраняя им все их типические особенности, превратили бы их в милых, интересных и очаровательных героев романа: “<...> Эй, поэты, воспойте нас <...>. За деньгами мы не постоим”»⁴⁴⁰. Прямое соответствие этому замечанию Писарева можно найти в противопоставлении Гоголем в заключении шестой — начала седьмой глав первого тома «Мертвых душ» «возвышенного» Шиллера и «писателя, дерзнувшего вызвать наружу все, что ежеминутно пред очами и чего не зрят равнодушные очи»; а также размышлений в одиннадцатой главе поэмы о «так называемых патриотах»: «...Они выбегут со всех углов <...> и подымут вдруг крики: “Да хорошо ли выводить это на свет, провозглашать об этом?”».

Подразумевая эти строки и имея в виду содержание «Невского проспекта», Писарев в свою очередь замечал: «Гете, конечно, очень умен, очень объективен, очень пластичен и так далее; все это при нем и останется на вечные времена. Но своему отечеству Гете сделал чрезвычайно много зла. Он, вместе с Шиллером, украсил, тоже на вечные времена, свиную голову немецкого филистерства лавровыми листьями бессмертной поэзии. Благодаря этим двум поэтам немецкий филистер имеет возможность мирить высшие эстетические наслаждения с самою бесцветною пошлостью <...>. Он читает своих великих поэтов, и вздыхает над ними, и умиляется, и заводит глаза, как откормленный кот, и остается безнадежным пошляком, и твердо уверен при этом, что он человек и что ничто человеческое ему не чуждо»⁴⁴¹.

Показательный пример «безнадежной» пошлости немецкого романтика-«филистера», рассказывал в 1849 году сам Гоголь. «...Немец вообще не очень приятен, — говорил он, — но ничего нельзя себе представить не-

приятнее немца-ловеласа, немца-любезника, который хочет нравиться». И Гоголь рассказал, как встретил однажды «такого ловеласа в Германии». Этот немец-«ловелас» добился успеха у своей возлюбленной тем, что, по словам Голея, каждый вечер, раздевшись, бросался в пруд и плавал перед ее глазами, «обнявши двух лебедей, нарочно им для сего приготовленных». «Вообразал ли он в этом что-то античное, мифологическое,— заканчивал рассказ Гоголь,— или рассчитывал на что-нибудь другое, только дело кончилось в его пользу: немка действительно пленилась этим ловеласом и вышла скоро за него замуж»⁴⁴².

Здесь необходимо затронуть весьма важный, принципиальный для понимания гоголевского творчества вопрос. Несомненно, в своих «петербургских» и «непетербургских» повестях, вошедших в третий том собрания сочинений,— от «Невского проспекта» до «Рима» — Гоголь прослеживает пагубное, «опошляющее» и растлевающее воздействие на душу человека западной ремесленной цивилизации — цивилизации «Шиллеров, Гофманов и Кунцев». Однако парадоксально, что именно эти повести, где наиболее сильно воплощено Гоголем развенчание секуляризованной европейской культуры, первоначально отнесены были критиками... к плодам влияния немецкого романтизма.¹

В. Г. Белинский, например, в 1835 году писал о гоголевском «Портрете», что это «фантастическая повесть à la Hoffmann <Гофман>»⁴⁴³. С. П. Шевырев в 1842 году также полагал, что в повестях «Арабесок» и в «Носе» Гоголь «подчинялся немецкому влиянию»⁴⁴⁴.— Добавим, впрочем, что в 1843 году Шевырев отчасти пересмотрел свои взгляды и писал Гоголю, что «Портрет» являет собой произведение, не укладывающееся в рамки «немецких» теорий⁴⁴⁵. Впоследствии исследователями был высказан еще целый ряд замечаний о существенном отличии гоголевских повестей от произведений немецких романтиков⁴⁴⁶. Тем не менее вопрос этот остался до конца не проясненным.

Отношение Гоголя к европейскому романтизму лучше всего может быть понято из собственных высказываний писателя. В статье «Петербургская сцена в 1835—36 г.» Гоголь писал: «...Что такое романтизм? <...> это больше ничего, как стремление подвинуться ближе к нашему обществу, от которого мы были совершенно отдалены подражанием обществу и людям, являвшимся в созданиях писателей древних <...>. Но как только <...> выказывался талант великий, он <...> обращал это романтическое, с великим вдохновенным спокойствием художника, в классическое, или, лучше сказать, в отчетливое, ясное, величественное создание. Так совершил это Вальтер Скотт и, имея столько же размышляющего, спокойного ума, совершил бы Байрон...».

Однако, согласно размышлениям Гоголя, Байрон, не имея этого «размышляющего, спокойного ума», не только не «продвинулся ближе к

нашему обществу», но, напротив,— «от бессилия передать <...> светлость и величие» жизни создал себе «в замену отвергнутого собственнй <...> нестройный и чудный мир» (статья «О поэзии Козлова», 1831—1832). «Он слишком жарок, слишком много говорит о любви и почти всегда с исступлением,— замечал Гоголь о Байроне в письме к А. С. Данилевскому от 20 декабря 1832 года.— Это что-то подозрительно».

Еще менее Байрона, согласно статье Гоголя «Петербургская сцена...», оказались способными к созданию нового «классического» произведения французские романтики во главе с В. Гюго. «Их имя,— замечал Гоголь,— не остается в числе чистых воспоминаний». Далее он писал о драме В. Гюго «Венецианская актриса»: «В этой драме, как во всех других, показал Гюго в полной мере молодость и незрелость своего таланта...». В «напряженных произведениях необузданной французской музыки» (повесть «Рим») обнаруживается, на взгляд Гоголя, отрыв от жизни едва ли не больший, чем в удаленных от современности созданиях «писателей древних» или продолжателей античной традиции писателей-классицистов, вроде Мольера. «Когда весь мир ладил под лиру Байрона,— размышлял Гоголь в «Петербургских записках 1836 года»,— <...> в этом стремлении было даже что-то утешительное. Но Дюма, Дюканж и другие стали всемирными законодателями!.. <...> О Мольер, великий Мольер! <...> Где <...> жизнь наша? где мы со всеми современными страстями?.. <...> лжет самым бессовестным образом наша мелодрама...». «Стремление к странному произвело <...> в такой степени отступление в драме,— писал он и в статье «Петербургская сцена...»,— какого не произвели прежние классические писатели педантической аккуратностью и отчетливостью <...> Мольер <...> явившись в нынешнее время, изгнал бы нынешнюю <...> незаконную драму».

С этими размышлениями прямо связано ироническое замечание Гоголя о «решительном торжестве» романтизма над классицизмом — «французским кораном на ходульных ножках», высказанное им ранее в письме к А. С. Пушкину от 21 августа 1831 года. Говоря о решительной «победе» романтизма над классицизмом, Гоголь с иронией писал здесь о том, что будто бы «в Англии Байрон, во Франции необъятный великостью Виктор Гюго, Дюканж и другие, в каком-нибудь проявлении объективной жизни, воспроизвели новый мир ее нераздельно-индивидуальных явлений».

Можно заметить, что оба упоминаемых здесь явления — и романтизм, и классицизм — в своем равном отвлечении от реальной жизни одинаково подходят под гоголевское определение (в статье «Об архитектуре нынешнего времени», 1835) «восточного воображения» — источника арабских «волшебных сказок» и «азиатской роскоши» — «воображения <...> горячего, чудесного, облекшегося в иперболу и аллегорю, пролетевшего мимо жизни и прозаических нужд ее». В качестве одного из предста-

вителей этого «романтизмo-классицизма» Гоголь изобразил в «Арабесках» отвлеченного «философа-теоретика» арабского халифа Ал-Мамуна, пребывающего «в государстве муз, им же самим созданном и совершенно отделенном от мира политического». С этой же характеристикой отвлеченного, «романтического» воображения «классического» Востока (а также с ироническим определением классицизма как «французского корана на ходульных ножках») прямо перекидается и замечание Гоголя о настоящем создателе Корана в университетской лекции 1834 года «Первобытная жизнь арабов...»: «Желая сильнее действовать на пламенную, чувственную природу арабов, <Магомет> обещал рай, облеченный всею роскошью восточных красок...».

Несомненно, с гоголевским определением романтизма в статье «Петербургская сцена...» — как проявления «стремления подвинуться ближе к нашему обществу» — мог вполне согласиться князь В. Ф. Одоевский, который в 1833 году, в период наиболее тесного творческого и дружеского общения с Гоголем (работа над альманахами «Тройчатка» и «Двойчатка», участие Гоголя в издании «Пестрых сказок» Одоевского и др.), записал в своем дневнике: «До сих пор я стою на распутьи, и вся жизнь выходит на мелочи. Не для того ли определил мне это Бог, чтобы я мог понять заблудших, перечувствовать их чувства, передумать их мысли — и говорить им их языком»⁴⁴⁷. Позднее, имея в виду псалмы св. пророка Давида, Гоголь писал Н. М. Языкову: «Все тут сердечный вопль и непритворное восторженное к Богу <...> Перечти их внимательно <...> Но из твоей души должны исторгнуться другие псалмы, не похожие на те, из своих страданий и скорбей ишедшие, может быть, более доступные для нынешнего человечества...» (письмо от 15 февраля н. ст. 1844 года). «Книга моя,— замечал Гоголь по поводу «Выбранных мест из переписки с друзьями» в письме к отцу Матфею Константиновскому от 9 мая н. ст. 1847 года,— подействовала только на тех, которые не ходят в церковь <...> если кто-нибудь только помыслит о том, чтобы сделаться лучшим, то он уже непременно потом встретится со Христом, увидевши ясно, как день, что без Христа нельзя сделаться лучшим, и, бросивши мою книгу, возьмет в руки Евангелие».

Задачу самого фантастического в искусстве Гоголь видел прежде всего в отрешении читателя «от материализма». На это он, в частности, указывал, характеризуя в «Выбранных местах из переписки с друзьями» немецкую фантастическую литературу — а также превосходящую ее, по решению указанной задачи, фантастическую поэзию В. А. Жуковского: «Неясные грезы, таинственные предания, необъяснимые чудесные происшествия <...> стали предметом немецких поэтов. <...> Чуткая поэзия наша остановилась с любопытством младенца перед таким явлением. Ее собственные славянские начала напомнили ей вдруг о чем-то похожем.

<...> Жуковский, наша замечательнейшая оригинальность! Чудной, высшей волей вложено было ему в душу от дней младенчества непостижимое ему самому стремление к незримому и таинственному <...> Внеся это <...> дотоле незнакомое нашей поэзии стремление в область незримого и тайного, он отрешил ее самую от материализма не только в мыслях и образе их выраженья, но и в самом стихе, который стал легок и бестелесен, как видение». Эти строки прямо напоминают характеристику Гоголем в «Переписке с друзьями» народной песни и «церковных песней и канонов» — одинаково (хотя и в разной степени) проникнутых, по наблюдению писателя, «желаньем лучшей отчизны»: «стремлением как бы унести куда-то вместе с звуками».

Самому Гоголю — писателю не менее «самобытному и самоцветному», чем Жуковский, в изображении скрытых потусторонних сил как очевидной реальности главным образцом тоже служила не столько немецкая романтика, сколько традиционное наследие православной отечественной культуры — в частности, известная Гоголю с раннего детства богатая житейная литература⁴⁴⁸. Прежде всего здесь, и в Священном Писании, эти явления изображаются не как литературный вымысел или игра фантазии, но как отражение реальной действительности.

Как заметил в 1902 году о Гоголе И. И. Замотин, «религиозный его идеал <...> духовное созерцание, которое сближает религиозные воззрения Гоголя с такими же воззрениями романтиков, в представлении его слились с нашим древнерусским идеалом святости, о котором забыли русские вольтерьянцы конца XVIII и начала XIX столетия»⁴⁴⁹. В повести «Портрет», — отмечал И. И. Замотин, — «кроме двух молодых художников автор рисует еще тип скромного, набожного живописца, какие только жили, по его замечанию, во время религиозных средних веков»⁴⁵⁰. Параллель к этому типу, полагал исследователь, можно указать, с одной стороны, в древнерусской житейной литературе, например, в рассказе об Алипии иконописце в Киево-Печерском патерике, с другой — в немецких романтических произведениях, в частности, в романе Л. Тика «Странствования Франца Штернвальда» (1798), где тоже излагается история живописца и «проглядывает мысль, что благочестие должно быть основой художественной деятельности»⁴⁵¹.

Сам Гоголь, однако, с куда большей трезвостью (чем его исследователи) отличал религиозность немецкой романтической школы от подлинного христианского мирозозерцания. Не случаен интерес, проявленный Гоголем в 1833 году к характеристике романтизма С. С. Уваровым в связи с «антиромантической» интерпретацией последним творчества И.-В. Гете: «...В то время, когда безверие проникло в Германию, когда страсть к отвлеченностям поколебала основания нравственных знаний, Гете <...> бичевал грозным сарказмом их суесловие и пылливость. <...>

Фауст <...> представляет собой <...> возвышенную сатиру на страсть немцев копаться в глубинах и пропастях таинственности <...> страсть, безумно воспитанную трансцендентальную философию, разрушительное действие коей ускорили позднейшие мудрования»⁴⁵². В письме к А. С. Пушкину от 23 декабря 1833 года Гоголь дал следующую оценку этому выступлению Уварова: «Я понял его еще более по тем беглым, исполненным ума замечаниям и глубоким мыслям во взгляде на жизнь Гётте». Известно, что отрицательная оценка Уваровым европейского романтизма нашла отражение и в его официальном циркуляре от 27 июня 1832 года о борьбе с романтической литературой — как действующей на читателя ко вреду его «морального чувства и религиозных понятий». По мнению Ю. Г. Оксмана, на этом циркуляре основывалось позднее, в феврале 1834 года, запрещение гоголевского «Кровавого бандуриста» — причисленного (сначала Н. И. Гречем, затем А. В. Никитенко) к произведениям «новой французской школы»⁴⁵³. Между тем, по замечанию П. Г. Паламарчука, «картины страданий» в «Кровавом бандуристе» были навеяны Гоголю не «новой французской школой», а украинскими летописями⁴⁵⁴. Очевидно, цензуру ввело в заблуждение чисто внешнее сходство гоголевского отрывка с произведениями французских романтиков, — точно так же, как позднее подобное сходство породило мнение исследователей о «романтизме» гоголевских петербургских повестей.

В этом смысле весьма примечательно изложенное Гоголем в «Портрете» эстетическое кредо русского художника, обучавшегося в Италии, — который «стоял ни за <...> ни против пуристов <...> и, наконец, оставил себе в учителя одного божественного Рафаэля». Строки нуждаются в некотором пояснении.

Пуристами называли в 1820—1840-х годах группу немецких религиозных художников во главе с Ф. Овербеком и П. Корнелиусом, известных также под названием назарейцев (от Назарета — городка в Галилее, где прошли детские и отроческие годы Спасителя). По словам М. П. Погодина, посетившего в 1839 году Овербека, немецкий художник был «очень привязан к Ж<уковскому>, с которым они сошлись во вкусе и понятиях о живописи, и соблазнили, вместе с Г<оголем>, и некоторых наших художников»⁴⁵⁵. Однако, по свидетельству П. В. Анненкова, общавшегося с Гоголем в Риме в 1841 году, Гоголь весьма критически отзывался о художниках-«назарейцах». Анненков вспоминал: «Раз после вечера, проведенного с одним знакомым живописца Овербека, рассказывавшим о попытках этого мастера воскресить простоту, ясность, скромное и набожное созерцание живописцев дорафаэлевской эпохи, мы возвращались домой, и я был удивлен, когда Гоголь, внимательно и напряженно слушавший рассказ, заметил в раздумье: “Подобная мысль могла только явиться в голове немецкого педанта”»⁴⁵⁶. Подтверждение этому

свидетельству Анненкова можно найти у самого Гоголя в повести «Рим», где, говоря о постепенном знакомстве героя с древним Римом, он замечал, что приехавший после долгого отсутствия на родину римский князь изучал его «не так, как иностранец»-«педант», — «преданный одному Титу Ливию и Тациту, бегущий мимо всего, к одной только древности, желавший бы в порыве благородного педантизма срыть весь новый город, — нет, он находил все равно прекрасным: мир древний, шевелившийся изпод темного архитрава, могучий средний век, положивший везде следы художников-исполинов и великолепной щедрости пап, и, наконец, прилепившийся к ним новый век...».

Как можно судить из других высказываний Гоголя, в творчестве художников-назарейцев его не устраивало прежде всего внешнее подражание старым мастерам, изучение старины извне, без вживания в живую ткань Предания Церкви. «...Пока в самом художнике не произошло истинное обращение ко Христу, не изобразить ему того на полотне», — замечал Гоголь в статье «Исторический живописец Иванов». Для достижения полноты «первобытного типа» иконы — без которого религиозное изображение не может, по убеждению Гоголя, считаться настоящей иконой — художнику необходимо вхождение в жизнь и опыт Церкви. В письме к В. А. Жуковскому от 28 февраля 1850 года Гоголь, в частности, писал: «Друг, ты требуешь от меня изображений Палестины со всеми ее местными красками <...> Я думаю, что вместо меня всякий простой человек, даже русский мужичок, если только он с трепетом верующего сердца поклонился, обливаясь слезами, всякому уголку Святой Земли, может рассказать тебе более всего того, что тебе нужно». Подчеркивая превосходство живой жизни во Христе перед «рабским», «педантическим» следованием традиции, Гоголь 14 декабря н. ст. 1844 года писал С. П. Шевыреву о воспитании молодых людей: «...Чаще будем изображать им настоящий Образец человека, Который есть совершеннейшее из всего, что увидел слабыми глазами своими мир <...> еще лучше, если мы даже и говорить им не будем о Нем, о Совершеннейшем, но заключим Его сами в душе своей, усвоим Его себе, внесем Его во все наши движения <...> Не нужно даже <...> и говорить: “Я скажу в таком-то духе”. Дух этот будет веять сам собою от каждого нашего слова».

Потому-то формальным попыткам художников-пуристов вернуться к дорафаэлевской традиции Гоголь предпочитал, подобно художнику «Портрета», более ошутимое — «для всех, отделившихся от христианства» — «веяние духа» в созданиях «божественного Рафаэля». («...Есть много охотников действовать сгоряча, по пословице: “Рассердясь на вши, да шубу в печь”, — писал, в частности, Гоголь в статье «О театре, об одностороннем взгляде на театр и вообще об односторонности» (1846) по поводу обвинений Пушкина в «нехристианстве», — <...> через это уничто-

жается много того, что послужило бы всем на пользу. <...> Односторонность в мыслях показывает только то, что человек еще на дороге к христианству, но не достигнул его, потому что христианство дает уже многосторонность уму».) При этом сама оценка творчества Рафаэля проистекала у Гоголя из представления о глубоких византийских корнях итальянской живописи. В одной из своих исторических выписок начала 1830-х годов Гоголь отмечал: «Живописное искусство перешло из Византии в Русь прежде, нежели в Италию <...> Чимабуэ* <...> обучаясь у греческих живописцев <...> воскресил это художество в своем отечестве» («Особые заметки»). Как вспоминала А. О. Смирнова, Гоголь любил Рафаэля, сравнительно с другими итальянскими живописцами, именно за «сжатый строгий рисунок» и, в частности, выделял Джованни Беллини за «божественную наивность». «Но все это,— добавлял Гоголь,— не может сравниться с нашими византийцами, у которых краска ничего, а все в выражении и чувстве»⁴⁵⁷.

Вероятно, именно об этом «выражении и чувстве» и упоминает рассказчик «Портрета», когда восхищается изображением Пресвятой Богородицы, написанным старцем-монахом: «Я был поражен глубоким выражением божественности в Ее лице». (Об этом же «выражении божественности» Гоголь писал позднее и графине А. М. Виельгорской: «В древней иконописи, украшающей старинные наши церкви, есть удивительные лики и на ликах удивительные выражения»; письмо от 16 апреля 1849 года.)

Подчеркнем, что в «Портрете» труд монаха-художника, изобразившего «выражение божественности» в лице Богородицы, приобретает у Гоголя прямо вероучное, даже догматическое значение. Непосредственно в период создания «Портрета» Гоголь в одной из лекций, читанных в Петербургском университете (а также в своей статье «О движении народов в конце V века», опубликованной в «Арабесках»), говоря о жарких спорах и «духовных прениях» в Византии, упоминал, в частности, о ереси Константинопольского патриарха Нестория, «дерзко отвергавшего божественность Девы Марии» («Состояние Восточной Римской империи во время религиозных споров...»). Художник «Портрета», подчеркнувший — как бы вопреки этим еретическим мнениям — удивительное «выражение божественности» в лице Богородицы, приблизился, таким образом, по Гоголю, к самой сути православной иконы.

* Чимабуэ Джованни (наст. имя Ченни ди Пено; ок. 1240 — ок. 1302) — итальянский живописец, творчество которого продолжает византийскую традицию, получившую развитие в Италии после взятия крестоносцами Константинополя в 1204 году.

Именно поэтому, скептически относясь к попыткам немецких художников-«назарейцев» к возрождению религиозного созерцания «дорафаэлевской эпохи» (искусство иконописи могло быть освоено в неправославной среде художников-назарейцев лишь внешним образом), Гоголь в то же время разделял с ними (в отличие, скажем, от своего героя наивного кузнеца Вакулы) критику современной западной живописи, которая, согласно гоголевской оценке, утратила духовные основы творчества. В этом смысле к Гоголю вполне могут быть отнесены слова, высказанные в 1858 году А. С. Хомяковым о творчестве художника А. А. Иванова (Хомяков прямо утверждал, что Иванов был «в живописи тем же, чем Гоголь в слове»⁴⁵⁸): «Иванов не впадал в ошибку современных нам до-Рафаэлистов. Он не подражал чужой простоте; он был искренно, а не актерски прост в искусстве, и мог быть простым потому, что имел счастье принадлежать не пережитой односторонности латинства*, а полноте Церкви, которая пережита быть не может»⁴⁵⁹. Характерно, что Болонскую академическую школу живописи XVI—XVIII веков — «самое разгульное» (по словам еще одного из друзей Гоголя, Ф. В. Чижова) «время искусства, когда очень мало заботились о сохранении священных преданий»⁴⁶⁰ — Гоголь прямо называл «пекарской»⁴⁶¹ (подразумевая под этим ниспадение искусства к ремеслу). Подобная оценка западной религиозной живописи проистекала у Гоголя прежде всего из того, что Болонская школа, по словам П. В. Анненкова, «являсь после всех, получила в наследство опытность, но потеряла религиозное вдохновение, младенческую простоту и святость»⁴⁶². Протопресвитер профессор В. В. Зеньковский в одной из своих ранних работ о Гоголе непосредственно указывал на развитие этой темы в гоголевском «Портрете»: «В Черткове <...> необычайно рельефно изображено потухание его дара под давлением твердеющих в нем привычек, которые не дают простора подлинному вдохновению. Контраст техники и вдохновения ведет к тому, что при торжестве техники замирает вдохновение...»⁴⁶³.

Исходя из представлений Гоголя о глубоком нравственном падении современного «цивилизованного» общества, можно заключить, что высокая оценка Гоголем Рафаэля — при одновременно критическом к нему отношении — объясняется во многом именно стремлением отстоять и противопоставить светское искусство Ренессанса откровенно развращающему воздействию на человека новейшего «ремесла» — в частности, позднейшей, послерафаэлевской живописи. Не случайно модный живописец Чартков в «Портрете», льстящий развращенным вкусам заказчиков, замечает, что художники «до Рафаэля писали не фигуры, а селедки;

* А. С. Хомяков имел в виду, что Ф. Овербек, вместе с своими товарищами немецкими художниками, перешел в 1813 году из протестантизма в католичество.

что существует только в воображении рассматривателей мысль, будто бы видно в них присутствие какой-то святости; что сам Рафаэль даже писал не все хорошо». По свидетельству О. Н. Смирновой (дочери А. О. Смирновой), в этом эпизоде в уста своего героя Гоголь вложил слова одного из художников, живших в Риме: «Гоголь возмущался суждениями Дмитриева, особенно тем, что Дмитриев называл школу Перуджино *les primitifs** и рафаэлевские селедки»⁴⁶⁴. (К характеристике Дмитриева стоит добавить, что хорошо знавший этого художника Александр Иванов в письме к отцу от начала 1839 года, в частности, сообщал, что Дмитриев «женился с переменою веры». Здесь же Иванов отзывался о Дмитриеве, что «этот человек <...> ничего не имеет и ничего не умеет»⁴⁶⁵.)

При всей, однако, апологии рафаэлевского творчества (объясняющейся задачами критики новейшей ремесленной живописи) можно опять-таки и в «Портрете» найти строки, прямо соответствующие сказанному Гоголем в беседе с А. О. Смирновой о «наших византийцах» — превосходящих своим «выражением и чувством» самого Рафаэля. (Суть скептического отношения Гоголя к западной живописи — как дорафаэлевской, так и послерафаэлевской эпохи — при безусловном предпочтении им византийской иконописи, хорошо проясняют строки его статьи о русской поэзии в «Переписке с друзьями»: «...Есть уже внутри самой земли нашей что-то смеющееся над всем равно, над стариной и над новизной, и благоговееющее только пред одним нестареющим и вечным».)

Предпочтение Гоголем Рафаэлю «наших византийцев» отзывается в «Портрете» в размышлениях автора о русском художнике, который «веровал простой, благочестивой верою предков, и оттого, может быть, на изображенных им лицах являлось само собою то высокое выраженье, до которого не могли докопаться блестящие таланты». Опять-таки об этом «высоком выраженьи» размышлял, очевидно, Гоголь, и когда писал в «Портрете» о «свете какой-то непостижимой, скрытой во всем мысли», — без которого «самая природа» в картине художника, тщательно ей следующего, «кажется низкою, грязною», — «нет в ней чего-то озаряющего».

Примечательно, что неудачу самого художника-иконописца в исполнении важного заказа для «вновь отстроенной богатой церкви», Гоголь тоже объяснял тем, что, утратив присущие обычно этому художнику благочестивые чувства, тот задался целью превзойти своих товарищей исключительно внешним мастерством, — уподобившись тем самым «блестящим», но бесплодным в духовном отношении «талантам», которых раньше превосходил. На это указывает в «Портрете» отзыв некой «духовной особы» о написанной им тогда картине: «В картине художника, точно, есть много таланта <...> но нет святости в лицах; есть даже, на-

* примитивной (*фр.*)

против того, что-то демонское в глазах...». Вероятно, в основу этого эпизода Гоголь положил реальный случай с художником Ф. А. Бруни, — талант которого Гоголь находил в 1841 году даже «более зрелым», чем блестящий, эффектный талант К. П. Брюллова⁴⁶⁶ (отдельные черты Брюллова Гоголь использовал тогда при создании образа модного живописца Чарткова⁴⁶⁷). В 1838 году в картине Ф. А. Бруни, написанной для возобновлявшейся после пожара 17 декабря 1837 года церкви Зимнего Дворца, Император Николай I увидел демоническое выражение. Об этом случае вспоминал позднее ученик К. П. Брюллова художник М. И. Железнов: «...Ф. А. Бруни написал на холсте четыре колоссальные фигуры Евангелистов для возобновлявшейся после пожара большой церкви Зимнего дворца и, по окончании их, уехал в Рим. После его отъезда Государь посетил Академию и пошел по мастерским <...> Взглянув на голову фигуры Евангелиста Иоанна Богослова, <он> громко воскликнул: “Ну, этой головы оставить нельзя. Это ч<...>, а не Евангелист!”»⁴⁶⁸. Об этом эпизоде вспоминал и другой современник, Н. И. Сазонов: «...Бруни, находившийся в Риме, послал в Академию художеств ряд картин, и императора пригласили их посмотреть. Николай отправился в Академию и после осмотра одной из картин <...> сказал: “...Бруни развращается в Италии; у его ангелов нет святости во зоре...”»⁴⁶⁹.

В статье «Исторический живописец Иванов» в соответствии с размышлениями о тщетности мастерского живописного исполнения картины при отсутствии в ней подлинного духовного содержания (когда художник, черпает поэзию «вокруг себя», но не имеет ее «в себе», по словам Гоголя в письме к М. П. Балабиной от 5 сентября н. ст. 1839 года), Гоголь замечал: «Иванов сделал все, что другой художник почел бы достаточным для окончания картины <...> лица <...> ландшафтная часть <...> все изобразил, чему только нашел образец. Но как изобразить то, чему еще не нашел художник образца? <...> Иванов молил Бога <...> чтобы огнем благодати испепелил в нем ту черствость, которою теперь страждут многие наилучшие и наилучшие люди...». Подобным образом и в самом «Портрете» не благодаря совершенствованию техники живописи, но подвигами покаяния, поста и молитвы, — и не поездкой в «красавицу»-Италию, но удалением в уединенный северный монастырь, «монастырь посреди природы бледной, обнаженной», — но своим «осенним» видом «собирающей рассеявшиеся мысли», обретает «благословенье небес» на свой труд очистивший свою душу монах-художник.

Очевидна и иерархия картин, созданных двумя «идеальными» художниками «Портрета». В описании первой, принадлежавшей художнику, «усовершенствовавшемуся» в Италии, рассказчик обращает внимание на «высокое благородство положений», «окончательное совершенство кисти», «плывучую округлость линий» — указывает прежде всего на «ге-

ниальность» художника — как в изучении Рафаэля и Корреджио, так и в наблюдении над природой («во всем постигнут закон и внутренняя сила»). Вторая «картина» написана, как отмечает рассказчик, художником, тоже вполне постигнувшим «присутствие мысли в каждом предмете» — осознавшим «истинное значение слова “историческая живопись”» («почему простую головку, простой портрет Рафаэля, Леонардо да Винчи, Тициана, Корреджио можно назвать историческою живописью»), однако преимущественно посвятившим свою кисть не изображению природы, но изначально обратившимся «к христианским предметам, высшей и последней ступени высокого». Очевидно, что картина первого, прошедшего выучку в Италии художника по самому предмету изображения уступает созданию художника-аскета. Потому-то в «картине» последнего подчеркивается уже не столько мастерство исполнения, сколько то, чего не могли достичь, при всем своем их совершенстве, «даже значительные художники» (что, по словам рассказчика, он «очень редко встречал даже в картинах известных художников»), — именно «то высокое выраженье, до которого не могли докопаться блестящие таланты».

Несомненно, подлинное назначение искусства, по Гоголю, — это прежде всего иконопись, создание образа для подражания. Оторвавшись от своего настоящего призвания, модный художник в «Портрете» становится, по Гоголю, создателем не икон — образцов достойных поклонения, но, напротив, «образов» отверженного мира, «идеалов» растлительных, пагубных — идолов. На это «иконографическое» начало в деятельности петербургского художника указывают в «Портрете» строки заказанной Чартковым «ходячей газете» рекламной статьи, в которой говорится о способности новоявленного художника достойным образом перенести «прекраснейшие физиогномии» петербургских обывателей «на чудотворный холст, для передачи потомству».

Идя на поводу тщеславного желания павшего человека служить образцом для других, стать предметом поклонения и обожания («обожения»), художник «Портрета» как бы наглядно иллюстрирует рассказ из Книги Премудрости Соломона о происхождении идолопоклонства: «Кого в лицо люди не могли почитать по отдаленности жительства, того отдаленное лицо они изображали: делали видимый образ почитаемого царя, дабы этим усердием польстить отсутствующему <...> К усилению же почитания <...> поощряло тщание художника, ибо он, желая, может быть, угодить властителю, постарался искусством сделать подобие прекраснее; а народ, увлеченный красою отделки, незадолго пред тем почитаемого, как человека, признал теперь божеством».

В точном соответствии с этим библейским повествованием Гоголь изображает в «Портрете» и последствия почитания произведенных таким образом «идеалов»: «И это было соблазном для людей, <...> они <...> не

берегут ни жизни, ни чистых браков <...> Всеми <...> обладают кровь и убийство, хищение и коварство, растление <...> и распутство»⁴⁷⁰. Именно на этот результат «художнической» деятельности указывают у Гоголя строки газетного объявления «О необыкновенных талантах Чарткова»: «Теперь красавица может быть уверена, что она будет передана со всей грацией своей красоты воздушной, легкой, очаровательной, чудесной, подобной мотылькам, порхающим по весенним цветкам». Об этих «мотыльках» и упоминает Гоголь в описании праздной толпы обольстительного Невского проспекта — «главной выставки» грациозных «талией», «хорошеньких глазок» и «ножек в очаровательных башмачках»: «Кажется, как будто целое мое мотыльков поднялось вдруг со стеблей и волнуется блестящею тучею над черными жуками мужеского пола».

Привлеченная газетным объявлением светская петербургская дама вполне восхищена возможностью увидеть свою дочь в одном из соблазнительных образов языческого пантеона — именно «в виде Психеи». Ей и самой, по замечанию рассказчика, хотелось бы предстать «в виде какой-нибудь Психеи» — «чтобы на лицо можно было засмотреться, если даже не совершенно влюбиться». «Знаете ли, — сообщает дама художнику Чарткову, заказывая ему портрет своей дочери, — <...> на ней теперь платье; я бы, признаюсь, не хотела, чтобы она была в платье...» — «...к которому мы так привыкли...» — как бы поправляется она, скрывая невольно высказавшуюся мысль.

Довольно быстро в своем ниспадении к доходному ремеслу художник Чартков «добрался, в чем было дело, и уж не затруднялся нисколько. <...> Кто хотел Марса, он в лицо совал Марса, кто метил в Байрона, он давал ему байроновское положение и поворот. Коринной ли, Ундиной, Аспазией ли желали быть дамы, он с большой охотой соглашался на всё и прибавлял от себя уже всякому вдоволь благообразия...».

Как бы подводя итог этим размышлениям, Гоголь замечал позднее в «Переписке с друзьями» о характере русской поэзии: «Как бы слыша, что ее участь не для современного общества, неслась она все время свыше общества; если ж и опускалась к нему, то разве затем только, чтобы хлестнуть его бичом сатиры, а не передавать его жизнь в образец потомству». Поэтому, выступая в 1830-х — 1840-х годах, вместе с С. П. Шевыревым, против распространения в литературе европейского так называемого «торгового направления», Гоголь считал более важным указать не столько на низменные мотивы деятельности корыстолюбивого художника-«ремесленника» (которые беззастенчиво провозглашала петербургская «ходячая газета»: «Виват, Андрей Петрович <...> Прославляйте себя и нас. <...> Всеобщее стечение, а вместе с тем и деньги, хотя некоторые из нашей же братьи журналистов и восстанут против них, будут вам наградою»), сколько на развращающее влияние в обществе низкопробных

произведений, созданных этими «художниками». По словам Гоголя в статье «О движении журнальной литературы, в 1834 и 1835 году», Шевырев «обратил внимание не на главный предмет. <...> Он гремел против пишущих за деньги, но не разрушил никакого мнения в публике касательно внутренней ценности товара. <...> Что литератор купил себе доходный дом или пару лошадей, это еще не беда; дурно то, что часть бедного народа купила худой товар и еще хвалится своею покупкою».

В «петербургских» повестях Гоголь показывает пагубное влияние «цивилизованного» Петербурга не только на развитие «высоких» дарований — поэтов, писателей, художников, но изображает и незавидную участь талантов более скромных — гораздо более распространенных. В следующей повести цикла — «Шинели» — Гоголь, обращая взгляд на трагическую судьбу «обыкновенного», «маленького» человека, придает тем самым «петербургской теме» еще более широкий, всеобъемлющий характер.

Хорошо известно свидетельство П. В. Анненкова, что первоначальный замысел «Шинели» возник у Гоголя еще до отъезда за границу в 1836-м году. В присутствии Анненкова Гоголю был рассказан анекдот о бедном петербургском чиновнике, потерявшем дорогое «лепажевское» ружье. (Лепаж — парижский ремесленник, оружейник.) Анекдот этот, по словам мемуариста, «был первой мыслию чудной повести его “Шинель”, и она заронила в душу его в тот же самый вечер»⁴⁷¹. В 1938 году комментатор повести в академическом собрании сочинений Гоголя В. Л. Комарович подверг сомнению это свидетельство Анненкова: «...заключать отсюда, что “Шинель” и начата в те же годы, нет оснований...»⁴⁷². Между тем рассказ Анненкова о возникновении замысла «Шинели» в середине 1830-х годов (именно в период с осени 1833 года по начало июня 1836-го) подтверждается целым рядом фактов.

О давнем возникновении замысла «Шинели», в частности, может свидетельствовать содержание отрывка одной из черновых редакций «Ревизора», созданной в конце 1835 года, где герой, коллежский регистратор Хлестаков (чиновник 14-го, самого низшего класса), заявляет: «Вот недавно у нас в департаменте случилось мошенничество. Украли у начальника отделения шубу рублей в четыреста. Да нет, если по правде сказать, то и не у начальника отделения, а эта шуба была больше моя. А, <...> подумал я себе: это досадно!».— Примечательно упоминание здесь о цене шубы — столь значимой для мелкого чиновника, что она становится даже предметом хвастовства. (Титулярному советнику Акакию Акакиевичу Башмачкину в «Шинели» — чиновнику 9-го, куда более высокого класса, его шинель, приобретенная при строжайшей экономии, обходится в восемьдесят рублей. Стоимость же шубы, упоминаемой коллежским ре-

гистратором Хлестаковым, составляет размер годового жалованья Акакия Акакиевича.)

Идейную проблематику «Шинели» можно обнаружить и в задуманной Гоголем в 1832 году комедии «Владимир 3-ей степени». Одна из сцен этой незавершенной комедии, напечатанная спустя десять лет в качестве отдельного драматического отрывка, содержит характерное рассуждение о «шинели»: «...Вы посудите, справедлив ли человек богатый, который будет искать тоже богатых невест <...> Ведь это все равно что сверх шубы да надеть шинель, когда и без того жарко, когда эта шинель, может быть, прикрыла бы чьи-нибудь плечи» («Отрывок»).

В другой сцене «Владимира 3-ей степени» — которая была опубликована еще в 1836 году («Утро делового человека»), изображается и сфера служебных занятий будущего героя «Шинели» — европейское делопроизводство, заключающееся в умении «превосходным образом <...> написать отношение из одного казенного места в другое» (как говорится о занятиях чиновников в «Невском проспекте»). В «Утре делового человека» правитель канцелярии Иван Петрович Барсуков обращается к «чиновнику для письма» «немцу» Шрейдеру: «Что это значит? у вас поля по краям бумаги неровны. Как же это? Знаете ли, что вас можно посадить под арест?..».— В разговоре с приятелем герой добавляет: «Порядочный молодой человек, недавно из университета, но вот тут *(показывая на лоб)* нет. Вы себе не можете представить <...> скольких трудов мне стоило привести все это в порядок <...> Вообразите, что ни один канцелярский не умел порядочно буквы написать. Смотришь: иной “кь” перенесет в другую строку; иной в одной строке напишет “си”, а в другой: “ятельству”. <...> Теперь возьмите вы бумагу: красиво! хорошо! душа радуется, дух торжествует».

Существенное подтверждение свидетельству Анненкова о зарождении «первой мысли» «Шинели» в середине 1830-х годов можно найти и в статье Гоголя «Петербургская сцена в 1835—36 г.», написанной в конце апреля 1836 года — вскоре после первой постановки «Ревизора». Здесь содержится как бы самое ядро замысла «Шинели». Внимание к себе привлекают приводимые Гоголем в этой статье характеристики двух противоположных подходов к исполнению служебного долга.

С одной стороны, в числе отрицательных героев, заслуживающих обличения на русской сцене, Гоголь упоминает о «чиновнике канцелярии, который вместо того, чтобы исполнять священные обязанности наложенной на него должности, думает только за тем, чтобы красиво была написана бумага». С другой,— как бы подводя итог своих творческих усилий в изображении положительных и отрицательных художественных типов, Гоголь ставит задачу создания принципиально нового художественного образа — который, в отличие от «уродов» «Ревизора», носил бы

положительный характер, а в отличие от «Тараса Бульбы», был почерпнут из современной действительности. «Изобразите нам,— пишет Гоголь,— нашего честного, прямого человека, который среди несправедливостей, ему наносимых <...> остается непоколебим в своих положениях, без ропота на безвинное правительство, и исполнен той же русской безграничной любви к Царю своему, для которого бы он и жизнь <...> готов принести, как незначашую жертву. Пусть он <...> не разглагольствует об этих чувствах, но упорно хранит в душе их, как старую свою святыню, вдохнутую в него еще с давних веков, еще с смиренных предков, воспитанную тысячелетием».

Эти слова о преданном Государю и Отечеству «честном, прямом» — готовом к самопожертвованию человеке, а также размышление о чиновнике, «думающем только за тем, чтобы красиво была написана бумага» (а потому плохо исполняющем «священные обязанности» своей должности), могут в равной степени служить авторским комментарием к замыслу «Шинели».

Заметим, во-первых, что строки статьи о «русской безграничной любви к Царю своему» — для которого подданный и жизнь «готов принести, как незначашую жертву», соответствуют тексту российской присяги на верность Государю — *«верно и нелицемерно служить, и во всем повиноваться, не щадя живота своего до последней капли крови»*⁴⁷³, — которую, конечно же, принимал при поступлении на службу и сам Гоголь.

Тема долга — ключевая для замысла «Шинели». Как подчеркивает Гоголь, должностное занятие Акакия Акакиевича — переписывание бумаг — является для него почти «религиозным» служением и доставляет едва ли не «духовное» утешение. В первоначальных набросках «Шинели» эта мысль была выражена с большей определенностью: «В службе его было все существование, источник радостей и всего»; «Он совершенно жил и наслаждался своим должностным занятием <...> Словом, служил очень ревностно на пользу отечества, служил так ревностно, как решительно нельзя уже ревностнее». Эта почти «религиозная» сосредоточенность Башмачкина на своем ничтожном деле виделась Гоголю не просто комической чертой характера, но осмыслялась куда серьезнее — как извращение присущей каждому человеку способности к самоуглублению, к творчеству.

Самоотверженная любовь героя «Шинели» к своему должностному занятию свидетельствует, по замыслу Гоголя, не о чем ином, как о погребенном в Акакии Акакиевиче незаурядном таланте, а именно таланте... «художника». При переписывании бумаг, замечает о нем рассказчик, «наслаждение выражалось на лице его; некоторые буквы у него были фавориты, до которых, если он добирался [то чувствовал такой восторг, что описать нельзя] был сам не свой: и посмеивался, и подмигивал, и помо-

гал губами, так что в лице его, казалось, можно было прочесть всякую букву, которую выводило перо его». Это описание прямо напоминает «ухватки» другого героя «петербургских» повестей Гоголя — погруженного в работу художника, изображенного в «Портрете»: «Чартков <...> позабыл даже, что находится в присутствии аристократических дам, начал даже выказывать иногда кое-какие художнические ухватки, произносил вслух разные звуки, временами подпевая, как случается с художником, погруженным всею душою в свое дело».

На это же «художническое» начало в занятиях Акакия Акакиевича указывает и сходство его обыкновенного поведения с сосредоточенной отрешенностью от мира другого гоголевского художника — выведенного в «Невском проспекте»: «Он никогда не глядит вам прямо в глаза; если же глядит, то как-то мутно, неопределенно <...> он в одно и то же время видит и ваши черты, и черты какого-нибудь гипсового Геркулеса <...> или ему представляется его же собственная картина, которую он еще думает произвести». — Сходное замечание встречается в описании ничтожного Башмачкина: «...Акакий Акакиевич если и глядел на что, то видел на всем свои чистые, ровным почерком выписанные строки...».

Сходство погруженного в свое дело Башмачкина с петербургскими художниками этим, однако, не ограничивается. Далее в «Портрете» Гоголь описывает постепенное падение художника, погубившего свой талант. Это в свою очередь перекликается с некоторыми чертами образа Башмачкина. Напомним, как «один директор, будучи добрый человек», приказал дать однажды Акакию Акакиевичу «что-нибудь поважнее, чем обыкновенное переписыванье» — «дело состояло только в том, чтобы переменить заглавный титул да переменить кое-где глаголы из первого лица в третье». Однако это «задало» Башмачкину такую работу, «что он вспотел совершенно, тер лоб и наконец сказал: “Нет, лучше дайте я перепишу что-нибудь”». Речь здесь, очевидно, идет о тех же самых «границах и оковах», в которых оказался погребенным и талант художника Чарткова в «Портрете» — заключенный в рутинных, лишенных внутреннего содержания формах: «Кисть его хладела и тупела, и он нечувствительно заключился в однообразные, определенные, давно изношенные формы». Предпринятая впоследствии попытка Чарткова написать настоящую картину определенно перекликается с поручением Акакию Акакиевичу «доброто» директора выполнить работу “поважнее”. И в этой попытке Чарткова, как и Акакия Акакиевича, постигает неудача: «...Фигуры его, позы, группы, мысли ложились принужденно и несвязно <...> бессильный порыв преступить границы и оковы, им самим на себя наброшенные <...> отзывался неправильностию и ошибкою».

Конечно же, говоря о «художнических» чертах образа Башмачкина, следует сделать оговорку. «Художником» герой «Шинели» является не в

собственном смысле, но лишь как человек, наделенный соответствующими незаурядными способностями для «искусного», самоотверженного служения в своей особой, должностной сфере. Пример такого идеального «художника»-чиновника Гоголь изобразил в заключительной главе второго тома «Мертвых душ» в образе молодого человека, занимающегося «с любовью» («соп атоге») «делопроизводством» и испытывающего от раскрытия «запутаннейшего дела» такую радость, как если бы «радовался ученик, когда пред ним раскрывалась какая-нибудь труднейшая фраза и обнаруживался настоящий смысл мысли великого писателя». Однако отличием «художника»-чиновника от настоящего художника значение личности Акакия Акакиевича не умаляется. Ибо именно сочувствием к погубившему свой «должностной» талант чиновнику-«художнику» в значительной мере и определяется, согласно замыслу Гоголя, знаменитое «гуманное место» «Шинели» — тот эпизод, где в «проникающих словах» Акакия Акакиевича «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» «звонят» другие слова: «я брат твой». Как явствует из содержания повести, в этих словах героя заключается не только мольба о снисхождении к слабому, беззащитному человеку, сострадание к его тяжелому положению, но и прямой призыв к помощи погибающему таланту. Свидетельством тому и служит отношение самого автора к своему герою не как к безнадежному «идиоту» и «уроду», но как к возможно полноценному и даже гениально одаренному человеку.

Для понимания этой стороны замысла «Шинели» важное значение имеют две черты образа Акакия Акакиевича: указание на его изрядный возраст («Акакию Акакиевичу забралось уже за пятьдесят»), а также на место проживания героя — петербургскую Коломну, окраинную часть старого Петербурга⁴⁷⁴, куда, по словам рассказчика «Портрета», «не заходит будущее, но где «все тишина и отставка». К судьбе состарившегося, нуждающегося в сострадании бедного чиновника из петербургской Коломны имеет прямое отношение замечание рассказчика «Портрета» о нищих «старухах» Коломны, называемых здесь «самым несчастным осадком человечества, которому бы ни один благодетельный политический эконом не нашел средств улучшить состояние». Эти строки «Портрета», появляющиеся во второй редакции повести (то есть в период завершения работы над «Шинелью»), тесно связаны с размышлениями Гоголя над судьбой Акакия Акакиевича — раздумьями над тем, каким образом можно было бы в действительности «улучшить состояние» «несчастливого осадка человечества».

Еще в Нежине Гоголь задумывался над тем, как «извести нищету». В. И. Любич-Романович вспоминал: «...Гоголь относился к бедности с большим вниманием и, когда встречался с нею, переживал тяжелые минуты. “Я бы перевел всех нищих,— говорил он иногда,— если бы имел

на то силу и власть". "Но как бы вы это сделали?" — спрашивали его. "Да всем бы построил дома, дал бы им земли и заставил бы работать для себя... А то ведь им головы преклонить некуда, потому они и собираются. При доме же и земле они этого не захотели бы для себя..."⁴⁷⁵. Позднее к испытываемому с юных лет состраданию пришло понимание того, что в оказании помощи ближним создание для них одних внешних условий — хотя и необходимых — бывает порой еще недостаточно. «Любовь <...> велит нам гораздо больше любить ближнего и брата, чем мы любим,— писал Гоголь в своем «Правиле жития в мире»,— она велит нам оказывать не только одну вещественную* помощь, но и душевную, не только заботиться о его теле, но и о душе...».

Проблему оказания «душевной помощи» современнику — проблему возрождения его «мертвой души» — Гоголь связывал именно с служением Отечеству на конкретном должностном месте каждого. «Трудней всего тому,— писал он в «Авторской исповеди»,— кто не прикрепил себя к месту, не определил себе, в чем его должность...» В конечном счете исполнение служебных обязанностей — в их подлинном, не подменном «мертвой бумажной перепиской» значении — решило бы, по Гоголю, и проблему «шинели». «О главном только позаботься,— писал он в «Выбранных местах из переписки с друзьями»,— прочее все приползет само собою. Христос недаром сказал: "Сия вся всем приложится"».

В «Шинели» Гоголь «дерзнул», таким образом, спросить и с «маленького», рядового человека: как он исполняет свой долг? как блюдет свою должность? — иначе говоря, как «обыкновенный» человек «отрабатывает» данный ему Богом талант — пусть даже этот талант у него и единственный.

Как бы прямо указывая на забвение героем «Шинели» «священных обязанностей» его должности, Гоголь писал: «...Нужно напирать на то, чтобы каждый <...> видел сам, чем он подлец перед своей должностью; словом — чтобы он был введен в значение высшей своей должности» («Занимающему важное место»). Изобразив в «Тарасе Бульбе» образец исполнения воинского долга, Гоголь обратился в «Шинели» к теме такого же самоотверженного служения на гражданском поприще.

Держава всякая сильна,
Когда устроены в ней мудро части:
Оружием — врагам она грозна,
А паруса — гражданские в ней власти,—

цитировал он в «Переписке с друзьями» строки крыловской басни. Именно жертвенное «богатейство» запорожцев служило Гоголю прооб-

* «Вещественник — материалист...» (гоголевский «объяснительный словарь» русского языка).

разом исполнения не менее важного и ответственного гражданского долга. «В России теперь на всяком шагу можно сделаться богатырем,— писал он в статье «Занимающему важное место».— Всякое звание и место требует богатства. Каждый из нас опозорил до того святыню своего званья и места (все места святы), что нужно богатырских сил на то, чтобы вознести их на законную высоту».

Примечательно, что сосредоточенность героя «Шинели» на исключительно «вещественных», материальных потребностях Гоголь осмысляет как черту «немецкую», не свойственную русскому характеру в целом. Не случайно, что «прототипом» Акакия Акакиевича является переписчик-«немец» Шрейдер из «Владимира 3-ей степени». Согласно сохранившимся наброскам этой пьесы, «переписчик» Шрейдер,— заявляющий, что он идет «в немецка театр», но этим лишь прикрывающий свое «скряжничество» (как это утверждает в пьесе другой герой),— это именно характер «немецкий». В статье «Петербургская сцена...» Гоголь писал: «Петербург большой охотник наслаждаться прекрасным. Чиновник идет в театр, купец идет в театр, даже немец часто идет в русской театр, несмотря на то <что> в Петербурге есть и немецкий театр». Далее, после критического замечания о неумеренных крайностях Парижа, Гоголь противопоставляет «немецкой» расчетливости и скупости (присущей «чиновнику для письма» Шрейдеру) «спокойное» увлечение театром обитателей Петербурга: «Не сравню его <Петербург> я и с немецкими городами. Слишком холодны и расчетливо они скупы <на> наслаждение. Если взять <...> сословие малоденжное <...> самое многочисленное и чисто русское, то (нет нужды, что попадется другой, третий чиновник, совершенно похожий на то отношение, которое он пишет) в нем есть много очень замечательного — и русская дворянская решительность, и при этом терпение, и толк, и соль, одним словом стихии нового характера». Очевидно, что чиновник Шрейдер «Владимира 3-ей степени» — это именно герой, резко отличающийся от общей массы русских служащих — «совершенно похожий на то отношение, которое он пишет».

«Немецкие» — «шрейдеровские» — черты Гоголь сохранил и в образе самого Акакия Акакиевича. Это, в частности, относится именно к его «расчетливой скупости» на «наслаждения» (Башмачкин, подобно «аскету»-ростовщику Петромихали, не ходит ни в театр, ни на вечеринки, не предается вообще никаким «развлечениям»). Эта же черта отражается и в «необычайной экономии» героя: «Акакий Акакиевич имел обыкновение со всякого истрачиваемого рубля откладывать по грошу в небольшой ящичек <...> Так продолжал он с давних пор, и <...> в продолжение нескольких лет оказалось накопившейся суммы более чем на сорок рублей» (подобная «экономия» свойственна, в частности, и немцу-ремесленнику Шиллеру в «Невском проспекте»).

Тему неисполнения высоких, «священных» обязанностей государственной-службы («Не забывать только нужно того, что взято место в земном государстве затем, чтобы служить на нем Государю Небесному...») Гоголь поднимал еще в 1835 году в «Записках сумасшедшего», героем которых является во многих чертах схожий с Акакием Акакиевичем обладатель старой шинели «чиновник для письма» Аксентий Попришин (состоящий, кстати, в свою очередь в чине титулярного советника). Содержится в этой более ранней «петербургской» повести и определенное указание на одну из причин несоответствия героев-чиновников их подлинному высокому призванию. «Я несколько раз уже хотел добраться, отчего происходят все эти разности,— вопрошает герой “Записок сумасшедшего”.— Отчего я титулярный советник и с какой стати я титулярный советник? Может быть, я какой-нибудь граф или генерал, а только так кажусь титулярным советником?»

Разгадка неразрешимой задачи Попришина — а также уяснение причины именованя героя «Шинели» «вечным титулярным советником», заключаются в том, что, по указу российского правительства 1809 года, титулярный советник мог быть произведен в следующий служебный чин — чин 8-го класса (коллежский ассессор), лишь при условии окончания университета или же сдачи соответствующих экзаменов по установленной программе*. («Майор» Ковалев, например, в повести «Нос», стремясь из титулярных советников, отправляется даже на Кавказ, где чин коллежского ассессора — или, согласно военной табели о рангах, «майора» — присваивался без аттестата и экзаменов.) В 1834 году, с вступлением в должность министра народного просвещения С. С. Уварова, в России был издан также специальный указ «О допущении к слушанию университетских лекций служащих и не служащих чиновников»⁴⁷⁶. «Беспристрастное испытание <...> чиновников, требующих назначенным Указом 6 августа 1809 года аттестатов,— писал Уваров,— есть один из важнейших способов к поощрению учения и к отвращению многих неудобств»⁴⁷⁷. Однако о сдаче необходимых экзаменов на получение сле-

* Причиной издания самого указа явилось «малое число учащихся» в университетах и то, что дворянство «в сем полезном учреждении менее других» принимало участия. Для обучения чиновников определено было «в тех городах, где находятся университеты», открыть ежегодные курсы, продолжавшиеся с мая по октябрь, на которых занятия полагалось начинать «не ранее 2 часов пополудни, дабы утро могло быть употребляемо на исправление дел службы» (Августа 6. <1809>. Именной, данный Сенату.— О правилах производства в чины по гражданской службе, и об испытаниях в науках, для производства в Коллежские Ассессоры и Статские Советники // Полн. собр. законов Российской Империи, с 1649 года. СПб., 1830. Т. 30. С. 1054, 1056—1057.— № 23771).

дующего чина тщеславный герой «Записок сумасшедшего» — как и нетщеславный герой «Шинели» — даже не помышляют. Акакий Акакиевич занят в свободное время своим любимым «делом» — переписыванием (ставшим для него своего рода «искусством для искусства»: «Приходя домой <...> снимал нарочно, для собственного удовольствия, копию для себя...»). Аксентий Поприщин заполняет свой досуг посещением театров, народных гуляний, а еще более — лежанием на кровати. «После обеда ходил под горы, — записывает этот герой в дневнике 8 декабря. — Ничего поучительного не мог извлечь. Большею частью лежал на кровати и рассуждал о делах Испании». «Октября 4. <...> Дбма большею частью лежал на кровати. Потом переписал очень хорошие стишки...». «Ноября 9. <...> После обеда большею частью лежал на кровати». «Ноября 12. <...> Большею частью лежал на кровати». В черновой редакции «Шинели» Гоголь в свою очередь отмечал, что и Акакий Акакиевич в свободное от службы время «отлеживался во всю волю на кровати». После приобретения шинели герой еще более начинает напоминать «титularного советника» Поприщина: «Пообедал он весело и после обеда уж ничего не писал, никаких бумаг, а так немножко посибаритствовал на постеле, пока не потемнело». (Еще об одном — столь же «дельном» — занятии титулярных советников упоминает Гоголь в «Женитьбе»: «А пьет, не прекословлю, пьет. Что ж делать, [на то] титулярный советник.»)*

Понятно, таким образом, почему герой «Записок сумасшедшего», как и герой «Шинели», не «генерал», а только титулярный советник. Напоминаая о «зарытых», погубленных талантах многочисленных героев своих произведений, Гоголь в шестой главе первого тома «Мертвых душ» писал, в частности, о «ничтожном», «окременевшем» Плюшкине: «Нынешний же пламенный юноша отскочил бы с ужасом, если бы показали ему его же портрет в старости. Забирайте же с собою в путь, выходя из мягких юношеских лет <...> все человеческие движения, не оставляйте их на дороге, не подымете потом! Грозна, страшна грядущая впереди старость, и ничего не отдает назад и обратно!». «...Пересмотри жизнь всех святых, — добавлял он позднее в статью «Христианин идет вперед», — ты увидишь, что они крепили в разуме и силах духовных по мере того, как приближались к дряхлости и смерти <...> у них пребывала всегда та

* Отметим, в частности, что в Петербургском университете за 1832/33 учебный год из подвергавшихся испытанию чиновников были удостоены получения аттестатов лишь три человека (см.: Краткое обозрение действий и состояния Императорского С.Петербургского Университета с его округом, по учебной части, за прошедший 1832—1833 Академический год, читанное 31 августа 1833 года в торжественном собрании Университета Ординарным Профессором оного Н. И. Бутырским // Журнал Министерства Народного Просвещения. 1834. № 1. С. 48).

стремящая сила, которая обыкновенно бывает у всякого человека только в лета его юности...».

Очевидно, что «Шинель» — это не только повесть о бедном петербургском чиновнике. О том, сколь широко понимал Гоголь характер своего героя, свидетельствует, в частности, тот факт, что именно положение «титularных советников» Башмачкина и Поприщина, не одолевших ступени университетских экзаменов и не сумевших реализовать свой талант в подлинном служении Отечеству, служило Гоголю неким подобием состояния духовного и интеллектуального образования критика В. Г. Белинского, — погубившего, по оценке Гоголя, свой талант в «ожесточении и ненависти».

Здесь необходимо сделать одно существенное замечание. Для того, чтобы познать характер некоего «уподобления» Гоголем духовного и университетского образования, следует учитывать само содержание и основные принципы тогдашней университетской программы. Как известно, в 1832 году в России в качестве основ народного образования были открыто провозглашены начала Православия, Самодержавия и Народности. Эти принципы, которым следовал еще в 1824—1828 годах в своей деятельности на посту министра народного просвещения А. С. Шишков, были заявлены в 1832 году С. С. Уваровым в его Отчете по обозрению Московского университета от 4 декабря этого года⁴⁷⁸ — и еще раз подчеркнуты Уваровым в его обращении 21 марта 1833 года к попечителям учебных округов при вступлении в должность управляющего министерством народного просвещения. Последнее обращение нового главы министерства было напечатано в 1834 году в первом номере основанного Уваровым журнала — «Журнала Министерства Народного Просвещения»: «Общая наша обязанность состоит в том, чтобы народное образование, согласно с Высочайшим намерением Августейшего Монарха, совершалось в соединенном духе Православия, Самодержавия и Народности»⁴⁷⁹. До настоящего времени исследователями гоголевского творчества не было обращено внимания на то, что именно Гоголь (вместе с его близкими друзьями — П. А. Плетневым, М. П. Погодиным, М. А. Максимовичем, С. П. Шевыревым и др.), стал одним из первых сотрудников Уварова. Результатом этого сотрудничества явилось поступление Гоголя в 1834 году адъюнкт-профессором на кафедру всеобщей истории Петербургского университета, а кроме того публикация писателем в том же, 1834 году в журнале Уварова четырех статей, тесно связанных с замыслом «Тараса Бульбы». В частности, опубликованный во втором номере журнала гоголевский «План преподавания всеобщей истории» (позднейшее название в «Арабесках» — «О преподавании всеобщей истории») звучал здесь как статья программная, созвучная воззрениям на этот

предмет самого министра,— чему в действительности и соответствовало содержание гоголевской статьи: целью преподавания полагалось в ней воспитание в «сердцах юных слушателей» «преданности к Религии и привязанности к Отечеству и Государю». Очевидно, что Гоголь имел, таким образом, все основания видеть в университетском образовании не только средство получения необходимых знаний, но и одну из ступеней духовного образования.

Смысловая параллель между Белинским и героем «Шинели» обнаруживается у Гоголя в содержании первой главы второго тома «Мертвых душ» в перечне лиц, составлявших некое тайное «филантропическое» общество: «Два философа из гусар, начитавшиеся всяких брошюр, да [недоучившийся студент] недокончивший учебного курса эстетик...». В письме к самому Белинскому Гоголь писал: «...Посмотрим на себя [честно]. Будем стараться, чтоб не зарыть в землю талант свой. Будем отправлять по совести свое ремесло. <...> Возьмитесь снова за свое поприще, с которого вы удалились с легкомыслием юноши. Начните сызнова ученье. <...> Вспомните, что вы учились кое-как, не кончили даже университетского курса». (Отметим при этом, что так же, как к герою «Шинели», отношение Гоголя к Белинскому — не чувство вражды и ненависти, но отношение братской любви и сострадания⁴⁸⁰.)

Поистине глубокое чувство жалости вызывает человек, для которого самым «светлым» праздником, настоящим «воскресением» и «пасхой», становится день приобретения новой шинели. Это душевное состояние своего «титularного советника» рассказчик «Шинели» подчеркивает неоднократно: «Это было <...> в день самый торжественнейший в жизни Акакия Акакиевича...»; «...Акакий Акакиевич шел в самом праздничном расположении всех чувств...»; «Этот весь день был для Акакия Акакиевича точно самый большой торжественный праздник».

Взгляд Гоголя не останавливается при этом на одном Акакии Акакиевиче. Ибо не только ничтожный Башмачкин испытывает эти «торжественные», «праздничные» чувства. Сами окружающие героя чиновники, считающие себя и умнее, и образованнее Акакия Акакиевича — никогда не оказывавшие его «никакого уважения», — вдруг проникнувшись почтением к обновке, «великодушно» принимают Башмачкина в свое «братство» и приглашают разделить приятельскую вечеринку. Очевидно, однако, что «радушное» «братство» чиновников, — отнюдь не духовное братство героев «Тараса Бульбы», это лишь жалкая пародия на «святые узы товарищества», и «торжество» чиновников по поводу новой шинели — лишь подмена «того святого дня, в который, — по словам Гоголя, — празднует святое, небесное свое братство все человечество до единого» («Светлое Воскресенье»).

Петербургское «братство», в которое вступает Башмачкин с приобретением новой шинели, заключается, согласно с содержанием повести, вовсе не в обретении им подлинно братских отношений, но в тех «новых», сомнительного качества, «возможностях», которые открываются герою с изменением его «вещественного» облика. «...Что это! — восклицает, например, герой «Невского проспекта» художник Пискарев при взгляде на свой «нешегольской», «запачканный красками» сюртук.— <...> Он покраснел до ушей <...> Он уже желал быть как можно подалее от красавицы с прекрасным лбом и ресницами». Точно так же — по необходимости «скромно» — ведет себя при встрече с красавицей и герой «Записок сумасшедшего»: «Она не узнала меня, да и я сам нарочно старался закутаться как можно более, потому что на мне была шинель очень запачканная и притом старого фасона». Но новая шинель придает «отваги» и ничтожному Акакию Акакиевичу. Прогуливаясь после «приятельской» вечеринки, он «даже подбежал было вдруг, неизвестно почему, за какую-то дамою, которая, как молния, прошла мимо и у которой всякая часть тела была исполнена необыкновенного движения». Так, с приобретением новой шинели Башмачкин, подобно другим чиновникам, становится «полноправным» обитателем северной столицы — и ее «всеобщей коммуникации» Невского проспекта: «Здесь вы встретите почтенных стариков <...> бегущими так же, как молодые коллежские регистраторы <...> чтобы заглянуть под шляпку издали завиденной дамы...».

Очевидно, что Башмачкин мало чем отличается от окружающего мира с его показным «благоприличием» и внутренней пустотой. Обретая с новой шинелью новое «качество», Башмачкин становится способен даже и сам посмеяться над своим старым «капотом»: «Он <...> нарочно вытащил, для сравнения, прежний капот свой <...> взглянул на него, и сам даже засмеялся: такая была далекая разница! И долго еще потом за обедом он все усмехался, как только приходило ему на ум положение, в котором находился капот».

С другой стороны, окружающий мир в свою очередь мало чем отличается от Башмачкина. Согласно замечанию рассказчика «Невского проспекта», из обитателей Петербурга многие лишь тем и примечательны, что «превосходным образом могут написать отношение из одного казенного места в другое». В мир, озабоченный приобретением шинелей, сюртуков (или столь же «самоотверженным» ухаживаньем за «чудными» усами и бакенбардами), входят не только мелкие чиновники вроде Акакия Акакиевича: К этому миру, несомненно, принадлежит и самый избранный великосветский бомонд — к примеру, недостижимый для бедного художника Пискарева в «Невском проспекте» мир «молодых людей в черных фраках», — которые «были исполнены такого благородства, с таким достоинством говорили и молчали, так не умели сказать ничего

лишнего, так величаво шутили, так почтительно улыбались, такие превосходные носили бакенбарды, так искусно умели показывать отличные руки, поправляя галстук <...> что он растерялся вовсе».

Тема показного светского блеска является сквозной для замысла «Шинели». Лицемерие, прикрывающее внутреннюю пустоту, пронизывает не только частную жизнь петербургских обитателей, но буквально все сферы деятельности «цивилизованного» Петербурга. «Боже, какие есть прекрасные должности и службы! — восклицает не без иронии рассказчик “Невского проспекта”, — как они возвышают душу! но, увы! я не служу и лишен удовольствия видеть тонкое обращение с собою начальников». «...У нас служба благородная, — замечает в свою очередь герой “Записок сумасшедшего”, — чистота во всем такая, какой вовеки не видеть губернскому правлению, столы из красного дерева, и все начальники на *вы*».

Здесь необходимо еще раз обратить внимание на автобиографическое начало «Шинели», — в частности, на отразившиеся в повести впечатления Гоголя, полученные им во время его собственной службы в 1830—1831 годах в должности мелкого чиновника в одном из петербургских департаментов. Именно в то время, когда Гоголь сообщал матери, что «привык к морозу и отхватал всю зиму в летней шинели» (письмо от 2 апреля 1830 года), он поступил на службу канцелярским чиновником в департамент уделов. «После бесконечных исканий, — писал он матери, — мне удалось наконец сыскать место, очень однако ж незавидное...».

В департаменте уделов Гоголь прослужил с апреля 1830 года по февраль 1831-го. Именно этот департамент был в Петербурге первым по части внешнего европейского «облагороживания» присутственных мест. Эти преобразования были сделаны здесь в 1827 году министром Императорского Двора и уделов князем П. М. Волконским, после чего в следующем, 1828 году, 21 января, департамент посетил, с целью осмотра, Император Николай Павлович. Позднее непосредственный начальник Гоголя в департаменте уделов В. И. Панаев (крайне неодобрительно, кстати, отзывавшийся позднее о гоголевском «Ревизоре»: «Вдруг какой-то коллежский регистраторишка дерзает осмеивать... даже самих губернаторов»⁴⁸¹) вспоминал: «Столы, стулья, конторки, шкафы, все явилось новое, просто, но изящно сделанное. Для хранения дел придуманы форменные картонки; на столах однообразные чернильницы; пол паркё, ковровые дорожки через анфиладу комнат. Это был первый пример благоприличного устройства присутственных мест, поданный князем Волконским»⁴⁸².

Во втором томе «Мертвых душ» Гоголь так описывал поступление своего героя на службу: «...Проведя два месяца в каллиграфических уроках, достал он наконец место списывателя бумаг и каком-то департаменте. <...> Когда ввели его в великолепный светлый зал с паркетами и

письменными лакированными столами, походивший на то, как бы заседали здесь первые вельможи государства <...> и увидел он легионы крапивных пишущих господ, шумевших перьями <...> и посадили его самого за стол, предложив тут же переписать какую-то бумагу, как нарочно несколько мелкого содержания <...> необыкновенно странное чувство его проникнуло. Ему на время показалось, как бы он очутился в какой-то малолетней школе, затем, чтобы сызнова учиться азбуке, как бы за проступок перевели его из верхнего класса в нижний».

Очевидно, именно европейскому показному блеску — европейской светскости и европейской бюрократии, прикрывающим внутреннюю пустоту и бессодержательность, — во многом и обязан, по мысли Гоголя, чиновник Акакий Акакиевич, с одной стороны, поглотившей всю его душу любовью к внешнему благолепию (к «шинели»); с другой — самым характером своей формальной служебной деятельности. Об этом и свидетельствует одна из сцен незавершенной комедии Гоголя «Владимир 3-ей степени» («Утро делового человека»), прямо изображающая «формирование» сферы служебных занятий будущего героя «Шинели» — в данном случае «чиновника для письма» с университетским образованием Шрейдера, вынужденного заниматься бессмысленной перепиской только оттого, что, на взгляд начальника, «поля по краям бумаги неровны».

Однако, подобно тому, как Невский проспект — «главная выставка всех лучших произведений человека», где «все, что вы ни встретите <...> исполнено приличия», являет, однако, вопреки своему назначению, не только «лицо», но и «изнанку» этого мира, так же точно и в «благородных» службах, несмотря на «столы из красного дерева» и «тонкое обращение» с подчиненными начальников, подлинное отношение к человеку отнюдь не приобретает «благородства» — и маленький чиновник Башмачкин оказывается «существом, никем не защищенным, никому не дорогим, ни для кого не интересным»} «Начальники поступали с ним как-то холодно-деспотически. <...> Молодые чиновники подсмеивались и острились над ним, во сколько хватало канцелярского остроумия...». Эта настоящая цена европейской светскости и открывается молодому чиновнику, услышавшему «немой» возглас Башмачкина «я брат твой»: «...И много раз содрогался он потом на веку своем, видя <...> как много в человеке бесчеловечья, как много скрыто свирепой грубости в утонченной, образованной светскости, и <...> даже в том человеке, которого свет признает благородным и честным...».

Подчеркивая позднее отличие подлинной, христианской образованности от лицемерной светской «утонченности», Гоголь в «Размышлениях о Божественной Литургии» указал и на подлинную основу братских отношений между людьми: «...Если общество еще не совершенно распалось, если люди не дышат полною, непримиримой ненавистью между

собою, то сокровенная причина тому есть Божественная Литургия, напоминающая человеку о святой, небесной любви к брату». Как бы прямо обращаясь к «значительному лицу», сыгравшему роковую роль в судьбе «маленького» чиновника Башмачкина, Гоголь писал: «...Если только молившийся благоговейно и прилежно следит за всяким действием, покорный призванью диакона <...> он невольно становится милостивей и любовней с подчиненными. <...> И все, прилежно слушавшие Божественную Литургию, выходят кротче, милее в обхождении с людьми, дружелюбнее, тише во всех поступках».

После «Невского проспекта», «Носа», «Портрета» и «Шинели» следует у Гоголя «Коляска». Соседство «Шинели» и «Коляски» в третьем томе собрания гоголевских сочинений объясняется, как можно судить из их содержания, общей для них темой «экипирования»⁴⁸³, снаряжения человека — для удовлетворения естественных потребностей которого западная цивилизация создает предметы обольщающей и развращающей роскоши — прямо преступая при этом апостольскую заповедь: «...Попечения о плоти не превращайте в похоти»⁴⁸⁴.

В «Коляске» европейские соблазны петербургской жизни Гоголь показывает теперь на материале провинциальной действительности. Проникновение цивилизации в городок Б. — это и бритые бород «деревенским пентюхам» (мотив цирюльника в «Носе» и «синоним» петровских преобразований), и распространение в уезде карточной игры, и употребление самим местным «аристократом» Чертокуцким приданого жены на «вызолоченные замки к дверям («узнаваемые» по «Ночи перед Рождеством». — *И. В.*), ручную обезьяну для дома и француза дворецкого». Это и выписанные Чертокуцким для жены из Петербурга «спальные башмачки» (в чем также угадывается сюжет «Ночи перед Рождеством»), и, наконец, сам анекдот повести — «чрезвычайная коляска настоящей венской работы».

Замысел повести проясняют сходные мотивы в других гоголевских произведениях — упоминание в повести «Рим» об итальянце «сыре Сервилио», который в преддверии карнавала «усадил все деньги на чудовищную скрипку <...> чтобы проехать с нею по всем улицам...»; слова Хлестакова в комедии «Ревизор» о том, что «Июхим не дал напрокат кареты» («...а хорошо бы <...> приехать домой в карете <...> подкатить <...> к какому-нибудь соседу-помещику...»), реплика петербургского обывателя в драматическом «Отрывке»: «Может быть, на всем гулянье <...> одна или две такие коляски! Так обо мне везде заговорят». — Герою «Коляски», подобно всем этим персонажам, тоже очень хочется блеснуть перед заезжими офицерами своей «просвещенностью» — показать нечто, возвышающее его над серой (далеко не идеализируемой Гоголем) про-

винциальной средой. Знаком же такого отличия, своего рода «орденом» Чертокуцкого, и оказывается заграничная коляска. Тщеславие и эгоизм — «я», крошущееся за этим желанием, Гоголь и открывает комическим финалом повести.

Вслед за «Коляской», изображающей плоды западного «просвещения» на русской провинциальной почве, Гоголь вновь обращается к петербургской действительности. «История болезни» тщеславия (по определению В. Г. Белинского⁴⁸⁵) составляет содержание следующего произведения тома — «Записок сумасшедшего». Повесть эта также органически связана с осмыслением Гоголем европейской цивилизации как возбудителя низменных страстей человека — и прежде всего его эгоизма. Париж, где «один силялся перед другим, во что бы то ни стало, взять верх, хотя бы на одну минуту» (как сказано в «Риме»), и Петербург, ставший со времен его основателя поприщем для всех неумных честолюбцев, здесь же и воспитывающихся, в этом обнаруживают свое генетическое родство. Очевидно, по Гоголю, прорубленное «окно в Европу» оказалось для России не только соблазнительной витриной модного парижского магазина, через него шагнул в страну и сам европейский культ «человеческой гордости», потворство всем телесным и душевным страстям человека.

В таком осмыслении российской действительности Гоголь был не оригинален. «Дотоле от сохи до престола, — писал Н. М. Карамзин в своей известной «Записке о древней и новой России» (1811), — россияне сходствовали между собою некоторыми общими признаками наружности и в обыкновениях; со времен Петровых высшие степени отделились от нижних, и русский земледелец, мещанин, купец увидел немцев в русских дворянах ко вреду братского, народного единодушия государственных состояний»⁴⁸⁶.

Исследователи ставят «Записки сумасшедшего» в связь с незавершенной комедией Гоголя «Владимир 3-ей степени», где главную цель героя — петербургского чиновника — составляло получение ордена, дающего дворянское достоинство. (Напомним, что тема ордена, или знака отличия, была затронута Гоголем еще в «Вечерах...».) По словам того же Карамзина, продолжательница дела Петра Екатерина II «любовь к Святой Руси, охлажденную у нас переменами Великого Петра <...> хотела заменить гражданским честолюбием; для того соединила с чинами новые прелести, или выгоды, вымышляя знаки отличий, и старалась поддерживать их цену достоинством людей, украшаемых оными»⁴⁸⁷. Понятно, что с применением европейских средств европейский «идеал» в жизни России еще более возобладали. «У нас <...> до того дошло, — пишет Гоголь в «Театральном разезде...», — что <...> если только иной не нагадит нико-

му <...> то уже <...> сердится <...> если <...> не награждают его». «Аккуратный немец» Петербург, «на все глядящий с расчетом» («Петербургские записки 1836 года»), немецкий эгоизм (письмо Гоголя к М. П. Балабиной от апреля 1838 года), французское «желание выказаться, хвастнуть, выставить себя» (повесть «Рим») — все эти гоголевские определения свидетельствуют, что «петербургские» по месту действия «Записки сумасшедшего» являются у Гоголя по существу и «европейскими» (что как бы подчеркнуто расположением этой повести в непосредственной близости к «Риму»); герой не случайно мыслит себя участником мировой политики.

Но не слишком ли пристрастными глазами смотрит Гоголь на Запад? На это следует сказать, что, помимо бесспорно реально-исторического происхождения многих негативных явлений русской жизни (активное западное влияние, начиная с Петра I), Гоголь и всякий грех осмысляет как «иноплеменничий», — потому что грех действительно инороден душе. Если мы посмотрим на страдающих героев Гоголя, то можно заметить, что мученичество их заключается подчас именно в их рабстве этим «чужеземным врагам» — страстям. Это мученичество не ради Христа, а из приверженности к «врагу» — к миру и его соблазнам — постоянный предмет обличения в устах церковных пастырей. «Есть люди, — говорит св. Иоанн Златоуст в Беседах на Евангелие от Матфея, — которые, следуя диаволу <...> предают за него свои души; но мы терпим за Христа...» (беседа LV). Современник Гоголя, пресвященный Владимир (Алявдин), епископ Костромской и Галичский, также замечает: «Хотя миролюбцы и ненавидят крест Христов, но и у них есть свои кресты»⁴⁸⁸. Об этом же размышляет и святитель Игнатий (Брянчанинов), епископ Кавказский, в слове «Крест свой и крест Христов»: «Смертоносен крест для тех, которые креста своего не преобразили в крест Христов...»⁴⁸⁹.

Таким-то неразумным страдальцем и предстает у Гоголя неумный честолюбец Пётрищин в «Записках сумасшедшего». Повесть эта, как позволяет прочесть автограф, и называлась первоначально «Записки сумасшедшего мученика»⁴⁹⁰. «За что они мучат меня? <...> я не могу вынести всех мук их», — восклицает герой в заключении повести, когда, возмнив себя «испанским королем», оказывается в сумасшедшем доме. (На мотив мученичества в «Записках сумасшедшего» было, кстати, обращено внимание еще в 1902 году⁴⁹¹.) И мученичество, и сумасшествие героя заключаются, по Гоголю, прежде всего в его ненасытном и неутолимом честолюбии. Согласно дошедшим до нас воспоминаниям о содержании незавершенной комедии Гоголя «Владимир 3-ей степени» («Владимирский крест») — замысел которой ставится в прямую связь с «Записками сумасшедшего», — «голгофой» или «крестом» героя, снесаемого, как и герой «Записок...», неумным честолюбием, становится здесь то, что от

очередной неудачи получить крест Св. Владимира он сходит с ума и, вообразая себя в последней сцене этим самым «Владимирским крестом», «становится перед зеркалом, подымает [растопыривает] руки (так что делает из себя подобие креста) и не насмотрится на свое изображение»⁴⁹². (Характерно, что и в «Размышлениях о Божественной Литургии» Гоголь называет еретиков не просто еретиками, но «исповедателями ересей» — как бы подчеркивая их пагубное, направленное ко злу «подвижничество»*.)

Финалу комедии «Владимир 3-ей степени» в этом смысле прямо соответствует и одна из ее сцен, в которой Гоголь изобразил как бы самое начало «болезни тщеславия». (Гоголь опубликовал сцену позднее, в 1842 году, отдельно, под названием «Тяжба».) Здесь герой, «сенатский обер-секретарь» Пролетов, читает в «Северной Пчеле» извещение о производстве чинов и получении наград знакомыми ему чиновниками, завидуя их успехам: «Право, досадно, что заглянул в газету, прочитаешь — чувствуешь тоску, гадость — и больше ничего». Чиновник «Тяжбы» — также, как и герой «Записок сумасшедшего», — прямо напоминает героя нравоучительной повести Ф. В. Булгарина «Три листка из дома сумасшедших, или психическое исцеление неизлечимой болезни», напечатанной в 1834 году в «Северной Пчеле»: «Пациент мой читал «Сенатские Ведомости». Глаза его налиты были кровью, щеки горели <...> «Посмотрите, доктор, можно ли после этого жить на свете! <...> Вот люди, которых я знаю, как самого себя, люди, у которых нет столько ума и способности в башке, сколько у меня в мизинце! <...> А вот один из них Начальником Отделения, другой Директором, третий Правителем Канцелярии <...> Все обвещены орденами!.. А я... я!..» Он не мог продолжать, бросил газету и <...> залился слезами!»⁴⁹³.

Сказанное о «сумасшедшем мученичестве» дает возможность по-новому осмыслить и агиографический подтекст гоголевской «Шинели» (Акакий Акакиевич Башмачкин — св. Акакий) — тему, ставшую уже общепризнанной в работах о Гоголе. Очевидно, что герой, вложивший всю без остатка душу в «шинель» — в «цивилизацию» (в свою самозащиту и самоукрашение — не случайно, в черновой редакции, в бреду приходит ему мысль и о «шинели с пистолетами»**), тоже ненормален. Страдания

* В первом издании «Размышлений...» (напечатанных в 1857 году в типографии П. А. Кулиша) выражение «исповедатели ересей» были заменено С. П. Шевыревым на слово «еретики».

** В «Главе из исторического романа» (1830) Гоголь даже называет «тулуп» одного из своих героев «латами от холода». Ср. соответствующее замечание школьного преподавателя Гоголя И. Г. Кулжинского в его книге «Малороссийская деревня» (СПб., 1827): «Теперь надобно <...> вооружиться против стужи и мороза.

его — сначала по приобретению шинели, потом от ее утраты — прямо противоположны мученичеству тезоименитого ему св. Акакия из сорока мучеников, пострадавших за исповедание Христа в 320 году в Армении — произвольно вдавших себя на мучения: замерзнувших во льду Севастийского озера, совлекишись тем самым и одежды и самой плоти⁴⁹⁴. (Об особом почитании Гоголем памяти Севастийских мучеников сохранилась дневниковая запись Е. А. Хитрово от 25 марта 1851 года⁴⁹⁵.)

Кстати сказать, на эту неприглядную сторону героя «Шинели» (заслуживающего не только сострадания, но и порицания) в свое время было уже обращено внимание. Критик Ап. Григорьев писал в 1847 году в статье «Гоголь и его последняя книга»: «...В образе Акакия Акакиевича поэт начертал последнюю грань обмеления Божьего создания до той степени, что вещь, и вещь самая ничтожная, становится для человека источником беспредельной радости и уничтожающего горя, до того, что шинель делается трагическим *fatum* в жизни существа, созданного по образу и подобию Вечного...»⁴⁹⁶.

К «сумасшедшим мученикам» принадлежит, очевидно, у Гоголя и Павел Иванович Чичиков из «Мертвых душ» — в его поистине самоотверженном «подвиге» стяжания. И «просвещенный» Хлестаков в одной из черновых редакций комедии, будучи голоден, но не желая расставаться с модным фракком, говорит самому себе: «...вот кладу крест (крестится), если не буду играть между ними (провинциальными помещиками. — *И. В.*) первую роль <...> Нет <...> лучше как-нибудь поголодаю». «...Лучше поголодать, да приехать домой в петербургском костюме», — замечает он в окончательной редакции.

Мученичество всего «цивилизованного» мира Гоголь тоже осмысляет как безумие. Сострадая к «тягостному выраженью в лицах синих блуз* и всего народонаселения Парижа» (повесть «Рим»), он видит в этом прямое следствие рабства греху. В набросках к недошедшим до нас главам второго тома «Мертвых душ» Гоголь, в частности, замечал: «Вот оно, вот оно, что значит, а не то, что нынешнее просвещение, которое превратило человека в машину...». Следует при этом заметить, что еще А. С. Пушкин в статье о А. Н. Радищеве писал: «Прочтите жалобы английских фабричных работников, волоса встанут дыбом от ужаса. Сколько отвратительных истязаний, непонятных мучений! какое холодное варварство с одной стороны, с другой, какая страшная бедность! Вы думаете, что дело идет о строении Фараоновых пирамид, о евреях, работающих под бичами египтян. Совсем нет; дело идет о сукнах г-на Смилта, или об иголках г-на

* «Подайте *кожу!* подайте другой! подайте и третий!..» Под зашитую сих трех *антидотов* Малороссиянин начинает уже смотреть веселее...» (с. 16).

* Синяя блуза — традиционная французская народная одежда.

Джаксона. И заметьте, что все это есть не злоупотребление, не преступление, но происходят в строгих пределах закона <...> у нас нет ничего подобного»*. (Примечательно также, что изображение Гоголем в повести «Рим» «цивилизованного» Парижа во многом соответствует оценке Пушкиным парижской жизни в «Арапе Петра Великого».)

Только освобождение от рабства греху станет, по убеждению Гоголя, освобождением от египетского рабства, египетского труда и русского, и всех промышленных народов Европы. «Нищенство,— пишет Гоголь в «Выбранных местах из переписки с друзьями»,— есть блаженство, которого еще не раскусил свет. Но кого Бог удостоил отвесть его сладость и кто уже возлюбил истинно свою нищенскую сумку, тот не продаст ее ни за какие сокровища мира».

* * *

Материал, положенный Гоголем в основу последней, оставшейся незавершенной повести тома — «отрывка» «Рим», далеко превосходит ее конкретное, «бытовое» содержание. Едва ли не все темы, поднятые Гоголем в «петербургских» повестях, находят здесь свое если не окончательное, то во всяком случае более масштабное осмысление. В «Риме» Гоголь в художественной форме изложил самую концепцию развития новейшей европейской цивилизации.

В Рим привела Гоголя давняя юношеская мечта. Восхищением поэтической Италией, страной «вдохновенья», пронизано самое первое из опубликованных его произведений — стихотворение «Италия» (1829). Выехав в июне 1836 года с А. С. Данилевским из России, Гоголь расстался с ним в Ахене, чтобы ехать в Италию, однако ему это не удалось. «Мое намерение до того было провести зиму в Италии,— писал он 12 декабря н. ст. 1836 года В. А. Жуковскому.— Но в Италии бушевала холера страшным образом; карантинны покрыли ее как саранча». В Рим Гоголь попал только в марте 1837 года, прожив зиму с Данилевским в Париже.

Сравнение Парижа и Рима в повести прямо восходит к этим первым заграничным впечатлениям Гоголя. И уже в этих впечатлениях неизменно присутствует «петербургская тема». 5 декабря н. ст. 1836 года Данилевский писал из Парижа школьным приятелям И. Г. Пашенко и Н. Я. Прокоповичу: «...Из Парижа мы с Гоголем сделали совершенный Петербург: Итальянский бульвар называем Невским проспектом, Тюль-

* Согласно строкам письма Гоголя к С. Т. Аксакову от 22 декабря н. ст. 1844 года эти пушкинские заметки, опубликованные впервые в 1841 году (см.: Соч. Александра Пушкина. СПб., 1841. Т. XI. С. 48—49), стали известны ему еще в рукописи, то есть до отъезда за границу в июне 1836 года.

ери — Летним садом, Палероаль — Гостиным двором и прочее. <...> «Славный собака Париж»*, как говорит Гоголь...»⁴⁹⁷.

Подобно своему будущему герою, римскому князю в повести «Рим», Гоголь сначала нашел в Париже даже некоторые достоинства. «Париж не так дурен, как я воображал,— писал он Жуковскому 12 ноября н. ст. 1836 года,— и, что всего лучше для меня: мест для гулянья множество — одного сада Тюльери и Елисейских полей достаточно на весь день ходьбы». Однако уже в то время о культурной жизни Парижа Гоголь отзывался критически. В письме к М. П. Погодину он замечал: «О Париже тебе ничего не пишу. Здешняя сфера совершенно политическая, а я всегда бежал от политики. Не дело поэта втираться в мирской рынок». Спустя три месяца проживания во французской столице, 25 января н. ст. 1837 года, Гоголь в письме к Прокоповичу подытоживал свои впечатления: «Париж город хорош для того, кто именно едет для Парижа, чтобы погрузиться во всю его жизнь. Но для таких людей, как мы с тобою,— не думаю, разве нужно скинуть с каждого из нас по 8 лет. К удобствам здешним приглядишься, тем более, что их более, нежели сколько нужно; люди легки, а природы, в которой всегда находишь ресурс и утешение, когда все приестся,— нет; итак, нет того, что бы могло привязать к нему мою жизнь. Жизнь политическая, жизнь, вовсе противоположная смиренной художнической, не может понравиться таким счастливым праздным, как мы с тобою. Здесь все политика, в каждом переулке и переулке библиотека с журналами. Остановишься на улице чистить сапоги, тебе суют в руки журнал; в нужнике дают журнал. Об делах Испании больше всякий хлопочет, нежели о своих собственных. Только в одну жизнь театральную я иногда вступаю: итальянская опера здесь чудная!» (Последнее замечание Гоголь прямо повторит в «Риме», говоря о разочаровании Парижем своего героя: «Только в одну еще итальянскую оперу заходил он...».) Спустя еще несколько месяцев, 3 июня н. ст., уже из Рима, Гоголь писал Прокоповичу о Данилевском: «Он больше человек современный, воспитанный на современной литературе и жизни; я больше люблю старое. Его тянет в Париж, меня гнетет в Рим». «...Как вам самой известно,— пишет Гоголь 15 марта н. ст. 1838 года М. П. Балабиной,— новизна не свойственна Риму, здесь все древнее: Рим, папа, церкви, картины. Мне кажется, новизна изобретена теми, кто скучает, но вы же знаете сами, что никто не может соскучиться в Риме, кроме тех, у кого душа холодна, как у жителей Петербурга, в особенности у его чиновников...». В то же время Данилевскому он сообщает: «Что сказать тебе вообще об Италии? Мне кажется, что будто бы я заехал к старинным малороссийским помещикам»; «Никаких мучительных желаний, влекущих вдаль,

* Слово «собака» в украинском языке мужского рода.

нет, разве проездиться в Семереньки, то есть в Неаполь, и в Толстое, то есть во Фраскати или в Альбани <...> «Современник» (петербургский журнал, основанный Пушкиным.— *И. В.*) в Риме не получается и даже ничего современного» (письма от 15 апреля н. ст. 1837 года и от 23 апреля н. ст. 1838)⁴⁹⁸.

О том, что представлял собой Рим в годы, когда в нем проживал Гоголь — нашедший здесь почти «монастырское» уединение от «цивилизованной» жизни и Петербурга и Парижа, можно судить из многочисленных свидетельств гоголевских современников. П. В. Анненков, встречавшийся с Гоголем в Риме весной 1841 года, в частности, писал: «...Всякий захавший в Рим совершенно отделяется от современности, забывает газеты, Европу, открытия и предается воспоминаниям истории и искусства: другого нет разговора, как статуя, картина, новая находка в этой земле, до сих пор еще наполненная шедеврами древних. <...> Но это не китайское отъединение от всеобщей жизни, а что-то торжественное и высокое, как загородный дом, где работал великий человек»⁴⁹⁹. Эти строки почти совпадают с описанием Гоголем римской жизни в его повести: «Тут не было толков о понизившихся фондах, о камерных пренях, об испанских делах: тут слышались речи об открытой недавно древней статуе, о достоинстве кистей великих мастеров...».

«Что теперь Рим? — писал в те же годы М. С. Волков.— <...> Город <...> беспрестанно убывающий, разрушающийся, покидаемый, пустеющий. В нем есть только прошедшее, а настоящего нет ничего. Душа его — в картинах, статуях и зданиях»⁵⁰⁰. «Развалина материальная, развалина духовная — вот что был Рим в 40-х годах...» — свидетельствовала А. О. Смирнова⁵⁰¹.

По словам Анненкова, Рим, «под управлением папы Григория XVI, обращен был официально и формально только к прошлому <...> Последующие события доказали, что народ не был сохранен от постороннего влияния, и подтвердили <...> старую истину, что государство, находящееся в Европе, не может убежать от Европы. <...> Гоголь знал это, но встречал явление с некоторой грустью <...> Видно было, что утрата некоторых старых обычаев, прозреваемая им в будущем <...> поражала его неприятным образом»⁵⁰². В повести «Рим» Гоголь писал об итальянском народе: «Европейское просвещение как будто с умыслом не коснулось его и не водрузило в грудь ему своего холодного усовершенствования. Самое духовное правительство, этот странный уцелевший призрак минувших времен, осталось как будто для того, чтобы сохранить народ от постороннего влияния...». П. В. Анненков сообщал, в частности, о прогулках с Гоголем в окрестностях Рима летом 1841 года: «...Мы проезжали уединенные римские поля и были в горах, <...> в городах, которые лепятся на вершинах скал, к которым нет дорог и где только один способ

сообщения известен: это верхом на осле. В этих городах встретили мы народонаселение совершенно дикое, едва знающее употребление монеты и, кажется, только сейчас вышедшее из первого состояния человека естественного, à la Rousseau <Руссо; фр.>. И это рядом с Римом! Да что! В Сабинских горах есть еще деревни, где говорят по-латыни! Но со всем тем нельзя же даром жить на классической почве; как нынче, так и за несколько веков, люди и народы, приходившие в Рим, всегда уносили еще что-нибудь, кроме богатства его. Это моральное влияние Рима на народ, теперь обитающий около него...»⁵⁰³.

Подобного рода размышления можно найти и в статьях Гоголя, относящихся еще к 1830-м годам, — в частности, в одной из его лекций по истории средних веков, прочитанных Петербургском университете. Здесь Гоголь, в частности, замечал, что в конце VII века «начался переход ломбардов к некоторой образованности. Была принята христианская вера <...> показалась всеобщая склонность к земледелию. <...> Развалины древней Италии покрылись пажитями, особенно в соседстве монастырей...» («Состояние Италии под владычеством готов...»).

Очевидно, что при отсутствии у Гоголя, по его собственному признанию, «влечения и страсти к чужим краям», при отсутствии у него также и «того безотчетного любопытства, которым бывает снедаем юноша, жадный впечатлений» («Авторская исповедь»), любовь Гоголя к Италии можно объяснить именно этой, сходной с русским провинциальным бытом, удаленностью итальянской жизни от развращающих новшеств европейской цивилизации — ее почти «монастырским» патриархальным укладом (это неизменно поражало Гоголя в Риме — этом всемирном «городе музее», полном древних памятников и православных святынь)*.

Однажды, — рассказывал Анненков о своем общении с Гоголем в Риме, — «мы успели сделать целым обществом прогулку в Сабинских горах <...>. Гоголь нам не сопутствовал, он оставался в Риме и потом весьма пенял на леность, помешавшую ему присоединиться к странническому каравану. Особенно сожалел он, что лишился удобного случая видеть те бедные римские общины, которые еще в средние века поселились на вершинах недоступных гор, одолеваемых с трудом по каменистой тропинке привычным итальянским ослом. <...> Многие живут там и доселе,

* Много позднее дочь Ф. М. Достоевского, Любовь Федоровна, писала в биографии отца: «Русские, путешествующие в Италии, бывают порой поражены, встречая в Центральной Италии тот же крестьянский тип, что и в России. Тот же мягкий и терпеливый взор, то же чувство отрешенности. Одежда, вид, манера повязывать на голову платок — совпадают полностью. Поэтому русские так сильно любят Италию. Мы смотрим на нее как на свою вторую родину» (цит. по: *Шубарт В.* Европа и душа Востока. М., 1997. С. 175—176).

связывалась с государством только посредством сборщика податей и местного аббата, их всеобщего духовника <...> Как совершеннейшее проявление той естественной, непосредственной жизни, которую так высоко ценил Гоголь, они действительно заслуживали внимания его, особенно если вспомнить истинно живописные стороны, какими они, надо сказать правду, обладают в изобилии»⁵⁰⁴.

Особенное впечатление производили на Гоголя окрестности Рима — римская Кампанья⁵⁰⁵ — местность, которая напоминала писателю родную Малороссию и которая еще в начале XX века придавала Риму особый, «вечный» характер, отличавший этот город от всех других европейских городов — о чем, в частности, можно судить по одному из позднейших свидетельств: «Окруженный Кампаньей, Рим мало принадлежит современной Италии, современной Европе. Истинный дух Рима не умрет до тех пор, пока вокруг него будет простираться эта легендарная страна. Никакие принадлежности европейской столицы не сделают его современным городом, никакие железные дороги не свяжут его с нынешней утилитарной культурой»⁵⁰⁶.

Отметим, в частности, что описание римской Кампаньи в гоголевском «Риме» прямо напоминает изображение вечерней украинской степи и «величественного зрелища» догорающих окрестностей Дубно во второй и четвертой главах первой редакции «Тараса Бульбы» (1835). 1 марта 1845 года А. О. Смирнова писала Гоголю о его жизни в Риме: «Вы как-то сжились с ним. Да, там иногда даже веет Малороссией, в тишине и пространстве Кампании, особенно при заходе солнца»⁵⁰⁷. Это же замечание А. О. Смирнова высказывала ранее в письме к В. А. Жуковскому от 20 апреля 1843 года из Рима, куда она приезжала по просьбе Гоголя: «Люблю Рафаэля, люблю и Петра и Ватикан, но особенно влечет меня в *Capraia di Roma*. Там есть какая-то неизъяснимая прелесть, и, не знаю почему, вспоминается что-то родное, вероятно, степь южной России, где я родилась. Мы часто с Гоголем там бродим...»⁵⁰⁸. За несколько лет перед тем это сравнение Италии с Малороссией было сделано самим Гоголем в его письмах — где, кстати, Рим довольно часто противопоставляется Петербургу: «Я родился здесь.— Россия, Петербург, снега, подлещы, департамент, кафедра, театр — всё это мне снилось. Я проснулся опять на родине...» (письмо к В. А. Жуковскому от 30 октября н. ст. 1837 года); «Мне казалось, что будто я увидел свою родину, в которой несколько лет не бывал я <...> Опять то же небо, то всё серебряное, одетое в какое-то атласное сверканье, то синее, как любит оно показываться сквозь арки Колизея...» (письмо к М. П. Балабиной от апреля 1838 года).

Сияющее небо Италии Гоголь также прямо сравнивал с родным украинским небом — и в свою очередь противопоставлял его туманной петербургской атмосфере. В письме к И. И. Дмитриеву от июля 1832 года

из Васильевки он писал: «В дороге занимало меня одно только небо, которое, по мере приближения к югу, становилось синее и синее. Мне надоело серое, почти зеленое северное небо, так же как и те однообразно печальные сосны и ели, которые гнались за мною по пятам от Петербурга до Москвы». С этими строками переключаются размышления Гоголя в «Невском проспекте» о судьбе петербургских художников: «Эти художники вовсе не похожи на художников итальянских, гордых, горячих, как Италия и ее небо <...> У них всегда почти на всем серенький мутный колорит — неизгладимая печать севера». (Напомним, в частности, и описание украинского неба — «голубого неизмеримого океана, сладострастным куполом нагнувшегося над землею» — в «Сорочинской ярмарке».) Примечательны также воспоминания С. Т. Аксакова о разговоре Гоголя 13 ноября 1839 года с Г. И. Карташевским (многие годы своей служебной деятельности посвятившим борьбе с латинским влиянием в западно-русском крае⁵⁰⁹) и об отзыве последнего о Гоголе: «После обеда Гоголь долго говорил с Григорием Ивановичем об искусстве <...> и характере малороссийской поэзии <...> И какой же вышел результат? Григорий Иванович <...> начал бранить его за то, что он предался Италии»⁵¹⁰.

По словам Анненкова, «на даче княгини З. Волконской, упиравшейся в старый римский водопровод, который служил ей террасой», Гоголь «ложился спиной на аркаду <...> и по полусуткам смотрел в голубое небо, на мертвую и великолепную римскую Кампанию»⁵¹¹. А. П. Стороженко, встретившийся с Гоголем на Украине в 1820-х годах — в то время, когда будущий писатель еще учился в Нежинском лицее, тоже вспоминал, как тот любил подолгу смотреть в безоблачное небо. «Ударьте лихом об землю, — говорил Гоголь, ложась на спину, — раскиньтесь вот так, как я, поглядите на это синее небо, то всякое сокрушение спадет с сердца и душа просветлеет. <...> В этом положении <...> в уме зарождаются мысли высокие, идеи светлые <...> Примите к сведению и на будущее время, глядите на небо, чтоб сноснее было жить на земле»⁵¹². А. О. Смирнова в свою очередь вспоминала о прогулках с Гоголем в Риме: «...Он <...> обыкновенно шел один поодаль от нас, подымал камушки, срывал травки или, размахивая руками, попадал на кусты и деревья <...> ложился навзничь и говорил: «Забудем все, посмотрите на это небо», — и долго задумчиво и вместе весело он глядел на это голубое, безоблачное, ласкающее небо»⁵¹³. «Когда спрашивали, отвечал: “Зачем говорить? Тут надо дышать, дышать, втягивать носом этот живительный воздух и Бога благодарить, что столько есть прекрасного на свете”»⁵¹⁴. 2 ноября н. ст. 1837 года Гоголь писал П. А. Плетневу о Риме: «Я не знаю, где бы лучше могла быть проведена жизнь человека, для которого пошлые удовольствия света не имеют много цены. <...> Приглянет солнце (а оно глядит каждый день) — и ничего уже более не хочешь; кажется, ничего уже не

может прибавиться к вашему счастью. А если случится, что нет солнца (что бывает так же редко, как в Петербурге солнце), то идите по церквам. На каждом шагу и в каждой церкви чудо живописи, старая картина, к подножью которой несут миллионы людей умиленное чувство изумления. Но небо, небо!.. Вообразите, иногда проходят два-три месяца, и оно от утра до вечера чисто, чисто — хоть бы одно облачко, хотя бы какой-нибудь лоскуточек его!»

Имея в виду утешительное воздействие итальянской природы и древних римских памятников, Гоголь 14 апреля н. ст. 1839 года писал А. С. Данилевскому: «...Если есть на свете место, где страдания, горе, утраты и собственное бессилие может позабыться, то это разве в одном только Риме». «Он сам мне говорил, — вспоминала А. О. Смирнова, — что в Риме, в одном Риме он мог глядеть прямо в глаза всему грустному и безотрадному и не испытывать тоски и томления»⁵¹⁵. Гоголь пояснял это состояние строками элегии Е. А. Баратынского «Разуверение» (1821): «Друг попечительный, больного / В дремоте сладкой не тревожь!» (письмо к Н. Я. Прокоповичу от 3 июня н. ст. 1837 года). Гоголь глубоко переживал в то время смерть А. С. Пушкина.

По преданию, вернувшись однажды из Колизея, Гоголь раскрыл молитвенник «на молитве св. Ефрема Сирина, что так чудно Пушкин переложил в стихи» («Отцы пустыnnики и жены непорочны...», 1836), — и с тех пор уже не оставлял ее, читая ее утром и вечером⁵¹⁶. Помимо А. О. Смирновой, высокий духовный настрой и религиозность отмечали у Гоголя во время его пребывания в Риме в конце 1830-х — начале 1840-х годов и другие современники: И. Ф. Золотарев⁵¹⁷, Ф. И. Чижов⁵¹⁸, Г. П. Галаган⁵¹⁹.

В «Петербургских записках 1836 года» (начатых в Петербурге и законченных зимой 1836/37-го в Париже) Гоголь сопоставляет «полунемецкий» Петербург с самобытной (и старобытной) Москвой почти так же, как «цивилизованные» Петербург и Париж с патриархальными Малороссией и Италией. В этих записках встречается и прямое упоминание об Италии, куда прямо отправился Гоголь из Парижа: «Весело тому, у кого в конце петербургской улицы рисуются подоблачные горы Кавказа, или озера Швейцарии, или увенчанная анемноном и лавром Италия, или прекрасная и в пустынности своей Греция...». «Петербург самый новый из всех городов, а Рим самый старый», — замечал позднее Гоголь в письме к сестрам из Рима 28 апреля н. ст. 1838 года. (Примечательно, что, встретившись в конце 1839 года в Петербурге с В. Г. Белинским — переехавшим сюда на постоянное жительство из Москвы, Гоголь, по свидетельству самого критика, «всё с иронической улыбкою» спрашивал его, как ему понравился Петербург⁵²⁰. С другой стороны, Гоголь выговаривал К. С. Аксакову: «...Вы умели сделать смешным самый святой предмет

<...> пристегивая сбоку прилеку при всяком случае Москву, вы не чувствовали, как охлаждали самое святое чувство <...> Чувствуете ли вы страшную истину сих слов: Не приемли имени Господа Бога твоего всуе?»; письмо от ноября 1842 года.)

В соответствии с этим двойким противопоставлением Рима и Москвы («Третьего Рима») Парижу и Петербургу, Гоголь в 1848 году, будучи в Киеве, говорил Ф. В. Чижову: «...Кто сильно вжился в жизнь римскую, тому после Рима только Москва и может нравиться»⁵²¹. Еще в «Петербургских записках 1836 года» Гоголь замечал: «...В самом деле, куда забросило русскую столицу — на край света! Станный народ русский: была столица в Киеве — здесь слишком тепло, мало холоду; переехала русская столица в Москву — нет, и тут мало холода: подавай Бог Петербург! <...> «На семьсот верст убежать от матушки! Этой востроногой какой!» — говорит московский народ, прищуривая глаза на чухонскую сторону».

В 1841 году, Гоголь писал С. Т. Аксакову из Рима: «Теперь я ваш; Москва моя родина. <...> Всё было дивно и мудро расположено Высшею волею: и мой приезд в Москву, и мое нынешнее путешествие в Рим...» (письмо от 5 марта 1841 года). В 1846 году, приглашая из-за границы в Москву на жительство В. А. Жуковского, Гоголь в свою очередь замечал: «В Москву ты приедешь, как в родную свою семью. Она предстанет тебе желанной пристанью...». Позднее, 15 сентября 1850 года он писал А. С. Стурдце из Васильевки: «Скажу вам откровенно, что мне не хочется и на три месяца оставлять России. Ни за что бы я не выехал из Москвы, которую так люблю. Да и вообще Россия всё мне становится ближе и ближе. Кроме свойства родины, есть в ней что-то еще выше родины, точно как бы это та земля, откуда ближе к родине небесной».

В 1851 году, в день празднования двадцатипятилетия царствования Императора Николая I, 22 августа, Гоголь присутствовал вместе с другими гостями — В. И. Назимовым, М. П. Погодиным, И. М. Снегиревым и др.⁵²² — на бельведере дома Пашкова в Москве, откуда смотрел на празднично освещенную столицу. П. Д. Шестаков, учитель 4-й Московской гимназии, которая помещалась тогда в доме Пашкова, позднее вспоминал: «Помню, как он, долго любуясь на расстилавшуюся под его ногами грандиозно освещенную нашу матушку Москву, задумчиво произнес: “Как это зрелище напоминает мне вечный город”»⁵²³.

Можно предположить, что иллюминированная Москва прежде всего напомнила Гоголю римский фейерверк (это «огненное празднество» Гоголь, в частности, наблюдал в 1839 году с тем же Погодиным и с А. А. Ивановым⁵²⁴; несомненно, он видел его в Риме многократно). Но не только о фейерверке вспоминал в 1851 году Гоголь. В конце 1845 года, 13 декабря н. ст., Рим посетил Император Николай Павлович и в тот же день встретился с папой. Русский посланник в Риме А. П. Бутенев писал,

в частности, 22 ноября н. ст. графу К. В. Нессельроде, что приезд Императора Николая I в Рим является событием, которое «само по себе необычайно в истории древнейшего и знаменитейшего города в мире, и которому современные обстоятельства придают еще большее политическое значение и интерес, обращающий на себя, можно сказать без преувеличения, внимание всей Европы»⁵²⁵.

По словам самого Гоголя в письме к графу А. П. Толстому от 2 января н. ст. 1846 года, а также по свидетельству А. П. Бутенева в письме к графу И. И. Воронцову-Дашкову от 21 декабря н. ст. 1845-го, «несмотря на то, что Император путешествовал инкогнито (под именем генерала Романова.— *И. В.*), римское народонаселение повсюду встречало высокого путешественника с таким энтузиазмом, который невозможно описать. Улицы, примыкавшие к дому русского посольства (*palazzo Giustipiani* <дворец Юстиниани>), в котором он останавливался, по целым дням были наполнены тысячами лиц различных классов, ожидавших мгновения его увидеть и ему поклониться. Когда он ездил по городу или посещал общественные гулянья, такие же толпы стекались на его пути с усердием и восторгом»⁵²⁶.

Именно тогда — во время пребывания Гоголя в Риме в 1846 году — и сразу после отъезда из Рима Императора Николая Павловича — у художника А. А. Иванова, близкого друга Гоголя, возник проект о заложении в Москве нового — в отличие от тоновского, Храма Спасителю⁵²⁷. «Во время Московского Юбилея,— писал он в своем проекте,— чтоб Государь выдал Манифест выстроить Храм на месте, где случилось решение Бога быть России, а не Польше,— т. е. когда Авра<а>мий Палицын у стен Московских взывал к бунтующему войску, принеся жалованьем все украшения церковные*. На этом-то самом месте надобно, чтоб Государь велел построить храм Спасителю»⁵²⁸. Тогда же Иванов написал и манифест, в котором от имени Государя провозглашалось перенесение русской столицы с окончанием строительства нового храма из Петербурга в Москву. «Москва,— писал Иванов,— жаждущая только этого, обратится к Правлению русских художников в Риме как выдающимся цветам искусства отечеств<енного>, а мы, видя из сердца отечества такое воззвание, двинемся всеми силами свежего народа к удовлетворению такой лестной и торжественной просьбы»⁵²⁹. По замыслу Иванова (известному, несомненно, и Гоголю), манифест об основании храма и перенесении русской столицы в Москву должен был прочитан Императором на московских торжествах 1851 года.

* Имеется в виду одно из событий Смутного времени, когда в 1613 году казаки грозились покинуть русское ополчение, требуя большого жалованья. Это событие непосредственно предшествовало освобождению Москвы и восшествию на престол боярина Михаила Феодоровича Романова.

Присутствуя теперь, в 1851 году, на московском юбилее и глядя на празднично освещенную Москву, Гоголь, конечно, не мог не вспомнить о пребывании Государя в Риме в 1845 году и о составленном тогда Ивановым манифесте. Вспомнилось, вероятно, Гоголю и то, что римский фейерверк — по обычаю устраивавшийся папой в честь высоких гостей — не был устроен в честь русского Императора, так как Государь был оклеветан тогда польской партией в гонениях против униатов. В Рим была подослана польская самозванка Макрена Мечиславская, выдававшая себя за подвергнувшуюся гонениям российских властей игуменью Минского базилианского монастыря (впоследствии самозванка была разоблачена⁵³⁰). 2 января н. ст. 1846 года, спустя две недели после отъезда из Рима Императора, Гоголь сообщал графу А. П. Толстому: «Донесения гонимой униатки оказались ложью...». Однако клевета успела уже сыграть свою роль. Один из бывших тогда в Риме дипломатов вспоминал о приезде Николая I: «Всех занимал вопрос, будут ли оказаны ему особые почести, а именно иллюминация купола собора Св. Петра и джирандола в Замке Св. Ангела*. Рассказывали, что незадолго перед тем в Рим приехала аббатисса одного женского монастыря в Польше, которая за противозаконные поступки была заключена в русский монастырь, но бежала оттуда. Ее рассказы о приниженном положении католицизма в России произвели такое впечатление, что было решено не оказывать Императору никаких почестей со стороны римского правительства»⁵³¹.

В свете культурно-исторической концепции Гоголя, в которой поллярными точками являются Петербург и Москва, Париж и Рим, совсем не удивительно, что, по свидетельству Анненкова, вспоминавшего о своем общении с Гоголем в Риме в 1841 году, «намеки на то, что европейская цивилизация может еще ожидать от Франции важных услуг, не раз имел силу приводить невозмутимого Гоголя в некоторое раздражение. Отрицание Франции было у него <...> невозвратно и решительно...»⁵³². Речь, конечно, шла не об отрицании Франции, а о неприятии самой западно-европейской цивилизации. По словам протопресвитера Василия Зеньковского, в повести «Рим» Гоголем дана «очень суровая характеристика всей французской культуры» и европейского просвещения в целом⁵³³. «...Гоголь, — замечал исследователь, — высказал много глубоких, не утративших своей силы идей, соображений о том эстетическом падении, которое характеризует и искусство, и жизнь нового времени <...> его едкие замечания о «непонятной» власти моды в современной культуре, среди других его замечаний, поражают своей глубиной и правдой»⁵³⁴.

* Джирандола (*girándola*; *ит.*) — фейерверк. В Замке Св. Ангела, бывшем мавзолее императора Адриана, находились урны с прахом римских императоров. Традиционно здесь устраивалась джирандола, сочиненная Микеланджело.

Историческая концепция развития европейской цивилизации, представленная в «Риме», восходит к историческим штудиям Гоголя первой половины 1830-х годов — в частности, к тем его статьям, которые он опубликовал одновременно с тремя «петербургскими» повестями в сборнике «Арабески». Узловым моментом этой концепции являются слова в «Риме» о «низкой роскоши XIX столетия <...> выведшей на поле деятельности <...> кучи мастеровых и лишившей мир Рафаэлей, Тицианов, Микель-Анжелов...».

Ближайшие корни новейшего европейского «просвещения» восходят, согласно Гоголю, к эпохе открытия европейцами Америки — когда, по его словам, «огромным взмахом закипели движенья Европы, понеслись вокруг света корабли, двинув могучие северные силы» (повесть «Рим»). Уяснить гоголевскую мысль помогает статья «О преподавании всеобщей истории», опубликованная в «Арабесках». Об открытии Нового Света в ней говорится: «Европейцы с жадностью спешат в Америку и вывозят кучи золота...». Первую роль в этом играла, как известно, Испания. Целый океан сокровищ хлынул тогда в Испанию из Нового Света, лишив тем самым ее народ всякого побуждения к труду. («Испания издавна отличалась <...> трудолюбием жителей...» — замечал в 1834 году Гоголь в одной из своих университетских лекций.) Вывезенное Испанией из Америки золото и послужило началом европейской промышленности. Английский философ начала XVIII века Б. Мандевиль, известный своими выводами о необходимости пороков и роскоши для развития ремесел, писал, в частности, что весь мир тогда «стремился работать на Испанию». В результате «золото и серебро <...> сделали все вещи дорогими, а большинство стран Европы — промышленными...»⁵³⁵.

Напомним, в частности, строки чрезвычайно высоко оцененной Гоголем «Сцены из Фауста» (1825) А. С. Пушкина: «Корабль испанский, трехмачтовый, / Пристать в Голландию готовый...». Близкий друг Гоголя писатель и историк М. П. Погодин также замечал, что «войны Филиппа с Нидерландами и прочие его предприятия против Англии, Франции и Германии, суть каналы для разлития американского золота и серебра по Европе»⁵³⁶. Именно в освещении этого периода европейской истории и увидел Гоголь достоинство трудов М. П. Погодина: «У него Шварц, Колумб, Лютер, кажется, вонзают взор, шагнувши чрез несколько веков, в нас самих и в события нашего века» (рецензия «Исторические афоризмы Михаила Погодина», 1836). — Непосредственным отражением и результатом начавшегося на исходе средних веков «движения» европейских народов в «событиях нашего века» и является, по Гоголю, кипучая деятельность современного Парижа — прямая противоположность патриархальной жизни Рима.

Среди рукописей заключительной главы первого тома «Мертвых душ» до нас дошел отдельный набросок Гоголя о XIX веке, имеющий непосредственное отношение к создававшейся в то время повести «Рим». Речь в нем идет о ничтожном итоге всего исторического развития человечества: «...[всяких вещей] добра, созданного модою. [Возьмем] <...> богатый и обширно развитый [19 век] наш умный девятнадцатый век» [Благодетельное] Чуждое счастье! доставленное [нанесенное им человеку], подаривший человечество таким счастьем в награду его трудных и бедственных странствий»⁵³⁷.

Согласно этому проникнутому глубокой иронией отрывку, результат «трудных и бедственных странствий» человечества, или, иначе, итог приложения «могучих северных сил», вызванных к жизни открытием Америки, ничем не возвышается, по оценке Гоголя, над той деятельной «бездельностью жизни всего человечества в массе», какую прозревал он в мире и какую пытался изобразить в первом томе «Мертвых душ» в «бальном» безделье губернского города (заметка «К 1-й части»).

В самом «Риме» именно такой и представляется в итоге герою жизнь Парижа: «В движении вечного его кипенья и деятельности виделась теперь ему странная недеятельность <...> В движенье торговли, ума, везде, во всем видел он только напряженное усилие и стремление к новости». Такова, по Гоголю, и суть европейского прогресса в целом — практически исчерпывающегося понятием моды (как в самом широком смысле этого слова, так и в узком, бытовом). Мода же, очевидно, никакого действительного «прогресса» в себе не заключает. Скорее наоборот. «...Прогресс,— писал Гоголь по этому поводу в неотправленном письме к В. Г. Белинскому 1847 года,— он <...> был, пока о нем не думали, когда же стали ловить его, он и рассыпался». «...Человечество двинется вперед,— размышляет Гоголь об истинном «прогрессе» в своем предсмертном послании «Друзьям моим»,— когда всякий частный человек займется собою и будет жить как христианин». «Наука у нас непременно дойдет до своего высшего значения и поразит самым существом, а не красноречием преподавателя, его даром рассказывать, или же применениями к тому, что интересуется модою...» — писал Гоголь в 1844—1845 годах в статье «О науке».

Бесплодная в отношении добра, европейская цивилизация нового времени постепенно, по Гоголю, становится в то же время все изощреннее в «искусстве» зла. Об этом гоголевском взгляде можно, в частности, тоже судить из соответствующих образов «Мертвых душ». Примечательна в этом смысле реплика Чичикова по поводу балов в отдельном черновом наброске к восьмой главе: «Сколько муж ни делает канальства, бездельничества и мерзостей из-за того, чтоб жене достать денег на наряд!...». Эта же мысль слышна и в размышлениях Гоголя о губительной власти

«пошлых привычек света, условий, приличий без дела движущегося общества» в связи с характеристикой героев первого тома поэмы. Цивилизация нового времени есть, по Гоголю, активная сила зла в мире, действие которой он прослеживает в истории. Как явствует из гоголевской концепции, создавшаяся в Европе вследствие перераспределения американского золота промышленность, опустошив золотonosную Испанию («Старая Испания, точно, все могла бы иметь и все потеряла», — замечал Гоголь в 1847 году в письме к графу А. П. Толстому), в поисках нового для себя поприща и источников роста («для поддержки и сбыту» — строки второго тома «Мертвых душ») обращается со временем с Запада на Восток. Здесь, уже в начале XIX века, наиболее значительным приложением набранной ею мощи стала, по мысли Гоголя, организация похода «Великой армии» Наполеона в Россию. «...Наполеон <...> уже действует другим орудием...» — замечает Гоголь в статье о всеобщей истории. Этот «крестовый поход» Наполеона в Россию неизбежно оказывается (как и в средние века, когда по интригам торговой Венеции крестоносцами был разрушен Константинополь) войной не столько политической, сколько религиозной, несущей вместе с экономическим порабощением и искажение духовных начал жизни — войной за превращение России в «европейское» государство и втягивание ее в общеевропейский процесс апостасии. «Что значит, — вопрошает Гоголь в статье «Светлое Воскресенье», — что уже правят миром швеи, портные и ремесленники всякого рода (то есть Шиллеры, Гюфманы и Кунцы. — *И. В.*), а Божии помазанники остались в стороне?» Подразумеваемый ответ на этот вопрос находится во Втором послании св. апостола Павла к Фессалоникийцам: изъятие из среды «удерживающего» знаменует наступление конца света (гл. 2, ст. 7).

Одним из главных источников в таком осмыслении мировой истории, очевидно, послужил Гоголю рассказ св. апостола и евангелиста Луки в Деяниях Апостолов об ефесских ремесленниках — фабрикантах идольских изображений, трудившихся над созданием храмов языческой богини Артемиды и восставших против проповеди св. апостола Павла из неложного опасения лишиться вследствие ее своих доходов⁵³⁸ (сам апостол Павел не без горечи вспоминает о мятеже: «...когда я боролся со зверями в Ефесе»⁵³⁹). Гоголь придает этому событию прообразовательный смысл и поистине вселенский, апокалиптический масштаб.

Противоположное отношение к Италии и Франции, воплощенное в повести «Рим», и определяется этим противопоставлением Гоголя одухотворенной средневековой культуры развращающему влиянию новейшей цивилизации. В отличие от северной Европы, ремесленная цивилизация которой стала активным проводником растлевающих соблазнов, в Италии, напротив, теми же ремесленниками, благодаря терпимости и целе-

направленному меценатству пап (и перемещению торговых путей — с открытием Нового Света — на север Европы), был создан противостоящий цивилизации «синих блуз» Ренессанс. Покровительствуя религиозному направлению искусства, духовные власти Рима оградили тем самым свой народ от развращающего воздействия на него «ремесла». Только в этом — в противостоянии «величественной прекрасной роскоши» художеств «низкой роскоши» ремесла — светское искусство и находит себе оправдание у Гоголя (на чем и строится противопоставление в повести Парижа и Рима). Значение искусства Гоголь, однако, не переоценивает. Эстетически развитый итальянский народ скептически относится к своему духовенству, которому всем обязан. Сожалея в «Портрете», что время меценатов, издерживавших целые состояния на произведения искусства, прошло («наш XIX век давно уже приобрел скучную физиономию банкира, наслаждающегося своими миллионами только в виде цифр»), Гоголь, однако, в то же время отмечает и весьма относительную «просвещенность» «тех богатых любителей искусств, которые сладко продремали всю свою жизнь, погруженные в зефиры и амурь». Не случайно, приняться за чтение «первых всемирных поэтов» Гоголь считает необходимым лишь тем из русских, «которые даже не захотели бы и выслушать слов, если бы увидели, что вышел поп сказать их», которые «мудрость свою <...> покуда черпают из разного рода повестей, а не из Евангелия», тем, «которым другим путем нельзя сказать иных истин» (согласно строкам его писем 1846—1847 годов).

Характерно, что атеистически настроенный В. Г. Белинский* не принял повести Гоголя. В статье «Объяснение на объяснение по поводу поэмы Гоголя “Мертвые души”» он писал, что в «Риме» «есть удивительно яркие и верные картины действительности» и в то же время «есть и косье взгляды на Париж и близорукие взгляды на Рим...»⁵⁴⁰. В письме к С. П. Шевыреву от 1 сентября н. ст. 1843 года Гоголь отвечал на критику: «Белинский смешон. А всего лучше замечание его о «Риме». Он хочет, чтобы римский князь имел тот же взгляд на Париж и французов, какой имеет Белинский. Я бы был виноват, если бы даже римскому князю внушил такой взгляд, какой имею я на Париж. Потому что и я хотя могу столкнуться в художественном чутье, но вообще не могу быть одного мнения с моим героем. Я принадлежу к живущей и современной нации, а он к отжившей. Идея романа вовсе была не дурна. Она состояла в том, чтобы показать значение нации отжившей, и отжившей прекрасно, относительно живущих наций. Хотя по началу, конечно, ничего нельзя за-

* Именно Белинскому предлагал Гоголь в 1847 году в неотправленном письме, «начав сызнова ученье», «приняться за тех поэтов и мудрецов, которые воспитывают душу».

ключить, но все можно видеть что дело в том, какого рода впечатление производит строящийся вихорь нового общества на того, для которого уже почти не существует современность».

Взгляды Гоголя, судя по всему, во многом и совпадали с размышлениями героя⁵⁴¹, а кое в чем были еще более радикальны, чем взгляды римского князя⁵⁴². (Можно сказать, что в «Риме» Гоголь подтвердил истину, высказанную ранее им самим применительно к творчеству А. С. Пушкина, — что «истинная национальность состоит не в описании сарафана, но в самом духе народа. Поэт даже может быть и тогда национален, когда описывает совершенно сторонний мир, но глядит на него глазами своей национальной стихии...»⁵⁴³; «Несколько слов о Пушкине».)

Несомненно, впечатления Гоголя от Парижа были гораздо более тягостны, чем впечатления героя. 12 февраля н. ст. 1845 года он, например, писал Н. М. Языкову: «О Париже скажу тебе только то, что я <...> и встарь был до него не охотник, а тем паче теперь. Говоря это, я разумею даже и относительно материальных вещей и всяких жизненных удобств: нечист, и на воздухе хоть топор повесь». Гоголевская позиция отличалась, вероятно, от воззрений героя настолько, насколько большую угрозу представляет собой западноевропейская цивилизация (будь она в Париже или в Петербурге) для нации «живущей и современной», чем для «отжившей». «Отжившая прекрасно» Италия, имеющая в себе залог истинного, религиозного чувства красоты, к тому же отделенная от Парижа еще и государственно, оказывается в этом смысле в позиции стороннего, не подверженного соблазнам наблюдателя — римский князь в итоге возвращается в Италию.

Иначе обстоит дело между тем же Петербургом и, скажем, Малороссией, с которыми Гоголь соотносит Париж и Италию в своих письмах. Раз возникнув в теле народа, цивилизация, подобно раковой опухоли, беспрепятственно расплзается по всей «живущей» России. «Спасение России, что Петербург в Петербурге», — заметил однажды Гоголь в разговоре с М. П. Погодиным⁵⁴⁴. Хотя главное разделение проводит все-таки Гоголь между Россией и Западом (разорительное влияние европейской промышленной роскоши), но более опасным представляется ему разделение в самой России — единой территориально и слишком молодой, чтобы с постоянством противостоять развращающим соблазнам.

Свидетельством тому, что проблему цивилизации Гоголь постепенно начинает осмысливать как назревающую внутреннюю проблему России, может служить его заметка в записной книжке начала 1841—1846 годов «О Пермской губернии»: «Хлеба для губернии недостает. Подвоз его из губерний Вятской, Оренбургской, Тобольской и частию Казанской <...> Горнозаводское дело. Поглощает все другие промышленные занятия <...> Золотинские печки уже в 1823 году дали более 100 пудов золота, а

потом до 250 и 300 пуд <...> Все предметы большею частью ввозятся. Оборот капиталов на ввозимые в губернию товары 11 000 000 руб., а вывозится только на 200 000 с небольшим (само собою, не считая металлов). Движение внутренней торговли почти все производится потребностями заводов, которых снабжение обеспечивает (которые снабжает.— *И. В.*) весь юг губернии. Так велико количество рабочих на заводах». Соответствующую запись находим и в записной книжке Гоголя 1846—1851 годов — о содержании предполагаемых бесед: «С Далем о сословиях нынешних обществ и о пролетариях в наших городах. С Бенардаки — как велики средства России и возможность продовольствовать нынешних поедателей всех сортов».

Таким образом, римский князь, так же как и совпадающий с ним в «художественном чутье» Гоголь, может достаточно отстраненно смотреть на парижские соблазны, но, принадлежа к обществу, захваченному «строющимся вихрем», писатель не удовольствуется позднее только художественным творчеством, перейдя в «Выбранных местах...» к открытой публицистической проповеди.

ЗАВЯЗКА «РЕВИЗОРА»

Горьким словом моим посмеюся.

Иеремия, гл. 20, ст. 8.

Надпись на надгробном памятнике Гоголю.

Сороковой день по кончине Гоголя, 31 марта 1852 года, пришелся на понедельник Светлой седмицы Пасхи. В этот день после заупокойной обедни и панихиды на могиле писателя в Свято-Даниловом монастыре друзья Гоголя, С. Т. Аксаков, М. П. Погодин, С. П. Шевырев, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин, читали за поминальной монастырской трапезой последнее напечатанное при его жизни произведение — статью «Светлое Воскресенье». Кто-то плакал. Но настроение и атмосфера были не скорбные, а торжественные, пасхальные. Тут же, вспоминал М. П. Погодин, «начали говорить о надгробном памятнике, о надписях... Одна получила полное одобрение, возбудила даже восторг: до такой степени выражалась ею жизнь покойника! Из Пророка Иеремии (20,8): “Горьким словом моим посмеюся”»⁵⁴⁵.

Действительно, не только в словах, но и в самой судьбе Пророка Иеремии, восклицавшего: «Горе мне, мать моя, что ты родила меня человеком, который спорит и ссорится со всею землею!..»⁵⁴⁶, который за свои обличения и пророчества заслужил только неприязнь своих соотечественников, можно почерпнуть многое к пониманию того служения, каким стремился принести пользу своей земле творец «Ревизора» и «Мертвых душ». Скажем сразу, что это отнюдь не натяжка и не «переосмысление» художественного наследия Гоголя в свете якобы случившегося с ним в последние годы жизни «переворота» и начавшегося лишь тогда обращения к религии. Ко времени создания «Ревизора» Гоголь — автор знаменитого «Тараса Бульбы», страшного «Вия», проникнутых глубокой верой в Божественный Промысл историко-философских статей «Арабесок»... Есть и такое свидетельство, что в 1830-х годах он вступил в Петербурге в члены «Общества распространения Православия»⁵⁴⁷. Сама атмосфера, в которой создавался «Ревизор», убеждает в том, что неоднократные уверения Гоголя о неизменности «главных положений» его мирозерцания на протяжении всего творческого пути заслуживают полного доверия.

Долгое время под влиянием известного зальцбруннского письма к Гоголю В. Г. Белинского 1847 года, еще более под воздействием оценки, данной этому письму в 1914 году В. И. Лениным как «одному из лучших произведений бесцензурной демократической печати»⁵⁴⁸ *, творчество Гоголя делилось на две части. С одной стороны, гоголевские произведения, и прежде всего «Ревизор» и «Мертвые души», истолковывались как прямая политическая сатира, направленная на свержение самодержавия, с другой — утверждалось мнение, будто вследствие изменившегося у писателя в конце жизни мировоззрения он вступил в противоречие со своим гением. В силу внелитературных причин этот взгляд уже со второй половины XIX века возобладал в публицистике и ученых статьях о Гоголе. Надо ли говорить, что основательных научных требований к аргументации такой концепции почти не предъявлялось, так что даже возражения самого писателя против трактовки его произведений в революционно-демократическом духе во внимание не принимались. Пожалуй, в наше время едва ли не впервые представляется возможность непредвзято взглянуть на содержание гоголевской комедии.

Незаменимым подспорьем здесь являются собственные комментарии Гоголя к своей пьесе. Как бы предчувствуя непонимание комедии у своих современников, писатель начал делать объяснения к «Ревизору» сразу по его завершению. К первому изданию пьесы 1836 года он предпослал заметку «Характеры и костюмы. Замечания для гг. актеров»; в том же году написал письмо о постановке «Ревизора» к А. С. Пушкину («Отрывок...» из которого был опубликован им в 1841-м); тогда же, в 1836 году, был начат «Театральный разъезд после представления новой комедии», напечатанный в 1842-м. Тесно связана с содержанием и сценической историей «Ревизора» написанная в то время Гоголем статья «Петербургская сцена в 1835—36 г.». К эпохе первой постановки пьесы восходит (по свидетельству Гоголя в письме к И. И. Сосницкому от 2 ноября н. ст. 1846 года) и драматическая «Развязка Ревизора», которая сделалась известной друзьям Гоголя в 1846 году. В 1846 году, вероятно, был написан еще один автокомментарий — «Предупреждение для тех, которые пожелали бы сыграть как следует “Ревизора”» (последние два произведения были опубликованы посмертно). Во всех этих текстах, большинство из которых почти современны самой комедии, содержатся если не исчерпывающие, то по крайней мере наиболее существенные характеристики

* Ф. М. Достоевский в письме к Н. Н. Страхову от 5 мая н. ст. 1871 года писал: «Смрадная букашка Белинский (которого Вы до сих пор еще цените) был немощен и бессилен талантишком, а потому и проклял Россию и принес ей сознательно столько вреда» (*Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1986. Т. 29, кн. 1. С. 208).

героев пьесы. Дополнительные черты к пониманию гоголевских художественных типов можно извлечь из его писем, духовно-нравственных произведений, «Выбранных мест из переписки с друзьями», «Авторской исповеди», записных книжек. Вряд ли можно — как это делалось до последнего времени — приниматься за разбор гоголевской комедии, не выслушав прежде самого Гоголя, не обратившись — с доверием — ко всем этим авторским пояснениям.

Возражая против политического, тенденциозного истолкования своей пьесы, Гоголь писал: «...Разве всяк из нас приступает к произведению писателя, как пчела к цветку, затем, чтоб извлечь из него нужное себе? Нет, мы ищем во всем нравоченья для *других*, а не для себя». Очевидно, именно нежелание принимать нравственный урок комедии на собственный счет обусловило то обстоятельство, что «Ревизор» — это напоминание о необходимости каждому «нравственной ревизии» перед лицом своей совести — по-настоящему не был понят зрителями. Идея воскрешения «мертвых душ», обращенная в пьесе к каждому человеку лично, религиозный призыв к очищению нравов, восстановления «узаконенного порядка» и «невидимая брань» с мистически реальным злом, превращалась под пером революционно-демократической критики в прямую проповедь уничтожения и человеконенавистничества. Попытка же Гоголя остановить такое, несовместимое с подлинной культурой, «употребление» его комедии выдавалось, вопреки здравому смыслу, за умаление ее «общественного звучания». (Отметим, что такую же судьбу в руках распространителей противоположенных учений разделили в XIX—XX веках, вместе с гоголевским произведениями, весьма многие явления отечественной культуры, не исключая текстов Священного Писания.)

Ситуация, надо сказать, складывалась парадоксальная. Ибо проповедуемое радикальными истолкователями гоголевской комедии разрушение основ традиционной культуры и намерение строить в дальнейшем общественное здание без опоры на эти духовные основы, пожалуй, нигде — среди всех созданий художественной литературы — не подвергалось столь уничтожающей критике, как в самом «Ревизоре». Достаточно сказать, что весь комизм пьесы проистекает именно из того, что автор изображает в ней заведомую невозможность установления нормальных гражданских отношений (а также «уродливость» жизни в целом) в обществе, руководствующемся исключительно «вещественными» соображениями. Городничий, получив известие о прибытии ревизора, почти уверен в «благополучном» для его административных «грешков» исходе дела: «Бывали трудные случаи в жизни, сходили, еще и спасибо получал». Напрасно, считает Гоголь, в этой атмосфере нравственной и духовной неразвитости применение каких-либо внешних средств — законнического исчисления «всех возможных случаев уклонений» или проведения

социальных реформ и «ревизий». Они лишь дают повод к новым, более ухищренным злоупотреблениям. «Общество тогда только поправится, когда всякий частных человек займется собою и будет жить как христианин...» — утверждал Гоголь. Именно в этом нападении о «краеугольном камне» общественного благоустройства — порой отвергаемом, как сказано в Евангелии, или предаваемом забвению строителями — заключается глубокое социальное и культурное значение гоголевской комедии.

Было бы, однако, неправильным видеть в содержании «Ревизора» одну лишь идею земного строительства. В конечном счете это означало бы возвращение к истолкованию комедии в политическом духе, против чего возражал Гоголь. В гораздо большей мере гоголевская комедия готовит своего зрителя для «гражданства небесного». И здесь писатель превосходит все ожидания. Действительно, современники и потомки Гоголя могли ли ожидать от «человека, не носящего ни клобука, ни митры, смешившего и смешавшего людей», что он заговорит в образах своей комедии об освобождении падшего человека от рабства страстям и демонам, о Страшном Суде, о пути в Небесную Отчизну? Кажется, лишь интуитивно, вопреки тому, что писалось, говорилось и думалось об этой пьесе, зрители ощущали — и с течением времени все более — ее соотношенность с иной реальностью. Секрет непреходящей современности «Ревизора» и загадка гоголевского «горького смеха» заключается именно здесь. Самим Богом, писал Гоголь в «Мертвых душах», было определено ему идти рука об руку с его «странными героями» и «озирать всю громадно несущуюся жизнь <...> сквозь видимый миру смех и незримые, неведомые ему слезы». Скорбной, сострадательной любовью к «бедной душе человека, которую губят со всех сторон и которую губит он сам», «Ревизор» и открывает каждому в его жизни «строгую тайну ее и сокровеннейшую небесную музыку этой тайны». Потому-то комедия, самая исполненная глубокой пророческой тайны (часть которой уже и исполнилась в наши дни), предстает перед нами не только верным зеркалом далекого прошлого и злободневного настоящего, но и прямым предвестием грядущих времен.

* * *

Обратимся к истории создания «Ревизора». В месяцы, непосредственно предшествовавшие его написанию, Гоголь переживает высокий духовный подъем. Как вспоминал позднее один из друзей Гоголя, известный историк и фольклорист М. А. Максимович, с которым писатель после трехлетнего перерыва встретился в Киеве в августе 1835 года, Гоголь поразил его тогда своей глубокой религиозной настроенностью. Вспоминая о прогулках Гоголя по старому Киеву и его Святым местам, Максимович писал: «Нельзя было не заметить перемены в его речах и

настроении духа; он каждый раз возвращался неожиданно степенным и даже задумчивым <...> Я думаю, что именно в то лето началось в нем крутой поворот в мыслях — под впечатлением древнерусской святыни Киева, который у малороссиян XVII века назывался “Русским Иерусалимом”»⁵⁴⁹. По свидетельству самого Гоголя в «Выбранных местах из переписки с друзьями», именно к этому времени относится одно «необыкновенное», по его словам, «душевное событие», которое ознаменовало новую ступень в его нравственном образовании и еще более углубило в нем дар изображать «пошлость пошлого человека». Какого рода было это событие — одна из загадок гоголевской биографии. Однако то, что сказано об этом Гоголем, позволяет отчасти проникнуть в эту тайну, и мы на этом еще остановимся.

Вернувшись осенью 1835 года в Петербург, Гоголь приступает к работе над «Мертвыми душами», а затем, в поразительно короткий срок, почти за месяц, с конца октября по начало декабря, создает «Ревизора». Примечательно, что перед этим он с большим удовольствием прочел вышедшую тогда первую статью о нем В. Г. Белинского — «О русской повести и повестях г. Гоголя», в которой мог почерпнуть настоящую «программу» будущего «Ревизора». Говоря в статье о значении «беспощадного», бичующего юмора, критик писал: «...Надобно <...> чтобы люди иногда просыпались от своего бессмысленного усыпления и вспоминали о своем человеческом достоинстве <...> надобно <...> чтобы гром иногда раздавался над их головами и напоминал им о их Творце <...> надобно <...> чтобы за пиршественным столом, посреди остатков безумной роскоши, среди утех беснующейся масленицы <...> торжественный звук колокола возмущал внезапно их безумное упоение и напоминал о храме Божием, куда каждый должен предстать с раскаянием в сердце...»⁵⁵⁰ *. Неудивительно, что после завершения комедии в «Петербургских записках 1836 года» появляются у Гоголя такие строки: «Спокоен и грозен Великий Пост. Кажется, слышен голос: “Стой, христианин, оглянись на жизнь свою”». Они прямо предваряют позднейшее истолкование Гоголем своей комедии в «Развязке Ревизора» — пьесе, которую он предполагал в 1846 году заключить отдельное издание «Ревизора» в пользу бедных: «...Этот настоящий ревизор, о котором одно возвещенье в конце комедии наводит такой ужас, есть <...> настоящая наша совесть, которая встречает нас у дверей гроба». Эту нравственную цель комедии — стремление разбудить уснувшую совесть человека, заставить каждого заглянуть в собственную душу — Гоголь подчеркнул и в 1842 году, поставив на титульном листе «Ревизора» эпиграф-пословицу «На зеркало неча пенять, коли рожа крива» и вложив в уста городничего знаменитую реплику:

* Белинскому эти размышления навяли повести князя В. Ф. Одоевского.

«Чему смеетесь? Над собою смеетесь!..». В этом же заключается и главный смысл многочисленных гоголевских «комментариев» к пьесе. Очевидно, проповедническая установка «Ревизора» объяснялась религиозным осмыслением Гоголем своего художнического призвания. Спустя три недели после первой постановки комедии на сцене Александринского театра он отправляет М. П. Погодину письмо (от 10 мая 1836 года), в котором отчетливо звучит осознание писательства как высокого, «пророческого» служения: «Писатель современный, писатель комический, писатель нравов должен подальше быть от своей родины. Пророку [нет приюта] нет славы в отчизне. Что против меня уже решительно восстали теперь все сословия, я не смущаюсь этим, но как-то тягостно, грустно, когда видишь против себя несправедливо восстановленных своих же соотечественников, которых от души любишь...». Само удаление из отечества за границу для дальнейшего писания «Мертвых душ» Гоголь осмысляет как своеобразный уход в «затвор», в «монастырь» — предуготованный ему Провидением. На это он указывает в «Авторской исповеди», в письмах к друзьям, в первоначальной редакции «Театрального разъезда...»: «Я удалюсь <...> пустыня мне нужна...». Еще за полтора года до отъезда за границу, в первой редакции повести «Портрет», в судьбе молодого художника Гоголь как бы предсказал свою будущую судьбу: «Этот художник <...> оторвавшись от друзей, от родных, от милых привычек, бросился без всяких пособий в неизвестную землю; терпел бедность, унижение, даже голод <...> был бесчувствен ко всему, кроме <...> искусства». Свою последующую жизнь в Италии Гоголь в письме к А. С. Данилевскому от 15 апреля н. ст. 1837 года прямо называет «художнически-монастырской». 28 ноября н. ст. 1836 года он писал Погодину: «Бросивши отечество, я бросил вместе с ним все современные желания <...> Не дело поэта втираться в мирской рынок. Как молчаливый монах, живет он в мире не принадлежа к нему, и его <...> душа умеет только беседовать с Богом».

Понятно, почему в «Театральном разъезде...» писатель утверждал, что видеть в его комедии «злую сатиру», направленную на то, чтобы «поколебать основные законы правленья», есть близорукость. На этом Гоголь будет настаивать неоднократно в продолжение всей своей жизни. Очевидно, что Гоголь изначально рассчитывал вовсе не на политическое, но на нравственное воздействие комедии. Вера в исправление русского человека, воскрешение его души никогда не покидала Гоголя. В этих своих духовных устремлениях он не случайно надеялся встретить поддержку и сочувствие у самого Государя. Известно, что только благодаря Императору Николаю I «Ревизор» и был разрешен к постановке и печатанию. Государь присутствовал тогда и на премьере комедии. За экземпляр «Ревизора», поднесенный Императору, Гоголь получил в то время

бриллиантовый перстень. Вскоре после постановки Гоголь отвечал в «Театральном разезде...» своим недоброжелателям: «Великодушное правительство глубже вас прозрело высоким разумом цель писавшего». В опубликованной посмертно статье «Петербургская сцена в 1835—36 г.» он не без оснований замечал: «Благосклонно склонится око монарха к тому писателю, который, движимый чистым желанием добра, предпримет уличать низкий порок, недостойные слабости и привычки в слоях нашего общества и этим подаст от себя помощи и крылья его правдивому закону». Самому Императору Гоголь в 1837 году (18 апреля н. ст.) писал: «Вы склонили Ваше Царское Вниманье к слабому труду моему, тогда как против него неправо восставало мнение многих. Глубокое чувство благодарности кипело тогда в сердце Вашего подданного и слезы, невыразимые слезы, каких человеку редко дается вкушать на земле, струились по челу его»⁵⁵¹. С надеждой получить «ободрение и помощь от правительства, доселе благородно ободрявшего все благородные порывы», Гоголь создавал и свои «Мертвые души» (согласно строкам его письма к С. С. Уварову весной 1842 года).

В самом деле, если, имея в виду общечеловеческий, пророческий смысл «Ревизора», сравнить отношение Гоголя к российской и европейской действительности, то с очевидностью обнаружится, что обличение русских «плутов» вовсе не означало для писателя неприязни к России в целом и поклонения перед западноевропейскими порядками, как это было во многом свойственно западникам, превозносившим гоголевскую комедию за «политическую тенденцию». Согласно признанию Гоголя в «Авторской исповеди», в «Ревизоре» он «решился собрать в одну кучу все дурное в России и за одним разом посмеяться над всем». О том, с какой целью он это сделал, Гоголь объяснял в «Театральном разезде...»: «...Странный вопрос: “зачем?” <...> Зачем один отец, желая исторгнуть своего сына из беспорядочной жизни, не тратил слов и наставлений, а привел его в лазарет, где предстали пред ним во всем ужасе страшные следы беспорядочной жизни?». «...Бывает время,— пояснял в 1846 году Гоголь в одном из «Четырех писем к разным лицам по поводу “Мертвых душ”»,— когда нельзя иначе устремить общество <...> к прекрасному, пока не покажешь всю глубину его настоящей мерзости...».

Говоря в «Театральном разезде...» об этих «общественных ранах» России, Гоголь добавлял: «...Внутри <...> свиристует болезнь <...> она может взорваться...». Во второй половине 1840-х годов Гоголь, вспоминая опять о чреватых социальными «взрывами» «общественных ранах» России в преддверии прокатившейся по Европе волны революций, писал, в частности, об Англии: «По крайней мере, нужно заглянуть в те мины, где готовятся близкие взрывы» (письмо к П. В. Анненкову от 20 сентября н. ст. 1847 года). В статье «Страхи и ужасы России» он также замечал:

«В Европе завариваются теперь повсюду такие сумятицы, что не поможет никакое человеческое средство, когда они вскроются, и перед ними будет ничтожная вещь те страхи, которые вам видятся в России. В России еще брезжит свет, есть еще пути и дороги к спасенью...».

Главной «дорогой к спасенью» Гоголь считал незамутненное нравственное сознание русского человека. В «Переписке с друзьями» он говорил о «Мертвых душах», что они «не потому так испугали Россию <...> чтобы <...> раскрыли какие-нибудь ее раны или внутренние болезни», но потому лишь, что представили читателю его «пошлость». При этом Гоголь восклицал: «Явление замечательное! Испуг прекрасный! В ком такое сильное отвращенье от ничтожного, в том, верно, заключено все то, что противоположно ничтожному». А потому — «“Хуже мы всех прочих” — вот что мы должны всегда говорить о себе», — заключал Гоголь в статье «Светлое Воскресенье». На обвинения критиков «Ревизора» в непатриотизме и вражде автора к России Гоголь отвечал: «...Гордыми сделало нас европейское наше воспитание <...> скрыло нас от самих себя <...> всякий из нас ставит себя чуть не святым, а о дурном говорит вечно в третьем лице...» («Театральный разъезд...»). Итак, следовало бы, по Гоголю, зрителям его комедии «прежде чем замечать отношение ее к целому обществу» обратить каждому взгляд на самого себя. Ибо именно так, по признанию писателя, он и создавал свои отрицательные образы: беспощадным анализом и обличением в себе собственных пороков и недостатков. Понятно, почему такой же требовательный взгляд на себя и является, по Гоголю, настоящим «ключом» к «шкатулке» «Ревизора». «...Герои моих <...> произведений, — замечал он, — <...> будучи далеки от того, чтобы быть портретами действительных людей, будучи сами по себе свойства непривлекательного, неизвестно почему близки душе...». «Всмотритесь-ка пристально в этот город, который выведен в пиззе: все до единого согласны, что такого города нет во всей России, не слыхано, чтобы где были у нас чиновники все до единого такие уроды; хоть два, хоть три бывает честных, а здесь ни одного. Словом, такого города нет. Не так ли? Ну, а что, если это наш же душевный город, и сидит он у всякого из нас?» («Развязка Ревизора»).

Каким же образом связано позднейшее истолкование Гоголем уездного города «Ревизора» как «душевного города», а его чиновников как воплощения бесчинствующих в нем страстей с историей создания пьесы? Ответ на этот вопрос кроется, как кажется, в загадке того «необыкновенного душевного события», которое произошло с Гоголем незадолго до начала работы над «Мертвыми душами» и «Ревизором» и объяснению которого он посвятил позднее в «Переписке с друзьями» целое письмо.

Как писал здесь Гоголь, «главное существо», или «главное свойство» его таланта, замеченное и оцененное только Пушкиным, заключалось в

умении очертить «пошлость пошлого человека». Это умение, признавался Гоголь, в свое время углубилось в нем «еще сильнее от соединенья с ним некоторого душевного обстоятельства». «Но этого,— прибавлял Гоголь,— я не в состоянии был открыть тогда даже Пушкину». В чем же заключался характер этого связанного с нравственным образованием «душевного обстоятельства», о сути которого Гоголь не мог поведать даже Пушкину?

Гоголь писал: «Я <...> от многих своих гадостей избавился тем, что передал их своим героям <...> Я оторвался <...> от многого тем, что, лишивши картинного вида и рыцарской маски, под которою выезжает козырем всякая мерзость наша, поставил ее рядом с той гадостью, которая всем видна».

Если открыть Евангелие, которое Гоголь, как, впрочем, многие его современники, знал едва ли не наизусть, можно обнаружить, что гоголевские слова об автобиографической основе его сатирических образов прямо перекликаются с повествованием об одном из чудес, совершенных Спасителем, а именно... изгнании легиона бесов из одержимого в стране Гадаринской: «И просили Его все бесы, говоря: пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них. Иисус тотчас позволил им. И нечистые духи, вышедши, вошли в свиней; и устремилось стадо с крутизны в море, а их было около двух тысяч; и потонули в море»⁵⁵².

С этим повествованием гоголевский рассказ перекликается сразу несколькими мотивами. Во-первых, словами о самом осуществляемом с Божьей помощью изгнании. «...Я не люблю моих мерзостей,— писал Гоголь,— <...> и изгоню их, и мне в этом поможет Бог». Во-вторых, упоминанием об изгнании «такого множества, в каком,— замечал он,— я еще не встречал доселе ни в одном человеке». (Слово «легион», то есть отряд в шесть тысяч человек, употребляется в Евангелии именно для обозначения великого множества.) В-третьих, и в Евангелии и в исповедальном рассказе Гоголя речь идет об изгнании через «переход», «передачу» (в свиней — в отрицательные, отталкивающие художественные образы). «...Взявши дурное свойство мое,— писал Гоголь,— я преследовал его в другом званьи и на другом поприще <...>. Если бы кто увидел те чудовища, которые выходили из-под пера моего вначале для меня самого, он бы, точно, содрогнулся <...> Никто из читателей моих не знал того, что, смеясь над моими героями, он смеялся надо мной». Наконец, перекличка с евангельским рассказом слышна и в гоголевском упоминании о возможном самоубийстве. «Я не любил никогда моих дурных качеств,— писал Гоголь,— и если бы небесная любовь Божия не распорядила так, чтобы они открывались передо мною постепенно и понемногу <...>, — я бы повесился».

«Не подумай, однако же, после этой исповеди,— замечал Гоголь,— чтобы я сам был такой же урод, каковы мои герои. Нет, я не похож на

них. Я люблю добро, я ишу его и стораю им; но я не люблю моих мерзостей и не держу их руку, как мои герои...». Понять высоту нравственного подвига писателя, его честность перед самим собой и меру душевной чистоты помогает одна из выписок Гоголя, сделанных им зимой 1843/44 года из журнала «Христианское Чтение». Человеку, читаем здесь, «признаться в том, что он грешник, значит признаться только в том, что он человек». Когда же «мы внимательно пересматриваем беспорядки жизни нашей, тогда яснее и познаем их, тогда и чувствуем горестнее их преступность, тяжесть, мерзость». Нелишне напомнить и совет Гоголя в том же письме «Переписки» — следующий, кстати, сразу после слов об исповеди — взглянуть каждому «хорошенько на самого себя». Позднее, 18 декабря н. ст. 1847 года, Гоголь признавался С. П. Шевыреву: «Я думал, что если не пощажу самого себя и выставлю на вид все человеческие свои слабости и пороки и процесс, каким образом я их побеждал в себе и избавлялся от них, то этим придам духу другому не пощадить также самого себя».

В конце 1840-х годов один из младших современников Гоголя, Д. К. Малиновский, спрашивал писателя: «Скажите, Николай Васильевич <...> как так мастерски вы умеете представлять всякую пошлость. Очень рельефно и живо!» Легкая улыбка показалась на лице Гоголя и после короткого молчания он тихо и доверительно сказал: «Я представляю себе что» бес «большую часть так близок к человеку, что без церемонии садится на него верхом и управляет им, как самую послушную лошадью, заставляя его делать дурачества за дурачествами». Суетных образованных молодых людей, — добавлял Малиновский, — Николай Васильевич любил называть *целкоперами* и говорил, что они большую часть незнакомы с бесом потому, «что сами для него вовсе неинтересны, и он их оставляет самим себе без всякого внимания с своей стороны, в полной уверенности, что они не уйдут и сами от него...»⁵⁵³.

Кстати сказать, Малиновский, воспользовавшись замечаниями Гоголя, написал даже статью «О том, как надо разуместь смешное в произведениях Гоголя», которую 27 апреля 1850 года отправил, по-видимому, самому писателю (статья осталась неопубликованной). Малиновский принял здесь разбор повестей «Записки сумасшедшего», «Нос», «Невский проспект», «Портрет», «Шинель» и книги «Выбранные места из переписки с друзьями». В определении комического он, в частности, замечал, что «смешным является несообразие <...> с высшим Разумом и Волею», и самая «страшная, нравственная несообразность» есть та, «когда дьявол оседлывает душу и душа становится его жилищем»⁵⁵⁴.

Имея в виду это рабство «пошлого» человека страстям и демонам, сам Гоголь в статье «Нужно любить Россию» писал: «Уже крики на бесчинства, неправды и взятки — не просто негодование благородных на

бесчестных, но вопль всей земли, послышавшей, что чужеземные враги вторгнулись в бесчисленном множестве, рассыпались по домам и наложили тяжелое ярмо на каждого человека; уже и те, которые приняли добровольно к себе в дома этих страшных врагов душевных, хотя от них освободиться сами, и не знают, как это сделать...». Эти же мысли Гоголь повторяет и в «Развязке Ревизора». «Лучше <...> сделать ревизовку всему, что ни есть в нас, в начале жизни <...> да побывать теперь же в безобразном нашем городе <...> в котором бесчинствуют наши страсти <...>. Клянусь, душевный город наш стоит того, чтобы подумать о нем, как думает добрый Государь о своем государстве! благородно и строго, как он изгоняет из земли своей лихоимцев, изгоним наших душевных лихоимцев!» «И бич в руках <...> которым можно выгнать их,— продолжает здесь Гоголь.— Смехом, мои благородные соотечественники! Смехом...».

С. П. Шевырев сразу по выходе в свет «Переписки с друзьями» писал Гоголю, что его комический талант следует обратить «на самого дьявола»: «Смейся <...> над дьяволом: смехом твоим ты докажешь, что он неразумен <...> все глупости людей от него <...>. Ведь даже не одна Россия, но весь мир может войти в твою комедию!»⁵⁵⁵.

Очевидно, что Шевырев, как бы предполагая в Гоголе дар «наступати на змию и на скорпию, и на всю силу вражию»⁵⁵⁶, советовал ему избрать ту дорогу, какой писатель давно уже следовал. 7 октября 1835 года Гоголь обращался к Пушкину: «Сделайте милость, дайте какой-нибудь сюжет, хоть какой-нибудь <...> духом будет комедия из пяти актов, и, клянусь, будет смешнее» беса. (Пушкин дал тогда Гоголю сюжет «Ревизора»⁵⁵⁷.) 27 апреля н. ст. 1847 года Гоголь отвечает Шевыреву: «...С давних пор только о том и хлопочу, чтобы после моего сочинения насмеялся вволю» человек над бесом.

Конкретный анализ отдельных образов гоголевской комедии подтверждает сделанные наблюдения и позволяет проникнуть в суть ее проческого замысла.

Еще в 1903 году Д. С. Мережковский обратил внимание на то, что характеристика Гоголем беса в письме к С. Т. Аксакову от 15 мая н. ст. 1844 года прямо соответствует сущности «ничтожной природы» Хлестакова в комедии⁵⁵⁸. «...Вы не упускайте из виду,— пишет Гоголь,— что он шелкопер и весь состоит из надуванья <...> Он точно мелкий чиновник, забравшийся в город будто бы на следствие. Пыль запустит всем, распеет, раскричится. Стоит только немножко струсить и податься назад — тут-то он и пойдет храбриться <...>. Мы сами делаем из него великана...». Как явствует из гоголевского «Предупреждения для тех, которые пожелали бы сыграть как следует «Ревизора»», бес «управляет» Хлестаковым через его «ребяческое тщеславие», «желание порисоваться», которыми «более или менее заражены все люди» и которое «бывает у многих

умных и старых людей, так что редкому на веку своем не случилось в каком-либо деле отыскать его».

Очевидно, не следует напрямую отождествлять беса с Хлестаковым, как это получилось, например, у Мережковского. Сам Гоголь открыто возражал против такого отождествления беса с человеком. Он писал: «...Мы все еще действуем не собственно против нечистой силы, подталкивающей на грехи и заблуждения людей, но против самих людей...».

Итак, хотя бес в гоголевской комедии — в отличие, скажем, от народной вертепной драмы — действует, как и в жизни, невидимо, следует, однако, признать его, в соответствии с замыслом писателя, еще одним из главных «действующих лиц» «Ревизора».

Говоря об этом скрытом, «мистическом замысле» комедии, Мережковский отмечал, что «ежели не зрители, то действующие лица чувствуют какую-то ошеломляющую, сонную мглу, фантастическое марево», распространяемое бесом⁵⁵⁹. «Как это, в самом деле, мы так оплошали», — восклицает в заключение комедии судья Ляпкин-Тяпкин. «Точно туман какой-то ошеломил», бес «попутал», — добавляет Земляника.

Незамеченной Мережковским осталась, однако, вторая и, как представляется, наиболее важная составляющая «мистического замысла» «Ревизора». В самом деле: почему же бес «попутал» чиновников? В чем секрет его власти над «пошлым» человеком?

На этот вопрос отвечает сам городничий в комедии: «Вот, подлинно, если Бог захочет наказать, так отнимет прежде разум». Эту мысль повторяет и автор в черновых набросках «Театрального разъезда...», написанных сразу после первой постановки «Ревизора»: «...Отнял Бог разум у тех, у которых его достало <только> на то, чтобы превратно толковать <закон>...». В этом и заключается «общая завязка» гоголевской комедии: в наказание за грехи Бог попускает чиновникам власть в обольщение лукавого.

Такой вывод дает возможность подойти к пониманию основ авторского замысла. Ибо обстоятельства появления в уездном городе «Ревизора» мнимого «значительного лица» — обольщение чиновников на счет Хлестакова, участие в этом нечистой силы и попускание Божие как первопричина обольщения — прямо повторяют предсказанные в Новом Завете обстоятельства явления в мире к концу времен такого же мнимого «лица» — лже-Христа, «антихриста»: «...Тогда откроется беззаконник <...> которого пришествие, по действию сатаны, будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи...»⁵⁶⁰. Очевидно, «фантастическое марево» хлестаковской лжи и похвалы — вместе с самообольщением чиновников — и состав-

ляют или замещают в комедии всю «силу», «знамения» и «чудеса» самозванного «ревизора». К ощущению последних времен — когда «люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную...»⁵⁶¹, — призвана, вероятно, обратить зрителя и та атмосфера страха, которая с первой реплики городничего заполняет всю пьесу. Напомним в этой связи о смерти от страха губернского прокурора в десятой главе первого тома «Мертвых душ», встревоженного слухами о «подосланном чиновнике из канцелярии генерал-губернатора для произведения тайного следствия», или такую же участь миргородского Хомя Брута в «Вии», «пропавшего ни за что» перед явлением подземного мстителя.

Согласно этому прообразовательному замыслу комедии, тщеславное желание Хлестакова сыграть в провинциальном городе роль «значительного лица» встречает себе подготовленную почву — порождаемые встревоженной совестью чиновников мнительность и страх перед самой возможностью появления такого «лица». «У страха глаза велики», — гласит народная пословица. Все способно теперь явиться значимым в глазах испуганных до суеверия чиновников. От страха городничему даже виденные во сне крысы («грезилась страшная чепуха», поясняет Гоголь в черновой редакции) могут послужить знаменем ревизора*.

«Степень» же испытываемых чиновниками «боязни и страха», как прямо указывает Гоголь, зависит от «великости наделанных каждым грехов» («Отрывок из письма, писанного автором вскоре после первого представления “Ревизора” к одному литератору»⁵⁶²). «Страх ожидания, гроза идущего вдали закона» являются, таким образом, не только завязкой, но и самым содержанием гоголевской пьесы — совершаемым в ней над героями-чиновниками возмездием. «...Сами они наказались страхом чрез самих себя, — замечал Гоголь о своих современниках в письме к Н. М. Языкову от 26 декабря н. ст. 1844 года, — <...> в этом страхе увидят они Божье наказание себе: верный знак, что далеко отбежали они от Бога; ибо кто с Богом, у того нет страха». «Кто омрачается боязнью, — повторяет он в статье «Близорукому приятелю», — <...> от того, значит, уже отступилась святая сила. Кто с Богом, тот глядит светло вперед...».

Участие в «Ревизоре» в качестве невидимого действующего лица «скрытого мага» беса осуществляется и через «городских сплетников» Бобчинского и Добчинского, которые из тщеславного желания быть в центре общего внимания первые распустили слух о Хлестакове-ревизоре. (Исполнением актерами их ролей, вместе с ролью Хлестакова, более всего был неудовлетворен Гоголь.) Именно тщеславие делает из этих ге-

* «Истинный и добрый христианин никогда не бывает суеверен и не верит пустякам», — замечал Гоголь в период создания «Ревизора» в письме к матери от 10 ноября 1835 года.

роев,— если опять иметь в виду апокалиптический подтекст пьесы,— предсказанных в Евангелии лже-пророков грядущего лже-«ревизора»,— которые явятся, «*чтобы прельстить, если возможно, и избранных*»⁵³. «Что касается до сплетней,— пишет Гоголь А. О. Смирновой 6 декабря 1849 года,— то не позабывайте, что их распускает» бес, «а не люди, затем, *чтобы смутить и низвести с того высокого спокойствия, которое нам необходимо для жития жизнью высшей* (курсив наш.— И. В.) <...> Человек от праздности и часто сглупа брякнет слово без смысла, которого бы и не хотел сказать. Это слово пойдет гулять; по поводу его другой отпустит в праздности другое, и мало-помалу сплетается сама собою история без ведома всех. Настоящего автора ее безумно и отыскивать, потому что его не отыщешь <...> Помните, что все на свете обман, все кажется нам не тем, чем оно есть на самом деле. Чтобы не обмануться в людях, нужно видеть их так, как велит нам видеть их Христос <...> Трудно, трудно жить нам, забывающим всякую минуту, что будут наши действия ревизовать не сенатор, а Тот, Кого ничем не подкупишь и у Которого совершенно другой взгляд на всё». Последние строки письма прямо повторяют истолкование «Ревизора» в «Развязке»: «...Взглянем на себя не глазами светского человека,— ведь не светский человек произносит над нами суд,— взглянем хоть сколько-нибудь на себя глазами Того, Кто позовет на очную ставку всех людей...». Появление в заключительной сцене комедии вестника о настоящем ревизоре естественно, таким образом, завершает апокалиптическую тему гоголевской пьесы, охватывающей ее от явления в мир антихриста до Второго Пришествия Христова и Страшного Суда.

Обратим внимание на то, что апокалиптический подтекст присущ и целому ряду других ранних гоголевских произведений, в частности, опубликованных в сборнике «Арабески» (1835) — «О преподавании всеобщей истории», «Портрет», «Жизнь», «Последний день Помпеи». По замечанию Д. И. Чижевского, отчасти это, вероятно, объясняется тем, что некоторыми современниками Гоголя конец света ощущался в самой непосредственной близости. Популярный тогда в России немецкий мистик И. Г. Юнг-Штиллинг, влияние которого испытал, в частности, Александр I, в своем толковании на Апокалипсис, «Победной повести», предсказывал его в 1836 году⁵⁴. Можно предположить, что, создавая пьесу, Гоголь прямо имел в виду эти настроения*. Это следует как бы из самого финала комедии.

* В целом же с хилиастическим толкованием Апокалипсиса И. Г. Юнг-Штиллингом, который полагал, что «дух Христов сохраняется и сохранится до конца мира» только в протестантской «богемо-моравской, гернгутерской братской церкви» (см.: *Чистович И.* История перевода Библии на русский язык // Христианское Чтение. 1872. № 4. С. 704), замысел «Ревизора» не имеет ничего

Заметим, что логическую завершенность «Ревизор» получает лишь в том случае, если появление здесь вестника о новом, настоящем ревизоре будет понято зрителем или читателем в духовном смысле. В противном случае комедия оказывается как бы «без конца», — на это указывает главный герой «Развязки Ревизора». Ибо ничто не препятствует чиновникам «разыграть» всю ее с начала, проведя или подкупив любого нового «светского» ревизора, будь то «сенатор» или «ничтожный» Хлестаков.

На возможность такого «бесконечного» продолжения гоголевской пьесы в исследовательской литературе порой указывалось как на свидетельство политического изыяна «бюрократической системы государственного аппарата» старой России, зараженного взяточничеством и не способного бороться с этим явлением. Отсюда делался вывод о закономерности изменения ее социальных форм. У Гоголя, однако, речь, безусловно, шла не о необходимости изменения наружного порядка вещей, но о насущной потребности любого социального организма в нравственном воспитании его членов. В неотправленном письме к В. Г. Белинскому 1847 года он замечал: «...Думают, что преобразованиями и реформами <...> можно поправить мир <...> Но <...> брожение внутри не исправить никаким конституциям <...> Нужно вспомнить человеку, что он вовсе не материальная скотина, но высокий гражданин высокого небесного гражданства. Покуда он хоть сколько-нибудь не будет жить жизнью небесного гражданина, до тех пор не придет в порядок и земное гражданство». (Это ответ на слова Белинского о том, что России нужны «права и законы, сообразные не с учением Церкви, а с здравым смыслом и справедливостью, и строгое, по возможности, их выполнение».) 22 декабря н. ст. 1844 года Гоголь писал С. Т. Аксакову по поводу участия его сына, Ивана Аксакова, в астраханской ревизии: «Если Иван Сергеевич смекнет <...> что внушить повсюду отвагу на добрые дела <...> и <...> заставить чело-

общего. Напротив, содержание гоголевской пьесы прямо противоположно этим взглядам. Архимандрит Фотий (Спасский), подавший в 1824 году Императору Александру I записку «О революции под именем тысящелетнего Христова царствия, готовимой к 1836 году в России чрез влияние тайных обществ и англичан-методистов», в частности, писал: «1836 год назначили враги веры и спокойствия временем для новья веры и церкви, и какого-то нового царя...» (Повествование священно-архимандрита отца *Фотия* <Спасского> // Русская Старина. 1894. № 8. С. 433—434). Гоголь в статье «О преподавании всеобщей истории» отмечал: «...Цель моя — образовать сердца юных слушателей <...> чтобы <...> не изменили они своему долгу, своей Вере, своей благородной чести и своей клятве — быть верными Отечеству и Государю». По свидетельству А. О. Смирновой, Гоголь неприязненно относился к масонам; он ставил их в один ряд с модными гадалками: «Гоголю были равно ненавистны Ленорманы и масоны» (М.-А. Ленорман — французская гадалка) (*Смирнова-Россет А. О. Дневник. Воспоминания. С. 59*).

века, даже плутоватого, сделать доброе дело еще картиннее, чем заставить доброго сделать доброе дело,— <...> если он <...> это смекнет, то *наделает много добра*».

Гоголь скептически относился к мысли о возможности исправить мир с помощью всевозможных внешних «ревизий» — от полицейского государственного надзора до революционной «чистки». «А вы думаете, легко воров выгнать? — обращался он в конце жизни к последователям Белинского. — Царь, который только и думает о том, как их выгнать, да и тот не может, — Царь, у которого и войско, и вся сила есть. Как же вы хотите, без всякой силы и власти, это сделать? Что спяна передушите всех, думаете поправить? Думаете, лучше будет погибнуть? Те, которых шеи потолще, останутся. Что, те святые, что ль? Еще больше станут допекать друг друга».

В статье «Занимающему важное место», написанной в результате бесед с графом А. П. Толстым, бывшим одесским генерал-губернатором, а впоследствии обер-прокурором Святейшего Синода, Гоголь писал: «Вы очень хорошо знаете, что приставить нового чиновника для того, чтобы ограничить прежнего в его воровстве, значит сделать двух воров вместо одного. Да и вообще система ограничения — самая мелочная система <...> Эта <...> система <...> могла образоваться только в государствах колониальных, которые составились из народа всякого сброда, не имеющего национальной целизны и духа народного...».

Кстати говоря, действительно, как бы с целью «приставить нового чиновника» для ограничения «прежнего в его воровстве» и была введена в России Петром I должность прокурора — этого, по словам Петра, «ока Государя». («...Он — око закона», — отмечал Гоголь в записной книжке.) Необходимость же в этом появилась вследствие того, что, по воле монарха, упразднившего в то время Патриаршество, духовенство «упало» тогда в России⁵⁶⁵. По убеждению Гоголя, Петр I насильственно перенес на русскую почву тот порядок, который сложился на Западе вследствие глубокого падения и угасания религиозности и призван был хоть как-то заменить утраченное: «...Разлив гражданских законов произошел сам собою, встретивши повсюду пустые, себя не ограждавшие места. Мода подорвала обычаи, уклонение духовенства от прямой жизни во Христе оставило на произвол все частные отношения каждого человека в его частном быту. Законы гражданские взяли то и другое, как оставленных сирот, под свою опеку...» («Занимающему важное место»). Противоестественность перенесения этих «законов» в Россию Петром заключалась, по Гоголю, в том, что ими уничтожалось живое, духовное начало нравственности. Необходимо, утверждал писатель, «чтобы гражданскому закону отдано было <...> только то, что должно принадлежать гражданскому закону, чтобы обычаям возвращено было то, что должно оставаться во власти обы-

чаев, и чтобы за Церковью вновь утверждено было то, что должно вечно принадлежать Церкви». Гоголевская критика петровских преобразований, — и в частности, принятой в эпоху Петра европейской «системы ограничения», — очевидно, и заключается в образе взяточника-прокурора в одиннадцатой главе «Мертвых душ», умирающего от страха губернаторской ревизии. На это же указывает и упоминание в седьмой главе поэмы о петровском «зерцале», стоящем на столе председателя гражданской палаты. Такие настольные «зеркала» — трехгранные призмы с помещенными на гранях указами Петра I — ставились в государственных учреждениях, начиная с петровской эпохи, «яко зеркало пред очьми судящих». Это «зерцало» предписывало «обретающимся во всех судных местах всего государства судьям и пришедшим пред суд чинно поступать» — «понеже суд Божий есть». Однако формальное напоминание о «суде Божием» отнюдь не мешало чиновникам (как показывает Гоголь и в «Миргороде», и в «Мертвых душах», и в «Ревизоре») почти открыто предаваться административным «грешкам».

Следует подчеркнуть, что и сам страх, который испытывают чиновники в «Ревизоре» при известии о приезде «значительного лица», нельзя назвать спасительным, — это не тот страх, что, пробуждая совесть человека и обращая его взгляд на самого себя, приводит к перемене жизни. Страх ревизии ввергает проворовавшихся чиновников лишь в еще большее лицемерие, заставляя их изворачиваться и лгать с большей изобретательностью. Из заметки «Характеры и костюмы» следует, что прямую «выучку» таким страхом прошел городничий — «постаревший на службе и очень неглупый по-своему человек» (вероятно, Гоголь подразумевает здесь, что люди, преданные исключительно житейским попечениям, бывают, по выражению Евангелия, «мудрейши <...> сынов света в роде своем»⁵⁶⁶). Как явствует из признания самого городничего, он обманул уже на своем веку «трех губернаторов»: «Что губернаторов! Попа на исповеди надул, рассказал совсем другое» (по сути, это совершенно разнозначно тому, что судья, по словам Земляники, «больше десяти лет как не исповедывался»; — эта и предшествующая реплики героев об исповеди остались у Гоголя в рукописи). Лицемерие и нераскаянность в возрастающей степени становятся как бы главными чертами натуры героя. На лицемерие городничего и указывает далее Гоголь в заметке «Характеры и костюмы», отмечая, что он «хотя и взяточник, но ведет себя очень солидно». Таким образом, вопреки преследуемой ревизией цели, приводит она, по наблюдениям писателя, к результатам прямо противоположным. Всем этим Гоголь ставит под сомнение мысль об исключительном значении в деле гражданского благоустройства законнических, полицейских мер — мер внешней государственной «ревизии», отнимающей «доверье к благодетельству человека» и подменяющей и вытесняющей собой нравственное

образование общества. «Нет, власть, — пишет он в отдельном наброске, — действуй прямо. Укажи нам всем долг наш, но не связывай в то же время и рук наших и не бесчесть нас обидным подозреньем. Говори с нами благородным голосом, и будет благороден ответ».

Интересно, что вполне «по-гоголевски» — с мыслью о воскрешении «мертвых душ» и сознанием необходимости пробуждения в человеке памяти о «небесном гражданстве» — поступал, будучи на посту генерал-губернатора, во время своих «ревизий» упомянутый граф А. П. Толстой. По воспоминаниям А. О. Смирновой, «раз он поехал в уездный город и пошел в уездный суд, вошел туда, помолился пред образом и сказал испуганным чиновникам, что у них страшный беспорядок. «Снимите-ка мне ваш образ! О, да он весь загажен мухами! Подайте мел, я вам покажу, как чистят ризу». Он вычистил его, перекрестился и поставил его в углу. «Я вам изменю киоту, за стеклом мухи не заберутся, и вы молитесь; все у вас будет в порядке». Ничего не смотрел, к великой радости оторопелых чиновников; и с чем приехал, с тем уехал и, возвратившись, рассказал жене, что все там в порядке». «Я думаю, — добавляла А. О. Смирнова, — что такие губернаторы лучше тех, которые все принимают en sérieux* и всякое лыко в строку»⁵⁶⁷.

Очевидно, до самых последних дней жизни Гоголь продолжает размышлять над проблемами, затронутыми им в «Ревизоре». Незадолго до смерти, осенью 1851 года, он даже устраивал авторское чтение своей комедии для московских актеров. Его не оставляла мысль о возможности нравственной «ревизии» для русского общества. Свообразным продолжением комедии — развивающей действие с момента появления «настоящего ревизора» — можно назвать речь генерал-губернатора в заключительной главе второго тома «Мертвых душ», обращенную к погрязшим в неправде и взяточничестве чиновникам города Тьфуславля: «Знаю, что уже почти невозможно многим идти противу всеобщего течения <...> никакой правитель, хотя бы он был мудрее всех законодателей и правителей, не в силах поправить зла, как ни ограничивай он в действиях дурных чиновников приставленьем к надзиратели других чиновников. Все будет безуспешно, покуда не почувствовал из нас всяк, что он так же, как в эпоху восстанья народ вооружался против врагов, так должен восстать против неправды <...> Я обращаюсь к тем из вас, кто имеет понятие какое-нибудь о том, что такое благородство мыслей. Я приглашаю вспомнить долг, который на всяком месте предстоит человеку». — Разве не из этой же русской среды, как бы продолжал Гоголь в другом наброске к поэме, «мелькнули Суворовы, Мордвиновы, Чичаговы, Орловы, Румянцевы и ряды героев самоотверженья, которых не уместит на страницах своих подробнейшая летопись».

* всерьез (фр.)

Сделанные наблюдения позволяют сформулировать вывод о сущности гоголевских сатирических образов. Начав в 1830-х годах свое «проческое» служение с обличения явных грехов: воровства, взяточничества и др., Гоголь уже в то время, черпая материал из собственной души, изображал их как наглядные проявления стоящей за ними общечеловеческой «пошлости». Поэтому и апокалиптический финал «Ревизора» он считал возможным и необходимым обратить не только против очевидного беззакония, но и каждому человеку — не видящему своих грехов и «о дурном говорящему вечно в третьем лице» — против самого себя. Добавим, что по этому же самому, напоминая своим современникам в «Авторской исповеди» об «ответе Небу», который они должны дать за исполнение своего долга, Гоголь в заключении «Мертвых душ» намеревался применить эту мысль «Ревизора» не только к явным грешникам, но, в частности, — и не в меньшей мере — к тем, кто, устранившись от царящего зла, оставил данное ему в мире поприще. В бумагах писателя сохранился набросок к окончанию поэмы, представляющий обличение Богом на Страшном Суде этих неверных и малодушных чиновников и «управителей». В написании этого отрывка Гоголь опирался на строки Откровения св. Иоанна Богослова, где говорится о равном наказании таких людей наряду с прочими грешниками: «И сказал Сидящий на престоле: <...> Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет Мне сыном. Страшливым же и неверным, и скверным, и убийцам <...> участь в озере, горящем огнем и серою...» (гл. 21, ст. 5, 7—8). Это именно пророчество, очевидно, и послужило Гоголю основой вспыхнувшей вдруг перед ним картины окончательного Суда и последней «ревизии» мертвых душ.

«Зачем же ты не вспомнил обо Мне, что Я на тебя гляжу, что Я твой? Зачем же ты от людей, а не от Меня ожидал награды и поощренья? [Зачем не шел ты до конца, закрывши глаза на людей и смотря только...] Какое бы тогда было тебе дело обра<щать внимание?>, как издержит твои деньги земной помещик, когда у тебя Небесный Помещик? Кто знает, чем бы кончилось, если бы <ты> до конца дошел, не устранившись? Ты бы удивил величием характера>, ты бы наконец взял верх и заставил изумиться; ты бы оставил имя, как вечный памятник доблести, и роняли бы ручьи слез, потоки слезные о тебе и как вихорь ты бы развевал в сердцах пламень добра».

Потупил голову, устыдившись, управитель, и не знал, куда ему деться.

И много вслед за ним чиновников и благородных, прекрасных людей, начавших служить и потом бросивших поприще, печально понурили головы.⁵⁶⁸

* * *

Трагический, «чудовищно-мрачный» финал «Ревизора» и его еще более трагический и тревожный подтекст, конечно же, резко отличают го-

голевскую пьесу от традиционного жанра комедии. Тем не менее «Ревизор» назван автором «комедией». Это ставит перед нами вопрос об особом понимании Гоголем этого жанра. В статье «В чем же наконец существо русской поэзии и в чем ее особенность» «Переписки с друзьями» он несколько страниц посвятил разбору комедий своих предшественников; этот анализ проливает свет и на гоголевскую драматургию, прежде всего «Ревизора».

Главный упрек Гоголя современной комедии в этой статье — отсутствие «взгляда в душу человека», осмысления представляемых на сцене «смешных сторон общества». Будучи внешним проявлением глубоких наболевших ран своего времени, они при таком освещении вызывают у зрителя лишь «легкую насмешку». С другой стороны, недостаток трагедии, заключающей в себе высокую нравственную мысль, состоит, по Гоголю, как раз в обратном — в отрыве от современности, в «незнании человека под условием взятой эпохи и века». Можно предположить, что Гоголь в своей драматургии стремился преодолеть указанные недостатки. Вероятно, в соединении достоинств обоих жанров — современности комедии и «нравственной силы» трагедии — и мыслил он создание «истинно общественной комедии», которую (употребляя пришедшее ему кстати суждение князя П. А. Вяземского о комедиях Д. И. Фонвизина и А. С. Грибоедова) расценил бы одновременно и как «современную трагедию» («...комедии Фонвизина «Недоросль» и Грибоедова «Горе от ума» <...> весьма остроумно назвал князь Вяземский двумя современными трагедиями»). В «Развязке Ревизора» Гоголь прямо говорит об этом устами главного героя: «Что ж в самом деле, как будто я живу только для скомоорошничества? <...> Нет <...> речь <...> о том, чтобы в самом деле наша жизнь, которую привыкли мы почитать за комедию, да не кончилась бы такой трагедией, какую <...> кончилась эта комедия...».

Итак, комедия-трагедия. Напомним, что одним из важнейших признаков различения этих жанров в древности было участие «богов» — они являлись только в трагедии. Финал гоголевского «Ревизора» — это именно появление Бога в комедии. Диалог на эту тему Гоголь разворачивает между героями «Театрального разъезда...»: «Но смешно то, что пьеса никак не может кончиться без правительства. Оно непременно явится, точно неизбежный рок в трагедиях у древних <...> Что ж? тут нет ничего дурного, дай Бог, чтобы правительство всегда и везде слышало призванье свое быть представителем Провиденья на земле и чтобы мы веровали в него, как древние веровали в рок, настигавший преступленья».

С новейшим жанром трагикомедии гоголевская «комедия-трагедия» перекликается только в слове. Непременно благополучная концовка трагикомедии и развязка «Ревизора» — вещи прямо противоположные. «Несмотря на <...> комическое <...> положение многих лиц... — делится

своими впечатлениями герой «Развязки Ревизора», — в итоге остается <...> что-то чудовищно мрачное, какой-то страх от беспорядков наших. Самое это появление жандарма, который, точно какой-то палач, является в дверях <...> все это как-то необъяснимо страшно!»

Конечно, не новая ревизия для провинциальных чиновников ужасает этого зрителя, но «примененье к самому себе» — тревожная мысль об ожидающем каждого Суде и расплате. «...Показать темной моей братии, живущей в мире, играющей жизнью, как игрушкой, что жизнь — не игрушка» (из письма Гоголя к отцу Матфею Константиновскому в апреле 1850 года) — эту-то мысль и преследовал Гоголь созданием «Ревизора».

Хотя в статье о русской поэзии Гоголь совсем не упоминает о «Ревизоре», но многое из того, что он говорит о комедиях своих предшественников, можно прямо отнести на его счет. Гоголь как бы сам указывает здесь на свое преемство в изображении «дурных наших народных качеств и свойств» в драматическом жанре. Обращает на себя внимание гоголевская характеристика героев Фонвизина и Грибоедова: героев «Недоросля» Гоголь называет героями «непросвещенья», «Горя от ума» — «дурно понятого просвещенья». Прилагая это деление к героям самого Гоголя, можно сказать, что и в этом отношении его комедия обладает большей степенью обобщения, ибо герои ее и «непросвещены», а значит, и «просвещены дурно».

«Непросвещенье» для Гоголя — это прежде всего оторванность человека от Церкви. Само слово «просвещение», пишет Гоголь в одноименной статье «Выбранных мест...», «взято из нашей Церкви, которая уже почти тысячу лет его произносит, несмотря на все мраки и невежественные тьмы, отовсюду ее окружавшие».

В эту-то «тьму», невежество неверия, и погружены гоголевские герои. Чего стоит реплика «просвещенного» чтением пяти-шести новейшего «глубокомыслия» книг судьи Ляпкина-Тяпкина*, когда он отвечает на обвинения городничего в неверии: «Да ведь сам собою дошел, собственным умом». По поводу этого парадокса современного человека Гоголь позднее прямо заметит в «Переписке с друзьями»: «Во всем он усумнится <...> в правде, в Боге усумнится, но не усумнится в своем уме». («Он <...> безбожник только потому, что на этом поприще есть простор ему выказать себя», — поясняет Гоголь в «Предуведомлении для тех, которые пожелали бы сыграть как следует “Ревизора”».) Далекий от истинного просвещения и «плут» Земляника, ибо вряд ли можно угодить Богу богоугодными заведениями, где большие «как мухи выздоравливают». Да и сам взяточник-городничий — что «в вере тверд и каждое воскресенье

* Об истинной цене «глубокомыслия» книг, читаемых гоголевским героем, см., в частности, в воспоминаниях С. Т. Аксакова «Встреча с маринистами» (1858).

бывает в церкви», — укравший целую церковь при том же богоугодном заведении и считающий борьбу с грехом вольтерьянством... «С ужасом слышишь, что уже на них не подействуешь ни влиянием Церкви, ни обычаями старины, от которых удержалось в них одно пошлое, и только одному железному закону здесь место», — пишет Гоголь о героях «Недоросля», и к ним словно прилагая развязку своей комедии.

Кстати добавить, что согласно монтажке первой постановки «Ревизора» на сцене Александринского театра в 1836 году⁵⁶⁹, к заступничеству Государя от произвола городничего обращалось, в числе других просителей, не принятых Хлестаковым, и лицо духовного звания — пономарь «в костюме Кутейкина из комедии Недоросль» (в «дыячковских» сапогах и парике «с косичкою»), — а это, как указывалось, прямой «прототип» гоголевского семинариста Хомы Брута. Надо подчеркнуть, что именно власть законного монарха представляет «ревизор» Хлестаков в уездном городе. Предполагая дать ему взятку, чиновники, например, рассуждают: «Опасно <...> раскритичится: государственный человек. [Скажет: «что вы, кому вы, да как вы смеее, хотите, чтоб я изменил Государю?】». В то же время обращение духовного лица к мнимому ревизору означает, вероятно, и апокалиптическое «прельщение избранных». Согласно строкам черновой редакции, герои комедии помещики Бобчинский и Добчинский, как лица прельщаемые и прельщающие, получив известие об инкогнито-ревизоре, намеревались даже отправиться с этой вестью прямо к местному протопопу. Желание прельщенных, чтобы их помянули у престола самого царя — для них как бы престола Самого Бога (вопреки заповеди: «Не надейтесь на князи, на сыны человеческия...»⁵⁷⁰), в свою очередь высказывает в комедии Бобчинский, когда обращается к Хлестакову с неожиданной — вроде бы совершенно нелепой и вызывающей лишь смех — просьбой помянуть его имя в Петербурге (в Санкт-Петербурге) у разных «вельмож», — сказав, если случится, «и Государю, что вот, мол Ваше Императорское Величество, в таком-то городе живет Петр Иванович Бобчинский». Для гоголевских героев это, очевидно, и означает: «Во Царствии Твоем помяни нас, Господи...».

«Непросвещенъем» своим гоголевские провинциальные типы, а в не меньшей мере и «приезжий из столицы» Хлестаков, и подают руку грибоедовским героям «дурно понятого просвещения»: «принятия глупых светских мелочей вместо главного», следования европейскому вольнодумству, пустому секуляризованному образу жизни с его городским бездельем, потребительством и «просвещенной» роскошью. Сравнивая героев «Горя от ума» и «Недоросля» — упоминая, в частности, о превозносимых Фамусовым обычаях его круга: преклонении перед иностранщиной, либеральных замашках и «мастерстве» пообедать, Гоголь замечает: «Так же наивно, как хвалится Простакова своим невежеством, он хва-

лится полупросвещением...». Этими же «достоинствами» столичной «цивилизации» хвалится и Хлестаков в «Ревизоре»: «Да, деревня <...> тоже имеет свои пригорки, ручейки... Ну, конечно, кто же сравнит с Петербургом!». В этой «просвещенности» не отстает от своего барина и его слуга Осип: «Право, на деревне лучше <...> лежи весь век на полатах да ешь пироги <...> Ну <...> конечно, если пойдет на правду, так житье в Питере лучше всего». «В существе своем,— продолжает Гоголь в статье о русской поэзии характеристику Фамусова (и вместе Хлестакова),— это одно из тех выветрившихся лиц, в которых, при всем их светском *compte à fait**, не осталось ровно ничего, которые своим пребыванием в столице и службой так же вредны обществу, как другие ему вредны своей неслужбой и огрубелым пребыванием в деревне».

«...Хочу, чтобы наш дом был первый в столице и чтоб у меня в комнате такое было амбре, чтоб нельзя было войти...» — мечтает в свою очередь в «Ревизоре» Простакова-городничиха, «просвещенная» «совершенным *compte à fait*» Хлестаковым и теми светскими романами, которые удалось ей прочесть между хозяйственными хлопотами. Так характеризует эту героиню Гоголь в заметке «Характеры и костюмы»: «...Провинциальная кокетка, еще не совсем пожилых лет, воспитанная вполнину на романах и альбомах, вполнину на хлопотах в своей кладовой и девичьей».

Подчеркнем здесь еще раз, что, если смотреть на гоголевских героев исключительно сверху вниз, с чувством несомненного собственного превосходства, то понять проблемы, которые ставит, изображая своих «уродов», Гоголь, будет невозможно. К числу таких, ускользающих от поверхностного рассмотрения проблем или загадок человеческой души относится и это — на первый взгляд, только комическое — сочетание в героине «Ревизора» черт узкой практичности и романтической, «возвышенной» мечтательности (в этом она как бы предвещает собой в одном лице будущих гоголевских помещиц — «хозяйственную» Коробочку и «нехозяйственную» Манилову в первом томе «Мертвых душ»). Следуя пожеланию Гоголя исполнителям его комедии замечать прежде всего «общечеловеческое выражение» каждой роли, попробуем извлечь такой урок и из этой характеристики.

Гоголь много размышлял о том, что человеку, погруженному в повседневную житейскую суету, свойственно искать утешения в призрачной мечтательности. За полгода до создания «Ревизора», 12 апреля 1835 года, он, в частности, писал матери, огорченной неудачей с осуществлением в Васильевке, патриархальном родовом имении Гоголей, вполне «мечтательного» проекта — заведения доходной «фабрики кож»

* *комильфо* (*фр.*); буквально: как надо, как следует

(как уже говорилось, шарлатан-«заводчик» бежал, растратив деньги; Гоголь же с самого начала считал этот проект нереальным): «Я видел, что все предприятие было до крайности детское <...> Вы имеете прекрасное сердце и, может быть, это настоящая причина, что вас нетрудно обмануть. Я очень постигаю вас. Я знаю, что ваша вся жизнь была в заботах, что вы вечно должны были бороться с критическими обстоятельствами. От этого не мудрено, что душа ваша ищет успокоения в мечте и что вы любите предаваться ей как верному другу и не мудрено, что она вас завлекает иногда. Вам нужен советник, который бы практическим образом глядел на жизнь».

Еще более проясняют характер главной героини «Ревизора» строки письма Гоголя к М. П. Балабиной от 7 ноября н. ст. 1838 года, где он тоже предупреждает свою бывшую ученицу о ложной мечтательной духовности: «Конечно, не спорю, иногда находит минута, когда хотелось бы из среды табачного дыма и немецкой кухни улететь на луну, сидя на фантастическом плаще немецкого студента <...> но <...> та мысль, которую я носил в уме об этой чудной и фантастической Германии (являющейся «в сказках Гофмана». — *И. В.*), исчезла, когда я увидел Германию на самом деле <...> Я знаю, есть эта земля, где все чудно и не так, как здесь; но к этой земле не всякие знают дорогу. Вы, кажется, теперь стараетесь отыскивать эту дорогу. <...> Трудно, трудно удержать середину, трудно изгнать воображение и <...> обратиться к настоящей прозе <...> труднее всего согласить эти два разнородные предмета вместе — и жить вдруг и в том и в другом мире».

В соответствии с этими гоголевскими размышлениями можно заключить, что мечтательность, нетрезвое стремление вознестись над «прозой» жизни, — представляющие собой, по Гоголю, попытку утолить духовный голод пищей, не сродной духу, и приобщает его героиню к плодам новейшего «полупросвещения». По содержанию и истокам этого «полупросвещения» можно догадываться и о том, на каких «возвышенных» романах воспитана гоголевская «провинциальная кокетка». «Ну, отчего не пишут у нас так, как французы пишут, например, как Дюма и другие? — восклицает подобная ей «светская дама» в «Театральном разезде...». — Я не требую образцов добродетели; выведите мне женщину, которая бы заблуждалась <...> предалась, положим <...> непозволенной любви; но представьте это увлекательно <...> чтобы я побуждена была к ней участием <...> полюбила ее <...> отчего у нас в России все еще так тривиально?»

В таком же свете Гоголь изображает и страсть Анны Андреевны к нарядам (согласно еще одной ее характеристике в заметке «Характеры и костюмы», «она четыре раза переодевается в разные платья в продолжение пьесы»). В этом она, очевидно, задает тон и остальным дамам уезд-

ного города. Замечание об их «костюмах», сделанное в 1836 году, Гоголь как бы прямо продолжил в одной из «городских» глав первого тома «Мертвых душ»: «В нарядах вкусу было пропасть <...> как будто на все было написано: нет, это не губерния, это столица, это сам Париж!».

Помимо мечты о петербургском «амбре», «увлекательных» романов и «парижских» нарядов, на пристрастие героини к «дурно понятому просвещенью» указывает также роскошная мебель красного дерева в ее доме (об этом также свидетельствует монтировка первой постановки «Ревизора» на сцене Александринского театра). Очевидно, что в основании тщеславной мечты городничихи о том, чтобы ее дом «был первый в столице», лежит то, что он уже «первый» — в смысле роскоши — в уездном городе. Но шепетильная, мечтающая о «хорошем обществе» Анна Андреевна будто не замечает того, что многие из ее «просвещенных потребностей» удовлетворяются прямо за счет «доброхотных приношений» купцов и взяток ее мужа. И это еще одна сторона лицемерной, мнимо-«возвышенной» и мнимо-«образованной» жизни, исследуемая писателем в «Ревизоре». Позднее, размышляя над этим в «Переписке с друзьями» в масштабах губернского города и целой России, Гоголь в статье «Что такое губернаторша» писал: «...Гоните эту гадкую скверную роскошь, эту язву России, источницу взяток, несправедливостей и всех мерзостей, какие у нас есть». «...Большая часть взяток, несправедливостей по службе и тому подобного, в чем обвиняют наших чиновников и нечиновников всех классов,— замечал он в статье «Женщина в свете»,— произошла <...> от расточительности их жен...».

Возвращаясь к характеристике Гоголем комедий его предшественников, заметим, что в еще одном герое «дурно понятого просвещения» — грибоедовском Скалозубе — «глупом фрунтовике», уверенном, что можно исправить мир, сменив Вольтера фельдфебелем (то есть, очевидно, собой), «но при всем том удержавшем какой-то свой особенный философски-либеральный взгляд на чины» как на «необходимые каналы к тому, чтобы попасть в генералы», по всему угадывается гоголевский городничий с его своеобразной «критикой» вольтерьянства и мечтой о Петербурге и генеральстве. Понятно, в чем заключается, по Гоголю, «либерализм» этих героев-«фрунтовиков», поставивших служение своему «я», своему тщеславию — рабство страстям выше служения Отечеству. Ибо настоящая свобода состоит, по словам Гоголя, вовсе «не в том, чтобы говорить произволу своих желаний: да, но в том, чтобы уметь сказать им: нет», — мысль, принадлежащая уже к истинному просвещению: «И хождения в широте, яко заповеди Твоя взысках...» (И ходил я на просторе, свободно, потому что дознавался Твоих повелений,— потому что не стесняли меня тогда мои страсти)³⁷¹. Во взгляде же на чины как на средство удовлетворения своего тщеславия — и на возможность «не пропускать

того, что плывет в руки» — городничий опять-таки ничем не отличается от обличаемого им вольнодумца (и, вероятно, «вольтерьянца») судьи. «Философия» его в свою очередь являет собой результат новейшего «просвещения».

Очевидно, что и вывод Гоголя о героях «Недоросля» и «Горя от ума» во всем подходит к его собственным героям: «Все лица комедии <...> русские уроды, временные, преходящие лица, образовавшиеся среди брожения новой закваски. Прямо-русского типа нет ни в ком из них; не слышно русского гражданина. Зритель остается в недоуменье насчет того, чем должен быть русский человек». Пожалуй, исключенье можно сделать лишь для одной дочери городничего, в которой однажды проглядывают вдруг черты глубокого нравственного достоинства — когда она с возмущением отвергает чересчур смелые «любезности» Хлестакова, прямо называя наглость наглостью и не задумываясь над тем, что перед ней «значительное лицо», которого трепещет ее отец и которое может составить «выгодную партию» для нее самой. Впрочем, и в ней уже заметна изрядная доля «пошлости». Словно прямо к ней относятся слова Чичикова в «Мертвых душах» о встреченной им по дороге губернаторской дочке: «Она теперь, как дитя <...> она может быть чудо, а может выйти и дрянь...».

* * *

Хлестаков как представитель «дурно понятого просвещения» — «сделавшего нас ни русскими, ни иностранцами» — напоминает еще одного литературного персонажа. Хотя сам Гоголь на эту параллель нигде прямо не указывает, но, если учесть, что Хлестаков, по определению автора, «принадлежит к тому кругу, который <...> ничем не отличается от прочих молодых людсей», то не будет безосновательным и такое сравнение.

Изобразу ль в картине верной
Уединенный кабинет,
Где мод воспитанник примерный
Одет, раздет и вновь одет?

«Да. Там из наших чиновников никто так не одевается. Платье заказываю Ручу, триста рублей за пару».

Все, чем для прихоти обильной
Торгует Лондон шелетильный*
И по Балтийским волнам
За лес и сало возит нам...

* Шелетильный — здесь: связанный с торговлей галантерейными, парфюмерными товарами. (Шелет — наряд, убор; от «шепа» в значении «мелочь».)

«И сукно такое важное, аглицкое! рублей полтора ста ему один фрак станет...»*; «Батюшка пришлет денежки, чем бы их попридержать — и куды!.. пошел кутить...».

Все, что в Париже вкус голодный,
Полезный промысел избрав,
Изобретает для забав,
Для роскоши, для неги модной...

«Ведь мой отец упрям и глуп <...> как бревно. Я ему прямо скажу: как хотите, я не могу жить без Петербурга <...> теперь не те потребности: душа моя жаждет просвещения».

(Образ Хлестакова в этом отношении хорошо поясняют характеры других героев Гоголя, в частности, сыновей помещика Петуха в третьей главе второго тома «Мертвых душ» — тоже желающих вкусию «просвещения столичного». — «Понимаю, — замечает по этому поводу Чичиков, — кончится дело кондитерскими да булеварами...». — Как у Пушкина: «...Надев широкий болivar / Онегин едет на бульвар...». «Дурак, дурак! — обсуждает про себя Чичиков намерение Петуха перебраться в город, — промотает все, да и детей сделает мотишками. Именьище порядочное <...> а как просветятся там у ресторанов да по театрам...».)

Театра злой законодатель,
Непостоянный обожатель
Очаровательных актрис,
Почетный гражданин кулис,
Онегин полетел к театру...

...«С хорошенькими актрисами знаком»...

Вошел: и пробка в потолок,
Вина кометы брызнул ток,
Пред ним *roast-beef* окровавленный,
И трюфли, роскошь юных лет,
Французской кухни лучший цвет,
И Страсбурга пирог нетленный
Меж сыром лимбургским живым
И ананасом золотым.

«Просто не говорите. На столе, например, арбуз — в семьсот рублей арбуз. Суп в кастрюльке прямо на пароходе приехал из Парижа...». Напомним также из «Евгения Онегина» строки о том,

* Характерно, что в 1836 году Гоголь, будучи в Гамбурге, заказал себе здесь «все платье из тика (то есть из дешевой, идущей на обивку льняной или хлопчатобумажной ткани. — И. В.), и когда ему указывали, что он делает себя смешным, Гоголь возражал: “Что ж тут смешного? Дешево, моется, и удобно”» (Ободовский К. П. Рассказы о Гоголе // Исторический Вестник. 1893. № 1. С. 38).

...как сельские циклопы
Перед медлительным огнем
Российским лечат молотком
Изделье легкое Европы...

Тем более, что в черновике у Пушкина прибавлено: «Работы Иоахима». «Жаль, что Иохим не дал напрокат кареты...» — восклицает в «Ревизоре» Хлестаков.

По словам Гоголя в «Переписке с друзьями», Пушкин «хотел было изобразить в Онегине современного человека и разрешить какую-то современную задачу — и не мог». В этой связи опять вспоминается рассказ Гоголя о том, что одному Пушкину удалось верно определить главное свойство его таланта — «дар выставлять так ярко пошлость жизни <...> чтобы та *мелочь*, которая ускользает от глаз, мелькнула бы *крупно* в глаза всем».

Действительно, «мелочь» в поэме Пушкина являет себя во много раз «крупнее», помещенная под увеличительное стекло гоголевской комедии. Но нет ли в ней и разрешения той «современной задачи», которую, по размышлению Гоголя, ставил поэт в «Евгении Онегине»? Продолжим сравнение героев.

Нетрудно заметить еще одну черту, роднящую Хлестакова с пушкинским «Чайльд-Гарольдом» — хандру и скуку.

«Скучно, брат, так жить,— признается «душе Тряпичкину» Хлестаков,— хочешь наконец пищи для души. Вижу: точно нужно чем-нибудь высоким заняться».

...Онегин дома заперся,
Зевая, за перо взялся...

«Прощай, душа Тряпичкин. Я сам, по примеру твоему, хочу заняться литературой». «Иногда что-нибудь хочется сделать, почитать или придеть фантазия сочинить что-нибудь...».

...Отрядом книг уставил полку,
Читал, читал, а все без толку...

Примечателен еще один гоголевский штрих к характеристике хандры Хлестакова, который, через косвенное свидетельство современника, может быть поставлен в прямую связь со скукой пушкинского героя. Напомним эпизод во втором действии комедии в гостиничном номере, где Хлестаков, томимый вынужденным бездействием, насвистывает сначала из «Роберта» (из оперы французского композитора Дж. Мейербера «Роберт-дьявол»; роскошные постановки этой оперы шли в Петербурге), потом «Не шей ты мне, матушка» (романс А. Е. Варламова на слова Н. Г. Цыганова), и наконец «ни се ни то». Известный поэт и критик Ап. Григорьев

в автобиографической новелле «Роберт-дьявол» (1846), посвященной впечатлениям от этой оперы (и, в частности, тому, как она помогла ему избавиться от хандры), писал: «...Я страдал самой невыносимой хандрой <...> не “зензухтом” немца* <...> не сплином англичанина <...> но безумной пеленой, русской хандрой, которой и скверно жить на свете, и хочется жизни <...> той хандрой, от которой русский человек ищет спасения только в цыганском таборе, хандрой, создавшей московских цыган, пушкинского Онегина и песни Варламова»⁵⁷². Знаменательно, как в рассказе современника гоголевского героя соединяются в одно целое «русская хандра», постановки «Роберта-дьявола», песни Варламова и пушкинский Онегин.

Не здесь ли и заключается «современная», по определению Гоголя, «задача» «Евгения Онегина»? И не поставлена ли была эта «задача» перед мысленным взором Гоголя самим поэтом?

Недуг, которого причину
Давно бы отыскать пора,
Подобный английскому *сплину*,
Короче: русская *хандра*
Им овладела понемногу;
Он застрелиться, слава Богу,
Попробовать не захотел,
Но к жизни вовсе охладел.
Как *Child-Harold*, угрюмый, томный
В гостиных появлялся он...

Думается, прямо к разрешению загадки разочарования байронического героя Пушкина, или, говоря словами самого поэта, к отысканию причины его «недуга» («Недуг, которого причину / Давно бы отыскать пора...») и обращался Гоголь в статье о русской поэзии, когда писал: «...Некогда с легкой руки Шиллера пронеслось было по всему свету очарованье и стало модным <...> потом с тяжелой руки Байрона пошло в ход разочарованье, порожденное, может быть излишним очарованьем...».

Следуя этому высказыванию в осмыслении пушкинского и гоголевского «Чайльд-Гарольдов», можно, кажется, постичь, наконец, загадку их недуга. Ибо именно «очарованье», упоение соблазнами мира — крайней степенью которого является, согласно Гоголю, пристрастие обоих «цивилизованных» героев к модной роскоши (не случайно в этом смысле и упоминание Гоголем имени Шиллера — поэта, а также, как отмечалось, одного из идеологов европейского торгово-промышленного прогресса) и порождает в них тягостное «похмелье» уныния и скуки — «разочарованье».

* Sehnsucht (нем.) — тоска.

Нельзя не предположить, что и в этом Гоголь видел действие тех же невидимых «страшных врагов душевных», о которых писал в «Развязке Ревизора» и отдельном письме «Выбранных мест...». Я беса «называю прямо» бесом, — заявлял он в письме к С. Т. Аксакову от 16 мая н. ст. 1844 года, — и «не даю ему <...> великолепного костюма à la Байрон <...> приводить в уныние — это его дело».

Весьма примечательно, что в статье о русской поэзии при характеристике Лермонтова — этого, по определению Гоголя, певца «безочарованья, родного детища байроновского разочарованья» — вновь появляются строки об изгнании нечистого духа посредством его художественного изображения. «Признавши над собою власть какого-то обольстительного демона, — пишет Гоголь о «безрадостном» Лермонтове, — поэт покушался не раз изобразить его образ, как бы желая стихами от него отделаться <...> В неоконченном его стихотвореньи, названном “Сказка для детей”, образ этот получает больше определительности <...> Может быть, с окончанием этой повести, которая есть его лучшее стихотворение, отделался бы он от самого духа...».

По словам одного из исследователей прошлого века, Н. М. Павлова, и Пушкин оставил нам «добрую заповедь, чтобы всякий из нас постарался как можно скорее разделаться с Онегиным»⁵⁷³, этим —

...печальным сумасбродом,
Иль сатаническим уродом,
Иль даже демоном моим.

В поэме «Езерский» (1832—1833), оставшейся в рукописях поэта и предназначавшейся ко включению в «Евгения Онегина» (отрывок из поэмы — «Родословная моего героя» — был опубликован в 1836 году в третьем томе «Современника»), Пушкин писал:

Мне жаль, что мы руке наемной
Дозволя грабить свой доход,
С трудом в столице круглый год
Влачим ярмо неволи темной,
И что спасибо нам за то
Не скажет, кажется, никто...
Что наши селы, нужды их
Нам вовсе чужды — что науки
Пошли не в прок нам; что спроста
Из бар мы лезем в tiers-état*,
Что будут ниши наши внуки...
Что не живем семьею дружной...
Старая близ могил родных,

* третье сословие (фр.)

В своих поместьях родовых,
Где в нашем тереме забытом
Растет пустынная трава...

«...Уныние — жалкая дочь безверья в Бога...» — писал в 1846 году Гоголь в статье «Страхи и ужасы России». «Уныние есть истое искушение духа тьмы,— замечал он также ранее в «Правиле жития в мире». — <...> Оно есть следствие недостатка любви нашей к Богу <...> Бог есть верховное веселие, а потому и мы должны быть также светлы и веселы». Предостерегая в то же время от обольстительного, доводящего до хандры упоения, Гоголь советовал: «Запасаться нужно в хорошее время на дурное и неурожайное: умерять дух нужно в веселые минуты мыслями о главном в жизни — о смерти, о будущей жизни, затем, чтобы легче и светлее было в минуты тяжелые» (записная книжка 1846—1851 годов).

Очевидно, именно в неспособности к такому трезвому взгляду на жизнь и заключается, согласно представлениям Гоголя, трагизм положения главного героя комедии — городничего. Благодаря позднейшим гоголевским автокомментариям, становится возможным глубже понять характеристику этого героя, данную в 1836 году в заметке «Характеры и костюмы». «Переход» его, замечал здесь Гоголь, «от страха к радости, от низости к высокомерию довольно быстр, как у человека с грубо развитыми склонностями души». В «Предуведомлении для тех, которые пожела-ли бы сыграть как следует “Ревизора”» Гоголь поясняет: «Переходя от страха к надежде <...> увидевши, что ревизор в его руках <...> он преда-ется буйной радости при одной мысли о том, как понесется отныне его жизнь среди пирований, попок <...> Поэтому-то внезапное объявление о приезде настоящего ревизора для него больше, чем для всех других, громовой удар, и положенье становится истинно трагическим». (Так же, заметим, будет предаваться отчаянию Чичиков в заключительной главе второго тома «Мертвых душ», когда после любования своей фигурой в модном фраке попадет внезапно в острог. Стремительный переход от упоительного «очарованья» к крайнему «разочарованью» — не умеряе-мых памятью смертной, вероятно, также должен был, в соответствии с размышлениями Гоголя, подчеркнуть духовную неразвитость героя.)

Зная о тесной связи, проводимой Гоголем между настроениями «оча-рованья» и «разочарованья», можно предположить, что «бес благородный скуки тайной» — не единственный, под чьим «управлением» находится Хлестаков. Несомненно, некий «дух» действует в нем и тогда, когда он обольщает и «очаровывает» своих уездных слушателей полуфантастиче-скими картинами «земного рая» новейшей цивилизации. «Это вообще лучшая и самая поэтическая минута в его жизни — почти род вдохнове-нья», — замечает Гоголь. Такого «очарованья», собственно, и «следует»

ожидать от него как от лица, играющего, в свете апокалиптического подтекста пьесы, роль оболстителя последних времен.

Можно заметить при этом, что прельщение, в которое ввергает слушателей Хлестаков, становится для них тем более неотразимым, а положение их — тем более трагичным, что при отсутствии духовных критериев, прочных навыков различения добра и зла, приобретаемых внутренним воспитанием, герои, подменившие это воспитание соблюдением светского «комилфо» и пустым лицемерием, оказываются совершенно беспомощны в оценке проповедуемого Хлестаковым «просвещения» и потому, «очарованные» авторитетом правящего Петербурга, готовы и семисотрублевые арбузы на балах столицы принять за нечто «священное» и должное. «Дьявол <...> перестал уже и чиниться с людьми,— писал Гоголь в статье «Светлое Воскресенье» об этом господстве мнимых ценностей,— <...> глупейшие законы дает миру <...> и мир <...> не смеет ослушаться». Как остроумно заметил о гоголевском городничем Ф. М. Достоевский, он «хоть Хлестакова и раскусил, и презирает его», но «так и остался до сих пор в той же самой уверенности про арбуз» и «рад хоть и в арбузе почтить добродетель»⁵⁷⁴.

В то же время следует сказать по поводу Хлестакова, что и без участия беса герой как «суетный образованный молодой человек» — «щелкопер» своим внутренним содержанием вполне отвечает возложенной на него роли. Напомним свидетельство Д. К. Малиновского о том, как Гоголь говорил, что молодых людей, подобных Хлестакову, нечистый дух «оставляет самим себе без всякого внимания с своей стороны, в полной уверенности, что они не уйдут и сами от него...».

Весьма знаменательна в этом свете характеристика Гоголем внутреннего «образования» Хлестакова в той же заметке 1836 года «Характеры и костюмы»: «Он не в состоянии остановить постоянного внимания на какой-нибудь мысли». Если сравнить это определение с другими высказываниями Гоголя той поры, то обнаружится, что указанная примета вовсе не принадлежит исключительно Хлестакову как некое карикатурное свойство, но представляет собой, по наблюдениям писателя, одну из наиболее типичных черт современного «цивилизованного» человека вообще.

В статье «Об архитектуры нынешнего времени» (1834) Гоголь писал: «Век наш так мелок, желанья так разбросаны по всему, знания наши так энциклопедически, что мы никак не можем усредоточить на одном каком-нибудь предмете наших помыслов и оттого поневоле раздробляем все наши произведения на мелочи и на прелестные игрушки». Поэтому, писал позднее Гоголь, современный человек, «развлеченный миллионами блестящих предметов, раскидывающих мысли во все стороны <...> не в силах встретиться прямо со Христом» («О театре, об одностороннем взгляде на театр и вообще об односторонности», 1846).

Таким образом, обольстительная мелочность и развлекающее многообразие «изобретений роскоши» являются, согласно выводам Гоголя, не только причиной, но и следствием рассеяния ума современного человека. А потому борьба за исцеление от болезни и изменение наружных форм быта должна начинаться с внутреннего воспитания.

«Это энциклопедическое образование публики,— пишет Гоголь в 1846 году в статье «О Современнике»,— <...> уже не так теперь потребно <...> Уже все зовет ныне человека к занятиям более сосредоточенным...». В письме к В. Г. Белинскому 1847 года он повторяет: «Это поверхностные энциклопедические сведения разбрасывают ум, а не сосредоточивают его».

Еще в 1830-х годах «огромному раздроблению жизни и познаний» современного человека Гоголь противопоставлял благотворное «владычество одной мысли». Об эпохе средних веков он, в частности, писал: «С мыслию о средних веках невольно сливается мысль о крестовых походах <...> ни одна из страстей <...> не входят сюда: все проникнуто одной мыслию — освободить Гроб Божественного Спасителя! <...> Владычество одной мысли объемлет все народы» (статья «О средних веках», 1834). О картине Брюллова «Гибель Помпеи» он тогда же замечал: «Мысль ее принадлежит совершенно вкусу нашего века, который <...> чувствуя свое страшное раздробление, стремится совокуплять все явления в общие группы...» («Последний день Помпеи», 1834).

Очевидно, что характеристика Хлестакова как человека, не способного «остановить постоянного внимания на какой-нибудь мысли», исполнена у Гоголя самого глубокого смысла, раскрываемого в самой комедии.

Укажем, что упоминаемое Гоголь в статье об архитектуре «усредоточение помыслов» находит себе прямое соответствие в святоотеческой традиции, где собирание помыслов, или мысленная борьба с мирскими соблазнами, с приходящими во время молитвы отвлекающими образами и движениями мысли, именуется также трезвением, или блюдением ума. Оно-то и открывает человеку его зависимость от падших духов. Гоголевское представление о нечистом духе как обольщающем помысле отразилось, как указывалось, уже в «Ганце Кюхельгартене». Это представление отметила, в частности, в своем дневнике Е. А. Хитрово (запись от 3 марта 1851 года): «Когда бывало сказано: “Дьявол прииде”, он говорил: “т. е. помышление”. Потом говорил: “Этим душам так все ясно, что они натурально и дьявола могут видеть. Такая чистота может у того быть, кто познал всю глубину мерзости”»⁵⁷⁵. Это же представление Гоголь воплотил в четвертой главе второго тома «Мертвых душ», в размышлениях Чичикова: «...Можно было вовсе улизнуть из этих мест и не заплатит Костанжогло денег <...> И кто творец этих вдруг набегающих мыслей?» Об этом

же Гоголь упоминал в первой редакции «Портрета»: «Это тот черный дух, который врывается к нам даже в минуты самых чистых и святых помышлений».

Непосредственно с мыслью об аскетическом «трезвении» соотносится у Гоголя и характеристика частного пристава в «Шинели», что «бывает <...> всякое воскресенье в церкви, на все смотрит и молится в то же время» (очевидно, что по наружности набожный частный пристав лишь принимает вид молящегося, пребывая при этом в рассеянии). Размышление о борьбе с помыслами во время молитвы встречается в одном из набросков незавершенной драмы Гоголя из истории Запорожья (1839—1841): «Отречение от мира совершенное. А между тем рисуется прежнее счастье и богатство <...> как будет молиться, как припадать к иконе: “все буду плакать и ничего, никакой пищи бедному сердцу, не порадую его никаким воспоминанием”». Представление о гибельном рассеянии ума во время храмовой молитвы или во время иного — тоже религиозного — служения в значительной мере определяет замыслы и более ранних произведений Гоголя: «Пропавшей грамоты», «Ночи перед Рождеством», «Тараса Бульбы», «Вия», «Невского проспекта», «Портрета». В «Размышлениях о Божественной Литургии» Гоголь, поясняя слова Спасителя о похищении диаволом из сердца человека семени Божественного слова, напоминал, что такое сердце «уподобляет Спаситель земле при пути», где эти семена «тут же бывают расхищены птицами — налетающими злыми помышлениями...». Сам Гоголь в тяжелую минуту исповедывался отцу Матфею Константиновскому: «Иногда кажется, как бы от всей души молюсь, то есть хочу молиться, но этой молитвы бывает одна, две минуты. Далее мысли мои расхищаются, приходят в голову незванные, непрощенные гости и уносят помышленья Бог весь в какие места...» (письмо от 9 ноября 1848 года)*.

Одним из «промежуточных», предварительных средств, способных хотя бы отчасти вывести человека из замкнутого круга «очарованья» — «разочарованья» и, сосредоточив, направить к Богу — источнику истинного утешения для страждущей души, Гоголь считал высокое искусство, благотворное влияние которого прямо противопоставлял рассеивающему воздействию ремесленной роскоши. 15 апреля н. ст. 1837 года он, в частности, писал своему земляку и другу А. С. Данилевскому из Рима: «Что сказать тебе вообще об Италии? Мне кажется, что будто бы я заехал к старинным малороссийским помещикам <...> вряд ли где сыщешь зем-

* «Неоднократно Гоголь говорил о своей душевной черствости, о маловерии своем, о том, что он не может долго сосредоточиваться в молитвенном настроении. Все это — признаки истинно-христианского смирения...» (Розанов Н. Гоголь как верный сын Церкви. М., 1902. С. 9—10).

лю, где бы можно так дешево прожить. Никаких <безделок> и ничего того, что в Париже вкус голодный изобретает для забав (курсив наш.— И. В.) <...> Но зато для наслаждений художнических <...> картин, развалин и антиков смотреть на всю жизнь станет». Именно в этом письме Гоголь называет свою жизнь в Италии «художнически-монастырской».

Ранее, в статье «Скульптура, живопись и музыка» (1834), Гоголь, размышляя о засилье «прихотей и наслаждений, над выдумками которых ломает голову наш XIX век», писал: «Мы жаждем спасти нашу бедную душу, убежать от этих страшных обольстителей и — бросились в музыку». — Заметим себе эти строки как еще одну возможность проникнуть в характер музыкальных интересов Хлестакова, в частности, его увлечения упоминаемыми им в сцене вранья, наряду с «Робертом-дьяволом», «Сумбекой» (балет А. Блаша), «Фенеллой» (опера З. Обера) и «Нормой» (опера В. Беллини). Увлечение это, как увидим, чрезвычайно далеко от безусловного одобрения его автором «Ревизора».

В самом искусстве Гоголь устанавливает точно выверенную духовную иерархию, своего рода «лестницу» восхождения. Музыка, — отмечает он в той же статье, — «могущественней и восторженней под бесконечными, темными сводами катедраля, где тысячи поверженных на колени мольщиков стремится она в одно согласное движение». По свидетельству А. О. Смирновой, Гоголь «очень любил» концерты, «но только духовную музыку и ходил к певчим»⁵⁷⁶. «Пост в Петербурге есть праздник музыкантов, — замечал он в «Петербургских записках 1836 года» (Великим Постом, о котором пишет здесь Гоголь, разрешались главным образом духовные концерты*). — <...> Когда согласный ропот четырехсот звуков раздастся под дрожащими сводами, тогда, мне кажется, самая мелкая душа слушателя должна вздрогнуть необыкновенным содержанием».

Вне же духовного направления музыка и искусство в целом не способны, по убеждению Гоголя, противостоять рассеивающему влиянию ремесленной цивилизации и могут также выступать в ряду обольщений и пустой разорительной роскоши. Эти мысли позволяют довольно точно установить, в соответствии с гоголевской оценкой, степень положительного и отрицательного в меломании Хлестакова.

Так, если петербургская публика, по словам Гоголя, была «права», когда в 1830-х годах оставила безобразную мелодраму и пустой подражательный водевиль — и предпочла им оперу и балет, то последние обладают еще весьма относительной ценностью. «Балет и опера — царь и царица петербургского театра, — писал он в пору создания и первой постановки «Ревизора». — Они явились блестящее, шумнее, восторженнее

* Упоминаемые в «Ревизоре» оперы, в частности, «Фенелла», в Великий Пост не ставились (см.: Северная Пчела. 1835. 9 мая).

прежних годов <...> Люди такие, которых никто не подозревал в музыкальном образе мыслей, сидят неотлучно в <...> «Роберте», «Норме», «Фенелле» <...> До сих пор не прошел тот энтузиазм, с каким бросился весь Петербург на живую, яркую музыку «Фенеллы», на дикую, проникнутую адским наслаждением музыку «Роберта» <...> и упоенные зрители позабыли <...> что есть род зрелищ <...> более возвышенный, более отвечающий глубоко обработанному вкусу <...> что существует величая трагедия, вдыхающая невольно высокие ощущения в согласные сердца <...> что есть комедия — верный список общества, движущегося перед нами, комедия строго обдуманная...». Позднее, в статье «О театре...» Гоголь добавлял: «Театр и театр — две разные вещи <...> Отделите <...> собственно называемый высший театр от всяких балетных скаканий, водевилей, мелодрам и тех мишурно-великолепных зрелищ для глаз, угрожающих разврату вкуса или разврату сердца <...> Частое повторение высокодраматических сочинений <...> заставит нечувствительно характеры более устояться в самих себе, тогда как наводнение пустых и легких пьес, начиная с водевилей и недодуманных драм до блестящих балетов и даже опер, их только разбрасывает, рассеивает...». В записной книжке 1845—1846 годов он отмечал: «50 раз должно ездить на одну и ту же пьесу. Музыку чем слышишь более, тем глубжеходишь в нее. Картина, чем более в нее вглядываешься, тем хочется более глядеть, и с этим никто не спорит, хотя редко понимает. А слово, высшее всего, считается ничтожным».

Прямо заставляет вспомнить о святоотеческом «трезвении ума» определение Гоголем в «Переписке с друзьями» главной сути русской поэзии, возвышающейся в своих лучших созданиях над модными «очарованиями» и «разочарованиями»: «Вновь повторяю <...> в лиризме наших поэтов есть <...> что-то близкое к библейскому, — то высшее состояние <...> которое чуждо движений страстных и есть твердый возлет в свете разума, верховное торжество духовной трезвости». Гоголь объяснял этот «возлет» и «трезвость» тем, что «наши поэты видели всякий высокий предмет в его законном соприкосновении с верховным источником лиризма — Богом...».

«...Новизна изобретена теми, кто скучает...» — замечал Гоголь в письме к М. П. Балабиной от 15 марта н. ст. 1838 года из Рима. И продолжал: «...Но вы же знаете сами, что никто не может соскучиться в Риме, кроме тех, у кого душа холодна, как у жителей Петербурга, в особенности у его чиновников...». К этому гоголевскому пониманию скуки как источника стремления к новизне — и новизне подчас прямо «антихристовой» (по выражению Гоголя в письме к М. П. Погодину от 1 февраля 1833 года о петровских преобразованиях в России) — можно привести еще одно косвенное свидетельство Ап. Григорьева — из его поэмы «Встреча» (1846):

...Добрая хандра
За мною по пятам бежала,
Гнала, бывало, со двора
В цыганский табор, в степь родную
Иль в европейский Вавилон,
Размыкать грусть-кручину злую,
Рассеять неотвязный сон⁵⁷⁷.

Образ «цивилизованного» Петербурга также вызывает у Гоголя пророческие ассоциации с Вавилоном⁵⁷⁸ — городом роскоши, торговли и блуда, и будущее европейской цивилизации видится ему в свете прямо апокалиптическом — так, как это предсказано о судьбе Вавилона в Откровении св. Иоанна Богослова.

Трагизм Гоголя заключался, однако, в том, что как глубокий религиозный мыслитель он почти не был понят своими современниками, а его художественное творчество было истолковано превратно. Только немногим, за исключением ближайших друзей, М. П. Погодина, С. П. Шевырева, С. Т. Аксакова, В. А. Жуковского и некоторых других, было очевидно пророческое призвание Гоголя. Как вспоминал бывший студент Московской Духовной академии протоиерей С. С. Модестов, «о Гоголе даже на классе Священного Писания читал лекции известный архимандрит Феодор Бухарев, причислявший Гоголя чуть не к пророкам-обличителям, вроде Иеремии, плакавшем о пороках людских»⁵⁷⁹. В. А. Жуковский 19 апреля н. ст. 1845 года, в письме к графу А. Ф. Орлову, говоря о Гоголе как «одном из самых оригинальных русских писателей», замечал: «Прибавлю еще одно: Гоголь и по характеру и по своей жизни человек самый чистый, а по своим правилам враг всякого буйства: он вполне христианин. За все это я ручаюсь»⁵⁸⁰. Для большинства, однако, эта сторона Гоголя осталась закрытой, и даже его попытка заявить о себе «Перепиской с друзьями» как о художнике-христианине была встречена враждебно.

Во многом, думается, именно этим непониманием и объясняется трагический «исход» Гоголя из литературы и жизни, ознаменованный предсмертным сожжением второго тома «Мертвых душ». И понят этот шаг может быть тоже только в свете всего религиозного служения Гоголя на поприще светского писателя — от дерзновенно принятого на себя апостольского: «Бых <...> беззаконным яко беззаконен <...> да приобрящу беззаконныя...»⁵⁸¹; до горького и грозного — Иеремии: «Врачевахом Вавилона, и не исцеле: оставим его и отыдем кийждо в землю свою, взыде бо к небеси суд его...»⁵⁸². Подобно своему герою — благочестивому художнику «Портрета» — Гоголь, изобразивший «мертвые души» с целью духовного преображения своих современников, в конце жизни, несмотря на такое намерение, не захотел и «притронуться к кистям и краскам,

рисовавшим эти богоотступные черты». И пожалуй, в этом самоотвержении и предупреждении заключается не меньший подвиг писателя, признававшегося в «Авторской исповеди»: «Мне, верно, потяжелей, чем кому-либо другому, отказаться от писательства, когда это составляло единственный предмет всех моих помышлений, когда я все прочее оставил, все лучшие приманки жизни и, как монах, разорвал связи со всем тем, что мило человеку на земле, затем, чтобы ни о чем другом не помышлять, кроме труда своего».

«Слово писателя,— писал почти столетие назад профессор Ив. Иванов,— такое избитое выражение,— но чтобы понять гоголевский смысл его,— надо миновать всех писателей, все литературы,— подняться до Евангелия, вспомнить, что значит «отвергнуться себя», «взять крест свой» — ради проповедуемой истины. Такова мысль Гоголя и во свидетельстве он может призвать всю свою жизнь»⁵⁸³.

«ДЕЛО, ВЗЯТОЕ ИЗ ДУШИ...»: О ЗАМЫСЛЕ ПОЭМЫ «МЕРТВЫЕ ДУШИ»

...Время начаться суду с дома Божия; если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию?

Первое Соборное послание св. апостола Петра, гл. 4, ст. 17.

Уже первые читатели «Мертвых душ» почувствовали, что имеют дело с произведением, скрывающим в себе какую-то тайну. Сам Гоголь в 1842 году, спустя три месяца после выхода в свет первого тома, писал о восприятии поэмы в читательских кругах С. Т. Аксакову: «...Еще не раскусили, в чем дело <...> не узнали важного и главнейшего <...> Ваше мнение: нет человека, который бы понял с первого раза “Мертвые души”, совершенно справедливо и должно распространиться на всех, потому что многое может быть понято одному только мне». Спустя пять лет, в «Авторской исповеди», он вновь отмечал, что первый том «составляет еще поныне загадку» для читателя. Прошло еще тридцать лет, и Ф. М. Достоевский, как бы подытоживая недоумения современников по поводу героев «Мертвых душ», писал: «Эти изображения, так сказать, почти давят ум глубочайшими непосильными вопросами, вызывают в русском уме самые беспокойные мысли, с которыми, чувствуется это, справиться можно далеко не сейчас; мало того, еще справишься ли когда-нибудь?»⁵⁸⁴

Позднее, спустя еще полвека, В. В. Зеньковский (известный впоследствии богослов, профессор и священник), как бы перенимая слово у Достоевского, заключал: «Гоголь, как мыслитель, еще более закрыт от нас его художественным творчеством, чем это можно сказать о Ф. М. Достоевском...»⁵⁸⁵. — «Если о Достоевском и его мирозерцании написан уже ряд исследований, то о Гоголе, как мыслителе, имеются лишь отрывочные замечания: мирозерцание Гоголя никогда еще не было анализировано в целом. <...> У нас до сих пор еще мало замечают за реалистичностью творчества Гоголя субъективные корни его образов; мало знают и мировоззрение Гоголя, изучение которого по-новому освещает и художественное его творчество»⁵⁸⁶.

Вывод этот во многом сохраняет свое значение до сего дня. «...Мои сочинения,— замечал еще в 1843 году Гоголь по поводу нетерпеливого желания публики видеть продолжение «Мертвых душ»,— <...> писаны долго, в обдумывании многих из них прошли годы, а потому не угодно ли читателям моим тоже подумать о них на досуге и всмотреться пристальней» (письмо к Н. Я. Прокоповичу от 28 мая н. ст.).

Самыми первыми критиками гоголевской поэмы была замечена прежде всего необычность авторского определения жанра нового произведения. Недоброжелатели Гоголя, Н. А. Полевой, Ф. В. Булгарин, Н. И. Греч, К. П. Масальский и другие, расценили его как «шутку», «верх смешного». В. Г. Белинский, взявший поначалу под защиту гоголевское определение жанра «Мертвых душ», спустя месяц, в полемике с К. С. Аксаковым — который сравнивал поэму Гоголя с поэмами Гомера,— вернулся к своим ранним утверждениям о невозможности жанра «поэмы» в современной литературе. Еще в 1835 году, в статье «О русской повести и повестях г. Гоголя», Белинский, размышляя о противоположности «идеальной» и «реальной» поэзии, высказывался о жанре «поэмы» и его отношении к современности следующим образом: «...Первобытное человечество <...> объясняло явления физического мира влиянием высших таинственных сил. <...> «Илиада» была <...> священной книгой, источником религии и нравственности <...> Но младенчество не вечно для человека <...> вера в богов и чудесное умерла <...> Мы требуем не идеала жизни, но самой жизни, как она есть. Дурна ли, хороша ли, но мы не хотим ее украшать <...> вот поэзия *реальная* <...> она не пересоздает жизнь, но воспроизводит <...> ее...»⁵⁸⁷. Для упрочения таких взглядов на значение литературы в современном обществе — служить лишь верным «зеркалом» действительности — привлекался также тезис о бессознательности настоящего художественного творчества.

Гоголь внимательно прочитал тогда статью Белинского и впоследствии прямо возражал на эти (и подобные) заявления критика. По его словам в письме к П. В. Анненкову от 12 августа н. ст. 1847 года (и в письме к В. А. Жуковскому от 10 января н. ст. 1848-го), создавая «Мертвые души», он провел «долгое время за Библией, за Моисеем, Гомером — законодателями веков минувших...»*. Весной 1836 года, когда собственная

* Как вспоминал позднее сам П. В. Анненков, Гоголь в 1841 году в Риме, в период создания первого тома «Мертвых душ», говорил, «что в известные эпохи одна хорошая книга достаточна для наполнения всей жизни человека. В Риме он только перечитывал любимые места из Данте, «Илиады» Гнедича и стихотворений Пушкина» (Анненков П. В. Н. В. Гоголь в Риме летом 1841 года // Анненков П. В. Литературные воспоминания. М., 1989. С. 67). О насущной необходимости для «поэта-художника», перечитавшего «много всяких творений», оставить

поэма Гоголя уже была начата, но еще не названа «поэмой» (в октябре 1835 года он сообщал Пушкину, что остановил сюжет своего «романа» на третьей главе), писатель в одной из рецензий, написанных для пушкинского «Современника», замечал: «Божественный Учитель и Спаситель наш первый открыл эту высокую тайну, облекши святые божественные мысли Свои в притчи, которые слушали и понимали тысячи народов <...> Мы <...> наконец возвращаемся к той истине, которая была сказана еще в глубине младенческих сердец наших <...> Уже везде, во всех нынешних попытках романов и повестей, видно стремление осуществить, окрылить или доказать какую-нибудь мысль...» (рецензия на книгу Е. И. Ольдекопа «Картины мира»). Насущную потребность «поэмы», как произведения учительной литературы, для современности Гоголь подчеркивал и позднее в статье «Об Одиссее, переводимой Жуковским» (1846). Повторяя здесь суждения Белинского о религиозно-нравственном содержании поэм Гомера и имея в виду «прогрессистские» высказывания критика по отношению к традиционной духовной культуре России, он писал: «...“Одиссея” есть <...> нравственнейшее произведение и <...> единственно затем и предпринята древним поэтом, чтобы в живых образах начертать законы действий тогдашнему человеку <...> все нынешние обстоятельства как бы нарочно обставились так, чтобы сделать появление “Одиссеи” почти необходимым в настоящее время...». «Словом,— продолжал Гоголь,— на страждущих и болеющих от своего европейского совершенства «Одиссея» подействует. Много напомнит она им младенчески прекрасного, которое (увы!) утрачено, но которое должно возратить себе человечество, как свое законное наследство». Имея в виду противопоставление Белинским «идеала жизни» «самой жизни» — представленной в натуралистическом зеркале «реальной поэзии» — Гоголь в «Авторской исповеди» (1847) добавлял: «...Писатель-творец творит творенье свое в поученье людей <...> Нужно, чтобы в создание его жизнь сделала какой-нибудь шаг вперед <...> Возратить людей в том же виде, в каком и взял, для писателя-творца даже невозможно...».

Судя по этим высказываниям, определение автором жанра «Мертвых душ» как «поэмы» преследовало цель подчеркнуть прежде всего принадлежность его творения к высоким, классическим образцам древней учительной литературы. (Отметим, что на рисованной самим Гоголем обложке книги слово «ПОЭМА» было напечатано крупными, выделяющимися буквами — крупнее даже самого заглавия.) Несомненно, было и нечто, что питало надежды Гоголя на исполнение столь грандиозного

себе наконец «настойною книгой одну только “Илиаду” Гомера» упоминал и Гоголь в создававшейся тогда же второй редакции повести «Портрет» (1842).

замысла. Думается, отмеченный в 1835 году абсолютным большинством критики и читателей его блестящий успех в создании произведения, действительно приближающегося к поэмам Гомера, главным образом и окрылял писателя. Тот же Белинский, который отрицал в современной литературе возможность «идеальной поэзии», не мог, однако же, не воскликнуть о гоголевском «Тарасе Бульбе»: «Если в наше время возможна гомерическая эпопея, то вот вам ее высочайший образец, идеал и прототип!...»⁵⁸⁸. Именно когда работа над первым томом «Мертвых душ» приближалась к концу, Гоголь создал вторую, окончательную редакцию «Тараса Бульбы» — превосходящую по объему первую почти в два раза и с еще большей отчетливостью обнаруживающую следы изучения писателем Библии и поэма Гомера.

С завершением «Мертвых душ», задуманных как широкое эпическое полотно в трех томах, Гоголь связывал не только раскрытие «тайны» его «поэмы», но и разрешение «загадки» всей своей жизни — об этом он писал в 1842 году друзьям А. С. Данилевскому, В. А. Жуковскому, С. Т. Аксакову. Позднее, в одном из «Четырех писем к разным лицам по поводу “Мертвых душ”», опубликованных в книге «Выбранные места из переписки с друзьями», на вопрос о том, почему его герои, «будучи далеки от того, чтобы быть портретами действительных людей, неизвестно почему близки душе», Гоголь отвечал: «...Все мои последние сочинения — история моей собственной души». В статье «О Современнике» он еще раз подчеркивал: «У меня никогда не было стремленья быть отголоском всего и отражать в себе действительность, как она есть <...> Все мною написанное замечательно только в психологическом значении...».

В исследовательской литературе давно уже делались попытки как-то объяснить эти гоголевские высказывания. В частности, С. А. Венгеров в 1913 году, приводя ряд фактов биографии писателя, выдвинул весьма смелое предположение — перешедшее тут же в утверждение, что Гоголь «совсем не знал русской действительности» — что в основе «Ревизора» и «Мертвых душ» почти нет реальных наблюдений, и великорусский быт, Россию, русскую провинцию писатель «не только не наблюдал, но даже и возможности наблюдать не имел»⁵⁸⁹.

Справедливости ради можно заметить, что некоторые основания для такого вывода у исследователя были. Еще в 1830 году на предположение матери, что роман А. К. Бошняка и П. П. Свинына «Ягуб Скупалов» написал им — ее сыном, Гоголь отвечал: «Сфера действия этого романа во глубине России, где до сих пор еще и нога моя не была. Если бы я писал что-нибудь в этом роде, то верно бы избрал для этого Малороссию, которую я знаю, нежели страны и людей, которых я не знаю ни нравов, ни обычаев, ни занятий». С 1829 года вплоть до отъезда за границу в 1836 году, где главным образом создавались «Мертвые души», Гоголь прожил

почти все время в Петербурге. А 15 мая 1836 года, когда поэма была начата, признавался М. П. Погодину: «Провинция уже слабо рисуется в моей памяти, черты ее уже бледны...». Современные Гоголю критики — из его недоброжелателей (Ф. В. Булгарин, О. И. Сенковский, Н. А. Полевой) — также отрицали сходство гоголевских изображений с отечественной действительностью. Да и сам Гоголь, получив известие о переводе первого тома «Мертвых душ» на немецкий язык, писал 7 января н. ст. 1846 года Н. М. Языкову: «...Этому сочинению неприлично являться в переводе ни в каком случае до времени его окончания, и я бы не хотел, чтобы иностранцы впали в такую глупую ошибку, в какую впала большая часть моих соотечественников, принявшая «Мертвые души» за портрет России».

И все-таки суждение С. А. Венгерова нельзя признать справедливым. «Если Гоголь (по собственному его смиренному сознанию) *не вполне* знал Россию,— замечал в 1852 году младший современник писателя, Г. П. Данилевский,— то кто же из нас может таким знанием похвалиться <...> По крайней мере, сравнительно, едва ли кто так художественно, так многосторонне взглянул на Россию, как Гоголь»⁵⁹⁰. Сами гоголевские произведения свидетельствуют о том, что мало было на Руси писателей, кто обладал бы таким даром наблюдательности и так знал Россию, как Гоголь. На этот счет имеются и собственные гоголевские высказывания.

12 ноября н. ст. 1836 года Гоголь писал В. А. Жуковскому из Парижа: «Мертвые текут живо, свежее и бодрее, чем в Вене, и мне совершенно кажется, как будто я в России: передо мною все наши, наши помещики, наши чиновники, наши офицеры, наши мужики, наши избы, словом, вся православная Русь». В «Авторской исповеди» Гоголь замечал: «Я никогда ничего не создавал в воображении и не имел этого свойства. У меня только то и выходило хорошо, что взято было мной из действительности, из данных мне известных <...> Чем более вещей принимал я в соображение, тем у меня верней выходило создание». По «мелочам и подробностям», признавался Гоголь в письме к А. О. Смирновой от 27 января н. ст. 1846 года, ему удавалось «узнать многое <...> в человеке, вовсе *не мелочное*, которое иногда он не только не открывает другим, но и сам не знает».

Одна из особенностей реализма Гоголя, вероятно, в том и заключалась, что душевное состояние человека он постигал и изображал через окружающий быт, и в частности через «страшную, потрясающую тину мелочей, опутавших нашу жизнь», — на что прямо указывал в начале седьмой главы первого тома «Мертвых душ». Внешний реалистический рисунок потому и был так убедителен в его созданиях, что скрывал в себе правду более глубокую — душевную. Не случайно Пушкин — «который так знал Россию», — давший, по свидетельству Гоголя, ему сюжет буду-

шей поэмы, тоже принял «Мертвые души» за «портрет России». «...Когда я начал читать Пушкину первые главы из «Мертвых душ», в том виде, как они были прежде,— рассказывал Гоголь,— то Пушкин <...> сказал голосом тоски: «Боже, как грустна наша Россия!» <...> Пушкин <...> не заметил, что все это карикатура и моя собственная выдумка! Тут-то я увидел, что значит дело, взятое из души...».

Это особое свойство гоголевского реализма, сочетающее глубокое проникновение в тончайшие излучины души с реалистическим бытописанием, хорошо поясняют строки самого Гоголя из упомянутой его рецензии 1836 года для пушкинского «Современника», где он настаивает на притчеобразном характере современных «романов и повестей»: «Живой пример сильнее рассуждения, и никогда мысль не кажется так высокая <...> как когда <...> разрешается пред нами живым, знакомым миром...». Спустя десять лет, в письме к А. О. Смирновой от 22 февраля н. ст. 1847 года, Гоголь повторял: «Не будут живы мои образы, если я не сострою их из нашего материала, из нашей земли, так что всяк почувствует, что это из его же тела взято. Тогда только он проснется и тогда только может сделаться другим человеком. Друг мой, вот вам исповедь литературного труда моего».

На сокровенный замысел поэмы, оставшийся недоступным читателю, намекают и строки письма Гоголя к А. О. Смирновой от 25 июля н. ст. 1845 года: «Вовсе не губерния и не несколько уродливых помещиков, и не то, что им приписывают, есть предмет «Мертвых душ». Это пока еще тайна, которая должна была вдруг, к изумлению всех (ибо ни одна душа из читателей не догадалась), раскрыться в последующих томах <...> Повторяю вам вновь, что это тайна, и ключ от нее покамест в душе у одного только автора».

* * *

Проникнуть в тайну гоголевской поэмы едва ли возможно без решения вопроса о том, почему автор избрал для первого тома героев «уродливых». Одним из подготовительных «эскизов», предварявших создание «Мертвых душ», стала, как известно, в творчестве Гоголя «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», напечатанная в 1834 году. Уже тогда перед читателями возник вопрос о значении гоголевских отрицательных типов. Критик П. И. Юркевич замечал, в частности, об этой повести в газете «Северная Пчела» от 25 мая 1835 года: «Но какая цель этих сцен, не возбуждающих в душе читателя ничего, кроме жалости и отвращения? В них нет ни забавного, ни трогательного, ни смешного. Зачем же показывать нам эти рублища, эти грязные лохмотья, как бы ни были они искусно представлены? Зачем рисовать непри-

ятную картину заднего двора жизни человечества без всякой видимой цели?».

«Да, мои добрые читатели, — отвечал Гоголь спустя несколько лет своим критикам в одиннадцатой главе первого тома «Мертвых душ», — вам бы не хотелось видеть обнаруженную человеческую бедность. Зачем, говорите вы, к чему это?».

Долгое время принято было решать этот вопрос за Гоголя в том смысле, что главная цель писателя заключалась в обличении «крепостнической» России, причем в «уродливых помещиках» предлагали видеть настоящий ее «портрет». Однако истолкование гоголевской поэмы в духе политической сатиры не имеет ничего общего с авторским замыслом. Безусловно, в старой России и среди помещиков, и среди чиновников, и среди крестьян жили не только «мертвые души»; а то, что именно последние попали на полотно гоголевского произведения, объясняется отнюдь не их большинством в русском обществе, но прежде всего избирательностью творческого метода писателя — и на это тоже указывал сам Гоголь. Приоткрывая тайны своей художественной мастерской, он писал С. Т. Аксакову 18 августа н. ст. 1842 года: «Есть души, что самоцветные камни; они не покрыты корой и, кажется, как будто и родились уже готовыми и обделанными. Их видит издали зоркий глаз ювелира, только замечает их место, сказавши: слава Богу! и спешит к тем, где нужно много работы, чтобы отколоть грубую кору и сколько-нибудь огранить, дабы видел всякий, что это была не простая земля, но дорогой камень, закрытый вековыми накопленьями всего». «Счастлив писатель, — замечал автор в седьмой главе «Мертвых душ», — который мимо характеров скучных, противных, поражающих печальною своею действительностью, приближается к характерам, являющим высокое достоинство человека...». Но «я обыкновенно, — добавлял Гоголь в черновике письма к Аксакову, — до времени полной встречи с ними спешу <...> по странному влечению к тем, которых душа скрывается корою и труден к ним путь и Самому Создателю».

Это «странное влечение» писателя к характерам, покрытым «корою», было им самим вполне осознано. Гоголь прямо связывал создание своей поэмы с «подвигом во имя любви к братьям». По свидетельству А. О. Смирновой, присутствовавшей в 1842 году на авторском чтении первого тома «Мертвых душ», Гоголь — «высокий христианин в душе» — был огорчен, когда увидел, «что Чичиков, Манилов, Собакевич и Ноздрев возбуждают лишь смех или отвращение». (Так же, заметим, огорчен был Гоголь и в 1836 году после постановки «Ревизора».) «“Полюбите нас черненькими, а беленькими нас всяк полюбит”, задумал он уже тогда», — заключала Смирнова⁵⁹¹. Как объяснял сам Гоголь во втором томе поэмы рассказанный здесь Чичиковым анекдот о «черненьких» и «беленьких» — о плу-

тах-чиновниках, жестоко отплативших за пренебрежительное отношение к ним молодого «управителя немца» и в оправдание себе приведших потом эту поговорку, — «и в паденье своем гибнущий грязный человек требует любви к себе <...> это слабый крик души, заглушенный тяжелым гнетом подлых страстей, еще пробивающийся сквозь деревенеющую кору мерзостей, еще вопиющий: “Брат, спаси!”». «Вы посмеетесь даже от души над Чичиковым, — обращался Гоголь к читателю в одиннадцатой главе первого тома «Мертвых душ». — <...> И после <...> самодовольная улыбка покажется на лице вашем <...> А кто из вас, полный христианского смирения <...> углубит вовнутрь собственной души сей тяжелый запрос: “А нет ли и во мне какой-нибудь части Чичикова?”».

К чести гоголевских современников следует сказать, что эта мысль была ими услышана. «Не все ли мы после юности, так или иначе, ведем одну из жизней гоголевских героев? — записал в своем дневнике А. И. Герцен в июле 1842 года. — Один остается при маниловской тупой мечтательности, другой буйствует à la Nostredff, третий — Плюшкин и пр.»⁵⁹². «...Каждый из нас, — говорил В. Г. Белинский, — какой бы он ни был хороший человек, если вникнет в себя с тем беспристрастием, с каким вникает в других, — то непременно найдет в себе, в большей или меньшей степени, многие из элементов многих героев Гоголя»⁵⁹³. «Только наше себялюбие и духовная гордость хотят нас уверить, что мы «живые души» и будто бы не мы — Чичиковы, Собакевичи и т. п. выходцы Гоголевского мира...»⁵⁹⁴.

* * *

Между тем парадоксальное и заостренное до крайности утверждение С. А. Венгерова, что Гоголь «не знал русской действительности» (а знал только Петербург и Малороссию), как будто опять находит себе фактическое подтверждение в том, что герои-помещики первого тома «Мертвых душ» поразительно напоминают собой «пепельных» обитателей *петербургской* Коломны, изображенных Гоголем за год до начала работы над поэмой в повести «Портрет». «Здесь ничто не похоже на столицу, но вместе с этим не похоже и на провинциальный городок, — замечал Гоголь в повести о «нравах» и «занятиях» жителей Коломны, — потому что раздробленность многосторонней и, если можно сказать, цивилизованной жизни проникла и сюда и сказалась в таких тонких мелочах, какие может только родить многолюдная столица».

Обобщающая характеристика этих «полу-петербургских» героев — «Они похожи на серенький день <...> когда на небе бывает ни се, ни то...» (в письме к матери от 30 апреля 1829 года Гоголь распространял эту характеристику и на весь Петербург) — прямо переключается со строка-

ми поэмы о характере Манилова, который принадлежал к роду людей, «известных под именем: люди так себе, ни то ни се, ни в городе Богдан ни в селе Селифан...» (тут, при характеристике Манилова, «даже самая погода <...> прислужилась: день был не то ясный, не то мрачный, а какого-то светло-серого цвета...»).

«Самые солидные» обитательницы Коломны — «вдовы-чиновницы» с их толками о «дороговизне», «гадкой собачонкой и старинными часами» — явно напоминают «коллежскую секретаршу» Коробочку с ее сторожевыми собаками, шипящими часами и беспокойством о ценах.

«За ними следуют актеры <...> народ свободный, как все артисты, живущие для наслаждения. Они <...> играют с пришедшим приятелем в шашки или в карты <...> примешивая к тому часто пунш». Под эту характеристику вполне подходит Ноздрев, игрок и в карты и в шашки, всем приятель и собутыльник.

«После этих тузов,— заключал Гоголь в «Портрете» перечисление коломенских обитателей,— <...> следует необыкновенная дробь и мелочь; и для наблюдателя так же трудно сделать перечень всем лицам <...> как поименовать все то множество насекомых, которые зарождаются в старом уксусе <...> Старухи <...> старухи <...> старухи <...> которые <...> таскают с собою старые тряпья...». Эти слова как бы прямо указывают на старика Плюшкина, тем более что с насекомыми, зарождающимися в «старом уксусе», перекликается находящаяся в его заваленной тряпьем и хламом комнате «рюмка с какою-то жидкостью и тремя мухами, накрытая письмом».

Над всем этим «осадком» столицы возвышается в «Портрете» «капиталист»-ростовщик Петромихали — так же, как «кулак» Собакевич своей колоссальной фигурой выделяется из всех героев «Мертвых душ».

И все-таки, думается, не о «незнании» Гоголем русской действительности свидетельствует то обстоятельство, что герои «Мертвых душ» напоминают изображенные им ранее петербургские типы. (К характеристике петербургской Коломны — а также отношения Гоголя к населявшим ее «столичным» жителям — важно добавить, что здесь, как отмечалось, проживал еще один гоголевский герой — Акакий Акакиевич Башмачкин из «Шинели».) Разгадка указанного соответствия кроется, видимо, в том, что рисует Гоголь в первом томе поэмы не столько саму русскую жизнь, сколько ее болезни и «уродства» — подобно тому, как, по его словам, А. С. Грибоедов изобразил в героях «Горя от ума» «русских уродов, временных, преходящих лиц». А потому, в соответствии с столичными прообразами «Портрета», не русское, а отклонение от русского — чаще всего «цивилизованное», западное, уродливо привившееся на русской почве, — и олицетворяют собой герои «Мертвых душ». Сообщая в январе 1842 года М. П. Балабиной о своих впечатлениях по приезде

де в Россию, Гоголь писал: «Вижу знакомые, родные лица; но они, мне кажется, не здесь родились, а где-то их в другом месте, кажется, видел...». В «Авторской исповеди», как бы подсказывая характер изображения русской провинции в «Мертвых душах», он также писал о своих приездах в Россию в период создания первого тома: «Провинции наши меня <...> изумили. Там даже имя Россия не раздается на устах. Раздавалось, как мне показалось, на устах только то, что было прочитано в новейших романах, переведенных с французского». Такими «переводами с французского» и являются в большинстве своем герои «Мертвых душ». — Словно поясняя свое позднейшее признание в письме к А. О. Смирновой о том, что «вовсе не губерния и не несколько уродливых помещиков <...> есть предмет “Мертвых душ”», Гоголь в восьмой главе первого тома поэмы, говоря о «блистательных» нарядах провинциальных губернских дам, замечал: «...Кажется, как будто на все было написано: нет, это не губерния, это столица, это сам Париж!».

Определяющим для характера «образованнейшего» Манилова является соблюдение всевозможных светских приличий, любезности и «деликатности в поступках», то есть, говоря словами Гоголя в «Переписке с друзьями», «принятие глупых светских мелочей вместо главного», следование тому европейскому «комильфо», которое стало в России «сильнее всяких коренных постановлений» и сделало русских «ни русскими, ни иностранцами» — «ни то ни се». Обращенность разумной части души на мелочи, которые приобретают для гоголевского героя прямо-таки «религиозное» значение — от исполнения их Манилов испытывает, по его словам, «духовное наслаждение», делают его как духовно, так и практически бесплодным. Мелкий ум этого «по природе доброго, даже благородного» мечтателя, прообразующего собой, согласно размышлениям Гоголя, «донкишотскую сторону нашего европейского образования», не способен ни оценить «по достоинству» аферу Чичикова, ни догадаться о воровстве приказчика и пьянстве его крепостных. Под стать ему и жена, столь же мало заботящаяся об исполнении своих действительных обязанностей, но совершенная «комильфо» в пустом времяпровождении.

Определенной «карикатурой на русское» предстает в поэме и Коробочка, полностью погрязшая в «тине мелочей», исполненная страха, суеверия, подозрительности, обладательница «роскошных перин» и знающая о сибаритском чесанье пяток на ночь... — словом, соединяющая в себе все то, что, по словам Гоголя о героях «непросвещенья» комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль», могло произойти от «долгого, бесчувственного, непоколебимого застоя в отдаленных углах и захолустьях России». Очевидно, что Коробочка по большей части также не сохранила в себе свой «первообраз» — те исконные обычаи старины, «свято» сохраняя которые, народ «тогда только», по словам Гоголя одной из статей

«Арабесок», «достигает своего счастья» («Шлецер, Миллер и Гердер»). Весьма примечателен, например, в этом смысле еще один из недостатков Коробочки, а именно ее расчетливая скупость в приеме неожиданного гостя. Только узнав, уже после утреннего чая, о «казенных подрядах», которые якобы ведет Чичиков, эта «старосветская помещица» решаетея наконец-то по-настоящему угостить своего гостя, а вернее, его «задобрить». Очевидно, это не то бескорыстное гостеприимство, которым издавна, согласно Гоголю (и Карамзину), славилась славяне (об этом Гоголь писал в своем классном сочинении 1828 года, в «Главе из исторического романа» 1830-го, а в «Мертвых душах» — в главе о Плюшкине⁵⁹³).

В то же время следует подчеркнуть, что искажения русской жизни, воплощенные в образе Коробочки, казались Гоголю менее опасными и воспринимались им скорее как некая недостаточность, могущая быть восполненной в будущем (согласно основанному на опыте убеждению многих современников Гоголя, что предрассудки невежества легче сглаживаются, чем предрассудки ложного просвещения,— по слову св. Иоанна Златоуста, что «доброе неведение лучше худого знания»). Более угрожающими представлялись Гоголю та разрушительная «ломка капитальных стен строения», увлечение ложными путями развития, которые со «страстью к обезьянству» водворялась со времен Петра I на Руси (набросок «Рассмотрение хода просвещения России» в записной книжке Гоголя 1846—1851 годов). Поэтому при всех отрицательных, «застойных» чертах Коробочки Гоголь ставил ее все-таки выше «просвещенных» соотечественников. В позднейшем наброске к «Мертвым душам» он писал: «...Отчего коллежская регистраторша Коробочка, не читавшая и книг никаких, кроме Часослова <...> умела, однако ж <...> сделать <...> так, что порядок, какой он там себе ни был, на деревне все-таки уцелел <...> а церковь, хотя и небогатая, была поддержана <...> тогда как иные, живущие по столицам <...> образованные и начитанные <...> требуют от своих управителей все денег, не принимая никаких извинений, что голод и неурожай <...> и во все магазины <...> всем ростовщикам <...> в городе должны». Впрочем, все это еще не выкупает, по Гоголю, главного недостатка Коробочки — вероятно, того, о котором он писал С. Т. Аксакову 18 августа 1842 года, говоря о «простодушном богомольстве и набожности, которым дышит наша добрая Москва, не думая о том, чтобы быть лучшею».

Прямой контраст Коробочке — Ноздрев, который весь энергия и движение. Но всё «усовершенствование» этого «исторического человека» — в пороках и мошенничестве (он даже «исхудал и позеленел», подбирая «из нескольких десятков дюжин карт одной талии»), все «подвиги» — за карточным и бильярдным столом. «Сыграл, как молодой полубог» (на бильярде),— записал Гоголь в своей записной книжке 1841—

1844 годов одно из характерных «выражений Ноздрева» — «искусного» до «классического совершенства» в пустом времяпрепровождении. «Нет, вот попробуй он играть дублетом...» — оправдывает герой свой проигрыш майору. Подобным образом и «доблесть» Ноздрева проявляется почти исключительно в кутежах и расточительности: «Чуткий нос его слышал за несколько верст, где была ярмарка со всякими съездами и балами...». «Конечно, можно запрятаться к себе в кабинет и не дать ни одного бала,— рассуждает он в десятой главе о достоинствах нового генерал-губернатора, выдавая тем и свое пристрастие,— да ведь этим что ж? Ведь этим не выиграешь». «Европейская» суть этих привычек и пристрастий Ноздрева разъясняется в самой поэме.

«Кричат: “Бал, бал, веселость!” — бранит, например, с досады Чичиков «несколько справедливо» балы в восьмой главе,— просто дрянь бал, не в русском духе, не в русской натуре <...> В губернии неурожай, дороговизна, так вот они за балы! <...> А ведь на счет же крестьянских оброков <...> Набрались добра из чужого края. Умели самое лучшее перенять, как перевести последнюю копейку» (две заключительные фразы остались у Гоголь в рукописи). «У меня все, что ни привезли из деревни, продали по самой выгоднейшей цене,— говорит Чичикову возвращающийся с ярмарки без «часов» и «цепочки» Ноздрев.— Эх, братец, как покутили!» Далее следует воспоминание кутежа — перечисление французских вин и шампанских, продолжающееся и по приезде героев в имение Ноздрева. «Что ж делать,— замечает автор в заключительной главе второго тома «Мертвых душ»,— если завелось так много всяких заманок на свете? И дорогие рестораны с сумасшедшими ценами <...> и плясання с цыганками».

Среди главных соблазнов капитана Копейкина из вставной новеллы в десятой главе первого тома поэмы тоже упоминается роскошный французский ресторан. (Отметим, что ставший разбойником капитан Копейкин по его невольности к чужеземным соблазнам столичной жизни опять-таки весьма напоминает одного из упомянутых обитателей петербургской Коломны — незлобивого «чиновника, крадущего шинели», Акакия Ахакиевича Башмачкина⁵⁹⁶.) В этой же главе собрание чиновников сравнивается с «совещаниями, которые составляются для того, чтобы покутить или пообедать, как-то клубы и всякие воксалы на немецкую ногу», и здесь, как бы «естественно», появляется опять Ноздрев (постоянно «назирающий», по библейскому выражению, «где пирове бывають»⁵⁹⁷) — привлеченный запиской городничего о предстоящей карточной игре и возможности обыграть новичка. Резко отрицательное отношение ко всем подобного рода европейским «новшествам» — ресторанам, игорным домам и пр.— разделяли многие современники Гоголя. (Азартные карточные игры были запрещены в России и законом.) Ука-

жем, в частности, на произведения издателя «Отечественных Записок» П. П. Свинына «Поездка в маскарад» и «Письмо в Москву о публичных удовольствиях в России», опубликованные в 1830 году (в то время, когда в этом журнале активно сотрудничал Гоголь⁵⁹⁸) в мартовской и апрельских книжках этого издания. В статьях Свинына — представителя «первой славянофильской школы» русских литераторов (по словам Д. И. Свербеева⁵⁹⁹) — давалась нелицеприятная оценка одному из европейских разорительных новшеств — устройству в доме В. В. Энгельгардта на Невском проспекте публичных балов-маскарадов. Позднее, 18 мая 1849 года, А. О. Смирнова в свою очередь сообщила Гоголю о петербургском владельце ресторанов и увеселительных заведений И. И. Излере: «Скажу вам, что “Конкордия” и все заведения, покровительствуемые Излером, другом человечества, процветают. И тошно и гадко смотреть, как стараются заводить то, что обезобразило Париж и весь Запад»⁶⁰⁰.

Тип Собакевича во многом близок описанному Гоголем «вельможе» времен Петра I, который «бранит антихристову новизну, а между тем сам хочет сделать новомодный поклон и бьется из сил сковеркать ужимку французокафтанника» (из письма к М. П. Погодину от 1 февраля 1833 года). Браня городскую жизнь и новейшее «просвещение», Собакевич, однако же, во всем следует принципам этого «просвещения»: тешется тем, что готовят у него больше и лучше, чем повар-француз в городе у губернатора, что коляски его лучшей работы, чем столичная, что мужики его ведут в столице богатую торговлю. Сам он при этом, как и полагается «французокафтаннику», ходит в деревне во фраке. Указывая на то, что не столько патриотизм, сколько гордость и тщеславие (обязанные во многом, как отмечалось, «европейскому нашему воспитанию») являются главными чертами характера Собакевича, автор поясняет, что если бы жил его герой в Петербурге, то ел бы тогда «какие-нибудь котлетки с трюфелями», «пошелкивал» бы своих подчиненных, «смекнувши» что они не его крепостные, от которых непосредственно зависит его благосостояние, и «грабил бы <...> казну». Да еще, «занявши место повиднее», выдумал бы — из того же желания «себя показать» — такое «мудрое постановление», что многим пришлось бы солоно. Уже и в своем настоящем, «захолустном» положении этот «совершенный медведь» в чаянии выгоды легко проявляет «некоторую даже ловкость, как такой медведь, который уже побывал в руках, умеет и перевертываться, и делать разные штуки...». «А разогни кулаку один или два пальца, выдет еще хуже», — заключает автор, как бы подразумевая «родство» этого героя с петербургским ростовщиком-«антихристом» Петромихали, что, подобно Плюшкину, «всех людей переморил голодом».

У следующего героя гоголевской галереи — «скряги» Плюшкина — есть с столичным ростовщиком «Портрета» еще несколько общих черт. В

частности, содержимое кладовых Петромихали, где «кучами были набросаны <...> вазы, всякий хлам, даже мебели <...> старое негодное белье, изломанные стулья, даже изодранные сапоги», прямо напоминает заваленную хламом комнату Плюшкина. В одной из черновых редакций шестой главы сохранился отрывок из описания имения Плюшкина, позволяющий в свою очередь предполагать, что в его основу были положены петербургские впечатления писателя: «Изб было столько, что не перечесть. Они были такое старье и ветхость, что можно было дивиться, как они не попали в тот музей древностей, который еще не так давно продавался в Петербурге с публичного торга⁶⁰¹, вместе с вещами, принадлежавшими Петру Первому, на которые, однако ж, покупатели глядели сомнительно». Напомним, что перечисление вещей аукционной продажи, «набросанных горою на полу», предваряет в «Портрете» рассказ о ростовщике.

Главное во всех этих описаниях — вещи. И обобщение, которое дал Гоголь в итоговом среди героев-помещиков образе Плюшкина, отражает прежде всего проходящее через все творчество писателя представление о вещизме и мелочности современного, «цивилизованного» века — и его плодах на русской почве, на что, в частности, Гоголь неоднократно указывал в статьях «Арабесок». В подобных множественности и дробности — порожденных как бы самим обилием накопленного исторического опыта — Гоголь видел именно признаки «старческого» возраста — возраста Плюшкина. «На бесчисленных тысячах могил возвышается, как феникс, великий 19 век,— писал он в 1833 году в отдельном наброске.— Сколько <...> происшествий! Сколько <...> дел, сколько <...> народов <...> сколько разных образов, явлений, разностихийных политических обществ, форм пересуществовало! <...> Какую бездну опыта должен приобрести 19 век!». Словно прямо напоминая о заваленной старым хламом комнате Плюшкина, Гоголь в «Переписке с друзьями» замечал, что в «нынешнее» время в Россию «нанесены итоги всех веков и, как неразобранный товар, сброшены в одну беспорядочную кучу». По поводу разносчика, забросавшего комнату товарами, Гоголь однажды сказал: «Так и мы накупили всякой всячины у Европы, а теперь не знаем, куда девать»⁶⁰². Любопытно, что в черновой редакции «Мертвых душ» в описании плюшкинского дома встречается прямое упоминание о Европе: «Дождь и время отвалили во многих местах со стен шекатурку и произвели на них множество больших пятен, из которых одно было несколько похоже на Европу...». На столь же безотрадный результат издержанной на мелочи жизни указывает набросок Гоголя о «богатом и обширно развитом» XIX веке, сохранившийся среди рукописей заключительной главы первого тома. Речь в нем идет о ничтожном итоге всего исторического развития — заключающегося лишь в обилии «всяких вещей» —

«добра, созданного модою», и этим только «одарившего» человечество «в награду его трудных и бедственных странствий».

Своеобразную аналогию к парадоксальному «старческому» итогу — перед которым оказалось вдруг русское «образованное» общество в XIX веке вследствие слепого подражания Западу — Гоголь находил в Римской истории. В одной из университетских лекций 1834 года, посвященной анализу причин, приведших к разрушению Римской империи, он замечал: «Нацию преобладающую составляли римляне, народ <...> еще <...> не достигший развития жизни гражданственной. Этот народ увидел <...> государство с просвещением, испорченною нравственностью, изобилием, естественною промышленностью и жадно бросился перенимать. Все, что заимствовал он <...> было блестящее и наружное — роскошь, без утонченного образа мыслей, понятий и жизни этих народов. Он сократил свой собственный переход и, не испытав мужества, прямо из юношеского состояния перешел к старости». Этот порожденный «обезьянством» (по выражению Гоголя) внезапный переход из юности в старость писатель называл позднее «собачьей старостью» (имея в виду детское заболевание с таким названием, атрофию, при которой больной становится похож на старую собаку⁶⁰³). Гоголь говорил: «Француз играет, немец читает, англичанин живет, а русский обезьянствует. Много собачьей старости»⁶⁰⁴.

* * *

В еще большей мере «европейские» черты — вещизм и жажда обогащения — проступают в характере главного героя поэмы — Чичикова. Профессор, протопресвитер В. В. Зеньковский так как определил «вечную» сущность этого гоголевского типа: «Современные, прошлые и будущие Чичиковы — это не просто дельцы, чем они внешне являются, — они находятся под “обольщением” богатства; в их трезвом реалистическом сознании они и романтики, ибо крепко убеждены, что жизнь и не может быть иной. Искание богатства есть их религия <...> Если Гоголю удалось вскрыть в умело нарисованном образе современного дельца самую сокровенную основу современности, — то в этом и есть сила его обобщения...»⁶⁰⁵.

Стремление к личному обогащению — «главный фактор экономического прогресса Европы» (В. В. Зеньковский) — на всем кладет свою печать. «В гениальном обобщении, которое дал Гоголь в Чичикове <...> с полной ясностью выступает разрушение душевной жизни, связанное с этим переводом на деньги всех душевных движений. Типично для Чичикова, что когда он говорил о добродетели, он умел слезу пустить: он эксплуатировал в тех или иных житейских целях (над которыми всегда и во

всем возвышалась верховная цель — обогащение) самые лучшие движения души. И это наблюдение Гоголя блестяще оправдалось в духовной жизни Европы: здесь надо искать ключи к пониманию того своеобразия экономической психологии современных людей, которое еще Герцен так едко высмеивал, как *духовное мещанство*⁶⁰⁶.

На «европейскую» суть характера Чичикова указывал еще в 1903 году Д. С. Мережковский, поясняя, в чем состоит сама обольстительная сила богатства. «Так называемый *“комфорт”*, — писал он, — то есть высший культурный цвет современного промышленно-капиталистического и буржуазного строя, комфорт, которому служат все покоренные наукою силы природы, — звук, свет, пар, электричество, — все изобретения, все искусства, — вот последний венец земного рая Чичикова. <...> Несмотря на весь свой глубокий консерватизм, Чичиков — отчасти и западник. Подобно Хлестакову, он чувствует себя в русском провинциальном захолустье представителем европейского просвещения и прогресса: тут — глубокая связь Чичикова с “петербургским периодом” русской истории, с Петровскими преобразованиями. Чичикова тянет на Запад: он как будто предчувствует, что там его сила — его грядущее “царство”⁶⁰⁷.

«Приобретение — вина всего», — так определяет Гоголь главную страсть Чичикова в заключительной главе первого тома поэмы. «Еще ребенком он <...> из данной отцом полтины не издержал ни копейки, напротив — в тот же год уже сделал к ней приращения, показав оборотливость почти необыкновенную <...> Вышед из училища, он не захотел даже отдохнуть...». Слова эти перекликаются у Гоголя с характеристикой немца-ремесленника Шиллера из повести «Невский проспект»: «Еще с двадцатилетнего возраста, с того счастливого времени, в которое русской живет на фуфу, уже Шиллер размерил всю жизнь свою <...> Он положил себе в течение 10 лет составить капитал <...> и уже это было так верно и неотразимо, как судьба...».

С необыкновенной ловкостью и свободой — вполне «комильфо» — ведет себя «миллионщик» Чичикова на балу у губернатора, где, как отмечалось, на всем словно было «написано», что «это не губерния», а «сам Париж».

В «Мертвых душах» Гоголь продолжает критику западной цивилизации, развитую им в других произведениях (более всего в повестях, включенных им в 3-й том собрания Сочинений 1842 года). Развенчание европейского культа денег, которым, как неким «эквивалентом», оцениваются даже душевные движения человека — и самая душа, определяет и то, как рассматривает Гоголь крепостное право. В отношении помещиков к крестьянам как к источнику своего личного обогащения и наживы видит Гоголь новое преломление всё того же европейского культа «цены» и материального достатка.

Любопытно, как эта новоевропейская мораль сказалась на цензурной истории первого тома «Мертвых душ». Сообщая в письме к П. А. Плетневу от 7 января 1842 года неблагоприятные отзывы о поэме в московской цензуре, Гоголь передавал, в частности, толки о ней «цензоров-европейцев» (получивших образование за границей) — «людей молодых»: «Что вы ни говорите, а цена, которую дает Чичиков (сказал один из таких цензоров, именно Крылов), цена два с полтиною, которую он дает за душу, возмущает душу <...> Этого ни во Франции, ни в Англии, и нигде нельзя допустить».

В «Тарасе Бульбе» происхождение крепостного права Гоголь прямо объяснял иноземным влиянием — распространением торговых отношений и оскудением любви. «Перенимают <...> бусурманские обычаи <...> свой своего продает, как продают бездушную тварь на торговом рынке», — замечает Тарас в своей знаменитой речи о товариществе. В этом смысле гоголевские помещики, торгующие душами своих крепостных, оказываются прямыми приверженцами европейских («бусурманских») идеалов наживы и обогащения. Этим, кстати, объясняется, согласно авторскому замыслу, и почти европейская развитость ремесла в крепостном имении одного из героев-помещиков, Собакевича. «Совершенно практическое устремление жизни производит множество изобретений, относящихся к жизни практической», — писал Гоголь в заметке 1830-х годов по истории древнего мира «Финикияне».

При всем этом необходимо подчеркнуть, что, осмысляя крепостное право как прямое следствие петровских преобразований, внесших в Россию европейский культ «цены», обогащения и еще более порабошающего промышленного развития (служения мамоне), Гоголь отделяет это «право» от тех патриархальных отношений между помещиками и крестьянами, которые служат взаимному спасению их душ. Как указывал в 1909 году К. С. Хоцянов, Гоголь «санкционировал лишь то, что составляло священную обязанность помещиков по отношению к крестьянам, лишь то, что должно было сделать помещиков слугами крестьян»⁶⁰⁸. С этой мыслью Гоголь писал в 1847 году В. Г. Белинскому по поводу крепостного права: «...Следует каждому из нас подумать заблаговременно <...> чтобы <...> освобождение не было хуже рабства».

Сходную позицию по отношению к надвигавшейся на Россию западноевропейской цивилизации — с ее дальнейшим усугублением рабства — занимал И. В. Киреевский. 20 февраля 1851 года он, например, писал А. И. Кошелеву по вопросу крепостного права: «...Дай Бог, чтобы он не трогался до тех пор, пока <...> западный дух не перестанет господствовать в наших понятиях и в нашей жизни <...> Криками и толками можно вызвать дело <...> от которого будет плакать русский человек»⁶⁰⁹. Еще в 1811 году подобную мысль высказал и Н. М. Карамзин: «...Будет

ли земледельцы счастливее, освобожденные от власти господской, но преданные в жертву их собственным порокам, откупщикам и судьям бессовестным?»⁶¹⁰ В соответствии с этими размышлениями и строится Гоголем во втором томе «Мертвых душ» разговор помещика Костанжого с крестьянским посланником от целого села, ищущего спасения от мирских соблазнов и обольщений, а также реплика Хлобуева о своих пристрастившихся к пьянству крепостных («Я бы их отпустил давно на волю, но из этого не будет никакого толка. Вижу, что прежде нужно привести их в такое состояние, чтобы умели жить»).

Заметим, что и сама афера Чичикова является, по Гоголю, прямым следствием «дела Петра» — введения в России европейского буржуазного права. Именно с ревизии, установленной Петром I, крестьяне были отданы в полную зависимость помещикам, причем бюрократизация жизни, отсюда последовавшая, и стала основой чичиковского мошенничества. «Народ наш не глуп, — писал Гоголь в статье «Русской помещик» (1846), — что бежит <...> от всякой письменной бумаги. Знает, что там притык всей человеческой путаницы, крючкотворства и кверзничеств». «Бумажное производство» и породило сюжет «Мертвых душ»: «“Да ведь они по ревизиской сказке числятся?” — сказал секретарь. “Числятся”, — отвечал Чичиков. “Ну, так чего же вы оробели?”...» (Примечательно в связи с этим свидетельство путешествовавшего в 1840-х годах по России немецкого барона А. Ф. Гакстаузена, передававшего, в частности, слова одного из раскольников: «Разве не написано в книгах, что антихрист будет требовать податей с мертвых, и разве Петр I не сделал этого введением ревизии?»⁶¹¹. Ср. сходные толки об антихристе среди раскольников в заключительной главе второго тома «Мертвых душ».) Профессор Н. Я. Аристов в 1882 году писал: «Глубокая идея о *мертвых душах* основывалась на ложной податной системе, введенной Петром Великим <...> История и показала, что плата за умерших, пока ревизия не исключала их из списков <...> произвела множество недоразумений и злоупотреблений. Во второй половине XVIII столетия появилось между раскольниками сатирическое сочинение “Об антихристе, еже есть Петр I”, где отвергаются все нововведения, пушенные под влиянием иноземных идей, отрицается ревизия душ, сословия и подушная раскладка подати. То же <...> отрицание не раз повторяли раскольники и в XIX столетии...»⁶¹². Выступая против формализации и бюрократизации жизни, Гоголь замечал в статье «О сословиях в государстве»: «Никто лучше мира не умеет, как разложить в сколько на кого, потому что они знают и свои состоянья и свои силы. Поэтому кто, не сообразив, и наложит на каждого заплатить по рублю, будет несправедлив, но, сложивши сумму, какая должна выйти, если положить рубль на человека, — потребовать эту сумму со всего мира. Это можно применить ко многому и в других сословиях». В резких,

почти гротескных чертах тема европейского бумажного делопроизводства получает завершение у Гоголя в образе полковника Кошкарева во втором томе поэмы.

Появление авантюристов, ставших прототипами для гоголевского Чичикова, связано также, по замечанию С. Я. Борового, с развитием в России банковского дела. В частности, мошенники, стремившиеся получить ссуды под «мертвые», несуществующие души, появились в России с первых дней образования Дворянского банка, учрежденного в 1754 году⁶¹³. В этом отношении чичиковская афера была вполне понятна современникам Гоголя. Как отметил 24 октября н. ст. 1838 года в своем дневнике А. И. Тургенев, которому Гоголь читал в Париже отрывки из «Мертвых душ», Чичиков «покупает мертвых — для обмана ими правительства, для залога несуществующих крестьян в ломбард»⁶¹⁴.

Насколько современным и распространенным оказался тип, выведенный Гоголем в главном герое поэмы, можно судить из самых разнообразных свидетельств. Еще В. Г. Белинский в 1842 году замечал по поводу «Мертвых душ»: «Неужели в иностранных романах и повестях вы встречаете все героев добродетели и мудрости? Ничего не бывало! Те же Чичиковы, только в другом платье: во Франции и в Англии они не скупают мертвых душ, а подкупают живые души на *свободных* парламентских выборах! Вся разница в цивилизации, а не в сущности. Парламентский мерзавец образованнее какого-нибудь мерзавца нижнего земского суда; но в сущности оба они не лучше друг друга»⁶¹⁵. Позднее английский писатель Дж. Гиссинг писал И. С. Тургеневу по поводу героя своего романа «Новая Граб-Стрит» (1891): «Без Чичикова не было бы моего английского Чичикова Джеспера Мильвейна...»⁶¹⁶. В свою очередь американский профессор В. Фелпс в 1911 году замечал о Чичикове: «Это верный портрет американского прожектера или преуспевающего американского коммивояжера»⁶¹⁷. — «Бессмертным международным типом» называл также Чичикова П. А. Кропоткин в курсе лекций, прочитанных в 1901 году в США⁶¹⁸.

Эти «всемирность» и «бессмертность» гоголевского типа оказались поистине «непреходящими»: «...Не надо протирать глаза, чтобы заметить в мчащемся по Тверской лимузине мутное лицо благонамеренного господина. Сто пятьдесят лет не тронули коллежского советника П. И. Чичикова. Да, он тоже отбывал срока, лишался порой последнего имущества, страдал, но — жив, жив»⁶¹⁹.

Далеко не редкими исключениями были «Чичиковы» в самой России и во времена Гоголя. В 1849 году Гоголь даже получил от одного из них письмо. Это письмо (в свое время опубликованное) примечательно тем, что содержащаяся в нем апология Чичикова сочетается с написанной как бы от лица самого героя характеристикой нравственного состояния

«чичиковщины» — состоящей в отступлении от христианских заповедей, в представлении об относительности морали в истории, в утилитаризме. Откликаясь на обращение автора поэмы к читателям присылать ему замечания на книгу, некто В. И. Белый, сын купца третьей гильдии, служащий Одесской городской думы по еврейскому отделению (впоследствии книготорговец и книгоиздатель), писал Гоголю: «Говорю от лица многих. <...> Скажите, отчего выведенный вами герой — слишком для вас отвратителен? Потому ли, что он “приобретатель”? <...> Почему же это безнравственно — быть приобретателем? Неужели одно инстинктивное чувство “*приобретать*”, на котором основаны и живут цивилизованные общества — в состоянии до такой степени обезобразить всего человека? <...> Возьмите, в свете есть целая страна, которая более ничего не делает, как приобретает и приобретает: это — Американские Штаты. <...> Ведь благоприобретение есть одно из главнейших выражений личного интереса, — этого верховного двигателя прогресса... <...> Вы хотите идеал приклеить к действительности, и порицаете ее за то, что она не совсем с ним ладит. Воля ваша, а всего правильнее было бы исключить подобные слова, как зло, безнравственность, и противоположные им качества, из словарей»⁶²⁰ *.

На эту «мораль» приобретателя Гоголь возражать не стал — достаточным ответом был сам образ Чичикова в поэме («...Не то тяжело, что будут недовольны героем, — замечал он в завершении первого тома «Мертвых душ», — тяжело то <...> что тем же самым героем <...> были бы довольны читатели»). Но зато Гоголь приоткрыл своему адресату замысел продолжения «Мертвых душ» — «намеренье <...> показать, как и лучшие люди могут вредить не хуже худших, если не легло в основание их характеров главное». Вероятно, новым ответом В. И. Белому — и тем «многим» его единомышленникам, от лица которых он написал Гоголю свое послание, — должен был стать во втором томе поэмы образ «идеального» приобретателя Костанжогло, о котором Гоголь спустя два месяца после отправления письма к В. И. Белому, в июле 1849 года, в частности, говорил А. О. Смирновой: «...Он обо всем заботится, но о главном не заботится»⁶²¹. «Богатые, — отмечал Гоголь в 1843 году в своей записной книжке, — прежде всего помните, что вы владеете страшным даром.

* Почти тождественна словам гоголевского современника и «аргументация» современных апологетов чичиковщины: «...Павел Иванович <...> нужный России человек <...> Погубило же книгу — и самого автора — мораль <...> Святость — это опять же абстракция <...> Кто создал Америку?... <...> Чичиковы» (*Парамонов Б.* (США). Возвращение Чичикова // *Русский курьер.* (Нью-Йорк; Москва; Париж). 1992. Март, № 9. С. 16; То же // *Парамонов Б.* Конец стиля. СПб.; М., 1997. С. 310—315).

Вспомните Евангельское правило о том, как опасны богатства и как трудно спасение для богатого». Очевидно, переубедить, спасти своего современника — не в «жарких рассуждениях», но в «живых образах, которые, как полные хозяева, входят в души людей» (по словам Гоголя в «Авторской исповеди»), — и составляло одну из главных задач «Мертвых душ».

* * *

О Гоголем можно сказать то же, что сам он сказал об «Одиссее» Гомера: «И как искусно сокрыт весь труд многолетних обдумываний под простотой самого простодушнейшего повествования! Кажется <...> ведет он добродушный рассказ свой и только заботится о том, чтобы <...> не запугать неуместной длиннотой поученья...». Бросив взгляд на «европейские» черты гоголевских героев, нетрудно заметить, что сущность их этим вовсе не исчерпывается. Еще В. Г. Белинский в 1842 году замечал, что «нельзя ошибочнее смотреть на “Мертвые души” и грубее понимать их, как видя в них сатиру»⁶²². Пафос гоголевской поэмы, указывал критик, состоит в противоречии внешних форм русской жизни «с ее глубоким субстанциальным началом»⁶²³.

Действительно, если, скажем, по поводу героев «Горя от ума» Грибоедова — этого «скопища уродов общества, из которых каждый окарикатурил какое-нибудь мнение, правило, мысль...» — можно сказать, вслед за Гоголем, что «зритель остается в недоуменье <...> чем должен быть русский человек», то в отличие от них собственные герои Гоголя обладают на этот счет гораздо большей «узнаваемостью», то есть несут в себе явный отпечаток того идеального типа, от которого они отступили. Под их грубой «корой» осязательно для читателя присутствует тот «самоцветный камень», тот талант, который они в себе не раскрыли. «...В уроде вы почувствуете идеал того, чего карикатурой стал урод», — писал Гоголь в «Выбранных местах из переписки с друзьями» о людях, имеющих, подобно его героям, «отталкивающую наружность». «Герои мои вовсе не злодеи, — добавлял он в одном из «Четырех писем к разным лицам по поводу “Мертвых душ”», — прибавь я только одну добрую черту любому из них, читатель помирился бы с ними всеми».

Эту загадку гоголевской поэмы во многом проясняет история ее создания. По определению Гоголя в письме к С. Т. Аксакову от 28 декабря н. ст. 1840 года, сюжет «Мертвых душ» есть, собственно, сюжет «незначительный». Главное в поэме — именно «психологическое значение», то есть выведенные в ней художественные типы. По словам писателя в «Авторской исповеди», Пушкин находил, что сюжет «Мертвых душ» был хорошим, что давал «полную свободу изъездить с героем всю Россию и вывести множество самых разнообразных характеров». «Как с этой способно-

стью угадывать человека и несколькими чертами выставлять его вдруг всего, как живого, с этой способностью не приняться за большое сочинение!» — говорил Пушкин, отдавая Гоголю этот сюжет.

«Чем более обдумывал я свое сочинение, — продолжал Гоголь рассказ о создании поэмы, — тем более видел, что не случайно следует мне взять характеры, какие попадутся, но избрать одни те, на которых заметней и глубже отпечатались истинно русские коренные свойства наши».

Можно, кажется, догадаться, с кого Гоголь «списывал» своих героев. «...Поэт <...> чистейшее отражение народа...» — замечал он в статье «В чем же наконец существо русской поэзии и в чем ее особенность» (1846). Советуя графине А. М. Виельгорской знакомиться с русскими литераторами, Гоголь писал: «Эти люди более русские, нежели люди других сословий, а потому вы необходимо узнаете многое такое, что объяснит вам еще удовлетворительнее русского человека» (письмо от 29 октября 1848 года).

В 1836 году, когда «Мертвые души» были едва начаты, эта же мысль была высказана Гоголем в статье «О движении журнальной литературы, в 1834 и 1835 году»: «Писатели наши отлились совершенно в особенную форму и, несмотря на общую черту нашей литературы, черту подражания, они заключают в себе чисто русские элементы...». Без преувеличения можно сказать, что в этих строках изложена сама «концепция» образов «Мертвых душ». А это значит, что к изучению поэмы Гоголя мы имеем материал самый богатый — многочисленные его высказывания о русских писателях и, в частности, наиболее обширную из всех глав «Выбранных мест из переписки с друзьями» — статью «В чем же наконец существо русской поэзии и в чем ее особенность». По признанию Гоголя в письме к П. А. Плетневу от 16 октября н. ст. 1846 года, эта статья была написана им «в объяснение элементов русского человека». Именно здесь писатель утверждает, что «свойства, обнаруженные нашими поэтами, есть наши народные свойства, в них только видней развившиеся». И сразу обращает на себя внимание главное. Характеристики пяти главных «строителей наших» — русских поэтов в данной статье отчетливо напоминают типы, выведенные в образах пяти героев-помещиков первого тома «Мертвых душ».

Так, мечтательность Манилова отзывается в «отвлеченной идеальности» В. А. Жуковского, его стремлении к незримому и таинственному; приземленность Коробочки — в погруженности в «очаровательную прелесть осязаемой сущности» К. Н. Батюшкова. Буйство Ноздрева напоминает удаль и восторг поэзии Н. М. Языкова. Неуклюжее богатырство Собакевича приводит на ум «невозделанную громадную скалу» Г. Р. Державина и его стремление «начертать образ какого-то крепкого мужа». Что же касается всеядного, мелочного стяжательства Плюшкина,

то соотносить его в гоголевской статье можно ни с чем иным, как только со всеслышающим «ухом» и всеотражающим «зеркалом» пушкинской поэзии, характеристика которой доселе составляет непревзойденный образец критического разбора наследия поэта. Вот те покрытые «корой» «самоцветные камни», те опутанные «тиной мелочей» непечатые силы, которые скрывают в себе гоголевские герои! «Все можно извратить и всему можно дать дурной смысл, человек же на это способен,— писал Гоголь в статье «О театре, об одностороннем взгляде на театр и вообще об односторонности». — Но надобно смотреть на вещь в ее основании и на то, чем она должна быть, а не судить о ней по карикатуре, которую из нее сделали <...> Много есть таких предметов, которые страдают из-за того, что извратили смысл их...»⁶²⁴.

Статью о русской поэзии Гоголь начал в 1846 году прямо с того, на чем остановился десять лет назад в статье «О движении журнальной литературы...»: «Несмотря на внешние признаки подражания, в нашей поэзии есть очень много своего». Прямым извлечением на свет «самоцветного камня», сокрытого в мечтательности Манилова, звучат здесь строки Гоголя о Жуковском: «...Ни в ком из переведенных им поэтов не слышно так сильно стремление уноситься в заоблачное, чуждое всего видимого, ни в ком также из них не видится это твердое признание незримых сил, хранящих повсюду человека...». С созерцательностью и «отвлеченностью» поэзии Жуковского Гоголь связывал свойство поэта тонко «разбирать и оценивать» явления природы и искусства. А о маниловском «комилфо» (и не только о маниловском) Гоголь замечал: «...Настоящее *comme il faut*, есть то, которое требует от человека Тот Самый, Который создал его, а не тот, который <...> сочиняет всякий день меняющиеся этикетки...».

Некоторое недоумение может вызвать соотносимость образа Коробочки с поэзией Батюшкова, но и оно вполне разрешается, если вспомнить о судьбе Плюшкина (которого Чичиков называет даже «матушкой»), когда со смертью жены «часть ключей, а с ними мелких забот, перешла к нему». «...Жена должна быть помощницей мужа», — писал Гоголь в статье «Чем может быть жена для мужа в простом домашнем быту...», напоминая библейскую заповедь⁶²⁵; она служит ему «возбуждающею, стремящею силою» и «возложением на себя всех забот домоводства и мелочей жизни» доставляет ему возможность «всего» себя «отдать отчизне» — «его собственное хозяйство не его забота». Прикрепленность «к земле и телу» поэзии Батюшкова служит как бы отражением этого женского призвания. «И передо мною показались в эту минуту бледными все женские идеалы, создаваемые поэтами,— писал Гоголь о незаметном жизненном подвиге женщины,— они то же перед этой истиной, что бред воображенья перед полным разумом. Жалки мне также показались в эту минуту все те женщины, которые гонятся за блистающей известностью!» Слова

эти прямо повторяют противопоставление в поэме «хозяйственной» жизни Коробочки и «нехозяйственной» — Маниловой: блестящего существования великосветской дамы, не ведающей о том, «что делается в ее доме и в ее поместьях, запутанных и расстроенных, благодаря незнанию хозяйственного дела», и внешне незавидной участи Коробочки, благодаря которой и «порядок, какой он там себе ни был, на деревне уцелел, «и заутрени и обедни правились исправно».

Ноздрев — пожалуй, одна из самых впечатляющих фигур поэмы. И заключенные в нем дарования, с которых Гоголь снимает «кору» при характеристике поэзии Языкова, так же не менее ярки и впечатляющи: «Стихи его точно разымчивый* хмель; но в хмеле слышна сила высшая, заставляющая его подыматься кверху. У него студентские пирушки не из бражничества и пьянства, но от радости, что есть мочь в руке и поприше впереди...»; «Все, что вызывает в юноше отвагу, — море, волны, буря, пиры и сдвинутые чаши, братский союз на дело, твердая как камень вера в будущее, готовность ратовать за отчизну, — выражается в него с силой неестественной». — «Беда только, — заключает Гоголь, — что хмель перешел меру и что сам поэт загулялся чересчур на радости от своего будущего, как и многие из нас на Руси, и осталось дело только в одном могучем порыве».

Черты «широкого размета души», проявляющиеся у Ноздрева, как и у запорожцев «Тараса Бульбы», в безумной расточительности (скрывающей душевную щедрость, силу и готовность к самопожертвованию), в духе товарищества (перехлестывающем у Ноздрева — то ли от избытка, то ли от неупотребления — на самих собак: на «любовь к скотине наместо человека») есть, по Гоголю, проявление «буйствующей» в стихах Языкова «молодой удали и отваги рвануться на дело добра <...> удали нашего русского народа <...> свойства, которое дает у нас вдруг молодость и старцу <...> если только предстанет случай рвануться всем на дело, невозможное ни для какого народа, — которое вдруг сливает у нас всю разнородную массу <...> и вся Россия — один человек**».

Интересно отметить, что эту же способность к живому чувству Гоголь наблюдал за границей во время создания «Мертвых душ» в итальянском народе. Замечая в письме к М. П. Балабиной от апреля 1838 года о «пылкой природе» этого народа — «на которую холодный, расчетливый, меркантильный европейский ум на набросил своей узды», Гоголь вос-

* возбуждающий, забористый

** Последнее выражение является одним из часто встречающихся в Священном Писании (см.: Первая книга Царств, гл. 11, ст. 7; Вторая книга Царств, гл. 19, ст. 14; Вторая книга Паралипоменон, гл. 30, ст. 12; Первая книга Ездры, гл. 3, ст. 1, 9; Книга Неемии, гл. 8, ст. 1).

кличал: «Как показались мне гадки немцы после итальянцев, немцы, со всею их мелкою честностью и эгоизмом!» По свидетельству П. В. Анненкова, Гоголь даже не сердился «на те обыкновенные итальянские надувательства, которым <...> подвергался не раз», и когда в очередной раз кто-то заметил, что такого «никогда бы не могло случиться в Германии: там-де никто своего не даст и чужого не возьмет,— то Гоголь отвечал с досадой и презрением: “Да, но это только в картах хорошо!”»⁶²⁶. Тот же Анненков, говоря о «страшной немецкой честности» и «совершенной <...> неспособности сделать что-нибудь не вседневное» (то есть невозможности совершить нечто героическое, связанное с самопожертвованием), с иронией отмечал: «Клеветники говорят, что в Германии случаются преступления: вы понимаете, как это мнение ложно и неприлично»⁶²⁷. Со своей стороны Гоголь, замечая в повести «Рим», что «европейское просвещение как будто с умыслом не коснулось» итальянского народа и «не водрузило в грудь ему своего холодного усовершенствования», писал, что при всей «пылкости» и «невоздержности» природы итальянца, «он весел и переносит все, и только в романах да повестях режет по улицам». По словам Н. М. Языкова, Гоголь почитал «всякого итальянца» чуть не «священною особою»⁶²⁸. О том, с каким уважением относился Гоголь к простому итальянскому народу, свидетельствует такой случай. При первой же встрече с Анненковым в Риме он остановил последнего, когда тот намеревался дать прислужнику в кафе денег более, чем полагалось. «Не делайте этого никогда,— сказал Гоголь.— Здесь есть обычаи, которые дороже вашей щедрости. Вы можете оскорбить человека. Везде вас поблагодарят за прибавку, а здесь посмеются». «Известно, что житейской мудрости в нем было почти столько же, сколько и таланта»,— прибавлял Анненков⁶²⁹.

«Все показывало ему стихии народа сильного, непочатого, для которого будто бы готовилось какое-то полприще впереди»,— подводил Гоголь итог впечатлений героя повести «Рим», вкладывая в эти строки свои размышления об итальянском народе. И эту же мысль он повторял позднее в «Выбранных местах из переписки с друзьями» по отношению к юной России, противопоставляя ее состарившимся и закосневшим в своих «национальных формах» западноевропейским народностям. В 1845 году в письме к Н. М. Языкову Гоголь, задавая поэту «тему» для стихотворения, писал: «...Блажен тот, кто, оторвавшись вдруг от <...> подлой пресмыкающейся жизни <...> как бы вдруг пробуждается в великую минуту и так же *запоем*, как способен один только русский, который с горя вдруг вдается в пьянство, так же запоем из пьянства входит в трезвость души, великодушно объявляет брань самому себе, загорается еще сильнейшей жадной небесною, чем всякой другой, и становится таким образом возвышеннее даже того, кто всю жизнь провел в честности».

Следует обратить внимание на то, что все гоголевские герои словно «нуждаются» друг в друге. Манилову недостает практичности Коробочки, Коробочке — созерцательности Манилова, обоим им — энергии и воодушевления Ноздрева... Словом, каждому, в котором, согласно замечанию Гоголя о свойствах русских поэтов, то или иное «из наших народных качеств <...> развилось видней», не хватает способностей другого. Эта особенность гоголевских героев также составляет одну из важнейших сторон замысла поэмы. В статье «О лиризме наших поэтов» Гоголь писал Жуковскому: «Вспомни сам, что в тебе не все стороны русской природы; напротив, некоторые из них взошли в тебе на такую высокую степень и так развились просторно, что через это не дали места другим...». «...Мы позабыли,— замечал он также в письме к С. Т. Аксакову от 18 августа н. ст. 1842 года,— что человек уже так создан, чтобы требовать вечной помощи у других. У всякого есть что-то, чего нет у другого <...> и только дружный обмен и взаимная помощь могут дать возможность всем увидеть <...> со всех сторон предмет».

Если взглянуть с этой точки зрения на Ноздрева, то вполне очевидно, что неупорядоченности и буйству сил этого героя явно недостает той душевной крепости, что присуща следующему типу гоголевской галереи — характеру Собакевича. Именно благодаря этой душевной крепости «вовсе не благородный по духу и чувствам» Собакевич не допустил, однако, своих мужиков «быть ни пьяницами, ни праздношатайками». Другими словами, вполне «запорожской» удали Ноздрева, его «горячей прыткости рыцаря прошедших времен» (за которую Гоголь равно упрекал в своих письмах и славянофила К. С. Аксакова и западника В. Г. Белинского), необходимо то организующее начало, без которого невозможен «дружеский обмен и взаимная помощь» между людьми.

Это «потребность» Собакевича для других героев поэмы, в частности, для Ноздрева, Гоголь, очевидно, и поясняет в заключительной главе первого тома притчей о подобном Манилову «созерцательном» отце семейства Кифе Мокиевиче и его непутевом сыне — подобном Ноздреву буйном богатыре Мокии Кифовиче: в то время как «кроткий» отец занимался «умозрительными» вопросами, сын совершал «богатырские подвиги» — «или рука у кого-нибудь затрешит, или волдырь вскочит на чьем-нибудь носу», так что все «в доме и в соседстве <...> бежало прочь, его завидя...». Поскольку, согласно притче, жалобы пострадавших Кифе Мокиевичу «Манилову» на сына Мокия Кифовича «Ноздрева» ни к чему не приводили («Да, шаловлив, шаловлив,— говорил обыкновенно на это занятый «философией» отец,— да ведь как быть: драться с ним поздно, да и меня же все обвинят в жестокости...»), то именно это и подразумевает необходимость внешнего принудительного воздействия — «железного закона», олицетворением которого и является в поэме Собакевич.

Думается, в этом Гоголь следовал опять-таки библейской истории, в частности, упоминавшемуся уже рассказу о «погибельных сыновьях» священника Илия в Первой Книге Царств, в преступлениях которых в значительной мере был повинен и отец, который «знал, как сыновья его нечестуют, и не обуздывал их» (гл. 3, ст. 13). Рассказ этот непосредственно предвзвешивает в Библии повествование о происхождении монархии в богоизбранном народе. За нечестие сыновей Бог лишил потомство священника Илия служения у жертвенника и избрал Себе отрока Самуила. Когда же в свою очередь св. пророк Самуил состарился, то и в его сыновьях не нашлось достойной ему замены, и тогда народ потребовал: «...Вот, ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими; итак поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов»⁶³⁰. — «И сказал Господь Самуилу: послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе; ибо не тебя они отвергли, но отвергли Меня, чтоб Я не царствовал над ними <...> послушай голоса их и поставь им царя»⁶³¹. Первый призванный Богом царь Израиля, Саул, одержав ряд блестящих побед над иноплеменниками, не оказался, однако, столь же благонадежен по своим внутренним достоинствам.

Пояснением к образу «неблагородного по духу и чувствам», но приносящего свою пользу Собакевича могут служить также строки письма Гоголя к родным в Васильевку от 1 мая н. ст. 1846 года, обращенные к сестре Ольге Васильевне: «Приказчику ты должна говорить, что ему поручена власть, а власть такого рода дело, которое установлено от Бога. “Несть власти, аще не от Бога” — сказано в Св. Писании»⁶³² <...> Мужикам также расскажи, чтобы они <...> умели бы повиноваться, несмотря на то, кто ими повелевает, хотя бы он был и худший их...». С этими же размышлениями связана заметка Гоголя в записной книжке 1841—1846 годов: «Начальника над артельщиками выбрал мастер, и на вопрос: зачем выбрал, хорош поведением, что ли? — Нет, нехорош. — Не пьет, что ли? — Нет, пьяница. — Умен? — Нет, не умен. — Так что ж он. — Повелевать умеет».

Объединение и упорядочение, олицетворением которых является в поэме Собакевич, Гоголь связывает в статье о русской поэзии с преобразованиями Петра I, совершившего, по словам писателя, переворот в государственном управлении России «в таком порядке, как блистательный маневр хорошо выученного войска». В эпоху Екатерины II, продолжившей дело Петра, — «когда на всех поприщах стали выказываться русские таланты» — появился и непосредственный «прообраз» будущего гоголевского героя — поэт Державин, обращавшийся, по словам Гоголя, «к людям всех сословий и должностей» и стремившийся в своих стихах «начертать закон правильных действий человека во всем, даже в самых его наслаждениях», создав образ «непреклонного, твердого мужа в каком-то

библейско-исполинском величии <...> готового на битву не с одним каким-нибудь временем, но со всеми веками...».

Открывающуюся здесь историческую концепцию писатель воплотил ранее именно на «запорожском» материале — в повести «Тарас Бульба» (с запорожцами, как уже говорилось, имеет много общего в своих сокрытых возможностях Ноздрев). Здесь возрождение опустошенной набегами «монгольских хищников» южной России объясняется тем, что «гетманы, избранные из среды самих же казаков, преобразовали околицы и курени в полки и правильные округа», а будущее всей России связывается с пророческим восклицанием Тараса о русском царе (как отмечалось, в замысле этой повести отразились и размышления писателя над историей славянства в целом). Позднее в статье «О лиризме наших поэтов» Гоголь писал: «Полномочная власть монарха не только не упадет, но возрастет выше по мере того, как возрастет выше образование всего человечества. Чем более всякое звание и должность станут входить в свои законные пределы, и отношения между собою всех станут определяться точней, тем более окажется потребность верховящей силы, которая, собравши в себе всю силу отдельных единиц, показала бы в себе доблести высшие, приближающие человека прямо к Богу...». В чем заключаются эти «доблести», Гоголь объяснял, напоминая слова св. апостола Павла в Первом послании к Коринфянам (гл. 12, ст. 12, 26): монарх, «все полюбивши в своем государстве, до единого человека всякого сословья и звания, и обративши все, что ни есть в нем, как бы в собственное тело свое <...> приобретет тот всемогущий голос любви, который <...> один может только внести примиренье во все сословия и обратить в стройный оркестр государство».

Потому «не полон и суров выйдет русский муж, начертанный Державиным,— продолжал Гоголь в статье о русской поэзии,— если не будет в нем чутья откликаться живо на всякий предмет...». Этим-то свойством душевной «чуткости», выражающимся как в чувстве сострадания к «несчастному, упавшему» человеку, так и в способности «изумляться на всяком шагу красоте Божьего творения» (так свойственным, кстати, второму — после Саула — царю Израиля, Псалмопевцу пророку Давиду) и обладал, по определению Гоголя, по всей полноте Пушкин.

Но именно этим, «пушкинским» свойством — имеющим, по словам Гоголя, в русском народе множество «оттенков и уклонений», отраженных в названиях: «уха, которое дается такому человеку, в котором все жилки горят и говорят, который миг не постоит без дела; удача — всюду спеющий и везде поспевающий»,— обладал в лучшую пору своей жизни и помещик Степан Плюшкин, обширное хозяйство которого «текло» ранее «живо», «везде, во все входил зоркий взгляд хозяина», и сам он «бегал расторопно по всем концам своей хозяйственной паутины». «Гений —

богач страшный», — писал в 1834 году Гоголь в статье «Об архитектуре нынешнего времени»: пред ним «ничто весь мир и все сокровища». От этого богатства осталась в Плюшкина только привязанность к «бумажкам и перышкам, которые он собирал в своей комнате...». Подобным образом и любовь и сострадание к ближнему («милость к падшим», по определению Пушкина) вытеснены у этого пушкинского антипода страшной в своей слепоте «гордостью чистотой своей», по которой Плюшкин осуждает всех и вся в мире и которая, по словам Гоголя в статье «Светлое Воскресенье», дошла у современного человека до «страшного духовного развития».

* * *

Очевидна главная, определяющая идея, заключенная в сходстве «пошлых» гоголевских героев с лучшими из русских поэтов: каждый человек, созданный по образу и подобию Божию, несет на себе отпечаток этой божественности — более или менее зримый «первообраз», который он искажил или извратил в себе, отступая от Отческого замысла о нем Творца. Поэтому, дорожа сокрытыми в героях «Мертвых душ» — и в своих современниках — непочатыми дарами и силами, Гоголь, естественно, не мог не думать об их возрождении. Такая задача «преображения» русского человека была поставлена писателем еще в 1835 году в статье «Несколько слов о Пушкине»: «Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа: это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет». С этими размышлениями связан замысел продолжения Гоголем своей поэмы, возникший у него уже в начале работы над произведением и получивший первое воплощение на бумаге в 1840—1841 годах — еще до напечатания первого тома. Само название поэмы как бы естественно «требует» ее продолжения — воскрешения «мертвых душ».

Об окончании поэмы архимандрит Феодор (Бухарев), близко знавший Гоголя и беседовавший с ним в 1848 году о его сочинении, сообщал: «Помнится <...> я <...> его прямо спросил, чем именно должна кончиться эта поэма. Он, задумавшись, выразил свое затруднение высказать это с обстоятельностью. Я возразил, что мне только нужно знать, оживет ли как следует Павел Иванович? Гоголь, как будто с радостью, подтвердил, что это непременно будет и оживлению его послужит прямым участием сам Царь и первым вздохом Чичикова для истинной прочной жизни должна кончиться поэма. <...> А прочие спутники Чичикова в “Мертвых душах”? — спросил я Гоголя: и они тоже воскреснут? — “Если захотят”, ответил он с улыбкою...»⁶³³.

Упоминание о «желании» (или «нежелании») героев «воскреснуть» говорит, конечно, прежде всего о том, что, создавая художественные об-

разы, Гоголь думал о своих современниках. Если обратиться опять к той обобщающей характеристике «пепельных» героев петербургской Коломны в повести Гоголя «Портрет», что определили создание отрицательных типов «Мертвых душ», то можно догадаться, что умеренное их «ни то ни се» указывает на самом деле на приговор весьма суровый: «...знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден, или горяч! Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих»⁶³⁴.

О том, что это бесчувственное, «обуморенное» (церк.-сл.) (обморочное) нравственное состояние Гоголь расценивал именно как явление не свойственное коренной русской жизни, наносное, можно, в частности, судить из еще одной характеристики писателем в повести «Рим» итальянского народа, с бытом которого, как отмечалось, прямо сравнивал Гоголь «первообразную» жизнь России. «В его природе заключалось что-то младенчески благородное, — замечал Гоголь об итальянском народе, — <...> в нем добродетели и пороки в своих самородных слоях <...> не смешались, как у образованного человека, в неопределенные образы, у которого всяких страстишек понемногу под верховным начальством эгоизма». Профессор Н. Я. Аристов в 1882 году свидетельствовал: «Прежде еще можно было различить в быту боярском, что свое, доморощенное, и что заносное, чужое»; во второй четверти XIX века «явилась безобразная и неопределенная смесь. Иностранное влияние становится преобладающим, всплывает поверх русского незаметного наслоения и проникает его...»⁶³⁵. Не случайно то, что определение «ни то ни се» Гоголь в своих письмах и художественных произведениях употребляет главным образом для характеристики европейски-«образованного» Петербурга. Еще в 1829 году он писал матери: «...На Петербурге <...> нет никакого характера: иностранцы, которые поселились сюда, обжились и вовсе не похожи на иностранцев, а русские в свою очередь обыностранились и сделались ни тем ни другим»*. «Трудно схватить общее выражение Петербурга, — добавлял Гоголь в «Петербургских записках 1836 года». — Есть что-то похожее на европейско-американскую колонию; так же мало коренной национальности и так же много иностранного смещения...».

Мысль о духовно бесплодном европейском образовании современного светского человека не переставала занимать Гоголя во все периоды его жизни. Именно потому, что размышлять над этими проблемами он начал еще в конце 1820-х — начале 1830-х годов, его внимание не могло

* Ср. в свою очередь характеристику русских художников, воспитанников Петербургской Академии художеств, в письме А. А. Иванова к сестрам из Рима в 1831 году: «Мы праздников не знаем: католические, коим мы не следуем, бывают прежде наших одиннадцатью днями, а свои мы забываем» (*Новицкий А. П.* Опыт полной биографии А. А. Иванова. М., 1895. С. 32).

не привлечь одно из высказываний его земляка философа Г. С. Сковороды, опубликованное в 1835 году А. Ф. Хиджеу в статье «Григорий Варсва Сковорода. Историко-критический очерк». (Здесь же, в той же части журнала «Телескоп», где была помещен очерк Хиджеу, была напечатана статья В. Г. Белинского «О русской повести и повестях г. Гоголя» — с упоминанием, в свою очередь, о Сковороде, — которая, по свидетельству П. В. Анненкова, в 1835 году была прочитана Гоголем.) «Рус ли ты? — писал Г. С. Сковорода, — будь им: верь православно, служи Царице правно, люби братию нравно. Лях ли ты? Лях будь. Немец ли ты? Немечествуй. <...> Все хорошо на своем месте и в своей мере <...> Не будь ни тепл ни холоден, да не изблюют тебя. Русь не Русская видится мне диковинкою, как если бы родился человек с рыбьим хвостом или с собачьею головою...»⁶³⁶.

2 октября 1833 года Гоголь писал матери о воспитывавшейся в петербургском Патриотическом институте сестре Елисавете: «...Меня смущает <...> характер Лизы. За нею не водится больших шалостей, капризов, это все из нее вывели. <...> Но это еще хуже, я бы хотел <...> чтобы на нее жаловались, были ею недовольны; но чтобы она имела доброе сердце. У ней же <...> нет никакого сердца, ни доброго, ни злого <...> Никого она не любит <...> Вид несчастья <...> ее не тронет; за пустую игрушку она забывает все на свете». В этих словах уже вполне определенно обозначена тема «мертвой души» обыкновенного, ничем не выдающегося человека — не считающего самого себя грешником и не почитаемого таким другими. «Ныла душа моя, — писал Гоголь в «Театральном разезде...», — когда я видел, как много тут же, среди самой жизни, безответных, мертвых обитателей, страшных недвижимым холодом души своей и бесплодной пустыней сердца...». Размышляя о том, что «незаметный» грех «обыкновенного» человека — не являющегося очевидным преступником — не менее тяжок, а может и более опасен именно этой своей «невыразительностью», кажушейся «невинностью», Гоголь в статье «Несколько слов о Пушкине» писал: «Никто не станет спорить, что дикий горец <...> что зарезал своего врага, притаясь в ушелье, или выжег целую деревню <...> более поражает...». Но не меньшее зло в мир несет, по замечанию Гоголя, и «наш судья в истертом фраке, запачканном табаком, который невинным образом, посредством справок и выправок, пустил по миру множество всякого рода крепостных и свободных душ». Это гоголевское сравнение проливает дополнительный свет и на настоящее отношение автора к основанному, как уже говорилось, на фальшивых «справках и выправках» мошенничеству главного героя поэмы — человека чрезвычайно «любезнейшего и обходительнейшего» — ревностного исполнителя «священнейшего долга» светского «комильфо».

А. О. Смирнова вспоминала о своих беседах с Гоголем в Риме в начале 1843 года: «Понемногу я рассказывала ему о тревогах своей совести, о моих сомнениях, отчаянии, о сознании, что поступки мои не соответствуют моим верованиям <...> что <...> я <...> слишком отдаюсь светской жизни <...> Наконец, все эти слабости нашей совести, за которые краснеешь и которые напоминают мне ужасные слова Ж. де Местра: “я не знаю, что такое совесть преступника, но знаю совесть честного человека (ибо я большой грешник, но не преступник) и в ужасе от этого сознания!” Я говорила все это Гоголю на другой день после посещения Колизея, и он мне вдруг ответил: “я тоже переживаю все это”...»⁶³⁷. Позднее, в письме к Гоголю от 11 апреля 1845 года, жалуясь на «несносное ни то, ни се», Смирнова замечала: «Слова ваши всегда оправдываются <...> Ничего нет труднее, как плавать меж двух вод, — не делать ничего положительно дурного и ничего положительно хорошего, а пока принадлежишь свету, невольно светское овладевает душою, до того мельчаешь, приходишь до таких подлых и низких движений, что, не покрасневшись, нельзя в них признаваться»⁶³⁸. «Есть много в нашем обществе *des tiédés**, — замечала она в другом письме к Гоголю, от 14 января 1846 года, — а это зло горше гонителей»⁶³⁹.

«Теплому», равнодушному состоянию современного общества Гоголь противопоставлял то религиозное одушевление, которое отличало христиан во времена бедствий и испытаний. Так, например, в своих лекциях 1834 года по истории средних веков он обращал внимание слушателей на то, как христианство в Испании, окруженное враждебными народами, «отличалось стремительною ревностью». В том же, 1834 году им была написана героическая повесть-эпопея «Тарас Бульба», где мысль о том, что пламенная вера только укрепляется от выпадающих на ее долю испытаний, является одной из основных. «Мы никогда не пойдем <...> появления “Ревизора” и т. п. вещей», — замечал в 1874 году украинский историк М. П. Драгоманов, — если «не оценим того контраста, какой представляют <...> образы» этой эпопеи «с теми “мелочами и пошлостью, опутавшими нашу жизнь”, какие видел Гоголь около себя в действительности»⁶⁴⁰. Во многом подобным контрастом окружающей «пошлости» Гоголь осмыслял и Отечественную войну 1812 года, во время которой религиозное и патриотическое одушевление народа сплотило его, а также, по свидетельству многих современников той эпохи, сделало из самых заурядных и «пошлых» обитателей отдаленных уголков России пламенных патриотов, живо интересующихся судьбами Отечества. «В это время все наши помещики, чиновники, купцы, сидельцы и всякий грамотный

* умеренных, тепловатых (*фр.*)

и даже неграмотный народ,— замечал автор в «Мертвых душах»,— сделались, по крайней мере, на целые восемь лет заклетыми политиками».

Гоголь, родившийся в 1809 году, мог судить об этом одушевлении только из рассказов старших современников. Но, как отмечалось, подобный интерес к истинно общественной жизни он еще юношей наблюдал в 1820-х годах, когда внимание русского общества — и в частности, обитателей Нежина, где учился Гоголь, было обращено к событиям религиозного и национально-освободительного движения греков против турецкого владычества.

В написанной в 1827 году в Нежине поэме «Ганц Кюхельgarten» Гоголь прямо упоминал об этих событиях. Интерес к ним проявляют в юношеской поэме Гоголя именно патриархальные деревенские обыватели, которые рассуждают здесь —

...про новости газет,
...про греков и про турок,
Про Мисолунги, про дела войны,
Про славного вождя Колокотрони...

Речь идет о героической обороне защитников греческого города Миссолунги, о доблестном вожде греческих повстанцев Теодорисе Колокотронисе...

Но именно портрет последнего героя — вместе с портретами других героев освободительной войны греков — Маврокордато, Миаулиса и Канариса, и портретом героя Отечественной войны Багратиона — висит в доме помещика Собакевича в «Мертвых душах». Некую готовность выступить на брань — если «предстанет случай рвануться всем на дело, невозможное ни для какого другого народа»,— прообразуют сходные реалии в описании других героев поэмы: портрет Кутузова в доме Коробочки, упоминание о Суворове в связи с «геройской» атакой Ноздревым Чичикова, намек на армейское прошлое Манилова, «пожелтевший гравюр какого-то сражения, с огромными барабанами, кричащими солдатами в треугольных шляпах и тонущими конями» в комнате Плюшкина и даже упоминание о «пожелтевшей» зубочистке этого героя, «которую хозяин <...> ковырял в зубах своих еще до нашествия французов». Участники «кампании двенадцатого года» есть и среди городских чиновников первого тома «Мертвых душ». Да и сам Чичиков, которого эти «догдливые» чиновники сравнивают в поэме то с разбойником Копейкиным, то с самим Наполеоном, способен, по убеждению автора, к лучшему применению своих недюжинных способностей. «Я все думаю о том,— говорит Чичикову Муразов во втором томе поэмы,— какой бы из вас был человек, если бы так же, и силою и терпением, да подвизались бы на добрый труд и для лучшей <цели>!»

«Но возможно ли преобразование души, не знающей иных целей, кроме житейского устроения с помощью материальных средств? — вопрошал В. В. Зеньковский. — Это и для нас, вообще для всей темы христианской культуры есть радикальный и решающий пункт: возможно ли религиозное преобразование современности, до последних глубин связавшей себя с материальными ценностями?»⁶⁴¹ По убеждению отца Василия Зеньковского, «чичиковщина не есть Чичиков, — и типическое относится к Чичикову лишь как воплощение чичиковщины. Как ни подавлена свобода Чичикова “обольщением богатства” <...> его свобода все же в нем остается — что и есть просвет. Сила художественного зрения Гоголя в том и заключалась, что, добравшись до самой “сути” и “сущности” всякой чичиковщины, он тем самым понял возможность победы Чичикова над чичиковщиной. Отсюда и вырос план дальнейших частей “Мертвых душ”»⁶⁴². Потому-то, имея в виду соотношение пагубной, «европейской» оболочки характеров своих героев с их «коренной», сокрытой под иноземной «корой» «самоцветной» основой, Гоголь в письме к графине Л. К. Виельгорской «Страхи и ужасы России» писал: «То, что вы мне объявляете по секрету, есть еще не более как одна часть всего дела <...> если бы я вам рассказал то, что я знаю <...> тогда бы, точно, помutilись ваши мысли и вы сами подумали бы, как бы убежать из России. Но куды бежать? вот вопрос. Европе пришлось еще трудней, нежели в России. Разница в том, что там никто еще этого вполне не видит...».

В заключении статьи «В чем же наконец существо русской поэзии и в чем ее особенность» Гоголь прямо указывает на ту брань, которая предстает его героям — «другую, высшую битву <...> уже не за временную нашу свободу, права и привилегии наши, но за нашу душу...». «...И если предстанет нам всем какое-нибудь дело, решительно невозможное ни для какого другого народа, — повторял он еще раз в статье «Светлое Воскресенье», — хотя бы даже, например, сбросить с себя вдруг и разом все недостатки наши, все позорящее высокую природу человека, то с болью собственного тела, не пожалев самих себя, как в двенадцатом году, не пожалев имуществ, жгли дома свои и земные достатки, так рванется у нас все сбрасывать с себя позорящее и пятнающее нас...». И — «...праздник Воскресения Христова воспряднуется прежде у нас, чем у других».

Об этом же пророчески предвозвещает и финал первого тома поэмы: «Русь, куда же несешься ты? дай ответ. Не дает ответа <...> летит мимо все, что ни есть на земле, и, косясь, посторониваются и дают ей дорогу другие народы и государства».

ГОГОЛЬ И БЕЛИНСКИЙ: К ИСТОРИИ ПОЛЕМИКИ. О ЗАМЫСЛЕ КНИГИ «ВЫБРАННЫЕ МЕСТА ИЗ ПЕРЕПИСКИ С ДРУЗЬЯМИ»

От Его Императорского Величества Государя Императора.

Список венков, возложенных депутациями на памятник Гоголя 26-го апреля <1909 г.>⁶⁴³.

Одно из самых светлых воспоминаний — это уютные вечера, когда Государь бывал менее занят и приходил читать вслух Толстого, Тургенева, Чехова и т.д. Любимым его автором был Гоголь.

Воспоминания А. А. Вырубовой, фрейлины Императрицы Александры Феодоровны⁶⁴⁴.

Спустя два с половиной года после смерти Гоголя, в 1854 году, дочь С. Т. Аксакова, Вера Сергеевна, близко знавшая Гоголя и одна из первых, благодаря трудам гоголевских биографов и издателей, ознакомившаяся с его богатым эпистолярным наследием, записала в своем дневнике: «Гоголь — святой человек по своему стремлению <...> он возлюбил Бога всем умом своим, всей душой, всеми помышлениями, и ближнего, как самого себя <...> Какой святой подвиг вся его жизнь! Теперь только, при чтении стольких писем к стольким разным лицам, начинаем мы понимать всю задачу его жизни и все его духовные внутренние труды. Какая искренность в каждом слове! И этого человека подозревали в неискренности!»⁶⁴⁵.

Сто лет назад, в 1902 году, в одной из многочисленных юбилейных речей на всероссийских торжествах, посвященных пятидесятилетию со дня смерти Н. В. Гоголя, говорилось: «Теперь никто, хотя поверхностно ознакомившийся с произведениями Гоголя в связи с его многочисленными письмами, не станет серьезно утверждать о душевном кризисе, разделившем жизнь его на два отличные периода. Теперь, наоборот, утверждают, что в развитии его мирозерцания и настроения видна строгая последовательность»⁶⁴⁶.

К началу нынешнего столетия в литературе о Гоголе был накоплен богатый материал для основательного изучения творческого пути писателя, и в частности, появилось достаточно сведений для аргументированного опровержения ставшего расхожим со времен известного зальцбруннского письма В. Г. Белинского к Гоголю 1847 года мнения, будто Гоголь как социально и литературно «прогрессивный» писатель — обличавший в своих произведениях самодержавие и «реакцию» — вступил, вследствие изменившегося у него в последние годы мировоззрения, в противоречие со своим гением. Однако именно это мнение возобладало впоследствии в России в работах о Гоголе. Отношение к гоголевскому творчеству западника Белинского нашло как бы «законное» продолжение в советском литературоведении, развивавшемся в основном в русле западнического, марксистского направления. В работах многочисленных исследователей, написанных в духе классового подхода, закрепилось представление о Гоголе, с одной стороны, как сатирике, изобличителе самодержавия и основателе русского критического реализма, и, с другой — как реакционно и монархически настроенном мистике. Poleмика по поводу того или иного понимания Гоголя была закрыта, и вопрос о происхождении концепции «двух Гоголей» остался практически не изученным.

Между тем сама попытка обнаружить истоки разгоревшейся в 1847 году полемики Белинского с Гоголем приводит к результатам весьма неожиданным. Оказывается, что противопоставление художественного творчества «раннего» Гоголя его позднейшей публицистике, введенное в 1847 году в оборот Белинским, не может быть принято уже потому, что в полемику с Гоголем — публицистом и художником — Белинский вступил отнюдь не с выходом в свет гоголевских «Выбранных мест из переписки с друзьями». Уже в самой первой своей статье о Гоголе — «О русской повести и повестях г. Гоголя («Арабески» и «Миргород»)» (1835) — критик, высоко оценив художественные произведения Гоголя («...г. Гоголь <...> становится на место, оставленное Пушкиным»⁶⁴⁷), с большой неприязнью отозвался об «ученых статьях» писателя, помещенных в сборнике «Арабески» («...избавь нас Бог от такой учености!»⁶⁴⁸). (Насколько справедлив был отзыв критика об «ученых статьях» «Арабесок», можно судить из того, что читанные Гоголем с кафедры Петербургского университета статьи-лекции этого сборника произвели большое впечатление не только на студентов, но и на Пушкина и Жуковского⁶⁴⁹. Достоинство взглядов Гоголя как мыслителя отмечали в то время В. В. Стасов⁶⁵⁰ и В. К. Кюхельбекер⁶⁵¹. Позднее С. А. Венгеров окончательно опроверг представление о «ненаучности» ранних гоголевских статей⁶⁵². В 1842 году и сам Белинский оценил их иначе⁶⁵³.)

Как показывает исследование, в основе неприятия Белинским «ученых статей» Гоголя лежали прежде всего идеологические причины. С первых своих статей Белинский выступает в литературу как убежденный западник, апологет петровских преобразований, откровенно сочувствующий протестантизму. В 1836 году он, в частности, сравнивая «Северную думу» — протестантизм — с католицизмом и Православием, без обиняков называл ее «истинным знанием»⁶⁵⁴ (в печать это признание не попало и было опубликовано впервые только в 1969 году). Осенью 1834 года, когда Гоголь готовил к изданию «Арабески» и «Миргород», Белинский, в «Литературных мечтаниях» (первая значительная статья критика, принесшая ему известность) замечал о русском народе: «Крепко стоял он за Церковь Божию, за веру праотцев <...> Но <...> это была жизнь <...> односторонняя <...> Петр был совершенно прав...»⁶⁵⁵; «...Русская жизнь до Петра Великого была слишком <...> односторонна...»⁶⁵⁶. В статье «О стихотворениях г. Баратынского» (1835) Белинский добавлял: «...Народ довольствовался скудной житейскою философиєю, лениво наследованною им от праотцев <...> был чужд всякого движения вперед, всякого стремления к совершенствованию...»⁶⁵⁷. Подобное отношение к русской национальной культуре и ее сокровищнице — Православию, где духовное и нравственное совершенствование человека полагается целью всей его жизни, не было неожиданностью для Белинского. Все это он высказывал и ранее, и с еще большей безапелляционностью, вполне предвосхищая обороты и интонации будущего Хлестакова. В 1830 году он писал матери: «Маменька, Вы уже в другом письме увещаете меня ходить по церквам <...> Шагаться мне по оным некогда, ибо чрезвычайно много других, гораздо важнейших дел <...> Я пошел по такому отделению, которое требует, чтобы иметь познание и толк во всех изящных искусствах. И потому я прошу Вас уволить меня от нравоучений такого рода: уверяю Вас, что они будут бесполезны»⁶⁵⁸. В своем западничестве Белинский выступал лишь против «слепой подражательности» и ратовал за создание «нашими руками» и «на родной почве» национального «просвещения», в основе которого лежала бы, однако, идея европейского прогресса⁶⁵⁹. Истолковав повести Гоголя в «Арабесках» и «Миргороде» как проявление этого национального «просвещения» (приведшего от «гимна», «поэмы» и «молитвы» «младенчествующего человека» к современным — якобы заменившим их — «повести и роману»⁶⁶⁰), другими словами, найдя в гоголевских произведениях, по замечанию Я. М. Неверова, «свою любимую реальную поэзию»⁶⁶¹ (в противовес «идеальной» — древнего источника «религии и нравственности»), Белинский столкнулся с открыто выраженным иным отношением к идее прогресса в гоголевских статьях.

«Заметно,— писал Гоголь в одной из статей «Арабесок» о швейцарском историке И. Миллере (Мюллере), — <...> что он охотнее занимается временами первобытными и вообще теми эпохами, когда народ еще не

был подвержен образованности и порокам, сохранял свои простые нравы и независимость <...> Главный результат, царствующий в его истории, есть тот, что народ тогда только достигает своего счастья, когда сохраняет свято обычаи своей старины, свои простые нравы и свою независимость». Это рассуждение Гоголя (которое, как указано, весьма явственно отразилось в замысле «Миргорода» — в повестях «Старосветские помещики» и «Тарас Бульба») вызвало особое раздражение Белинского. В своей статье он восклицал: «Неужели перевести, или, лучше сказать, перефразировать и перепародировать некоторые места из истории Миллера, перемешать их с своими фразами, значит написать ученую статью? <...> Неужели сравнение Шлецера, Миллера и Гердера, ни в каком случае не идущих в сравнение, тоже ученость?» Кроме того, раздражение критика в 1835 году вызвала и поднятая Гоголем в «Арабесках» (в статье об архитектуре) тема очерковления жизни, в частности, обращения европейской цивилизации на служение религиозным целям, что Белинский назвал «детскими мечтаниями»⁶⁶² *.

С наступлением «примирительного периода» своей критической деятельности Белинский, проникнувшись к концу 1830-х годов идеей об абсолютном, религиозном значении европейской цивилизации («...все, что ни есть теперь, чем ни гордится, чем ни наслаждается современное человечество <...> вышло из <...> Нового Завета»⁶⁶³), пересматривает свой взгляд на гоголевские «ученые статьи» «Арабесок». Теперь он стремится увидеть в них прямое освящение технического прогресса. Потому 20 апреля 1842 года в письме к Гоголю Белинский замечает, что в свое время «изрыгнул <...> хулу на Духа», отрицательно отозвавшись о его «статьях ученого содержания», помещенных в «Арабесках»⁶⁶⁴. «...Гоголь, — пишет он в начале следующего, 1843 года в «Отечественных Записках» (без подписи), — выступал на журнальное поприще и был критиком: в «Арабесках» напечатаны его превосходные критические статьи о Пушкине, о Брюллове, о Шлецере, Миллере и Гердере...»⁶⁶⁵. С тем большим раздражением встречает тогда Белинский критику Гоголем европейского «просвещения» в опубликованной в 1842 году повести «Рим». «Страшно подумать о Гоголе, — пишет он В. П. Боткину, — ведь во всем, о чем он написал, одна натура, как в животном. Невежество абсолютное. Что он наблевал о Париже-то!»⁶⁶⁶ В более «вежливой» форме эту же самую мысль критик высказывал и ранее, в 1835 году, в статье «О русской повести и повестях г. Гоголя»: «Отдавая полную справедливость прекрасному таланту г. Гоголя как поэта, мы <...> желаем, чтобы кто-нибудь разобрал его ученые статьи»⁶⁶⁷.

* Небезызвестным Белинскому осталось, конечно, и то, что четыре «ученых статьи» «Арабесок» первоначально были напечатаны в «Журнале Министерства Народного Просвещения» С. С. Уварова (см. об этом в пятой главе настоящей книги).

Еще важнее заметить то, что, определив в 1835 году Гоголя только как гениального бессознательного художника («...только поэт, а не другое что-нибудь <...> большое участие ума <...> есть недостаток»⁶⁶⁸), Белинский выступил не только против содержания «ученых статей» Гоголя, но и против вполне определенного смысла некоторых его художественных произведений, в частности, своеобразного литературно-художественного «манифеста» Гоголя, повести «Портрет». Об этой повести критик писал, что это «есть неудачная попытка г. Гоголя <...> Здесь его талант падает <...> вторая <...> часть решительно ничего не стоит <...> это явная приделка, в которой работал ум, а фантазия не принимала никакого участия»⁶⁶⁹. О второй редакции «Портрета», напечатанной Гоголем в 1842 году, Белинский высказался еще более резко⁶⁷⁰. Вероятно, имея в виду эти суждения критика, С. П. Шевырев в 1843 году писал Гоголю: «Во время болезни я прочел и “Портрет”, тобою переделанный. Ты в нем так раскрыл связь искусства с религией, как еще нигде она не была раскрыта. Ты вносишь много света в нашу науку и доказываешь собою на зло немцам, что творчество может быть соединено с полным сознанием своего дела»⁶⁷¹. В 1842 году Шевырев, имея в виду «Отрывок из письма, писанного автором вскоре после первого представления “Ревизора” к одному литератору» (1841), также замечал о Гоголе: «Разбором характера Хлестакова в “Ревизоре” он доказал, как отчетливо понимает свои создания. “Мертвые души” исполнены также глубокомысленных замет о состоянии души Поэта и о том, как он сам смотрит на свои произведения»⁶⁷².

По позднейшему свидетельству П. В. Анненкова, Гоголь в 1835 году «был доволен» статьей Белинского «О русской повести и повестях г. Гоголя» — «и более чем доволен: он был осчастливлен статьей»⁶⁷³. Думается, однако, что к свидетельству Анненкова, открыто признававшего себя «нравственным участником» создания зальцбруннского письма Белинского к Гоголю⁶⁷⁴ и считавшего это письмо разоблачением «пустоты и безобразия всех идеалов Гоголя»⁶⁷⁵, следует относиться с осторожностью. Примечательно, что тон переписки с Анненковым самого Гоголя весьма сдержан, а в последних письмах, 1847 года, прямо слышится продолжение полемики с Белинским. В письме к М. П. Погодину от сентября 1851 года Гоголь относил Анненкова к «господам, до излишества живущим в Европе». (Известно, что Анненков весной 1846-го и 1848-го годов неоднократно встречался в Брюсселе и Париже с К. Марксом, с которым завязал переписку.)*

* Даже в эпоху наибольшего сближения Гоголя с Анненковым, в период переписки первого тома «Мертвых душ» в 1841 году, их отношения, по свидетельству самого мемуариста, не обходились без идейных столкновений.

Сам Гоголь в черновых набросках статьи «О движении журнальной литературы, в 1834 и 1835 году» (опубликованных после смерти Анненкова) называл «вкус» Белинского «молодым и опрометчивым» — и лишь обещающим «будущее развитие»⁶⁷⁶ (такое суждение, конечно же, не исключает того, что какие-то замечания критика в 1835 году были приняты Гоголем во внимание). Можно заметить, что определение Гоголем «вкуса» Белинского как «молодого и опрометчивого» — «необразовавшегося», но основанного «на чувстве и душевном убеждении» — во многом повторяет гоголевскую характеристику в той же статье европейской литературы, в которой, по словам писателя, вследствие «политических волнений» во Франции, «распространился беспокойный, волнующийся вкус. Являлись опрометчивые, бессвязные, младенческие творения, но часто восторженные, пламенные* <...> эти явления <...> отражались и в России...». «Опрометчивость» же людей, «какими производятся мятежи в обществах», Гоголь объяснял в статье «Петербургская сцена в 1835—36 г.» (также оставшейся неизвестной Анненкову) тем, что «они не видят границ, ломают без рассуждения все и всегда, и желая исправить несправедливость <...> в обратном количестве наносят столько же зла».

Тот же Анненков неоднократно выражал недоумение, почему Гоголь в 1841 году совершенно забыл «услуги», оказанные ему в 1835 году Белинским; по словам мемуариста, в отзывах писателя «о русских людях той эпохи Белинский не занимал никакого места»⁶⁷⁷. С другой стороны, своеобразный отклик на теорию о бессознательности художественного творчества, принятую в 1835 году Белинским в отношении к произведениям Гоголя, можно увидеть в черновой редакции «Ревизора», создавшегося писателем непосредственно по прочтении статьи о его повестях Белинского. Завравшийся Хлестаков здесь, в частности, восклицает: «А как странно сочиняет Пушкин. Вообразите себе: перед ним стоит в стакане ром, рублей по сту бутылка <...> и потому уж как начнет писать, так перо только: тр... тр... тр...». (Весьма кстати для Гоголя пришлось здесь — как бы прямым пояснением к «теории» Белинского — мнение о пушкинском творчестве провинциальных обывателей, которое сам Пушкин излагал в письме к жене Наталье Николаевне от 11 октября 1833 года из Болдино. Это суждение Гоголь и использовал в 1836 году в своей комедии: «Знаешь ли, что обо мне говорят в соседних губерниях? Вот как описывают мои занятия: как Пушкин стихи пишет — перед ним стоит штоф *славнейшей* настойки — он хлоп стакан, другой, третий — и уж

* Ср. слова Гоголя, сказанные в 1851 году о революционных событиях во Франции 1848 года: «Не одни женщины увлеклись, но и умные пламенные люди» (<Хитрово Е. А. > Гоголь в Одессе. 1850—1851 // Русский Архив. 1902. № 3. С. 549).

начнет писать! — Это слава!»⁶⁷⁸.) На присутствии глубокой мысли в современных «романах и повестях» Гоголь, как отмечалось, настаивал в 1836 году и в одной из рецензий, написанных для пушкинского «Современника». Очевидно, прямо повторяя в этой рецензии слова Белинского из статьи «О русской повести и повестях г. Гоголя», что «может быть, некогда история сделается художественным произведением»⁶⁷⁹, Гоголь подчеркивал необходимость осмысленного подхода к созданию подобного произведения: «...Никогда мысль не кажется нам <...> так оглушительна своим величием <...> когда она <...> читается духовными нашими глазами из целого создания поэта. <...> И вот уже история показывает умам соединение с философией и образует великое здание».

По сути, теория о бессознательности художественного творчества и определение Гоголя как художника, творящего в состоянии «поэтического сомнамбулизма»⁶⁸⁰, означала для критика на практике возможность произвольного истолкования его произведений, а возникающие при этом противоречия выдавались в соответствии с этой теорией за противоречия между «гениальной» художественной интуицией писателя и его неглубоким мировоззрением. Стремление отрицать или дискредитировать авторскую мысль в художественном произведении, придав ему иное толкование, наряду с восторженными похвалами, пронизывает большинство критических выступлений Белинского, посвященных гоголевскому творчеству.

Оценивая в 1842 году сочинения Гоголя, Белинский замечает, что при верном «артистическом инстинкте» «непосредственность творчества у Гоголя имеет свои границы и <...> изменяет ему <...> там, где в нем поэт сталкивается с мыслителем...»⁶⁸¹. Откровенно намекая на якобы недостаток «эрудиции» Гоголя, «интеллектуального развития, основанного на неослабном преследовании быстро несущейся умственной жизни современного мира», критик в качестве доказательства приводит как раз те художественные произведения писателя, которые наиболее не укладываются в схему радикальной интерпретации: «Вечер накануне Ивана Купала», «Страшная месть», «Портрет», «Рим»⁶⁸².

Безусловно, и новая книга Гоголя — «Выбранные места из переписки с друзьями» — не создала у Белинского нового мнения о писателе, но лишь обнаружила старое. Откликаясь в 1847 году на выход «Переписки с друзьями», Белинский лишь закрепил выдвинутое еще в 1835 году определение им Гоголя как гениального бессознательного художника и слабого мыслителя. В рецензии на книгу он восклицал: «...Горе человеку, которого <...> природа создала художником <...> если <...> он ринется в чуждый ему путь!»⁶⁸³. В зальцбруннском письме к Гоголю он добавлял: «...Вы глубоко знаете Россию только как художник, а не как мыслящий человек...»⁶⁸⁴.

Очевидно, не случайной была та отповедь, которую намеревался дать Гоголь Белинскому в 1847 году в ответ на ставшие почти традиционными обвинения в «недостатке образования». Имея в виду высказывания критика о Церкви (например, замечание Белинского, что «смысл учения Христова открыт философским движением прошлого века»⁶⁸³), Гоголь писал: «...Какое невежество блещет на всякой странице! [Как дерзнуть с таким малым запасом сведений толковать о таких великих предметах. Вы не кончили даже университетского курса.]. В письме к Белинскому от 10 августа н. ст. 1847 года Гоголь также замечал: «...Вам <...> следует узнать хотя часть того, что знаю я и чем вы напрасно пренебрегаете».

Вполне очевидно, что если для Белинского в содержании новой книги Гоголя, по существу, не было ничего неожиданного, то и со стороны Гоголя издание в свет «Выбранных мест из переписки с друзьями», конечно же, не было следствием якобы совершившегося в то время в его мировоззрении внезапного «переворота» и последовавшего лишь тогда обращения к Православию. Издание книги было во многом обусловлено именно стремлением открыть читателю свой настоящий писательский облик, существенно искаженный в интерпретациях Белинского.

В 1843 году Гоголь, замечая в письме к С. П. Шевыреву по поводу истолкования критиком его произведений, что «Белинский смешон», в то же время начинает задумываться над тем, какое употребление получают в обществе под влиянием критики его создания. Если прежде для нравственного воздействия на читателя он полагал достаточным мастерское и совершенное воплощение идеи в образах, то чем далее, тем более он убеждается, что общество, восторгаясь живописностью созданных им произведений, его не слышит — и делает выводы, навязанные извне. В 1842 году Гоголь устами одного из героев «Театрального разезда...», словно утешая себя, говорит: «Смысл внутренний всегда постигается после. И чем живее, чем ярче образы, в которые он облекся и на которые раздробился, тем более останавливается всеобщее внимание на образах. Только сложивши их вместе, получишь итог и смысл создания. Но разбирать и складывать такие буквы быстро, читать по верхам и вдруг, не всякий может. А до тех пор долго будут видеть одни буквы». Четыре года спустя в этих размышлениях появляется известная доля трагизма. Главный герой «Развязки Ревизора» говорит об авторе комедии: «Дайте же ему хоть каплю ума, в котором вы не отказываете ни одному человеку». По замечанию гоголевского биографа, В. И. Шенрока, «Гоголь говорил с публикой исключительно художественными образами, а потому она была совершенно не посвящена в его мирозерцание»⁶⁸⁶. Спустя полвека эту же мысль высказал Д. И. Чижевский: «...При чтении произведений Гоголя читатель часто не замечает «идеологической программы» этих произведений, так же как для слушающего «программную музыку» по

большей части оказывается скрыта за «прекрасными звуками» «программа», которую хотели выразить в этих звуках композиторы...»⁶⁸⁷.

И тем не менее Гоголь утверждал, что «везде есть нить, как во всякой ткани есть основа, хотя она иногда совершенно бывает заткана утком*...» (статья «О средних веках», 1834). В начатой в 1845 году «Учебной книге словесности для русского юношества» он писал, что цель словесности — «научение», а потому «только тот, кто больше, глубже знает какой-либо предмет, кто имеет сказать что-либо новое, тот только может быть литератором». «Полный и совершенный поэт,— замечал он также в «Переписке с друзьями»,— ничему не предается безотчетливо, не проверив его мудростию полного своего разума». Понятно в этом свете, что обещание Белинского, высказанное в 1842 году (и повторенное в 1846-м, незадолго до издания Гоголем «Выбранных мест...»), написать «разбор всех сочинений Гоголя от “Вечеров на хуторе” до “Мертвых душ”»⁶⁸⁸, а также дополнительное рассуждение критика в 1846 году о «недостатках романа» «Мертвые души» в тех местах, где автор «из поэта, из художника силится <...> стать каким-то прорицателем»⁶⁸⁹, мало могли обрадовать Гоголя.

Проблемы, с которыми столкнулся писатель, заставляют его строже взглянуть на свое творчество, на употребление своего таланта, за который, он верил, даст ответ Богу. К 1842 году относятся первые попытки Гоголя восстановить свой настоящий писательский облик. Первоначально они делаются в кругу друзей. Объясняя в письме к С. Т. Аксакову свое намерение отправиться в Иерусалим, на поклонение Гробу Господню, Гоголь замечает: «Признайтесь, вам странно показалось, когда я первый раз объявил вам о таком намерении? <...> почему можно знать, что то, которое кажется нам минутным вдохновением <...> уже высшею волею Бога не вложено в самую природу и зрело в нас, невидимо для других». В 1844 году следует еще одно признание Аксакову: «С 12-летнего, может быть, возраста, я иду тою же дорогою, как и ныне, не шатаюсь и не колеблясь никогда во мнениях главных...». В письме к А. О. Смирновой от 28 декабря н. ст. того же года Гоголь замечает о своей жизни 1830-х годов среди петербургских литераторов: «Никто из них меня не знал. По моим литературным разговорам всякий был уверен, что меня занимает одна только литература...». Одному из этих литераторов, П. А. Плетневу, он в то же время пишет о себе: «Друг, ну что если <...> нашелся один такой страдалец, над которым обрушилась такая странность, что все, что ни сделает и ни скажет, принимается в превратном значении <...> что он не может произнести и слова в свое оправдание, подобаясь находящемуся

* «Заток, уток, поперечное тканье» (гоголевский «объяснительный словарь» русского языка).

в летаргии». В «Выбранных местах из переписки с друзьями», начинающихся с размышлений писателя о смерти и предупреждения не погребать его «до тех пор, пока не покажутся явные признаки разложения», Гоголь повторит эту мысль в объяснение особенностей своего творчества: «Клянусь, бывают так трудны положенья, что их можно уподобить только положенью того человека, который находится в летаргическом сне, который видит сам, как его погребают живого...». В «Предисловии» к «Переписке» Гоголь прямо заговорит о том, что его сочинения «почти всех привели в заблуждение насчет их настоящего смысла...».

Очевидно, что одним из существеннейших мотивов, побудивших Гоголя к изданию новой книги, явилось стремление писателя остановить развернутое журнальной критикой во главе с Белинским радикальное «погребение» настоящего смысла его художественных произведений. Судя по приведенным цитатам, такое литературное «погребение» вызывало у Гоголя столь же тяжелые чувства, как, например, те примеры «нашей неразумной торопливости во всех делах, даже и в таком, как погребение», о которых он мог прочесть ранее в книге немецкого доктора медицины И.-Г. Эллизена, изданной в 1801 году в Петербурге: «Врачебные известия о преждевременном погребении мертвых, собранные Иоганном Георгом Давидом Еллизеном. С нем. перевод В. Джунковский»*.

«Когда мы хвалили сочинения Гоголя,— заявлял Белинский,— то не ходили к нему справляться, как он думает о своих сочинениях...»⁶⁹⁰. Можно лишь удивляться, как при этом Белинский в своем зальцбруннском письме не постеснялся сделать самому Гоголю упрек в том, будто писатель «обвинил» его — надо полагать, несправедливо — «в намерении дать какой-то предосудительный толк» его сочинениям. «Я не умею говорить наполовину,— заявлял при этом Белинский,— не умею хитрить: это не в моей натуре»⁶⁹¹.

Точно также и по поводу письма Гоголя к С. С. Уварову от конца апреля 1845 года, где Гоголь благодарил Уварова за ходатайство перед царем в оказании ему материальной помощи, Белинский в 1847 году замечал, что оно явилось предвестием «монархических» гоголевских «Выбранных мест...». Между тем в этом смысле «Выбранным местам...» предшествовало не одно, но целый ряд более ранних обращений Гоголя к Императору в 1830-х — 1840-х годах. Причем обращения эти были неизвестны широкой русской публике, так что слухи о них доходили не только до Москвы, но даже до Малороссии,— как это, например, случилось с письмом Гоголя к Императору от 18 апреля н. ст. 1837 года, о котором мать Гоголя, жившая в своем малороссийском имении, узнала из

* В книге рассказано о случаях преждевременного погребения мнимо-умерших за границей и в России. Подлинность этих фактов вызывает сомнение.

нелепых слухов, распространившихся по его поводу⁶⁹² *. Несомненно, об этих многочисленных ранних обращениях Гоголя к Императору не мог не знать Белинский** .

Гоголь стремился изданием новой книги освободить свои произведения от нарощей на них коросты произвольных интерпретаций. В этом Гоголь не останавливался перед средствами самыми решительными. Шевырев по поводу слов Гоголя в «Переписке с друзьями» о «бесполезности всего», доселе им напечатанного, замечал, имея в виду в первую очередь Белинского: «Ясно, что те самые люди, которые не поняли смысла его сочинений и начали ложный путь в нашей литературе, думая вести его от самого Гоголя, всего ближе навели его на ту мысль, что сочинения его были до сих пор бесполезны для большинства и что ему понадобилось снять с души хотя часть суровой за то ответственности <...> ...Если бы он сам сознал отсутствие пользы во всем им написанном, то не выдал бы вслед за “Перепискою” второго издания “Мертвых душ”»⁶⁹³. Чуть ранее, в письме к П. А. Плетневу от 6 ноября 1846 года, Шевырев упоминал в этой связи и о готовившемся Гоголем новом издании «Ревизора». «...Давно пора ему,— замечал в этом письме Шевырев,— для славы своей скинуть с себя пятно похвал и восклицаний, которые приносил ему Белинский»⁶⁹⁴.

Следует подчеркнуть, что готовившиеся Гоголем издания «Ревизора» и «Мертвых душ» были не простыми переизданиями этих произведений, но в свою очередь преследовали цель остановить произвольные, предвзятые их истолкования. Издание «Ревизора» готовилось с «Развязкой», призванной уяснить религиозный замысел пьесы; «Мертвые души» сопровождалась предисловием «К читателю от сочинителя» — самым тесным образом связанным с содержанием «Выбранных мест из переписки с друзьями» (в частности, с одним из «Четырех писем к разным лицам по поводу “Мертвых душ”»). 20 января н. ст. 1847 года Гоголь писал Шевыреву: «Если ты поудержал выпуском в продажу второе издание “Мертвых душ”, то сделал хорошо, потому что предисловие может быть понято читателям только по прочтении моей “Переписки”». По признанию Гоголя в «Авторской исповеди», публикацией предисловия к первому тому по-

* Содержание этого письма (недавно обнаруженного), а также содержание сопроводительного письма Гоголя к Жуковскому от того же числа (18 апреля н. ст. 1837 года) полностью опровергают эти нелепые слухи (см.: *Виноградов И.* Неизвестное письмо великого русского писателя. Гоголь и монархия // *Воскресная школа.* 1998. Сентябрь, № 34. С. 7—10).

** В частности, о письме Гоголя к Императору 1837 года Белинский вернее всего мог узнать от Н. Я. Прокоповича, с которым близко сошелся в 1840-х годах. 3 июня 1837 года Гоголь писал Прокоповичу: «Первое и самое главное, узнай от Плетнева или попроси, чтобы Плетнев узнал, получил ли Жуковский мое письмо и какой имело успех письмо мое к Государю».

эмы он намеревался обратить читателей «на самих себя». Это христианское намерение автора не встретило сочувствия у Белинского, в свою очередь отозвавшегося о предисловии «К читателю от сочинителя» с неприкрытым раздражением⁶⁹⁵.

В. И. Назимов, попечитель Московского учебного округа, в мае 1853 года писал министру народного просвещения А. С. Норову о Гоголе: «Лучшим доказательством его убеждений служит Переписка его с друзьями, в которой он с особенною силою высказал и преданность Церкви и приверженность к Государю, одним словом, все истинно русские чувствования»⁶⁹⁶. Сам Гоголь, объясняя в 1851 году западнически настроенному И. С. Тургеневу появление своей книги, замечал об истолковании его произведений в революционно-демократическом духе Белинским и Герценом: «Мне досадно, что друзья придали мне политическое значение. Я хотел показать «Перепискою», что я не то...»⁶⁹⁷. Задумав в 1845 году издать «Переписку с друзьями», Гоголь писал министру народного просвещения С. С. Уварову о своих сочинениях, что, «хоть в основание» их «легла и добрая мысль», однако большинство читателей «приписывает» им «скорее дурной смысл, чем хороший», и «извлекает извлечения из них скорей не в пользу душевную, чем в пользу». Отзыв Гоголя о том, что «критика Белинского злобно перетолковывала все его намерения и авторские цели», передавал также в своих воспоминаниях Анненков⁶⁹⁸. По воспоминаниям западника И. И. Панаева, когда «Белинский начал разъяснять великое общественное значение произведений Гоголя, Гоголь пришел в ужас от этих разъяснений и объявил, что вовсе не имел в виду того, что приписывают ему *некоторые* критики»⁶⁹⁹.

«В каком превратном виде приняли вы смысл моих произведений», — замечал Гоголь в 1847 году в неотправленном письме к Белинскому. И продолжал: «Насмешки [и нелюбовь слышались у меня] не над властью, не над коренными законами нашего государства, но над извращеньем, над уклоненьями, над неправильными толкованьями <...> над струпом, который накопился...». В письме к В. А. Жуковскому от 10 января н. ст. 1848 года, задуманном Гоголем как новая вступительная статья под названием «Искусство есть примирение с жизнью» ко второму изданию «Выбранных мест...», он писал о «Ревизоре»: «...В комедии стали видеть желанье осмеять узаконенный порядок вещей и правительственные формы, тогда как у меня было намерение осмеять только самоуправное отступление некоторых лиц от форменного и узаконенного порядка». (Сделанный анализ гоголевской комедии позволяет согласиться с этим утверждением*.) Делая из обличительного пафоса Гоголя далеко идущие

* К этому можно добавить и то, что «Ревизор», разрешенный Императором к постановке и печатанию, постоянно упоминался впоследствии во всех письмах и

выводы и представляя писателя непримиримым врагом «старой России», радикальная критика вступала в противоречие с позицией самого Гоголя, открыто признававшегося в любви к этой России и говорившего о своем смехе как «смехе сквозь слезы», — подразумевая под этим слова св. апостола Павла во Втором послании к Коринфянам, где тот объясняет причины суровости, с какой он обличал коринфян за их прегрешения в предыдущем, Первом послании: «От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами, не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам» (гл. 2, ст. 4).

Своеобразие гоголевской позиции заключалось в том, что стремление спасти от искажения настоящий смысл своих произведений сочеталось у писателя при создании «Выбранных мест...» с ярко выраженными «примирительными» намерениями по отношению к своим «перетолкователям»-западникам, по слову Апостола: «...Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти...»⁷⁰⁰. Это, конечно, не означало согласия с их взглядами. «Разумеется, правды больше на стороне славянистов и восточников...» — замечал Гоголь в статье «Споры». Гоголевская мысль заключалась в том, что, вместо бесплодной вражды, дружеские отношения с кем бы то ни было*, а тем более со своими соотечественниками, приносят гораздо более пользы для распространения истины. В «Выбранных местах...» он прямо сравнивает гордого своей чистотой непримиримого «праведника» с евангельским богачом, отталкивающим «покрытого гноем нищего от великолепного крыльца своего». «Не нужно отталкивать от себя совершенно дурных людей и показывать им пренебрежение,— пишет Гоголь сестре Елисавете 15 сентября н. ст. 1844 года, — лучше стараться иметь на них доброе влияние». В письме к князю П. А. Вяземскому от 11 июня н. ст. 1847 года Гоголь, имея в виду Белинского и его сторонников, которым Вяземский публично выразил в печати свое неодобрение, замечает: «...Выразились вы несколько сурово о некоторых моих нападателях <...> может быть <...> многие из них <...> влекутся даже некоторым <...> желанием добра <...> может быть, и нам будет сделан упрек в гордости за то, что несколько жестоко оттолкнули их...». В письме к Шевыреву от 11 февраля н. ст. 1847 года Гоголь, пори-

прошения на Высочайшее имя самого Гоголя и других лиц, ходатайствовавших за него перед царем об оказании материальной помощи, — что, конечно же, было бы невозможно, если бы смысл комедии был таков, каким его пытались представить революционные демократы (см. об этом в нашей статье: «Спасен я был Государем». Неизвестное письмо Гоголя к Императору Николаю Павловичу и его отношение к монархии // Литература в школе. 1998. № 7. С. 5—22).

* Например, с И. Кайсевицем и П. Семеновым, о которых шла речь в четвертой главе.

чая его за излишнюю осторожность по отношению к себе, также замечает: «Лучше бы ты эту осторожность наблюдал в своих прежних перепалках с Белинским и другими литераторами; подслащиванье можно употреблять в деле с людьми, стоящими на низшей перед нами ступеньке воспитания...».

В письме к близко знакомому с Белинским Н. Я. Прокоповичу от 20 июня н. ст. 1847 года Гоголь проговаривался о «Выбранных местах...», что Белинский мог принять «всю книгу написанную на его собственный счет» и увидеть в ней «формальное нападение на всех разделяющих его мысли». Гоголь просил Прокоповича — своего давнего школьного приятеля — переговорить с Белинским и передать ему от себя несколько добрых слов. Имея в виду раздражение критика по поводу вышедшей «Переписки» и желая смягчить его, Гоголь, не отрицая указанной цели книги, писал в то же время самому Белинскому, что намерения его были и более широкими, и более миролюбивыми: «Я вовсе не имел в виду огорчить вас <...> я имел в виду небольшой шелчок каждому <...> Я думал, что мне великодушно простят и что в книге моей зародыш примирения всеобщего, а не раздора».

В 1859 году Н. В. Неводчиков (впоследствии архиепископ Кишиневский Неофит) вспоминал о содержании своей беседы с Гоголем в октябре 1850 года: «Не помню хорошенько как, только разговор у нас зашел о человеке, готовом потеряться. “Дайте ему хоть малейшую точку опоры, да протяните ему руку, и он поднимется”, — сказал Гоголь»⁷⁰¹. Вероятно, неким залогом примирения с Белинским — дружеской «точкой опоры» — должны были, по замыслу Гоголя, стать в «Переписке с друзьями» многочисленные переклички статьи «О лиризме наших поэтов» (1846) со статьями, написанными критиком в так называемый «примирительный» период его деятельности — «Бородинская годовщина. В. Жуковского...» (1839), «Очерки Бородинского сражения... Ф. Глинки» (1839)*. (Непосредственно в период создания и публикации этих статей Гоголь даже встречался с Белинским в Петербурге.) Достаточно указать, что весь замысел статьи «О лиризме наших поэтов» ясно читается в следующих строках статьи Белинского: «Ход нашей истории обратный в отношении к европейской: в Европе точкою отправления жизни всегда была борьба и победа низших ступеней государственной жизни над высшими <...> у нас <...> власть <...> всегда таинственно сливалась с волею Провидения <...> безусловное повиновение царской власти есть не одна

* На близость содержания этих статей Белинского к идеям «Переписки с друзьями» указывал еще в 1909 году В. Г. Короленко (*Короленко В. Трагедия писателя. Несколько мыслей о Гоголе // Русское Богатство. 1909. № 5. <Отд. 2>. С. 169—170*).

польза и необходимость наша, но и высшая поэзия нашей жизни...»⁷⁰². (Эти слова Белинского в свою очередь восходят к размышлениям над русской историей М. П. Погодина⁷⁰³, — а также к взглядам М. М. Щербатова, И. Н. Болтина, Н. М. Карамзина, еще ранее воплотивших в своих трудах разработанную в европейской историографии идею завоевания.)

В неотправленном письме к Белинскому Гоголь дважды обращается к нему: «Позвольте мне напомнить прежние ваши работы и сочинения. Позвольте мне напомнить вам прежнюю вашу дорогу <...> Литератор существует для другого. Он должен служить искусству, которое вносит в души мира высшую примиряющую истину, а не вражду...»; «Зачем вам было переменять раз выбранную мирную дорогу? <...> Дорога эта привела бы вас к примиренью с жизнью, дорога эта заставила бы вас благословлять все в природе».

Последние строки прямо перекликаются с содержанием второй редакции нелюбимого Белинским гоголевского «Портрета» — одна из частей которого, посвященная художнику, достойно употребившему свой талант, завершается утверждением, что «для успокоения и примирения всех нисходит в мир высокое создание искусства», а другая, — повествующая о художнике, совокупившем в себе «хулу и отрицанье» и погубившем свою душу, оканчивается сравнением его с «тем страшным демоном, которого идеально изобразил Пушкин» (в стихотворении «Демон», 1823). Слова Гоголя в письме к Белинскому — «благословлять все в природе» — явная реминисценция из этого пушкинского стихотворения:

И ничего во всей природе
Благословить он не хотел.

Еще ранее, в черновых набросках «Театрального разезда...», начатого вскоре после первого представления «Ревизора», Гоголь, пораженный истолкованием его комедии некоторыми зрителями, так объяснял ее настоящую цель: «Ожесточенный и огорченный обидой, несправедливостью человек уже бы поднял, может быть, руку на своего врага; но, увидя достойно осмеянным в театре, уже почти примиряется <...> он готов был вознести руку на самого себя и прекратить свои мученья, — но вдруг божественно потряслась душа, — <...> и выходит он примиренный с жизнью».

В свою очередь, предполагавшееся к публикации в новом издании «Переписки» письмо к Жуковскому «Искусство есть примирение с жизнью» также преследовало цель напомнить Белинскому (который в то время был еще жив) о «примирительной» эпохе его жизни.

* * *

Сложившаяся в 1847 году ситуация скрытого противостояния между Гоголем и Белинским по поводу настоящего смысла произведений ху-

дожника была вполне понятна и очевидна их внимательным современникам. Ап. Григорьев, например, прямо утверждал по выходе «Переписки с друзьями», что «Гоголь сказал слово в объяснение собственных созданий...»⁷⁰⁴. Ап. Григорьев стал и одним из первых, кто выступил в 1847 году против деления Гоголя на гениального художника (и «юмориста») и сошедшего с ума мыслителя, на «хорошего» раннего и «плохого» позднего. Возражая «делителям», Ап. Григорьев в своей статье о «Выбранных местах из переписки с друзьями» попытался показать книгу Гоголя как закономерный итог всего предшествующего развития писателя. Им, кстати, было также довольно верно угадано самое ядро гоголевского мирозерцания — ощущение глубокой внутренней неправды современности. Говоря о главном содержании книги Гоголя, он ставил ее в один ряд с «Русскими ночами» князя В. Ф. Одоевского, «которого Мальтус приводил к страшному видению последнего дня человечества, которому утилитарность Бенгата показала вдали *город без имени*, эту грозную, бичующую сатиру на утилитарность...»⁷⁰⁵. Характерна в этом смысле апелляция Белинского при разборе «Выбранных мест...» к суду «практических людей, которые все понимают не вдохновением, а здравым смыслом да опытностью»⁷⁰⁶.

Князь Вяземский писал тогда же о радикальных истолкователях Гоголя: «...Чрезмерные, часто ложные похвалы, приторные гимны усердных поклонников не могли не навести уныния на человека с умом светлым и высоким <...> люди, провозглашающие наобум какое-то учение западных начал, искали в Гоголе союзника и оправдателя себе <...> Он был для них живописец и обличитель народных недостатков и недугов общественных <...> Они не понимали Гоголя, но по крайней мере так могли в свою пользу перетолковывать создания его вымыслов»⁷⁰⁷.

Сам Белинский из содержания «Выбранных мест...» выводил с раздражением, что Гоголь «объявляет» в них «торжественно <...> что не согласен с теми, которые хвалили» его сочинения⁷⁰⁸. Между тем на самом деле нигде в «Переписке» открыто это «несогласие» не выражено: Белинский явно исходил из общего смысла книги и той задачи, которую она должна была выполнить, по предположению Гоголя, в сложившейся ситуации. В неотправленном письме к Белинскому Гоголь, предполагая утешить задетое самолюбие критика, писал: «Как можно <...> из того, что я сказал, что в критиках, говоривших о недостатках моих, есть много справедливого, вывести заключение, что критики, говорившие о достоинствах моих, несправедливы?» В «Авторской исповеди» он повторял: «...Странным показалось мне, когда из одного места моей книги, где я говорю, что в критиках, на меня нападавших, есть много справедливого, вывели заключение, что я отвергаю все достоинства моих сочинений и не согласен с теми критиками, которые говорили в мою пользу». Эти

примирительные интонации «Авторской исповеди» убеждают, что заявленное здесь Гоголем намерение — «чистосердечно <...> изложить всю повесть» своего «авторства» — было существенно ограничено, и подчинено задаче утишения разгоревшихся после выхода в свет «Переписки» страстей (название «Авторская исповедь» было дано этой книге после смерти Гоголя Шевыревым; сокращенным же вариантом ее является не раз уже упоминавшаяся в связи с полемикой Гоголя с Белинским статья «Искусство есть примирение с жизнью»). Понятно, почему и в этом произведении мы не найдем признаний Гоголя об истинной цели своей «Переписки» — дать категорический, хотя и «примирительный» ответ Белинскому, — что сам критик понял слишком хорошо, встретив книгу, по его словам, с «негодованием и бешенством»⁷⁰⁹.

Все надежды — как в прояснении настоящего смысла своего творчества, так и в примирении враждующих сторон — Гоголь возлагал на второй том «Мертвых душ»: «...Из него могли бы все понять и то, что неясно у меня было в прежних сочинениях»⁷¹⁰; «Заговори только с обществом наместо самых жарких рассуждений этими живыми образами <...> и двери сердец растворятся сами навстречу к принятию их...» («Авторская исповедь»); «Я бы хотел <...> чтобы люди самых противоположных мнений сказали обо мне: “Этот человек действительно узнал русскую природу...”» (<Письмо по поводу «Мертвых душ»>).

Таким образом, обращение к истокам полемики Белинского и Гоголя позволяет уяснить, что, с одной стороны, для самого писателя издание «Выбранных мест из переписки с друзьями» не было следствием какого-то перелома или перемены во взглядах, но явилось из вполне понятного желания отстоять подлинный смысл своих прежних созданий, искаженный в интерпретациях Белинского. Именно вокруг этого смысла, понемногу постигаемого, должно было, как полагал Гоголь, состояться объединение враждующих партий. С другой стороны, утверждение Белинского в зальцбруннском письме к Гоголю — «я вас любил» — откуда берет начало разделение писателя на «раннего» и «позднего», никак не может служить основанием для какой бы то ни было периодизации творческого пути писателя, ибо изначально настоящий смысл гоголевских произведений почти исключался из «любви» критика.

* * *

Хотя «реабилитации» своих художественных произведений Гоголь изданием «Выбранных мест из переписки с друзьями» при своей жизни так и не добился, однако одной цели он все-таки определенно достиг: стала, по крайней мере, очевидной суть долгого противостояния и спора его с Белинским, которые проистекали из признания Гоголем несо-

мненного превосходства христианства над западноевропейской цивилизацией, чрезвычайно высоко превозносимой Белинским. Общественное звучание «Выбранных мест...» в этом смысле трудно переоценить. «Религиозно-политическое значение “Переписки”, — писал профессор И. М. Андреевский, — было огромное. Эта книга появилась в то время, когда в незримых глубинах исторической жизни решалась судьба России и русской православной культуры. <...> Что впереди? Расцвет и прогресс безрелигиозной гуманистической культуры или начало предапокалиптического периода мировой истории? Гоголь громко и убежденно заявил, что Истина в Православии и в православном русском самодержавии, и что решается историческое “быть или не быть” православной русской культуры, от сохранения которой зависит и ближайшая судьба всего мира»¹¹¹.

Если попытаться очертить круг проблем, волновавших Гоголя на протяжении всей его жизни и составивших ядро его последней книги, то главной здесь, несомненно, явится мысль, высказанная им в 1844 году в «Правиле жития в мире»: «Начало, корень и утвержденье всему есть любовь к Богу. Но у нас это начало в конце, и мы все, что ни есть в мире, любим больше, нежели Бога». Идея спасения души определяет не только собственно нравственные воззрения Гоголя, но пронизывает и его размышления об истории, сквозит в его эстетических и политических взглядах, прямо обуславливает его «этнографию». Именно эта мысль и придает целостность и глубину осмыслению Гоголем многообразных проблем изображаемой им действительности.

Спасение души, по Гоголю, несомненно возможно только в Церкви — единой Вселенской Апостольской Церкви, частью которой является Русская Православная Церковь, принадлежность к которой сам Гоголь осознает как неоценимый дар: «Поблагодарите Бога прежде всего за то, что вы русской» («Нужно любить Россию»). Очевидно, что любовь Гоголя к России — это любовь к Православию. Ибо именно Православию (а не себе самой) приносит Россия как православная монархия свою сильную лепту — ограждает мир и благочестие своих подданных. Оттого и служение русскому монарху, государственная служба приобретают у Гоголя вполне религиозное значение. Гоголевский монархизм напрямую связан с его мыслью о спасении души. Сохраняющиеся под защитой православной монархии земледельческий быт и патриархальные нравы русского народа, весь строй его жизни, выступают для Гоголя определенным «залогом» и благодатной возможностью каждому взойти со временем по невидимой лестнице духовного совершенствования к Небесной Отчизне. Поэтому-то, по словам Гоголя, и поминает сначала священник за Литургией пред Богом тех, «которые поставлены во главы прочим, которых должности высшие и обязанности труднейшие»: «Молится, в виду Тела и Крови Господней, о Государе <...> да покорит ему под ноги вся-

кого врага и супостата <...> чтобы возможно нам было в тишине тихое и безмолвное прожить житие во всяком благочестии и чистоте...» («Размышления о Божественной Литургии»).

Этому спасительному надежному оплоту российской государственности со всей враждебностью противостоит в мире иная сила, — стремящаяся низвести душу к смерти и аду. В современности эта антихристианская сила воплощает себя, по Гоголю, прежде всего в промышленной цивилизации Запада, ориентированной, с одной стороны, на культивирование исключительно материальных и развращающих человека «потребностей» — «оружия сластей» (комфорта, роскоши и др.), а с другой — на прямое вооруженное насилие (Наполеон). (Примечательно в этом смысле заявление Белинского, высказанное им еще в 1836 году: «...Мы нападки на моды причисляем к числу <...> жалких и ничтожных выходок, как и нападки на роскошь, на блеск и изящество цивилизованной жизни, условия которой так тесно соединены с условиями высшей человеческой жизни. Поэтому мы желаем полного успеха “Вестнику Парижских Мод”, видя в нем необходимое явление нашей общественной жизни»⁷¹².)

Как показывает Гоголь, проникновение в Россию европейских мод, возбуждающих потребительские, низменные инстинкты, внедрение в нее всевозможных модных учений и беллетристики, льстящих самолюбию падшего человека и утверждающих его в мысли о законности «нового» секуляризованного образа жизни («При стези соблазны положиша ми»⁷¹³), приводят к порче нравов образованной части общества и прямо сказываются на экономическом положении народа («...разорить полдеревни или пол-уезда, чтобы доставить хлеб столяру Гамбусу...»).

Эта выдаваемая за прогресс подмена истинных ценностей ведет общество к такой переориентации его жизни, когда действительными «законодателями» для человека становятся не врачующая и спасающая его Церковь, и не монарх-Помазанник, но — посредством соблазнов и лживых учений — «швей, портные и ремесленники всякого рода», прежде всего представители «больших ремесл» — «пророки» новой культуры.

В 1847 году, в зальцбрунском письме, Белинский выговаривал Гоголю: «...Вы не заметили, что Россия видит свое спасение <...> в успехах цивилизации, просвещения, гуманности <...> вот почему какой-нибудь Вольтер <...> больше сын Христа, нежели все ваши попы...»⁷¹⁴. (В свое время сам Белинский к плодам «учености» Вольтера относил «скептицизм, материализм, безверие, разврат и совершенное невежество при обширных познаниях»⁷¹⁵.) «Приглядитесь пристальнее, — добавлял Белинский о «русском народе» в зальцбрунском письме к Гоголю, — и вы увидите, что это по натуре своей глубоко атеистический народ»⁷¹⁶. Выдавая себя, таким образом, за последователя «истинного христианства», Белинский тут же публично от Христа отрекался. «Дивное явление! — вос-

кличал позднее о подобных метаморфозах святитель Игнатий, епископ Кавказский и Черноморский, в связи с подобным же выступлением другого деятеля революционной демократии, Герцена, — ругатель Христа и враг Его принимается объяснять учение Христово»⁷¹⁷. (Заметим, что сама полемика Герцена со святителем Игнатием, открытая им в 1859 году, повторяет во многом спор Белинского с Гоголем. В свою очередь, если вспомнить свидетельство о Белинском Достоевского — как отзывался критик о христианстве в частных беседах⁷¹⁸ — то его письмо к Гоголю 1847 года можно назвать еще весьма сдержанным.)

В эпоху разрушительного вторжения ремесленно-торгашеской европейской цивилизации в патриархальный быт России, в атмосфере псевдоэстетического и псевдоистинного, значение светского художника и светского искусства возрастает, по Гоголю, именно потому, что прежде всего на них, а не на традиционное пастырское поучение и народные обычаи ориентируется общество «нового», европейского типа. Свою задачу Гоголь как художник видит поэтому именно в том, чтобы «выгнать из голов всех тех героев, которых напустили туда модные писатели» («Авторская исповедь»), — то есть в обращении через «светскую проповедь» оторвавшегося от Церкви общества на истинный путь.

Угроза со стороны цивилизации — угроза самой душе человека, не только русского, но и европейца. Самым «цивилизованным» народам — немцам, французам, англичанам, — помимо своего разврата, «новая» культура несет еще и тягостный, бездуховный труд по промышленному производству предметов роскоши, рациональное разделение которого также уродует человеческую душу, превращая человека «в машину» (наброски ко второму тому «Мертвых душ»).

В этом отношении даже российское крепостное право представляется Гоголю злом гораздо меньшим, чем то «рабство греху» (и в нравственном, и в физическом смысле), которое ожидает русского крестьянина в случае его европейской пролетаризации. Потому-то путь действительной отмены крепостного права (а не подмены его зависимостью еще худшей) видится Гоголю прежде всего в постепенном превращении дворянских имений в монастырские, где задача спасения души занимает уже в действительности подобающее ей главное место в жизни человека*.

* К этим чаяниям Гоголя история оказалась наиболее беспощадна. Святитель Игнатий (Брянчанинов) 6 мая 1859 года писал в своем Архипастырском воззвании к Кавказскому духовенству по вопросу об освобождении крестьян от крепостной зависимости: «При таком развитии государственном, при таком материальном развитии, при вторжении в Россию европейских учений, нет надежды, чтобы духовенство могло возвратиться к тому значению и в нравственном и в вещественном отношении, которое оно имело в девственной России» (*Соколов Л.*

При столь явной и исключительной любви Гоголя к России «цивилизованным» европейским народам он противопоставляет также испанцев, итальянцев, калмыков, черкесов... Их быт и нравы кажутся Гоголю столь же выгодно отличающимися от культуры промышленной Европы, как и образ жизни русского народа.

И тем не менее приоритет Гоголь все-таки оставляет за Россией — именно в силу исповедуемого ею Православия. (Западная Церковь не в состоянии противиться общему разрушительному стремлению по причине занятости ее самой делами мира.) Россия в этом смысле является главным оплотом всех здоровых сил человечества в их противостоянии западноевропейской цивилизации.

Однако неприятие цивилизации вовсе не означает у Гоголя вражды к тем народам, которым она стала действительным образом жизни, — народам «низшим в делании добродетели» и наиболее, может быть, нуждающимся в сострадании. Тягостное «деятельное безделье» цивилизованной Европы и Америки, их пагубное рабство греху Гоголь вовсе не считает изначально им присущим. Размышляя об исторических корнях европейской цивилизации как некоей болезни мира, Гоголь видит происхождение этого греховного рабства в соблазнении в эпоху крестовых походов девственной тогда Европы культурой воинственного и изобретательного во всем арабо-мусульманского Востока. (Еще более ранние ростки подобного развития видит Гоголь в культуре «роскошных персов».)

Уходящая, таким образом, своими корнями в язычество, цивилизация получает затем, по Гоголю, свое подлинное «возрождение» с открытием европейцами Америки, когда стремление завладеть американским золотом Испании превращает северную Европу в настоящий центр мировой промышленности — неистощимый в производстве все новых и новых развращающих и подрывающих экономику других стран соблазнов.

Однако, как полагает Гоголь, и в своих модах, и в своем вооружении европейская цивилизация беспомощна перед двумя «средствами» — молитвой и соответствующей ей монастырской организацией быта (доходящей и до полной нестяжательности: «Нищенство есть блаженство...»).

Епископ Игнатий Брянчанинов. Его жизнь, личность и морально-аскетические воззрения. В 2 ч. Киев, 1915. Ч. 2. Прил. С. 46). Мысль о замене «власти господ властью духовною» святитель Игнатий считал «мечтой вполне ложной» и выход из столь безотрадного состояния видел в другом: «Сила и существенное значение духовенства заключается в его характере <...> Стяжем в себе любовь, будем ее оказывать обильно ко всем сословиям: тогда все сословия невольно проникнутся благоговением к нам <...> Человек не может не воздать почтения любви <...> потому что любовь есть Бог, пред Которым смиряется всякое Его создание (1 Иоан. 4, 16)» (Там же. С. 44, 47).

Потому-то в «программу» защиты русским монархом своих подданных Гоголь включает не только задачу ограждения их от внешней опасности, но и прямую пастырскую обязанность — «стремить вверенный ему народ к тому свету, в котором обитает Бог» — «к которому просится Россия», — по слову Апостола: «...Пасите стадо Божие <...> не для гнусной корысти <...> и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду...»⁷¹⁹ («О лиризме наших поэтов»). С мыслью об «исходе» всего человечества от египетского, промышленного рабства греху Гоголь уподобляет русского монарха «древнему Боговидцу Моисею». Как показывает Гоголь, без этой главной мысли не только «цивилизованный» образ жизни, но даже и «монастырский», древнерусский патриархальный быт может стать для человека губительным соблазном. (Забвение об «исходе» и несоответствие этой главной установке жизни того или иного помещика или даже самого русского монарха со всем вверенным ему «кораблем управления» Гоголь переживает особенно остро.)

Таким образом, европейским и неевропейским идеалам «законного» обогащения и борьбы (революции) Гоголь со всей определенностью противопоставляет мысль о временности земного бытия и о принципиально ином назначении человека. В мире, поработанном грехами, человек нуждается, по Гоголю, прежде всего в духовном освобождении. И эти центральные положения гоголевского мирозерцания остаются неизменными на всем протяжении жизни писателя.

В 1882 году профессор Н. Я. Аристов писал: «Немало воды утекло со времени кончины Н. В. Гоголя <...> но доселе его пророчество о самобытном течении русской жизни далеко еще не оправдалось. Иноземщина до такой степени въелась в мозг русских полуиностранцев, что им сначала показался даже диким народный путь, на который указывал гениальный писатель <...> Не понимая своего народа, не зная жизненных его основ, полуобразованные люди преклонялись перед всей заграничной цивилизацией, не находя ничего хорошего в земле своей. Это лакейство перед всем чужим привело к отрицанию исторического склада русской жизни, веры отцов своих, народной формы правления и всего бытового отечественного строя»⁷²⁰. (Очевидно, высказанное позднее, в 1937 году, протоиереем Г. В. Флоровским в его известной книге «Пути русского богословия» мнение о том, что «философские веяния эпохи Гоголя не коснулись» и что «“споры” его современников “о наших европейских и славянских началах”, между <...> славянистами и европистами, представлялись ему сплошным недоразумением»⁷²¹, в свою очередь являются недоразумением. Прот. Г. В. Флоровский основывал свое мнение на ранней работе протопресвитера В. В. Зеньковского 1916 года «Н. В. Гоголь в его религиозных исканиях», в которой Зеньковский, в ту пору профессор Киевского университета, утверждал, что разделение славянофилов и за-

падников «почти совсем не затронуло» Гоголя и что «в иных отношениях» он «остался <...> далеко позади этого трагического раздвоения нашей интеллигенции»⁷²². Позднее, однако, исследователь пересмотрел это свое заключение и пришел к выводу, что в религиозной критике современности и европейской культуры Гоголь превосходил даже славянофилов⁷²³ — а потому занимает «в этой незаконченной работе русского духа почетное место *зачинателя* всего этого течения»⁷²⁴. К сожалению, этот вывод отца Василия Зеньковского никак не отразился в суждениях о Гоголе прот. Г. В. Флоровского.)

«Помилуй меня грешного, прости Господи! — гласит текст одной из предсмертных записок Гоголя.— Свяжи вновь сатану таинственную силою неисповедимого Креста!» Последняя фраза, по словам И. М. Андреевского, «ясно свидетельствует, что Гоголь считал сатану “развязанным”, то есть полагал, что мы уже живем в апокалиптические времена»⁷²⁵. Тем острее вставал тогда перед Гоголем вопрос о спасении души, о ее «защите» перед надвигающимся антихристом. И на этот вопрос Гоголь ответил словами Спасителя в другой своей предсмертной записке:

«Аще не будете малы, яко дети, не внидете в Царствие Небесное».

«РАЗМЫШЛЕНИЯ О БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ»: ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ

Прохожу с Алексеем* объяснение Литургии, дай мне Бог умение учить, чтобы на всю жизнь осталось у них в памяти, чтобы им было в пользу и для развития души.

*Императрица Александра Феодоровна —
А. А. Вырубовой. 24 января 1918 года. Тобольск⁷²⁶.*

24 янв<аря> 1918 г. Тобольск<. Среда. 6—7
<час.> Алексей. Ев<ангелие от> Марка, 9-
10. Объяснение о Литургии. <...>

29 янв<аря>. Понед<ельник>. 12.10 —
1 <час.>. Алексей. Ев<ангелие от> Марка,
10-11. Размышления о Божеств<енной> Ли-
тургии. Н. В. Гоголь.

Дневник Императрицы Александры Феодоровны⁷²⁷.

Обыкновенно считается, что после выхода в свет в 1842 году первого тома «Мертвых душ» и собрания сочинений Гоголя, писатель был исключительно занят вторым томом поэмы, а затем книгой «Выбранные места из переписки с друзьями». При этом принято думать, что над «Размышлениями о Божественной Литургии» Гоголь стал работать гораздо позднее — лишь в самые последние годы жизни, незадолго перед смертью. Поэтому «Размышления о Божественной Литургии» называют обычно последней, или «предсмертной» книгой Гоголя⁷²⁸. Между тем это не так. Как позволяют судить дошедшие до нас материалы, книгу о Литургии Гоголь начал писать еще в 1843 году, сразу после издания своих сочинений — так что работа над «Размышлениями...» современна работе над вторым томом «Мертвых душ» и не последует, а предшествует созданию «Переписки с друзьями». К работе над этой книгой, оставшейся не-

* Наследник Цесаревич Алексей Николаевич.

завершенной и увидевшей свет только после смерти писателя, Гоголь приступил зимой 1843/44 года в Ницце. Это обстоятельство заставляет во многом пересмотреть сложившуюся картину духовного развития писателя.

Тот факт, что работу над «Размышлениями о Божественной Литургии» Гоголь начал еще тогда, когда только что завершил свои главные художественные произведения и продолжал работать над вторым томом «Мертвых душ», ставит перед необходимостью объяснить это одновременное сосуществование столь разножанровых произведений в творчестве Гоголя — и, вследствие этого, заставляет обратить внимание на литургический подтекст в целом ряде гоголевских произведений — как ранних, так и позднейших. Литургическая тема словно выступает у Гоголя за рамки произведения, собственно ей посвященного, и предстает — как по важности, так и по хронологии — в качестве одной из центральных в гоголевском творчестве.

* * *

Непосредственным толчком к созданию книги, вероятно, послужила Гоголю опубликованная в 1843 году без имени автора в журнале «Христианское Чтение» статья известного впоследствии духовного писателя протоиерея Иоанна Яхонтова «О православии Российской Церкви» (статья была отмечена преподобным Макарием Оптинским⁷²⁹). Из этой статьи Гоголь зимой 1843/44 года сделал выписку «О Русской Церкви», которая во многом поясняет замысел его книги о Литургии — сочинения, которое он «хотел сделать <...> народным, пустить в продажу по дешевой цене и без своего имени, единственно ради научения и пользы всех сословий»⁷³⁰. «...Посредством Богослужения,— читаем в гоголевской выписке,— Религия Христианская проникла в самую жизнь, в самое сердце Русского народа, и едва ли мы найдем другой пример, где Религия и Церковь так тесно были соединены с гражданскою и семейною жизнью, как у нас». Особое значение для Гоголя приобрела в этом смысле притча Спасителя о сеятеле, толкование которой он включил в текст своих «Размышлений...», — именно слова о «доброй почве, дающей плод — ово сто, ово шестьдесят, ово тридесят»: о тех, «которые все принятое в себя, по выходе из церкви, возвращают в домах, в семье, в службе...». «Эта добрая почва — русская восприимчивая природа», — пояснял позднее Гоголь в письме к графине А. М. Виельгорской от 30 марта 1849 года.

Мысль о создании народной книги для «научения и пользы всех сословий» Гоголь, очевидно, вынашивал давно. Еще в 1836 году, в рецензии на книгу «Путешествие к Святым Местам, совершенное в XVII столетии Иеродиаконом Троицкой Лавры»⁷³¹, он писал: «Это одна из тех книг, которые больше всего и благоговейнее читаются <...> Прочие

книги русский народ читает для <того> только, чтобы <...> показать себе и другим, что он может прочесть по верхам то, что другой читает по складам — без малейшего внимания к содержанию книги». Пример такого отношения к книге — служащей лишь к праздному времяпровождению — Гоголь изобразил во второй главе первого тома «Мертвых душ» в образе слуги Чичикова Петрушки, который «имел даже благородное побуждение к просвещению, то есть чтению книг, содержанием которых не затруднялся <...> если бы ему подвернули химию, он бы и от нее не отказался. Ему нравилось не то, о чем читал он, но больше самое чтение <...> Это чтение совершалось более в лежачем положении в передней, на кровати и на тюфяке...».

В «Авторской исповеди» Гоголь писал: «...Я полжизни думал <...> о том, как бы написать истинно полезную книгу для простого народа, и остановился, почувствовавши, что нужно быть очень умну для того, чтобы знать, что прежде нужно подать народу. А покуда нет таких умных книг <...> устное слово пастырей Церкви полезней и важней для мужика всего того, что может сказать ему наш брат писатель». В соответствии с этой мыслью Гоголь в статье «Русской помещик» (1846) замечал о русском крестьянине: «По-настоящему ему не следует и знать, есть ли какие-нибудь другие книги, кроме святых». Эту мысль Гоголь пояснял в 1847 году в неотправленном письме к В. Г. Белинскому, возражая на обвинения критика в том, что будто бы он выступает против грамотности. Гоголь писал: «Вы бы устыдились сами того грубого смысла, который вы придали советам моим помещику. Как эти советы ни обрезаны цензурой, но в них нет протеста противу грамотности, а разве лишь протест против развращения народа русского грамотою, вместо того, что грамота нам дана, чтоб стремить к высшему свету человека. <...> Мысль, которая проходит сквозь всю мою книгу, есть та, как просветить прежде грамотных, чем безграмотных <...> Народ меньше испорчен, чем все это грамотное население. [Народ лучше исполняет долг, чем мы]».

Архиепископ Никон (Рождественский) в статье «Гипноз всеобщего обучения» (1912) обращал внимание на толкование Гоголем в «Выбранных местах...» слова «просвещение»: «Вспомните, как определял наш великий Гоголь понятие просвещения. <...> Для жизни не столько нужно обучение, сколько воспитание, и во всяком случае — воспитание в христианском духе есть само по себе добро, а обучение само по себе ни добро, ни зло...»⁷³². Ю. Ф. Самарин в 1863 году писал: «Давно и искренно желали мы выразуметь, что именно подразумевается по словом *цивилизация*, так недавно вошедшим у нас в моду <...> и почти совершенно вытеснившим из употребления слово *просвещение*. <...> Если мы отбросили одно слово, притом слово коренное русское и, по замечанию Гоголя, не переводимое ни на какой европейский язык <...> то надобно предпола-

гать, что это произошло недаром. <...> Не оттого ли <...> понадобилось нам слово *цивилизация*, что мы сохранили какое-то бессознательное уважение к слову *просвещение* и что нам становилось как будто совестно употреблять его по мере того, как самое понятие мельчало, грубело и пошло?»⁷³³.

Для Гоголя представление о подлинном просвещении отнюдь не были к моменту открытой полемики с ним Белинского чем-то новым. Ту же самую мысль — об отвращении от предметов дурных, развращающих (хотя и претендующих на звание высокой «грамотности»), и, напротив, о воспитании интереса к истинно душеполезному — Гоголь и развивал в упомянутой рецензии 1836 года на книгу «Путешествие к Святым Местам...». Тесно связаны с содержанием этой рецензии начальные строки гоголевского «Портрета»: «Нигде не останавливалось столько народа, как перед картинною лавочкою на Шукином дворе. Эта лавочка представляла, точно, самое разнородное собрание диковинок; картины большею частью были писаны масляными красками <...> Зима с белыми деревьями, совершенно красный вечер <...> фламандский мужик с трубкою <...> — вот обыкновенные их сюжеты. <...> Сверх того, двери такой лавочки обыкновенно бывают увешаны связками произведений, отпечатанных лубками на больших листах, которые свидетельствуют самородное дарованье русского человека. На одном была царевна Миликтриса Кирбитьевна, на другом город Иерусалим, по домам и церквам которого без церемонии прокатилась красная краска, захватившая часть земли и двух молящихся русских мужиков в рукавицах. <...> Художник <...> стал думать о том, кому бы нужны были эти произведения. Что русский народ заглядывается на *Ерусланов Лазаревичей*, на *объедал* и *опивал*, на *Фому* и *Ерему*, это не казалось ему удивительным: изображенные предметы были очень доступны и понятны народу; но где покупатели этих пестрых, грязных малеваний? кому нужны эти фламандские мужики, эти красные и голубые пейзажи, которые показывают какое-то притязание на несколько уже высший шаг искусства, но в котором выразилось все глубокое его унижение?».

Можно догадываться, что именно имел в виду Гоголь под «грязными малеваниями», претендующими «на несколько уже высший шаг искусства». Гоголю, посещавшему в 1830—1833 годах классы Академии художеств, было, вероятно, хорошо известно — в той или другой форме — одно из положений, выдвинутых в начале 1830-х годов петербургским Обществом Поощрения Художников: «Насмотревшись на прелестные парижские литографии в окнах магазинов, даже *крестьянин* будет смотреть не теми глазами на произведения лубочной печати, которые прежде восхищали его»⁷³⁴. Скрытая полемика с этим утверждением слышна не только в первых строках «Портрета», но и в повестях Гоголя «Нос» и

«Шинель», где упоминаются выставленные в «окошках магазинов» соблазнительные французские литографии с нескромными изображениями. Poleмику с «просвещенными» поощрителями художеств Гоголь прямо продолжает в рецензии на книгу «Путешествие к Святым Местам...»: «Путешествия в Иерусалим производят действие магическое в нашем народе. <...> Нередко русской мешанин сколько-нибудь ученый, бросив дела, отправлял<ся> сам в Иерусалим или Цареград и даже издавал книгу, которую жадно покупали у разносчиков, пропуская множество картин, висящих на шнурочке у него на плечах, несмотря на то, что многие из них разрисованы всякими красками».

Со слов С. Т. Аксакова известно, что сам Гоголь, получив в 1842 году от преосвященного Иннокентия (Борисова), епископа Харьковского (впоследствии архиепископа) благословение на паломничество в Иерусалим, обещал Ольге Семеновне Аксаковой написать книгу о Святой Земле: «Ольга Семеновна сказала ему, что теперь она ожидает от него описания Палестины, на что Гоголь отвечал: “Да, я опишу вам ее, но для того мне надобно очиститься и быть достойну”»⁷³⁵. Статья «Жизнь», опубликованная за семь лет перед тем, в 1835 году, в «Арабесках», в которой Гоголь как бы обращает взор к «каменистой земле» Иудеи, в свою очередь приоткрывает это заветное желание Гоголя, — «бросив дела», отправиться в Иерусалим и написать истинно полезную для всех книгу, «которую бы жадно покупали у разносчиков».

Одна из гоголевских учениц в Патриотическом институте благородных девиц позднее вспоминала, что исторические лекции Гоголя в первой половине 1830-х годов вызывали у юных слушательниц глубокий интерес к истории христианства и, вместе с рассказами одной из сокурсниц, будили желание совершить со временем паломничество в Святую Землю: «Слушая <...> ее, мы увлекались рассказами о путешествиях в разные пустыни и монастыри, также как увлекались рассказами Гоголя о средних веках, о крестовых походах; то и другое охватывало нас и мы мечтали о путешествии целым отделением в Святую Землю»⁷³⁶ *.

Преподобный Оптинский старец Варсонофий так говорил о духовном пути Гоголя: «Гоголя называли помешанным. За что? — За тот духовный перелом, который в нем произошел и после которого Гоголь твердо и неуклонно пошел по пути богоугождения, богослужения. <...> В душе Гоголя <...> всегда жила неудовлетворенность жизнью, хотелось

* Примечательно, что и самый первый вопрос, который задал Гоголь своим ученицам 10 марта 1831 года при вступлении в должность учителя истории в Патриотическом институте, был вопрос из Священной истории: «Кто жил у Евреев в таком-то году?» (Записки институтки // Семейные Вечера. Отдел для юношества или семейного чтения. 1873. № 5. С. 162).

ему лучшей жизни, а найти ее он не мог. «Бедному сыну пустыни снился сон...» — Так начинается одна из статей Гоголя («Жизнь». — *И. В.*)... и сам он, и все человечество представлялось ему в образе этого бедного сына пустыни. Это состояние человечества изображено и в Псалтири, там народ Божий, алча и жаждая, блуждал в пустыне, ища Града обительного, и не находил. Так и все мы алчем и жаждем этого Града обительного, и ищем его, и блуждаем в пустыне»⁷³⁷.

Можно добавить, весь замысел статьи Гоголя «Жизнь», изображающей, в соответствии с пророчеством Даниила⁷³⁸, падение языческих царств пред лицом грядущего Царства Спасителя, оказывается как бы целиком сосредоточенным в одном из богослужебных гимнов — первой песни воскресного канона Пресвятой Богородице четвертого гласа (в «Октоихе»): «Сотрясошася людие, смятошася языцы, царствия же державная уклонишася, Чистая, от страха Рождества Твоего: прииде бо Царь мой и низложи мучителя, и мир от тли избави».

Надо сказать, что внимательное отношение к совершаемому на Литургии было свойственно Гоголю не только в зрелом возрасте, но еще в ранних, юношеских годах — со времени его пребывания в Нежинской гимназии высших наук в 1821 — 1828 годах. Здесь следует иметь в виду, что именно к началу обучения Гоголя в школе религиозному образованию в светских учебных заведениях России стало уделяться повышенное внимание. Это объяснялось особой политической обстановкой эпохи. В 1815 году, после окончательного низложения Наполеона I, был основан религиозно-политический «Священный Союз» трех европейских монархов: Австрийского, Прусского и Российского, — к которому в продолжение 1815—1817 годов примкнули большинство королей и герцогов Западной Европы. В сознании Александра I основание «Братского Христианского Союза» было связано с мыслью о необходимости сплочения христианских сил мира перед его близкой кончиной⁷³⁹. Одним из главных проводников идей Священного Союза в России стало особое соединенное министерство, созданное в октябре 1817 года, — Министерство духовных дел и народного просвещения. В манифесте о создании этого «сугубого» министерства причиной его образования объявлялось желание правительства, «дабы Христианское благочестие было всегда основанием истинного просвещения»⁷⁴⁰.

В деятельности нового министерства, во главе которого встал князь А. Н. Голицын, были и негативные стороны — прежде всего распространение идей так называемого «универсального христианства», размывавших границу между истинным, православным вероучением и заблуждениями инославных конфессий. Голицын как министр народного просвещения допускал печатание книг, противоречивших учению Православной Церкви. Это «внеконфессиональность» сугубого министерства

открывала широкую дорогу тем самым началам, борьбой с которыми и объяснялось его создание — и которым, в частности, была обязана Нежинская гимназия — во время обучения здесь Гоголя — возникновением так называемого «дела о вольнодумстве»⁷⁴¹ (аналогичного с такими же политическими расследованиями в Казанском, Петербургском, Харьковском и других российских университетах).

Не останавливаясь на негативных сторонах деятельности Министерства духовных дел и народного просвещения (противоречивый характер влияния которого многое может прояснить в «загадочной» личности Гоголя, прошедшего в юности эту школу), отметим, что в целом на христианское воспитание детей в эпоху князя А. Н. Голицына (а также позднее) стало обращать гораздо больше внимания, чем в предшествующий период александровского царствования. Это непосредственно обусловило характер образования в Нежинской гимназии высших наук, распорядок дня которой включал в себя обширную программу религиозного воспитания.

Своего устава нежинская Гимназия при открытии не получила и должна была руководствоваться, вплоть до февраля 1825 года, уставом Ришельевского лицея в Одессе⁷⁴². Согласно этому уставу, составленному князем А. Н. Голицыным и утвержденному 2 мая 1817 года Императором Александром I, христианское воспитание лежало в основе обучения лицейстов: «В образовании Ришельевского Лицея закон Божий и познание правил веры Христианской будут главным основанием учения и воспитания. Молитвы в определенное время, чтение Священного Писания, поучения и наставления Священника, который будет и законоучителем, поставляются непременно правилом во все продолжение воспитания»⁷⁴³. С этой целью предписывалось «устроение посреди самого Лицея церкви Греко-Российского исповедания». При храме должен был жить священник — лицейский законоучитель, «коего всегдашнее присутствие с детьми и собственный пример послужат, так сказать, живым уроком для благочестивой жизни» (законоучителя полагалось избирать из числа монашествующих или из овдовевших священников). Закону Божию воспитанники должны были обучаться ежедневно по одному часу: сначала на этих уроках давалось «краткое понятие о географическом положении Земли Обетованной», История Ветхого и Нового Завета; затем изучались «догматы и нравственные правила веры Христианской» — Символ веры, таинства, заповеди и церковные обряды. Питомцам полагалось «вытверживать ежедневно наизусть по два или по три стиха из Св. Писания». Раз в неделю священник должен был спрашивать у воспитанников выученное и давать задание на следующую неделю; кроме того каждое утро выученный урок проверяли гимназические надзиратели⁷⁴⁴. Уставом Ришельевского лицея предписывалось проведение общих молитв воспитан-

ников с священником и наставниками в «общей зале» — утренних с 6-ти часов утра и вечерних с 20 часов 45 минут. Четверть часа перед вечерней молитвой священник читал книги духовного содержания. Непосредственно перед началом уроков, а также по окончании их читались «краткие молитвы, нарочно для сего сочиненные». По воскресным дням и большим праздникам, перед Божественною Литургией, священник произносил проповедь — «приличное тому дню поучение»⁷⁴⁵.

Распорядок дня в Нежинской гимназии во многом соответствовал предписаниями Ришельевского устава. День традиционно начинался и оканчивался общей молитвой; ежедневно полчаса перед классными занятиями посвящалось чтению Нового Завета⁷⁴⁶. Согласно «Расположению учебных предметов в Гимназии высших наук князя Безбородко 1820-го года», составленному первым директором гимназии В. Г. Кукольником и действовавшему также в 1821 году, два раза в неделю два часа отводилось на изучение Закона Божия. Помимо учебных занятий (продолжавшихся с 8-ми до 16-ти часов), каждый день с воспитанниками «в 6-м часу пополудни» проводились занятия по книге «Чтения из четырех Евангелистов и из книги Деяний Апостольских, для употребления в училищах» (СПб., 1819). По воскресеньям полагалось «чтение Священных Книг»⁷⁴⁷.

Кроме «Чтений из четырех Евангелистов...», в качестве учебных пособий в гимназии применялась книга: Краткая Священная история Церкви Ветхого и Нового Завета, изданная для народных училищ Российской империи. Рассматривается Святейшим Синодом. Тиснение 13-е. СПб., 1822. 18 ноября 1822 года департамент Министерства народного просвещения выслал, по просьбе директора И. С. Орлая, в Нежинскую гимназию 50 экземпляров «Священной истории», 160 экземпляров «Сокращенного катехизиса», 60 экземпляров «Пространного катехизиса», 10 экземпляров «Изъяснений Евангелия». В конце 1822 года инспектор гимназического пансиона К. А. Моисеев принял в заведование следующие пособия ученической библиотеки для пансионеров: 40 экземпляров «Священной истории» (сокращенной), 40 экземпляров «Сокращенного катехизиса», 10 экземпляров «Чтений из четырех Евангелистов...»⁷⁴⁸. Согласно расписанию занятий, составленному В. Г. Кукольником, в шестом классе предполагалось «чтение творений св. Иоанна Дамаскина и других сочинителей церковных песен», в седьмом — «чтение св. Иоанна Златоустого и Амвросия Медиоланского»⁷⁴⁹. Сын бывшего директора, Н. В. Кукольник, вспоминал, что законоучитель гимназии протоиерей П. И. Волинский преподавал «сокращенный катехизис, священную историю, пространный катехизис». «...Сверх того, — добавлял Кукольник, — читал с нами превосходную книжку, которой, к сожалению, теперь уже не встречаю. Это толкование Евангелий»⁷⁵⁰.

Согласно «Расписанию учебных предметов для шести классов и трех отделений», составленному в 1822 году И. С. Орлаем, «за полчаса до начатия классов» в гимназии прочитывалась «одна глава из Священного Писания Нового Завета», два раза в неделю преподавался Закон Божий⁷⁵¹. Общее «христианское говение и принятие Св. Таин евхаристии» совершалось от самого открытия гимназии. В частности, сохранились сведения о двукратном приобщении воспитанников Св. Таин в 1821 году — 26 февраля (по древнему обычаю, в субботу первой седмицы Великого Поста) и 29 августа, в день Усекновения главы Иоанна Предтечи⁷⁵². 22 июня 1824 года в гимназии была освящена домовая церковь во имя священномученика Александра, иерея Сидского в Памфилии (память совершается 15 марта ст. ст.) — до этого воспитанники ходили в приходскую церковь⁷⁵³. Первыми старостами гимназического храма стали инспектор пансиона К. А. Моисеев и профессор российской словесности П. И. Никольский⁷⁵⁴. Из пансионеров гимназии составил хор певчих, которым заведовал учитель музыки, пения и танцев Ф. Е. Севрюгин⁷⁵⁵.

Добавим, что атмосфера церковности царила и в самом городе, где располагалась гимназия. Всего в Нежине была двадцать одна церковь и два монастыря, из которых один, Благовещенский, называемый Назарет Пресвятыя Борогодицы, был основан в 1702 году уроженцем Нежина, местоблюстителем Патриаршего престола преосвященным Стефаном Яворским⁷⁵⁶.

Сохранился протокол конференции Нежинской гимназии за март 1825 года, сообщающий о торжественном богослужении в первый храмовый праздник Гимназии⁷⁵⁷. Такого же рода торжественные богослужения устраивались в Александровской церкви и в другие праздничные дни⁷⁵⁸, в частности, ее уставом было определено торжественно отмечать день его утверждения⁷⁵⁹. Употреблялось в Нежинской гимназии, в соответствии с уставом Ришельевского лицея, и заучивание воспитанниками наизусть «по два или по три стиха из Св. Писания»⁷⁶⁰.

В апреле 1825 года Гимназия получила собственный устав (утвержденный 19 февраля)⁷⁶¹. По словам Н. В. Кукольника, «существо содержания этого устава ни в чем не разнилось от заведенного уже по всем частям порядка»⁷⁶². Согласно присланному уставу, «утверждение в вере и благочестии» являлось «важнейшею и первою обязанностью в воспитании». «Вера Христианская,— говорилось в уставе,— единственное основание истинного образования сердца и ума юных питомцев, должна составлять главнейший предмет и одушевлять вообще весь курс ученья по всем предметам оногo <...> все противное тому терпимо быть не может, и директор с конференциею за то ответственуют». В распорядке дня время с 6 до 7 утра полагалось на одевание, молитву и завтрак; с 9 до 10 вечера — на вечернюю молитву и раздевание. Ставилось целью «приучить

воспитанников, чтоб они ничего в течении дня не начинали и не оканчивали без приличной молитвы, как-то: при вставании с постели и пред отхождением ко сну, при начале и по окончании ученья». Чтение Священного Писания — «за полчаса до начала уроков» — поставлялось «в качестве ежедневной обязанности воспитанников во все время воспитания их в сем заведении», причем «исполнение утренних и вечерних христианских обязанностей и чтение Св. Писания» во время каникул предписывалось продолжать «с тою же точностью, как и в учебное время». По вечерам в гимназии полагалось «назидательное чтение книг духовных». Подтверждалось в уставе гимназии и заучивание наизусть «некоторых текстов, наипаче из Нового Завета». Законоучитель гимназии, «из духовных особ», являлся духовником воспитанников пансиона, отправлял богослужение в гимназической церкви, присутствовал на утренних и вечерних молитвах, выслушивал выученные гимназистами тексты и изъяснял читаемое в Св. Писании. «Говение по долгу христианскому, исповедь и приобщение Св. Таин» надлежало «наблюдать ежегодно в определенное время». По воскресным и праздничным дням воспитанники посещали церковь «к слушанию Божественной Литургии», и «пред оною, или после оной» священник читал «поучение, относящееся к читаемому Евангелию и Апостолу».

Так же, как в уставе Ришельевского лицея, обращалось внимание на значение личного примера наставников: «Самое верное средство к внушению юношеству любви ко всему истинному и доброму есть страх Божий. Добрые примеры, христианский образ жизни наставников и чтение книг назидательных ведут к благочестию надежнее всех наставлений устных. <...> Инспектор и надзиратели должны иметь неусыпный присмотр за нравственным поведением воспитанников. Паче всего они должны служить им собственным живым примером благочестивой жизни...»⁷⁶³.

В целом можно сказать, что образование в Нежинской гимназии во многом напоминало семинарское. Сам Гоголь в стихотворении, написанном в 1836 году совместно со школьным товарищем А. С. Данилевским, в шутку называл Нежинскую гимназию «бурсой» («Да здравствует нежинская бурса...»). Н. В. Кукольник в свою очередь иронически именовал гимназию «монастырем мудрости» и сообщал, что предполагает «заключиться» в него, «возложив на себя знаки монашеского смирения» (письмо к Н. Я. Прокоповичу от 29 июля 1825 года)⁷⁶⁴. Множество подробностей быта Нежинской гимназии были впоследствии использованы Гоголем при воссоздании бурсацкого быта в его «малороссийских» повестях, «Тарасе Бульбе» и «Вии» (перечисление этих подробностей составило бы предмет отдельной работы). Нежинский профессор Н. Я. Аристов позднее замечал: «С 1817 г. главным основанием учения и воспитания юношей <было> поставлено религиозное просвещение, система образова-

ния основалась на началах Священного Союза, из школы делали монастырь»⁷⁶⁵.

Не всегда оправданный в деле духовного образования принудительный характер, который отчасти носило религиозное воспитание в Нежинской гимназии, привел к тому, что этим воспользовались, для пропаганды своих взглядов, некоторые «прогрессивные» — связанные друг с другом тесными масонскими узами — профессора гимназии (Н. Г. Белоусов, Ф. И. Зингер, И. Я. Ландражин, К. В. Шапалинский). Пройдя в юности школу государственно-принудительного религиозного воспитания, Гоголь впоследствии критически оценивал злоупотребление подобной практикой. Он считал, что и без принуждения душе ребенка присуще стремление к Богу. Однажды, в 1851 году — уже в то время, когда работа над книгой о Литургии была близка к завершению, в присутствии писателя было рассказано «об одной девочке, которую заставили сохранять свято воскресенье у англичан. Когда ей говорили о Боге, она отвечала: “Ах, нет! Слишком будет скучно!”». Гоголь заметил: «Странно требовать от детей больше того, чтобы они ходили в церковь», — и на вопрос светской дамы: «Не лучше ли им бегать и резвиться во воскресенья?» — ответил, перефразируя евангельское изречение: «Когда от нас требуется, чтобы мы были, как дети, какое же мы имеем право от них требовать, чтобы они были, как мы?»⁷⁶⁶.

Следует также иметь в виду, что атмосфера, созданная «прогрессивными» преподавателями вокруг остальных профессоров, не позволяла учащимся по достоинству оценить их взгляды. Один из главных обвиняемых по «делу о вольнодумстве» профессор Н. Г. Белоусов (оказывавший значительное влияние на гимназистов, в том числе Гоголя) откровенно враждовал против законоучителя гимназии протоиерея Павла Ивановича Волинского и побуждал к тому же учеников. Согласно донесению третьего директора гимназии Д. Е. Ясновского члену Главного правления училищ Э. Б. Адеркасу от 27 апреля 1830 года, «все ученики, а еще более пансионеры знали неуважение г. Белоусова к бывшему законоучителю <...> в классе законоучителя производили самые дерзкие шалости, пока, по жалобам законоучителя и донесениям эзекутора, не были удержаны наказаниями»⁷⁶⁷.

В 1901 году В. И. Шенрок, имея в виду шуточное упоминание Гоголя в письме к школьному приятелю Г. И. Высоцкому от 17 января 1827 года из Нежина о «Батюшечке» — законоучителе гимназии протоиерее П. И. Волинском («Демиров-Мишковский, Батюшечка и Урсо кланяются по поясу»), пояснял: «Священник законоучитель Волинский, по словам Данилевского, “большой враг Гоголя”, которого он часто наказывал...»⁷⁶⁸ (А. С. Данилевский умер в 1888 году — за тринадцать лет до публикации Шенроком этого свидетельства). В связи со свидетельством Данилев-

ского В. И. Шенрок указывал, что в «конduitных списках» гимназии сохранилась следующая запись (от 20 декабря, год не установлен): «Н. Яновский за то, что он занимался во время Класа Священника с игрушками, был без чаю»⁷⁶⁹ (вероятно, эта запись относится к 1822—1823 годам, когда Гоголь получал по Закону Божию неудовлетворительные и посредственные отметки⁷⁷⁰ *). Однако задолго до публикации Шенрока, в 1881 году, один из школьных учителей Гоголя, И. Г. Кулжинский, утверждал: «Гоголь был не только гениальный писатель, но и христианин в собственном смысле этого слова. Нет сомнений, что лучшие его религиозные воззрения и симпатии воспитывались в церкви, и в особенности в церкви того заведения, где он учился»⁷⁷¹. Историк А. И. Маркевич в 1895 году в свою очередь отмечал: «Мне пришлось учиться в этой самой гимназии лет 30 после того, как оставил ее Гоголь; но так как слава его озарила и гимназию и самый г. Нежин, то они были еще полны Гоголем <...> Немногому мог научиться Гоголь в гимназии; единственный профессор, имевший на него сильное влияние, был богослов, что не осталось без значения в дальнейшей жизни Гоголя»⁷⁷². Предание о влиянии на Гоголя протоиерея Павла Ивановича Волынского, сохранившееся в Нежине, передавал также законоучитель Лицея князя Безбородко (с 1871 года) профессор протоиерей А. Ф. Хойнацкий, высоко оценивавший преподавательскую деятельность отца Павла и прямо связывавший с религиозным образованием Гоголя в Нежинской гимназии создание им книги о Литургии: «...Ко времени такового преподавания Закона Божия с нравоучительным любознанием относится обучение в гимназии высших наук князя Безбородко Н. В. Гоголя <...> и В. К. Каминского <...> И тот и другой, как известно, отличались выдающимся религиозно-мистическим направлением. Гоголь написал даже “Размышления о Божественной Литургии”, а Каминский скончался в самом Иерусалиме, куда два раза нарочно путешествовал для поклонения Святым Местам»⁷⁷³.

Протоиерей А. Ф. Хойнацкий указывал, преподавание в высших классах одной из дисциплин — так называемой нравственной философии или этики — выгодно отличало лицей от прочих учебных заведений. В основу преподавания протоиереем Павлом Волынским было положено чтение Нового Завета с объяснениями св. отцов и учителей Церкви — Василия Великого, Иоанна Златоуста, Амвросия Медиоланского и др. На

* «Приводимые биографами Гоголя отметки о его лености, непослушании, дерзости, неопрятности относятся еще ко времени пребывания Гоголя в низших классах гимназии, и эти проступки его очевидно не выходят за пределы детских провинностей, от которых не свободен кондуит любого гимназиста и до наших дней» (*Сребницкий И. А.* Материалы для биографии Н. В. Гоголя из архива Гимназии высших наук // Гоголевский сборник. Киев, 1902. С. 305—306).

уроках читались также статьи из «Христианского Чтения» — журнала, который впоследствии во многом определил характер образования Гоголя. Именно это направление, «господствовавшее в гимназии высших наук при преподавании нравоучительного любомудрия, на началах св. отцов», имело, по мнению протоиерея А. Ф. Хойнацкого, решающее влияние на «умственный склад и религиозный характер» Гоголя и В. К. Каминского⁷⁷⁴.

Очевидно, именно в нежинский период жизни Гоголя были заложены основы для дальнейшего становления его как духовного писателя, автора «Размышлений о Божественной Литургии». В. И. Любич-Романович, рассказывая о пребывании Гоголя в Нежинской гимназии в 1822—1823 годах, вспоминал, что в церкви он «молитвы слушал со вниманием, иногда даже повторял их нараспев, как бы служа сам себе отдельную литургию»⁷⁷⁵. По свидетельству Н. В. Гербеля, в числе дисциплин, преподававшихся в Нежинской гимназии, было и толкование Литургии: «...преподавались <...> здесь следующие предметы: пространный катихизис, священная и церковная история, толкование Литургии, толкование воскресных и праздничных Евангелий, чтение из Ветхого и Нового Завета...»⁷⁷⁶. Согласно расписанию занятий, составленному В. Г. Кукольниковом, в шестом классе гимназии полагалось изучение «обрядов Богослужений, причин, времени и цели их учреждения»⁷⁷⁷. Само приобщение Св. Таин в гимназии сопровождалось наставлениями священника, служившими «к изъяснению причины установления, важности и необходимости сего священного долга для всякого человека»⁷⁷⁸. Вероятно, еще со школьной скамьи Гоголю была известна многократно переиздававшаяся книга протоиерея Г. И. Мансветова «Краткое изъяснение на Литургию» («собранное из разных писателей придворным протоиереем Григорием Мансветовым»; СПб., 1822; 2-е изд. 1825; — 9-е изд. 1894). Также могло быть известно Гоголю «Краткое толкование на Литургию. В пользу благородных воспитанниц Общества благородных девиц и Училища ордена Св. Екатерины, из разных церковных писателей извлеченное законоучителем протоиереем и кавалером Иаковом Воскресенским» (книга отца И. И. Воскресенского, протоиерея Исаакиевского собора, законоучителя Екатерининского института, издавалась трижды, с посвящением Императрице Марии Феодоровне: СПб., 1815; 2-е изд. 1820; 3-е изд. 1822). Неоднократно издавалось и его сочинение «О церкви, утварях, службах и облачениях церковных с изъяснением таинственного знаменования оных» («почерпнуто из церковных писателей протоиереем и кавалером Иаковым Воскресенским»; СПб., 1821; 2-е изд. 1825).

Религиозное образование, полученное Гоголем в семье и школе, постоянно питало его художественное творчество — и во многом определило дальнейшее развитие. Желание сделаться духовным писателем в собственном значении этого слова окончательно созрело у Гоголя к 1843-му

году. Гоголь составляет тогда для своих друзей ряд «правил» духовно-нравственного содержания, читает тетрадку своих юношеских извлечений из «Лествицы», делает новые выписки из творений святых отцов, из поучений современных духовных пастырей, из богослужебной Минеи, перечитывает Библию. Именно тогда он и приступает к работе над книгой о Литургии. Однако намерение написать книгу о Божественной Литургии было тогда же на время оставлено. «...Не готов я был тогда для таких произведений, к которым стремилась душа моя», — признавался Гоголь А. О. Смирновой в письме 2 апреля н. ст. 1845 года. Результатом попытки употребить дарованный талант по-новому — открыто поставив его на служение Богу и спасение людям, стала книга гоголевских писем «Выбранные места из переписки с друзьями». Но работа над «Размышлениями о Божественной Литургии» тем не менее продолжалась и позднее.

Одно из писем Гоголя той поры — к Н. М. Языкову от 4 ноября н. ст. 1843 года — содержит в себе совет, как «испросить вдохновенья» на творчество — «узнать хотение Божие»: «...Для этого нужно взглянуть разумными очами на себя и исследовать себя: какие способности, данные нам от рождения, выше и благороднее других, теми способностями мы должны работать преимущественно, и в сей работе заключено хотение Бога, иначе они не были бы нам даны. Итак, прося о пробуждении их, мы будем просить о том, что согласно с Его волею <...> Но нужно, чтобы эта молитва была от всех сил души нашей. Если такое постоянное напряжение хотя на две минуты в день соблудости в продолжение одной или двух недель, то увидишь ее действия непременно. К концу этого времени в молитве окажутся прибавления <...> И за вопросами в ту же минуту последуют ответы, которые будут прямо от Бога. Красота этих ответов будет такова, что весь состав уже сам собою превратится в восторг; и к концу какой-нибудь другой недели увидишь, что уже все составилось, что нужно <...> стоит только взять в руки перо и писать».

«Очевидно, — замечал по поводу этого письма протоиерей Г. В. Флоровский, — Гоголь практиковал такую молитву»⁷¹⁹. Однако употреблявшийся Гоголем подход исследователь называл «очень опасной теорией молитвы» и усматривал в нем отражение западного влияния. Существует и другая точка зрения на описанный Гоголем в письме к Языкову образ молитвы. Протоиерей И. И. Троицкий в 1909 году писал: «...Не путем только *реальным*, посредством бдительного напряженного наблюдения над людьми в жизни и изучения их в жизненной обстановке, наш писатель приобретал знание души человеческой. К этому он приходил и путем *благодатным*, испрашивая дарование “душеведения” у Подателя всяческих даров — Отца Небесного. Полное искренности свидетельство об этом находится в письме Гоголя к Н. М. Языкову. <...> Так, с молитвой приступал к составлению своих произведений наш глубоковерующий

писатель; молитвой поддерживал в себе дух писателя и молитвой благодарственной оканчивал свои писательские труды»⁷⁸⁰.

Пожалуй, наиболее яркий пример наличия у Гоголя в художественном произведении литургической темы заключается в его повести-эпопее «Тарас Бульба». Как уже отмечалось, знаменитая сцена мученической смерти Остапа прямо соотносится с гефсиманским молением Сына к Своему Небесному Отцу перед Его крестными страданиями. После создания «Тараса Бульбы», в 1836 году Гоголь вплотную поставил перед собой задачу создания образа положительного героя современности — «нашего честного, прямого человека, который среди несправедливостей, ему наносимых <...> исполнен той же русской безграничной любви к Царю своему, для которого бы он и жизнь <...> готов принести, как незначущую жертву. Пусть он <...> не разглагольствует об этих чувствах, но упорно хранит в душе их, как старую свою святыню <...> воспитанную тысячелетием» («Петербургская сцена в 1835—1836 г.»).

Позднее, в книге о Литургии, Гоголь внес в эти размышления одну существенную поправку: «Поклонение отдается нами и земным властям; обожанье, уваженье, покорность мы воздаем и людям, но жертву — единому Творцу». Однако сама идея служения Богу и Отчизне как жертвы — идея, «воспитанная тысячелетием» христианства на Руси, определила весь духовный строй последующей гоголевской мысли, стала центральным звеном, объединяющим его раннее и позднее творчество.

Именно образ готового к самопожертвованию незаметного честного труженика — такого, каким бы должен был стать в действительности погубивший свой талант в «мертвой бумажной переписке» Акакий Акакиевич Башмачкин, — явился одним из важнейших для «Выбранных мест из переписки с друзьями». Его имеет в виду Гоголь, когда упоминает в письме к А. О. Смирновой «Что такое губернаторша» о неподкупном уездном судье М*** уезда — которого она, как «губернаторша», вызвала к себе с тем, чтобы «почтить его радушным угощением и дружеским приемом за прямоту, благородство и честность». «Мне нравится при этом случае то, — добавлял Гоголь, — что судья (который, как оказалось, был просвещеннейший человек) одет был таким образом, что его <...> не приняли бы в переднюю петербургских гостиных». В том же письме Гоголь, говоря о необходимости занятия дворянами «невидных должностей и неприманчивых мест» провинциального управления, опять напоминает о «жертве»: «...ни в каком случае не должно упускать из виду того, что это те же самые дворяне, которые в двенадцатом году несли все на жертву, — все, что ни было у кого за душой». О «невидимых подвигах и высоких, но тайных жертвах» говорил у Гоголя, вспоминая об Отечественной войне 1812-го года, и помещик Тентетников в одной из недошедших до нас глав второго тома «Мертвых душ»⁷⁸¹.

Всё того же неизвестного честного труженика имеет в виду Гоголь и когда обращается в «Переписке с друзьями» к поэту Н. М. Языкову с призывом возвеличить «в торжественном гимне незаметного труженика, какие, к чести высокой породы русской, находятся посреди отважнейших взяточников, которые не берут даже и тогда, когда все берет вокруг их». Непосредственно к самому этому безвестному «труженику» — своему читателю — обращается Гоголь в письме «Напутствие»: «Все вижу и слышу: страдания твои велики. <...> Но вспомни <...> всех нас озирает свыше Небесный Полководец, и ни малейшее наше дело не ускользает от Его взора».

Еще в 1842 году образ страдающего, но не изменяющего голосу совести честного чиновника появился у Гоголя в «Театральном разезде...». Один из героев пьесы по поводу его восклицает: «Да хранит тебя Бог, малознаемая нами Россия! В глуши, в забытом углу твоём, скрывается подобный перл, и, вероятно, он не один. Они, как искры золотой руды, рассыпаны среди грубых и темных ее гранитов».

Образ честного труженика — «очень скромно одетого человека» — был, в частности, навеян Гоголю письмом к нему матери. 1 сентября 1842 года он отвечал ей: «Из всех подробностей письма вашего <...> более всех остановило меня известие ваше о чиновнике, которого вы встретили в Харькове <...> скажите или напишите ему, что его благородство и честная бедность среди богатеющих неправдой найдут ответ во глубине всякого благородного сердца, что уже есть выше многих наград <...> Везде найдется благородная душа, которая откликнется ему и осветится сама силой его подвига; ибо прекрасные подвиги сообщаются, и есть много тайн во глубине души нашей, которых еще не открыл человек и которые могут подарить ему чудные блаженства. Если вы почувствуете, что слово ваше нашло доступ к сердцу страдающего душою, тогда идите с ним прямо в церковь и выслушайте Божественную Литургию. Как прохладный лес среди палящих степей, тогда примет его молитва под сень свою. И Тот, Кто умел все в жизни претерпеть за нас, Тот вооружит твердостью и силой его душу, о которые разлетятся земные несчастья».

Как позволяют судить строки черновика этого письма, упоминание здесь о Литургии связано именно с представлением Гоголя о всяком подвиге как «жертве» — подобной Жертве, приносимой за весь мир на Литургии. «Скажите ему, — писал Гоголь матери, — <...> что как бы ни казалась ему ничтожна приносимая им доля на жертвенник правды, эта малая доля многое сделает. <...> Тот, Кто все вытерпел из любви к человеку <...> Тот услышит и оценит всякую жертву...».

Несомненно, Гоголю было хорошо известно употребление слова «литургия» в значении «общественное служение или служба». Об этом значении, в частности, упоминал — со ссылкой на св. Иоанна Златоуста —

И. И. Дмитриевский, чьими изъяснениями на Литургию Гоголь пользовался в работе над «Размышлениями...»: «Св. Златоуст называет литургию благочестивую жизнь всякого христианина». «Верховнейшая минута» Евхаристии, пресуществление, писал Гоголь в книге о Литургии, «есть минута и Жертвоприношение, и напоминанья всякому о жертве Творцу».

Соответствующим образом Гоголь осмыслял и проблему государственного строительства. О Государе Гоголь писал: «...обративши все <...> как бы в собственное тело свое <...> молясь <...> о страждущем народе своем, Государь приобретет тот всемогущий голос любви <...> который один может только внести примирение во все сословия...». — Слова эти представляют прямую реминисценцию 12-й главы Первого послания св. апостола Павла к Коринфянам: «Якоже бо тело едино есть и уды имать многи <...> тако и Христос <...> И аще страдает един уд, с ним страдают вси уди...» (ст. 12, 26). «На корабле своей должности и службы, — писал Гоголь, — должен теперь всяк из нас выноситься из омута, глядя на Кормщика Небесного. Кто даже и не в службе, тот должен теперь же вступить на службу и ухватиться за свою должность, как утопающий хватается за доску, без чего не спастись никому. Служить же теперь должен из нас всяк не так, как бы служил он в прежней России, но в другом небесном государстве, главой которого уже Сам Христос...». «...После долгих лет и трудов, — повторял писатель в «Авторской исповеди», — <...> я пришел к тому, о чем уже помышлял во время моего детства: что назначенье человека — служить и вся жизнь наша есть служба. Не забывать только нужно того, что взято место в земном государстве затем, чтобы служить на нем Государю Небесному, и потому иметь в виду Его закон. Только так служба, можно угодить всем: Государю, и народу, и земле своей».

«Все наслажденья наши заключены в пожертвованиях, — признавался Гоголь в письме к А. С. Данилевскому от 13 апреля н. ст. 1844 года. — Счастье на земли начинается только тогда для человека, когда он забыв о себе, начинает жить для других, хотя мы вначале думаем совершенно тому противоположно <...> Только тоска да душевная пустота заставляют нас, наконец, ухватиться за ум и догадаться, что мы были в дураках». Исполнением заповедей Спасителя не «на воздухе», а «на земном грунте» (выражение Гоголя) — находясь в государственной службе — и получает страждущая душа чаемое утешение. Поэтому и о самом монархе Гоголь, вспоминая слова Спасителя: «Моя пища есть творить волю Пославшего Меня и совершить дело Его»⁷⁸², замечал: «...Его пищей должно быть одно общее благо — счастье всех до единого в государстве...»*.

* Эти размышления нашли отражение и в молитвах Гоголя за Русскую землю. В 1848 году М. П. Погодин, имея в виду революционные события в Европе, пи-

Таким образом, в эпоху начинавшегося распада — в то время, когда уже складывалась психология новой «русской интеллигенции», для которой приносить пользу России, работая в государственном учреждении, казалось позором, Гоголь призвал к государственному служению как религиозному долгу: «Монастырь ваш — Россия!».

По словам одного духовного писателя начала XX века, «Переписка с друзьями» «явилась тогда, когда менее всего ждали ее: после “Мертвых душ” с нетерпением все ждали подобного же величественно-художественного произведения и вдруг — выходит в свет книга “Выбранные места”, с ее горячим призывом не к модному тогда космополитизму, не к свободе, понимаемой в смысле произвола, а к чистой христианской жизни, к покаянию и терпению, к подвигу самоотречения, духовного обновления и радостному служению родине... Это был со стороны Гоголя невинный, но меткий удар современникам, получившим вместо ожидаемого наслаждения неумолимый суд и строгое нравоучение. Разочарованная публика отвернулась от писателя, дерзнувшего учить ее благочестию и патриотизму»⁷⁸³.

сал Гоголю 5 апреля по возвращении его из Святой Земли: «Ты произнес горячую молитву за Святую Русь в такое страшное время: “Вскую шаташася языцы и людие поучишася тщетным!”» (Пс. 2, ст. 1; письмо Погодина цит. по: Переписка Н. В. Гоголя. Т. 1. С. 441; здесь: «Вскую смятенные языцы и людие научишася тщетным!»). Сам Гоголь перед отправлением в Иерусалим писал отцу Матфею Константиновскому, что, несмотря на свое «недостойство», на маловерие, он дерзает идти на поклонение Святому Гробу и молиться там «о всех и всем, что ни есть в Русской земле и отечестве нашем» — «молиться о спасении Русской земли, о водворении в ней мира, namесто смятения, и любви, namесто ненависти к брату» (письмо от 12 января н. ст. 1848 года). В молитве, составленной тогда Гоголем, он тоже писал о своем желании «помолиться у Гроба Святого <...> о всех людях земли нашей и о всей отчизне нашей, о ее мирном времени, о примирении всего в ней враждующего и негодующего». Вполне естественно, что пребывание Гоголя в Святой Земле невольно вызывает сравнение с паломничеством в Иерусалим древнерусского игумена Даниила — молившегося здесь о Русской земле в XII веке (см.: *Смирнов А.* Из последних лет жизни и литературной деятельности Н. В. Гоголя // Сборник статей, посвященных... профессору Ф. Ф. Фортунатову... Варшава, 1902. С. 467; *Петрушевский К.*, священник. Выписки Н. В. Гоголя из творений свв. Отец и из сочинений духовных писателей как материал для определения его религиозно-нравственных воззрений. (Киевская Духовная академия, 1911) // ЦНБ. Ф. Дис. 2165. С. 258—259).

В 1846 году издатель «Выбранных мест из переписки с друзьями» П. А. Плетнев писал Я. К. Гроту: «Начнем-ка, помолясь Богу, мы с тобой литературу новую, — живую, насытно-необходимую, истинную, по образу и подобию той, что я усматриваю в письмах Гоголя <...> Гоголь — трепетный жилец, вопиющий не о законах изящества, а о том, что благо, душеспасительно и неизбежно, да вопиющий не оратором, а как велел Христос поучать земнородных. Да, я чувствую, что с этой книги в Европе станут вести летосчисление появления в мире русской литературы. До сих пор мы бродили около жизни, а он в нее врзался. <...> Тут до всего доходит речь <...> тут все взято не свысока, а как оно есть перед глазами» (письмо от 27 ноября 1846 года)⁷⁸⁴. «Вчера совершенно великое дело, — писал Плетнев самому Гоголю 1 января 1847 года, — книга твоих писем пущена в свет <...> она, по моему убеждению, есть начало собственно русской литературы. Все до сих пор бывшее мне представляется как ученический опыт на темы, выбранные из хрестоматии. Ты первый со дна почерпнул мысли и бесстрашно вынес их на свет»⁷⁸⁵.

Удивительно единство творческого пути писателя. Еще Ап. Григорьев в 1847 году, при жизни Гоголя, в статье, посвященной «Выбранным местам из переписки с друзьями», замечал: «Гоголь впервые выступил на литературное поприще с своими “Вечерами на хуторе близ Диканьки”. Это были еще юношеские, свежие вдохновения поэта, светлые, как украинское небо <...> в то же самое время и здесь <...> выступает ярко особенное свойство таланта нашего поэта — *свойство очертить всю пошлость пошлого человека и выставить на вид все мелочи, так что они у него ярко бросаются в глаза* (слова последней книги Гоголя). <...> Ни один писатель <...> не одарен таким полным, гармоническим сочувствием с природою <...> и по тому самому ни один писатель не обдает вашей души такую тяжелую грустью, как Гоголь, когда он <...> обливается <...> негодованием над утраченным образом Божиим в человеке, образом вечно прекрасного»⁷⁸⁶.

Уже в самых ранних произведениях изображение «пошлости» жизни было связано в сознании Гоголя с идеей служения России. Об этом же он писал и двадцать лет спустя в письме к графу В. Д. Олсуфьеву 1850 года:

«Я долго колебался и размышлял, имею ли право осмелиться беспокоить Государя Наследника просьбою. Наконец подумал так: Я занимаюсь сочиненьем, которое касается близкой сердцу его России. Если сочиненье мое пробудит в Русском любовь ко всему тому, что составляет ее святую и с тем вместе поселит в нем охоту к занятиям и трудам более прочих свойственным нашей земле, то это с моей стороны есть уже тоже некоторый род службы»⁷⁸⁷.

Конечно, настаивать на полном тождестве «раннего» и «позднего» Гоголя, Гоголя — нежинского гимназиста и Гоголя — создателя молитв и духовно-нравственных правил, никто не станет. Однако, нет оснований и противопоставлять Гоголя разных периодов творчества — делить его творчество на два взаимоисключающие периода — как это делалось долгое время в угоду политической тенденции. Несмотря на кажущиеся противоречия, все написанные им произведения составляют лишь последовательные (хотя подчас и крутые) ступени духовного восхождения, так что начало и конец его жизненного пути уместаются в коротенькой евангельской притче: *Царство Небесное подобно закваске, которую женщина взявши положила в три меры муки, доколе не вскисло все*⁷⁸⁸.

В 1846 году Гоголь, характеризуя ранние переводы В. А. Жуковского, в подражание которым написал свою первую поэму «Ганц Кюхельгартен», замечал, что в них сказалось безотчетное, «младенческое» стремление человеческого духа, требующего себе «живой пищи». В конце жизни на вопрос «...Отчего же вы скупы теперь и не хотите делиться с публикою своими трудами?» Гоголь ответил: «Одно направление было, созрело и прошло, другое еще не дозрело». — «Так стало быть, — возразил ему собеседник (П. А. Кулиш), — вы по самолюбию не хотите писать, чтобы не показаться при новом направлении ниже, нежели каковы были вы при прежнем». — «Как хотите, думайте, — отвечал он. — Но неужели живописец не прав, если он не выставляет напоказ своей картины, как бы она хороша ни была, если он сам недоволен ею». — «Но вы должны иметь в виду пользу публики; если вы осуждаете сами свое прежнее направление, то поспешите бы высказать новое». — «Я не осуждаю, — отвечал он, — всему свое время»⁷⁸⁹.

Пройденная Гоголем в его произведениях лестница восхождения стала настоящим завещанием русской литературе. «...Дай Бог нам читать и перечитывать творения поэта! — восклицал в 1909 году преподаватель словесности Псковского кадетского корпуса Киприан Сергеевич Хоцянов. — Наилучшие отчеты, наилучшие критические статьи о них не скажут и сотой доли того, что они сами скажут внимательному, вдумчивому читателю. Погружаясь в них душою и сердцем, мы проникнемся отвращением от всего ложного, злого, безобразного и воспламенимся любовью, благоговением к святыне истины, добра и красоты»⁷⁹⁰.

¹ Фактор — распорядитель работ в типографии, «главный приказчик» («Коммерческий словарь» гоголевской «Книги всякой всячины, или подручной Энциклопедии»).

² См.: *Шенрок В. И.* Материалы для биографии Гоголя. М., 1892. Т. I. С. 255.

³ Русский Филологический Вестник. 1908. № 4. С. 317.

⁴ Молва. 1832. № 67, 19 авг.

⁵ Угловыми скобками обозначаются пропуски цитируемого текста, а также отсутствующие в рукописи, но необходимые по смыслу слова. Квадратными скобками выделяются слова, зачеркнутые автором, и варианты черновых редакций.

⁶ Цит. по: *Чичерин А. В.* Неизвестное высказывание В. Ф. Одоевского о Гоголе // Труды кафедры русской литературы Львовского гос. ун-та. Литературоведение. 1958. Вып. 2. С. 72.

⁷ Московский Телеграф. 1831. № 17.

⁸ *Плетнев П. А.* Соч. и переписка. СПб., 1885. Т. 3. С. 552.

⁹ Позднее связь гоголевских повестей с народными сказками неоднократно отмечалась исследователями; см.: *Драгоманов М. М. А.* Максимович. Его литературное и общественное значение // Вестник Европы. 1874. № 3. С. 448; *Петров Н. И.* Очерки украинской литературы // Исторический Вестник. 1882. № 8. С. 242—244; *Мочульский В. Н.* Малороссийские и петербургские повести Н. В. Гоголя. Одесса, 1902. С. 4—13; *Трубицын Н. Н.* О народной поэзии в общественном и литературном обиходе первой трети XIX века. (Очерки). СПб., 1912. С. 459—462.

¹⁰ См. также Первое Соборное послание св. апостола Петра, гл. 2, ст. 4—5.

¹¹ Переписка Н. В. Гоголя. В 2 т. М., 1988. Т. 2. С. 209.

¹² Дмитрий Прокофьевич Трошинский. 1754—1829 // Русская Старина. 1882. № 6. С. 678.

¹³ *Мандельштам И.* О характере гоголевского стиля. Глава из истории русского литературного языка. СПб.; Гельсингфорс, 1902. С. 136.

¹⁴ *Бунин И. А.* Из записей // Собр. соч.: В 9 т. М., 1967. Т. 9. С. 270.

¹⁵ Малороссийские пословицы и поговорки, собранные *В. Н. Смирницким*. Харьков, 1833. С. 14.

¹⁶ *Зеньковский В. В.*, проф. Гоголь и Достоевский // О Достоевском. Сб. статей. Под ред. А. Л. Бема. Прага, 1929. С. 72.

¹⁷ Малороссийские песни, изданные *М. Максимовичем*. М., 1827. С. 220.

¹⁸ Первое Соборное послание св. апостола Петра, гл. 5, ст. 8.

¹⁹ <Кулиш П. А.> Несколько черт для биографии Николая Васильевича Гоголя // Отечественные Записки. 1852. № 4. Отд. 8. С. 191; см. также: <Кулиш П. А.>

Николай М. Опыт биографии Н. В. Гоголя, со включением до сорока его писем. СПб., 1854. С. 5.

²⁰ *Гиляровский В. А.* По следам Гоголя // Соч.: В 4 т. М., 1967. Т. 2. С. 405—406.

²¹ «Наймыт, нанятый работник» (словарик, приложенный Гоголем к первому изданию «Вечеров...»).

²² Цит. в рус. пер. В. А. Потаповой: *Котляревский И. П.* Соч. Л., 1986. С. 113.

²³ Отметим попутно, что образ изменяющей своему «сожителю» шеголихи Хиври соответствует упоминанию о некоей даме в черновом наброске к восьмой главе первого тома гоголевских «Мертвых душ»: «...Подстега Сидоровна Сидорова нарядится, чтобы всем в соблазн, да мужу же на лоб рога насадит».

²⁴ *Мочульский В. Н.* Малороссийские и петербургские повести Н. В. Гоголя. С. 13.

²⁵ *Сажин В.* На пороге. Из архивных разысканий о Н. В. Гоголе // Звезда. 1984. № 4. С. 179.

²⁶ См.: *Абрамович Г. Л.* Народная мысль в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» // Уч. зап. Моск. обл. пед. ин-та. Труды кафедры русской литературы. 1949. Т. 13. Вып. 1. С. 27.

²⁷ *Афанасьев А. Н.* Отрывки из моей памяти и переписки // Михаил Семенович Щелкин: Жизнь и творчество. М., 1984. Т. 2. С. 153.

²⁸ Первое послание св. апостола Павла к Тимофею, гл. 2, ст. 9—10.

²⁹ Вторая книга Моисея. Исход, гл. 35, ст. 22, 24.

³⁰ Олеарий Эльшлегер Адам (1603—1671), немецкий путешественник, ученый и дипломат. Автор книги «Описание путешествия в Московию и через Московию в Персию и обратно», изданной в 1647 г.

³¹ *Иофанов Д. Н.* В. Гоголь: Детские и юношеские годы. Киев, 1951. С. 24.

³² *Гоголь М. И.* Автобиографическая записка (сообщено И. С. Аксаковым) // Русский Архив. 1902. № 4. С. 708; *Назаревский А. А.* Из архива Головни // Н. В. Гоголь. Материалы и исследования. В 2 т. М.; Л., 1936. Т. 1. С. 343.

³³ Из воспоминаний матери Гоголя. (Письмо *М. И. Гоголь* к С. Т. Аксакову от 3 апреля 1856 года) // Современник. 1913. № 4. С. 251.

³⁴ *Дурьлин С.* Из семейной хроники Гоголя. М., 1928. С. 65.

³⁵ В «Московском Вестнике» заметка была сопровождается примечанием переводчика, которое также выписал Гоголь: «Взято из старинной немецкой компиляции о религии русских, помещенной при переводе известной книги Одерборна: «Жизнь царя Иоанна Васильевича Грозного», изданной в 1698-ом году в г. Лейпциге».

³⁶ О старинной русской масленице // Московский Вестник. 1827. Ч. 1. С. 354—355.

³⁷ *Чаговец В. А.* Семейная хроника Гоголей (по бумагам семейного архива) // Памяти Гоголя. Научно-литературный сборник. Киев, 1902. Отд. 3. С. 37—38.

³⁸ <*Булагарин Ф. В.*> Масленичные балаганы // Северная Пчела. 1834. № 48, 28 февр. С. 190.

³⁹ *Никитенко А. В.* Дневник. В 3 т. Без м. изд., 1955. Т. 1. С. 180, 106.

⁴⁰ Подробнее об этом см.: *Виноградов И. А.* Пьеро, Коломбина и Арлекин: К истории создания «Тараса Бульбы» и «Ревизора» Н. В. Гоголя // Русская литература. 1999. № 1. С. 36—44.

⁴¹ <Булгарин Ф. В.> Пантомима г. Лемана и компании // Северная Пчела. 1831. № 38, 17 февр. См. также: <Строев В. М.> В. В. В. Масленица 1834 года в Петербурге // Северная Пчела. 1834. № 76, 4 апр.; А. Г. Взгляд на балаганы // Северная Пчела. 1835. № 37, 14 февр.; Бенуа А. Предисловие // Лейферт А. В. Балаганы. Пг., 1922. С. 10—12; Русские народные гулянья по рассказам А. Я. Алексеева—Яковлева в записки и обработке Евг. Кузнецова. Л.; М., 1948. С. 69, 67.

⁴² <Булгарин Ф. В.> Масленичные балаганы. С. 190.

⁴³ Котляревский И. Словарь Малороссийских слов // Вергилиева Энеида на Малороссийский язык переложенная И. Котляревским. СПб., 1809. Ч. 4. <Отд. 2>. С. 6.

⁴⁴ Книга Иова, гл. 1, ст. 20—21.

⁴⁵ Орывок из записок Елисаветы Васильевны Быковой, родной сестры Гоголя // Русь. 1885, № 26. С. 8.

⁴⁶ Кальки переходные. Сборник стихов и исследование П. Бессонова. М., 1863. Вып. 4. С. 48.

⁴⁷ Послание к Ефессянам, гл. 6, ст. 12; гл. 2, ст. 2.

⁴⁸ <Хитрово Е. А.> Гоголь в Одессе. 1850—1851 // Русский Архив. 1902. № 3. С. 559. О важности подобных установлений в Церкви см. также: Варнава (Беллев), епископ. Основы искусства святости. Опыт изложения православной аскетике. В 4 т. Нижний Новгород, 1998. Т. 4. С. 183—184.

⁴⁹ Войцехович И. Собрание слов малороссийского наречия // Сочинения в прозе и стихах. Труды Общества любителей Российской словесности при Императорском Московском университете. 1823. Ч. 3. С. 286.

⁵⁰ Вольнская Пустынь Рьльского Николаевского монастыря // Курские Епархиальные Ведомости. 1889. № 14—15. <Отд. 3>. С. 138.

⁵¹ Триодь Цветная. Вторник четвертой седмицы по Пасхе, стихира на хвалитех.

⁵² Описанная Пушкиным графиня Е. А. Стройновская (рожденная Буткевич; 1799—1867) после неудачного романа вышла 18-ти лет по настоянию матери замуж за 70-летнего богатого графа В. В. Стройновского. По предположению исследователей, является одним из прототипов Татьяны Лариной в «Евгении Онегине» (Лернер Н. Прообраз Пушкинской Татьяны // Столица и Усадьба. 1916. № 72. С. 17—19; Кукин В. В. «В своей красе надменной и суровой...» // Жизнь Пушкина: Переписка; Воспоминания; Дневники. В 2 т. М., 1988. Т. 1. С. 260—267).

⁵³ Белинский В. Г. Опыт системы нравственной философии. Сочинение магистра Алексея Дроздова // Собр. соч.: В 9 т. М., 1976. Т. 1. С. 322.

⁵⁴ Святитель Игнатий, епископ Кавказский и Черноморский. Понятие о ереси и расколе // Богословские труды. Сборник 32. М., 1996. С. 293.

⁵⁵ Гусева Е. Н. Воспоминания Г. П. Галагана о Н. В. Гоголе // Памятники культуры. Новые открытия. Л., 1986. С. 68.

⁵⁶ Речь идет о фреске Перуджино Пьетро «Поклонение волхвов» с образом Мадонны в центре.

⁵⁷ Смирнова-Россет А. О. Дневник. Воспоминания. М., 1989. С. 43.

⁵⁸ Дурылин С. Из семейной хроники Гоголя. С. 66—67.

⁵⁹ Смирнова-Россет А. О. Дневник. Воспоминания. С. 71.

⁶⁰ Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова, гл. 38, ст. 4.

⁶¹ Анненков П. В. Н. В. Гоголь в Риме летом 1841 года // Анненков П. В. Литературные воспоминания. М., 1989. С. 89.

⁶² Вторая книга Паралипоменон, гл. 16, ст. 12.

⁶³ <Хитрово Е. А.> Гоголь в Одессе. С. 550—551.

⁶⁴ Слова Оксаны представляют собой реминисценцию украинской народной песни «На річеньчі та на дощечці», сохранившейся в гоголевском собрании русских и малороссийских песен:

Дивітеся, чоловіченьки,
Які в мене черевиченьки.
Се ж мені панотець похупив,
Щоб хороший молодець полюбив...

(Народные песни в записях *Николая Гоголя*. Киев, 1985. С. 14).

⁶⁵ Параллель, дополнение, пара (*фр.*). «Пáрник, пандан к картине» (гоголевский «объяснительный словарь» русского языка).

⁶⁶ *Белинский В. Г.* О русской повести и повестях г. Гоголя («Арабески» и «Миргород») // Собр. соч.: В 9 т. Т. 1. С. 178.

⁶⁷ *Анненков П. В. Н. В.* Гоголь в Риме летом 1841 года. С. 81—82.

⁶⁸ См. об этом в коммент. к изд.: *Гоголь Н. В.* Собр. соч.: В 9 т. М., 1994. Т. 8. С. 828—829.

⁶⁹ Дмитрий Прокофьевич Трошинский. С. 676—677.

⁷⁰ *Глебов С.* Воспоминания о Гоголе // Русская Старина. 1910. № 1. С. 73—74.

⁷¹ <Хитрово Е. А.> Гоголь в Одессе. С. 545.

⁷² *Чаговец В. А.* Семейная хроника Гоголей. С. 36—37.

⁷³ Из воспоминаний матери Гоголя. С. 248.

⁷⁴ Цит. по: *Рязанова Л. А.* Пришвин о Гоголе // Гоголь: История и современность. (К 175-летию со дня рождения). М., 1985. С. 479.

⁷⁵ Вторая книга Ездры, гл. 4, ст. 19.

⁷⁶ <Кулиш П. А.> *Николай М.* Записки о жизни Н. В. Гоголя. СПб., 1856. Т. 1. С. 24.

⁷⁷ <Матисен Е. А.> *М-н.* Воспоминания из дальних лет // Русская Старина. 1881. № 5. С. 157.

⁷⁸ *Анненков П. В. Н. В.* Гоголь в Риме летом 1841 года. С. 74.

⁷⁹ См. об этом в коммент. к изд.: *Гоголь Н. В.* Собр. соч.: В 9 т. Т. 9. С. 522—523.

⁸⁰ *Ефименко А.* Малороссийское казачество по Гоголю // Журнал для всех. 1902. № 2. С. 210—211.

⁸¹ Строки первоначальной редакции повести.

⁸² <Кулиш П. А.> *Николай М.* Записки о жизни Н. В. Гоголя. Т. 1. С. 16.

⁸³ Вторая книга Моисея. Исход, гл. 22, ст. 26.

⁸⁴ Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова, гл. 23, ст. 21, 24, 26.

⁸⁵ Евангелие от Матфея, гл. 16, ст. 2—3. См. также: Евангелие от Луки, гл. 12, ст. 54—56.

⁸⁶ Первая книга Царств, гл. 15, ст. 23.

⁸⁷ *Фридляндер Г. М.* Комментарии // *Гоголь Н. В.* Полн. собр. соч.: В 14 т. <Без м. изд.>, 1952. Т. 8. С. 624.

⁸⁸ Отметим, что неизученность гоголевских материалов по русской истории приводит порой к прямым ошибкам. Так, например, И. П. Лапицкий утверждал, что сохранившиеся выписки Гоголя (являющиеся, как показывает анализ, извлечениями из Карамзина) представляют собой результат изучения русской истории «по первоисточникам» — именно по начальной русской летописи, «Повести временных лет» // Лапицкий И. П. Мысли Гоголя при чтении «Повести временных лет» // Гоголь. Статьи и материалы. Л., 1954. С. 165—167).

⁸⁹ Выписка из Карамзина объединена Гоголем в одно целое с выпиской из книги «Барон Мейерберг и путешествие его по России» (СПб., 1827).

⁹⁰ Саитов В. И. Письма Н. М. Карамзина к А. И. Тургеневу // Русская Старина. 1899. № 1. С. 221.

⁹¹ Ликтур П. В. Влияние русской литературы на творчество закарпатских писателей XIX века // Наукові записки Ужгородського державного університету. 1956. Т. 20. С. 140—141; Tardy L. Az országos orvostörténeti könyvtár közleményei communicationes ex bibliotheca historiae medicae hungarica. Dr. Orlay János. 1770—1829. Budapest, 1959. S. 58; Шультейс Э., Тарди Л. Главы из истории русско-венгерских медицинских связей. М., 1976. С. 205; Історія міст і сіл Української РСР. В 26 т. Закарпатська область. Київ, 1969. С. 700; Байцуря Т. Закарпатоукраїнська інтелігенція в Росії в першій половині XIX століття. Братислава, 1971. С. 120; Чумак Т. М. Исторические реалии в повести Н. В. Гоголя «Страшная месть» // Вопросы русской литературы. 1983. Вып. 2 (42).

⁹² Виноградов И. А. Религиозное образование Н. В. Гоголя в Нежинской гимназии высших наук (в печати).

⁹³ Там же.

⁹⁴ Погодин М. Историческое похвальное слово Карамзину, произнесенное при открытии ему памятника в Симбирске, августа 23, 1845 года, в собрании симбирского дворянства. М., 1845. С. 29.

⁹⁵ Смирнова-Россет А. О. Дневник. Воспоминания. С. 69—70.

⁹⁶ См.: Воропаев В. Книжки для Гоголя // Прометей. Т. 13. М., 1983. С. 140.

⁹⁷ См. письма Гоголя к графиням С. М. Соллогуб и А. М. Виельгорской от 20 октября 1849 г., к графу Л. А. Перовскому или князю П. А. Ширинскому-Шихматову или графу А. Ф. Орлову от июля 1850 г. и «Оглавление» предполагаемого V тома собрания сочинений Гоголя 1851—1852 гг.

⁹⁸ См. воспоминания Г. П. Данилевского и Д. А. Оболенского (Гоголь в воспоминаниях современников. <Без м. изд.>, 1952. С. 441, 555—556).

⁹⁹ Киевской летописью Карамзин называет список Ипатьевской летописи (начала XV века), найденный им в 1809 г. в библиотеке купца П. К. Хлебникова (так называемый Хлебниковский список).

¹⁰⁰ См.: Памяти В. А. Жуковского и Н. В. Гоголя. Вып. 3. СПб., 1909. С. 186—198. Ср. т. 2, примеч. 262, 263, 279, 280, 286, 288, 290, 292, 296, 317—320, 322, 323, 327, 329, 332. Г. П. Георгиевский, отмечая, что «текст гоголевских “Выписок” весьма близко подходит к Хлебниковскому списку Летописи», ошибочно считал, что оригиналом для них послужила Гоголю летопись, о находке которой он сообщал А. С. Пушкину в письме от 23 декабря 1833 г. (Памяти В. А. Жуковского и Н. В. Гоголя. Вып. 3. С. 124).

¹⁰¹ См. письма Гоголя к Н. Я. Прокоповичу от 3 июня н. ст. и 2 ноября н. ст. 1837 г.; от 15 апреля и 2 июля н. ст. 1838-го, а также письмо В. А. Панова к С. Т. Аксакову от 21 ноября н. ст. 1840 г. (Письма *Н. В. Гоголя*. Ред. В. И. Шенрока. СПб., <1901>. Т. 2. С. 87—89, примеч.).

¹⁰² *Лугаковский В. А.* Гоголь в польской литературе // Лит. Вестник. 1902. № 1. С. 28.

¹⁰³ *Гиллельсон М. Н. В.* Гоголь в дневниках А. И. Тургенева // Русская литература. 1963. № 2. С. 138.

¹⁰⁴ На то, что настоящие наброски являются выписками из «Истории Русов» указал В. П. Казарин (см.: *Казарин В. П.* Повесть Н. В. Гоголя «Тарас Бульба». Вопросы творческой истории. Киев; Одесса, 1986. С. 55—56).

¹⁰⁵ На использование Гоголем при составлении этих записей «Истории Малой России» Д. Н. Бантыш-Каменского (1 изд. 1822) указал В. П. Казарин (см.: *Казарин В. П.* Повесть Н. В. Гоголя «Тарас Бульба». С. 56—58).

¹⁰⁶ «Хроника Польская, Литовская, Жмудская и всей Руси» Матвея Стрыковского (Strukowski M., около 1547 — после 1582) в «старинном русском переводе» 1688 г. была известна Карамзину по принадлежавшему ему списку.

¹⁰⁷ См.: *Оксман Ю. Г.* Неосуществленный замысел истории Украины // Лит. наследство. Т. 58. М., 1952. С. 213—214.

¹⁰⁸ См. письмо Гоголя к М. А. Максимовичу от 29 мая 1834 г.

¹⁰⁹ Украинские народные песни, изданные *М. Максимовичем*. М., 1834. Ч. 1. С. 67.

¹¹⁰ *Срезневский И. И.* Запорожская Старина. Харьков, 1833. Ч. 1. <Кн. 1—2>. С. 6—7.

¹¹¹ См. признания Гоголя в письмах к М. П. Погодину от 1 февраля и 20 февраля 1833 г., к А. С. Данилевскому от 8 февраля и к М. А. Максимовичу от 2 июля и 9 ноября того же года.

¹¹² Песни, собранные Гоголем, были опубликованы частично М. А. Максимовичем (в изд.: Украинские народные песни. М., 1834. Ч. 1; Гоголь выслал ему до 150 песен; см. его письмо к И. И. Срезневскому от 6 марта 1834 г.); восемь песен были напечатаны С. Л. Метлинским (в изд.: Народные южнорусские песни. Киев, 1954. С. 110, 111, 114, 118, 119, 122, 282; ср.: Украинские письма к П. А. Кулишу от М. А. Максимовича // Русская Беседа. 1857. Т. 1. Кн. 5. <Отд. 5.> С. 62); 35 начальных куплетов любимых «гоголевых» песен привел П. А. Кулиш в «Опыте биографии Н. В. Гоголя» (СПб., 1854. С. 168—172). См. также: Памяти В. А. Жуковского и Н. В. Гоголя. Вып. 2. СПб., 1908; *Сперанский М. Н.* К истории собирания песен Гоголя. Нежин, 1912; Н. В. Гоголь. Материалы и исследования. М.; Л., 1936. Т. 2. С. 383; Звезда. 1959. № 4. С. 218—219; Лит. наследство. Т. 79. Песни, собранные писателями. М., 1968; Народные песни в записях *Николая Гоголя*. Киев, 1985.

¹¹³ См. письма Гоголя к М. П. Погодину от 15 августа н. ст. и к С. П. Шевыреву от 25 августа н. ст. 1839 г., письмо О. М. Бодянского к М. П. Погодину от 18 октября н. ст. 1839 г. (Письма к М. П. Погодину из славянских земель. (1835—1861). М., 1879. Вып. 1. С. 104) и письмо В. А. Панова к С. Т. Аксакову от 21 ноября н. ст. 1840 г. (Письма *Н. В. Гоголя*. Т. 2. С. 88, примеч.).

- ¹¹⁴ Карпенко А. И. О народности Н. В. Гоголя. Изд-во Киевского ун-та, 1973. С. 28—278; см. также: Еремина В. И. Н. В. Гоголь // Русская литература и фольклор (первая половина XIX в.). Л., 1976. С. 273—291.
- ¹¹⁵ Пушкин А. С. Вечера на хуторе близ Диканьки. Повести, изданные Пасичником Рудым Паньком // Полн. собр. соч. М.; Л., Изд-во АН СССР, 1949. Т. 12. С. 27.
- ¹¹⁶ Анненков П. В. Н. В. Гоголь в Риме летом 1841 года. С. 54.
- ¹¹⁷ От Киевской Духовной академии. <Приветственное письмо> // Гоголевские дни в Москве. М., 1909. С. 280.
- ¹¹⁸ Andrusyshen С. H. The Dumy: Lyrical Chronicle of Ukraine // The Ukrainian Quarterly (New York). 1946—1947. V.3, № 2. P.135; Баерий Р. Шлях сера Вальтера Скотта на Україну. Київ, 1993. С. 107—108, 275.
- ¹¹⁹ См. также: Шенрок В. И. Материалы для биографии Гоголя. Т. 1. С. 167.
- ¹²⁰ Карамзин Н. М. О древней и новой России в ее политическом и гражданском отношении // Лит. учеба. 1988. № 4. С. 98.
- ¹²¹ Хомяков А. С. О старом и новом // Соч.: В 2 т. М., 1994. С. 466.
- ¹²² Данилевский Г. П. Знакомство с Гоголем. (Из литературных воспоминаний) // Исторический Вестник. 1881. № 12. С. 479; см. также: Данилевский Г. П. Соч. СПб., 1901. Т. 14. С. 99.
- ¹²³ Ободовский К. П. Рассказы о Гоголе // Исторический Вестник. 1893. № 1. С. 38.
- ¹²⁴ Переписка Н. В. Гоголя. Т. 2. С. 429.
- ¹²⁵ Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 3. С. 944.
- ¹²⁶ Погодин М. Историческое похвальное слово Карамзину. С. 58—59.
- ¹²⁷ Житие и чудеса Царевича-мученика Алексея Николаевича. Биография в документах. Составление, подготовка текстов, публикация В. В. Афанасьева и С. В. Лизунова // Лит. учеба. 1997. Кн. 5—6. С. 162.
- ¹²⁸ Переписка Н. В. Гоголя. Т. 1. С. 80.
- ¹²⁹ Свяжсов Е. В. Письма Г. П. Данилевского П. А. Плетневу, И. С. и С. Т. Аксаковым // Русская литература. 1979. № 4. С. 186.
- ¹³⁰ <Кулиш П. А.> Николай М. Опыт биографии Н. В. Гоголя. С. 6.
- ¹³¹ <Кулиш П. А.> Несколько черт для биографии Николая Васильевича Гоголя. С. 189.
- ¹³² См. письмо М. И. Гоголь к С. П. Шевыреву от конца апреля 1852 г. (Лит. наследство. Т. 58. М., 1952. С. 765).
- ¹³³ Филемон и Бавкида — патриархальная супружеская чета в греческой мифологии, с которыми Гоголь сравнивает своих «старосветских помещиков».
- ¹³⁴ Белозерская Н. А. Мария Ивановна Гоголь // Русская Старина. 1887. № 3. С. 708.
- ¹³⁵ Записки А. О. Смирновой. СПб., 1895. Т. 1. С. 51.
- ¹³⁶ Там же. С. 314.
- ¹³⁷ Щеголев П. Е. Отец Гоголя // Исторический Вестник. 1902. № 2. С. 655—666.
- ¹³⁸ Шенрок В. И. Материалы для биографии Гоголя. Т. 2. С. 141; Чаговец В. А. Семейная хроника Гоголей. С. 5—6.

- ¹³⁹ Воспоминания *С. В. Скалон* (урожденной Капнист) // Исторический Вестник. 1891. № 5. С. 355—356.
- ¹⁴⁰ *Зябловский Е.* Землеописание Российской империи для всех состояний. СПб., 1810. Ч. 6. С. 53.
- ¹⁴¹ *Каманин И. М.* Научные и литературные произведения Гоголя по истории Малороссии // Памяти Гоголя. Киев, 1902. С. 76.
- ¹⁴² *Коялович А.* Детство и юность Гоголя // Московский Сборник. М., 1887. С. 213.
- ¹⁴³ *Халчинский И. Д. К. М. Базили* // Гимназия высших наук и лицей князя Безбородко. Изд. 2-е, испр. и доп. СПб., 1881. С. 327.
- ¹⁴⁴ См.: *Базили К.* Очерки Константинополя. СПб., 1835. Т. 2. С. 129—140.
- ¹⁴⁵ *Щеголев П. Е.* Отец Гоголя. С. 660.
- ¹⁴⁶ *Хоменко Н. В., Тюнин А. П.* Заповедник-музей Н. В. Гоголя. Харьков, 1988. С. 14.
- ¹⁴⁷ *Самойленко Н.* Медали родителей Н. В. Гоголя // Труд. 1988. № 247, 27 окт.
- ¹⁴⁸ Русская Старина. 1892. № 2. С. 432; Лит. наследство. Т. 58. М., 1952. С. 725, 757, 759, 775.
- ¹⁴⁹ *Розов В. А.* Традиционные типы малорусского театра XVII—XVIII вв. и юношеские повести Н. В. Гоголя. Киев, 1911. С. 41—42.
- ¹⁵⁰ *Петров Н. И.* Очерки истории украинской литературы XIX столетия. Киев, 1884. С. 77.
- ¹⁵¹ <*Кулиш П. А.*> *Николай М.* Записки о жизни Н. В. Гоголя. Т. 1. С. 16.
- ¹⁵² См.: *Рубан В. Г.* Краткие географические, политические и исторические известия о Малой России. СПб., 1773. С. 74.
- ¹⁵³ См.: Записки матери Н. В. Гоголя // *ИРЛИ. Ф. 652. Оп. 2. Ед. хр. 56. Л. 100.*
- ¹⁵⁴ *Гиляровский В. А.* По следам Гоголя // Соч.: В 4 т. М., 1967. Т. 2. С. 409.
- ¹⁵⁵ Там же. С. 394.
- ¹⁵⁶ Подразумевался В. Т. Нарезный.
- ¹⁵⁷ Переписка Н. В. Гоголя. Т. 1. С. 71.
- ¹⁵⁸ *Крутикова Н. Е.* Н. В. Гоголь. Исследования и материалы. Киев, 1992. С. 253.
- ¹⁵⁹ <*Кулиш П. А.*> *Николай М.* Записки о жизни Н. В. Гоголя. Т. 2. С. 258.
- ¹⁶⁰ *Гусева Е. Н.* Воспоминания Г. П. Галагана о Н. В. Гоголе. С. 66.
- ¹⁶¹ *Шенрок В. И.* Материалы для биографии Гоголя. Т. 2. С. 124.
- ¹⁶² *Чижевский Д.* Неизвестный Гоголь // Новый журнал. (Нью-Йорк). 1951. № 27. С. 134.
- ¹⁶³ Записки *А. О. Смирновой*. Т. 2. С. 45.
- ¹⁶⁴ *Трахимовский Н. А. М. И. Гоголь* // Русская Старина. 1888. № 7. С. 30.
- ¹⁶⁵ *Шенрок В. И.* Материалы для биографии Гоголя. Т. 4. С. 703.
- ¹⁶⁶ *Гоголь Н. В.* Полн. собр. соч.: В 14 т. Т. 2. С. 699—700.
- ¹⁶⁷ См. об этом коммент. в изд.: *Гоголь Н. В.* Собр. соч.: В 9 т. Т. 6. С. 495.
- ¹⁶⁸ *Рубан В. Г.* Землеописание Малой России. СПб., 1777. С. 33.
- ¹⁶⁹ Цит. по копии *С. П. Шевырева: РНБ. Ф. 850. № 48;* опубликовано (с пропусками): *Линниченко И. А.* Новые материалы для биографии Н. В. Гоголя // Русская Мысль. 1896. № 5. С. 178.
- ¹⁷⁰ *Чаговец В. А.* На родине Гоголя // Памяти Гоголя. Отд. 5. С. 20.

- ¹⁷¹ Пятая книга Моисеева. Второзаконие, гл. 8, ст. 12—14; ср. также гл. 6, ст. 12; гл. 31, ст. 20; гл. 32, ст. 15.
- ¹⁷² Книга Неемии, гл. 9, ст. 25—27, 30.
- ¹⁷³ *Бантыш-Каменский Д. Н.* Историческое известие о возникшей в Польше унии. М., 1805. С. 69; см. также: Уния в документах. Минск, 1997. С. 314—315.
- ¹⁷⁴ Первое послание св. апостола Павла к Коринфянам, гл. 11, ст. 19.
- ¹⁷⁵ Воспоминания С. В. Скалон. С. 364. См. также: *Кулиш П. А.* Несколько предварительных слов // *Основа*. 1862. № 2. <Отд. 2.> С. 20.
- ¹⁷⁶ Дмитрий Прокофьевич Трощинский. С. 642.
- ¹⁷⁷ См.: *Тихонравов Н.* Примечания редактора и варианты // *Гоголь Н. В.* Соч. 10-е изд. М., 1889. Т. 1. С. 670—671.
- ¹⁷⁸ <*Кулиш П. А.*> *Николай М.* Опыт биографии Н. В. Гоголя. С. 80.
- ¹⁷⁹ <*Херасков М. М.*> Кадм и Гармония. М. 1793. Ч. 2. С. 82—83; *Шеваров Г.* Преданья старины глубокой // *Красный Север*. (Вологда), 1980, 13 ноября; *Морозова Н. П.* Книга из библиотеки Гоголей // XVIII век. Сборник 16. Л., 1989.
- ¹⁸⁰ *Варнава (Беляев)*, епископ. Основы искусства святости. Опыт изложения православной аскетики. В 4 т. Нижний Новгород, 1996. Т. 2. С. 240.
- ¹⁸¹ Северный Архив. 1826. № 8. С. 387.
- ¹⁸² См. коммент. в изд.: *Гоголь Н. В.* Миргород. Повести. С приложением. М., 1996. С. 515.
- ¹⁸³ Вторая книга Царств, гл. 2, ст. 15—17.
- ¹⁸⁴ Первая книга Царств, гл. 22, ст. 2.
- ¹⁸⁵ Первая книга Маккавейская, гл. 2, ст. 29.
- ¹⁸⁶ См.: Четвертая книга Моисея. Числа, гл. 2.
- ¹⁸⁷ Деяния святых Апостолов, гл. 9, ст. 31.
- ¹⁸⁸ Псалом 50, ст. 14.
- ¹⁸⁹ Строки письма Гоголя к Н. Н. Шереметевой от 30 октября н. ст. 1845 г.
- ¹⁹⁰ Евангелие от Иоанна, гл. 15, ст. 13.
- ¹⁹¹ *Хоцянов К. С.* Опыт разбора повести Гоголя «Тарас Бульба». СПб., 1883. С. 15—16.
- ¹⁹² Там же. С. 51.
- ¹⁹³ Евангелие от Иоанна, гл. 4, ст. 34.
- ¹⁹⁴ Первое соборное послание св. апостола Иоанна Богослова, гл. 4, ст. 20.
- ¹⁹⁵ Евангелие от Матфея, гл. 18, ст. 20.
- ¹⁹⁶ *Якубовський Ф.* Трагедія Миколи Гоголя // *Гоголь М.* Тарас Бульба. Изд. «Сяйво», <Киев, 1927>. С. 18.
- ¹⁹⁷ *Хоцянов К. С.* Опыт разбора повести Гоголя «Тарас Бульба». С. 36.
- ¹⁹⁸ См. коммент. в изд.: *Гоголь Н. В.* Собр. соч.: В 9 т. Т. 6. С. 533.
- ¹⁹⁹ Пятая книга Моисея. Второзаконие, гл. 29, ст. 18—21.
- ²⁰⁰ Евангелие от Матфея, гл. 20, ст. 23.
- ²⁰¹ Послание св. апостола Павла к Евреям, гл. 5, ст. 7.
- ²⁰² Евангелие от Луки, гл. 22, ст. 43.
- ²⁰³ *Грот Я. К.* Воспоминание о Гоголе // *Русский Архив*. 1864. № 2. С. 179.
- ²⁰⁴ Русская старина. Карманная книжка для любителей отечественного, на 1825 год, изданная А. Корниловичем. СПб., 1824. С. 215.

²⁰⁵ *Аристов Н. Я.* Иноземное влияние в России, изображенное Гоголем в его сочинениях // *Аристов Н. Я.* Сочинения Н. В. Гоголя со стороны отечественной науки. СПб., 1887. С. 72. Статья Н. Я. Аристова впервые напечатана в 1882 г. в журнале «Век» (№ 2—4. Отд. 3) под названием «Гоголь как националист. (Иноземное влияние в России)».

²⁰⁶ См.: *Шенрок В. И.* Материалы для биографии Гоголя. Т. 1. С. 254; и коммент. в изд.: *Гоголь Н. В.* Собр. соч.: В 9 т. Т. 2. С. 471—474.

²⁰⁷ *Десницкий В. А.* Задачи изучения жизни и творчества Гоголя // Н. В. Гоголь. Материалы и исследования. М., Л., 1936. Т. 2. С. 67; *Пухтинский В. К.* Гоголь и античность // Наукові Записки Ніжинського ін-та. Чернівці. 1940. Т. 1. С. 116.

²⁰⁸ *Полов Е.*, протонерей. Общественные чтения по православно-нравственно-му богословию. СПб., 1901. С. 378.

²⁰⁹ *Гуковский Г. А.* Реализм Гоголя. М., Л., 1959. С. 197.

²¹⁰ *Хоцянов К.* Опыт разбора повести Гоголя «Тарас Бульба». С. 73.

²¹¹ *Виноградов И. А.* «Спасен я был Государем». Неизвестное письмо Гоголя к Императору Николаю Павловичу и его отношение к монархии // Литература в школе. 1998. № 7. С. 22.

²¹² Книга Иудифь, гл. 10, ст. 4.

²¹³ См.: *Курсанова Р. М.* Превращения фрака «наваринского дыму с пламенем» // Н. В. Гоголь. Материалы и исследования. М., 1995. С. 236—237.

²¹⁴ Парижские моды // Молва. 1833. № 121, 10 окт. С. 482—484.

²¹⁵ *Смирнова-Россет А. О.* Дневник. Воспоминания. С. 52.

²¹⁶ История Русов, или Малой России. М., 1846. С. 78—79.

²¹⁷ *Ерофеев В. В.* «Французский элемент» в творчестве Гоголя // *Ерофеев В. В.* В лабиринте проклятых вопросов. М., 1990. С. 379.

²¹⁸ Украинские народные песни, изданные *М. Максимовичем*. С. 4.

²¹⁹ *Барабаш Ю. Я.* Почва и судьба. Гоголь и украинская литература: у истоков. М., 1995. С. 133—134.

²²⁰ См.: *Руссов С. В.* Волынские записки. СПб., 1809. С. 191.

²²¹ Украинские народные песни, изданные *М. Максимовичем*. С. 54—55. См. также: Князь *Цетелев*. Опыт собрания старинных малороссийских песней. СПб., 1819. С. 33—34.

²²² Пятая книга Моисея. Второзаконие, гл. 23, ст. 9.

²²³ *Матвеев П.* Гоголь в Оптиной Пустыни // Русская Старина. 1903. № 2. С. 303.

²²⁴ См.: *Воропаев В. А.* Комментарий // *Гоголь Н. В.* Мертвые души: Поэма. М., 1988. С. 422.

²²⁵ Из правил архиепископа Александрийского св. Петра.— Выписка сделана из: Книга правил Святых Апостол, Святых Соборов Вселенских и Поместных и Святых Отец. СПб., 1839. С. 311.

²²⁶ Воцарение Иисуса Христа (св. Феодота, епископа Анкирского).— Выписка сделана из: Христианское Чтение. 1841. Т. 1. С. 245—246.

²²⁷ Некоторые мысли Георгия (затворника Богородицкого монастыря).— Выписка сделана из: Письма затворника Задонского Богородицкого монастыря *Георгия <Машурина>*. М., 1839. С. 120—121.

²²⁸ О Божестве миротворцев (св. Григория, епископа Нисского).— Выписка сделана из: Христианское Чтение. 1842. Т. 2. С. 177.

²²⁹ Мысли <неизвестного автора>.— Выписка сделана из: Христианское Чтение. 1840. Т. 3. С. 431.

²³⁰ Послание св. Афанасия Великого, архиепископа Александрийского, к Амуну монаху.— Выписка сделана из: Книга правил Святых Апостол, Святых Соборов Вселенских и Поместных и Святых Отец. С. 332.

²³¹ Книга правил Святых Апостол, Святых Соборов Вселенских и Поместных и Святых Отец. С. 353.

²³² Вера среди жизни нашей (преосвященного Гедеона <Вишневского>, епископа Полтавского).— Выписка сделана из: Христианское Чтение. 1841. Т. 1. С. 273.

²³³ Жития святых, на русском языке изложенные по руководству Четьих-Миней св. Димитрия Ростовского. М., 1908. Кн. 9. Май. С. 337—338. См. также: Книга житий святых на три месяца третья, еже есть Март, Апрель и Майй. 7 изд. М., 1796. Л. 377об.—378.

²³⁴ Русская Старина. 1890. № 12. С. 660.

²³⁵ Псалом 48, ст. 7—10.

²³⁶ Творения св. Василия Великого. М., 1845. Т. 1. С. 358, 361.

²³⁷ Первое соборное послание св. апостола Петра, гл. 1, ст. 18—19.

²³⁸ Толкование св. Иоанна Златоуста на Послание св. апостола Павла к Римлянам (М., 1839) Гоголь включил в начале 1840 г. в список книг, высланных ему позднее в Рим М. П. Погодиным (см.: Гоголь Н. В. Собр. соч.: В 9 т. Т. 8. С. 804).

²³⁹ Первое послание св. апостола Павла к Коринфянам, гл. 10, ст. 13.

²⁴⁰ Послание св. апостола Павла к Ефесянам, гл. 4, ст. 13.

²⁴¹ Есаулов И. А. Спектр адекватности в истолковании литературного произведения. («Миргород» Н. В. Гоголя). М., 1995. С. 57.

²⁴² Жития святых, на русском языке изложенные по руководству Четьих-Миней св. Димитрия Ростовского. 2-е изд. М., 1913. Кн. 10. Июнь. С. 263.

²⁴³ Книга житий святых, на три месяца четвертыя, еже есть Иуний, Иулий и Август. Л. 89об.

²⁴⁴ Жития святых. Июнь. С. 263.

²⁴⁵ Книга Премудрости Соломона, гл. 17.

²⁴⁶ Соборное послание св. апостола Иакова, гл. 2, ст. 15—17.

²⁴⁷ Воспоминания С. В. Скалон. С. 355—356.

²⁴⁸ Дмитрий Прокофьевич Трошинский. С. 676.

²⁴⁹ Первое соборное послание св. апостола Иоанна Богослова, гл. 3, ст. 16—18.

²⁵⁰ Преподобного отца нашего Иоанна Лествичника Лествица, возводящая на небо. М., 1785. Л. 42об. См. также: Преподобного отца нашего Иоанна, игумена Синайской горы, Лествица. Сергиев Посад, 1908. С. 64.

²⁵¹ Гуминский В. М. Гоголь и четьре урока «Миргорода» // Гуминский В. М. Открытие мира, или Путешествия и странники. М., 1987. С. 22—23.

²⁵² Первое послание св. апостола Павла к Коринфянам, гл. 6, ст. 7.

²⁵³ Послание св. апостола Павла к Колоссянам, гл. 3, ст. 12—13.

²⁵⁴ Шевырев С. П. Выбранные места из переписки с друзьями // Москвитянин. 1848. № 1. <Отд. 2>. С. 10.

²⁵⁵ Шевырев С. П. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма Н. Гоголя. Статья вторая // Русская эстетика и критика 40—50-х годов XIX века. М., 1982. С. 63—64.

²⁵⁶ Белинский В. Г. О русской повести и повестях г. Гоголя («Арабески» и «Миргород») // Собр. соч.: В 9 т. Т. 1. С. 181.

²⁵⁷ Белинский В. Г. Горе от ума // Собр. соч.: В 9 т. Т. 2. С. 200.

²⁵⁸ См.: Петров Н. И. Новые материалы для изучения религиозно-нравственных воззрений Н. В. Гоголя // Труды Киевской Духовной академии. 1902. № 6. С. 297; Ерофѣя І. Новий рукопис Гоголя. (3 рукописного відділу Музею Слободської України) // Червоний Шлях. (Харьків), 1926. № 2. С. 176; Ерофеев И. Ф. Рукописи Н. В. Гоголя в Харьковском Историческом музее (бывш. им. Сквороды) <1938> // РГАЛИ. Ф. 139. Оп. 1. Ед. хр. 63. С. 5; Гоголь Н. В. Собр. соч.: В 9 т. Т. 8. С. 828—829, 836—837.

²⁵⁹ См.: Максимович М. А. О причинах взаимного ожесточения поляков и малороссиян, бывшего в XVII веке. (Письмо к М. А. Грабовскому) // Русская Беседа. 1857. Т. 4, кн. 8; Максимович М. А. Об историческом романе г. Кулиша «Черная рада» // Русская Беседа. 1858. Т. 1, кн. 9; Максимович М. А. Оборона украинских повестей Гоголя // День. 1861. № 3, 5, 7, 9; 1862. № 13; То же // Лит. Вестник. 1902. № 3; Титов А. А. Материалы для истории Имп. Общества Истории и Древностей Российских. М., 1887. С. 153, 163; Русская Беседа. 1860. № 1. С. 15; Из дневника, веденного Ю. Ф. Самариным в Киеве, в 1850 году // Русский Архив. 1877. № 6. С. 229—232; Костомаров Н. И. О казаках // Русская Старина. 1878. № 3. С. 385—402; Петров Н. И. Очерки истории украинской литературы XIX столетия. С. 193—198, 269; Дашкевич Н. П. Отзыв о сочинении г. Петрова «Очерки истории украинской литературы XIX столетия». СПб., 1888. С. 64—66; Карпов Г. В защиту Богдана Хмельницкого. М., 1890; Пыпин А. Н. История русской этнографии. СПб., 1891. Т. 3. С. 210; Перетц В. Гоголь и малорусская литературная традиция. СПб., 1902; Франко И. Южнорусская литература // Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. СПб., 1904. Т. 81. С. 314—315; Критики-этнографы. Малороссийский писатель Гоголь, по гг. Кулишу и Максимовичу // Время. 1862. Т. 7, кн. 1. Отд. 2. С. 107—108.

²⁶⁰ Московские Вedomости. 1883. № 276, 5 окт.

²⁶¹ Материалы, относящиеся к обсуждению Брянским отделением Орловского Комитета народных чтений чтения «Тараса Бульбы» Н. В. Гоголя // РНБ. Ф. 777. № 147.

²⁶² Кулиш П. А. Украинские казаки и паны в двадцатилетие перед бунтом Богдана Хмельницкого // Русское Обозрение. 1895. № 5. С. 199.

²⁶³ Действия презельной и от начала поляков кровавой небывалой брани Богдана Хмельницкого... Г. Грабянки. Киев, 1854. С. 30; См. также: История Русов, или Малой России. С. 41, 48—49, 56; Летопись самовидца о войнах Богдана Хмельницкого. М., 1846. С. 5; Дума о жидовских откупах и о войне из-за них // Кулиш П. А. Записки о Южной Руси. СПб., 1856. Т. 1. С. 56—63.

²⁶⁴ Памятники, изданные временною комиссиею для разбора древних актов, Высочайше учрежденною при Киевском военном Подольском и Волынском генерал-губернаторе. Киев, 1845. Т. 1. Отд. 2. С. 96—112.

²⁶⁵ Костомаров Н. И. Борьба украинских казаков с Польшей в первой половине XVII-го века, до Богдана Хмельницкого // Отечественные Записки. 1856. № 9. С. 251—252. См. также: Костомаров Н. Южная Русь и казачество до восстания Богдана Хмельницкого // Отечественные Записки. 1870. № 2. С. 368.

²⁶⁶ Памятники, изданные временною комиссиею для разбора древних актов, Высочайше учрежденною при Киевском военном Подольском и Золыньском генерал-губернаторе. Т. I. Отд. 2. С. 66—95; Архив Югозападной России. Киев, 1876. Ч. 6, т. 1. С. 217—219, 219—221, 233—239, 263—270, 340—345; Регасты и надписи. Свод материалов для истории евреев в России. (80 г.— 1800 г.). СПб., 1899. Т. I. С. 350—351, 369—370, 382, 470—471; Иловайский Д. История России при первой династии. М., 1894. Т. 4, вып. 2. С. 297, 365—370.

²⁶⁷ Каманин И. М. Научные и литературные произведения Гоголя по истории Малороссии. С. 106.

²⁶⁸ Цит. по: Боровой С. Я. Национально-освободительная война украинского народа против польского владычества и еврейское население Украины // Исторические записки. 1940. № 9. С. 103—104.

²⁶⁹ Кулишер М. Прошлое и настоящее // Книжки Восхода. 1900, № 2; Галант И. Арендовали ли евреи церкви на Украине? // Еврейская Старина. 1909. № 1; отд. изд.— Киев, 1909; Галант И. Арендовали ли евреи церкви на Украине? 2-е изд. С письмом И. М. Каманина. Киев, 1914.

²⁷⁰ Исторические песни малорусского народа с объяснениями Вл. Антоновича и М. Драгоманова. Киев, 1875. Т. 2. С. 30—31; Ефименко А. Бедствия евреев в южной Руси XVII в. (По поводу книги Гретца: История евреев от эпохи Голландского Иерусалима до падения франкистов) // Киевская Старина. 1890, № 4. С. 401—403.

²⁷¹ И. Е. Репин и В. В. Стасов. Переписка. М.; Л., 1949. Т. 2. С. 56, 172.

²⁷² Толстой Л. Н. О Гоголе // Полн. собр. соч.: В 90 т. М., 1936. Т. 26. С. 649—650.

²⁷³ См.: Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. Т. 2. С. 962; Шевырев С. Выбранные места из переписки с друзьями Н. Гоголя. С. 8.

²⁷⁴ Жаботинский Вл. Четыре статьи о «Чириковском инциденте» (1909). IV. Русская ласка // Жаботинский Вл. Фельетоны. 3-е изд., доп. Берлин, 1922. С. 125; см. также: Жаботинский Вл. Избранное. Jerusalem, 1978. С. 87.

²⁷⁵ Горнфельд А. Гоголь, Николай Васильевич // Еврейская Энциклопедия. СПб., 1910. Т. 6. С. 614

²⁷⁶ Маркс, Карл // Еврейская Энциклопедия. СПб., 1911. Т. 10. С. 632—633; Звиняковский В. Я. Николай Гоголь. Тайны национальной души. Киев, 1994. С. 56—57.

²⁷⁷ Гуковский Г. А. Реализм Гоголя. С. 165.

²⁷⁸ Amberg L. Kirche, Liturgie und Frömmigkeit im Schaffen von N. V. Gogol'. (Slavica Helvetica. Bd. 24.) Bern; Frankfurt am Main; New York; Paris, 1986. S.74.

²⁷⁹ Толкование на Апокалипсис св. Андрея, Архиепископа Кесарийского. 4-е изд. М., 1901. С. 194—195.— Гл. 68.

²⁸⁰ Экземпларский И. Мир, принесенный на землю родившимся от Девы Марию Иисусом Христом // Воскресное Чтение. 1880. № 51. С. 560—561.

²⁸¹ См.: Дурылин С. Из семейной хроники Гоголя. С. 68.

²⁸² С Шаржинским познакомил Гоголя А. С. Пушкин (см.: Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей *П. И. Бартеневым* в 1851—1860-х годах. М., 1925. С. 44—45).

²⁸³ Аполлон Николаевич Мокрицкий. (Автобиография) // Художественный Журнал. 1882. Т. 3. С. 151.

²⁸⁴ Лука да Марья, народная повесть, сочиненная *Ф. Глинкою*. СПб., 1818. С. 12—13.

²⁸⁵ *Майков Б. А.* Н. В. Гоголь. Подробный разбор его главнейших произведений для учащихся и биографический очерк. СПб., 1909. С. 129.

²⁸⁶ См.: Лит. наследство. Т. 58. М., 1952. С. 592.

²⁸⁷ *Дубровский П. П.* Воспоминания о М. И. Глинке. (Письмо к Л. И. Шестаковой) // Русский Вестник. 1857. Т. 8. С. 579.

²⁸⁸ *Базилы К.* Очерки Константинополя. СПб., 1835. Т. 2. С. 129—140.

²⁸⁹ *Горький М.* История русской литературы. (Архив А. М. Горького. Т. 1). М., 1939. С. 122, 136.

²⁹⁰ *Горький М.* Собр. соч.: В 30 т. М., 1953. Т. 24. С. 472—473.

²⁹¹ См.: см.: *Эренбург И. И. Э. Бабель* // *Бабель И.* Избранное. М., 1957. С. 7—10; *Смирин И. А.* К проблеме традиции Н. В. Гоголя и И. С. Тургенева в «Конармии» И. Бабея // Уч. зап. Пермского гос. пед. ин-та. 1974. Т. 137; *Скобелев В. П.* Масса и личность в русской советской прозе 20-х годов. (К проблеме народного характера). Воронеж, 1975. С. 133—153; *Самойленко Г. В.* Н. В. Гоголь и современность // Изучение творчества Н. В. Гоголя в школе. Киев, 1988. С. 85—86; *Крутикова Н. Е.* Н. В. Гоголь. С. 157—158.

²⁹² См.: *Михайловский Б. В.* Горький и Гоголь // Горьковские чтения. 1947—1948. М.; Л., 1949. С. 280—296.

²⁹³ *Львов Н.* Инсценировка «Тараса Бульбы» // Вестник театра. Западному фронту. (М.), <1920; специальный выпуск, без номера>. С. 5.

²⁹⁴ Теа-гурток робкорів. Робкори про оперу «Тарас Бульба». (Колективна рецензія) // Пролетарська правда. (Киев). 1929. № 231, 6 жовтня. С. 5.

²⁹⁵ *Курганов М.* Народная драма // Молодежь Эстонии. (Таллин). 1958. 5 июля.

²⁹⁶ *Харченко В., Ефименко В.* Инсценизация «Тараса Бульбы» в театре имени М. Заньковецкой // Львовская правда. 1952. 12 марта; *Саенко М.* «Тарас Бульба» на сцене ТЮЗа // Бугская заря. (Николаев). 1959. 11 марта.

²⁹⁷ *Образовская Л.* «Тарас Бульба». <О гастрольях Днепропетровского драматического театра> // Южный Урал. (Оренбург). 1964. 14 авг.

²⁹⁸ *Кремшневская Г.* Героический спектакль // Советская культура. 1955. 17 сент. С. 3.

²⁹⁹ См.: *Верховской Н. Ю.* А. Я. Закушняк и его «Вечера рассказа» // *Закушняк А. Я.* Вечера рассказа. Воспоминания. Тексты. М.; Л., 1940. С. 47.

³⁰⁰ *Верховской Н.* Закушняк. Жизнь. Творчество. Авторы либретто. <Л., 1927>. С. 6. См. также: *Верховской Н. Ю.* А. Я. Закушняк и его «Вечера рассказа». С. 41, 149; *Закушняк А. Я.* Вечера рассказа. С. 131, 135.

³⁰¹ О пьесе «Богатыри» Демьяна Бедного. Постановление Комитета по делам искусств при Совнаркомом Союза ССР // Правда. 1936. № 313, 14 ноября. С. 3; см. также: № 314, 319, 320, 321, 322, 323.

³⁰² *Абрамович Г. Л.* О гуманизме Гоголя // Литература в школе. 1938. № 1. С. 58.

³⁰³ См.: *Замошкин Н.* Неузнанный Гоголь // Знамя. 1938, № 4. С. 240, 254—256.

³⁰⁴ Первые шаги в этом направлении были сделаны Г. К. Бочаровым (см.: *Бочаров Г. К.* Лекция о повести Гоголя “Тарас Бульба” // *Бочаров Г. К.* Живое слово преподавателя литературы в V—VII классах. Методическое пособие для учителя. М.; Л., 1947; *Его же.* Повесть “Тарас Бульба” // *Бочаров Г. К.* Литературное чтение в VI классе. 2-е изд. М., 1957; *Бочаров Г. К., Колокольцев Н. В.* Уроки по изучению повести “Тарас Бульба” в VI классе // Изучение творчества Н. В. Гоголя в школе. М., 1954.

³⁰⁵ Такое понимание отразил впервые С. Н. Дурьлин; см.: *Дурьлин С.* Идея и образ родины в русской литературе // Октябрь. 1942. № 3—4. С. 175—176; *Дурьлин С.* Гоголь и родина // *Гоголь Н. В.* Избранное. М., 1943. С. 3—14.

³⁰⁶ Правда о религии в России. М., 1942. С. 15—17; Русская Православная Церковь и Великая Отечественная война. Сборник церковных документов. М., 1943. С. 3—5.

³⁰⁷ Русская Православная Церковь и Великая Отечественная война. С. 30.

³⁰⁸ См.: *Плоткин Ц.* Радиопостановка «Тараса Бульбы» // Лит. газета. 1941. № 25, 22 июня. С. 5.

³⁰⁹ См.: «Тарас Бульба» по радио. Литературно-музыкальная композиция // Пролетарская правда. (Рига). 1941. 22 мая.

³¹⁰ См.: *Долгополов М.* Радиоконпозиция «Тарас Бульба» // Известия Советов депутатов трудящихся СССР. 1941. № 145, 21 июня. С. 4; *Самойло К.* «Тарас Бульба» по радио. Литературно-музыкальная композиция // Вечерняя Москва. 1941. № 6, 21 июня.

³¹¹ См.: *Кишкин Л. С.* Об изучении национальной образности в литературе // Чешско-русские и словацко-русские литературные отношения (конец XVIII — начало XX в.). М., 1968. С. 103; *Данилевский Р. Ю.* «Молодая Германия» и русская литература. Л., 1969. С. 120—121, 154—155; *Данилевский Р. Ю.* Русская тема в немецкой литературе первой половины XIX в. // Восприятие русской культуры на Западе. Л., 1975. С. 86—92; *Мартыанова Е. П.* Об отражении русско-французских культурных связей во французском языке и литературе XIX века. (По материалам литературных трудов и корреспонденции П. Мериме). Харьков, 1960. С. 15, 122; *Серба А. И.* О чем сказал и о чем умолчал автор // *Бредре И.* Казаки. Исторический очерк. М., 1992. С. 212.

³¹² *Францев В. А.* Очерки по истории чешского возрождения. Русско-чешские ученые связи конца XVIII и первой половины XIX ст. Варшава, 1902. С. 20.

³¹³ *Францев В. А.* Н. В. Гоголь в чешской литературе. СПб., 1902. С. 20.

³¹⁴ Французский критик о Гоголе // Неделя. 1885. № 46, 17 ноября. С. 1605.

³¹⁵ Гоголевские дни в Москве. М., 1909. С. 75.

³¹⁶ *Малкин В. А.* Русская литература в Галиции. Изд-во Львовского ун-та, 1957. С. 39.

³¹⁷ *Полек В. Т.* Сочинения Н. В. Гоголя на Западной Украине // Вопросы русской литературы. (Львов), 1984. Вып. 2 (44). С. 86.

³¹⁸ См.: Талергофский альманах. Львов, 1924—1932, вып. 1—4.

³¹⁹ См.: *Sielicki F.* Z dziejów sławy Gogola w Polsce (1918—1939) // *Slavia orientalis.* (Warszawa). 1970. № 1. С. 4.

³²⁰ Цит. по: *Лугаковский В. А.* Гоголь в польской литературе. С. 34.

³²¹ *Гиляровский Вл.* Гоголь в Сербии // *Россия.* 1902. № 968, 6 янв. С. 3; см. также: Гоголь в Сербии // *Лит. Вестник.* 1902. № 2. С. 235; *Всеславянское чествование Н. В. Гоголя в Вене* // *Славянский Век.* (Вена). 1902. № 39—40. С. 410; *Милдрагович М.* Гоголь у сербов во второй половине XIX века // *Русско-югославские литературные связи. Вторая половина XIX — начало XX века.* М., 1975. С. 85.

³²² *Балецкий Э. Н. В.* Гоголь и венгры. Несколько данных о русско-венгерских литературных взаимоотношениях // *Studia Slavica.* (Budapest). 1959. № 1—2. С. 1—8.

³²³ См.: *Исаков С. Г.* Восприятие творчества Гоголя в Эстонии XIX века // *Гоголь и литература народов Советского Союза.* Ереван, 1986. С. 358.

³²⁴ *Городецкий М.* Как в Брюсселе давали «Ревизора» и «Тараса Бульбу» // *Волынь.* (Житомир). 1902. № 43, 21 февр. С. 2.

³²⁵ *За границей* // *Театр и искусство.* 1897. № 22. С. 414.

³²⁶ *Сохряков Ю. И.* Восприятие творчества Гоголя в США // *Научные доклады высшей школы. Филологические науки.* 1982. № 4. С. 24.

³²⁷ См.: *Рехо К.* Русская классика и японская литература. М., 1987. С. 89.

³²⁸ *Багно В. Е.* Гоголь и испанская литература // *Гоголь и мировая литература.* М., 1988. С. 200.

³²⁹ *Багно В. Е.* Гоголь и испанская литература. С. 207, 212—213.

³³⁰ *Советская культура.* 1985. 5 дек.

³³¹ В свое время такую реплику высказал В. В. Вересаев (см.: *Вересаев В.* Гоголь в жизни. Систематический свод подлинных свидетельств современников. М.; Л., 1933. С. 190).

³³² <*Розанов В. В.*> *Варварин В.* Загадки Гоголя... // *Русское Слово.* 1909. № 58, 12 марта.

³³³ *Белый А.* Мастерство Гоголя. Исследование. М.; Л., 1934. С. 48—54, 66—68.

³³⁴ См.: *Абрамович Г. Л.* Народная мысль в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя. С. 29.

³³⁵ *Витберг Ф. А.* Гоголь как историк // *Исторический Вестник.* 1892. № 8. С. 393—394.

³³⁶ *Гаско М.* Мицкевич і Гоголь // *Всесвіт.* 1974. № 12. С. 184—186. См. также: *Беккер И. И.* Мицкевич в Петербурге. Л., 1955. С. 164.

³³⁷ О знакомстве Любича-Романовича с Мицкевичем см. также: *Ланда С. С.* Примечания // *Мицкевич А.* Сонеты. Л., 1976. С. 317—319.

³³⁸ *Рейтблат А. И.* Летописец слухов. (Неопубликованные воспоминания В. П. Бурнашева) // *Новое литературное обозрение.* 1993. № 4. С. 167.

³³⁹ См., в частности, стихотворение Пушкина «Он между нами жил...».

³⁴⁰ *Жданов И. Н.* История русской литературы. Н. В. Гоголь. СПб., 1904. С. 225—226.

³⁴¹ *Оксман Ю.* Неосуществленный замысел истории Украины. С. 215—216, 219.

³⁴² См.: *Тихомиров Н.* Примечания редактора и варианты. С. 664; *Слюсарь А. А.* Проза А. С. Пушкина и Н. В. Гоголя. Киев; Одесса, 1990. С. 51; *Звизняковский В. Я.* Николай Гоголь. С. 260.

³⁴³ *Петров С. М.* «Тарас Бульба» Н. В. Гоголя // Уч. зап. Моск. гос. пед. ин-та им. В. И. Ленина. 1961. № 160. С. 72.

³⁴⁴ *Якубовский Ф.* Трагедия Микола Гоголя. С. 18.

³⁴⁵ *Ерофеев В. В.* «Французский элемент» в творчестве Гоголя. С. 378—379.

³⁴⁶ См. коммент. в изд.: *Гоголь Н. В.* Собр. соч.: В 9 т. Т. 2. С. 471—474.

³⁴⁷ См. коммент. в изд.: *Гоголь Н. В.* Собр. соч.: В 9 т. Т. 9. С. 549.

³⁴⁸ См.: *Шенрок В. И.* Материалы для биографии Гоголя. Т. 3. С. 549; *Кочубинский Ал.* Будущим биографам Гоголя // Вестник Европы. 1902. № 2; *Лященко А.* Об отношении Гоголя к католичеству // Лит. Вестник. 1902. № 1; *Солоухин В.* Камешки на ладони // Новый мир. 1986. № 8; *Барабаш Ю.* «Тайная любовь» Гоголя? Мифы старые и «новые» // Вопросы литературы. 1987. № 1; *Моторин А. В.* Римский фактор в романтизме Гоголя // Гоголевский сборник. СПб., 1994; *Анненкова Е. И.* Католицизм в системе воззрений Н. В. Гоголя // Гоголь: Материалы и исследования. М., 1995.

³⁴⁹ *Вересаев В.* Гоголь в жизни. Систематический свод подлинных свидетельств современников. М.; Л., 1933. С. 190.

³⁵⁰ *Лугаковский В. А.* Русские писатели в польской литературе. Вып. 1. Гоголь. СПб., 1903. С. 19—20.

³⁵¹ *Десницкий В. А.* «Мертвые души» Гоголя как поэма дворянского возрождения // *Десницкий В. А.* На литературные темы. М.; Л., 1933. С. 224, 231.

³⁵² *Герцен А. И.* Собр. соч.: В 30 т. Т. 2. С. 333.

³⁵³ *Розанов И. Н.* Н. М. Языков и Ф. В. Чижов. Переписка 1843—1845 гг. // Лит. наследство. Т. 19—21. М., 1935. С. 124.

³⁵⁴ *Аристов Н. Я.* Иноземное влияние в России, изображенное Гоголем в его сочинениях. С. 94; *Ульянов Н. И.* Происхождение украинского сепаратизма. М., 1996. (Репринтное воспроизведение изд. 1966 г.; Нью-Йорк; Мадрид.) С. 151—155.

³⁵⁵ См. письма Б. Залесского к И. Кайсевичу (начиная с 1833 г.) и к П. Семенову (с 1837-го) в изд.: *Zaleski D.* Korespondencya Józefa Bohdana Zaleskiego // *Przewodnik naukowy i literacki.* Lwów, 1899—1901.

³⁵⁶ См.: *Пыпин А. Н., Спасович В. Д.* История славянских литератур. 2-е изд., доп. СПб., 1881. Т. 2. С. 622—623; *Франко І.* Юзеф Богдан Залеський // *Зібрання творів:* У 50 т. Київ, 1980. Т. 27. С. 27—32; *Євшан М.* Богдан Залеський і Україна // *Літературно-Науковий Вістник.* 1912. № 3. С. 266—267; *Козловский Л.* Польские романтики «Украинской школы». II. Богдан Залесский // *Голос Минувшего.* 1913. № 8. С. 45—48.

³⁵⁷ См.: *Чумак Т. М.* Исторические реалии в повести Н. В. Гоголя «Страшная месть» // Вопросы русской литературы. 1983. № 2 (42).

³⁵⁸ См.: *Зеньковский В. В.* Русские мыслители и Европа. (Критика европейской культуры у русских мыслителей). Париж, <1926>. С. 63; *Зеньковский В., проф.,* прот. Н. В. Гоголь. Париж, <1961>. С. 205.

³⁵⁹ *Абрамович Г. Л.* Народная мысль в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя. С. 30.

³⁶⁰ Евангелие от Матфея, гл. 9, ст. 12.

³⁶¹ Пушкин. Полн. собр. соч. Т. 2, ч. 2. С. 741.

³⁶² Тютчев Ф. И. Папство и Римский вопрос // Тютчев Ф. И. Россия и Запад: Книга пророчеств. Статьи, стихи. М., 1999. С. 63. Сходное мнение на этот счет русского посланника в Риме А. П. Бутенева, высказанное в 1845 г., см. в пятой главе настоящей книги.

³⁶³ Попов А. Н. Сношения России с Римом с 1845 по 1850 год // Журнал Министерства Народного Просвещения. 1870. № 1. <Отд. 2>. С. 60.

³⁶⁴ См.: Попов А. Н. Сношения России с Римом с 1845 по 1850 год // Журнал Министерства Народного Просвещения. 1870. № 1—3, 5—7, 12; Щебальский > П. История русского конкордата // Русский Вестник. 1871. № 4. С. 610—663; Император Николай I и папа Григорий XVI // Вестник Иностранной Литературы. 1896. № 9. С. 5—13; Винтер Э. Папство и царизм. М., 1964. С. 255—295.

³⁶⁵ Берг Н. В. Воспоминания о Н. В. Гоголе // Гоголь в воспоминаниях современников. С. 503.

³⁶⁶ Гус М. С. Гоголь и николаевская Россия. М., 1957. С. 224.

³⁶⁷ Погодин М. П. Письмо к Министру народного просвещения, по возвращении из путешествия по Европе в 1839 году // Погодин М. П. Историко-политические письма и записки. М., 1874. С. 24.

³⁶⁸ См.: Марков О. О. Н. В. Гоголь в галицко-русской литературе // Известия отделения рус. яз. и словесности Императорской Академии наук. 1913. Т. 18. Кн. 2; Водовозов Н. В. Славянские интересы Гоголя // Уч. зап. Моск. гор. пед. ин-та им. В. П. Потемкина. Кафедра русской литературы. 1960. Т. 107. Вып. 10; Мешкова Е. Л. Н. В. Гоголь и чехословацкая литература первой половины XIX века // Мовознавство і літературознавство. Київ, 1964.

³⁶⁹ Погодин М. П. Письмо к Министру народного просвещения, по возвращении из путешествия по Европе в 1839 году. С. 15, 21, 22, 25, 43. См. также: Барсуков Н. Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1892. Т. 5. С. 330—334.

³⁷⁰ Послание св. апостола Павла к Галатам, гл. 3, ст. 24.

³⁷¹ Откровение св. Иоанна Богослова, гл. 3, ст. 15—16.

³⁷² В лекции «Состояние Италии под владычеством готов, греческого экзархата, ломбардов; их влияние и отношение к римлянам».

³⁷³ Первое послание к Коринфянам св. апостола Павла, гл. 9, ст. 20—21.

³⁷⁴ Евангелие от Иоанна, гл. 7, ст. 49.

³⁷⁵ Вересаев В. Гоголь в жизни. С. 190.

³⁷⁶ См. лекцию Гоголя 1834 г. «Состояние королевства вестготов в Испании и завоевание ее арабами».

³⁷⁷ Хоцянов К. Опыт разбора повести Гоголя «Тарас Бульба». С. 4.

³⁷⁸ Ефименко А. Малороссийское казачество по Гоголю // Журнал для всех. 1902. № 2. С. 210

³⁷⁹ Соколов И. И. Константинопольская Церковь в XIX веке. Слб., 1904. Т. 1. С. 193—194.

³⁸⁰ Вересаев В. Гоголь в жизни. С. 190.

³⁸¹ Данилевский Г. П. Знакомство с Гоголем. С. 479.

³⁸² Ульянов Н. И. Происхождение украинского сепаратизма. С. 149—150.

³⁸³ Лукаковский В. А. Гоголь в польской литературе. С. 26—27.

³⁸⁴ Подробнее об этом письме см.: *Виноградов И.* Гоголь и Литургия: К истолкованию одного письма // Лит. учеба. 1995. № 2—3. С. 202—206.

³⁸⁵ *Зеньковский В. В.* Н. В. Гоголь в его религиозных исканиях // Христианская Мысль. 1916. № 7—8. С. 3—6, 8.

³⁸⁶ *Гуминский В. М.* «Степной царь» («Тарас Бульба» в «Миргороде» и «Арабесках») // *Гуминский В. М.* Открытие мира, или Путешествия и странники. С. 37.

³⁸⁷ <*Симонов М. Т.*> *Номис М.* Украинські приказки, прислів'я та інше. Збірники О. В. Маркевича и других. СПб., 1864. С. 38.

³⁸⁸ *Юрченко Т. Г.* Дойч Ю. Запорожские казаки в «Тарасе Бульбе» Гоголя // Общественные науки за рубежом. Р<еферативный> ж<урнал>. Серия 7. Литературоведение. 1989. № 2. С. 95.

³⁸⁹ См.: Записки *К. К. Мердера*, воспитателя Цесаревича Александра Николаевича. 1824—1834 гг. // Русская Старина. 1885. № 6. С. 490; *Шенрок В. И.* Материалы для биографии Гоголя. Т. 3. С. 265; *Веневитинов М. А.* Несколько слов о графе Иосифе Михайловиче Виельгорском // Русская Старина. 1898. № 1. С. 100; *Шик А.* Гоголь в Ницце. Paris, 1946. С. 16.

³⁹⁰ Согласно письму жены С. П. Шевырева Софьи Борисовны Шевыревой от 3 июня н. ст. 1839 г. из Рима, Иосиф причащался за день до смерти (см.: *Лямина Е. Э., Самовер Н. В.* «Бедный Жозеф»: Жизнь и смерть Иосифа Виельгорского. М., 1999. С. 442).

³⁹¹ Подробнее см. в нашей статье «К истории отношений Гоголя с Виельгорскими» (Наше наследие. 1998. № 46. С. 56—59).

³⁹² *Реннина В.*, княжна. Из воспоминаний о прошлом // Русский Архив. 1870. № 7—9. С. 1725—1727.

³⁹³ Согласно письму жены С. Б. Шевыревой от 3 июня н. ст. 1839 г. из Рима, Гоголь вышел от Иосифа за час до его смерти.

³⁹⁴ *Шенрок В. И.* Материалы для биографии Гоголя. Т. 3. С. 190—191.

³⁹⁵ Цит. по: *Мицкевич А.* Собр. соч.: В 5 т. М., 1954. Т. 5. С. 671.

³⁹⁶ Соч. и письма *Н. В. Гоголя*. СПб., 1857. Т. 5. С. 296.

³⁹⁷ *Мочульский К.* Духовный путь Гоголя. Paris, 1934. С. 48. См. также: *Котляревский Н. А.* Н. В. Гоголь. СПб., 1903. С. 310; *Зеньковский В. В.* Н. В. Гоголь в его религиозных исканиях // Христианская Мысль. 1916. № 1. С. 51.

³⁹⁸ *Якубовский Ф.* Трагедия Николи Гоголя. С. 18.

³⁹⁹ *Тихонравов Н.* Примечания редактора и варианты. С. 664—667.

⁴⁰⁰ *Анненков П. В.* Н. В. Гоголь в Риме летом 1841 года. С. 75—76; *Иордан Ф. И.* Записки. М., 1918. С. 161.

⁴⁰¹ *Анненков П. В.* Н. В. Гоголь в Риме летом 1841 года. С. 78.

⁴⁰² См. письмо Гоголя к А. С. Данилевскому от 2 февраля н. ст. 1838 г.

⁴⁰³ *Волконская З. А.*, кн. «Песнь Невская». Стихотворение. Списание Н. В. Гоголя // РНБ. Ф. 850. Ед. хр. 61. Л. 1—1об.

⁴⁰⁴ *Кочубинский Ал.* Будущим биографам Гоголя. С. 665.

⁴⁰⁵ *Волконская З. А.*, кн. «Песнь Невская». Л. 2—2об.

⁴⁰⁶ См.: Письма *А. И. Иванова* к сыну // Русский Художественный Архив. 1892/1893. С. 103; Александр Андреевич Иванов. Его жизнь и переписка. 1806—1858. Издал *Михаил Боткин*. СПб., 1880. С. 26, 121.

⁴⁰⁷ *Smolikowski P.*, ksądz. *Historya Zmartwychwstania Panskiego*. <Смоликовский П., кседаз. История Общества Воскресения Господня.> Краков, 1893. Т. 2. С. 115. Перевод с польск. Е. Ю. Марченко.

⁴⁰⁸ Отрывки из заграничных писем (1844—1848) *Матвея Волкова*. СПб., 1857. С. 113; см. также: *Будлав Ф. И.* Римская вилла кн. З. А. Волконской. Из моих воспоминаний // Вестник Европы. 1896. № 1. С. 29.

⁴⁰⁹ *Пушкин*. Полн. собр. соч. Т. 15. С. 75.

⁴¹⁰ *Плетнев П. А.* Соч. и переписка. Т. 3. С. 552.

⁴¹¹ Цит. по: *Пушкин*. Полн. собр. соч. Т. 15. С. 84.

⁴¹² *Пономарев С.* Из писем к М. А. Максимовичу // Киевская Старина. 1883. № 4. С. 846.

⁴¹³ См. коммент. М. П. Громова в изд.: *Гоголь Н. В.* Собр. соч.: В 8 т. М., 1984. Т. 3. С. 334.

⁴¹⁴ *Ульянов Н.* На гоголевские темы: Кто подлинный создатель «демонического» Петербурга? // Новый журнал. (Нью-Йорк). 1969. № 94. С. 103—111. О переключках между «Медным всадником» Пушкина и «петербургскими повестями» Гоголя (в частности, «Шинелью») см.: *Гуковский Г. А.* Реализм Гоголя. С. 261; *Фридман Н. В.* Влияние «Медного всадника» Пушкина в «Шинели» Гоголя // Искусство слова. М., 1973. С. 170—176; *Фридман Н. В.* Тема «маленького человека» в творчестве Пушкина и Гоголя // А. С. Пушкин и русская литература. Калинин, 1983. С. 32—51; *Кожин В. В.* Вместо предисловия // Гоголь: История и современность. М., 1985. С. 10—13.

⁴¹⁵ *Ходасевич Вл.* Петербургские повести Пушкина // *Пушкин-Титов*. Уединенный домик на Васильевском. М., 1915. С. 9—14.

⁴¹⁶ Издателями сочинений Гоголя это объявление до последнего времени не было учтено.

⁴¹⁷ См. письма Гоголя к С. Т. Аксакову (от 18 марта н. ст. 1843 г.), Н. Я. Прокоровичу (от 17 и 19 апреля н. ст. 1843 г.), С. П. Шевыреву (от 28 февраля и 7 апреля н. ст. 1843 г. и от февраля 1851 г.). Повесть «Портрет» была напечатана в этом собрании в переделанном виде.

⁴¹⁸ *Плетнев П. А.*— Гроту Я. К. 28 октября 1842 г. Санкт-Петербург // Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. Т. 1. С. 931.

⁴¹⁹ См. об этом в первой главе настоящей книги.

⁴²⁰ См. коммент. в изд.: *Гоголь Н. В.* Собр. соч.: В 9 т. Т. 4. С. 554.

⁴²¹ *Анненков П. В.* Н. В. Гоголь в Риме летом 1841 года. С. 79.

⁴²² *Зеньковский В. В.*, проф. прот. Н. В. Гоголь. С. 127.

⁴²³ *Достоевский Ф. М.* Записная тетрадь 1872—1875 годов // Лит. наследство. Т. 83. М., 1971. С. 314.

⁴²⁴ *Плетнев П. А.* Соч. и переписка. Т. 3. С. 528. См. также письма самого Гоголя к М. П. Погодину от 25 ноября 1832 г. и к матери от 24 июня 1833-го.

⁴²⁵ *Ходасевич Вл.* Петербургские повести Пушкина. С. 17—19.

⁴²⁶ Там же. С. 18.

⁴²⁷ <*Кулиш П. А.*> *Николай М.* Опыт биографии Н. В. Гоголя. С. 50; *Белозерская Н. А.* Н. В. Гоголь. Служба его в Патриотическом Институте. 1831—1835 // Русская Старина. 1887. № 12. С. 754; *Линниченко И. А.* Новые материалы для биографии Н. В. Гоголя. С. 173.

- ⁴²⁸ См.: *Вайскопф М.* Нос в Казанском соборе: О генезисе религиозной темы у Гоголя // *Wiener Slawistischer Almanach*. Bd. 19. 1987. S. 36.
- ⁴²⁹ *Шенрок В. И.* Материалы для биографии Гоголя. Т. 1. С. 152.
- ⁴³⁰ *Глинка Ф. Н.* Письма к другу. М., 1990. С. 218.
- ⁴³¹ *Крейцер А.* Зачем уезжал Гоголь из Петербурга в 1829 году? // *Нева*. 1993. № 4. С. 285—286.
- ⁴³² <*Кулиш П. А.*> *Николай М.* Записки о жизни Н. В. Гоголя. Т. 2. С. 241.
- ⁴³³ Второе послание св. апостола Павла к Коринфянам, гл. 11, ст. 14.
- ⁴³⁴ *Киевская Старина*. 1898. Т. 68, № 7—8. С. 123.
- ⁴³⁵ *Шенрок В. И.* Материалы для биографии Гоголя. Т. 1. С. 182.
- ⁴³⁶ <*Бухарев А. М.*> Три письма к Н. В. Гоголю, писанные в 1848 году. СПб., 1860. С. 253.
- ⁴³⁷ *Виноградов В.* Сюжет и композиция повести Гоголя «Нос» // *Начала*. 1921. № 1. С. 86.
- ⁴³⁸ *Карлгоф Н.* Панегирик носу // *Литературные Прибавления к Русскому Инвалиду*. 1832. № 62, 3 авг. С. 489.
- ⁴³⁹ См., в частности, развитие этого мотива у Ф. В. Булгарина: *Булгарин Ф. Иван Выжигин, нравственно-сатирический роман*. СПб., 1829. Ч. 3. С. 36.
- ⁴⁴⁰ *Писарев Д. И.* Наши усыпители // *Соч.*: В 4 т. М., 1956. Т. 4. С. 254.
- ⁴⁴¹ *Писарев Д. И.* Генрих Гейне // *Соч.*: В 4 т. Т. 4. С. 224.
- ⁴⁴² *Арнольди Л. И.* Мое знакомство с Гоголем // *Гоголь в воспоминаниях современников*. С. 473.
- ⁴⁴³ *Белинский В. Г.* И мое мнение об игре г. Каратыгина // *Собр. соч.*: В 9 т. Т. 1. С. 130.
- ⁴⁴⁴ *Шевырев С. П.* Похождения Чичикова, или Мертвые души. С. 77.
- ⁴⁴⁵ См.: Переписка Н. В. Гоголя. Т. 2. С. 299.
- ⁴⁴⁶ См.: *Gorlin M. N. V. Gogoï und E. Th. A. Hoffman*. Leipzig, 1933; *Абрамович Г. Л.* Идиллия Гоголя «Ганц Кюхельгартен» (к проблеме жанра) // *Уч. зап. Моск. обл. пед. ин-та*. 1968. Т. 212. Вып. 12; *Купреянова Е. Н.* Принципы «монументального» и психологического реализма в творчестве Гоголя, Бальзака и Лермонтова // *Купреянова Е. Н., Макогоненко Г. П.* Национальное своеобразие русской литературы. Л., 1976. С. 273—320; *Ботникова А. Б. Э. Т. А. Гофман и русская литература (первая половина XIX века)*. Воронеж, 1977. С. 143—156; *Михайлов А. В.* Гоголь в своей литературной эпохе // *Гоголь: История и современность*. М., 1985. С. 115—119; *Дилакторская О. Г.* Примечания // *Гоголь Н. В.* Петербургские повести. СПб., 1995. С. 270, 279; и др.
- ⁴⁴⁷ Цит. по: *Замотин И. И.* Романтизм двадцатых годов XIX столетия в русской литературе. СПб.; М., 1913. Т. 2. С. 418.
- ⁴⁴⁸ О чтении Четий-Миней в семье Гоголей см.: *Чаговец В. А.* Семейная хроника Гоголей. С. 36—37.
- ⁴⁴⁹ *Замотин И. И.* Три романтических мотива в произведениях Гоголя. К характеристике Гоголевского идеала. Варшава, 1902. С. 18.
- ⁴⁵⁰ Там же. С. 19—20.
- ⁴⁵¹ Там же. С. 20.

⁴⁵² Гете. Слово, произнесенное в память Гете в торжественном собрании Академии наук президентом оной, С. С. Уваровым // Уч. зап. Моск. ун-та. 1833. Ч. 1, № 1. С. 83, 85.

⁴⁵³ Оксман Ю. Кровавый бандурист (запрещенные страницы Гоголя) // Литературный музей. Пг., 1921. Т. 1. С. 352; см. также: Лит. наследство. Т. 58. С. 545—546.

⁴⁵⁴ Паламарчук П. Г. Примечания // Гоголь Н. В. Арабески. М., 1990. С. 420.

⁴⁵⁵ Погодин М. П. Год в чужих краях. М., 1844. Ч. 2. С. 136.

⁴⁵⁶ Анненков П. В. Н. В. Гоголь в Риме летом 1841 года. С. 70.

⁴⁵⁷ Смирнова-Россет А. О. Дневник. Воспоминания. С. 43.

⁴⁵⁸ Хомяков А. С. Картина Иванова. Письмо к редактору // Русская Беседа. 1858. Т. 3. С. 2.

⁴⁵⁹ Хомяков А. С. Картина Иванова. С. 11.

⁴⁶⁰ Чижов Ф. В. О работах русских художников в Риме // Московский Литературный и Ученый Сборник. М., 1846. С. 69.

⁴⁶¹ Смирнова-Россет А. О. Дневник. Воспоминания. С. 43.

⁴⁶² Анненков П. В. Письма из-за границы // Анненков П. В. Парижские письма. М., 1983. С. 25.

⁴⁶³ Зеньковский В. В., проф. Гоголь и Достоевский. С. 68.

⁴⁶⁴ Щенрок В. И. Указатель к письмам Гоголя, заключающий в себе объяснения инициалов и других сокращений в издании Кулиша. М., 1886. С. 40.

⁴⁶⁵ Боткин М. Александр Андреевич Иванов. С. 118. См. также с. 266.

⁴⁶⁶ В. С. Аксакова 11 ноября 1841 г. писала по поводу картины Ф. А. Бруни «Медный змий» М. Г. Карташевской: «...Жаль, что ты не видала картины Бруни. Я спрашивала об ней Гоголя. Он говорит, что в картинах Бруни виден талант более зрелый, нежели в картинах Брюллова, но что у этого последнего более гения; что картина эта, впрочем, прекрасна и что каждая группа отдельно может служить для изучения...» (Лит. наследство. Т. 58. С. 608).

⁴⁶⁷ См.: Алпатов М. В. Александр Андреевич Иванов. Жизнь и творчество. В 2 т. М., 1956. Т. 1. С. 224, 404.

⁴⁶⁸ Заметка о К. П. Брюллове (из воспоминаний М. И. Железнова) // Живописное Обозрение. 1898. № 30. С. 603—604.

⁴⁶⁹ Сазонов Н. И. Правда об Императоре Николае (1854). Пер. с фр. под ред. П. П. Щеголева. Козьмин Б. Из литературного наследства Н. И. Сазонова // Лит. наследство. Т. 41—42. М., 1941. С. 216—217. См. также: Заметки и воспоминания художника-живописца М. Меликова // Русская Старина. 1896, № 6.

⁴⁷⁰ Книга Премудрости Соломона, гл. 14, ст. 12—26.

⁴⁷¹ Анненков П. В. Н. В. Гоголь в Риме летом 1841 года. С. 55.

⁴⁷² См. коммент. в изд.: Гоголь Н. В. Полн. собр. соч.: В 14 т. Т. 3. С. 688.

⁴⁷³ Свод законов Российской Империи. СПб., 1832. Т. 1. С. XI.

⁴⁷⁴ См.: Раков Ю. Где жил Башмачкин // Ленинградская правда. 1984. 28 июля; Его же. Где мог жить Башмачкин? // Лит. Россия. 1985. 29 марта; Его же. Петербург — город литературных героев. СПб., 1997. С. 47—48. Петербургская Колонна — место между Мойкой, Крюковым каналом, Фонтанкой и Пряжкой.

⁴⁷⁵ Гоголь в Нежинском лицее. Из воспоминаний В. И. Любича-Романовича // Исторический Вестник. 1902. № 2. С. 556.

⁴⁷⁶ Журнал Министерства Народного Просвещения. 1834. № 4. С. XVII.

⁴⁷⁷ 1833. Мая 27. Статьи, на которые, по циркулярному предложению Г. Управляющего Министерством, Гг. Попечители и Помощники Попечителей должны обращать особенное внимание при обозрении Учебных Округов // Журнал Министерства Народного Просвещения. 1834. № 1. С. LXV.

⁴⁷⁸ См.: Дополнение к Сборнику постановлений по Министерству Народного Просвещения. СПб., 1867. Стб. 348—349.

⁴⁷⁹ Циркулярное предложение Г. Управляющего Министерством Народного Просвещения Начальствам Учебных Округов, о вступлении в управление Министерством // Журнал Министерства Народного Просвещения. 1834. № 1. С. XLIX—L. См. также: Сборник распоряжений по Министерству Народного Просвещения. СПб., 1866. Т. 1. Стб. 838.

⁴⁸⁰ См. об этом в восьмой главе настоящей книги.

⁴⁸¹ Панаева (Головачева) А. Я. Воспоминания. М., 1956. С. 159.

⁴⁸² Воспоминания В. И. Панаева // Вестник Европы. 1867. № 12. С. 143.

⁴⁸³ Выражение Гоголя. 7 апреля 1828 г. он писал матери из Нежина: «Желал бы, сколько возможно, уменьшить свои нужды (я трепещу, воображая, каким трудом вами достается нам даже необходимое), но несмотря на мои великие ограничения, менее 200 рублей не может обойтись мне мое экипирование».

⁴⁸⁴ Послание св. апостола Павла к Римлянам, гл. 13, ст. 14.

⁴⁸⁵ Белинский В. Г. О русской повести и повестях г. Гоголя // Собр. соч.: В 9 т. Т. 1. С. 174.

⁴⁸⁶ Карамзин Н. М. О древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях. С. 103.

⁴⁸⁷ Там же. С. 107.

⁴⁸⁸ Церковный год, или Собрание воскресных поучений, говоренных к народу Владимиром <Алявдиным>, епископом Костромским и Галичским в 1835, 1836 и 1837 годах, в Киеве и Костроме. СПб., 1838. Т. 1. С. 92.

⁴⁸⁹ Соч. епископа Игнатия Брянчанинова. СПб., 1905. Т. 1. С. 358.

⁴⁹⁰ Виноградов И. Крест миролюбцев. К первоначальному названию повести Н. В. Гоголя «Записки сумасшедшего» // Лит. Россия. 1994. № 11, 18 марта. С. 14.

⁴⁹¹ См.: Сикорский И. А. Изображение душевно-больных в творчестве Гоголя // Памяти Гоголя. Киев, 1902. Отд. 2. С. 429—430.

⁴⁹² Афанасьев А. Н. Отрывки из моей памяти и переписки. С. 153—154.

⁴⁹³ <Бугарин> Ф. Три листка из дома сумасшедших, или психическое исцеление неизлечимой болезни. (Первое извлечение из Записок старого врача) // Северная Пчела. 1834. № 37. 15 февр. С. 147. Переключки повести Булгарина с «Записками сумасшедшего» отмечены И. П. Золотусским (Золотусский И. П. «Записки сумасшедшего» и «Северная Пчела» // Золотусский И. П. Час выбора. М., 1976. С. 212—214).

⁴⁹⁴ На связь «Шинели» со страданием сорока мучеников Севастийских впервые указано в работе Э. Пеуранена «Акакий Акакиевич Башмачкин и Святой Акакий» (Slavica Finlandensia. Т. 1. Helsinki, 1984).

⁴⁹⁵ <Хитрово Е. А.> Гоголь в Одессе. С. 558.

⁴⁹⁶ Григорьев А. А. Гоголь и его последняя книга // Русская эстетика и критика 40—50-х годов XIX века. М., 1982. С. 113—114.

- ⁴⁹⁷ Лит. наследство. Т. 58. С. 555—556.
- ⁴⁹⁸ Сравнения Италии с Малороссией см. также в письмах Гоголя 1838 г. — к А. С. Данилевскому от 2 февраля н. ст., к сестрам от 28 апреля н. ст. и в апрельском письме к М. П. Балабиной.
- ⁴⁹⁹ *Анненков П. В.* Письма из-за границы. С. 27, 29.
- ⁵⁰⁰ Отрывки из заграничных писем (1844—1848) *Матвея Волкова*. С. 129.
- ⁵⁰¹ *Смирнова-Россет А. О.* Дневник. Воспоминания. С. 50.
- ⁵⁰² *Анненков П. В. Н. В.* Гоголь в Риме летом 1841 года. С. 67—68.
- ⁵⁰³ *Анненков П. В.* Письма из-за границы. С. 30—31.
- ⁵⁰⁴ *Анненков П. В. Н. В.* Гоголь в Риме летом 1841 года. С. 84—85.
- ⁵⁰⁵ См. об этом воспоминания П. В. Анненкова и Ф. И. Иордана — в предшествующей, четвертой главе настоящей книги, а также содержание самой повести «Рим».
- ⁵⁰⁶ *Муратов П. П.* Образы Италии. М., 1994. С. 277.
- ⁵⁰⁷ Северный Вестник. 1893. № 1. С. 246—247.
- ⁵⁰⁸ *Смирнова А. О.* Записки, дневник, воспоминания, письма. М., 1929. С. 332.
- ⁵⁰⁹ См.: *Попов А. Н.* Несколько документов, относящихся к началу воссоединения униатов. СПб., 1869. С. 4—7.
- ⁵¹⁰ Гоголь в воспоминаниях современников. С. 106.
- ⁵¹¹ *Анненков П. В. Н. В.* Гоголь в Риме летом 1841 года. С. 70.
- ⁵¹² *Стороженко А. П.* Воспоминание // Отечественные Записки. 1859. № 4. С. 80—81.
- ⁵¹³ *Смирнова-Россет А. О.* Дневник. Воспоминания. С. 32, 51.
- ⁵¹⁴ Там же. С. 38. См. также: <Кулиш П. А.> *Николай М.* Записки о жизни Н. В. Гоголя. Т. 2. С. 4.
- ⁵¹⁵ *Смирнова-Россет А. О.* Дневник. Воспоминания. С. 50.
- ⁵¹⁶ Записки А. О. Смирновой. Т. 2. С. 77.
- ⁵¹⁷ См.: *Ободовский К. П.* Рассказы о Гоголе. С. 36.
- ⁵¹⁸ См.: <Кулиш П. А.> *Николай М.* Записки о жизни Н. В. Гоголя. Т. 1. С. 329.
- ⁵¹⁹ См.: *Гусева Е. Н.* Воспоминания Г. П. Галагана о Н. В. Гоголе.
- ⁵²⁰ *Белинский В. Г.* — Боткину В. П. 22 ноября 1839 г. Петербург // Собр. соч.: В 9 т. Т. 9. С. 291.
- ⁵²¹ <Кулиш П. А.> *Николай М.* Записки о жизни Н. В. Гоголя. Т. 2. С. 240—241.
- ⁵²² Дневник *Ивана Михайловича Снегирева*. М., 1904. Т. 1. С. 485.
- ⁵²³ *Шестаков П. Д.* Воспоминания о В. И. Назимове // Исторический Вестник. 1891. № 3. С. 711.
- ⁵²⁴ См.: *Погодин М. П.* Месяц в Риме // Москвитянин. 1842. № 4. С. 333; Год в чужих краях. 1839. Дорожный дневник *М. Погодина*. М., 1844. Ч. 2. С. 117.
- ⁵²⁵ *Попов А. Н.* Сношения России с Римом с 1845 по 1850 год // Журнал Министерства Народного Просвещения. 1870. № 1. <Отд. 2>. С. 61.
- ⁵²⁶ *Попов А. Н.* Сношения России с Римом с 1845 по 1850 год. С. 66.
- ⁵²⁷ *Бернштейн Б. А.* Иванов и славянофильство // Искусство. 1959. № 3. С. 63; *Неклюдова М. Г.* «Библейские эскизы» А. А. Иванова (к истории создания и замысла; к вопросу о стиле) // Русское искусство XVIII — первой половины XIX века. Материалы и исследования. М., 1971. С. 52.
- ⁵²⁸ ГРМ. Ф. 24, № 11. Л. 1.

⁵²⁹ ГРМ. Ф. 24. № 11. Л. 2.

⁵³⁰ См.: Сушков Н. В. Мнимая мученица // Чтения в Имп. Обществе Истории и Древностей Российских при Московском ун-те. 1860. Кн. 3. Отд. 5. С. 238—242; Униатское дело, сообщ. <История> Митрополит Литовский Иосиф <Семашко> // Чтения в Имп. Обществе Истории и Древностей Российских при Московском ун-те. 1862. Кн. 2. Отд. 5. С. 211—216.

⁵³¹ Император Николай I и папа Григорий XVI. С. 12.

⁵³² Анненков П. В. Замечательное десятилетие. 1838—1848 // Анненков П. В. Литературные воспоминания. М., 1989. С. 178.

⁵³³ Зеньковский В. В., проф., прот. Н. В. Гоголь. С. 113—114.

⁵³⁴ Там же. С. 208.

⁵³⁵ Мандевиль Б. Басня о пчелах. М., 1974. С. 185—186.

⁵³⁶ Исторические афоризмы Михаила Погодина. М., 1836. С. 105.

⁵³⁷ Гоголь Н. В. Соч. 10-е изд. М., 1889. Т. 3. С. 431.

⁵³⁸ Деяния св. апостолов, гл. 19, ст. 23—40.

⁵³⁹ Первое послание к Коринфянам св. апостола Павла, гл. 15, ст. 32.

⁵⁴⁰ Белинский В. Г. Собр. соч.: В 9 т. Т. 5. С. 155.

⁵⁴¹ См.: Анненков П. В. Н. В. Гоголь в Риме летом 1841 года. С. 67; Стасов В. Гоголь и русские художники в Риме // Древняя и Новая Россия. 1879. № 12. С. 529; Тихонравов Н. Примечания редактора и варианты. С. 674—675.

⁵⁴² На это, в частности, указывали исследователи: Зеньковский В. В. Русские мыслители и Европа. С. 51; Хлодовский Р. Рим в мире Гоголя // Иностранная литература. 1984. № 12. С. 206; Ерофеев В. В. «Французский элемент» в творчестве Гоголя. С. 388.

⁵⁴³ Такое же представление о народности высказывали ранее, во второй половине 1820-х гг. по поводу произведений Пушкина («Евгения Онегина» и «Полтавы») Д. В. Веневитинов, Н. И. Надеждин, Кс. А. Полевой, М. А. Максимович (см.: Трубицын Н. Н. О народной поэзии в общественном и литературном обиходе первой трети XIX века. С. 413—416).

⁵⁴⁴ Барсуков Н. Жизнь и труды М. П. Погодина. Т. 9. С. 475.

⁵⁴⁵ Там же. Т. 11. С. 552.

⁵⁴⁶ Книга пророка Иеремии, гл. 15, ст. 10.

⁵⁴⁷ Лугаковский В. Гоголь в польской литературе. С. 30.

⁵⁴⁸ Ленин В. И. Из прошлого рабочей печати в России // Полн. собр. соч.: В 55 т. М., 1961. Т. 25. С. 94.

⁵⁴⁹ Максимович М. А. Письма о Киеве и воспоминания о Тавриде. СПб., 1871. С. 55—56.

⁵⁵⁰ Белинский В. Г. Собр. соч.: В 9 т. Т. 1. С. 177—178.

⁵⁵¹ РГИА. Ф. 1409. Оп. 2. № 6092; опубл.: Виноградов И. Неизвестное письмо великого русского писателя. Гоголь и монархия // Воскресная школа. 1998. Сент., № 34. С. 7.

⁵⁵² Евангелие от Марка, гл. 5, ст. 12—13.

⁵⁵³ Малиновский И. Д. Знакомство Гоголя с моим отцом // Записки Общества истории, философии и права при Императорском Варшавском университете. 1902. Вып. 1. С. 90.

⁵⁵⁴ РГБ. Ф. 74. К. 9. Ед. хр. 20. Л. 2об.—3, 7.

⁵⁵⁵ Переписка Н. В. Гоголя. Т. 2. С. 351—352.

⁵⁵⁶ Евангелие от Луки, гл. 10, ст. 19.

⁵⁵⁷ В соответствии с признаниями самого Гоголя (в 1847 и в 1851 гг.), в связи с этим обычно указывается на анекдотические похождения литератора П. П. Свинына, выдававшего себя в Бессарабии за важную уполномоченную особу (в бумагах А. С. Пушкина сохранился даже набросок, представляющий собой как бы сюжетную канву будущей комедии, — с упоминанием имени Свинына). Заметим при этом, что П. П. Свинын, очевидно, не был «самозванцем». Как явствует, в частности, из докладной записки министра народного просвещения А. С. Шишкова 1826 г., Свинын при его поездке на Кавказ был действительно наделен полномочиями тайного «ревизора» (см.: *Шишков А. С.* О главнейших распоряжениях министерства народного просвещения с июня 1824 года по январь 1826 года // *Русская Старина*. 1896. № 9. С. 580—581).

⁵⁵⁸ См.: *Мережковский Д. С.* Судьба Гоголя // *Новый Путь*. 1903. № 1. С. 40.

⁵⁵⁹ *Мережковский Д. С.* Судьба Гоголя. С. 50.

⁵⁶⁰ Второе послание к Фессалоникийцам св. апостола Павла, гл. 2, ст. 9—11.

⁵⁶¹ Евангелие от Луки, гл. 21, ст. 26.

⁵⁶² Подразумевается А. С. Пушкин.

⁵⁶³ Евангелие от Матфея, гл. 24, ст. 24.

⁵⁶⁴ *Чижевский Д.* Неизвестный Гоголь. С. 140; ср.: <*Ширинский-Шихматов С. А., князь.*> Записка о крамолах врагов России / Сообщил священник М. Я. Морозкин // *Русский Архив*. 1868. № 5. Стб. 1352; Повествование священно-архимандрита отца *Фотия* <*Спасского*> // *Русская Старина*. 1894. № 7. С. 164—171, 182—186; № 8. С. 430—434.

⁵⁶⁵ *Карамзин Н. М.* О древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях. С. 104.

⁵⁶⁶ Евангелие от Луки, гл. 16, ст. 8.

⁵⁶⁷ *Смирнова-Россет А. О.* Дневник. Воспоминания. С. 226.

⁵⁶⁸ Содержание отрывка истолковывается нами на основании автографа (*РГБ*. Ф. 74. К. 1. Ед. хр. 43. Л. 2), орфография которого (прописные буквы в словах: «Мне», «Я», «Меня», «Небесный Помещик») проясняет его содержание (обличение Богом на Страшном Суде малодушных чиновников и управителей) и позволяет атрибутировать отрывок как набросок к окончанию «Мертвых душ».

⁵⁶⁹ См.: *Данилов С. С.* «Ревизор» на сцене. 2-е изд., испр. и доп., с приложением монтажа первого спектакля. Л., 1934.

⁵⁷⁰ Псалом 145, ст. 3.

⁵⁷¹ Псалом 118, ст. 45.

⁵⁷² *Григорьев А.* Воспоминания. М., 1988. С. 178.

⁵⁷³ *Павлов Н. М.* Гоголь и славянофилы // *Русский Архив*. 1890. № 1. С. 140.

⁵⁷⁴ *Достоевский Ф. М.* Дневник писателя. 1876 // Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1981. Т. 22. С. 11.

⁵⁷⁵ <*Хитрово Е. А.*> Гоголь в Одессе. С. 556.

⁵⁷⁶ *Смирнова-Россет А. О.* Дневник. Воспоминания. С. 60.

⁵⁷⁷ *Григорьев А. А.* Одиссея последнего романтика: Поэмы. Стихотворения. Драма. Проза. Письма. Воспоминания об Аполлоне Григорьеве. М., 1988. С. 48.

⁵⁷⁸ См.: *Смирнова Е. А.* Поэма Гоголя «Мертвые души». Л., 1987. С. 70—72.

⁵⁷⁹ Из воспоминаний протоиерея С. С. Модестова // У Троицы в Академии. 1814—1914. Юбилейный сборник исторических материалов. М., 1914. С. 121.

⁵⁸⁰ ГАРФ. Ф. 109. Оп. 72. 2-я эксп. № 130. Л. 5. Опуubl., с неточностями: Лемке М. Николаевские жандармы и литература 1826—1855 гг. По подлинным делам Третьего отделения Собств. Е. И. Величества Канцелярии. 2-е изд. СПб., 1909. С. 170.

⁵⁸¹ Первое послание к Коринфянам св. апостола Павла, гл. 9, ст. 20—21.

⁵⁸² Книга пророка Иеремии, гл. 51, ст. 9.

⁵⁸³ Иванов Ив. Гоголь человек и писатель. Киев, 1909. С. 8—9.

⁵⁸⁴ Достоевский Ф. М. Дневник писателя. 1876. С. 106.

⁵⁸⁵ Зеньковский В. В. Русские мыслители и Европа. С. 43.

⁵⁸⁶ Зеньковский В. В., проф. Гоголь и Достоевский. С. 65, 75.

⁵⁸⁷ Белинский В. Г. Собр. соч.: В 9 т. Т. 1. С. 141—146.

⁵⁸⁸ Там же. С. 181.

⁵⁸⁹ Венгеров С. А. Гоголь совсем не знал русской действительности // Собр. соч. СПб., 1913. Т. 2. С. 133, 136.

⁵⁹⁰ <Данилевский Г. П.> Отзыв провинциала на статью о Гоголе, помещенную в «Северной Пчеле», № 87 // Московские Ведомости. 1852. № 75, 21 июня; авторство Г. П. Данилевского установлено: Свиясов Е. В. Эпизод полемики о Гоголе 1852 г. // Русская литература. 1980. № 1. С. 127—134.

⁵⁹¹ Смирнова-Россет А. О. Дневник. Воспоминания. С. 44.

⁵⁹² Герцен А. И. Дневник 1842—1845 // Собр. соч.: В 30 т. Т. 2. С. 200.

⁵⁹³ Белинский В. Г. Ответ «Москвитянину» // Собр. соч.: В 9 т. Т. 8. С. 312.

⁵⁹⁴ Сергей, игумен. Писатель-христианин // Странник. 1904. № 12. С. 807.

⁵⁹⁵ См. вторую главу настоящей книги.

⁵⁹⁶ См. коммент. в изд.: Гоголь Н. В. Собр. соч.: В 9 т. Т. 5. С. 600—601.

⁵⁹⁷ Книга притчей Соломоновых, гл. 23, ст. 30.

⁵⁹⁸ В февральском и мартовском номерах «Отечественных Записок» за 1830 г. была, в частности, опубликована повесть Гоголя «Бисаврюк, или Вечер накануне Ивана Купала».

⁵⁹⁹ Свербеев Д. И. Записки. М., 1899. Т. 1. С. 254.

⁶⁰⁰ Лит. Вестник. 1902. № 3. С. 331.

⁶⁰¹ Очевидно, имеется в виду Русский Музей «отечественных древностей» П. П. Свинына, аукционная продажа которого, открывшаяся во второй половине марта 1834 г., закончилась летом того же года (историю распродажи музея Свинына см.: Модзалевский Б. Л. Объяснительные примечания к Дневнику Пушкина // Дневник Пушкина. 1833—1835. М.; Пг., 1923. С. 147—150). В собрании Свинына были и вещи, принадлежавшие Петру I: «Трюмо из орехового дерева с барельефами, превосходной отделки. Бесценное произведение державных рук Петра Великого»; «Ковш, жалованный Петром I Комиссару Жукову»; «Инструмент от токарного станка Петра Великого». Сохранялась здесь даже «вывеска первого литейного дома в Петербурге, бывшего на Выборгской стороне подле Дворца Петра I-го. Посредине сей вывески портрет Его Величества, а по краям арабески с разными аллегорическими надписями» (Краткая опись предметов, составляющих Русский Музей Павла Свинына. 1829 года. СПб., 1829. С. 19, 32, 138).

⁶⁰² <Кулиш П. А.> Николай М. Записки о жизни Н. В. Гоголя. Т. 2. С. 242.

⁶⁰³ См. описание этой болезни: *Смирнова-Россет А. О.* Дневник. Воспоминания. С. 90—91.

⁶⁰⁴ <*Хитрово Е. А.*> Гоголь в Одессе. С. 544.

⁶⁰⁵ *Зеньковский В.*, проф., прот. Н. В. Гоголь. С. 89—90.

⁶⁰⁶ *Зеньковский В.*, прот. Общие законы экономической жизни // *Вестник Р. Х. Д.* (Париж; Нью-Йорк; Москва). 1991. № 1 (161). С. 88—89.

⁶⁰⁷ *Мережковский Д. С.* Судьба Гоголя. С. 58, 60—61.

⁶⁰⁸ *Хоцянов К.* Речь о Н. В. Гоголе по случаю столетия со дня его рождения (произнесенная 20 марта в Псковском Кадетском корпусе). Псков, 1910. С. 21. См. также: *Матаев П. Н. В. Гоголь и его «Переписка с друзьями».* Историко-литературный очерк. СПб., 1894. С. 88—89; *Венгеров С. А.* Писатель — гражданин // *Собр. соч.* Т. 2. С. 106; *Купреянова Е. Н. Н. В. Гоголь* // *История русской литературы.* Л., 1981. Т. 2. С. 579; *Смирнова Е. А.* Поэма Гоголя «Мертвые души». Л., 1987. С. 171—173; *Лазарева А. Н.* Мироззрение Н. В. Гоголя (соотношение эстетического, этического и религиозного). Автореф. дис. ...канд. филос. наук. М., 1987. С. 9, 16.

⁶⁰⁹ *Киреевский И. В.* Полн. собр. соч. М., 1911. Т. 2. С. 252—253.

⁶¹⁰ *Карамзин Н. М.* О древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях. С. 119. См. также: *Ерофеев Н. А.* Туманный Альбион. М., 1982. С. 124.

⁶¹¹ *Гакстгаузен А.* Исследование внутренних отношений народной жизни и в особенности сельских учреждений в России. М., 1870. Т. 1. С. 233.

⁶¹² *Аристов Н. Я.* Историческое значение сочинений Гоголя // *Аристов Н. Я.* Сочинения Н. В. Гоголя со стороны отечественной науки. СПб., 1887. С. 26. Статья Н. Я. Аристова впервые напечатана в 1882 г. в «Историческом Вестнике» (№ 8).

⁶¹³ *Боровой С. Я.* Кредит и банки в России. (Середина XVII — 1861 г.). М., 1958. С. 49.

⁶¹⁴ *Гиллельсон М. Н. В. Гоголь в дневниках А. И. Тургенева* // *Русская литература.* 1963. № 2. С. 138. См. также: «...Чичиков захотел оставить в дураках целое государство — Россию» (*Федорова Д. О.* Смысл аферы Чичикова // *Вестник Псковского вольного ун-та.* 1995. Т. 2. № 1—3. С. 103).

⁶¹⁵ *Белинский В. Г.* Литературный разговор, подслушанный в книжной лавке // *Собр. соч.:* В 9 т. Т. 5. С. 133.

⁶¹⁶ Цит. по: *Златина Е. Г.* Уроки Гоголя в творчестве Дж. Гиссинга // *Тезисы докладов Вторых гоголевских чтений.* Полтава, 1989. С. 140.

⁶¹⁷ Цит. по: *Григорьев А. Л.* Русская литература в зарубежном литературоведении. Л., 1977. С. 146.

⁶¹⁸ *Кропоткин П.* Идеалы и действительность в русской литературе // *Соч.* СПб., 1907. Т. 5. С. 88.

⁶¹⁹ *Шеваров Д.* Реабилитация Чичикова. 2 том «Мертвых душ» — это мы сами // *Комсомольская правда.* 1992. № 108, 17 июня. С. 4. См. также: *Крылов В.* Сон и явь Николая Гоголя // *Советская Россия.* 1997. 22 февр. С. 4.

⁶²⁰ *Чибисов В.* Несколько слов о литературе Новороссийского края // *Одесский Вестник.* 1859. № 5, 13 янв. С. 19.

⁶²¹ *Смирнова-Россет А. О.* Дневник. Воспоминания. С. 66.

⁶²² *Белинский В. Г.* Похождения Чичикова, или Мертвые души // Собр. соч.: В 9 т. Т. 5. С. 53—54.

⁶²³ *Белинский В. Г.* Объяснение на объяснение по поводу поэмы Гоголя «Мертвые души» // Собр. соч.: В 9 т. Т. 5. С. 158.

⁶²⁴ Впервые на сходство героев «Мертвых душ» с характеристиками Гоголем пяти главных русских поэтов в «Выбранных местах из переписки с друзьями» было указано нами в сопроводительной статье к пятому тому Собрания сочинений Гоголя в 9-ти томах, выпущенному в 1994 г. издательством «Русская книга» (с. 492—493). Подробнее этот вопрос был рассмотрен во вступительной статье к отдельному изданию «Мертвых душ», подготовленному в 1995 г., в серии «Новая школьная библиотека», издательством «Синергия» (с. 23—32). Недавно высказано предположение, что в основу известной иллюстрации А. А. Агина, изображающей Ноздрева (1846 г.), был положен портрет Н. М. Языкова работы А. Д. Хрипкова, созданный в 1829 г. (см.: *Карпов А. А.* «Мы весело, мы шумно жили!» (Н. М. Языков и иллюстрации А. А. Агина к «Мертвым душам») // Пушкин и другие. Новгород, 1997. С. 247—256). Предположение это нуждается в дополнительной аргументации, что, однако, не отменяет действительного сходства изображений — объясняющегося, может быть, иначе.

⁶²⁵ Первая книга Моисея. Бытие, гл. 2, ст. 18.

⁶²⁶ *Анненков П. В.* Н. В. Гоголь в Риме летом 1841 года. С. 73—74.

⁶²⁷ *Анненков П. В.* Письма из-за границы. С. 68.

⁶²⁸ *Шенрок В. И.* Материалы для биографии Гоголя. Т. 4. С. 171.

⁶²⁹ *Анненков П. В.* Н. В. Гоголь в Риме летом 1841 года. С. 40.

⁶³⁰ Первая книга Царств, гл. 8, ст. 5.

⁶³¹ Там же, гл. 8, ст. 7, 22.

⁶³² Послание к Римлянам св. апостола Павла, гл. 13, ст. 1.

⁶³³ <*Бухарев А. М.*> Три письма к Н. В. Гоголю, писанные в 1848 году. С. 138—139.

⁶³⁴ Откровение св. Иоанна Богослова, гл. 3, ст. 15—16.

⁶³⁵ *Аристов Н. Я.* Иноземное влияние в России, изображенное Гоголем в его сочинениях. С. 77—78.

⁶³⁶ *Хиджеу Б.* Григорий Варсава Сковорода. Историко-критический очерк // Телескоп. 1835. Ч. XXVI. С. 161.

⁶³⁷ Записки *А. О. Смирновой*. Т. 2. С. 77.

⁶³⁸ Северный Вестник. 1893. № 1. С. 257.

⁶³⁹ Переписка Н. В. Гоголя. Т. 2. С. 174.

⁶⁴⁰ *Драгоманов М. М.* А. Максимович. Его литературное и общественное значение. С. 450.

⁶⁴¹ *Зеньковский В.*, проф. прот. Н. В. Гоголь. С. 89.

⁶⁴² Там же. С. 90.

⁶⁴³ Гоголевские дни в Москве. М., 1909. С. 334.

⁶⁴⁴ *Танеева (Вурубова) А.* Страницы из моей жизни. Без м. изд., 1923. С. 31.

⁶⁴⁵ Дневник *Веры Сергеевны Аксаковой*. СПб., 1913. С. 27.

⁶⁴⁶ Чествование памяти Н. В. Гоголя в Киевской 3-й гимназии. Речь учителя священника *К. М. Агеева*. Киев, 1902. С. 5—6.

⁶⁴⁷ *Белинский В. Г.* Собр. соч.: В 9 т. Т. 1. С. 183.

⁶⁴⁸ Там же. С. 184.

⁶⁴⁹ См.: *Иваницкий Н. И.* <Гоголь — адъюнкт-профессор> // Гоголь в воспоминаниях современников. С. 84—85; <*Матисен Е. А.*> М-н. Воспоминания из дальних лет. С. 157; Из писем к Я. К. Гроту // Русский Архив. 1906. № 6. С. 278.

⁶⁵⁰ *Стасов В. В.* <Гоголь в восприятии русской молодежи 30—40-х гг.> // Гоголь в воспоминаниях современников. С. 397.

⁶⁵¹ *Кюхельбекер В. К.* Дневник (1831—1845) // *Кюхельбекер В. К.* Путешествие. Дневник. Статьи. Л., 1979. С. 360.

⁶⁵² *Венгеров С. А.* Гоголь — ученый // Собр. соч. Т. 2. С. 143—164; *Венгеров С. А.* Писатель — Гражданин // Там же. С. 45—50.

⁶⁵³ *Белинский В. Г.* — Гоголю Н. В. 20 апреля 1842. Петербург // Собр. соч.: В 9 т. Т. 9. С. 514; *Белинский В. Г.* Литературные и журнальные заметки // Там же. Т. 5. С. 378.

⁶⁵⁴ *Белинский В. Г.* Опыт системы нравственной философии. Сочинение магистра Алексея Дроздова // Собр. соч.: В 9 т. Т. 1. С. 322.

⁶⁵⁵ *Белинский В. Г.* Собр. соч.: В 9 т. Т. 1. С. 63, 65.

⁶⁵⁶ Там же. С. 116.

⁶⁵⁷ Там же. С. 186.

⁶⁵⁸ *Белинский В. Г.* — Белинским Г. Н. и М. И. Около 5 января 1830. Москва // Собр. соч.: В 9 т. Т. 9. С. 17.

⁶⁵⁹ См.: *Белинский В. Г.* Литературные мечтания // Собр. соч.: В 9 т. Т. 1. С. 64, 69—70, 79—80, 124—125.

⁶⁶⁰ *Белинский В. Г.* О русской повести и повестях г. Гоголя // Собр. соч.: В 9 т. Т. 1. С. 141—146, 150, 162.

⁶⁶¹ *Неверов Я.* Обзорение русских газет и журналов за первую половину 1835 года // Журнал Министерства Народного Просвещения. 1836. № 8. С. 433.

⁶⁶² Там же. С. 184.

⁶⁶³ *Белинский В. Г.* Горе от ума... Сочинение А. С. Грибоедова // Собр. соч.: В 9 т. Т. 2. С. 187—188; см. также: *Белинский В. Г.* Полное собрание сочинений Д. И. Фонвизина... // Там же. С. 98.

⁶⁶⁴ *Белинский В. Г.* Собр. соч.: В 9 т. Т. 9. С. 514.

⁶⁶⁵ *Белинский В. Г.* Литературные и журнальные заметки // Собр. соч.: В 9 т. Т. 5. С. 378.

⁶⁶⁶ *Белинский В. Г.* — Боткину В. П. 4 апреля 1842. Петербург // Собр. соч.: В 9 т. Т. 9. С. 502.

⁶⁶⁷ *Белинский В. Г.* Собр. соч.: В 9 т. Т. 1. С. 184.

⁶⁶⁸ Там же. С. 161—162.

⁶⁶⁹ Там же. С. 180.

⁶⁷⁰ См.: *Белинский В. Г.* Литературный разговор, послушанный в книжной лавке // Собр. соч.: В 9 т. Т. 5. С. 154.

⁶⁷¹ Переписка Н. В. Гоголя. Т. 2. С. 299.

⁶⁷² *Шевырев С. П.* Похождения Чичикова, или Мертвые души. С. 56.

⁶⁷³ *Анненков П. В.* Замечательное десятилетие. С. 151.

⁶⁷⁴ П. В. Анненков и его друзья. Литературные воспоминания и переписка. 1835—1855 гг. СПб., 1892. С. 531.

⁶⁷⁵ *Анненков П. В.* Замечательное десятилетие. С. 340.

⁶⁷⁶ «...Отзыв Гоголя о Белинском, — замечал М. П. Еремин, — при внимательном рассмотрении оказывается положительным, может быть, только наполовину» (*Еремин М. П.* Пушкин — публицист. 2-е изд., переработанное и доп. М., 1976. С. 384).

⁶⁷⁷ *Анненков П. В.* Замечательное десятилетие. С. 152. См. также: *Конобеевская И.* Несколько слов о Гоголе // Вопросы литературы. 1987. № 12.

⁶⁷⁸ *Пушкин.* Полн. собр. соч. Т. 15. С. 87.

⁶⁷⁹ *Белинский В. Г.* Собр. соч.: В 9 т. Т. 1. С. 145.

⁶⁸⁰ *Белинский В. Г.* О русской повести и повестях г. Гоголя // Собр. соч.: В 9 т. Т. 1. С. 164.

⁶⁸¹ *Белинский В. Г.* Объяснение на объяснение по поводу поэмы Гоголя «Мертвые души» // Собр. соч.: В 9 т. Т. 5. С. 153.

⁶⁸² Там же. С. 153—155.

⁶⁸³ *Белинский В. Г.* Выбранные места из переписки с друзьями Николая Гоголя // Собр. соч.: В 9 т. Т. 8. С. 238.

⁶⁸⁴ *Белинский В. Г.* — Н. В. Гоголю. 15 июля н. ст. 1847. Зальцбрунн // Собр. соч.: В 9 т. Т. 8. С. 282—283.

⁶⁸⁵ Там же. С. 283.

⁶⁸⁶ *Шенрок В. И.* Гоголь как художник // Киевская Старина. 1902. № 6. С. 444.

⁶⁸⁷ *Чижевский Д. И.* Неизвестный Гоголь. С. 137.

⁶⁸⁸ *Белинский В. Г.* Объяснение на объяснение по поводу поэмы Гоголя «Мертвые души» // Собр. соч.: В 9 т. Т. 5. С. 155—156.

⁶⁸⁹ *Белинский В. Г.* Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма Н. Гоголя. Издание второе. Москва. 1846 // Собр. соч.: В 9 т. Т. 8. С. 510—511.

⁶⁹⁰ *Белинский В. Г.* Выбранные места из переписки с друзьями Николая Гоголя // Собр. соч.: В 9 т. Т. 8. С. 237.

⁶⁹¹ *Белинский В. Г.* — Н. В. Гоголю. 15 июля н. ст. 1847. Зальцбрунн // Собр. соч.: В 9 т. Т. 8. С. 288.

⁶⁹² Об этих слухах Мария Ивановна сообщала в письме к сыну от июля 1838 г., а также в письме к А. А. Трошинскому от 4 июня того же года (Дмитрий Прокофьевич Трошинский. С. 678). Содержание слухов, почерпнутое из письма матери, сам Гоголь не без иронии пересказывал в письме к А. С. Данилевскому от 25 марта н. ст. 1839 г.

⁶⁹³ *Шевырев С.* Выбранные места из переписки с друзьями Н. Гоголя. С. 8.

⁶⁹⁴ Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. Т. 2. С. 962.

⁶⁹⁵ См.: *Белинский В. Г.* Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма Н. Гоголя. Издание второе. Москва. 1846 // Собр. соч.: В 9 т. Т. 8. С. 511—513.

⁶⁹⁶ *Похвиснев М. Н.* Владимир Иванович Назимов // Русская Старина. 1882. № 2. С. 482.

⁶⁹⁷ Н. В. Гоголь. Материалы и исследования. М.; Л., 1936. Т. 1. С. 147.

⁶⁹⁸ *Анненков П. В.* Замечательное десятилетие. С. 150.

⁶⁹⁹ *Панаев И. И.* Из «Литературных воспоминаний» // Гоголь в воспоминаниях современников. С. 216.

⁷⁰⁰ Послание к Римлянам св. апостола Павла, гл. 9, ст. 3.

⁷⁰¹ *Н <еводчиков> Н.* Воспоминания о Н. В. Гоголе // Библиографические Записки. 1859. № 9. С. 267.

- ⁷⁰² *Белинский В. Г.* Бородинская годовщина. В. Жуковского... // Собр. соч.: В 9 т. Т. 2. С. 114—115.
- ⁷⁰³ См.: Взгляд на Российскую Историю. Лекция профессора *Погодина* // Уч. зап. Имп. Моск. ун-та. М., 1833. Ч. 1, № 1. С. 8, 12—13.
- ⁷⁰⁴ *Григорьев А. А.* Гоголь и его последняя книга. С. 116.
- ⁷⁰⁵ Там же. С. 116.
- ⁷⁰⁶ *Белинский В. Г.* Выбранные места из переписки с друзьями Николая Гоголя // Собр. соч.: В 9 т. Т. 8. С. 225.
- ⁷⁰⁷ *Вяземский П. А.* Языков.— Гоголь // *Вяземский П. А.* Эстетика и литературная критика. М., 1984. С. 171—172.
- ⁷⁰⁸ *Белинский В. Г.* Выбранные места из переписки с друзьями Николая Гоголя // Собр. соч.: В 9 т. Т. 8. С. 236.
- ⁷⁰⁹ *Белинский В. Г.*— Боткину В. П. 28 февраля 1847. Петербург // Собр. соч.: В 9 т. Т. 9. С. 623.
- ⁷¹⁰ *Тарасенков А. Т.* Последние дни жизни Н. В. Гоголя. М., 1902. С. 12.
- ⁷¹¹ <*Андреевский И. М.*> *Андреев И. М.* Очерки по истории русской литературы XIX века. (Краткое конспективное изложение некоторых лекций, читанных в Свято-Троицкой Духовной семинарии.) Сборник 1. Jordanville, 1968. С. 136.
- ⁷¹² *Белинский В. Г.* Московские новости // Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1953. Т. 1. С. 348.
- ⁷¹³ Псалом 139, ст. 6.
- ⁷¹⁴ *Белинский В. Г.* Собр. соч.: В 9 т. Т. 8. С. 282—284.
- ⁷¹⁵ *Белинский В. Г.* Опыт системы нравственной философии. Сочинение магистра Алексея Дроздова // Собр. соч.: В 9 т. Т. 1. С. 315; см. также: *Белинский В. Г.* Сын жены моей. Роман. Сочинение Поль де Кока // Там же. С. 417.
- ⁷¹⁶ *Белинский В. Г.* Собр. соч.: В 9 т. Т. 8. С. 284.
- ⁷¹⁷ <Святитель *Игнатий* (Брянчанинов), епископ Кавказский и Черноморский>. Замечания на отзыв журнала «Колокол» к Кавказскому епископу Игнатию // Богословский Вестник. 1913. № 2. С. 201.
- ⁷¹⁸ См.: *Достоевский Ф. М.*— Страхову Н. Н. 18 (30) мая 1871. Дрезден // Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 29, кн. 1. С. 215.
- ⁷¹⁹ Первое соборное послание св. апостола Петра, гл. 5, ст. 3.
- ⁷²⁰ *Аристов Н. Я.* Иноземное влияние в России, изображенное Гоголем в его сочинениях. С. 147.
- ⁷²¹ *Флоровский Г.*, протоиерей. Пути русского богословия. Париж, 1937. С. 260.
- ⁷²² *Зеньковский В. В.* Н. В. Гоголь в его религиозных исканиях // Христианская Мысль. 1916. № 1. С. 39—48.
- ⁷²³ *Зеньковский В. В.* Русские мыслители и Европа. С. 63.
- ⁷²⁴ *Зеньковский В. В.*, проф., протоиерей. Н. В. Гоголь. С. 205.
- ⁷²⁵ <*Андреевский И. М.*> *Андреев И. М.* Очерки по истории русской литературы XIX века. С. 143.
- ⁷²⁶ *Танеева А. (Вырубова).* Страницы из моей жизни. С. 162.
- ⁷²⁷ ГАРФ. Ф. 640. Оп. 1. Ед. хр. 326. Приносим благодарность С. В. Лизунову, сообщившему нам эти сведения.
- ⁷²⁸ См., в частности: *Зайцев Б.* Жизнь с Гоголем // Лит. учеба. 1988. № 3. С. 123.

⁷²⁹ См.: Собрание писем блаженной памяти Оптинского старца иеросхимонаха *Макария*. М., 1880. С. 452.

⁷³⁰ *Тарасенков А. Т.* Последние дни жизни Н. В. Гоголя. С. 11.

⁷³¹ Автор книги — иеродиакон Троице-Сергиевой лавры Иона.

⁷³² Цит. по: Архиепископ *Никон (Рождественский)*. Православие и грядущие судьбы России. М., 1994. С. 186.

⁷³³ *Самарин Ю. Ф.* По поводу мнения «Русского Вестника» о занятиях философию, о народных началах и об отношении их к цивилизации // *Самарин Ю. Ф.* Избр. произведения. М., 1996. С. 542, 546.

⁷³⁴ *Столянский П. Н.* Старый Петербург и Общество Поощрения Художеств. Л., 1928. С. 68.

⁷³⁵ Гоголь в воспоминаниях современников. С. 147.

⁷³⁶ Записки институтки // Семейные Вечера. Отдел для юношества или семейного чтения. 1873. № 2. С. 188.

⁷³⁷ Беседы схиархимандрита Оптинского скита старца *Варсонофия* с духовными детьми. Издание Свято-Троице-Сергиевой лавры. СПб., 1991. С. 50.

⁷³⁸ Книга св. пророка Даниила, гл. 2, ст. 31—45.

⁷³⁹ См.: *Чижевский Д.* Неизвестный Гоголь. С. 140.

⁷⁴⁰ Учреждение Министерства Духовных дел и Народного Просвещения. Октября 1817 // Полн. собр. законов Российской Империи. СПб., 1830. Т. 34. С. 814.

⁷⁴¹ См.: Лицей князя Безбородко. Издал граф Г. А. Кушелев-Безбородко. СПб., 1859; *Лавровский Н. А.* Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине. (1820—1832 г.). Киев, 1879; Гимназия высших наук и лицей князя Безбородко. Изд. 2-е, испр. и доп. СПб., 1881; Гоголевский сборник. Киев, 1902; *Савва В. И.* К истории о вольнодумстве в Гимназии высших наук кн. Безбородко. Харьков, 1908; *Иофанов Д. Н. В.* Гоголь. Детские и юношеские годы; *Стогнут А. С., Кононенко И. К.* Новые страницы к «Делу о вольнодумстве» в Нежинской гимназии высших наук // Уч. зап. Нежинского гос. пед. ин-та им. Н. В. Гоголя. Киев, 1954. Т. 4—5; *Машинский С. И.* Гоголь и «дело о вольнодумстве». М., 1959.

⁷⁴² См.: <*Сперанский М. Н., Сребницкий И. А.*> Учебники Гимназии высших наук // Гоголевский сборник. Киев, 1902. С. 287.

⁷⁴³ Образование и Устав Ришельевского Лицея в Одессе. СПб., 1818. С. 7.

⁷⁴⁴ Там же. С. 22—23, 32—33, 36, 38—39.

⁷⁴⁵ Там же. С. 33—34, 60—62.

⁷⁴⁶ *Лавровский Н. А.* Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине. С. 46.

⁷⁴⁷ *Лавровский Н. А.* Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине. С. 10; Гоголевский сборник. Киев, 1902. С. 322.

⁷⁴⁸ *Сребницкий И. А.* Материалы для биографии Н. В. Гоголя из архива Гимназии высших наук // Гоголевский сборник. Киев, 1902. С. 421.

⁷⁴⁹ *Кужольник Н.* Лицей князя Безбородко // Лицей князя Безбородко. СПб., 1859. С. 17—18.

⁷⁵⁰ *Кужольник Н. П. И.* Волынский // Гимназия высших наук и лицей князя Безбородко. Изд. 2-е, испр. и доп. СПб., 1881. С. 246. Протоиерей А. Ф. Хойнацкий предположил, что это были толкования Евангелий святителя Иоанна Златоуста, но, вероятнее, это было неоднократно переиздававшееся «Толкование воскресных Евангелий с нравоучительными бессдами» архиепископа Астрахан-

ского и Ставропольского Никифора (Феотоки) (1-е изд. М., 1804), упоминаемое в расписании занятий, составленном В. Г. Кукольником (см.: *Хойнацкий А. Ф.*, проф., <протоиерей>. К истории философской науки в России в начале XIX века // *Древняя и Новая Россия*. 1879. № 6. С. 176; *Кукольник Н.* Лицей князя Безбородко. С. 17).

⁷⁵¹ Гоголевский сборник. Киев, 1902. С. 324.

⁷⁵² *Лавровский Н. А.* Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине. С. 13, 15.

⁷⁵³ *Лавровский Н. А.* Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине. С. 92—93; *Кукольник Н.* Лицей князя Безбородко. С. 19.

⁷⁵⁴ *Якубина Ю. В.* Роль Нежинской гимназии высших наук в формировании религиозных взглядов Н. В. Гоголя // IV Гоголевські читання. Полтавський державний педагогічний інститут. Полтава, 1997. С. 119—120.

⁷⁵⁵ *Лавровский Н. А.* Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине. С. 84.

⁷⁵⁶ *Сребницкий И.* Нежин // Гимназия высших наук и лицей князя Безбородко. СПб., 1881. С. 23.

⁷⁵⁷ *Сребницкий И. А.* Материалы для биографии Н. В. Гоголя из архива Гимназии высших наук. С. 343—344.

⁷⁵⁸ См., в частности: *Лавровский Н. А.* Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине. С. 26; *Науменко В.* Письма Е. П. Гребенки к родным // *Киевская Старина*. 1898. № 12. С. 432.

⁷⁵⁹ Устав Гимназии высших наук князя Безбородко // Дополнение к Сборнику постановлений по Министерству народного просвещения. 1803—1864. СПб., 1867. Стб. 226.

⁷⁶⁰ См.: *Хойнацкий А. Ф.*, проф., <протоиерей>. К истории философской науки в России в начале XIX века. С. 175; *Лавровский Н. А.* Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине. С. 64—65.

⁷⁶¹ В полученном уставе были замечены погрешности (см.: *Лавровский Н. А.* Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине. С. 25), а в октябре 1826 г. Император Николай I, вместо подписания исправленного устава, начертал следующую резолюцию: «Надо будет подождать, доколе не окончится пересмотр всех уставов училищ в учрежденном на то комитете» (Сборник постановлений по Министерству народного просвещения. СПб., 1878. Т. 6. Стб. 637). Так устав 19-го февраля 1825 г. остался без обнародования, — тем не менее «из дел видно, что им руководствовались как Гимназия Князя Безбородко, так и Министерство Народного Просвещения в своих распоряжениях» (Сборник постановлений по Министерству народного просвещения. Т. 6. Стб. 637).

⁷⁶² *Кукольник Н.* Лицей князя Безбородко. С. 20.

⁷⁶³ Устав Гимназии высших наук князя Безбородко. Стб. 211, 214, 217—218, 221.

⁷⁶⁴ *Супронюк О. К.* Новые материалы о Н. Я. Прокоповиче (к изучению литературного окружения молодого Гоголя) // Н. В. Гоголь. Материалы и исследования. М., 1995. С. 244.

⁷⁶⁵ *Аристов Н.* Состояние образования России в царствование Александра I-го // Известия Историко-филологического ин-та кн. Безбородко в Нежине. 1879. Т. 3. С. 85.

⁷⁶⁶ <Хитрово Е. А.> Гоголь в Одессе. 1850—1851 // Русский Архив. 1902. № 3. С. 555.

⁷⁶⁷ Иофанов Д. Н. В. Гоголь. Детские и юношеские годы. С. 412.

⁷⁶⁸ Письма Н. В. Гоголя. Т. 1. С. 56.

⁷⁶⁹ Цит. по фотокопии, опубли. в изд.: Высоколова Н. А. «В лета моей юности». Н. В. Гоголь на Полтавщине. Фотоальбом. М., 1991. С. 135.

⁷⁷⁰ См.: Иофанов Д. Н. В. Гоголь. Детские и юношеские годы. С. 151—152.

⁷⁷¹ Иофанов Д. Н. В. Гоголь. Детские и юношеские годы. С. 155.

⁷⁷² Маркевич А. И., проф. Николай Васильевич Гоголь // По морю и по суше. 1895. № 7. С. 2.

⁷⁷³ Хойнацкий А. Ф., проф., <протоиерей>. К истории философской науки в России в начале XIX века. С. 176.

⁷⁷⁴ Там же. С. 175—176.

⁷⁷⁵ Гоголь в Нежинском лицее. Из воспоминаний В. И. Любича-Романовича. С. 554.

⁷⁷⁶ Гербель Н. П. Г. Редкин // Гимназия высших наук и лицей князя Безбородко. СПб., 1881. С. 443.

⁷⁷⁷ Кужальник Н. Лицей князя Безбородко. С. 17—18.

⁷⁷⁸ Устав Гимназии высших наук князя Безбородко. Стб. 217—218.

⁷⁷⁹ Флоровский Г., протоиерей. Пути русского богословия. С. 265.

⁷⁸⁰ Троицкий И. И., протоиерей. Великий писатель Н. В. Гоголь — верный сын Православной Церкви и России. Киев, 1909. С. 3—4. См. также: Слуцкий М. И., священник. Памяти Н. В. Гоголя — великого писателя и христианина (1809—1909 г.). Харьков, 1909. С. 8.

⁷⁸¹ См.: Арнальди Л. И. Мое знакомство с Гоголем // Гоголь в воспоминаниях современников. С. 485.

⁷⁸² Евангелие от Иоанна, гл. 4. ст. 34.

⁷⁸³ Сергей, игумен. Писатель-христианин. С. 802.

⁷⁸⁴ Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. Т. 2. С. 860.

⁷⁸⁵ Переписка Н. В. Гоголя. Т. 1. С. 271—272.

⁷⁸⁶ Григорьев А. А. Гоголь и его последняя книга. С. 111—112.

⁷⁸⁷ Цит. по автографу, хранящемуся в ГАРФ (Ф. 728. Оп. 1. № 2348. Л. 1). В Полн. собр. соч. Гоголя (Изд-во АН СССР, 1952. Т. 14) это письмо напечатано по неточной копии С. П. Шевырева.

⁷⁸⁸ Евангелие от Матфея, гл. 13, ст. 33.

⁷⁸⁹ <Кулиш П. А.> П. К. Встреча с Гоголем // Русский Дневник. 1859. 14 янв. С. 4.

⁷⁹⁰ Хоцянов К. Речь о Н. В. Гоголе по случаю столетия со дня его рождения. С. 21—22.

Список условных сокращений

ГАРФ — Государственный архив Российской Федерации, Москва (бывш. *ЦГАОР*).

ГРМ — Государственный русский музей, Санкт-Петербург.

ИРЛИ — Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, рукописный отдел, Санкт-Петербург.

РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства, Москва (*ЦГАЛИ*).

РГБ — Российская государственная библиотека, отдел рукописей, Москва (*ГБЛ*).

РГИА — Российский государственный исторический архив, Санкт-Петербург (*ЦИА*).

РНБ — Российская национальная библиотека, отдел рукописей, Санкт-Петербург (*ГПБ*).

ЦНБ — Центральная научная библиотека АН Украины, отдел рукописей, Киев (Гос. публ. б-ка УССР).

- Абрамович Г. Л., 391; 404; 405; 406; 410
Авенир, двоюродный брат Саула, 125
Авраамий Палицын, 267
Агеев К. М., иерей, 347; 418
Агин А. А., 418
Адам, праотец, 93
Адеркас Э. Б., 380
Адриан, римский император, 268
Акакий, св., 257; 258; 412
Аксаков И. С., 289; 391; 396
Аксаков К. С., 103; 265; 314; 338
Аксаков С. Т., 103; 105; 129; 166; 184; 202; 204; 259; 264; 266; 275; 285; 289; 295; 304; 311; 313; 316; 319; 323; 333; 338; 347; 355; 374; 391; 395; 396; 409
Аксакова В. С., 347; 411; 418
Аксакова О. Сем., 374
Александр I, Император, 204; 288; 289; 375; 376; 423
Александр II, Император, 197; 198; 389; 408
Александр III, Император, 163
Александр Невский, св., 173
Александр, иерей Сидский, св., 378
Александра Феодоровна, Императрица, жена Николая I, 6; 219
Александра Феодоровна, Императрица, жена Николая II, 347; 370
Алексеев-Яковлев А. Я., 392
Алексей Михайлович, русский царь, 51
Алексей Николаевич, Наследник Цесаревич, сын Николая II, 105; 135; 370; 396
Алипий, св., 231
Ал-Мамун, 230
Алпатов М. В., 411
Альфред Великий, 192; 194
Амберг (Amberg) Л., 167; 402
Амвросий Медиоланский, св., 377; 381
Аммун, монах, 146; 400
Андреев И. М.. См. Андреевский И. М.
Андреевский И. М., 364; 369; 421
Андрей, архиепископ Кесарийский, св., 402
Андрусисен К. Г. (Andrusysen С. Н.), 100; 396
Аникита, иеромонах (Ширинский-Шихматов С. А., князь), 415
Анненков П. В., 55; 62; 67; 100; 116; 200; 202; 232; 235; 240; 241; 261; 262; 264; 268; 281; 314; 337; 351; 352; 358; 393; 396; 408; 409; 411; 413; 414; 418; 419; 420
Анненкова Е. И., 406
Антоний (Храповицкий), митрополит Киевский, 153
Антонович В. Б., 165; 402
Арендт Н. Ф., 54
Аристов Н. Я., 132; 330; 342; 368; 379; 399; 406; 417; 418; 421; 423

- Арнольди Л. И., 410; 424
 Аспазия, 239
 Аттила, 133
 Афанасий Великий, св., 146; 400
 Афанасьев А. Н., 26; 391; 412
 Афанасьев В. В., 396
 Афиноген, св., 105
- Бабель И. Э., 170; 171; 403
 Багно В. Е., 405
 Багратион П. И., князь, 345
 Багрий Р., 396
 Базилы К. М., 108; 192; 397; 403
 Базилы М. В., 108
 Байрон Дж., 228; 229; 239; 303; 304
 Байцура Т., 394
 Балабина М. П., 18; 54; 82; 199; 221;
 256; 260; 263; 298; 310; 321; 336; 413
 Балецкий Э., 405
 Бальзак, 410
 Бантыш-Каменский Д. Н., 95; 395;
 398
 Барабаш Ю. Я., 399; 406
 Баратынский Е. А., 265; 349
 Барсуков Н. П., 407; 414
 Бартенева П. И., 182; 403
 Батый, 96; 173
 Батюшков К. Н., 334; 335
 Бедный Д., 173; 403
 Безбородко А. А., князь, 107; 397;
 422; 423; 424
 Беккер И. И., 405
 Белинская М. И., 349; 419
 Белинский В. Г., 2; 5; 52; 60; 148;
 162; 165; 171; 204; 228; 249; 255; 265;
 270; 272; 276; 279; 289; 290; 307; 314;
 315; 316; 320; 329; 331; 333; 338; 343;
 347; 348; 349; 350; 351; 352; 353; 354;
 355; 356; 357; 358; 359; 360; 361; 362;
 363; 365; 372; 373; 392; 393; 401; 410;
 412; 413; 414; 416; 417; 418; 419; 420;
 421
- Белинский Г. Н., 419
 Беллини В., 309
 Беллини Дж., 234
 Белозерская Н. А., 106; 219; 396; 409
 Белозерский Н. Д., 35
 Белоусов Н. Г., 380
 Белый А., 179; 405
 Белый В. И., 332
 Беляев Д. М., 182
 Бем А. Л., 390
 Бенардаки Д. Е., 55; 274
 Бентам И., 362
 Бенуа А. Н., 392
 Берг Н. В., 407
 Бернштейн Б. М., 413
 Бессонов П. А., 46; 392
 Бестужев (псевдоним Марлин-
 ский) А. А., 97
 Бетховен, 207
 Блаш А., 309
**Бог, Пресвятая Троица, Бог-Отец,
 Небесный Отец, Бог-Сын, Бог-Дух
 Святой, Господь, Создатель,
 Зиждитель, Творец, См. также
 Иисус Христос, 4; 5; 9; 12; 18; 21;
 22; 23; 27; 28; 36; 37; 38; 40; 41; 42;
 43; 44; 47; 48; 50; 51; 53; 54; 55; 57;
 58; 59; 60; 62; 63; 64; 66; 67; 70; 76;
 77; 79; 84; 85; 89; 92; 101; 114; 117;
 118; 119; 120; 121; 122; 126; 127; 129;
 130; 131; 133; 138; 139; 140; 143; 145;
 149; 150; 151; 152; 153; 156; 157; 159;
 162; 164; 186; 187; 188; 190; 197; 202;
 205; 214; 215; 221; 224; 230; 237; 257;
 258; 259; 264; 266; 271; 275; 278; 279;
 280; 283; 286; 287; 293; 294; 295; 296;
 299; 303; 305; 308; 310; 313; 318; 319;
 329; 335; 339; 340; 341; 342; 347; 348;
 349; 350; 355; 364; 367; 368; 370; 371;
 375; 376; 377; 378; 379; 380; 381; 382;
 383; 384; 385; 388; 389; 415; 416; 421;
 422**

- Бодянский О. М., 395
 Болтин И. Н., 361
 Боплан Г., де, 141
 Борис Годунов, 64; 102
 Боровой С. Я., 331; 402; 417
 Бородин А. П., 173
 Боткин В. П., 350; 413; 419; 421
 Боткин М. П., 408; 411
 Ботникова А. Б., 410
 Бочаров Г. К., 404
 Бошняк А. К., 316
 Браиловский С. Н., 209
 Бредре И., 404
 Бровковы, 107; 156
 Брокгауз Ф. А., 401
 Бруни Ф. А., 237; 411
 Брюллов К. П., 237; 307; 350; 411
 Буденный С. М., 170
 Булгарин Ф. В., 35; 97; 257; 314;
 317; 391; 392; 410; 412
 Бунин И. А., 13; 390
 Бурнашев В. П., 181; 405
 Буслав Ф. И., 409
 Бутенев А. П., 266; 267; 407
 Бутырский Н. И., 248
 Бухарев А. М., 224; 311; 341; 410;
 418
- Ваврик В. Р., 176
 Вайскопф М., 410
 Вальсамон (Вальсамон) Феодор,
 патриарх Антиохийский, 146
 Варламов А. Е., 302; 303
 Варнава (Беляев), епископ, 154;
 392; 398
 Варсонофий Оптинский, св., 374;
 422
 Василий Великий, св., 146; 149; 159;
 381; 400
 Василий Дмитриевич, великий
 князь, 90
- Венгеров С. А., 316; 317; 320; 348;
 416; 417; 419
 Веновитинов Д. В., 414
 Веновитинов М. А., 198; 408
 Венецианов А. Г., 210
 Вергилий М., 392
 Вересаев В. В., 184; 405; 406; 407
 Верховской Н. Ю., 403
 Весельный А., 171
 Виельгорская А. М., графиня, 9;
 234; 334; 371; 394
 Виельгорская Л. К., графиня, 198;
 346
 Виельгорские, 198; 408
 Виельгорский И. М., граф, 197; 198;
 199; 200; 408
 Виноградов В. В., 410
 Виноградов И. А., 182; 357; 391; 394;
 399; 408; 412; 414
 Винтер Э., 407
 Висенте И., 178
 Вистенгаузен Л. Ф., 219
 Витберг Ф. А., 180; 405
 Вишневский В. В., 171
 Владимир (Алявдин), епископ
 Костромской и Галичский, 256; 412
 Владимир Мономах, 140
 Владимир, св. равноапостольный,
 26; 173; 255; 256
 Владислав IV Ваза, король Польши,
 138
 Водозовов Н. В., 407
 Воейков А. Ф., 6
 Войсехович И., 392
 Волков М. С., 204; 261; 409; 413
 Волконская З. А., княгиня, 183; 184;
 197; 198; 202; 204; 205; 264; 408; 409
 Волконский П. М., князь, 252
 Волынский П. И., протоиерей, 377;
 380; 422
 Вольтер, 299; 365
 Воронцова М. А., графиня, 198

Воронцов-Дашков И. И., граф, 267
Воропаев В. А., 394; 399
Воскресенский И. И., протоиерей,
382
Вырубова (Танеева) А. А., 347; 370;
418; 421
Высоколова Н. А., 424
Высоцкий Г. И., 40; 217; 223; 380
Вяземский П. А., князь, 64; 102;
294; 359; 362; 421

Гакстаузен А. Ф., барон, 330; 417
Галаган Г. П., 52; 265; 392; 397; 413
Галант И. В., 165; 402
Галахов А. Д., 135
Галлам Г., 141; 195
Гамбс Э., 219; 365
Ганновер Н., 165
Гаско М. Э., 181; 405
Ге Н. Н., 165
Гедеон (Вишневецкий), епископ
Полтавский, 146; 400
Гедимин, 96
Гейне Г., 410
Гейнцельман Г.-В., 92
Георгиевский Г. П., 93; 394
Георгий (Конисский), архиепископ
Могилевский и Белорусский, св., 95
Георгий (Машурин), затворник, 399
Гербель Н. В., 382; 424
Гердер И.-Г., 96, 99; 117; 323; 350
Герцен А. И., 184; 189; 320; 328; 358;
366; 406; 416
Гете И.-В., 227; 231; 411
Гизо Ф., 175
Гиллельсон М. И., 395; 417
Гиляровский В. А., 16; 176; 391; 397;
405
Гиссинг Дж., 331; 417
Глеб Святославич, князь, 146
Глебов С., 393
Глинка М. И., 169; 185; 403

Глинка Ф. Н., 168; 360; 403; 410
Гмелин И. Г., 92; 93
Гнедич Н. И., 65; 314
Гоголь (Быкова) Е. В., 33; 46; 55; 62;
115; 117; 118; 119; 219; 265; 339; 343;
359; 392
Гоголь (Головня) О. В., 33; 55; 62;
63; 115; 117; 118; 119; 139; 339; 391
Гоголь (Трушковская) М. В., 7; 62; 98
Гоголь А. В., 33; 55; 62; 106; 115;
118; 119; 139; 219; 265; 339
Гоголь Евстафий (Андрей), 107
Гоголь Н. В.
А вы думаете, легко воров выгнать? 290
А чем же, скажи, хороша религия? 191
Авторская исповедь, 5; 8; 11; 67; 123;
161; 221; 245; 262; 277; 280; 281; 293;
312; 313; 315; 317; 322; 333; 357; 362;
363; 366; 372; 386
Ал-Мамун, 230
Альфред, 192; 194
Арабески, 112; 209; 210; 211; 212;
213; 214; 218; 226; 228; 234; 249; 269;
275; 288; 323; 326; 348; 349; 350; 374;
393; 401; 408; 411
Аще не будете малы, яко дети, 369
Библиография средних веков, 99
Бисаврюк, или Вечер накануне Ивана
Купала, 12; 25; 416
Близорукому приятелю, 89; 192; 287
Богатые, прежде всего помните, 333
Борис Годунов. Поэма Пушкина, 64
В какое время делаются славяне
известны по истории, где, когда и
какими деяниями они себя прославили
до расселения своего и какое их было
расселение, 89; 90; 91; 323
В чем же наконец существо русской
поэзии и в чем ее особенность, 13; 21;
102; 103; 122; 160; 231; 236; 239; 245;
294; 295; 296; 297; 302; 303; 304; 310;
334; 335; 336; 346

- Введение в древнюю историю*, 93
- Великий князь*, 94
- Вера среди жизни нашей (пресвященно-го Гедеона, епископа Полтавского)*, 400
- Вечер накануне Ивана Купала*, 12; 13; 14; 15; 19; 22; 25; 26; 29; 31; 33; 37; 41; 43; 46; 48; 52; 56; 58; 71; 72; 81; 83; 84; 86; 153; 353
- Вечера на хуторе близ Диканьки*, 2; 3; 4; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 21; 23; 27; 29; 31; 33; 34; 37; 39; 40; 41; 43; 44; 45; 47; 56; 60; 67; 70; 84; 85; 88; 105; 111; 112; 124; 137; 208; 209; 210; 211; 213; 255; 355; 388; 390; 391; 396; 405; 406
- Взгляд на составление Малороссии*, 8; 93; 95; 96; 100; 116; 126; 128; 135; 141; 145; 182; 190; 213
- Взгляд на состояние Римской империи в последнее время ее существования и на причины, произведшие разрушение ее*, 327
- Вий*, 50; 105; 109; 110; 112; 121; 125; 133; 139; 151; 152; 153; 157; 183; 190; 275; 287; 296; 308; 379
- Вирша, говоренная гетьману Потемкину запорожцами на Светлый праздник Воскресения*, 152
- Владимир 3-й степени*, 26; 241; 246; 255; 256; 257
- Владимирский крест*, 26; 256
- Влияние упадка Киевского княжения*, 94
- Внутреннее устройство*, 71; 94; 98
- Воцарение Иисуса Христа (св. Феодота, епископа Анкирского)*, 399
- Вражды, войны, битвы и замировки*, 96; 182
- Всяких вещей, добра, созданного мадою*, 270; 327
- Выбранные места из переписки с друзьями*, 3; 8; 10; 21; 67; 88; 94; 98; 100; 102; 104; 120; 122; 123; 147; 148; 159; 160; 165; 166; 194; 214; 215; 219; 224; 230; 231; 236; 239; 245; 259; 274; 277; 279; 282; 284; 285; 294; 295; 302; 310; 311; 316; 322; 326; 333; 334; 337; 347; 348; 353; 354; 355; 356; 357; 358; 359; 360; 361; 362; 363; 364; 365; 370; 372; 383; 384; 385; 386; 387; 388; 412; 417; 418; 420; 421
- Выбранные места из творений св. отцов и учителей Церкви*, 126; 146; 284; 371; 383; 399; 400
- Выписки из "Истории Русов"*, 95; 395
- Выписки из Киевской летописи*, 93; 394
- Выписки из Кормчей книги*, 145; 383; 400
- Ганц Кюхельгартен*, 6; 7; 8; 18; 23; 24; 40; 49; 60; 61; 62; 77; 222; 307; 345; 389; 410
- Гетьман*, 23; 56; 68; 90; 107; 166
- Глава из исторического романа*, 23; 90; 107; 257; 323
- Город Киев*, 140
- Да здравствует нежинская бурса*, 379
- Давность существования славян*, 92
- Двойчатка*, 208; 209; 230
- Дождь был продолжительный*, 40; 208; 209
- Долг — Святыня*, 126
- Друзьям моим*, 270; 278
- Женитьба*, 30; 57; 61; 248
- Женщина*, 65; 68; 69
- Женщина в свете*, 67; 214; 299
- Жизнь*, 93; 288; 374; 375
- Заколдованное место*, 83; 84; 85; 86; 87
- Заметки и выписки при чтении "Истории государства Российского" Н. М. Карамзина*, 89; 93; 140; 168; 394

Заметки при чтении "Описания Украины" Г. Боплана, 141
Занимающему важное место, 118; 194; 245; 246; 290
Записки сумасшедшего, 26; 134; 209; 211; 213; 247; 248; 251; 252; 255; 256; 257; 284; 412
Записки сумасшедшего мученика, 256
Записная книжка 1841—1844 гг., 93; 290; 324
Записная книжка 1841—1846 гг., 145; 273; 332; 339
Записная книжка 1845—1846 гг., 310
Записная книжка 1846—1851 гг., 13; 36; 39; 58; 101; 167; 191; 274; 305; 323
Зачем же ты не вспомнил обо Мне, 293; 415
Иван Федорович Шпонька и его те- тушка, 15; 22; 31; 61; 73; 77; 79; 81; 82; 83; 86; 87; 158; 160; 226
Игры, увеселения малороссиан, 124
Из книги "Лествица, возводящая на небо", 12; 62; 383
Искусство есть примирение с жизнью, 358; 361; 363
Исторический живописец Иванов, 233; 237; 259; 367
История духовной власти в средние века, 24
История Малороссии, 181
Италия, 195
Италия (Италия — роскошная стра- на!..), 259
К 1-й части, 270
К читателю от сочинителя, 357; 358
Карамзин, 104
Карандашные пометы и записи в сла- вянской Библии 1820 года издания, 383
Книга всякой всячины, или подручная Энциклопедия, 14; 19; 21; 28; 33; 36; 45; 48; 49; 51; 58; 73; 83; 90; 120; 124; 140; 152; 197; 390

Книга о географии для русского юно- шества, 389
Коляска, 61; 211; 212; 213; 220; 254; 255
Коммерческий словарь, 140; 390
Конспект книги Г. Галлама "Европа в средние века", 141; 195
Конспект книги П. С. Палласа "Путе- шествие по разным провинциям Россий- ского государства в 1768—1773 гг.", 92
Кровавый бандурист, 23; 121; 183; 232; 411
Лексикон малороссийский, 49; 73; 120; 133; 142
Майская ночь, или Утопленница, 15; 21; 22; 32; 33; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 43; 44; 45; 56; 58; 59; 61; 65; 72; 74; 79
Малороссийские слова, встречающие- ся в 1 и 2 томах, 139
Малороссия. Отдельные замечания, 46
Мертвые души, 2; 3; 4; 9; 26; 30; 37; 45; 57; 61; 73; 77; 81; 82; 85; 88; 90; 93; 110; 117; 129; 130; 131; 134; 137; 144; 145; 149; 151; 153; 156; 160; 161; 166; 170; 182; 184; 189; 190; 202; 204; 205; 209; 214; 216; 224; 226; 227; 244; 248; 250; 252; 258; 270; 271; 272; 275; 276; 278; 279; 280; 281; 282; 287; 291; 292; 293; 297; 299; 300; 301; 305; 307; 311; 313; 314; 315; 316; 317; 318; 319; 320; 321; 322; 323; 324; 326; 328; 329; 330; 331; 332; 333; 334; 336; 341; 342; 345; 346; 351; 355; 357; 363; 366; 370; 371; 372; 384; 387; 391; 399; 401; 406; 410; 415; 417; 418; 419; 420
Миргород, 2; 3; 105; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 120; 123; 124; 151; 156; 159; 160; 161; 162; 195; 209; 210; 211; 213; 291; 349; 350; 393; 398; 400; 401; 408
Монтировка первой постановки "Ре- визора" на сцене Александрийского те- атра, 296; 299; 415

- Мысли, 400
- Мысли о географии, 93
- На бесчисленных тысячах могил, 326
- Наброски и материалы драмы из украинской истории, 99; 141; 182; 199; 308
- Наброски очерка о славянах, 91; 94
- Напутствие, 385
- Невский проспект, 4; 41; 50; 52; 66; 183; 207; 209; 211; 213; 214; 215; 216; 217; 220; 222; 224; 227; 228; 239; 241; 243; 246; 251; 252; 254; 264; 284; 308; 328
- Некоторые мысли Георгия (затворника Богородицкого монастыря), 399
- Несколько слов о нашей Церкви и духовенстве, 190
- Несколько слов о Пушкине, 97; 101; 226; 273; 341; 343; 350
- Нечто о русской старинной масленице, 33; 36
- Новгород, 95
- Нос, 45; 134; 209; 213; 219; 220; 221; 222; 224; 225; 226; 228; 247; 254; 284; 373; 410
- Ночь перед Рождеством, 21; 22; 30; 34; 37; 42; 43; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 65; 66; 69; 74; 81; 83; 111; 207; 209; 216; 224; 225; 235; 254; 308
- Нужно любить Россию, 129; 147; 202; 204; 284; 364
- О Божестве миротворцев (св. Григория, епископа Нисского), 400
- О гневе и безгневии, 383
- О городах, 94; 95
- О движении журнальной литературы, в 1834 и 1835 году, 13; 240; 334; 335; 352
- О движении народов в конце V века, 24; 33; 93; 133; 234
- О лиризме наших поэтов, 123; 131; 187; 188; 338; 340; 360; 368; 386
- О малороссийских песнях, 99; 100; 101; 130
- О науке, 270
- О Пермской губернии, 273
- О помощи бедным, 123
- О поэзии Козлова, 229
- О преподавании всеобщей истории, 56; 93; 97; 141; 213; 223; 249; 269; 271; 288; 289
- О Русской Церкви, 371
- О Современнике, 307; 316
- О сословиях в государстве, 94; 330; 386
- О средних веках, 141; 144; 197; 213; 307; 355
- О стыде, 284
- О театре, об одностороннем взгляде на театр и вообще об односторонности, 233; 306; 310; 335
- О тех душевных расположениях и недостатках наших, которые производят в нас смущение и мешают нам пребывать в спокойном состоянии, 383
- Об архитектуре нынешнего времени, 8; 102; 229; 306; 341; 350
- Об одежде и обычаях русских XVII века. (Из Мейерберга), 51; 73
- Об Одиссее, переводимой Жуковским, 123; 315; 333
- Обряды религиозные, 92; 126
- Объявление об издании Истории Малороссии, 99
- Объяснительный словарь русского языка, 27; 37; 81; 85; 139; 157; 245; 355; 393
- Обычаи, 71; 72; 94; 98
- Одежда и обычаи русских. (Из Оленина), 28; 51; 73
- Одеяния малороссиян, 83
- Одно только здесь ясно, 145
- Особые заметки, 234
- Отрывки из неизвестной драмы, 12

Отрывок, 241; 254
Отрывок из "Истории Малороссии".
Размышления Мазепы, 97; 193
Отрывок из письма, писанного автором вскоре после первого представления "Ревизора" к одному литератору, 276; 287; 351
Первобытная жизнь арабов. Переворот в образовании нации, произведенный Магометом, и завоевания их, 230
Период второй, 94
Песни, собранные Гоголем, 46; 393; 395
Петербургская сцена в 1835-36 г., 34; 100; 228; 229; 230; 241; 246; 276; 281; 309; 352; 384
Петербургские записки 1836 года, 34; 113; 127; 185; 216; 217; 223; 229; 256; 265; 266; 279; 309; 342
Письма по поводу "Мертвых душ" (В письме твоём, добрая душа), 363
Пленник (Кровавый бандурист), 183
Повесть о капитане Колейкине, 145; 202; 224
Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем, 88; 105; 106; 109; 110; 111; 156; 158; 160; 318
Помещики, они позабыли свою обязанность, 292
Помилуй мя, грешного, прости, Господи!, 369
Портрет, 29; 40; 52; 55; 97; 209; 211; 213; 214; 215; 217; 218; 219; 220; 225; 226; 227; 228; 231; 232; 233; 234; 235; 236; 237; 238; 243; 244; 246; 254; 272; 280; 284; 288; 308; 311; 315; 320; 321; 325; 326; 342; 351; 353; 361; 373
Послание св. Афанасия Великого, архиепископа Александрийского, к Амуну монаху, 400

Последний день Помпеи, 288; 307; 350
Правило жития в мире, 135; 144; 150; 152; 245; 305; 364; 383
Предисловие (к "Выбранным местам из переписки с друзьями"), 356
Предметы для лирического поэта в нынешнее время, 123; 385
Предупреждение для тех, которые пожелали бы сыграть как следует "Ревизора", 276; 285; 295; 305
Продается во всех книжных лавках, 210
Происхождение славян, 91
Происшествия на Севере, 180; 193
Пропавшая грамота, 11; 19; 22; 28; 45; 46; 56; 83; 84; 85; 87; 207; 225; 308
Просвещение, 186; 295; 372
Развязка Ревизора, 4; 276; 277; 279; 282; 285; 288; 289; 294; 295; 304; 354; 357
Размышления о Божественной Литургии, 2; 3; 5; 49; 127; 130; 139; 156; 159; 162; 188; 190; 215; 253; 257; 308; 364; 370; 371; 380; 381; 382; 383; 384; 386
Размышления о героях "Мертвых душ", 323; 336
Рассмотрение хода просвещения России, 323
Ревизор, 2; 4; 23; 61; 73; 88; 110; 112; 121; 160; 165; 166; 168; 170; 182; 209; 211; 216; 220; 240; 241; 252; 254; 258; 275; 276; 277; 278; 279; 280; 281; 282; 285; 286; 287; 288; 289; 291; 292; 293; 294; 295; 296; 297; 298; 299; 302; 309; 316; 319; 344; 349; 351; 352; 357; 358; 361; 391; 405; 415
Рецензия на книгу "Путешествие к Святым Местам, совершенное в XVII столетии Иеродиаконном Троицкой Лавры", 371; 373; 374

Рецензия на книгу Е. И. Ольдекопа "Картины мира", 136; 315; 318; 353
Рецензия на книгу М. П. Погодина "Исторические афоризмы", 269
Рим, 4; 27; 35; 61; 70; 113; 114; 133; 134; 168; 189; 200; 201; 202; 211; 212; 213; 214; 215; 228; 229; 233; 254; 255; 256; 258; 259; 260; 261; 268; 269; 270; 271; 272; 273; 337; 342; 350; 353; 413
Россия под игом татар, 60
Русской помещик, 118; 330; 372
Светлое Воскресенье, 88; 250; 271; 275; 282; 306; 341; 346
Святополк, возведенный Мономахом, 140; 168
Сганарель, 215
Скульптура, живопись и музыка, 67; 141; 212; 309
Собственные результаты о славянах, 24
Совет сестрам, 118
Сорочинская ярмарка, 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 31; 33; 37; 56; 58; 72; 76; 111; 264
Состояние Восточной Римской империи во время религиозных споров, битв с персами и завладения земель ее арабами, 234
Состояние Европы неримской и народов, основавшихся на землях, не принадлежавших Римской империи, 91; 94
Состояние Италии под владычеством готов, греческого эсхархата, ломбардям, их влияние и отношение к римлянам, 191; 262; 407
Состояние королевства вестготов в Испании и завоевание ее арабами, 192; 269; 344; 407
Сочинения Николая Гоголя. В 4 т. СПб., 1842, 4; 6; 111; 112; 139; 211; 212; 213; 216; 228; 254; 328; 353; 370

Сочинения Николая Гоголя. В 6 т. СПб., 1855—1856, 112; 147; 394
Сочинитель Vita Oponis говорит, 92
Споры, 210; 359
Старосветские помещики, 105; 106; 107; 109; 110; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 119; 120; 121; 123; 132; 137; 139; 152; 156; 160; 195; 226; 350; 396
Страхи и ужасы России, 120; 155; 281; 305; 346
Страшная месть, 14; 15; 21; 22; 53; 56; 57; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 76; 86; 90; 95; 98; 125; 128; 179; 186; 195; 353; 406
Страшная рука, 208; 209
Страшный кабан, 21; 37; 48; 57; 61; 66; 74; 75; 79; 85; 109; 153
Тарас Бульба, 3; 4; 34; 43; 50; 56; 57; 60; 61; 68; 70; 71; 80; 90; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 105; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 120; 121; 122; 123; 124; 128; 132; 133; 134; 135; 136; 137; 139; 140; 144; 145; 147; 148; 149; 151; 152; 153; 155; 157; 158; 159; 160; 161; 162; 163; 164; 165; 166; 168; 169; 170; 171; 172; 173; 174; 175; 176; 177; 179; 180; 181; 182; 183; 184; 185; 188; 189; 191; 192; 193; 195; 196; 197; 199; 200; 201; 205; 206; 210; 218; 242; 245; 249; 250; 263; 275; 308; 316; 329; 336; 338; 340; 344; 350; 379; 384; 391; 395; 398; 401; 403; 404; 405; 406; 407; 408
Театральный разъезд после представления новой комедии, 11; 12; 201; 221; 255; 276; 280; 281; 282; 286; 294; 298; 343; 354; 361; 385
Тройчатка, или Альманах в три этажа, 208; 209; 230
Тяжба, 257
Уже самым положением земли, 91
Успех посольства, 21; 37; 48; 57

- Утро делового человека*, 241; 253
Учебная книга словесности для русского юношества, 8; 99; 146; 161; 181; 197; 355
Учитель, 74; 75; 79; 85; 153
Финикийяне, 140; 329
Фонарь умирал, 208; 209
Характер славян вообще, 91
Характеры и костюмы. Замечания для гг. актеров, 276; 291; 297; 298; 305; 306
Христианин идет вперед, 248
Хронологические записи при чтении "Истории государства Российского" Н. М. Карамзина и "Истории Малой России" Д. Н. Бантыш-Каменского, 95; 395
Церковные песни и каноны, 383
Чем может быть жена для мужа в простом домашнем быту, при нынешнем порядке вещей в России, 28; 335
Четыре письма к разным лицам по поводу "Мертвых душ", 159; 281; 283; 304; 316; 333; 357
Что такое губернаторша, 123; 186; 299; 384
Шинель, 73; 74; 134; 209; 213; 217; 218; 220; 222; 225; 240; 241; 242; 243; 244; 245; 246; 247; 248; 249; 250; 252; 253; 254; 257; 258; 284; 308; 321; 324; 374; 384; 409; 412
Шлецер, Миллер и Гердер, 96; 99; 100; 117; 323; 349; 350
- Гоголь-Яновская М. И., 6; 7; 10; 12; 17; 20; 25; 32; 33; 34; 35; 38; 54; 55; 62; 63; 82; 98; 106; 107; 108; 110; 111; 112; 114; 115; 117; 119; 123; 124; 143; 157; 159; 167; 181; 183; 186; 189; 190; 217; 218; 219; 220; 221; 223; 252; 287; 297; 316; 320; 339; 342; 356; 385; 391; 393; 396; 397; 409; 412; 420
Гоголь-Яновская Т. С., 62; 107
Гоголь-Яновский А. Д., 107
Гоголь-Яновский В. А., 32; 33; 54; 63; 107; 108; 111; 124; 396; 397
Голицын А. Н., князь, 375; 376
Голованев Ф. П., 54
Головацкий П. Ф., 175
Головацкий Я. Ф., 175
Голуховский А., граф, 175
Гомер, 3; 91; 102; 314; 315; 316; 333
Горев Ф. П., 163
Горлин (Gorlin) М., 410
Горнфельд А. Г., 166; 167; 170; 402
Городецкий М., 405
Горький А. М., 170; 171; 403
Гофман Э., 216; 228; 271; 298; 410
Грабовский М. А., 163; 196; 401
Грабянка Г., 164; 401
Гребенка Е. П., 423
Гретц Г., 402
Греч Н. И., 232; 314
Грибоедов А. С., 294; 295; 296; 299; 321; 333; 419
Григорий V, патриарх Константинопольский, св., 108; 169; 192
Григорий XVI, римский папа, 187; 261; 266; 407; 414
Григорий Богослов, св., 159
Григорий Нисский, св., 400
Григорий Цамблак, 95
Григорьев А. А., 258; 302; 310; 362; 388; 412; 415; 421; 424
Григорьев А. Л., 417
Громов М. П., 409
Грот Я. К., 62; 131; 388; 396; 398; 402; 409; 419; 420; 424
Гуковский Г. А., 167; 399; 402; 409
Гуминский В. М., 158; 400; 408
Гус М. С., 188; 407
Гус Я., 175
Гусева Е. Н., 392; 397; 413
Гюго В., 35; 229

- Давид, пророк, 126; 230; 340
 Даль В. И., 274
 Даниил, игумен, 387
 Даниил, пророк, 375; 422
 Даниил, св. благоверный князь, 275
 Данилевский А. С., 8; 16; 33; 50; 55;
 65; 105; 110; 128; 148; 196; 198; 219;
 221; 223; 229; 259; 260; 265; 280; 308;
 316; 379; 380; 386; 395; 408; 413; 420
 Данилевский Г. П., 106; 317; 394;
 396; 407; 416
 Данилевский Р. Ю., 404
 Данилов С. С., 415
 Данте А., 314
 Дашкевич Н. П., 163; 401
 Деицкая, 176
 Деицкий А., иерей, 176
 Деицкий Б. А., 176
 Дельвиг А. А., барон, 68; 69
 Демиров-Мышковский И. Г., 380
 Державин Г. Р., 334
 Десницкий В. А., 399; 406
 Дефо Д., 175
 Джаксон, 259
 Джунковский В. Я., 356
 Дилакторская О. Г., 410
 Димитрий Донской, св., 173
 Димитрий Ростовский, св., 400; 410
 Дмитриевский И. И., 386
 Дмитриев, 236
 Дмитриев И. И., 112; 114; 115; 116;
 207; 263
 Дойч Ю., 197; 408
 Долгополов М., 404
 Достоевская Л. Ф., 262
 Достоевский Ф. М., 13; 25; 153; 166;
 216; 262; 276; 306; 313; 366; 390; 409;
 411; 415; 416; 421
 Драгоманов М. П., 165; 344; 390;
 402; 418
 Древинский Л., 122
 Дроздов А. В., 392; 419; 421
 Дубровский П. П., 169; 403
 Дурылин С. Н., 391; 392; 402; 404
 Дюканж В., 35; 216; 229
 Дюма (Dumas) А. (Дюма-отец), 35;
 216; 229; 298
 Ева, прагматер, 93
 Евагриий, диакон, 158
 Евшан М., 406
 Ездра, 336; 393
 Екатерина II, Императрица, 30; 38;
 51; 52; 78; 102; 106; 107; 122; 207;
 255; 339
 Екатерина, св., 382
 Еремин М. П., 420
 Еремина В. И., 396
 Ерофеев В. В., 139; 399; 406; 414
 Ерофеев И. Ф., 12; 401
 Ерофеев Н. А., 417
 Есаулов И. А., 118; 400
 Ефименко А. Я., 70; 165; 192; 393;
 402; 407
 Ефименко В., 403
 Ефрем Сирин, св., 265
 Жаботинский В. Е., 166; 175; 402
 Жданов И. Н., 181; 405
 Железнов М. И., 237; 411
 Жерве (Жербе) Ф. О., аббат, 198
 Жуков, 416
 Жуковский В. А., 7; 8; 9; 11; 93; 101;
 112; 123; 167; 185; 190; 198; 207; 217;
 230; 231; 232; 233; 259; 260; 263; 266;
 311; 314; 315; 316; 317; 334; 335; 338;
 348; 357; 358; 360; 361; 389; 394; 395; 421
 Загоскин М. Н., 97
 Зайцев Б. К., 421
 Закушняк А. Я., 172; 403
 Залесский Б., 185; 196; 406
 Залесский Д., 406
 Замотин И. И., 231; 410
 Замошкин Н. И., 404

- Заньковецкая М., 403
 Зарудные, 107
 Зверьков, 18
 Звенияцкий В. Я., 167; 402; 406
 Зеньковский В. В., протопресвитер,
 13; 186; 197; 215; 235; 268; 313; 327;
 346; 368; 390; 406; 408; 409; 411; 414;
 416; 417; 418; 421
 Зингер Ф. И., 380
 Златина Е. Г., 417
 Золотарев И. Ф., 101; 265
 Золотусский И. П., 412
 Зонар (Зонара) Иоанн, монах, 146
 Зубов П. А., князь, 106
 Зябловский Е. Ф., 107; 397
- Иаков, св. апостол, 400**
Иваницкий Н. И., 419
Иванов А. А., 168; 200; 203; 221;
 233; 235; 236; 237; 266; 267; 268; 342;
 408; 411; 413
Иванов А. И., 203; 408
Иванов Вс. В., 171
Иванов И., 312; 416
Игнатий (Брянчанинов), св., 52;
 256; 366; 392; 412; 421
Игорь (Ольгович), св. благоверный
князь Черниговский и Киевский, 71
Иеремия, пророк, 275; 311; 414; 416
Излер И. И., 325
Иисус Христос, Бог, Бог-Сын, Сын
Божий, Господь, Создатель,
Спаситель, Спас, Искупитель,
Мессия, Агнец Божий,
Богомладенец, Сын Человеческий,
Божественный Учитель, Небесный
Государь, Небесный Кормщик,
Небесный Полководец, 1; 3; 4; 9;
 12; 21; 24; 27; 32; 34; 37; 46; 47; 48;
 50; 51; 55; 57; 58; 62; 64; 65; 67; 69;
 70; 74; 76; 87; 88; 91; 93; 107; 119;
 121; 125; 126; 127; 128; 129; 131; 134;
 138; 143; 144; 146; 147; 148; 149; 150;
 151; 154; 155; 156; 157; 158; 162; 164;
 165; 167; 169; 171; 173; 177; 183; 184;
 186; 188; 190; 191; 192; 194; 198; 205;
 230; 231; 232; 233; 234; 245; 248; 256;
 258; 262; 267; 270; 275; 278; 279; 282;
 283; 287; 288; 289; 290; 296; 306; 307;
 308; 311; 315; 319; 332; 344; 346; 354;
 355; 359; 364; 365; 369; 371; 372; 375;
 376; 377; 378; 379; 381; 384; 385; 386;
 387; 388; 399; 402; 409; 415; 416; 424
 Иисус, сын Сирахов, 392; 393
Илий, израильский
первосвященник и судия, 22; 339
Иловайский Д. И., 165; 402
Иннокентий (Борисов),
архиепископ Херсонский, 374
Иоав, военачальник Царя Давида,
 125
Иоанн Богослов, св. апостол и
евангелист, 48; 78; 157; 237; 293;
 311; 367; 398; 400; 407; 418; 424
Иоанн Грозный, 33; 194; 391
Иоанн Дамаскин, св., 377
Иоанн Златоуст, св., 142; 159; 186;
 256; 323; 377; 381; 386; 400; 422
Иоанн Креститель, 13; 14; 15; 19;
 25; 26; 31; 33; 37; 43; 45; 48; 71; 153;
 154; 353; 378; 416
Иоанн Лествичник, св., 12; 62; 157;
 383; 400
Иоанн Многострадальный, св., 154
Иоанн Новгородский, св., 84
Иоахим И.-А., 181; 302
Иов Многострадальный, св., 43; 392
Иона, иеродиакон Троице-Сергие-
вой Лавры, 371; 422
Иордан Ф. И., 200; 201; 408; 413
Иосиф (Петровых), митрополит Ле-
нинградский, 163
Иосиф (Семашко), митрополит Ли-
товский, 414

- Иосиф Прекрасный, св., 154
 Иофанов Д. М., 74; 391; 422; 424
 Ирод, 64; 87
 Ирод Антипа, 154
 Иродиада, 154
 Исаак Сирийский, св., 144
 Исаия, пророк, 149
 Исаков С. Г., 405
 Иуда Искариот, 114; 167; 197
 Иудифь, 136; 399
- Казарин В. П., 395
 Казначеев А. И., 204
 Каин, первый сын Адама, 22
 Кайсевич И., 184; 185; 186; 191; 193;
 195; 196; 199; 203; 359; 406
 Калиновский М., 138
 Каманин И. М., 164; 397; 402
 Каминский В. К., 381; 382
 Канарис К., 345
 Кантемир А. Д., князь, 103
 Карамзин Н. М., 3; 71; 72; 89; 90;
 91; 92; 94; 95; 96; 97; 99; 100; 101;
 102; 104; 112; 140; 168; 255; 323; 329;
 361; 394; 395; 396; 412; 415; 417
 Каратыгин В. А., 410
 Карл XII, шведский король, 173
 Карлгоф В. И., 225; 410
 Карломан, 195
 Карпенко А. И., 396
 Карпов А. А., 418
 Карпов Г. Ф., 163; 401
 Карташевская М. Г., 411
 Карташевский Г. И., 264
 Ким Ле Чун, 405
 Киприан (Керн), архимандрит, 153
 Киреевский И. В., 329; 417
 Кирилл, св. равноапостольный, 146;
 147
 Кирсанова Р. М., 30; 136; 399
 Кишкин Л. С., 404
 Клементьев, 384
- Кожин В. В., 409
 Козлов И. И., 229
 Козловский Л., 406
 Козьмин Б. П., 411
 Кок П., де, 421
 Колокольцев Н. В., 404
 Колокотронис Т., 345
 Колумб Х., 269
 Комарович В. Л., 240
 Конобеевская И. Н., 420
 Кононенко И. К., 422
 Константин Великий, св. равноапостольный, 195
 Константиновский М. А., протоиерей (с 1838 г.), 119; 230; 295; 308; 387
 Корнелиус П., 232
 Корнилович А. О., 398
 Короленко В. Г., 360
 Костомаров Н. И., 163; 164; 165;
 401; 402
 Косяровский М., 110
 Косяровский Павел П., 25
 Косяровский Петр П., 82; 221; 222
 Котенко Н. В., 30
 Котляревский И. П., 14; 20; 21; 22;
 23; 28; 39; 53; 391; 392
 Котляревский Н. А., 408
 Кочубей, 111
 Кочубей М., 69
 Кочубинский А. А., 406; 408
 Кошелев А. И., 7; 329
 Коялович А., 397
 Краевич Марко, 177
 Крашенинников (Крашенинников) С. П., 93
 Крейцер А., 410
 Кремишевская Г., 403
 Кропоткин П. А., князь, 331; 417
 Крутикова Н. Е., 163; 397; 403
 Крылов В., 417
 Крылов И. А., 226; 245
 Крылов Н. И., 329

- Кузнецов Е. М., 392
 Кукольник В. Г., 377; 382; 423
 Кукольник Н. В., 377; 378; 379; 422; 423; 424
 Куджинский И. Г., 257; 381
 Кулиш П. А., 16; 106; 162; 163; 164; 165; 171; 196; 199; 210; 257; 389; 390; 393; 395; 396; 397; 398; 401; 409; 410; 411; 413; 416; 424
 Кулишер М. И., 165; 402
 Кунин В. В., 392
 Купреянова Е. Н., 410; 417
 Курганов М., 403
 Кутузов М. И., князь, 345
 Кучеров А., 178
 Кушелев-Безбородко Г. А., граф, 422
 Кюхельбекер В. К., 348; 419
- Лавальер Л.-Ф., герцогиня, 137
 Лавровский Н. А., 422; 423
 Лазарева А. Н., 417
 Ламиковский (Ломиковский) В. Я., 110; 223
 Ланда С. С., 405
 Ландражин И. Я., 380
 Лапицкий И. П., 394
 Лейферт А. В., 392
 Леман И.-А., 34; 35; 392
 Лемке М. К., 416
 Ленорман М.-А., 289
 Лепаж (Lerage), 240
 Лепехин И. И., 93
 Лермонтов М. Ю., 127; 304; 410
 Лернер Н. О., 392
 Лесков Н. С., 166
 Лефорт Ф. Я., 103
 Ливий Т., 233
 Лизогубы, 107
 Лизунов С. В., 396; 421
 Линденберг Я., иерей, 177
 Линней К., 92
- Линниченко И. А., 397; 409
 Линтур П. В., 394
 Лисицкая А., 176
 Лойола И., 181
 Лонгола М. Н., 198
 Лонгинов Н. М., 219
 Лугаковский В. А., 184; 395; 405; 406; 407; 414
 Лука, св. апостол и евангелист, 70; 78; 271; 393; 398; 415
 Лукашевич П. А., 124
 Луначарский А. В., 171
 Лысаковский Я., 164
 Лысенко Н. В., 171
 Львов Н., 171; 403
 Любич-Романович В. И., 63; 181; 382; 405; 411; 424
 Людовик XIV, 137
 Людовик Благочестивый I, 195
 Лютер М., 269
 Лямина Е. Э., 408
 Лященко А. И., 406
- Маврокордатос А., 345
 Магомет, 230
 Мазепа И. С., 69; 196; 197
 Майков Б. А., 168
 Макарий Оптинский, св., 371; 422
 Маккавеи, семья Маттафии Маккавея, 126; 398
 Макогоненко Г. П., 410
 Максимович М. А., 7; 14; 20; 36; 96; 97; 98; 114; 117; 123; 142; 163; 208; 249; 278; 390; 395; 399; 401; 409; 414; 418
 Маленкович С., 177
 Малиновский Д. К., 284; 306; 414
 Малиновский И. Д., 414
 Малкин В. А., 404
 Малышкин А. Г., 171
 Мальтус Т.-Р., 362
 Манассия, 205

- Мандевиль Б., 269; 414
 Мандельштам И. М., 11; 390
 Манзий В. Д., 172
 Мансветов Г. И., протоиерей, 382
 Марек А., 175
 Мария Феодоровна, Императрица, жена Павла I, 382
 Мария, Пресвятая Богородица
 Дева, 22; 27; 52; 64; 90; 148; 155; 172; 214; 234; 375; 378; 392; 402
 Марк, св. апостол и евангелист, 78; 226; 370; 414
 Маркевич А. И., 381; 424
 Маркевич О. В., 408
 Марков О. О., 407
 Маркс К., 167; 174; 351; 402
 Мартиниан, св., 154
 Мартос И. Р., 223
 Мартянова Е. П., 404
 Марченко Е. Ю., 409
 Масальский К. П., 314
 Матвеев П. А., 399; 417
 Матисен Е. А., 67; 393; 419
 Матфей, св. апостол и евангелист, 78; 142; 256; 393; 398; 407; 415; 424
 Машинский С. И., 422
 Машковцев Н. Г., 210
 Мейербер Дж., 302
 Мейерберг А., фон, 51; 73; 394
 Меликов М., 411
 Мерария, 136
 Мердер К. К., 408
 Мережковский Д. С., 285; 286; 328; 415; 417
 Мериме П., 404
 Местр Ж., де, 344
 Метлинский А. Л., 395
 Мечиславская М., 268
 Мешкова Е. Л., 407
 Миаулис А., 345
 Микеланджело Б., 138; 268; 269
 Миклашевский, 164
 Милидрагович М., 405
 Миллер (Мюллер) И., 96; 99; 100; 117; 323; 349; 350
 Минстер П. Ф., 121
 Михаил Феодорович, русский царь, 267
 Михайлов А. В., 410
 Михайловский Б. В., 403
 Мицкевич А., 181; 183; 184; 185; 199; 203; 209; 405; 408
 Модестов С. С., протоиерей, 311; 416
 Модзалевский Б. Л., 416
 Моисеев К. А., 377; 378
 Моисей Угрин, св., 154
 Моисей, пророк, 27; 314; 368; 391; 393; 398; 399; 418
 Мокрицкий А. Н., 168; 403
 Мольер, 215; 229
 Монтеспан Ф. - А., маркиза, 137
 Мордвинов, 292
 Морозова Н. П., 52; 398
 Морошкин М. Я., иерей, 415
 Моторин А. В., 406
 Мочульский В. Н., 23; 390; 391
 Мочульский К. В., 199; 408
 Муратов П. П., 413
 Мэйдзи, японский император, 177
 Надеждин Н. И., 7; 203; 414
 Назаревский А. А., 391
 Назимов В. И., 266; 358; 413; 420
 Наполеон I, 109; 122; 139; 173; 180; 184; 204; 271; 345; 365; 375
 Нарезный В. Т., 30; 110; 397
 Науменко В. П., 423
 Неверов Я. М., 349; 419
 Неемия, 150; 336; 398
 Неклюдова М. Г., 413
 Некрасов Н. А., 166
 Неофит (Неводчиков), архиепископ Кишиневский, 360; 420

Нессельроде К. В., граф, 267
Нестор Летописец, св., 126
Несторий, ересеарх, 234
Никитенко А. В., 35; 232; 391
Никифор (Феотоки), архиепископ
Астраханский и Ставропольский, 423
Николай I, Император, 38; 108; 112;
143; 162; 185; 187; 188; 189; 191; 193;
194; 204; 237; 249; 250; 252; 266; 267;
268; 280; 356; 357; 358; 359; 399; 401;
402; 407; 411; 414; 416; 423
Николай II, Император, 347
Николь Д., аббат, 203
Никольский П. И., 378
Никон (Рождественский),
архиепископ, 372; 422
Нимченко М., 34; 35
Нимченко Я. (Е.), 34; 35
Новакович, 176
Новицкий А. П., 342
Нози, японский генерал, 177
Ной, патриарх, 92
Номис М., См. Симонов М. Т.
Норов А. С., 358

Обер З., 309
Ободовский К. П., 301; 396; 413
Оболенский Д. А., 394
Образовская Л., 403
Овербек Ф., 232; 235
Одерборн П., 33; 36; 391
Одоевский В. Ф., князь, 7; 207; 208;
230; 279; 362; 390
Оксман Ю. Г., 232; 395; 405; 411
Олеарий А., 28; 51; 73; 391
Олоферн, 136
Олсуфьев В. Д., граф, 388
Ольдекоп Е. И., 136; 315
Ономакрит, 91
Опришко А. Я., 30
Орлай де Карва И. С., 90; 377; 378;
394

Орлов, 292
Орлов А. Ф., граф, 311; 394
Ослябя Родион, монах, 147
Острожский, князь, 148
Острожский К. К., князь, 148
Оттон, 92

Павел, садовник Гоголей, 38
Павел, св. апостол, 9; 27; 47; 61; 76;
122; 151; 158; 184; 186; 190; 191; 222;
271; 311; 340; 359; 386; 391; 392; 398;
400; 407; 410; 412; 414; 415; 416; 418;
420
Павлов Н. М., 304; 415
Паламарчук П. Г., 232; 411
Паллас П. С., 92; 93
Панаев В. И., 252; 412
Панаев И. И., 358; 420
Панаева (Головачева) А. Я., 412
Панов В. А., 215; 395
Пантелеимон, св. великомученик и
целитель, 31
Парамонов Б. М., 332
Параша, 29
Пардо Басан Э., 177
Пашков П. Е., 266
Пашенко И. Г., 259
Пентефрий, 154
Пересвет Александр, монах, 147
Перетц В. И., 163; 401
Перовский Л. А., граф, 394
Перуджино И., 52; 214; 236; 392
Песах, 164
Петр 1, 4; 30; 65; 97; 102; 103; 120;
122; 161; 197; 207; 216; 217; 218; 219;
224; 255; 256; 259; 290; 323; 325; 326;
330; 339; 349; 416
Петр Афонский, св., 155
Петр, архиепископ
Александрийский, св., 399
Петр, св. апостол, 16; 36; 40; 45;
187; 268; 313; 368; 390; 400; 421

- Петров Н. И., 163; 390; 397; 401
 Петров П. В., 105; 135
 Петров С. М., 406
 Петрушевский К., нерей, 387
 Пеуранен Э., 412
 Пипин Короткий, король франков, 195
 Писарев Д. И., 227; 410
 Платон, 65; 69
 Плетнев П. А., 7; 62; 90; 103; 106; 107; 207; 211; 217; 249; 264; 329; 334; 355; 357; 388; 390; 396; 402; 409; 420; 424
 Плоткин Ц., 404
 Погодин М. П., 7; 91; 99; 104; 112; 114; 120; 121; 148; 162; 182; 188; 189; 200; 208; 219; 224; 232; 249; 260; 266; 269; 273; 275; 280; 310; 311; 317; 325; 351; 361; 386; 387; 394; 395; 396; 400; 407; 409; 411; 413; 414; 421
 Погодина Е. В., 121
 Пожарский Д. М., князь, 173
 Полевой Кс. А., 414
 Полевой Н. А., 7; 134; 314; 317
 Полех В. Т., 404
 Пономарев С. И., 409
 Попов А. Н., 187; 407; 413
 Попов Е. А., протоиерей, 399
 Порфирий (Успенский), епископ, 148
 Потапова В. А., 391
 Потемкин В. П., 407
 Потемкин Г. А., князь, 73; 106; 152
 Похвиснев М. Н., 420
 Присниц В., 54; 55; 77
 Пришвин М. М., 64; 393
 Пришвина В. Д., 64
 Прокопович Н. Я., 68; 82; 94; 112; 210; 211; 259; 260; 265; 314; 357; 360; 379; 395; 409; 423
 Протопопов Д. С., 131
 Пугачев Е., 171
 Пухтинский В. К., 399
 Пушкин А. С., 6; 9; 29; 30; 50; 64; 90; 96; 97; 101; 102; 127; 159; 166; 181; 182; 187; 192; 204; 207; 208; 211; 218; 226; 229; 232; 233; 258; 259; 261; 265; 269; 273; 276; 283; 285; 301; 302; 303; 304; 314; 315; 317; 318; 333; 335; 340; 341; 343; 348; 352; 361; 392; 394; 396; 403; 405; 406; 407; 409; 414; 415; 416; 418; 420
 Пушкин Л. С., 187
 Пушкина Н. Н., 29; 204; 352
 Пыпин А. Н., 163; 401; 406
 Радищев А. Н., 258
 Разин С., 171
 Раков Ю. А., 411
 Рафаэль С., 52; 232; 233; 234; 235; 236; 263; 269
 Редкин П. Г., 424
 Рейтблат А. И., 405
 Рейтерн Г. В., 190
 Репин И. Е., 165; 172; 402
 Репнин В. Н., князь, 57
 Репнина В. Н., княжна, 198; 408
 Репнин-Волконский Н. Г., князь, 198
 Рехо К.. См. Ким Ле Чун
 Розанов В. В., 179; 206; 405
 Розанов И. Н., 406
 Розанов Н., 308
 Розов В. А., 397
 Романовы, царская династия, 193
 Россет А. О., 55
 Ростопчин Ф. В., граф, 204
 Ростопчина Е. П., графиня, 188
 Рубан В. Г., 397
 Румянцев А. И., граф, 292
 Руссо Ж. Ж., 262
 Руссов С. В., 399
 Рутч (Руч), 300
 Рылеев К. Ф., 197

- Рычков Н. П., 93
 Рязанова Л. А., 393
- Савва В. И., 422
 Саенко М., 403
 Сажин В., 32; 221; 391
 Сазонов Н. И., 237; 411
 Саитов В. И., 394
 Самарин Ю. Ф., 163; 275; 372; 401; 422
 Самовер Н. В., 408
 Самовидец, 401
 Самойленко Г. В., 403
 Самойленко Н., 397
 Самойло К., 404
 Самуил, пророк, 339
 Саул, первый царь Израиля, 339; 340
 Свербеев Д. И., 325; 416
 Свиньин П. П., 316; 325; 415; 416
 Свиясов Е. В., 396; 416
 Святополк Изяславович, киевский князь, 140; 168
 Святослав, князь Черниговский, 71
 Севастиан, св., 148
 Севергин В. М., 93
 Севрюгин Ф. Е., 378
 Селицкий (Selicki) Ф., 405
 Семененко П., 94; 184; 185; 186; 191; 192; 193; 195; 196; 203; 359; 406
 Сенковский О. И., 13; 97; 162; 317
 Серафимович А. С., 171
 Серба А. И., 404
 Сервантес М., де, 175
 Сергей (Страгородский), патриарх, 173
 Сергей Радонежский, св., 147
 Сергей, игумен, 387; 416; 424
 Сикорский И. А., 412
 Симеон, архиепископ Фессалоникитский, блаж., 159
 Симон, дядька Гоголя, 157
 Симонов М. Т., 408
- Сихлер, 29
 Скалон С. В., 156; 397; 398; 400
 Скобелев В. П., 403
 Сковорода Г. С., 343; 401; 418
 Скотт В., 97; 100; 175; 228; 396
 Слуцкий М. И., иерей, 424
 Слюсарь А. А., 406
 Смиidt, 258
 Смирдин А. Ф., 93; 110
 Смирин И. А., 403
 Смирницкий В. Н., 390
 Смирнов А., 387
 Смирнова А. О., 9; 12; 52; 54; 92; 101; 103; 107; 115; 138; 148; 157; 198; 234; 236; 261; 263; 264; 265; 288; 289; 292; 309; 317; 318; 319; 322; 325; 332; 344; 355; 383; 384; 392; 394; 396; 397; 399; 411; 413; 415; 416; 417; 418
 Смирнова Е. А., 415; 417
 Смирнова О. Н., 236
 Смоликовский П., 409
 Снегирев И. М., 266; 413
 Соколов, 181
 Соколов И. И., 407
 Соколов Л., 367
 Соллогуб С. М., графиня, 394
 Соловьев С. М., 165
 Соловьев-Седой В. П., 172
 Соломон, третий царь Израиля, 155; 238; 400; 411; 416
 Солоухин В. А., 406
 Сомов О. М., 7
 Сосницкий И. И., 276
 Сохряков Ю. И., 405
 Спасович В. Л., 406
 Сперанский М. Н., 395; 422
 Сребницкий И. А., 381; 422; 423
 Срезневский И. И., 98; 99; 395
 Стасов В. В., 165; 348; 402; 414; 419
 Стефан Яворский, преосвященный, 378
 Стопнут А. С., 422

- Столпянский П. Н., 422
 Стороженко А. П., 264; 413
 Страхов Н. Н., 276; 421
 Строев В. М., 35; 392
 Стройновская Е. А., графиня, 50; 392
 Стройновский В. В., граф, 392
 Стрыйковский (Стриковский) М., 95; 96; 395
 Стурдза А. С., 266
 Суворов А. В., князь, 292; 345
 Супронюк О. К., 423
 Сухоруков В. Д., 132
 Сушков Н. В., 414
- Танские, 107
 Танский, 109
 Тарасенков А. Т., 421; 422
 Тарди Л., 394
 Тацит, 233
 Тик Л., 231
 Тимофей, св. апостол, 391
 Тит, св., 158
 Титов А. А., 401
 Титов В. П., 208; 409
 Тиханов П. Н., 164
 Тихонравов Н. С., 200; 398; 406; 408; 414
 Тициан, 269
 Толстой А. П., граф, 147; 187; 189; 267; 268; 271; 290; 292
 Толстой Л. Н., граф, 165; 166; 347; 402
 Томаринский М. А., 200; 201
 Тон К. А., 267
 Трахимовский (Трохимовский) М. Я., 55
 Трахимовский А. М., 110
 Трахимовский Н. А., 397
 Троицкий И. И., протоиерей, 383; 424
 Трошинская О. Д., 10
 Трошинские, 107
 Трошинский А. А., 62; 157; 420
- Трошинский Д. А., 110; 111
 Трошинский Д. П., 32; 82; 111; 122; 390; 393; 398; 400; 420
 Трошинский П. И., 122
 Трубицын Н. Н., 390; 414
 Трушковский П. О., 114
 Тургенев А. И., 90; 94; 104; 331; 394; 395; 417
 Тургенев И. С., 166; 331; 347; 358; 403
 Тюнин А. П., 397
 Тютчев Ф. И., 187; 407
- Уваров С. С., граф (с 1846 г.), 10; 188; 231; 247; 249; 281; 350; 356; 358; 407; 411; 412
 Ульянов (Ленин) В. И., 174; 276; 406; 414
 Ульянов Н. И., 194; 208; 406; 407; 409
 Уно Кодзи, 177
 Урсо О. Д., 380
- Федоров Д. О., 417
 Федотов Г. П., 174
 Фелпс В., 331
 Фельдбигер И. И., аббат, 78
 Феодот Анкирский, св., 399
 Феофилакт Болгарский, блаж., 184
 Филарет (Дроздов), св., митрополит Московский и Коломенский, 78; 143
 Филипп II, испанский король, 269
 Флоровский Г. В., протоиерей, 368; 383; 421; 424
 Фомаида Египетская, св., 154
 Фонвизин Д. И., 153; 294; 295; 322; 419
 Фонтанж М.-А., герцогиня, 137
 Фортунатов Ф. Ф., 387
 Фотий (Спасский), архимандрит, 289; 415
 Франко И. Я., 163; 390; 401; 406

- Францев В. А., 404
 Фридлендер Г. М., 393
 Фридман Н. В., 409
- Халчинский И. Д., 108; 397
 Харченко В., 403
 Херасков М. М., 124; 398
 Хиджеу А. Ф., 343; 418
 Хитрово Е. А., 258; 307; 352; 392;
 393; 412; 415; 417; 424
 Хитрово Е. М., 182
 Хлебников П. К., 394
 Хлодовский Р. И., 414
 Хмельницкий Б. М., 138; 164; 165;
 180; 182; 185; 196; 199; 401; 402
 Ходасевич В. Ф., 218; 409
 Хойнацкий А. Ф., протонерей, 381;
 422; 423; 424
 Хоменко Н. В., 397
 Хомяков А. С., 101; 163; 184; 235;
 275; 396; 411
 Хоцянов К. С., 127; 128; 130; 134;
 151; 165; 192; 329; 389; 398; 399; 407;
 417; 424
 Хрипков А. Д., 418
- Цертелев Н. А., князь, 142; 399
 Циклер (Цыхлер). См. Сихлер
 Цыганов Н. Г., 302
- Чаадаев П. Я., 182
 Чаговец В. А., 63; 391; 393; 396; 397;
 410
 Черкасский И. Б., боярин, 28
 Черткова Е. Г., 198
 Чехов А. П., 166; 347
 Чибисов В., 417
 Чижевский Д. И., 113; 288; 354; 397;
 415; 420; 422
 Чижов Ф. В., 184; 221; 235; 265; 266;
 406; 411
 Чимабуэ Дж., 234
- Чистович И. А., 288
 Чичагов П. В., 292
 Чичерин А. В., 390
 Чумак Т. М., 394; 406
- Шапалинский К. В., 380
 Шаржинский (Шержинский) С. Д.,
 167; 182; 403
 Шварц Б., 269
 Шеваров Г., 398
 Шеваров Д., 417
 Шевченко Т. Г., 101
 Шевырев С. П., 17; 92; 103; 148;
 159; 160; 162; 191; 228; 233; 239; 240;
 249; 257; 272; 275; 284; 285; 311; 351;
 354; 357; 359; 363; 395; 396; 397; 400;
 401; 402; 408; 409; 410; 419; 420; 424
 Шевырева С. Б., 408
 Шекспир, 97
 Шенрок В. И., 6; 113; 163; 354; 380;
 381; 390; 395; 396; 397; 399; 406; 408;
 410; 411; 418; 420
 Шереметева Н. Н., 398
 Шестаков П. Д., 266; 413
 Шестакова Л. И., 403
 Шик А., 408
 Шиллер Ф., 97; 214; 215; 216; 222;
 227; 228; 271; 303
 Ширинский-Шихматов П. А.,
 князь, 394
 Ширинский-Шихматов С. А.,
 князь. См. Аникита, иеромонах
 Шишков А. С., 249; 415
 Шлецер (Шлёцер) А.-Л., 96; 99;
 100; 323; 350
 Штюрмер Л. Л., 196
 Шубарт В., 262
 Шультейс Э., 394
- Щебальский П. К., 407
 Щеголев П. Е., 396; 397
 Щеголев П. П., 411

Щепкин М. С., 116; 391
Щербатов М. М., 361

Эварницкий Д. И., 165
Эйхенбаум Б. М., 116; 212
Экземплярский И., 402
Эллизен И.-Г., 356
Эллинг К., 177
Энгельгардт В. В., 325
Эренбург И. Г., 403
Эфрон И. А., 401

Юнгман Й., 175
Юнг-Штилинг И. Г., 288
Юркевич П. И., 105; 162; 318
Юрченко Т. Г., 408

Ягайло, 182
Ядвига, 182
Языков Н. М., 21; 54; 55; 103; 123;
146; 150; 161; 184; 210; 230; 273; 287;
317; 334; 336; 337; 383; 385; 406; 418;
421
Якубина Ю. В., 423
Якубовский Ф. Б., 129; 199; 398;
406; 408
Янкович де Мириево Ф. И., 78
Яновский Ю. И., 171
Яньский Б., 94; 184; 192; 193; 195
Ясновский Д. Е., 380
Яхонтов И. К., протоиерей, 371

Содержание

<i>Предисловие</i>	3
<i>Глава первая. Сказки Николая Гоголя</i>	6
<i>Глава вторая. Н. В. Гоголь — читатель «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина</i>	89
<i>Глава третья. Неизвестный «Миргород»</i>	105
<i>Глава четвертая. «Тарас Бульба» и отношение Гоголя к католицизму</i>	179
<i>Глава пятая. От «Невского проспекта» до «Рима»: «Петербургская тема» в творчестве Гоголя</i>	207
<i>Глава шестая. Завязка «Ревизора»</i>	275
<i>Глава седьмая. «Дело, взятое из души...»: О замысле поэмы «Мертвые души»</i>	313
<i>Глава восьмая. Гоголь и Белинский: К истории полемики. О замысле книги «Выбранные места из переписки с друзьями»</i>	347
<i>Глава девятая. «Размышления о Божественной Литургии»: Из истории создания</i>	370
<i>Заключение</i>	388
<i>Примечания</i>	390
<i>Список условных сокращений</i>	425
<i>Именной указатель</i>	426

